Железнодорожный транспорт в художественной литературе



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

СБОРНИК



составили
А. М. ЛЕЙТЕС, П. Г. СДОБНЕВ,
М. Х. ДАНИЛОВ



ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ 1939



Цена 7 р. 50 к.
Переплет 1 р. 50 к.

Отв. за выпуск *М. Х. Данилов*
Обложка, заставки и концовки работы худ.
А. П. Духовенского
Техн. редактор *П. А. Хитров*

Сдано в набор 4/V 1939 г.
Подписано к печати 29/VI 1939 г.
Разм. бумаги $60 \times 92^{1}/_{32}$. $33^{3}/_{4}$ п. л. + 8 вклеек
48 800 зн. в п. л. учетно-авт. 38 л.
ЖДИЗ 75017. Тираж 15 000 экз.
Уполн. Главлита А-11575. Заказ 19395.

1-я тип. Трансжелдориздата, Москва, Б. Переяславская, 46.

Предисловие

«Железные дороги являются таким же важным событием, как изобретение пороха, открытие Америки, изобретение книгопечатания: в мировой истории начинается новая глава...»

Так почти сто лет назад, охарактеризовал великий германский поэт Генрих Гейне тот огромный переворот, который вызвало во всем мире появление первых железных дорог.

Консерваторы и реакционеры всех мастей упорно сопротивлялись развитию железнодорожного строительства, пророчили всякие беды населению, писали злобные памфлеты, рисовали карикатуры, клеветали на пионеров нового дела. Зато все передовое человечество приветствовало стальных коней, победно завоевывающих земные пространства. Железные дороги в кратчайший срок стали нервом жизни, быстро и прочно вошли в быт, в деловые будни. Век пара, ставшего мощной движущей силой прогресса, начался.

Мировая литература вскоре же после открытия движения на первых железных дорогах проявила живейший интерес к новому виду передвижения. Описания поездок, беглые дорожные зарисовки понемногу уступают место более глубоким художественным произведениям.

Тяжелый труд строителей железных дорог, полная опасности и своеобразного обаяния работа железнодорожников, их быт, нужды, наконец, борьба за лучшую жизнь — вдохновляют крупных мастеров пера.

Железнодорожные будни и люди, чья жизнь проходит на рельсах, в паровозной будке, в вагонах, на станциях становятся полноправными героями романов, рассказов, стихов.

Показать, как отразилась в художественной литературе жизнь, труд и борьба железнодорожников в прошлом и настоящем — такова задача, которую поставили перед собой составители этого сборника.

Немыслимо, разумеется, в одной книге дать все более или менее значительное, что было создано мировой литературой на интересующую нас тему. Пришлось ограничиться отбором наиболее показательных в этом отношении произведений.

Из первой части «Минувшее» железнодорожник советской страны узнает, в каких невыносимых условиях прокладывались стальные пути. Он узнает, как тяжело жилось рядовым работникам транспорта в тисках ужасающей эксплуатации и полицейского произвола самодержавно-бюрократической России.

Картины жуткой трудовой кабалы, издевательств, вопиющего самоуправства и самодурства «сильных мира сего» пройдут перед глазами читателя, правдиво и красочно запечатленные выдающимися художниками.

Читатель увидит, как разгоралось пламя классовой борьбы, как участвовали железнодорожники в первой революции 1905 г., как расправлялись с ними за это царские опричники.

Вторая часть книги «Современность» охватывает нашу эпоху. Читатель мысленно пройдет по славным путям битв гражданской войны, увидит, как мужественно и честно выполняли железнодорожники свой революционный долг перед родиной, участвуя в завоевании новой жизни.

Строительству этой новой жизни и творчеству железнодорожников посвящены остальные главы второй части сборника. Читатель узнает, как строились новые магистрали и создавалась новая техника, как налаживалась работа железных дорог, пострадавших от разрухи и интервенции, как в упорной борьбе росло и закалялось новое племя советских людей — то, которое выдвинуло замечательных мастеров социалистического труда.

Еще не созданы художественные произведения, рисующие жизнь и дела таких замечательных новаторов-железнодорожников, как Кривонос, Огнев и др., но уже угадываются их черты в таких образах, как машинист Щербина из романа «Магистраль» Карцева, как начальник станции Левин из рассказа Платонова «Бессмертие», и другие герои рассказов, повестей и стихов советских писателей.

Для того чтобы резче подчеркнуть всю красоту и мощь плодотворного труда советских железнодорожников, в сборнике даются отрывки из произведений некоторых советских и иностранных писателей, правдиво рисующих жизнь и борьбу железнодорожников за рубежом; то, что для нас является «минувшим», для них там все еще остается мрачным «сегодня». Этот материал выделен в особую главу «За рубежом».

Основное содержание книги составляют произведения писателей дооктябрьской России и советских художников. Писатели капиталистических стран представлены значительно слабее. Это имеет свое основание. Главная цель сборника — показать как можно шире железнодорожный транспорт и железнодорожников нашей страны.

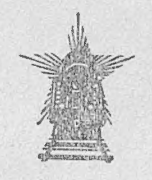
В книгу включены не только те произведения, где показаны сами железнодорожники, но и те, в которых наряду с ними действуют люди, чью волю выполнял в то или иное время железнодорожный транспорт или кого он обслуживал. Это лучше подчеркивает роль железных дорог в нашей жизни и помогает отчетливее обрисовать нравы и быт соответствующего времени.

Многие произведения пришлось поместить в отрывках. Это вызывалось или большим их объемом или тем, что в них интересующей нас теме были посвящены только отдельные главы или куски, а между тем ознакомить с ними читателя составители считали необходимым. В таких случаях составители стремились к сохранению возможно большей художественной цельности каждого отрывка, облегчая читателю

усвоение содержания путем пояснительных сносок, а иногда и коротеньких предисловий, излагающих в основном сюжет произведения.

Составители надеются, что читатели сборника, ознакомившись с отрывками, взятыми из лучших произведений писателей прошлого и нашего времени, самостоятельно обратятся к творчеству этих писателей. Помещенные в сборнике целиком и в отрывках произведения Гейне, Андерсена, Некрасова, Чехова, Горького, Салтыкова-Щедрина, Серафимовича, Золя, Гаршина, Гарина-Михайловского, Николая Островского, Алексея Толстого и многих других дадут яркое представление о жизни и труде железнодорожников былого и нашего времени, предоставят читателю возможность сравнить «век нынешний и век минувший» и глубоко осознать весь ужас прошлого и все величие нашей счастливой жизни, полной свободного трудового творчества и радостной героической борьбы за великое дело Ленина — Сталина.

Материал сборника является выразительной иллюстрацией к ленинским словам о значении железных дорог, представляющих собой «одно из проявлений самой яркой связи между городом и деревней и между промышленностью и земледелием, на которой целиком основывается социализм».



Часть первая

МИНУВШЕЕ

☆



Путешествие в паровом экипаже (стар. англ. гравюра). Гос. Музей изобразительных искусств

Глава I

СТАЛЬНЫЕ КОНИ

Ганс-Христиан Андерсен

Чудо-конь

В виду того что многим из моих читателей не приходилось еще видеть железной дороги, я прежде всего постараюсь дать им о ней хоть некоторое понятие. Представьте себе обыкновенную дорогу, прямую или извилистую — все равно; безусловно необходимо только, чтобы она была гладкая, ровная, как пол в комнате. Ради этого прорывают встречающиеся на пути горы, перебрасывают через болота и глубокие пропасти мосты на арках. Когда же такой ровный гладкий путь готов, по всему протяжению его прокладывают железные рельсы, по которым покатятся колеса вагонов. Впереди всех вагонов локомотив, который управляется рукой опытного мастера, знающего, как остановить его, как пустить в ход; к локомотиву прицепляют один за другим вагоны, в них набираются пассажиры или скот, и—марш!

Прибытие поезда на каждую станцию известно по часам и минутам, и уже издалека слышится сигнальный свисток, извещающий, что поезд тронулся с места; сейчас же на всех боковых дорогах, пересекающих рельсовый путь, опускают шлагбаумы; добрым людям — и пешим, и конным—приходится ждать, пока поезд пройдет. Вдоль всего рельсового пути понастроены на известных расстояниях друг от друга маленькие домики для сторожей. Расстояния эти невелики, — надо, чтобы каждый сторож мог видеть развевающиеся флаги в руках соседних сторожей и успевать держать свой участок пути в исправности; на рельсах не должно валяться ни камешка, ни веточки.

Так вот вам и железная дорога! Надеюсь, что меня поняли.

Предстояло и мне в первый раз в жизни проехаться по железной дороге. Полдня и всю следующую за ним ночь я трясся в дилижансе по ужаснейшей дороге от Брауншвейга до Магдебурга. Усталый донельзя приехал я на вокзал и через час должен был снова пуститься в путь, но уже по железной дороге.

Не скрою, что я еще заранее испытывал во всем своем существе какой-то особый болезненный трепет; назову это ощущение, пожалуй, железнодорожной лихорадкой! Оно достигло высшего своего напря-

жения в ту минуту, когда я вступил в огромное здание вокзала, откуда отходили поезда. Батюшки мои, что тут была за суматоха, что за беготня и возня с чемоданами и мешками, что за свист и шипение! Шипели и свистели локомотивы, выпускавшие пары. В первую минуту просто не знаешь даже, куда приткнуться, где остановиться, чтобы не попасть под вагон, паровик или тележку с багажом. Конечно, безопаснее всего оставаться на платформе; ряды вагонов теснятся к ней, словно гондолы к набережной, а там дальше на дворе целая сеть рельсов, перекрещивающихся между собою, будто какие-то магические линии. Да так оно и есть; только провела-то их человеческая мудрость; вагоны не должны сходить с этих магических линий, тут дело идет о жизни и и смерти или искалеченьи сотен людей. Я впился глазами в эти вагоны, в локомотивы, пустые тачки, гуляющие с места на место, трубы и, бог весть что еще, мелькавшее передо мною в этом заколдованном царстве. Тут все предметы как будто с ногами! Дым, свист и толкотня пассажиров, стремящихся занять места, чад сала, фырканье паровозов — все это просто ошеломляет, особенно если человек, как я, например, находится тут впервые и невольно рисует себе разные страхи: а вдруг мы опрокинемся, переломаем себе руки и ноги, взлетим на воздух или столкнемся с встречным поездом и разобьемся вдребезги? Думаю, впрочем, что такие страхи мерещатся лишь тому, кто отправляется по железной дороге впервые.

Вагоны делятся на три класса; вагоны первых двух — те же закрытые дилижансы, только пошире; вагоны третьего класса открытые, и проезд в них стоит невероятно дешево. Самому бедному крестьянину можно пользоваться ими, — это обойдется ему дешевле, чем остановки и ночевки на постоялых дворах, если он пустится в дальний путь пешком.

Вот раздается сигнальный свисток... Звук не из красивых, напоминает визг поросенка, когда его режут. Усаживаешься точно в удобной карете, кондуктор запирает двери вагона и берет ключ себе, но мы можем опустить стекла окон и таким образом дышать свежим воздухом, не опасаясь сквозняка. Вообще вагоны почти не отличаются от обыкновенной кареты, только гораздо удобнее; здесь можно отдохнуть после утомительного переезда в дилижансе.

Вот вагоны слегка дергает, соединяющие их цепи натягиваются, опять раздается сигнальный свисток, и поезд трогается, но сначала так медленно, словно игрушечный поезд, который тащит на веревочке детская ручонка. Мало-по-малу скорость увеличивается, но ты и не замечаешь этого, преспокойно читаешь себе книгу, разглядываешь карту, и сам даже не знаешь хорошенько, движется ли поезд. Вагоны скользят по рельсам, как сани по гладкому снегу. Выглянув же в окно, ты заметишь, что мчишься вперед, точно вагоны запряжены горячими конями, несущимися вскачь. Ход все ускоряется, и, наконец, тебе кажется, что ты летишь на крыльях ветра. При этом ни малейшей тряски, ни резкой струи ветра в лицо, словом, никаких неприятностей, сопряженных со скорой ездою на лошадях.

Что это красное промелькнуло мимо нас, как молния? Это флаг в руках сторожа, стоящего на своем посту. Выгляни в окно! Поле

на расстоянии трех-семи сажен представляется бегущим, как стрела, потоком. Трава и растения просто обгоняют друг друга; право, как будто стоишь где-то вне земли и видишь, как она вертится на своей оси. Пристальное созерцание убегающей дороги, однако, скоро утомляет глаза, но брось взгляд вдаль — там предметы проносятся мимо нас не быстрее, чем когда мы едем в обыкновенном экипаже, запряженном парой добрых коней. На самом же дальнем горизонте все как будто стоит неподвижно, так что отлично можно разглядеть всю местность и получить цельное впечатление.

Так-то вот и следует путешествовать по странам, расположенным на ровной, гладкой поверхности! Города как будто лежат рядышком; не успеешь проехать один, глядь — уже и другой! Так вот, должно быть, минуют города и перелетные птицы. Обыкновенные проезжие, которых обгоняешь по дороге, словно совсем не двигаются с места; видно, правда, что лошади подымают ноги, но снова опускают их как будто на то же место, а мы уж и промчались.

Недаром же сложился известный анекдот об одном американце. Он тоже в первый раз ехал по железной дороге, и, видя в окно мелькающие один за другим верстовые столбы, вообразил, что едет по кладбищу, — памятник на памятнике! Я бы не привел этого анекдота, если бы он не характеризовал так удачно ту быстроту, с которой вообще несется поезд железной дороги. И немудрено, что анекдот этот не выходил у меня из головы, когда я глядел в окно; если мимо нас и не мелькали столбы, то мелькали красные сигнальные флаги, и тот же американец сказал бы пожалуй: «С чего это все люди разгуливают сегодня с красными флагами»?

Я же расскажу сейчас другой анекдот. Когда мы проезжали мимо забора, сократившегося, на мой взгляд, в один шест, сосед сказал: мне: «Вот мы и в княжестве Гота!» Затем он взял себе понюшку табачку и предложил табакерку мне; я поклонился, взял тоже щепотку, чихнул и спросил: «А долго ли предстоит нам ехать по этому княжеству?» «О!» ответил он: «Мы проехали его, пока вы чихали!»

А между тем бывает, что поезда идут еще куда быстрее нашего; станции сменялись тут чуть не ежеминутно, и поезд поэтому шел замедленным ходом; на каждой станции минутная остановка; некоторые пассажиры выходят, другие садятся, слуги подают им в открытые окна разного рода прохладительные и подкрепительные яства и пития — кому что по вкусу! Здесь, в буквальном смысле слова, жареные рябчики сами летят вам в рот,—только заплатите!.. А затем—опять в путь. Болтаешь с соседом, читаешь книгу, любуешься природою, стадом коров, с изумлением озирающихся на поезд, или лошадьми, которые вырываются из рук кучера и несутся сломя голову с досады, что десятка два каких-то вагонов осмеливаются пуститься в путь без их содействия, да еще перегнать их, а там глядишь, — снова оказываешься под крышей, у платформы, где поезд останавливается. И не заметил, как проехал пятнадцать миль, в какие-нибудь три часа махнул в Лейпциг! В тот же день, часа четыре спустя, сделав почти такой же конец, но уже не по ровной местности, а через горы и реки — приезжаешь в Дрезден.

Я слышал от многих, что будто бы с проведением железных дорог путешествие утратило всякую поэзию, что пролетаешь мимо красивых и интересных местностей на крыльях ветра. Что касается последнего неудобства, то всякий, ведь, волен остановиться на какой станции ему угодно, осмотреть, что его интересует, и затем со следующим поездом продолжать путь. С первым же утверждением я окончательно не согласен. Путешествие утрачивает всякую поэзию именно, когда сидишь запакованным в узкий дилижанс или почтовую карету, трясясь до отупения, глотая пыль и умирая от жары в самое лучшее время года, или—от холода и бездорожья зимою. Да и самые картины природы приходится тогда воспринимать хуже и медленнее, нежели совершая путь по железной дороге.

Великое изобретение—железная дорога! Благодаря ей мы теперь поспорим могуществом с чародеями древних времен! Мы запрягаем в вагоны чудо-коня—и пространства как не бывало! Мы несемся, как облака в бурю, как птицы во время перелета! Конь наш храпит и фыркает, из ноздрей его валит дым столбом! Быстрее не летели и Фауст с Мефистофелем на плаще последнего! Мы в наше время добились естественными путями такого же могущества, какого в средние века думали добиться лишь с помощью дьявола! Теперь мы потягаемся даже с ним самим: не успеет он опомниться, мы уже оставим его далеко позади...

☆

Генрих Гейне

Конь и Осел

По железным рельсам, как молния скор,
Паровик с вереницей вагонов,
С флагом дыма над самой трубой
Рыщет с треском и звоном.

Мимо усадьбы поезд прошел...
Стоял за палисадом
Белый конь. Длинношеий осел
Жевал репейник рядом.

И неподвижным взглядом конь
Смотрел на поезд. Дрожал он
Каждой мышцей и горько сказал:
«Как меня взволновал он!

«Воистину, будь я не белый конь
От самой природы, кожа
Моя побледнела бы теперь
От этого ужаса, — боже!

«Всем — поголовью наших коней,
Всем готов приговор нам.
И хоть я бел, но грядущий день
Я вижу вороно-черным.

«Конкуренция нас, коней, убьет
С паровою этой машиной —
При езде и бегах начнет человек
Обходиться железной скотиной.

«А когда езду, когда бега
Человек без нас оформит —
Адью, о сено! адью, овес!
Кто нас тогда накормит?

«Человечье сердце — камень и лед,
Человек и пальцем не двинет
Задаром. Нас из конюшен—вон,
И конь от голоду сгинет.

«Мы не умеем ни брать, ни красть,
Подобно различным людям,
Не льстим, как человек и пес, —
Зато в живодерне и будем».

Так плакался конь, вздыхал глубоко,
А рядом осел, владея
Собою, с покойной совестью жрал
Вторую головку репея.

Он морду облизнул языком,
И выступил с тихим ответом:
«А я не желаю сейчас страдать
И гадать о будущем этом.

«Жестокое завтра гордым коням
Теперь грозит, конечно,
Но мы, смиренные ослы,
На дело смотрим беспечно.

«Будь белый, и рыжий, и пегий конь, —
Всех выживут, без разбора,
Но нас, ослов, этот Ганс фон Пар
Заменит не так-то скоро.

«И как бы ни были умны
Людские машины эти,
Во всякое время любой осел
Сумеет прожить на свете.

«Своих ослов, исполняющих долг,
Никогда не оставит небо,
Ослов, бегущих подобно отцам,
На мельницу за хлебом.

«Мельник мелет, жернов стучит,
Он ссыпает муку мешками;
Я ношу к хлебопеку, хлебопек печет,
Человек жрет хлеб с калачами.

«И этот предвечный круг естества
Никогда не устанет вращаться,
И неизменен и вечен, как мир,
В нем будет осел сохраняться».

МОРАЛЬ
Рыцарский век теперь далеко,
Гордым коням теперь нелегко.
Но смирная тварь, осел, неизменно
Будет жевать овес и сено.

☆

Чарльз Диккенс

Машинист

(Отрывок из рассказа „Станция Мегби")

— Всего нà всего? Да, всего нá всего с 1841 года я убил семь человек, взрослых и мальчиков. Уж не так же это много за столько-то лет!

Это было на станции Мегби.

Человек, который, обращаясь ко мне, произнес с таким невозмутимым спокойствием эти ужасные слова, стоял, небрежно облокотившись о стенку. Он был уже не молод. Коренастый, с красным лицом и черными, как уголь, глазами, очевидно повидавшими на своем веку и ветер, и непогоду, ибо белки их были не белаго, а темножелтого цвета и все исполосованы, словно они выдержали операцию. Он вовсе не выглядел легкомысленным болтуном, говорящим всякий вздор. Напротив, он говорил совершенно серьезно, как человек, на котором лежит известная ответственность, и выражение лица имел сосредоточенное и даже отчасти грустное. Одет он был в черную коротенькую куртку и грязные холщевые штаны, на голове носил черную приплюснутую шапочку.

— Так-то-с, сударь,—продолжал он,—вот уже двадцать пять лет, как я служу машинистом, и за все это время я убил всего семь человек, взрослых и мальчиков. Вряд ли кто из моих товарищей может похвастать такой удачей. Само собою разумеется, что я говорю только об

убитых товарищах — кочегарах, артельщиках и т. д., не считая пассажиров. И все дело, сударь, в том, чтобы наблюдать равномерность и не зевать.

Я поинтересовался узнать, как он попал в машинисты.

— Мой отец был колесным мастером, — начал он. — У него было свое маленькое заведение у самой железной дороги, что идет от Лидса к Сельби. Это — старая дорога. Прежде всего провели железную дорогу на Ливерпуль и Манчестер—вы, вероятно, слыхали: еще там был убит мистер Гескинсон, — а потом нашу. Бывало только - что послышится свисток машины, а уж мы, дети, тут как тут, смотрим на поезд во все глаза и кричим «ура»! Я видел, как машинист поворачивал то одну ручку, то другую, и думал себе: хорошо быть машинистом, управлять такой чудесной машинкой. Раньше, когда железной дороги еще не было, я считал самым первым человеком во всем мире кучера, что правил дилижансом, и мне самому очень хотелось сделаться почтарем. У нас в доме висел портрет Георга III в красном кафтане. У почтаря тоже был красный кафтан, поэтому я всегда смешивал его с королем. Вся разница была в том, что почтарь носил низкую шляпу с широкими полями, а у короля такой шляпы не было. Как я тогда понимал, почтарь был важнее, чем король. Я всегда мечтал, как бы мне сделаться таким человеком, чтобы управлять чем-нибудь. Как-то раз свезли меня в город. Там я слыхал музыку, видел, как какой-то человек командует музыкантами, и мне самому захотелось стать капельмейстером. Вернулся я домой, вырубил себе палочку, и везде, бывало, ношусь с нею, воображая, что я капельмейстер и управляю оркестром. В другой раз, когда мы были в зверинце, очень уж меня соблазнял человек, что стоял впереди с хлыстом в руках, и я еще подумал, как хорошо быть на его месте.

Но когда я в первый раз увидал поезд, все прежние фанаберии вылетели у меня из головы, и я решил, что буду машинистом. Хотя я был тогда еще небольшой мальчик, но мне недолго пришлось жить на отцовских хлебах: отца моего убило молнией; он в грозу стоял под деревом — прятался от дождя,— а у матери нехватало сил кормить всю семью. Вот я и отправился на другой день после похорон к начальнику станции: «Так и так, мол, барин, хочу быть машинистом». Он засмеялся. «Рано, говорит, ты вздумал: дескать, очень еще мал ростом». Дал мне грош. «Ступай, говорит, домой; вырасти, а через десять лет приходи ко мне». Ну, разумеется, в те поры у меня и думки не было об опасности. Хорошо же, думаю, коли нельзя быть мне машинистом, так все-таки буду хоть около машины; а так как хорошего места мне не давали, я и поступил на пароход — разбивать уголь для кочегара. Вот, с чего я начал. Потом я сам стал кочегаром, сначала на корабле, а после на паровике; прослужил два года и перешел на эту самую дорогу, что проходит мимо нашего домика. В первый раз, как я ехал на этой машине, все выбежали мне навстречу: и мать, и сестры, и братья смотрят на меня, машут руками, кричат «ура». И я смотрю на них и тоже машу рукой. Мы летели на всех парах, и никогда в жизни мне не было так хорошо, как в ту минуту.

Когда любишь свое дело, оно спорится у тебя в руках все равно,

как если бы ты был нивесть какой умный. Скоро прошла молва, что меня считают наравне с самыми лучшими машинистами новой линии. Потому что я любил свое дело пуще всего на свете. Не то чтоб я знал машину, как следует, как там ученые знают всю ее подноготную: отчего пар действует внутри и прочая. Нет, но вот если что не в порядке, развинтится или что, я все могу, если, разумеется, нет поломки. Я так понимаю: пустить машину — все равно, что выпить рюмку водки: повернул ручку в одну сторону, она и пошла; повернул в другую, нажал тормоз, — и стоп машина. Вот и вся штука. А чтобы знать по-ученому, что там делается внутри машины, от этого пользы никакой. Да чего лучше: вот хоть бы наши механики, что складывают и разбирают ее по частям, —из них выходят самые плохие машинисты. Все равно, как если бы человек знал, что у него делается внутри, какая у него там сложная машина, — он не стал бы ни есть, ни пить, ни танцовать, ни бегать—все боялся бы,что повредит свое нутро. Так вот и с механиками. А мы ничего не знаем, так нам и горя мало.

Пустить машину — одно, а управлять — совсем другое. Повернуть ручку, развести пары — немудреная штука; это может всякий, чуть не ребенок, а поди-ка не всякий сумеет справиться с машиной в пути; все равно, как не всякий умеет ездить верхом как следует. А оно-таки очень схоже одно с другим. Если с самого начала погнать лошадь в галоп, она пробежит версты три-четыре, и с ног собьется; после уже поневоле пойдет рысью или шагом. Так вот и с машиной. Если с самого начала пустить много пару, скоро в котле нехватит воды, а пока нагреется новая, придется еле-еле тащиться. Вот в том-то и вся штука. Надо постоянно наблюдать равномерность, чтоб и воды в котле всегда было достаточно, да чтоб огонь в топке был всегда ровный. То же самое и с котлом: если добавить его водой, когда она выкипела до половины, то она скоро закипит; если же ждать пока она вся выкипит, то холодная вода не скоро нагреется Надо, чтобы поезд шел с одинаковою скоростью и на гору, и под гору. Иной машинист истратит весь пар, глядь, — подошли к подъему, а ему и втащить-то поезд наверх нечем. Если вы едете в поезде и он бежит неровно, то тихо, то скоро, — значит, машинист плохой. Пассажиры страх как боятся такой неровной езды. Вот он летит, что есть мочи, и вдруг иной раз среди туннеля начинает замедлять ход. Станции не видно, — что ж это значит? Пассажиры пугаются, думают — опасность. А на деле — ничего нет: машинист истратил весь пар.

Четыре или пять лет перед тем, как поступить сюда, я ездил на брайтонском экспрессе; так годовые пассажиры — у кого, значит, годовые билеты — всегда знали, когда я еду с ними на машине; стало быть, не бросает их из стороны в сторону, в вагоне-то. Бывало, выйдут господа на платформу и спрашивают. «Кто нынче с нами едет, Джим Мартин?» Если кондуктор ответит: «точно так, господа», «ну, слава богу», говорят, и без всякого страха садятся в вагоны. А ведь нашему брату, машинисту, нет от этого никакой выгоды — за все, про все получают кондуктора, а дѐла-то у них поди не больше нашего. Да и кому дело до машиниста! Пассажиры думают, что поезд идет сам собой, а кабы мы не глядели в оба, не исполняли как следует нашу

службу, не раз поезд полетел бы кувырком с кручи. У меня поезд шел до Брайтона 52 минуты. В расписании было сказано, будто 49 минут, ну да там не без того, чтобы приврать маленько. Нам, бывало, страсть какая работа с кочегаром; мало того, что смотри за машиной, еще гляди на сигналы, а сигналов-то не перечесть по всей дороге. На этой линии я, бывало, делал 81 милю и три четверти в 86 минут. Можно очень быстро ездить, и никакого несчастия не случится — лишь бы дорога была в исправности, машина хорошая и чтобы поезд не слишком был длинный.

Да, если вагон качается во все стороны, это значит дело плохо. Следует сейчас же заявить об этом, чтобы на первой же станции его покрепче сцепили с соседним вагоном. Когда вагоны плохо сцеплены, они прыгают и легко соскакивают с рельсов. Ну, и когда они слишком крепко сцеплены, тоже нехорошо. Надо, чтобы все было в самый раз, чтобы буферà свободно двигались. Пассажиры больше всего боятся туннелей, а нынче-то в туннелях меньше опасности, чем в каком угодно открытом месте. Мы не войдем в туннель, пока не получим телеграммы, что путь свободен.

Поезд можно остановить очень скоро, даже экспресс, лишь бы кондуктора работали заодно с машинистом и не зевали бы, когда нужно тормозить вагоны. Много зависит от кондукторов: один тормоз позади вагонов сто́ит двух впереди. Ведь машина теряет в весе, потому что уголь горит, а вода уходит паром; ну, а вагоны-то, что позади машины, всегда имеют один вес. Когда на поезде молодые кондуктора, нам с ними беда — они такие ретивые, иной раз затормозят вагоны так рано, что мы насилу-то дотащим поезд до станции. А когда они становятся постарше, устанут, так в другой раз и надо затормозить вагоны, а они мямлят. От этого самого часто происходят несчастия; хоть они и клянутся, что во-время затормозили вагоны, но это неправда, — а поди докажи, что они врут.

Вы спросите, для чего стучат молотком по колесам, может, мол, так себе, для проформы?

Не знаю, что вам на это и сказать. Редко случается, чтобы в колесах нашли неисправность. Ну, да и то правда: когда поезд приходит на станцию среди ночи, ребята стучат-то стучат, а сами еле глаза продирают. Всякому в эту пору спать хочется. Им бы по-настоящему следовало стучать по ступицам, да они этого никогда не делают. Часто бывают несчастия на железной дороге, только не обо всех о них в газетах-то пишут. Иной раз вагоны битком набиты пассажирами; вдруг какая-нибудь оплошность, и быть бы беде — тогда, разумеется, все бы разлетелось на куски, ан, глядь, каким-то чудом бог спас. И никто об этом не знает, кроме машиниста да кочегара. Была со мной такая оказия, когда я ездил по восточным дорогам. Делаю я раз поворот и вижу: мчится нам навстречу поезд по нашей же линии. Я сейчас затормозил машину, а сам думаю — поздно, все равно пропадать. Чужая машина уж совсем близко — я кричу кочегару: «прыгай наземь!». Он в ту же секунду спрыгнул. Хотел и я соскочить с машины, уж и руку отнял от рычага, а чужой-то локомотив возьми да и поверни на другую линию; так, поверите ли, ихний-то последний вагон чуть - что не задел

моей машины. Никогда в жизни я не видел, чтобы так близко проскочил вагон. Мой кочегар расшибся до смерти. Еще бы одна секунда, и я бы тоже спрыгнул, и тоже бы убился. Не знаю, что бы тогда сталось с поездом.

А сколько народу мы передавили, так одному богу известно. Раз ночью и мне, и моему помощнику вдруг что-то брызнуло в лицо. «Ведь это не с машины»,— говорю я. «Нет,—говорит,—не с машины, что-то густое, Джим». Это была кровь. Вот что. После уж мы узнали, что в эту ночь машиной раздавило углекопа. Когда бог попустит, наедешь на кого-нибудь из своих же ребят,—мы молчим, никому ни гу-гу. По большей части они сами виноваты, что попадают под поезд. А насчет того, чтоб мы постоянно думали об опасности,—нет, этого с нами не бывает. Мы уже привыкли ко всему. Но только и того нельзя сказать, чтобы мы были уж такие беззаботные, беспечные. Я думаю, никому свое дело так не любо, как нашему брату, машинисту. Мы няньчимся со своими машинами, как будто они живые, и хвастаем ими, как охотники или жокеи своими лошадьми. Да у наших машин и повадки такие же, как у лошадей: то она лягнет, то она нырнет, то заржет — посвоему, разумеется. Попробуйте-ка посадить на машину вовсе незнакомого с этим делом человека — он не будет знать, как к ней подступиться. Да-с, удивительные штуки эти машины, и все для них придумывают новое да новое. Вот на последней выставке была такая машина, что забирает воду на полном ходу. Ну как бы, кажись, выдумать такую вещь, а дело выходит как нельзя быть проще, что твоя азбука: местами по линии между рельсами ставят корыта с водой. Вы нажимаете ручку, насос опускается вниз и набирает воду в резервуар по три тысячи галлонов в минуту.

Машинист больше всего думает о том, как бы выиграть время — вот его главная забота. Когда я ездил на брайтонском экспрессе, мне все чудилось, что я бегаю вперегонку со временем. Я не боялся никакой скорости, боялся только одного—задержаться в пути и не приехать на станцию минута в минуту. Когда мы прибываем на место, то должны дать отчет, во сколько времени сделали поездку. Нам общество дает часы, по ним мы и должны ехать. Перед тем как пускаться в путь, мы должны пройти через комнату мимо инспектора, значит, для того чтоб он поглядел, пьян машинист или нет.

Но с нами не говорят ни слова, так что если немного подвыпивши, — ничего, сойдет. Был у меня кочегар. Раз как-то прошел он мимо инспекторов пьяный, да как влез на машину, так и повалился на уголья, словно бревно, и проспал весь путь. Я за него проработал все время. Вы хотите знать, пьяницы машинисты или нет? — по правде сказать, часто с ними случается этот грех. Посудите сами, работа какая тяжелая: одну половину тела огнем палит, другая — обледенела. То мокнешь до костей, то мокрое платье на тебе же и сохнет. Уж если кому пить, так машинистам. А, впрочем, машинист никогда не бывает пьян. Ветром сейчас же весь хмель из головы выдует.

Мне сдается, что машинисты вообще самый здоровый народ в мире, но только они не живут долго: перво-наперво тряска и, во-вторых, никогда им не доводится поесть как следует. К обеду он никогда не по-



Вантайль. Железная дорога Париж-Сен-Жермен (стар. карикатура). Гос. музей изобразительных искусств

падет домой. Когда он утром садится на машину, он берет с собой кусок холоднаго мяса с хлебом, вот и весь его обед, и ест-то он его перед огнем, так как не смеет отлучиться от машины. А толчки то и дело, — крепко разбивают человека. Не всякое общество соглашается страховать нашу жизнь. Жалованье машинист получает средним числом по 8 шиллингов в день, а если, значит, он сэкономил топливо, так ему удается кроме того заработать от 8 до 10 шиллингов в неделю. Я не жалуюсь; по мне жалованье еще куда ни шло, но уж зачем нам, бедным людям, платить подоходный налог, это уж бог знает что такое. Наше общество показывает, какое кто из нас жалованье получает, и мы волей-неволей должны платить. Просто срам да и только!

Вы хотите знать, часто ли мы бываем дома, видимся с семьей? Вот вы сами посудите. Я ухожу из дому в половине восьмого утра, когда дети еще не вставали, а возвращаюсь в половине десятого вечера — иногда позже, когда они уже спят. Вот как у меня идет весь день: выезжаю я из Лондона в 8,45, поезд идет $4^1/_2$ часа; ем на тормозе холодный обед, смотрю, в порядке ли машина, возвращаюсь назад, чищу машину, рапортую начальству и иду домой — 12 часов тяжелой работы и без настоящей еды. Наши жены всегда боятся за нас; когда мы утром уходим из дому, мы не знаем, доведется ли вернуться назад. По-настоящему нам следовало бы, как только вернулся на станцию, итти прямо домой к своим, они постоянно о нас думают, от нас всего ждут, — но это не всегда так бывает. Прежде всего непременно зайдешь в трактир, — положим, и вы сделали бы то же самое, еслиб вам пришлось весь день промаяться на машине. Наши жены как-то сами умудряются узнавать, благополучно ли мы добрались назад — друг дружку расспрашивают: «Видела ты моего Джима? — спросит моя жена, повстречавшись с товаркой. «Нет, родимая, не видела, а вот Джек видал, как он с полчаса назад шел со станции». Ну, стало быть, Джим ее жив и здоров, и она знает, где его найти в случае надобности. Вот тогда тяжко бывает, когда по дороге несчастье случится с товарищем и надо это сообщить его жене. Всем нам в ту пору тошно бывает. Помню, когда Джэк Давидж был убит, никто не хотел пойти сказать его жене. У нее, у бедняжки, было тогда семь человек детей — двое меньших лежали в лихорадке. Мы-таки уговорили старуху Барридж — мать Тома Барриджа. Да жена, должно быть, сейчас догадалась, несчастная. Только-что старуха вошла к ней в комнату, не успела рта раскрыть, а она уже как мертвая повалилась наземь. Так и пролежала всю ночь, и только на другое утро ей сказали, что ее Джэк убит. Но она все равно в душе уже раньше знала, что не видать ей больше мужа. Незавидная наша жизнь, нечего сказать!

Никогда я не боялся, когда ездил на машине; только один раз был такой случай. О себе я, разумеется, вовсе не думаю—уж на то пошел; стало быть, бояться нечего, да мы и привыкли ко всякой опасности. И о пассажирах я не беспокоюсь. Машинист никогда не думает, что делается позади его машины. Машина в порядке, и с вагонами стало быть ладно. Не все, конечно, зависит от машиниста. Ну, а один раз я боялся за пассажиров. В это утро в поезде ехал мой сынишка Биль. Бедняжка был калека; поэтому мы его любили больше, чем других детей; к тому

же он был такой тихий и умный мальчик. Он ехал в деревню к тетке, чтобы пожить там на чистом воздухе. Мы надеялись, что он там поправится. В это-то утро я в первый раз почувствовал, что за моей спиной едут живые люди, а больше всего, конечно, я думал о моем бедном мальчике, о том, что его жизнь в моих руках. В поезде было 20 вагонов, и мне казалось, что во всех 20 сидит мой маленький Биль. Когда я нажимал ручку, чтобы пустить пар, у меня рука дрожала. Когда подъезжали к сторожке стрелочника, у меня сердце замирало от страха, а когда приближались к станции, я весь был в холодном поту. Проехали всего 50 миль от Лондона, а я уже опоздал на 11 минут. «Что это нынче с вами сталось?»—спрашивает меня помощник:—«Верно, лишнюю рюмку ночью пропустили?». «Не говори со мной, Фрэд, пока не приедем в Питерборо, да, пожалуйста, смотри в оба»,—прошу я его,—«я знаю, ты славный парень». Кабы вы знали, как я благодарил бога, когда мы благополучно добрались до той станции. Тетка уже ждала Биля на платформе. Я видел, как она вынесла его на руках из вагона, и крикнул, чтоб она принесла мальчика ко мне. Я взял его к себе на машину и как начал целовать, так всего его измазал и углем, и салом—просто страсть.

Тут я совсем успокоился. Я уверен, сударь, что после того, как Биля унесли из вагона, жизни пассажиров уже не грозила такая опасность, как при нем. Вот и выходит, как вы сами видите, сударь, что машинистам не след ни знать слишком много, ни чувствовать слишком сильно.

*

Н. Добролюбов

В прусском вагоне

По чугунным рельсам
Едет поезд длинный;
Не свернет ни разу
С колеи рутинной.

Часом в час рассчитан
Путь его помильно...
Воля моя, воля!
Как ты здесь бессильна!

То ли дело с тройкой!
Мчусь, куда хочу я,
Без нужды, без цели
Землю полосуя.

Не хочу я прямо —
Забирай налево,
По лугам направо,
Взад через посевы.

Но увы! — уж скоро
Мертвая машина
Стянет и раздолье
Руси-исполина.

Сыплют иностранцы
Русские милльоны,
Чтобы русской воле
Положить препоны.

Но не поддадимся
Мы слепой рутине:
Мы дадим дух жизни
И самой машине.

Не пойдет наш поезд,
Как идет немецкий:
То соскочит с рельсов
С силой молодецкой;

То обвалит насыпь,
То мосток продавит,
То на встречный поезд
Ухарски направит.

То пойдет потише,
Опоздает вволю,
За мятелью станет
Сутки трое в поле.

А иной раз просто
Часика четыре
Подождет особу,
Сильную в сем мире.

Да, я верю твердо:
Мертвая машина
Произвол не свяжет
Руси-исполина.

Верю: все машины
С русскою природой
Сами оживятся
Духом и свободой.





Глава II

СТРОИТЕЛИ

Н. А. Некрасов

Железная дорога.

Посвящается детям

Ваня (в кучерском армячке):
Папаша! кто строил эту дорогу?
Папаша (в пальто на красной подкладке):
Граф Петр Андреевич Клейнмихель[1], душенька!
(Разговор в вагоне)

I

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Все хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

II

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

---

[1] Граф Клейнмихель был назначен Николаем I начальником строительства Петербурго-Московской ж. д. Отличался самодурством и жестокостью.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ваничка, знаешь ли ты?

Чу, восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
«Любо нам видеть свой труд!

«Мы надрывались под зноем, под холодом,
«С вечно согнутой спиной,
«Жили в землянках, боролися с голодом,
«Мерзли и мокли, болели цынгой.

«Грабили нас грамотеи-десятники,
«Секло начальство, давила нужда...
«Всё претерпели мы, божии ратники,
«Мирные дети труда!

«Братья! Вы наши плоды пожинаете!
«Нам же в земле истлевать суждено...
«Все ли нас, бедных, добром поминаете,
«Или забыли давно?.»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это все братья твои — мужики!



Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге. Гос. Третьяковская_галлерея

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорусс:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун[1] в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо-дня-в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно.
Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

III

В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!
«Видел, папаша, я сон удивительный»,
Ваня сказал: — «тысяч пять мужиков,

«Русских племен и пород представители
«Вдруг появились — и он мне сказал:
—«Вот они — нашей дороги строители!..»
Захохотал генерал!

---

[1] Колтун—болезнь кожи, от которой слипались волосы, была распространена в Белоруссии среди крестьянской бедноты.

— Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... все это народ сотворил?

— Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?

— Вот ваш народ — эти термы[1] и бани
Чудо искусства — он всё растаскал!
«Я говорю не для вас, а для Вани...»
Но генерал возражать не давал:

— Ваш славянин, англо-сакс и германе
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;

— Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...

IV

Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
«Может, и есть тут теперича лишку,
«Да вот, поди ты!..» Махнули рукой...

В синем кафтане — почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.

[1] Термы—название бань в древнем Риме. Генерал, желая «блеснуть» образованностью, очевидно, думает, что «термы»—что-то другое.

Праздный народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно... нешто. Молодцà!.. молодцà!..

«С богом, теперь по домам,— проздравляю!
(«Шапки долой — коли я говорю!»)—
— Бочку рабочим вина выставляю
«И — недоимку дарю!..»

Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком ура! по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

☆

В. А. Слепцов

Владимирка и Клязьма

(Отрывки)

. . .На другое утро пошел я взглянуть работы. Еще издали виднелись на мосту высокие, какой-то особенной конструкции, леса, обделанные и обтесанные будто напоказ, скрепленные винтами и множеством гаек; на самом верху, перекинувшись через балку, висел в воздухе человек в синей куртке, с лицом, запрятанным в кашне; внизу по мосту и во всю ширину реки синели блузы и куртки вперемешку с дублеными полушубками; и вверху, и внизу слышалась бойкая французская речь, слышались и русские бонмо[1]; под самыми сваями кто-то пел во все горло:

Je pars, adieu, Marie![2]

Народ попадался все крупный, такой основательный, надежный, и все с такими густыми и черными бородками, в теплых мерлушковых шапках и дубленых рукавицах. Прошел какой-то начальник в енотовой шубе, — никто и ухом не повел, никому до него и дела нет — всякий занят своим: таскают ящики с чугуном, только что привезенные из Москвы, прилаживают гайки, и все это так просто, свободно, без криков и понуканий, покуривая сигарку и распевая песенки о своей belle France[3].

---

[1] Словечки
[2] Я уезжаю, прощай, Мари!
[3] Прекрасная Франция.

В одном месте француз-плотник разговаривает с русским десятником, которого он посылал за сигаркою. — Combien?[1] — спрашивает француз, показывая на сигару.

— Три копейки... труа, — отвечает десятник, отдавая сдачу.— Да вот что, мусье, с тебя на чай следует, буар, буар[2]... понял?

— A oui, — говорит француз и отдает ему сдачу.

— Ну, ладно, мирси, значит.

— Merci, — говорит и француз.

С моста я зашел опять в тот балаган, где был вчера; мне еще хотелось побывать в мастерской и заглянуть в спальни. Спальня — светлая, чистая и теплая комната, аршин 15 длиною и 7 шириною, с круглою печью посередине. По обе стороны, — нары, а на них тюфяки, подушки и байковые одеяла. Под каждой постелью сундучок или шкатулка; в окнах двойные рамы и занавески. Когда я вошел, трое рабочих занимались приведением в порядок своих вещей.

Мой вчерашний знакомый, Basin[3], был тут же и чинил себе куртку; над его кроватью висел чей-то портрет. Я подошел ближе разглядеть его и спросил у Basin:

— Это, кажется, Беранже[4]?

— Oui, c'est lui, monsieur, c'est l'ami du peuple[5], — отвечал он, гордо посматривая на портрет.

Из спальни прошел я в мастерскую; там работало человек 10; кто у маленького подвижного горна, кто у слесарного станка. И тут те же чистота и порядок: все так удобно, хорошо прилажено, те же здоровые, спокойные лица, смелая речь и песни.

А там внизу, под мостом, копошился народ; человек 30 каких-то нищих всех возрастов, начиная с 15 до 70 лет, усиленно дергали измочаленный канат и тянули песню:

Черная галка, чистая полянка,
Жена Марусенька,
Чернуброва,
Чего не почуешь дома?
Ух!

Человек десять ковырялись во льду и таскали из воды обмерзлые бревна. И так-то вяло, как будто нехотя. Поковыряют, поковыряют, да почешутся; или примутся зевать, и до тех пор зевают и потягиваются, пока не увидит их десятник и не примется кричать.

— Эй, вы, шмони вы эдакие, право, шмони! Ну, что стали? Эх, палки на вас нет!

На берегу лежало бревно, а под ним теплился огонек. К этому берегу то и дело подбегали оборванные, ощипанные люди наскоро погреть руки и пожарить на огне свои худые лаптишки. Я подошел к бревну: вокруг него на корточках сидело несколько человек. И что это за народ!.. Откуда только набрали их? И каких, каких тут нет!.. И от-

---

[1] Сколько?

[2] «буар» (от франц. boire—пить) здесь употреблено в смысле «пурбуар» (pourboire)—«чаевые».

[3] Базэн (фамилия).

[4] Знаменитый французский поэт.

[5] Да, сударь, это он, это друг народа.

ставные солдаты, дряхлые и недужные, в рыжих шинельках; какие-то старые, отжившие свой век, дворовые, в валенках на босу ногу; и еще какие-то в сюртучках; у одного так даже гвоздь пришит к сюртуку вместо пуговицы; тут же и обдерганный с жиденькою бородкою, в худом армячишке бобыль — мужиченка и мальчик лет 14, бледный, тощий, с голыми коленками и судорожным кашлем. Все они как-то пугливо посматривали в ту сторону, где виднелся десятник, затягивались трубочкой и, покоптив себе руки, бежали прочь, опять на копер[1], где безустанно подымалась и опускалась тяжелая баба[2], вколачивая сваи в мерзлую землю.

У огня шёл разговор о жалованьи.

— Вот, — говорил один, — в сентябре давали 7 рублей, в октябре 6, в ноябре 5, теперь, то и жди, дойдет до 4-х.

— Нет, вот харчи-то, братцы мои, — только слава, что хозяйские харчи,— вступился другой, засунув ногу в огонь.

— А что? — спросил я.

— Да вот что, сударик, убоины теперь идет у нас 1 фунт на двоих, солдатская кашица да 1 фунт масла на 10 человек. Посуди ты сам, ну как же ты тут станешь работать? С кашицы-ти с этой инда животы подвело: не сподручна уж она больно нашему брату, кашица-то эта.

— Ну, а где же вы живете?

— Где живем-то? Вон в бараке живем. Одно слово — барака. Ни стать, ни сесть. Опять холод, стыть такая — и не приведи господи. День-ат отворена стоит, нетоплена, нахолодает; а к ночи-ти истопят,— пойдет тебе чад, дым; народу набьется видимо-невидимо, а тепла все нет; так только пар ходит. Опять же одежонка плохенькая: ночь-то ноченьку мерзнешь-мерзнешь, а утром опять на работу. Только вот тебе у огонька-то и погреешься. Ни умыться тебе, ни что, — говорил он в раздумьи, покачивая головой.

— Эво-ся! Умываться!... — смеялся молодой парнишка, подпрыгивая на одном месте. — Что ты, барин, что ли, умываться-то. Мотри, девки любить не станут.

Но тот его не слушал. Никто даже и не улыбнулся на эту остроту: им было не до смеху.

—В кухне теперь нечистота какая, — господи, не глядели бы глаза мои. На что же, кажется, мы народ ко всему привыкший, а нам и то мерзит.

— В кухне обедаете?

— Где, — в кухне? Где придется, там и обедаем. Пришел ты со своей чашечкой в кухню, нальют тебе кашицы, ну и ступай. Кой в бараке, кой на мосту; кто где хочет, там и обедает. Пойдемте, ребятишки. Ишь вон десятник идет.

— Ну-к что ж? не замай его идет. Стой, ребята! Скажем — озябли.

Десятник между тем спускался с пригорка в новом дубленом полушубке, в новой шапке и в новых зеленых рукавицах, с батожком в руках.

---

[1] Копром называют снаряд для вколачивания свай.

[2] Баба — тяжелая гиря, которой вбивают сваи. (Прим. Слепцова.)

— Ну, вы! — кричал он еще издали, помахивая палочкой. Что больно часто греться ходите? Ишь на копре-ти народу вовсе мало. Сейчас начальник пойдет.

Все отошли, я остался один. Десятник заметил меня и поклонился.

— Вот, ваше благородие, — говорил он заискивающим голосом, — что ты станешь делать с каторжным народом?

— А что?

— Все бы им вот у огня да трубочку сосать. Эдакой народец!

— Скажи, пожалуйста, откуда это вы набрали такого народу? Очень уж плох.

— Оно вот что я вам скажу: по нашему делу, выходит, — для копра такой и требуется народ-ат. Кой уж в работу ни в какую не годен, того мы и берем. Народ дешевый, а главная вещь — присмотр за ним нужен. Без присмотру ничего не поделаешь. Все норовит — как бы от дела прочь, а жалованье ты ему подавай, как путному. А то и это бывает, что у нас наймется да еще у француза в поденщину пойдет: там по полтиннику дают. И однако мы про это дело прознали да и переписали всех на особом листе; раза три в день перекличку делаем. Оно вернее-с.

— Зачем же им жалованье убавили?

— А затем-с, что этот народ временный. Вот к зиме-ти народу привалит страсть сколько, настоящего то-есть народу; а эти шематоны[1] в то время разбредутся, потому как у них одежда не в порядке. А впрочем, мое почтение-с!

На обратном пути заглянул я в бараки и тут только понял, до какой степени невзыскателен и терпелив может быть человек, поставленный в необходимость работать на копре.

★

Салтыков-Щедрин

Пестрые письма

(Отрывки)

Если бы не одно дельце, да дядя Захар Иваныч во-время удержался, то был бы он воротилою, наравне с прочими.

Дядя Захар Иваныч Стрелов — старик старый. Родился он в 1812 году, во время француза, и, следовательно, теперь ему слишком семьдесят лет. Однако, он еще довольно проворно семенит ногами, да и руки у него еще цепкие, так что если бы попала в них взятка, то, мне кажется, он мог бы ее ухватить. Сверх того, он сохранил вкус к жизни, любит поесть и выпить, но лицо у него начинает уже походить на лицо младенца, который только что начал понимать зажженную свечу и радуется, когда ею перед глазами машут. Этому сходству

---

[1] Шематон — прощелыга, бродяга.

много способствует лысина во всю голову, напоминающая голое колено. Новых порядков он не любит, не исключая даже нового обмундирования. В шкапу у него висит старинный путейский мундир, с расходящимися сзади фалдочками, и он, от времени до времени, надевает его, подходит к зеркалу, поиграет фалдами и вздохнет.

Во время коронации императора Николая он был уже кадетом, а в начале тридцатых годов получил первый офицерский чин и, в качестве инженера, рыл канавы в Шлюшине[1].

Хищником, в современном значении этого слова, он не был — в то время люди для этого слишком бесхитростны, были но взятки брал более чем охотно и в казне черпал неупустительно. Уже в Шлюшине он изыскивал недурные, в этом смысле, случаи. Выроет, бывало, один кубик, а напишет два: один — кесарю, другой себе. Скопивши таким образом сокровище, он не только сам жил в свое удовольствие, но и доставлял удовольствие другим. Съездит на лодке в Петербург, накупит конфект, апельсинов и угощает шлюшинских дам. Сверх того, был мастер устраивать вечеринки, пикники; словом сказать, был душою общества. Поэтому дамы говорили о нем: «точь в точь кавалергард!» Он же, придя в умиление от такой похвалы, сравнивал исправничиху с княгиной Шептаевой, а предводительшу — с графиней Подстаканниковой, которые, по его словам, составляли цвет тогдашнего петербургского бомонда[2] и принимали его в своих салонах за то, что он им привозил в презент копченых ладожских сигов.

В сороковых годах он был уже штабс-капитан и почувствовал у себя в кармане такие деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы вообще были странные годы. С одной стороны, Грановский, Белинский и их кружок (обратившийся потом в стадо свиней) [3] с другой стороны — Стрелов, крепостные дела и целая армия исправников и становых. Смешение человеческого образа с звериным. Кстати, в это время уже начал ходить слух, что Петербург намереваются соединить с Москвой железным путем. Надеялись, что в Петербурге подешевеет икра. Дядя Захар нюхал в воздухе и унюхал, что тут уже не шлюшинскими кубиками пахнет. Причислился к главному управлению и начал похаживать по коридорам, в надежде попасть на глаза властъ имущему. Стрелов был подвижен, изворотлив и юрок, имел хорошенькое брюшко и веселую турнюру, что при тогдашней амуниции выходило очень мило. Станет дяденька передом — у него пупочек играет; станет задом — играют фалдочки; неудивительно, что зоркий глаз начальника, при первой же встрече в коридоре, заметил его.

— Кто этот расторопный офицер? — спросил генерал.

Назвали Стрелова.

— Мне такие люди нужны!

Объяснились. Начальник возложил его на лоно, подчиненный — так и прилип к лону. В скором времени Стрелов очутился в самом

---

1 Народное название Шлиссельбурга (Прим. Н. Щедрина).

2 «Высший свет», аристократия, «избранное общество».

3 Этот выпад объясняется резким расхождением Салтыкова-Щедрина в политических взглядах с последователями Грановского, во многом остававшимися идеалистами.

сердце железнодорожных вожделений и как только почувствовал, что навстречу ему ходит лафа, то съездил в Муромские леса, набрал там шайку и держал с атаманами такую речь:

— Вы будете у меня заместо подрядчиков и строителей. Если кто у вас спросит: кто ты таков? — то не отвечайте: я муромский разбойник, а говорите: десятник, поставщик и т. п. Слушайте теперь. Вот, примерно, перед вами рельс; стоит он, положим, хоть двадцать рублей, а мы запишем сорок. Если спросят: кто ставил? — говорите: разбойник.... то, бишь, подрядчик Кудимыч. Вот и все. А когда уйдут спрашиватели, мы возьмем да двадцать рублей отдадим кесарю, а из других двадцати десять возьму я себе за выдумку, а остальные десять — вам на вино. Любо ли?

— Любо! любо! — крикнули в ответ атаманы-молодцы.

— Или: вот вам глина, вот камень, шпалы, песок, рабочие силы,— продолжал дядя, припоминая строительные элементы. — И везде одна половина — кесарева, другая — наша. Любо ли?

— Любо! любо!

И деятельность по дороге закипела. Дядя Захар бегал и ездил днем по работам, а ночью метал разбойникам банк. Денег появилась такая масса, что не знали, куда девать. Выписывали из Петербурга прелестниц и где-нибудь в селе Едрове устраивали афинские вечера. На одном таком вечере цыганку Стешку исщипали так, что для того, чтоб замять дело, потребовалось отдать табору не меньше двадцати тысяч рублей. Поливали друг друга шампанским, поили шампанским реку, загоняли на станции лошадей, чтоб побывать вечером в Александринке, с риском попасть на гауптвахту, или чтоб какой-нибудь крале, поселенной в Едрове с специальною целью увеселять муромских разбойников, доставить букет. Словом сказать, груды денег извлекались из недр казначейских кладовых, распределялись по карманам и исчезали неведомо куда.

В самый разгар этого распутства Стрелов женился. Он уже настолько имел в ломбарде[1], что мог без боязни глядеть вперед. Партия ему представилась прекраснейшая, даже знаменитая. России, лет пятнадцать тому назад, подчинился один из касимовских князей, Абдулка. Но искренности его подчинения не сразу поверили, а посадили в кибитку и приказали возить взад и вперед по Касимовскому уезду, покуда он не познает света истинной веры. Разумеется, он познал очень скоро; его окрестили, наименовали Михаилом и оставили за ним княжеский титул с фамилией Мамалыгина. Тогда же окрестили его дочь, назвав Надеждой и поместив в Екатерининский институт. Там ее выпоили, но училась она плохо, что не помешало ей в свое время притти в совершенный возраст и сделаться невестой. Вот на нее-то и обратил взоры дядя Захар Иваныч. С месяц времени кормил он Абдулку в палкинском трактире шашлыком, а будущую невесту — шепталой, и наконец, получил согласие. Ему лестно было ездить с визитами с женой, у которой на карточках было напечатано: «Надежда Михайловна Стре-

---

[1] Ломбард в те времена выполнял и функции банка, т. е. принимал вклады.

лова, рожденная княжна Мамалыгина». При этом он намекал, что жена его происходит по прямой линии от Мехмеда-Кула, «сибирских стран богатыря», который первый воскликнул: «нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!», а за ним этот возглас стали повторять и прочие армии и флоты.

Теперь бы майору Стрелову остепениться и начать бы жить да поживать с капитальцем и молодой женой, но его лукавый попутал. Дорога велась по ровному месту, а он рапортовал, что срыл гору, и потребовал сверхсметного назначения. На его несчастие, место это было хорошо знакомо, и потому рапорт его произвел изумление. Любо стяжение его заметили где-то очень высоко и послали фельдъегеря... Фельдъегерь, вместо двадцати четырех часов, судил всего двадцать четыре минуты, посадил Стрелова в тележку и привез в Петербург. Покуда он сидел в кутузке и мыкался по мытарствам, Надежда Михайловна отчаянно вопияла:

— Неужто я буду солдаткой?

Но дело кончилось благополучнее, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежние заслуги майора (он несколько таких гор прежде срыл) и велело ему подать в отставку, вместо того, чтоб забрить лоб.

Стрелов поселился безвыездно в деревне и считал деньги. Очень редко он наезжал в Петербург, и именно только в тех случаях, о которых будет упомянуто ниже. Жена его, от скуки, народила груду детей, которые впоследствии все сделались инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще более отравлялось воспоминаниями о прошлых блестящих днях.

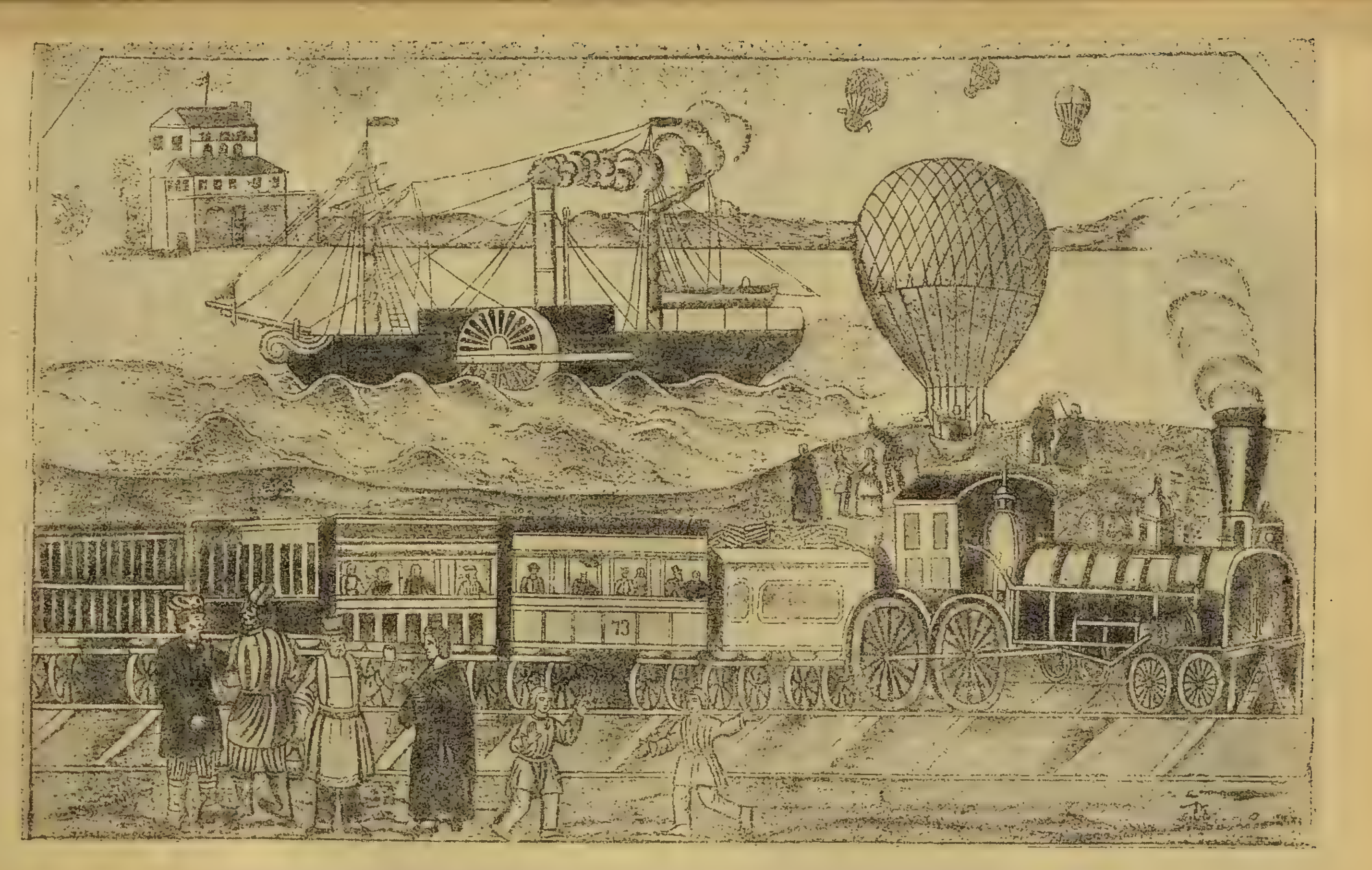
— И чорт меня попутал, — жаловался майор, раскладывая пасьянс: — в другом месте две горы мог бы срыть, а тут из-за одной горушки пропадаю!

Он видел окончание монументальной дороги и строил воздушные замки. Теперь он был бы уж полковником, и, наверное, заведывал бы дистанцией. Некоторое время он вел переписку с прежними друзьями, посылал им откормленных индюков, просил похлопотать, но постоянно получал в ответ: «Ничего не поделаешь!» Наконец, друзья совсем замолчали, и он, мало-по-малу, окунулся на самое дно реки забвения.

Но вот в воздухе почуялись новые веяния. Сначала радовались, потом стали тужить. Наконец, Подхалимов открыл эпоху упразднения хищничества и торжества покаяния...

Повторяю: дядя Захар не был хищником в современном значении этого слова. В его время было в моде казнокрадство и взяточничество, и дядя следовал общей моде. Хищничество же народилось позднее, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякий случай), а только презирало их. Да и нельзя было не презирать, потому что с этими явлениями сопрягались разные постыдные поступки. Тут встречались и мертвые тела, и подчистки, и преднамеренные описки, и взлом сундуков. Все это можно было на картинке написать. В хищничестве, напротив того, все так тонко, чисто и даже благородно, что об картинках и речи не может быть.

Но и в хищничестве имеются подразделения. Бывает хищничество



Железная дорога (русский лубок 80-х годов). Гос. музей изобразительных искусств

простое, и бывает сложное. В первом можно указать на действующих лиц и на претерпевших. Сверх того, оно до известной степени наказуемо, и состав его можно без труда определить. Разнствует оно от воровства тем, что пошло далее сферы становых приставов и обставило себя благороднее. Иногда оно надевает на себя даже личину государственного интереса: заселение отдаленного края, культура, обрусение и т. д. В сложном хищничестве действующих лиц совсем нет и только приходится удивляться, каким образом человек, которого, незадолго перед сим, знали без штанов, в настоящую минуту ворочает миллионами. Сложное хищничество есть порядок вещей, ничего больше.

Дядя с грехом пополам мог додуматься до простого хищничества; однако и тут он понимал, что без связей ничего не поделаешь. Чтоб захватить землицы по гривеннику за десятину, нужно иметь «руку», уметь угадывать момент, кланяться, просить, что̀ требовало времени и изнурительных хождений. Что же касается до сложного хищничества, то он положительно его не постигал и только, наравне с другими простецами, ахал:

— Без штанов знал! без штанов! — восклицал он: — а теперь в соболях ездит! Лошади не лошади, экипаж не экипаж! Занимает целый дворец, задает банкеты; во всех комнатах картины с голыми женщинами! Жену — купил, а потом предоставил, а сам двух француженок содержит! Ну, скажите на милость, зачем ему понадобились две? И каким образом все это случилось?

Он забывал при этом и свое прошлое, и свои теперешние вожделения, и даже то, что он был бы несказанно счастлив, если б очутился на месте этого голоштанника, который теперь в соболях ходит.

Тем не менее, жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться к новым веяниям и от времени до времени посещать Петербург.

Что̀ такое «веяние»? Это — одно из выражений той паскудной терминологии, которая получила у нас право гражданственности тридцать лет тому назад. Означает оно: вот что нужно делать, чтоб как можно больше напакостить.

Вся эта терминология есть плод личной алчности и совершенного отсутствия представлений об интересе общественном. Здесь нет речи ни об отечестве, ни о согражданах, ни об общем благе. Одна обнаженная алчность — только и всего.

Разумеется, он остановился у меня и не без уверенности объявил:

— Теперь мое дело выигранное. Нужны люди, а я человек бывалый, опытный и не без царя в голове, чего еще?

— Но ведь вы, дядя, не из сочувствующих? — возразил я.

— Что ты, что ты! христос с тобой! Я, брат, всему сочувствую. Я и адрес из первых подписал. Приехал в ту пору в собрание губернатор: «господа, говорит, надо доказать...» Ну, я и доказал: обмакнул перо в чернильницу, дай бог счастливо!

— Да, но с мужичками-то вы все-таки не очень охотно расстались.

— Я-то? да я мужичка даже очень люблю. Дай только мне...

Он выспросил у меня, перед кем и в каких канцеляриях предстоят хождения, и на другой же день начались поиски. Он ходатайствовал

неутомимо, с утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надеющийся.

— Вот говорили, что людей нет! — восклицал он: — а их тут, куда ни придешь, труба нетолченая!

Счастье, однако же, повидимому, улыбнулось ему. Прошедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди стояли у дела совсем новые, и перед ними предстал тоже новый человек, свежий деревенский коренник, с чувством говоривший о меньшем брате. Его выслушивали с видимым интересом, расспрашивали, сколько может сажать в день баба, сколько может в день скосить, вспахать и забороновать мужик, существуют ли у крестьян огороды, коноплянники, отхожие промыслы, ремесла, сам-сколько родится рожь, овес, ячмень, сколько требуется муки в год на продовольствие одного едока и т. д. Он отвечал на вопросы бойко, но не спеша. Докладывал, что если мужик чувствует в чем недостатки, то этому виной крепостное право; что ежели нет травосеяния, то этому виной тоже крепостное право; что ежели вообще сельское хозяйство в упадке, то и тут благодаря крепостному праву. При этом присовокуплял, что он уже в то время мечтал, когда мечтания строго воспрещались... Словом сказать, отрекомендовал себя с самой отрадной стороны.

Но тут он увидел вещий сон.

Я помню, он пришел к чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидел молча и барабанил по столу пальцами. На вопросы мои отвечал односложно и невнятно.

— Что с вами, дядя? — наконец, спросил я его.

— Сон видел, голубчик!

— Неужели сон может так встревожить?

— Сон сну рознь; иной и может встревожить. Представь себе: вижу я во сне громадную стаю собак, и я будто бы между ними в собачьем виде. Только прочие собаки все об четырех ногах, а у меня будто бы три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никак поспешить не могу, а ковыляю сзади всех... Вот!

— Так что же такое?

— А то и есть, что не добиться мне ничего: что-нибудь да случится.

— Эх, дядя, никто как бог! Может быть, и на трех ногах вы скорее добежите, нежели другие на четырех.

— Дай бог, дай бог! но сомнительно. Поверь, что такие сны не даром. Уехать, видно, мне обратно в Муром, несолоно хлебавши.

Прошло еще несколько недель, а дядя не только ничего не терял в глазах начальства, а, напротив, все больше и больше нравился. Он уже успел убедить, что как только наступит вольный труд, то мы одним овсом Европу победим. Позабыв о вещем сне, он ходил веселый и радостный, ел с аппетитом, пил в меру, вечером ездил на Минералки и перемигивался с мамзель Сузеттой. Наконец, однажды пришел к обеду домой и с торжеством объявил:

— Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я получил верное слово...

И вдруг он поперхнулся: на столе лежал адресованный на его имя пакет.

В пакете было приглашение пожаловать для личных объяснений.

— Эго вы срыли гору на ровном месте? — спросил его начальник.

Дядя стукнул каблуками и отретировался.

Кто-то шепнул...

Возвратившись домой, дядя выпил сряду несколько рюмок водки и поскрипел зубами, а дня через два выехал в Муром.

Увы! он, наверное, воспрянул бы духом, если б знал, что в ту же ночь я видел продолжение его вещего сна. Снилось мне: добежала стая собак до пирога и в колебании остановилась: одни предлагали сейчас же разнести пирог на части, другие пытались отстаивать и защищать. Но защитники делали свое дело так неуверенно и неумело, что нападающие без труда одолели. Пирог был разорван мгновенно. Затем собаки смеряли друг друга глазами и стали грызться.

В третий раз дядя приехал в самый разгар железнодорожной свалки.

Деятели того времени разделялись на два разряда: на званых, знавших все ходы и выходы, и на незваных, являвшихся внезапно, сбоку-припеку. Последние принадлежали к числу деревенских жантильомов [1], проживших выкупные свидетельства, продавших «лишние земли» и жаждавших поправиться. В особенности выделялись те из них, которые имели в Петербурге так называемую «руку»: старых сослуживцев, родственников и т. д.

— А что, не попытать ли от Углича до Пошехонья дорожку провести! — мечтали они: — мне тетя Анюта отхлопочет!

И жены принимали участие в этих мечтаниях и усиленно поощряли их.

— Конечно, поезжай, — говорили они: — надо пользоваться; тетя Анюта теперь — сила!

Пускались в ход последние гроши. Петербургское население значительно увеличилось от наплыва искателей; гостиницы были полны. Жаждущие наживы сидели по нумерам, если шатобрианы и ожидали, предварительно исколесив весь город. Множество празднолюбцев ходило из дома в дом, изумляя тетенек и кузин неожиданностью проектов и повсюду суля участие в учредительских паях. Некоторые даже успевали. Проекты их, конечно, так и остались проектами, но тетя Анюта помогала пристегнуться к какому-нибудь другому предприятию, и, благодаря ее назойливости, празднолюбец уезжал домой не с пустыми руками.

Многие прожектеры из соседей по деревне и ко мне тогда захаживали. Одни — с готовыми проектами, другие — так, послушать, что умные люди говорят. Но из последних редкие воздерживались. Посидят, поговорят, выпьют, закусят — и вдруг:

— А что, ежели соединить Тверь с Калугою железным путем? ведь препитательная вышла бы дорожка!

Присядут к столу — и через полчаса проект готов, благо разграфленная бумага для статистических сведений продавалась в изобилии. Тотчас же все графы наполнялись словно волшебством: сапоги, сапоги, сапоги! А из Корчевы — лапти.

---

[1] *Gentilhomme* — дворянин.

Однажды, около одиннадцати часов утра, в квартире моей раздался звонок. Звонили громко, самоуверенно, как звонят люди, у которых в кармане верный проект.

Оказался дядя.

— Приехали? — спросил я совсем некстати.

— Да, надоело хлопать глазами да облизываться. Ведь Губошлепов-то у меня десятником на дороге служил, а теперь, поди, какие куски рвет.

— Стало быть, проектец привезли?

— Так, легонький. Но в общей государственной сети необходимый. От Нижнего в Харьков, а может быть, и дальше, коли бог поможет. В Бахмут, Кременчуг — мало ли мест найдется!

— Вот как!

— Да, это будет — дорога! Надо тебе сказать, что теперь главный торговый центр не в Москве и не в Петербурге, а в Нижнем. Там слияние Оки с Волгой, двух важнейших водных артерий; там ярмарка, где встречаются отдаленный Восток с отдаленным Западом, где можно найти все, чего только пожелаешь, от ювелирного украшения , от тончайшей кашемировой шали и изысказанного наряда, которому позавидует любая блестящая красавица, до лаптя, которого вожделеет мужик. Оттуда, наконец, сибирский тракт. Скоро ли мы дождемся сибирской железной дороги, а оттуда все везут да везут. Куда? — в Москву, в Петербург? — Но там и без того своего довольно. Напротив того, Малороссия, с Харьковом в центре, даже в гвозде нуждается! Вот самый естественный исток. А в Харькове, в свою очередь, хлебные богатства, сало, шерсть — опять исток на север, где в этом нуждаются.

— Скажите на милость! — изумился я.

— А при этом дорога пройдет через мое имение, стало быть, и я останусь не без выгоды. Я, брат, умненько все это подстроил. Сначала Горбатов, потом Муром (питательная ветвь в Арзамас), Темников, Шацк, Спасск-Тамбовский (питательная ветвь в Ардатов), Моршанск... А оттуда сделаю в Харьков. Кроме отправных пунктов, сколько тут по дороге добра найдется!..

— Да, пожалуй, и не увезете, ежели все...

— Увезем, не беспокойся! Пусть только разрешат. А не разрешить — нельзя: так все очевидно.

— Можно мне полюбопытствовать?

— С удовольствием, даже прошу. Я не делаю из этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь заметить, то говори прямо. Я буду даже благодарен. Ты прочтешь, другой прочтет — смотришь, кто-нибудь и заинтересуется.

Через час мы уже сидели за бумагами.

— Вот это объяснительная записка, — говорил дядя: — мы ее после прочтем, а вот тебе карта дороги. Видишь: Горбатов, Муром, Темников, Шацк... Вот здесь Надежда Михайловна красный кружок поставила, а я его после подчистил — это наша Куриловка. Здесь предполагается устроить станцию с буфетом и остановку в 20 минут. Поезды будут так расписаны, что каждый будет у нас или завтракать, или обедать, или ужинать. А кому угодно чай или кофей пить — мило-

сти просим!... Буфет будет содержать наш повар Аким, так что мы даже стола дома иметь не будем, а все со станции. Масло, молоко мы будем ставить на станцию свое; телят, индюшек, гусей, поросят — все тащи на станцию. У нас в пруде крупные караси водятся, и их, стариков, туда же. А ягоды? овощи? фрукты? — всему найдется близкий и выгоднейший рынок. Кроме того, дрова, шпалы — все из собственных лесов. А со станции мы будем получать отменнейшее удобрение. Всякий поезд что-нибудь унесет и что-нибудь оставит, не говоря уже о служащих. При станции постоялый двор — опять сбыт, опять удобрение. В заключение, жетоны на даровой проезд по железным дорогам целого мира всему семейству. Я и тебе пришлю.

Я поблагодарил и невольно при этом облизнулся: так он отчетливо и вкусно все мне объяснил.

— А теперь смотри: вот статистические таблицы! — сказал он.

Он развернул лист разграфленной бумаги, на котором я прочитал:

Нижегородско-харьковская железная дорога

Название местностей	Предметы перевозки	Пуды	Фунты	Особые примечания
	Рыбный товар: осетрина, белужина, севрюжина, сельди, балыки, икра	000	00	
	Щепной товар	000	00	
	Кожевенный, сапожный и шубный товар	000	00	
Нижний-Новгород с ярмаркой	Дары Сибири и Урала: пушной товар, чай, золото, минералы, дичь и пр.	000	00	
	Произведения Востока: халаты, шали, термаламы, ковры и пр. . .	000	00	
	Мануфактура: холсты, полотна, ситцы, набойки и пр.	000	00	
	Ювелирные и модные изделия . .	000	00	
	Монументы; памятники старины и пр.	000	00.	
	Пушные: медвежьи, волчьи и заячьи шкуры	000	00	
Семеновский и Макарьевский уезд	Рогожи, цыновки, мочало, лыки, лапти	000	00	
	Старопечатные книги и прочие принадлежности раскола	000	00	
Горбатовский уезд	Замки секретные и простые, отмычки, ножи перочинные, столовые и хлебные, сошники, гвозди, сундуки и пр.	000	00	
Муромский уезд	Муромские огурцы	000	00	
	Муромские разбойники	000	00	
	Грибы всех сортов, сушеные, соленые, маринованные и проч. . . .	000	00	
Арзамасский уезд	Гуси	000	00	
	Произведения искусств	000	00	
Темниковский уезд	Тележные кузова, колеса, деревянные оси, мочало, рогожи и пр. . .	000	00	
Харьков и так далее	Малороссийское сало, хлеб всех сортов, скот	000	00	
	Итого	000	00	

С минуту стоял я очарованный. Не может быть, чтобы такого проекта не разрешили, — думалось мне. Мало-по-малу, однако, рассудок вступил в свои права.

— Ноль-ноль-ноль! Какая же это статистика? — вымолвил я.

— Это, любезный друг, не есть важно. У меня в самой статистике служит человек, который какие угодно цифры проставит, да и особые примечания напишет. Эти цифры, может, хотя и противоречат официальным данным, но ведь всем известно, как у нас собирается официальная статистика; здесь же проставленные цифры суть плод опытных наблюдений, несомненных и верных... Вот он как напишет — и все будет прекрасно!

— О, коли так... Но почему же вы думаете, — Горбатовский, например, уезд... почему вы предполагаете, что он все свои замки повезет в Харьков, а не в Сибирь, не в Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу поведут?

— Непременно в Харьков. Торговля, душа моя, это такая вещь, что где вернее и быстрее ожидается оборот, туда она и тянет. Везде хоть гвоздь сделать умеют; везде есть свои слесаря, а следовательно, и замки; в Харькове ничего и в заводе нет. Есть только сало.

— Да, коли так, то действительно... Ну, а как насчет пассажирского движения?

— Мужичья будет ездить пропасть. Вот первый и второй классы — эти будут прихрамывать. Видишь, я не скрываю от тебя и слабых сторон моей дороги.

— Но в таком случае нельзя ли устроить так?... Просить — так просить. Объявить, например, обязательным, чтобы однажды в год весь Харьков побывал в Нижнем и весь Нижний — в Харькове. Ну, пикники, что ли, такие об маслянице и святой устроить...

— А в имении у меня полчаса остановки: блины, куличи, яйца... Да, это ид-де-я! Только трудненько будет ее проведение с нашим русским сквалыжничеством. У меня, впрочем, тоже проектец про запас припасен, но уже не знаю...

— В чем же он состоит?

— Да очень просто: обложить каждого пассажира обязательно по двугривенничку на предмет вознаграждения за увечья и смерть. Необременительно, а для пассажиров — прямая выгода: обеспечение в будущем. За увечья будем платить по таксе; за смерть — смотря по человеку. За крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно.

— И выгодно это для вас будет?

— Ничего, детишкам на молочишко останется. Предположи, что по дороге проедет — ну, мало триста тысяч человек в год. С каждого по двугривенному — это шестьдесят тысяч рублей. А заплатим за увечья много-много пять тысяч.

— Ах!

— Да, голубчик, на все требуется сметка, все нужно предвидеть и взвесить заранъше — тогда и будет все ладно. А впрочем, соловья баснями не кормят. Пора и в поход.

Целый месяц после того дядя прожил в Петербурге, и я его видел только урывками. Вставал спозаранок, пил чай один и исчезал на це-

лый день. Сначала он мне кое-что рассказывал, но потом замолк. Стороной я слышал, что он был у Губошлепова, но тот отвечал, что у него своих делов по горло, а чужими заниматься недосуг. Тогда дядя напомнил ему про былое.

— Что было, то быльем поросло,— равнодушно ответил ему Губошлепов: — вместе горы рыли, и вы пользовались достаточно. А теперь я желаю.

Один из бывших сослуживцев, — теперь уже власть имущий, — к которому он тоже явился, сказал:

— Проект твой превосходный, и я даже удивляюсь, как никому прежде не пришло на ум... Харьков, Нижний — это именно... К сожалению, ты опоздал. Наше казначейство так скудно средствами, что может уделить нам лишь несколько миллионов в год. Эти миллионы уже распределены на несколько лет вперед, и сеть утверждена окончательно. Но после, когда все предположенное будет выполнено, — милости просим!

— Но неужто ж нельзя... сверх того?

— Невозможно. Не велено даже с представлениями входить.

Дядя бросился к евреям; но там потребовали, чтобы он обрезался. К чести его, я могу сказать, что он не согласился отступить от прародительских верований.

Тогда он начал искать, нельзя ли найти путь к чьей-нибудь «любезненькой». «Любезненькую» нашел и даже порастряс там немало денег. Надежды его оживились...

Но вдруг он явился однажды утром к чаю, махнул рукою и сказал:

— Сегодня уезжаю в Муром!

— Что так?

— Сон видел...

Наконец, я виделся с дядей на этих днях. Он уже служит предводителем, известен, как человек, который держит свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благонамеренном нахальстве доходили даже до Петербурга. К тому же, на этот раз он поступил толковее: не поехал прямо мозолить глаза своим проектом, а послал его куда следует заблаговременно — и успел заинтересовать. Последовало приглашение прибыть в Петербург.

— Тс... новость! — сказал он, являясь ко мне на постой.

— Новости... из Мурома?

— А ты думал, откуда? Нынче и все новости из Мурома да из Кирсанова. У нас — источник всего, а вы, петербургские, только пережевываете.

Затем он свез просвирку от муромских чудотворцев и начал свою пропаганду.

Проект его носил заглавие:

ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ!
ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ

В сущности это был проект всеобщего упразднения; но так как ныне все уже согласны, что в упразднении-то и заключается обновление, то терминология его была принята без особенных затруднений.

Он предлагал упразднить все: суды, земство, крестьянское самоуправление. Даже исправников и становых приставов. О кабаках говорил с оговоркой: вредны, но на них зиждется... Все уезды он делил на попечительства, по числу наличных дворян-землевладельцев или их доверенных, и с подчинением всех попечителей предводителю. В руках попечителей перепутана была власть судебная, административная и полицейская. Они заведывали народною нравственностью, образованием, зрелищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вредные обычаи и искоренять сквернословие. Но преимущественно смотреть, чтоб мужик не ленился. Своевременно созывать сходки и объяснять крестьянам их обязанности и необходимость повиновения. За хорошее поведение дарить мужикам кушаки, а бабам — платки.

Проект был прост и ясен, как день, и потому неудивительно, что имел успех. Фамилия Стрелова повторялась в салонах. Его приглашали, с ним совещались. Дамочки называли его не иначе, как «le bourru bienfaisant»[1]. Но, сверх того ему и пообещали. Замечательно, что и тут не обошлось без завистников: кто-то шепнул о срытой горе; но на этот раз извет не имел успеха и даже был встречен с некоторым неудовольствием.

— Все в своё время горы рыли! — отвечали изветчику: — то было время, а теперь — другое; господин Стрелов понял это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходил радостный и полный надежд. Проект его был приобщен к числу прочих, с тем что его примут в соображение в своем месте и в свое время. Пройдут десятки лет, народится новое поколение, и какой-нибудь трудолюбивый собиратель старинных курьезов прочтет его и напечатает с эпиграфом:

Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы...

Словом сказать, жизнь вновь улыбнулась дяде, как в эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видал я его дома — все на раутах среди дам или в мудрой беседе со старцами.

Но здесь я должен оговориться и поспешить приведением этой истории к концу. История вообще (в том числе и настоящая) обязана относиться к современности сдержанно. Нет ничего раздражительнее, как современность, и историк напрасно будет усиливаться в соблюдении справедливости при оценке фактов. Его всегда упрекнут в пристрастии. Еще Гоголь сказал: напиши что-нибудь про одного титулярного советника — все титулярные советники примут на свой счет. Точно так и тут: напишите какую угодно небылицу — все современные небылицы в лицах примут на свой счет.

Кончаю. В заключение скажу только, что дядя Захар теперь фигурирует в губернии, величается вашеством, и солдаты на тюремной гауптвахте выбегают, когда он проезжает мимо...

Вещих снов он не видит.

---

[1] «Медведь-благодетель».

Н. Гарин (Михайловский)

Отрывки из романа „Инженеры“

Институт окончен

— «Довольно!»

И осветились вдруг весь этот громадный зал в два света, экзаменационные зеленые столы, черные доски. И это он, Карташов, стоял и это ему говорил профессор, пробежав глазами исписанную доску:

— Довольно!

Там, в открытых окнах был май, легкий ветерок качал занавески, доносился аромат распускающихся деревьев, сверкало солнце, грохотали мостовые. Карташов кладет в последний раз в жизни этот мел и повторяет мысленно «довольно», стараясь как можно сознательнее пережить это мгновенье. Итак, довольно, он — инженер. То, к чему четырнадцать лет стремился с многотысячным риском сорваться — достигнуто.

Каким недостижимым еще вчера казалось это счастье и отчего теперь, когда цель достигнута, безумная радость не охватывает его неудержимым порывом, отчего он чувствует только, что устал, что хочет спать и что то, к чему он стремился теперь, когда это достигнуто, кажется ему таким ничтожным, нестоющим...

. . . .

К Карташеву подошел его товарищ, Володька Шуман — толстый веселый, добродушный.

— Ну, поздравляю.

Шуман еще вчера выдержал свой последний экзамен. Он пожал руку Карташову и продолжал:

— Ну-с? Я вчера тоже так. — Ничего: пройдет. Выспишься... Сегодня проснулся и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Он спохватился, и, весело раздувая ноздри, сказал шопотом:

— Однако, пожалуй, на прощанье выведут.

Он еще потоптался на месте и спросил:

— Ты что сегодня думаешь делать?

И, не ожидая ответа, сказал:

— Хочешь, поедем на острова, потом куда-нибудь еще закатимся... Ты вот что: иди пообедай теперь, потом выспись и часам к семи приезжай ко мне. Идет?

— Идет.

Шуман озабоченно пожал руку Карташова и сказал:

— А теперь я пошел.

Смешно переваливаясь, мелкими быстрыми шагами пошел к двери.

И Карташов двинулся за ним, в последний раз обводя экзаменационный зал и все стараясь отдать себе ясный отчет в переживаемом мгновении. Но ничего из этого не выходило. Все было серо, буднично и обыкновенно.

Он устало, лениво шагал по лестнице и думал: «самое приятное, конечно, что больше никогда не будет экзаменов».

И сейчас же подумал:

«А может быть что-нибудь будет гораздо худшее, во сто тысяч раз худшее, чем экзамены?»···

Карташов пришел домой и лег спать.

— Агаша, будите меня в пять часов. Крепко только будите, а то я две ночи не спал и легко и до завтра просплю, а мне необходимо...

Отдав это распоряжение, Карташов с удовольствием вытянулся на кровати.

. . . .

Долго будила Агаша Карташова. Были минуты, когда Карташов окончательно решал продолжать спать до следующего утра. Но все-таки проснулся и в шесть часов в штатском пальто и в студенческой фуражке вышел на улицу.

Ради такого торжественного случая он решил, благо деньги были, взять лихача.

— О-го, — сказал Шуман, выходя и увидев лихача. — Прежде всего, вот что надо сделать: купить кокарды на шапки.

— Следовало бы и шапки новые.

— Сойдет: даже лучше так, — как будто старые уже инженеры с постройки приехали...

— Все-таки хорошо, Володька?

— А? Что? Да ничего.

— О чем ты думал?

— О чем думал? Думал, что надо с завтрашнего дня начать шляться по разным передним: служить надо начинать.

— Давай вместе шляться?

— Гм... Давай, пожалуй.

— Чорт возьми, денег ведь дадут, Володька.

— Ну подождешь еще: нынче с местами не так просто. Те времена, когда со скамьи, да чуть ли не в главные инженеры прямо—прошли. Теперь, ой-ой, как горб набьешь, пока дослужишься до чего-нибудь.

— Тебе хорошо, — ты все пять лет бывал на практике и все на постройке, а я ведь только кочегаром ездил.

— Да, трудно будет. Придется учиться у десятников. Ты сразу начальство из себя не торопись разыгрывать, а то дурака сваляешь. Сперва тише воды, ниже травы учись, а там через несколько месяцев, как подучишься, и валяй.

— Трудно строить?

— Трудно сапоги шить? Научишься, ничего трудного и не будет.

— Что собственно из наших институтских познаний пригодится?

— Для практического инженера? Ничего. Практически-то, что знает хорошо десятник, мы так никогда и знать не будем.

— А теорию ведь мы тоже не знаем.

— Научились рыться в справочных книжках, — на все ведь готовые формулы есть...

— Проживем?

Шуман только рукой махнул.

— Эх, Темка, Темка, — вздохнул Шуман, — бить тебя некому.
— А, что?
— Да, вот я думаю. Ну я? Ну и бог мне велит. А ведь ты... ведь ты такой талантливый.
— Я-то талантливый?
— Такой способный... самый способный между нами... Самую чуточку занимался бы и блестящим был бы инженером. Я не хочу тебе никаких комплиментов говорить, но ведь занимались же мы с тобой, и видел я, как тебе все без всякого труда дается.
— В этом-то и несчастье мое. Лучше было бы, если бы я знал, что мне дается с трудом, тогда бы я трудился.
— А без труда тоже нельзя, — пустой ракетой пролетишь... А мог бы... Куда поедем? На Крестовский[1] что ли?
— Покатаемся еще и на Крестовский.
Вот и Стрелка[2]. Плоская даль воды. Красный диск на горизонте, вереница экипажей, гуляющих на Стрелке.
Оттуда поехали на Крестовский. И Шуман и Карташов слонялись, скучая в густой толпе собравшейся публики, то слушая исполнителей открытой сцены, то гуляя по аллеям.
— Скучно, — сказал Шуман, — едем домой, с завтрашнего дня надо приниматься за искание дела, пока еще не все кончили свои экзамены. Завтра в девять часов будь готов: я зайду за тобой.
— Так рано?
— Рано! Порядочный инженер в девять часов второй раз спать ложится.
— Ну, значит, я буду плохой инженер, потому что больше всего на свете люблю спать.
В девять часов точно на другой день Шуман был у Карташева.
Карташев, конечно, не только не был готов, но и с кровати еще не вставал.
— Даю тебе четверть часа сроку, — сказал деловито Шуман, — если не будешь готов, пойду один.
Он вынул из кармана газету и сел ее читать.
— И разговаривать не хочешь?
— Не хочу.
— Ну, и чорт с тобой.
Карташев начал быстро одеваться.
— Стакан чаю можно выпить?
— Пей. А потом садись и пиши вот такое прошение.
— Это что?
— Это прошение в министерство о зачислении на службу. Это не мешает частной службе, а по министерству будешь числиться. Будут итти чины, эмеритура[3], пенсия...

---

[1] Один из островов, на которых расположен Петербург.
[2] Место аристократических прогулок в старом Петербурге (на островах).
[3] Специальная пенсия, выдававшаяся чиновникам царских министерств из особых эмеритальных касс. Средства их составлялись путем вычетов из жалованья. Право на пособие определялось выслугой лет и продолжительностью членства в кассе.

— Господи, о чем он думает?

— Все, друг мой, в свое время придет. На старости лет, когда разобьет паралич и кроме исполнительных листов ничего за душой не будет, полтораста-двести рублей в месяц,—ах, как пригодятся! Будет на что нанять комнату, человека, который будет тебя по носу щелкать.

— Купить, наконец, револьвер, чтобы покончить с собою, вместо того, чтобы вести такую гнусную жизнь.

— Кончают единицы, — наставительно заметил Шуман, — а остальные миллионы с жизнью расстаются только поневоле.

Карташев написал такое же прошение, как и Шуман, и приятели отправились в министерство. По дороге они оба купили себе по маленькому инженерному значку и вдели в борты своих сюртуков.

Справились у швейцара, доложились дежурному чиновнику, а тот привел их в приемную директора департамента общих дел.

Пришлось ждать долго. Наконец вышел плотный, низко остриженный господин и отрывочно спросил:

— Чем могу служить?

Шуман и Карташев молча подали свои прошения.

— Вы, собственно, куда же хотите поступить?

Карташев и Шуман переглянулись. Куда они хотели бы поступить? Они хотели бы поступить на постройку какой-нибудь железной дороги.

— Непременно на постройку?

— Непременно.

— В департамент[1] шоссейных, водяных не желаете?

Не только не желают, но Карташев объяснил и причины. И на шоссе и в водяных берут взятки, а так как они этого не желают, то и хотят итти на постройку.

— А на постройке взяток не берут?

— Там платят такое жалованье, что люди могут и без взяток жить.

— Гм... Очень жалко, господа, что ничем вам не могу быть полезным, так как в моем распоряжении места только по общему департаменту, где этого, — он дотронулся рукой до значка Карташева, — не надо. Но, если хотите, свободные места у меня есть.

— А с этим что делать? — спросил Карташев, показывая на свой значок.

— Снять.

— Очень жаль, что пять лет тому назад мы не догадались притти к вам, теперь, вероятно, мы бы уже дослужились...

— Чем еще могу служить? — резко перебил его директор и, не дождавшись ответа, скрылся за дверью...

Карташов и Шуман залились веселым смехом.

— Нет, какая свинья... — начал было Карташов.

Но в это время дверь снова отворилась и в ней опять показалась фигура директора. Карташов и Шуман бросились в коридор.

— Ну, здесь ловко устроились, — говорил полушутя, полусердито Шуман Карташову, шагая с ним по панели,—и, если так же успешно

---

[1] Отдел в царском министерстве.

дальше пойдет, мы скоро себе составим блестящую карьеру. Послушай: так нельзя!

Его маленькие ноздри раздулись.

— Мы бы еще весь курс с собой прихватили и так и шлялись бы. Надо ходить каждому отдельно.

Шуман вынул из кармана записную книжку и сказал:

— Вот запиши себе, куда итти.

У Карташова не было ни карандаша, ни бумаги.

— Ну, какой ты к чорту инженер, если у тебя нет записной книжки. Карточки[1] есть?

— И карточек нет.

Шуман пожал плечами, вырвал листок из своей книжки и записал несколько адресов.

— Сегодня иди вот к этим, а завтра к этим. Не перепутай, смотри, а то будем встречаться. Если еще что-нибудь подвернется, буду нюхать и скажу тебе. А теперь прощай. Прежде всего ступай и купи себе книжечку с карандашом, еще лучше технический календарь, а то вдруг спросят, сколько будет дважды два, так без календаря, пожалуй, и не ответишь. Потом закажи себе карточки, а внизу инженер путей сообщения. И не будь нахален при ответах. Все-таки с директором можно было бы разговориться: может быть, в конце концов и узнали бы от него что-нибудь. А ведь прошения наши все-таки взяли.

— Что ж с этого толку?

— Зачислят по крайней мере по министерству. Ну, прощай.

Друзья расстались. Карташов заказал себе карточки, купил технический календарь, обошел все правления по записанным адресам, но толку из этого никакого не вышло. Везде более или менее вежливо отвечали, что мест никаких нет. Иногда вскользь спрашивали, бывал ли он на практике и на отрицательный ответ повторяли опять, что никаких мест нет.

Выяснилось и чувствовалось, что ходи он так и всю остальную жизнь, все только бы и выслушивал он на разные лады тот же ответ. Шуман почти пропал из виду. Исчезли как-то с горизонта и остальные товарищи. Кончились экзамены и в институте, и прежде широко раскрытые его двери теперь были заперты.

Точно карточный домик, развалилось вдруг все связывающее его с товарищами, институтом.

Кончил и все надо было опять начинать откуда-то сначала, надо было опять взбираться на какую-то неприступную без лестницы башню жизни.

Карташов тоскливо ходил кругом этой башни и не видел ни входа, ни выхода.

Что толку, что он инженер теперь? Никогда на самом деле он не будет инженером, никогда ни одной дороги не выстроит. Но что же делать, как жить дальше?

---

[1] Так называемые «визитные карточки» с обозначением имени, отчества, фамилии, чина и звания обладателя. Были употребительны при официальных визитах, знакомствах.

— Итти на шоссе или в водяные?
Лучше совсем распрощаться с инженерством.
«Сделаюсь учителем математики»,— думал Карташов и тут же думал:
«Какой же я учитель, когда я не знаю никакой математики. Любой гимназист сконфузит меня, как захочет».
Поступить разве опять в университет на математический факультет, чтобы стать настоящим учителем? Тогда уж лучше на юридический опять? Чтобы быть лучшим юристом между инженерами, лучшим инженером между юристами.
— Ну, в акциз поступлю, — думал Карташов, — там теперь тоже взяток нет. Как-нибудь проживу же.
Редкие встречи с товарищами и даже с Шуманом оставляли еще более тяжелое впечатление. Всякий боялся проговориться, всякий таинственно отвечал на вопросы, что он думает делать:
— Еще ничего неизвестно...
— Все эгоисты, все думают только о себе, — горько жаловался сам себе Карташов.
Зато из дому слали ему без счета радостные поздравительные письма и телеграммы. Энергично звали его домой.
Конечно, приятнее было бы приехать уже настоящим инженером-строителем, с местом, с бумажником, наполненным деньгами. Но и без этого тянуло туда, где любят и ждут.
— Поеду, — решил Карташов.
Зашел к Шуману, по обыкновению не застал его дома и оставил ему записку, что завтра с почтовым уезжает.
Шуман незадолго до отхода почтового поезда приехал на вокзал.
— Ну что, как твои дела? — спрашивал его Карташов.
— Клюет, — ответил уклончиво Шуман.
— А у меня ничего не выгорело, — пожаловался Карташов.
. . . .
Карташов, после некоторых колебаний принял предложение дяди быть его представителем.
Дядя Карташова взял на себя поставку двух тысяч подвод...
Сдача подвод назначалась в Бендерах, а затем Карташов с этими подводами должен был отправляться, под наблюдением интендантских чиновников, в Букарешт и далее на театр военных действий.
Самым неприятным в этом деле были сношения с интендантством.
— Ты должен будешь, — пояснял ему дядя, — их кормить и поить, сколько захотят. Затем, за каждую подводу, за соответственное количество дней они тебе будут выдавать квитанцию, причем в их пользу они удерживают с каждой подводы по два рубля.
— Но ведь это значит взятки давать?
— Тебе какое дело? Никаких взяток давать ты не будешь. Будет у тебя квитанция, скажем, на десять тысяч рублей, ты и распишешься, что получил десять, а получишь восемь. Вот и все... Ведь это же коммерческое дело: не мы же что-нибудь незаконное делаем. Так всегда и везде делается: дают цену хорошую, отделить два рубля можно, а не отделишь — все дело погибнет.

— Я боюсь, что я вам не буду годиться для этого дела.

— Именно ты и будешь годиться, потому что тут расходы, которых нельзя учесть, и единственное — это выбор надежного человека, который меня не обманет. Жалованье я тебе назначаю 500 рублей в месяц, содержание мое. Две тысячи тебе дано на экипировку и 10 процентов от чистой пользы. Это может составить двадцать и даже тридцать тысяч.

— Да, но вот эта ужасная сторона с интендантством.

— Да ничего, ей-богу, ужасного нет, по крайней мере, жизнь узнаешь. И интендантов много знакомых: в транспортах почти исключительно все наши помещики.

Дядя называет фамилии.

— И неужели они-таки будут брать?

— А, дитя мое! Да, славу богу, что берут. Слава богу, что Василий Петрович, тот, конечно, брать не будет, — и зачем только лезет, — не в транспортах. Едва уговорили его не итти в транспорт и не портить дела.

Василий Петрович Шишков был сосед и даже далекий родственник Карташовых, когда-то очень богатый человек, но теперь очень обедневший, с одним имением, заложенным по нескольким закладным. Всегда чудак и оригинал.

— Ах, какая все-таки гадость, — удрученно повторял Карташов.

— Да никакой же гадости, сердце мое, нет, — повторял дядя. — Я хочу заработать деньги, тридцать тысяч. Гадость это?

. . . .

Василий Петрович Шишков всей своей фигурой резко отличался от остальных индтендантов и, хотя он тоже бодрился, неопределенно отшучиваясь от фамильярного панибратства[1] своих коллег, но Карташов сразу почувствовал в нем свояка по положению и прильнул к нему всей душой.

Василий Петрович увел его в гостиничный сад и, забравшись в глухую аллею, спросил Карташова:

— Вы что, съума что ли сошли? Ну, я старик, жизнь моя разбита, имение не спасти, дети с голоду умирают, я сам ничего не знаю и никуда не гожусь, но вы... вы... ведь вы же инженер, перед вами широкая дорога, а вы хотите замарать себя в самом ее начале так, что потом вам все двери же будут закрыты. И нам наш позор уже недолго нести — десять лет и в могилу, а волочить его через всю жизнь...

— Но куда же мне деваться? — с отчаянием ответил Карташов.— Я искал инженерного места — нет. Да и инженер я ведь только потому, что у меня диплом, но я ведь ничего, решительно ничего не знаю.

Василий Петрович ходил рядом с Карташовым и, молча, слушал.

— Послушайте, — перебил он вдруг Карташова, — знаете что? Вы слыхали, что сюда вчера приехал инженер строить дорогу на Галац[2].

— Нет, не слыхал. Да и приехал -то он, вероятно, уже с набранным штатом.

---

[1] Бесцеремонного обращения.

[2] Город в Румынии. События происходят во время русско-турецкой войны 1877 г.

— Кого-нибудь из инженеров вы знаете?

— Ни одного человека, кроме своих товарищей по выпуску.

— Пойдите, на всякий случай, к главному инженеру.

— Нет, не пойду. Если бы вы знали, как это унизительно — итти просить и получить, наверно, отказ...

— Плохо, плохо, — говорил огорченно Василий Петрович. — С такими задатками пассивно плыть по течению, затянет вас в такую тину жизни...

Он нетерпеливо вздохнул.

— Эх, русская нация, голыми руками бери и вей какие хочешь веревки... И кто говорит? — Я...

Василий Петрович с добродушным комизмом ткнул себя в грудь и посмотрел на часы.

— Ну, а все-таки, хоть и на проклятую службу, а время итти...

Были сумерки. Дядя ушел еще и еще толковать с интендантами, а Карташов лежал на своей кровати и смотрел в полусвет окна, выходившего в сад.

Дверь номера отворилась и раздался голос Василия Петровича:

— Кто-нибудь есть?

— Я, — ответил Карташов.

— Вас мне и надо. Ну, я познакомился и переговорил с главным инженером, — он вас просил притти к нему.

— Когда? — испуганно поднялся с кровати Карташов.

— Сейчас.

— Ну? Надо одеться.

Карташов зажег свечу и начал быстро одеваться в самое парадное свое платье.

Одеваясь, он расспрашивал Василия Петровича, как же все это вышло.

— Да просто пришлось обедать за одним столом, познакомились, разговорились, я сказал, что у меня есть здесь один знакомый инженер; он сказал сначала, что все места уже заняты, а потом подумал и сказал: «Пускай придет ко мне».

Карташов радостно слушал и верил.

В действительности же Василий Петрович еще утром, говоря с Карташовым, задумал и привел в исполнение свой план. После службы, надев мундир, он отправился в номер, где жил главный инженер, представился ему и, с просьбой не выдавать его, рассказал о фальшивом положении Карташова.

Главный инженер ответил ему:

— Места все заняты... Я мог бы его взять, дело может быть развернется, но на первое время ему придется помириться с очень скромной ролью.

Карташов торопливо причесывался и взволнованно отдавался радостному чувству: неужели он все-таки будет инженером, неужели он опять инженер?

— А вы не пойдете со мной? — спросил в последнее мгновенье Карташов, держа в руках свидетельство об окончании курса.

Василий Петрович только рассмеялся и махнул рукой.
— Ну, идите...

На строительство

Карташов, прежде чем войти, разыскал коридорного и просил его доложить о нем главному инженеру.

Загнанный, сбитый с ног коридорный долго не мог понять, чего хочет от него Карташов.

— Ну, когда надо, так и идите, чем же я тут могу помочь? Ось и дверь не заперта.—И в доказательство коридорный действительно приотворил дверь.

— Кто там?—раздался густой голос.

Карташеву ничего не оставалось больше, как, скрепя свое сильно бившееся сердце, перешагнуть порог и остановиться с разинутым ртом.

На полу перед ним лежало два человека. Один — толстый в рубахе с расстегнутым воротом, из которого выглядывала волосатая грудь, уже пожилой, другой — более молодой, худой, нервный, бритый с черными усами, с строгим лицом и недружелюбным взглядом своих черных, мечущих искры глаз. Оба лежали на карте; толстый водил по ней красным карандашом, а худой внимательно следил.

В отворенной двери несколько мгновений постоял и коридорный, тоже чем-то как будто вдруг заинтересовавшийся, но, вспомнив, вероятно, о своих текущих делах, побежал дальше, затворив за собой двери.

При входе Карташова худой только недовольно покосился на него, а толстый продолжал вести карандашом линию по карте.

— Здесь, — сказал толстый, — перевальная выемка будет, вероятно, две, две с половиной сажени. Тут пойдут нули, нули... Тут косогором подход к Пруту, затем по берегу Дуная, а последние пятнадцать верст уже прямо, разливом Дуная с насыпью, вероятно, что-нибудь в роде сажени.

Карташов сообразил, что идет наметка будущей линии, подвинулся ближе и через головы следил за карандашом.

— В общем, — кладя карандаш, сказал толстый, — тысячи две кубов на версту все-таки выйдет.

Он сел лицом к Карташеву и сказал, сидя на полу:

— Здравствуйте. Вы инженер Карташов?

— Да.

— На практиках бывали?

— Только кочегаром ездил.

— Ну, это... где ездили?

Карташов назвал дорогу.

— На угле?

— Да.

— Какой уголь?

— Брикеты из кардифа, а сверху ньюкестль.

— На паровозе двое было—машинист и вы или еще—кочегар?

— Нет, только машинист и я.

— Долго были?

— Пять месяцев.

— Значит, выносливость приобрели?
— Я думаю.
— На изысканиях не были никогда?
— Никогда.
— Теорию знаете хорошо?
— Плохо.
— Но проектировать можете все-таки, например, мосты?
— Составлял проекты в институте, — нехотя ответил Карташов.
— Составляли или заказывали?
— Больше заказывал.
— Ну, какой самый большой проект деревянного моста несложной системы?

Карташев подумал и ответил:

— Три сажени.

— Значит, и по проектировке не годитесь,— сказал задумчиво главный инженер.

Он еще подумал и сказал:

— Я, право, не знаю, что мне с вами делать. Нам нужны люди, но знающие, а вы ведь первокурсник-студент по знаниям. Я могу вас взять только практикантом.

— Я согласен...

. . . .

...В четыре часа утра дядя разбудил Карташова.

На этот раз Карташев вскочил, как встрепанный, и быстро оделся. Он долго выбирал из костюмов, во что ему одеться, и надел лакированные ботинки, щегольскую, вроде гусарской куртку, форменную шапку и золотое пенсне.

Дядя его, с черепаховым пенсне на конце носа, внимательно осмотрел племянника.

— Ну, господи благослови тебя на новый и, дай бог, чтобы был славный путь.

Дядя торжественно, по-архиерейски, благословил племянника и и усовещевал:

— Не топырься, не топырься! Все мы, голубчик мой, начинали с отрицанья бога, а кончали, как и ты в свое время кончишь, что без божьего благословения ни от одного дела не будет толка.

Ровно в пять Карташев был на площади перед гостиницей.

Солнце яркое и уже раскаленное, стояло над горизонтом. День обещал быть знойным. Но пока еще чувствовалась прохлада, и обильная роса еще сверкала на траве и деревьях, окружавших площадь.

У ворот гостиницы стоял дядя и наблюдал.

Худой инженер с черными огненными глазами уже был там. Он был еще мрачнее вчерашнего, быстро пожал руку Карташову и, махнув куда-то в сторону, буркнул:

— Познакомьтесь.

Карташов повернулся к группе рабочих, человек в двадцать, с которыми о чем-то энергично переговаривался маленького роста господин, с шляпой-панамой на голове, сдвинутой на затылок.

Господин повернулся, и Карташов увидел темное молдаванское лицо с маленькими, лукавыми и веселыми глазенками.

— Ва! — добродушно и пренебрежительно сделал жест в воздухе господин в шляпе-панаме. — Карташов? Ну, здравствуйте.

— Знакомые? — спросил старший.

Маленький опять сделал пренебрежительный жест.

— До шестого класса в гимназии сидели рядом, пока меня не выгнали за то, что сказал учителю латинского языка, что его предмет яйца выеденного не стоит.

— А вы... Сикорский... — замялся Карташов, — как же попали на наше инженерское дело?

Сикорский иронически усмехнулся и развел руками.

— Вот, как видите... извините, пожалуйста, тоже инженер, хотя и не признанный Россией, Турцией, Николаем Черногорским, Абиссинией и проч. и проч. Кончил в Генте.

— Давно?

— Да вот уж два года.

— И на практике уже были?

— На постройке двух дорог уже начальником дистанции успел быть.

— Значит, вы совершенно опытный инженер, — обрадовался Карташев,— и меня выучите?

— А вы, конечно, ни папа, ни мама, ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку, как, бывало, по-латыни? Не конфузьтесь,— имел честь достаточно познакомиться и с вашими дипломированными инженерами и с вашими студентами. Господи, что это за лодыри, что за оболтусы! Прямо совестно, хуже всяких юнкеров. В девять часов он глаза продирает только, все в таких же лакированных сапожках, пенсне...

Сикорский рассмеялся мелким, замирающим смехом.

— Как они идут, бывало, получать жалованье, я всегда их спрашиваю: «Слушайте, вам не совестно?» Ай-ай-ай...

Сикорский раздраженно покачал головой.

Старший инженер, наклонив голову, неопределенно слушал. Он сделал нетерпеливое движение.

— Ну, что ж не несут планы?!

И, быстро повернувшись в сторону Сикорского, угрюмо бросив: «я сам пойду», решительно зашагал в гостиницу.

— Слушайте, — говорил Сикорский Карташеву, — зачем вы таким шутом нарядились? Может быть, для прогулок с дамами это и очень подходит, да и то не в такую жару, но как же вы будете по болотам шляться в ваших ботинках? По вашему костюму очевидно, вы никакого представления не имеете о том, что вас ждет?

— К сожалению, да.

Одетый в легкую чесучевую пару, в парусиновых сапогах, Сикорский покачал головой и вздохнул:

— Боже мой, боже мой! Что только делается в этом государстве! До двадцати пяти лет людей держат как малолетних, вымаривают, превращают их в каких-то институток, куколок и выпускают... вот...

Сикорский возмущенно хлопнул себя по бедрам руками.

— И что же? — продолжал он. — Их ждет голодная смерть? Нет! Их ждет карьера. Будете, будете и главным инженером и министром... Тварь! Гадость!

*

Берт Брехт

Песня о железнодорожниках из Форт-Дональд

Мужчины из Форт-Дональд, э-гей!
Двинулись против теченья к пустынным лесам, что растут искони.
Но леса окружили их вплоть до озерных вод.
По колена в воде стояли они.
— И день никогда не придет, — сказали они.
— Мы захлебнемся до зари, — сказали они.
И голосу ветра безмолвно внимали они.

Мужчины из Форт-Дональд, э-гей!
С кирками и рельсами мокли в воде и смотрели на небо туда и сюда.
Уже вечерело, и ночь из рябого озера гибко росла.
Ни надежды, ни неба, — куда ни взгляни.
— И мы умрем, — сказали они.
— И мы заснем, — прошептали они.
— Не разбудит нас день никогда.

Мужчины из Форт-Дональд, э-гей!
Молвили: «Стоит нам только заснуть, и прощай, наши дни!»
А сон вырастал из воды и тьмы, и они очумели от этой брехни.
И сказал один: «Спойте-ка «Джонни-моряк».
— Да! Нас это поддержит, — вскричали они.
— Да! Мы это споем, — закивали они.
И они запели «Джонни-моряк».

Мужчины из Форт-Дональд, э-гей!
Барахтались в этом темном Огайо[1], среди утопающих рощ.
Но они распевали, словно им было бог весть как хорошо.
Никогда еще так не певали они.
— Где ты, Джонни-моряк? — распевали они.
— Что ты делаешь ночью? — орали они.

И Огайо под ними росла, а вверху были ветер и дождь.
Мужчины из Форт-Дональд, э-гей!
Будут петь и не спать, пока не заснут навсегда.
Но ветер сильнее мужских голосов, и вода их зальет через пять часов.
— Где ты, Джонни-моряк? — распевали они.
— Слишком много воды, — бормотали они.
И когда рассвело, — только ветер гудел, и вода... вода...

---

[1] Река в США.

Мужчины из Форт-Дональд, э-гей!
Поезда над ними к озеру Эри жужжат сквозь мрак.
И на старом месте ветер поет и гонит над лесом огни.
И сосны кричат вслед поездам: э-гей!
— В тот день заря не пришла никогда, — кричат они.
— На рассвете их задушила вода, — кричат они.
Наш ветер частенько поет их песенку «Джонни-моряк»...



Глава III

В ПОЕЗДЕ, НА ПАРОВОЗЕ

М. Вебер

Зимней ночью

— Кто поведет сегодня ночью скорый поезд? —спросил на вокзале в Моорштедте начальник станции, выйдя незадолго до полуночи из дверей своего уютного кабинета на крытую платформу.

Резкий северо-восточный ветер заносил мелкую снежную пыль, заставляя то вспыхивать, то замирать тянувшиеся длинными рядами огни газовых рожков. Скорый поезд, в составе нескольких новеньких вагонов, стоял у широкого, красивого перрона. Сквозь отпертые вагонные двери, в тусклом свете купе, неясно вырисовывались причудливые очертания обычно занимающих зимой места в ночных скорых поездах плотно укутанных фигур[1]; лишь изредка показывается покрасневший от холода нос или дышащий рот, и еще реже высовывается заспанное, щурящее глаза лицо проснувшегося, раздосадованного пассажира, который, не зная, где он находится, — в Праге, в Дрездене или в Ганновере, — спрашивает у кондуктора, сколько времени, и дальше: «Где и почему мы так долго стоим?» С поезда сошло на перрон очень мало пассажиров; еще меньше их село в поезд; лишь изредка с трудом протискивалась в дверь вагона темная, плотно укутанная фигура. Невыносимо скрипя, ручные тележки подвозили к багажному вагону немногочисленный багаж; укладчики, багажные смотрители и почтовые кондуктора, монотонно выкликая, принимали и сдавали грузы большой скорости, багажные места и почтовые пакеты, а осмотрщики вагонов, с фонарем и молотком в руках, усердно ныряли под буфера, освещая и проверяя звонкими ударами молотка каждую ось, каждое колесо и каждую рессору: ведь без тщательного осмотра нельзя выпустить скорый поезд.

— Кто поведет ночью скорый? — спрашивает шагающий вдоль поезда начальник станции в тот самый миг, когда высокий курьерский паровоз, шипя и извергая клубы пара, пронизанные багровым светом из открытой дверцы топки, мягко и умело подкатывает к поезду.

---

[1] В шестидесятых годах, к которым относится действие рассказа, отопления во всех пассажирских вагонах еще не было. Иногда ставились грелки-калориферы в вагонах первого класса.

«Старик Циммерман» — мужчина во цвете лет, но машинист-то он старый, потому что проехать в течение четверти века расстояние, равное двадцати обхватам земного шара, стоя на тряской, швыряющей машине в бурю и непогоду, в мороз, в жару и под дождем, — это труд, от которого состаришься скорее, чем от чтения бумаг у натопленной печки.

Циммерман подходит нетвердыми шагами, напоминающими походку моряков. Он широко расставляет и с усилием приподнимает ослабевшие от стояния на паровозе ноги, обутые в высокие войлочные сапоги. На голове у него — глубоко надвинутая на уши меховая шапка, а шея и затылок обвязаны платком. Из всех этих оболочек выглядывает небольшая часть добродушного, веселого, темнокрасного от мороза лица. Блестящий, почти что лиловый нос все же не похож на нос алкоголика: на нем не видно и следа тех светильников, которые обычно зажигают на этом органе спиртные напитки; веки—припухшие, белки живых глаз—раздраженные и красноватые.

— У нас через пять минут все готово. Как обстоит дело у вас, Циммерман? — спрашивает начальник станции.

— Адский холод, гражданин начальник. Не меньше пятнадцати градусов,—отвечает Циммерман.— Я уже согрелся казенной порцией пива. Вдобавок, моя Луиза принесет мне сейчас чашку кофе, которую я выпью, осматривая и смазывая в последний раз моего «Грейфа» [1]. Чорт побери! Ехать придется против норд-оста, а при сегодняшнем снеге значит это, что лицо будет под непрестанным обстрелом ледяных игл. А вот и Луиза!

В самом деле, маленькая женщина, вся облепленная снегом, бежит с корзинкой в руке по перрону и, быстро направившись вместе с машинистом к паровозу, разворачивает кофейник и наливает кофе Циммерману, который тем временем , с масленкой в руке, снова обходит кругом могучую скорую машину, враждебно уставившуюся на метель своими большими светящимися глазами. Циммерман ощупывает каждую часть локомотива, проверяет, есть ли масло во всех масленках, очищены ли как следует колосники от шлака, свободны ли от золы дымогарные трубы котла, не ослабли ли какие-нибудь гайки и в состоянии ли его «Грейф» гибко шевелить своими могучими членами, свободно развивать свои 150 лошадиных сил и со скоростью орла мчать вперед свое огромное тело вместе с грузом в 100 с лишним тонн.

— Ну, что, наше милое правление все еще не решается устроить для вас, горемычных, закрытые будки на паровозах? — спрашивает начальник станции у машиниста. — В такую ночь вам, наверно, приходится очень круто.

— Да, эти господа, заседающие в натопленных комнатах, не знают, как пронизывает человека норд-ост с метелью, — отвечает машинист голосом, заглушенным намотанным у него на голове платком. — Они боятся, что в закрытом помещении мы ничего не будем ни слышать, ни видеть. Неужели мы слышим лучше с обвязанными вот таким ма-

---

[1] Гриф (нем.)—название птицы. В прежнее время машинисты обычно давали своим паровозам имена.

нером ушами и видим лучше этакими воспаленными глазами, — с усмешкой прибавляет он, указывая на свою голову.

А затем он говорит:

— Готово, прикажите подать сигнал.



Даугель. Открытие тоннеля через Мон-Сени (гравюра). Гос. музей изобразительных искусств

Начальник станции движением головы дает знак; неистовый перронный колокол своим звоном снова вспугивает сонную публику в вагонах; еще более неприятный, протяжный свисток паровоза заглушает последние звуки колокола. Потом слышны тонущие в порывах ветра двойные удары электрических звонков: тинь-дзинь, тинь-дзинь, тинь-дзинь.

— Всего доброго, Циммерман, — говорит жена, еще раз протягивая руку стоящему на паровозе машинисту.

— Спокойной ночи, женка. Помните обо мне, когда будете лежать в теплых постелях.

— Бедняга Карл!

Он кладет свою руку в меховой перчатке на регулятор. Толчок — и машина тронулась. Со стоном, словно нехотя, тащатся за ней вагоны. Вот она выбрасывает, пыхтя, первое облако пара под крышу вокзала, а второе — уже навстречу падающим хлопьям снега, которые, словно от ужаса, разлетаются в стороны. С воем набрасывается пронизывающий ветер на безмолвных машиниста и кочегара, швыряя им почти горизонтально в лицо, точно ледяные иглы, сверкающие в свете паровозных фонарей хлопья, эти мириады кружащихся мелких, холодных демонов-мучителей.

Медленно скользят мимо красные огни фонарей на стрелках. Вот промелькнул последний из них, и поезд — на свободном, открытом пути.

Непроглядно-темная ночь, с бушующим ветром и снежным бураном, разостлалась перед машинистом, — он едва видит трубу своего паровоза. Сколько опасностей таит для него этот мрак! Не оставил ли кто-нибудь из рабочих свою кирку на рельсах? Не переставила ли буря семафор? Не сорвала ли она с места стоявший где-нибудь на станции вагон и не выкатила ли его на путь? Не оборвались ли телеграфные провода от тяжести осевшего на них снега? Не переведена ли неправильно какая-нибудь из стрелок? Не выступила ли подпочвенная вода, образовав ледяной ком на рельсах?

Во всех этих случаях его жизнь и жизнь всех пассажиров в величайшей опасности... Помощи ждать не от кого, приходится полагаться только на свое самообладание, на свою бдительность и решимость. И вот, он стоит на несущейся вперед машине, не смыкая воспаленных, терзаемых вьюгой глаз и устремив взор на узкую трепетно-синеватую полосу света, бросаемого на путь паровозными фонарями.

Время от времени красными звездочками вспыхивают во мгле ближайшие деревни. Как тепло, спокойно и уютно там, где эти огни. Но вот они промелькнули, исчезнув в бешеном вихре взметенного снега или в выбрасываемых машиной огромных клубах пара, которые уносятся ветром и, касаясь, сопровождают, точно демоны, локомотив в его неудержимом беге. Мимо! Мимо! Вперед. Циммерман шире открывает регулятор. Еще чаще становится стук машины, еще быстрее несется поезд навстречу ночному мраку.

— Огня подбавить, — бросает машинист своему кочегару после 15-ти минут отчаянной гонки, но ветер, усиленный скоростью машины, относит оброненное слово. Оно заглушается шипением, стуком и воем, не достигая слуха стоящего рядом человека.

Кочегар, задумавшись и неподвижно уставив свой взор в пространство, стоит у тормоза на тендере и не слышит машиниста.

— Огня, Гертнер! — кричит Циммерман, кладя ему руку на плечо.

Встрепенувшийся кочегар хватается за лопату. Тем временем машинист быстро открывает дверцу топки. Накаленная добела огненная масса выбрасывает почти вертикально к нему сноп ослепительного света, в котором зловеще клубится вырывающийся из труб пар. Раз де-

сять наклоняется в этом ослепительном свете темная фигура кочегара, набирающего с тендера полной лопатой уголь и подбрасывающего его в топку. В раскаленное жерло брошено около 100 килограммов свежего топлива. Машинист захлопывает дверцу; сразу гаснет сноп света, и кочегар, переводя дух от жары, отступает назад, на свое место. А труба уж выбрасывает чудовищную тучу шипящих искр, — блестящий фейерверк воспламеняющихся от искусственной тяги в трубе мелких частиц угля.

— Что с вами, Гертнер? — кричит машинист на ухо кочегару. — Вы сегодня не видите и не слышите. Не зевайте!

— Ах, товарищ, — кричит в ответ кочегар, — у меня горя много. Жена у меня сильно расхворалась. Ухаживая за нею, заболела и сестра. Теперь нет около нее никого, кроме десятилетней Гедвиги, а мне пришлось ехать. Служба...

Машинист отворачивается и крепко нахлобучивает меховую шапку.

— Вот уже Вольфеберг, — говорит он немного погодя, когда сквозь метель начинают слабо вырисовываться красные и белые станционные огни.

Он дает свисток, и поезд с грохотом влетает под перронный навес.

Торопливо обходя свой паровоз, Циммерман освещает и осматривает его части, густо покрытые талым снегом, который плотной массой заполнил все уголки и углубления.

При этом ему иногда приходится предварительно стряхивать рукой этот холодный покров. Вдруг он слышит из-под машины голос станционного истопника, выгребающего шлак из зольника топки:

— У нашего «Грейфа» сегодня колосники сильно забиты; мне не справиться с очисткой за четыре минуты стоянки.

Быстро спрыгивает машинист, в своей тяжелой шубе и шапке, к поддувалу, хватает кочергу и, всовывая ее в раскаленную добела, пышущую жаром массу, работает в своем тяжелом одеянии напряженно и торопливо до тех пор, пока топка не начинает действовать безупречно. Через несколько минут он вылезает из-под паровоза, тяжело дыша и весь в поту.

— Едем, — кричит обер-кондуктор.

Раздается звонок, и снова на своем посту машинист, у которого от напряжения тяжко дышат легкие и каплет из-под шапки пот.

Свисток — и вновь машина неудержимо несется навстречу темной ночи и метели. На 15-градусном морозе, от пронизывающего сквозняка потные волосы машиниста в несколько секунд превращаются в ледяные сосульки.

Вперед! Вперед!

С новой силой закружилась вьюга. С широких откосов насыпи ветер взметает мелкий, точно пыль, снег и гонит его яростными волнами вдоль пути. Гребни этих волн обрушиваются на бегущую машину и, захлестывая ее выше трубы, обдают безмолвных машиниста и кочегара все новыми и новыми потоками колючих ледяных игл, а в безветренных местах ложатся предательскими рыхлыми сугробами. В забегающем вперед свете паровозных фонарей эти сугробы на путях, точно призраки, белою стеной вырастают неожиданно из ночного мра-

ка, вселяя трепет в сердце самого машиниста всякий раз, когда он со своим паровозом врезается в их мягкую массу. Высоко вздымаются они перед ожесточенно прорывающейся машиной, осыпая ее такими массами снега, что люди на ней вынуждены крепко держаться за поручни, чтобы не быть сброшенными их могучим напором.

— Ну, и снегу же, — говорят проснувшиеся на миг пассажиры в вагонах, потягиваясь и пытаясь бахромой занавески протереть глазок в окне, о которое, хрустя, ударяет снег.— Плохо едем,— прибавляют они, с зевком глядя на часы, — ужасно тяжело ездить в зимние ночи.

И, укутавшись в теплые шубы, они прижимаются головами к мягким углам сидений.

Вперед! Вперед!

С частей паровоза каплет. Дымовая труба, предохранительные клапаны, свисток, насосы разбрасывают мелко распыленную воду, которая стекает по наружной поверхности машины тонкими струйками, замерзающими или сдуваемыми ветром, а на площадке забрызгивает одежду, шапки и лица обоих молчаливых тружеников.

Мало-по-малу машина покрывается тяжелыми ледяными сосульками. Толстыми буграми льда обрастают даже наиболее быстро вращающиеся или качающиеся ее части. Все промежутки заполняются обледенелым снегом, и все труднее становится разглядеть части машины и судить с уверенностью об их состоянии.

— Не замерзли бы насосы при этой погоде, — говорит Циммерман.— Дадим им немного поработать.

Он тянется к кранам, хочет повернуть голову в их сторону, но руку не отвести от туловища, а в подбородке ощущается сильная боль. Промокшая одежда обоих превратилась в твердый ледяной панцырь, борода и шуба слиплись в одну ледяную массу; из толстой меховой шапки образовался давящий шлем; сквозь нависшие на ресницы ледяные шарики огни показавшейся второй станции преломляются тысячью цветов. Сильным движением оба освобождают примерзшие рукава, треща ледяной корой, расправляют свои члены, а нависшие на усах сосульки растопляют ртом, полузастывшим и с трудом выговаривающим слова.

— Роденкирхен. Остановка — две минуты.

Вперед! Вперед! Без устали кружится вьюга. Все толще обрастает льдом одежда, все тяжелее давит она на плечи и острее чувствуется утомление.

Медленно проплывает за станцией станция: от усталости расстояния как-будто увеличиваются.

— Сейчас, сейчас, дорогая...— кричит вдруг кочегар Гертнер в ночную мглу. Он задремал стоя, и ему почудилось, что он дома, возле своей бедной, больной жены...

— Гертнер, Гертнер, — окликает его машинист, которому самому за минуту до этого в завывании норд-оста послышалась традиционная песенка линденштедтского певческого кружка, деятельным членом которого он состоит.

И оба через силу раскрывают усталые, воспаленные глаза, в ужасе от только что испытанных опасных галлюцинаций, которые все же не-

отвязно роятся в мозгу. «Какая радость, скоро конец. Еще полчаса».

— Отвратительная, прямо противозаконная погода, не правда ли, баронесса? — говорит при первом проблеске унылого рассвета гвардейский капитан.

Молодая дама, к которой обращены эти слова, сидит рядом со своим храпящим, укутанным в соболью шубу папашей. Только что проснувшись, она высвобождает свое розовое личико из-под густой черной шелковой вуали; изящной ручкой, затянутой в тонкую перчатку, заправляет под горностаевый, на голубом шелку капюшон свои густые белокурые локоны, пришедшие от неспокойного сна в беспорядок, и наконец маленькими кулачками трет себе глаза, чтобы прогнать от них сон.

— У меня такое ощущение, — отвечает баронесса, — как будто я всю ночь танцовала.

— Взгляните, баронесса, какая метель. В трех шагах ничего не видно. Хорошо, что я приказал ни в коем случае не выводить сегодня «Магомета». Только бы ребята там на паровозе смотрели в оба, не то при такой погоде может, чего доброго, и беда приключиться.

— Ах, для них это дело привычное, — говорит зевая маленькая баронесса.

— Однако все же немало бывает чертовщины на этом окаянном «орудии духа времени», как выразился бы какой-нибудь щелкопер. Железнодорожному управлению следовало бы держать паровозную прислугу построже.

— Разумеется, граф. Папа так и говорит всегда: нынче не умеют быть строгими со служебным персоналом, а доброты, заботливости и снисходительности эти люди не понимают. Скажите, пожалуйста, ваша сестра представлена этой зимой ко двору?...

Вперед! Вперед!

— Ну, старина «Грейф», — говорит Циммерман, обращаясь к своей обледенелой, облепленной снегом и все тяжелее справляющейся со своей обязанностью машине, — мы оба приедем сегодня в образе полярных медведей, окоченелые, иззябшие и смертельно усталые... Тяжелую ночь пережили мы оба. За тобой придется поухаживать, почистить тебя от колес до дымовой трубы... А мне надо обогреться да пообтаять. Ну, к счастью, вот и Гохфельд, конечная станция.

Только успел он поднять окоченевшую руку в обледенелом рукаве и дать свисток, как показались в унылом свете бурного утра неприветливые строения этой большой станции с мерцающими еще кое-где огоньками в окнах и толстыми ледяными сосульками по краям крыш.

С грохотом вкатывается поезд при последних вздохах гаснущей машины под скудно освещенные своды вокзала. На перроне угрюмо стоит закутанный в шубу начальник станции. С трудом двигаясь, окоченелый и обессилевший от стужи Циммерман подает ему с паровоза контрольные часы.

— Опоздали на двадцать минут, — ворчит начальник, — вы потеряли премию.

— Ночь была ужасная, — говорит полузамерзший машинист.

— Очень жаль, — отвечает начальник, — но в машине Гауссига обнаружились повреждения, и вам придется в полчаса привести старого «Грейфа» в порядок и поехать с курьерским обратно.

Полумертвому от усталости, совершенно иззябшему человеку предстоит сейчас же проехать на машине весь путь, при той же стуже и вьюге.

Такова служба паровозного машиниста при проклятом капиталистическом строе...

☆

Глеб Успенский

Вагон третьего класса

(*Из очерков «Разорение»*)

...Первый поезд гремит по новым рельсам, оставляя за собою всеобщий испуг простых деревенских людей и клубы дыма, который долго копошится среди придорожных лугов или комом застревает в густых ветвях леса.

Говор и шум наполняют вагон третьего класса; но среди этого шума и говора самый крикливый голос, самая смелая речь принадлежит Михаилу Ивановичу, который переживает поистине счастливейшие минуты. По мере того как родной город остается все дальше и дальше, планы насчет Петербурга, насчет дел, которые должны быть сделаны в нем, получают все большую прочность и широту и заставляют Михаила Ивановича заламывать картуз на ухо, подпирать рукою бок и разрумянивать свои впалые, худые и черные щеки посредством буфетов, не забывая поминутно предъявлять права человека, который никого не грабил и не грабит.

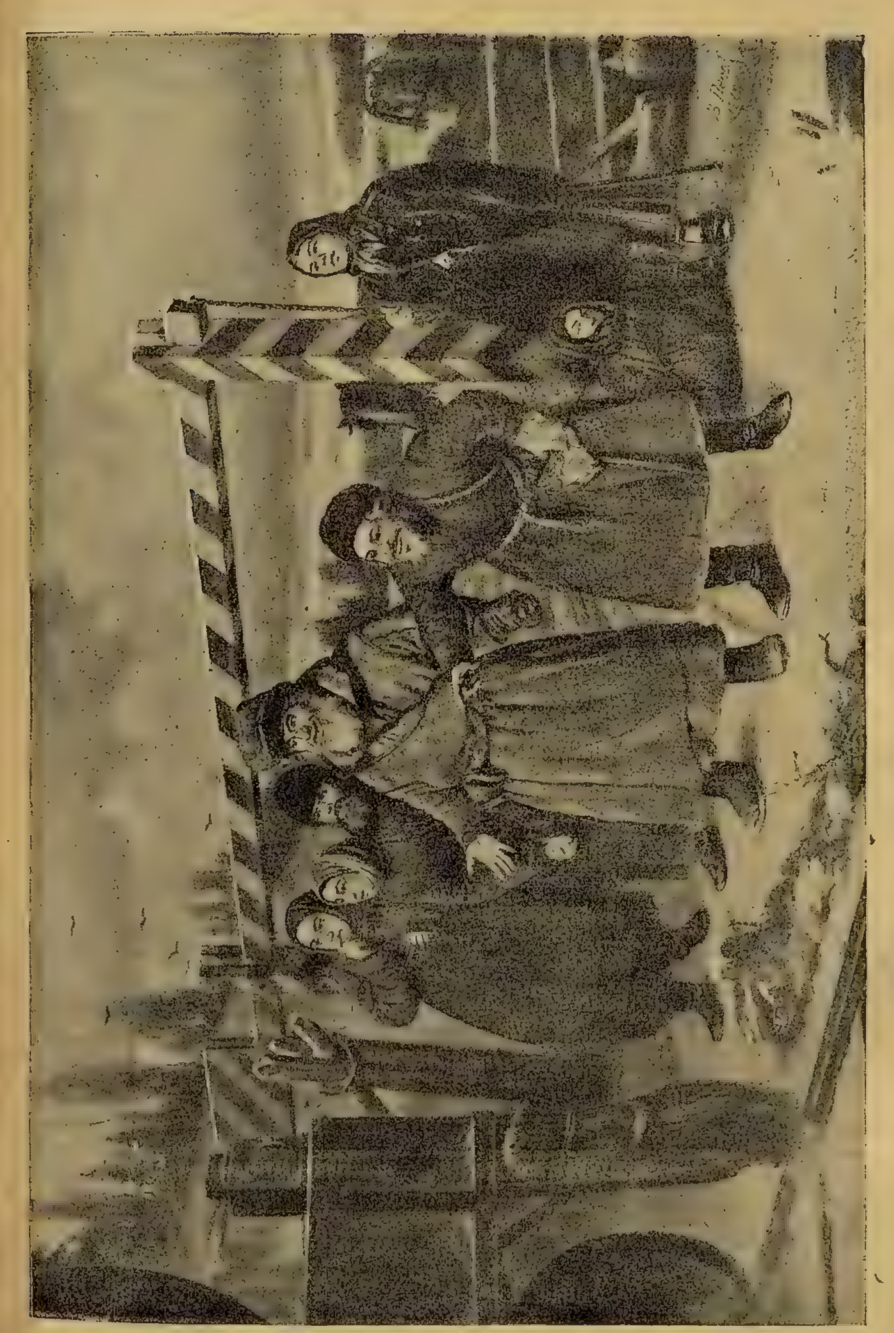
Во всех проявлениях Михаилом Ивановичем его прав и надежд принимал весьма ревностное участие некоторый сильно подгулявший мужик, завербованный им в поклонники чуть ли не с первой станции. Этот человек всегда доказывал полную охоту заорать на весь вагон от справедливости того, что говорит Михаил Иванович.

— Ай нам на пятачок-то выпить нельзя? — обращается к нему Михаил Иванович, когда поезд подходит к станции. — Василей! Неушто не разрешают нам, мужикам, этого? а? Вася?..А не будет ли мужик-то почище?..

— Почище, брат! — зевает поклонник. — Почище!

— А? Вася? — продолжает Михаил Иванович, обнявшись с мужиком и подходя к буфету. — Дозволяют мужикам буфету? Как ты думаешь? За свои, примерно, деньги, примерно, ежели бутенброту мужикам бы? а?

— Бутенброту! — грозно восклицает мужик, вламываясь в толпу у буфета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит:



Перов. У железной дороги. Гос. Третьяковская галлерея

— Дозвольте бутенброту, васкбродь!..[1]

Михаил Иванович обижен таким поступком мужика и долго ругает его за малодушие.

— За свои деньги да оробел! — укоризненно говорит он, отойдя от него в сторону. — И дурак ты, сиволдай[2]!..

— Голубчик!—умиленно разевая лохматый рот, винится мужик.— Милашка!..

— Ай у них деньги-то ценнее наших? Свинья ты, сволочь!..

Мужик шатается и смотрит на землю, оставив без внимания собственную бороду и усы, которые носят обильные следы позорно добытого бутерброда. Он виноват и готов чем угодно искупить свою вину.

Случаи к такому искуплению представляются часто, поминутно, ибо Михаил Иванович тоже поминутно делает публичные предъявления своих планов или прав, так как и к этому тоже случаев довольно.

Какая-то барыня заняла два места, ест сладкий пирожок и презрительным тоном рассказывает соседу-барину о том, что она никогда не ездила в третьем классе, что быть с мужиками она не привыкла, потому что она выросла в знатном семействе, за ней ухаживали генералы, у ней был очаровательный голос. Как она пела!..

Этого достаточно, чтобы провинившийся мужик понадобился Михаилу Ивановичу.

— Вася! Спой! Мужицкую...

— Спеть, что ли?

— Громыхни, друг! Вот барыня тоже очень хорошо поет! Спой! Нашу! Чего?

— Нашу! Э-а-ах да-а...

Мужик разевал рот и горло во всю мочь.

— Кондуктор, кондуктор! — кричат барин и барыня.

— Кондуктор! — тоже вопиет Михаил Иванович. — Пожалуйте! Разберите дело!..

— Что такое? — спрашивает прибежавший кондуктор.

— Помилуйте! Пьяный мужик кричит, бог знает что! Сил нет!

— Он запел! — вступается Михаил Иванович. — Мы по-своему, по-мужичьи поем; ежели вам угодно, вы по-господски спойте. Чего же-с? Громыхните ваше пение... а мы наше... Г-н кондуктор! Так я говорю? Где об эфтом вывешено, чтобы не петь мужикам?..

Кондуктор решает дело в пользу Михаила Ивановича, присовокупляя, что в правилах нет пункта, чтобы не петь, и предлагает барыне перейти во второй класс.

— Пожалуйте во второй класс! — прибавляет Михаил Иванович от себя. — Пожалуйте!..

— Па-ажжаллте!.. — бурчит мужик.

— Там вам не будет беспокойства... а тут мужики, дураки... Через них вы получаете ваш вред. Потому мы горластые, ровно черти... Вась! Громыхни-ко!...

— Э-о-а-а-а...

---

[1] Искаженное в просторечии «ваше высокоблагородие».

[2] «Сиволапый» и «сиволдай» — бессмысленные ругательные прозвища мужика.

Хохот и гам на весь вагон.

— Что орешь, дурак! — вмешивается какая-то новая фигура, и тоже из мужиков. — Барыня сладкие пирожки кушает, а ты орешь?

— Сладкие? — перебивает Михаил Иванович. — Василей! Чуешь?.. Попробовать мужикам сладкого! Али мы не люди?.. Почему нам сахарного не отведать? Пирожник!..

— Эй!.. Пирожник!.. — вторит мужик.

— Давай мужикам сахарного на пятачок!.. Барыня! Почем платили?

— Кондуктор! Кондуктор!

— Кондуктор! — кричат Михаил Иванович и мужик вместе. — К разбору пожалуйте!

Является кондуктор, узнает, в чем дело, — и Михаил Иванович снова прав, ибо нигде «не вывешено объявление насчет того, чтобы не спрашивать — почем пирожки». Многочисленность и быстрота побед до такой степени переполняют гордостью душу Михаила Ивановича, что унять его от беспрерывных предъявлений прав решительно нет никакой возможности.

— Позвольте вас просить! — упрашивает его, наконец, кондуктор. — Сделайте одолжение, прекратите пение.

— Не вывешен!.. — начинает дебоширничать мужик, но Михаил Иванович немедленно зажимает ему рот рукою и говорит:

— Цыц! Васька! Ни-ни-ни!... коли честно, благородно, — извольте! Ма-лчи!... «Сделайте одолжение», «будьте так добры» это другое дело!.. Это, брат, другого калибру!.. Извольте, с охотой!..

И у буфета следующей станции можно снова видеть фигуру мужика и Михаила Ивановича.

— Вася! Милый! — говорит Михаил Иванович, стараясь глядеть прямо в осовелые от водки глаза мужика. — Чуял, что ли?.. «Вы».. «сделайте милость», ну! не по скуле же!... Понимай-ка-сь!..

— Гол-лубчик! — лопочет мужик, обнимая Михаила Ивановича за шею и хороня на его груди бессильную, хмельную голову...

☆

В. А. Слепцов

На железной дороге

(Отрывки)

Сцена представляет вагон третьего класса. Два часа пополудни. Свисток. Поезд двинулся. Все сидящие в вагоне слегка покачнулись — одни вперед, другие назад; некоторые перекрестились. Публика в вагоне обыкновенная: офицеры, купцы, дамы средней руки, помещики, дети, солдаты, мужики, четыре бабы, три межевых помощника, один сельский священник с молоденькой дочерью и один несколько пьяный кучер. В окнах ландшафты[1] меняются беспрестанно. Вправо видно пасмурное небо с бегущими облаками и крутой косогор, поросший дерном.

[1] Виды (нем.).

На этом косогоре мелькают попеременно: корова, бесстрастно глядящая на поезд, бабы в пестрых платках, рельсы, сваленные в кучу, будка. У самой дороги показалась голова сторожа. Через несколько минут косогор превращается в овраг с кирпичным сараем; вдали виднеется жидкий осинник и опять будка. Перед будкой на мгновение явилась баба с значком в руках, делающая во-фронт; мост с оцепеневшим на нем пешеходом шумно пролетел под вагоном. Налево видно довольно большое искрасна-зеленоватое болото, кое-где заросшее кустарником; за болотом — село.

Пассажиры не успели еще оглядеться и все еще находятся под влиянием только что происходивших сцен, неизбежных при отъезде: все о чем-то думают и молча глядят друг на друга; разве только кто-нибудь попросит своего соседа посторониться; другой устраивает свои вещи, кто начинает уже дремать, а кто просто смотрит в окно. Но это не надолго. Через четверть часа понемногу начинается движение. Один почтенный в русском платье купец приладился к окну, вынул из картуза платок, отер себе с лысины пот и тотчас же принялся за печеные яйца.

Две женщины, обе с маленькими детьми на руках, первые стали вполголоса осведомляться друг у друга: кто что везет, мальчика или девочку. Какая-то барыня очень удобно устроила на перекладине свою шляпку и успела выжить сидевшего рядом с нею мальчишку-мастерового, от которого сильно пахло скипидаром; два молодых человека в охотничьих сапогах закурили папиросы; кто-то полез под лавку спать.

У одного окна завязывается разговор вроде следующего:

— Славная это выдумка — железная дорога. И скоро, и дешево... в одни сутки. Что?

— Да, — отвечал другой, — хорошо.

— А то, бывало, прежде едешь, едешь.

— Это правда.

— Вы далеко изволите ехать?

— Нет, недалеко — до Волховской станции. А вы?

— Я до Питера. Что?

— Нет, я только спросил.

Оба соседа умолкают и принимаются внимательно смотреть в окно.

— Ты, бабушка, убери свои ноги, а то майор придет — он тебя тогда!.. Видишь, офицерские вещи лежат. Уйди лучше от греха, — уговаривает денщик какую-то старушонку.

— Куда же, я родимый пойду? Ишь, теснота какая.

— А ты вот что: гляди сюда. Вон видишь: место порожнее. Поди, сядь на край.

— Ох, не пустят, голубчик ты мой. Право слово, не пустят меня, старуху. Кабы я молоденькая — нешто бы.

— Говорят уйди. Тебя же ведь, дуру, жалею. Вот он тебя, майор... Дай срок!

— Ох, и сама бы рада, ушла, болезный ты мой, да итти-то, сам видишь, некуда.

— А, старая, право. Грех только с тобой! Полезай под лавку!

— Ну, ну, не гневайся. Лезу, лезу.

В другом месте идут тоже увещания и почти в таком роде. Вышневолоцкая чиновница уговаривает сидящего рядом с нею мещанина[1]:

— Мужичок, а мужичок! Пошел бы ты сел вон туда, к окошечку. Как бы хорошо: покойно и продувает.

Мещанин, не отвечая, глядит куда-то в сторону, держа на коленях лукошко с курами. Немного погодя, чиновница опять начинает приставать.

— Послушай, голубчик, видишь, теснота какая! А ты будь довольно вежлив: видишь, здесь дамы сидят.

Мещанин все не отвечает.

— Тебе я, кажется, говорю: пересядь к окошку!

— А ты поди сама сядь, коли взопрела. Что ты меня посылаешь.

— Невежа, мужик! Вот свяжись с ними, только себе неприятность получишь, — говорит негодующим голосом вышневолоцкая чиновница.

— Что ж ты не уважишь, в самом деле? Видишь, просит, — вступился сидящий наискось другой мещанин.

— И чудак ты, погляжу я на тебя, право, — вдруг начинает горячиться курятник. — Кажется, можешь понимать, не маленький. Пойду я к окошку! Видишь, духота — курица потная, даже дух от себя пущать зачала, а я ее к окну посажу. Сейчас ветром ее хватило — ну, и аминь. Постыдился бы и говорить-то что не дело, а не то что. Она, положим, баба, ей простительно, — говорит он, указывая на чиновницу, — а ведь ты, кажется, тоже не дурак.

Мещанин с негодованием отворачивается.

Станция. Пассажиры подкрепляются водкой, пирожками и бутербродами. Торговки с молоком, квасом и драченами,[2] стоя в отдалении, стараются перекричать друг друга и чуть не дерутся из-за покупателей. Мужики накинулись на какую-то лужу и наполняют бутылку водой. Барыни с разными мешечками прогуливаются по платформе.

— Вот, горячи, горячи, чик, чик, чик! Ах, были горячи! — скороговоркой, бочком, бочком пробегая мимо вагонов с подносом в руке, приговаривает станционный повар.

— Пильцины [3] первый сорт, лимонад газé...

— Квасу, квасу! Кому квасу, молодцы? Квасу молодого, квасу-у!— предлагает баба, шагая с ведром через чьи-то протянутые поперек вагона ноги.

Мужик с полотенцем на шее заглядывает в окна и везде спрашивает:

— Василей, ты здесь, что ли, а, Василей? Да ты хошь откликнись! Василей... и т. д.

Между мужиками слышится ропот на дороговизну харчей.

— Ишь ведь, жид-то тя ешь, что ломит, а? За пирог десятку! Вот и кормись. А, грабители!

---

[1] В прежние времена мещанами назывались средние городские жители, не имевшие чинов или капитала (более 500 р.). Существовало мещанское сословие со своей «управой». Мещане были ограничены в правах по сравнению с купцами и чиновниками. В переносном смысле «мещанин» — обыватель.

[2] Кушанье из запеченных яиц смешанных с молоком и мукой или тертым картофелем.

[3] Апельсины.

Один мужик держит в руках кусок севрюжины и ворочает его со стороны на сторону, говоря:

— Поди вот, как хошь, так и думай. Хошь ешь, хошь назад клади.

В воздухе пахнет дымом и сыростью. Накрапывает мелкий дождь.

Поезд опять двинулся.

— Напоили лошадку — повезла, — замечает кто-то. В сотый раз слышатся похвалы железной дороге.

Опять пошли различные виды по сторонам.

В вагоне, и без того битком набитом пассажирами, вдруг очутилось еще человек двенадцать пильщиков в зипунах, полушубках, с обветренными лицами и потрескавшимися губами. Сели они молча, где попало, куда рассовал их кондуктор, и несколько времени не трогались с места, как будто ожидая чего-нибудь. И действительно, минут через десять пассажиры стали жаться и сторониться, выказывая более или менее явное неудовольствие, которое они испытывали от соседства мужиков. Пильщики же в свою очередь начали понемногу отодвигаться на край, подбирая свои мешки и пилы. Потом пассажиры, один за другим, стали советовать им пересесть на другие места; но как свободных мест не оказалось, то мужики, посмотрев по сторонам, продолжали сидеть, уныло глядя на пассажиров. Один кто-то убедил-таки двух мужиков поискать другого помещения; они пошли бродить с своим добром по вагону, но никто не хотел их пустить. Барыни, еще издали завидя приближение их, растопыривали платья как можно шире, клали ноги на скамьи, притворяясь спящими, и всеми неправдами старались занять как можно больше места. Один мужик, впрочем, присел где-то на краешке, а другой так и остался среди вагона и простоял вплоть до следующей станции, вопросительно поглядывая по сторонам.

А между тем пассажиры успели уже достаточно обсидеться и даже ознакомиться друг с другом. В разных местах слышны разговоры. Старуха-баба расспрашивает сидящего рядом с нею крестьянского мальчика лет двенадцати, равнодушно болтающего ногами, на которых надеты большие мужичьи сапоги:

— Что ж те мать рубашек дала?

— Дала, — глядя себе на сапоги, шопотом отвечает мальчик и принимается еще больше болтать ногами.

— И лепешек напекла на дорогу?

— Напекла.

— Небось плакала — прощалась?

— Плакала.

— Ах, касатик ты мой. Как же она тебя, малого ребенка, одного на фабрику отпустила?

Мальчик вместо ответа проводит себе под носом рукою и очень усердно начинает отвертывать угол платка, лежащего у него на коленях.

— Что ж ты, глупенький, платок-то рвешь? — унимает его старуха. — Небось, мать дала?

— Мать.

— О-о-ох-хо-хо! То-то, что не нужно бы тебя пускать — мал, еще глуп. Что это у те на лбу-то? аль родинка?

— Тятька хворостиной, — равнодушно отвечает мальчик, потрогав это место пальцем.
— Как же это он тебя?
— Я в лес убег.
— Зачем же ты убег?
— От фабрики.
— Ну, а он тебя и пымал?
— И пымал.
— Ах, голубчик ты мой! Ну, что ж? Тут он тебя в лесу хворостиной-то и попужал?
— Вперед хворостиной, а после домой привез, лошадь отпряг и зачал вожжами пужать: все пужал, все пужал; мать отняла — он матери другой глаз вышиб.
— Ах, ах, ах! Что ж он у вас такой? Аль горяч?
— Нет, не горяч,— он купцу должен.
Позади мальчика и старухи идет горячий спор между кучером и отставным унтер-офицером. Оба они несколько выпивши. Кучер с чем-то пристает к соседу, а тот его не слушает и твердит свое:
— В котором году коронование принимали? [1] — спрашивает унтер-офицер.
— Это я все довольно хорошо понимаю, а вы не можете отвечать, что я у вас спрашиваю.
— Нет, постойте. Вы мне вперед скажите, в котором году коронование принимали?
Кучер задумывается и начинает вздыхать, припоминая год.
— В 22-м.
— Которого числа?
— Осьмого.
— А-а-а! Вот и попались. Нешто осьмого?
— Что ж такое? Известно я оченно знаю, потому как я у его сиятельства, графа Сиверцова... Свитлейщий граф, упокойник... У его сиятельства, у родителя...
— Нет, вы не забегайте вперед. Что вас спрашивают, то вы, без сомнения, должны отвечать. Когда покойный государь ампиратор на вторительную службу присягу принимал, что наша брихада вся тут в сборе была. Теперича я...
— Нет, вы погодите, — перебивает кучер. — Я все это очень аккуратно знаю и довольно могу понимать, почему что, как я, значит, еще малым младенцем езжал на лошади по этой по чугунке.
— Хорошо, — останавливает унтер-офицер, — теперь отвечайте: какая третья станция? а?
Кучер опять на минуту задумывается, сопя и наморщивая брови.
— Тут такая деревня есть. Ах, девки знатные! Так, пустая деревня... Как ее? Да, бишь, Лисафетина.
— Вот и пымал. Это по чугунке-то Лисафетино?
— Что ж такое — по чугунке? Чугунка сама собой... вот он, билет! А то выходит, шисе[2].

[1] Т. е. принимали военную присягу при коронации Николая I.
[2] Шоссе.

— Нет, опять все разница. А я вам скажу... Теперича я пятнадцатый год билейтором [1] состою, и как ежели начальство...

— Какого полку? — вдруг перебивает кучер.

— Мы-то?

— Нет, я спрашиваю, вы и должны отвечать.

— Мы как сейчас, значит, с его сиятельством, с графом Дибич-Забалканским, в 28-м году Шумлу брали[3] ... Да вы про что спрашиваете?

— Я спрашиваю... — кучер сам забыл, о чем спрашивал. — Я вас спрашивал, а вы совершенно не можете потрафить на мой разговор. А я знаю, твердо знаю. Нет, я вижу вам, супротив меня трудно: нет, трудно... На словах-то ведь тоже не скоро кто исправит. Я вижу... где? Меня обмануть никак невозможно... потому первое: свитлейщий граф еще покойником от родителев от своих может еще тридцати годочков на службу поступал... Это раз. А второе, теперь будем говорить, который урожденный граф, его светлость... может я его вут этакого пальчика не стою, каков есть палец. А когда мы в Москву въезжали, покойник граф говорит: Иван! — Чего изволите, ваше сиятельство?

— Это я все знаю, а вы не забегайте...

— Которого числа?

— Что которого числа?

— Нет, что я вас спросил?

— Что вы спросили?

— С самого спервоначала я вас спросил: тепериче которые дворовые люди совершенно при господах своих находятся, как об них надо понимать? Э? Вот и не можете! А я сейчас могу все дело рассудить, потому мне нельзя не знать. Что ж такое? Хучь бы меня к примеру взять. Ну, пьяница... Мне что? С меня будет. А может я и того не стою. Я доволен. Ваше сиятельство! Свитлейщий граф! Много доволен. Отец! отец!.. Свитлейщий граф! Семи годочков на службу поступал... Должон я это чувствовать или нет?

— Вы про коронацию отвечайте.

— Нет, вы скажите: должон я это чувствовать? Нешто я свинья?..

Унтер-офицер махнул рукой.

Является кондуктор.

— Господа, билеты приготовить. Не курить, господа. Мужик, сядь на место.

— Куда ж я сяду?

— Ну, стой.

. . . .

Чем темнее становится в вагоне, тем все больше и больше начинает обнаруживаться в пассажирах стремление к примащиванию и к сооружению разных более или менее удобных логовищ. Одна старая, но со-

---

[2] Берейтор — объездчик лошадей, учитель верховой езды.

[3] Дибич-Забалканский — фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время русско-турецкой войны (1829). Шумла — укрепленный город на Балканах, в Болгарии. В 1828 г. ее безуспешно осаждали русские войска.

вершенно белокурая немка очень ловко выжила своего vis-á-vis[1], нагородила разных ящичков и мешечков и устроила себе таким образом очень покойную постель. Занавесила окно платочком, из бурнуса устроила полог и, сотворив вечернюю молитву, мирно легла почивать.

Дети с приближением ночи принимаются кричать и капризничать: куры, потревоженные кем-то в лукошке, тоже поднимают крик, который вместе с песнями, отрывками разговоров и разных восклицаний производит чепуху невообразимую. В одном месте ругаются, в другом идет объяснение в любви, в третьем кто-то от скуки нарезался, как сапожник, и кричит что-то ужасно бестолковое; только и слышно: «Постой, постой, дай срок, я с тобой уже справлюсь. Я тебя!.. да вот я тебя!..» Больше ничего не разберешь.

Мужики завалились спать спозаранку под скамьи и подняли уже сильный храп. Время от времени вылезает который - нибудь из них, и ну чесаться. Посмотрит, посмотрит на всех полоумными глазами и опять под скамью.

В одном месте сидят два приказчика. Один из них маленького роста, одет в пальто, повидимому, выпивши, и болтает без умолку: что-то все рассказывает, рассказывает, врет жесточайший вздор и в то же время все усовещивает другого, что-то советует ему, вскакивает с места, машет руками, опять садится и вообще обнаруживает в поступках какую-то бестолковую и нелепейшую хлопотливость. Другой совсем пьян, одет по-русски, на вид мрачен, сидит повеся голову и ничего не отвечает; только иногда вдруг ни с того ни с сего заорет что-нибудь и опять успокоится, и все ворочает глазами исподлобья, точно убить кого-то собирается.

— Погоди, погоди, — пристает к нему маленький приказчик. — Ты слушай, теперь мы приедем, ты сейчас надень новые брюки, жилет, галстук, все... понимаешь? Ну вот таким манером войдешь... Да ты слушай! Ах, братец, как ты груб! Ты должен понимать, ведь я для твоей же пользы говорю.

— Кррраул! — что есть мочи орет высокий приказчик.

— Ах, боже мой! Да ты слушай, чудак! Что я тебе сейчас говорил? Ну, говори! Что я тебе говорил?

— Ур-ра-а-а!

— Вот ведь какая ты скотина, Митя! Для кого же я стараюсь? Ты должен это понять. Как ты собираешься одним словом делать предложение образованной барышне, то ты можешь себя сконфузить.

— Поди к свиньям! Ур-а-а!

Наискось от приказчиков сидят две старухи, повязанные платками.

— Известно, мать моя, какой уж в дому без хозяина порядок. Ох-хо-хо! — говорит одна из них, покачивая головой.

— Что и говорить. Тот тащит, другой тащит! Нешто за всеми углядишь? Все я, да я. Опять же мое дело старое, за домом глядеть некому: ни тебе пищи, ни тебе спокою. Да они еще, детки-то мой, вон что говорят: за что, говорят, тебя кормить? Ты, говорят, уж собачьей кожей обросла, помирать пора. А дочка-то говорит: стану, говорит, я тебя

[1] Напротив (франц.).

слухаться, только и слов у них для меня, что лети да разлети. Первый дом был Архипа Федосеева — опаскудили.

— Крр-а-у-ул! — надсаживаясь изо всех сил, кричит пьяный приказчик.

— Ах, чтоб те разорвало! Ишь, орет. Вот бить-то некому!

— Молчи, старая подошва. Убью!

— Да уймите вы его, озорника, — раздаются со всех сторон бабьи голоса.

— Никто меня не уймет. В прах расшибу! Никто, никто-о меня не уйме-о-от. Я жениться хочу. Ур-а-а!

— Митя, что я тебе говорил, а? Митя, вспомни. Не конфузь хоть меня-то перед благородными людьми.

— Поди прочь! — С этими словами приказчик повалился на лавку и успокоился.

Совсем темно. Под лавками слышны голоса:

— Коли спать, так спать, а то у меня не возиться. За это, знаешь, за хвост да палкой...

— Аихма! Наши дома спят, — говорит кто-то, позевывая и причмокивая губами, точно закусывает.

— А мы на чугунке, — отвечает кто-то из другого угла.

— Это ты, Ионка?

— Я.

— Уж ты у меня дождешься озорничать.

— Анпияда![1] Убери ты свою Агафью, сделай такую милость. Ишь ведь духота, не продохнешь.

— Экое мужичье, — замечает какой-то недовольный голос. — Уснуть не дадут. Свиньи!

— Именные свиньи. Это ваша правда, — подтверждает знаток церковного пения. — Боже, боже мой, милостив буди мне грешному! Спокойной ночи, васскородие.

Наступает тишина. Кондуктор зажигает свет.

. . . .

Ночь. Свечи догорают. Восток начинает слегка белеть. В вагоне тихо, только слышно, как дорога гремит. Пассажиры заснули где и как кто мог. В разных местах слышно храпение. Кто-то протянулся было на скамейке, уронил одну ногу на пол и замычал. У двери дремлет кондуктор, уткнувши нос в собачий воротник казенной шинели, и покачивается из стороны в сторону. Один из пильщиков распластался на полу в самом проходе. У окна, свернувшись клубочком, спит поповна. В одном углу слышен шопот:

— Прасковья, а Прасковья!

— Ну, что тебе?

— Ты спишь?

— Нет, не сплю.

— Что я вздумал!

— Ну?

— Гляди сюда! Это что?

— Господи, господи, господи... — бессвязно бормочет во сне птицелов...

[1] Олимпиада (имя).

Я. Полонский

На железной дороге

Мчится, мчится железный конек!
По железу железо гремит.
Пар клубится, несется дымок,
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит.

И лечу я, за делом лечу, —
Дело важное, время не ждет.
Ну, конек! Я покуда молчу...
Погоди соловьем засвищу,
Коли дело-то в гору пойдет...

Вон навстречу несется лесок,
Через балки грохочут мосты.
И цепляется пар за кусты:
Мчится, мчится железный конек,
И мелькают, мелькают шесты...

Вон и родина! Вон в стороне
Тесом крытая кровля встает,
Темный садик, скирды на гумне,
Там старушка одна, чай, по мне
Изнывает, родимого ждет.

Заглянул бы я к ней в уголок,
Отдохнул бы в тени тех берез,
Где так много посеяно грез.
Мчится, мчится железный конек
И свистя, катит сотни колес.

Вон река—блеск и тень камыша:
Красна девица с горки идет,
По тропинке идет, не спеша,
Может быть — золотая душа,
Может быть — красота из красот.

Познакомиться с ней бы я мог,
И не все ж пустяки городить,
Сам бы мог, наконец, полюбить...
Мчится, мчится железный конек,
И железная тянется нить.

Вон вдали, на закате пестрят
Колокольни, дома и острог,
Однокашник[1] мой там говорят

[1] Друг детства, старый товарищ.

Вечно борется, жизни не рад...
И к нему завернуть я бы мог...

Поболтал бы я с ним хоть часок!
Хоть немного им прожито лет
Да немало испытано бед...
Мчится, мчится железный конек,
Сеет искры летучие вслед...

И крутя, их несет ветерок
На росу потемневшей земли,
И сквозь сон мне железный конек
Говорит: «Ты за делом, дружок,
Так ты нежность-то к чорту пошли»...

★

Н. Гарин (Михайловский)

На практике

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Горит воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути, на площадке раскаленного черного паровоза, в одном углу на перилах сидит унылая фигурка машиниста с большим красным носом. Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде: на рукоятках, на площадке, на стойках, на руках. Пучки пакли — род утиральника — тоже в сале, и вытиранье рук — только самообман. Этой паклей я — другая фигура на площадке паровоза, в другом углу — виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки.

Я студент-практикант.

Первый день моей практики.

Только что кончили маневры и полчаса-час мы будем стоять так: на припеке, с полупотухшим паровозом, который как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит, парит. Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура грозного судьи красноречиво говорит: «Ну, что ж теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он — машинист и я — кочегар. Но собственно это «я — кочегар» один звук. Я даже лопату в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трехсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать де-

лать накопляющуюся работу. Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце. Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накопляющийся там шлак. Подрезать его надо для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать: к краям толще, к середине тоньше. А я бросаю как раз наоборот. И, кажется, вот-вот хорошо, и опять на середину, —и опять мрачно говорит Григорьев:

— Могила!

И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату.

Ловко летит с лопаты уголь и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым и красное пламя, — все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает, работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтоб не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении, вагоны. Все это надо делать мне, и все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев, и после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит:

— Так, так... А кто ж работать будет?!

И как раз в это время где-то там, сзади — бух-тах-тарарах — с какой-то все разрушающей силой стукаются вагоны и, кажется, щепки летят. Григорьев хватается за регулятор и кричит дико: — «Тормоз!» Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону; — я растормаживаю, вместо того, чтоб затормозить.

— А-а-а!!

В этом «а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову, — все бессилье, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унестись и сразу забыть — этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стукающихся вагонов и дурацкую фигуру оторопевшего, никуда негодного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

— Да что ж это наконец?! Шутки шутить, что ли, мы будем?!

Тошно!.. Провалиться... Убежать сейчас и не возвращаться... Да вот... Ехал на практику, выбрал самую тяжелую, был горд сознанием предстоящего черного труда.

Унылая фигура Григорьева скрючилась и застыла. Я все так же тру руки паклей. Лучше б уж он ругался.

— Нагортайте угля!—И, не дожидаясь, пока я соображу новое непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв, чего от меня требуют, говорю смиренно:

— Позвольте мне...

Боже мой, с каким колебанием передается мне эта лопата! Какое презрение ко мне! Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев через силу говорит:

— Ну... ступайте обедать!

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

— Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит, отвернувшись:

— Направо из ворот: написано на вывеске... Да не сидите там три часа!

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в пыли дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь. На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное, утешительное сознание: перемелется — мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в контроле глухого и грозного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.

— Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу, — Григорьев не побил?

— Только что не побил... — отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

— Да вот, — говорит мой товарищ, — ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого только он да мой — своих кочегаров вперед себя обедать пускают.

В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным, важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, умными, твердыми голубыми глазами.

Там дальше группа уже поевших. В центре большой, плотный, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками, веселый немец, что-то говорит, и все кругом хохочут.

— Это Альбранд из Вены, — все врет, но так, что животики надорвешь, — говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:

— Я своего паровоза не дам!!! Расплююсь, уйду, а не дам!

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщу с большим куском говядины: на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хотелось: ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень: если б они увидали меня теперь здесь! моя мать, которая была в отчаянии по поводу моего обычного ничего неяденья, всегда говорила:

— Твой желудок — дамочка и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста!

Я заплатил за свой обед 20 копеек, и мой товарищ говорит мне:

— Григорьев... я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить, — ему всех новичков дают, потому что другие вот эти все такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет, он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет, с вами.

— Так, может быть, и обед ему снести?

— Это тоже не худо бы было!

Нашлись и судки. Мы взяли с собою щей, жаркого, огурец, ворох хлеба, бутылку водки.

— Ну, уж валяйте ему и пива, — пусть старина повеселится. Вместе понесем.

— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ,— мы к вам с поклоном и повинною.

— Ну, какие там еще... Ничего не надо! — И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят, и они возятся и ворчат, — завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно, успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева, и немного погодя, энергично хрустя зубами, тот уже уничтожал принесенное нами.

Он сидел на корточках, открывая как пасть свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

— Все это лишнее! — он тыкал на борщ, жаркое. — Ну, вот это,— он указал на водку, — пожалуй, что и полезное. Когда за двух приходится работать, — где же силы взять? — она вот и помогает...

Он брал бутылку и осторожно наливал водку в свою с отбитой ножкой рюмку.

— Вот это, — он показал на пиво, — тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

— Водка, конечно, тверже, — соглашался мой товарищ,

— Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.

Так говорил он, пока все — полезное и бесполезное — было уничтожено. Завидев бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, теперь и терпеть можно...

И мы опять принялись за работу и работали до заката.

Тогда нам снова дали передышку на полчаса. Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернул его и достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.

— Водки хотите?

Я отказался. В бутылке ее оставалось уже немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:

— В нашем деле без водки не проживешь... — После этого мы молча ели каждый в своем углу: Григорьев около рычага, а я около тормоза— отделение кочегара.

От этого тормоза ломило руки, и на ладонях были уже большие, водяные, красные по краям мозоли.

Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо я выполнял свои обязанности, но старался я на совесть и устал так, как кажется еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим душевным настроением. День стихал неподвижный и ясный, откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный, шум. Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светилось там где-то далеко зеленовато-бирюзовое, нежное небо. Несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращавшихся с работы косцов. Хохлацкая песня— задумчивая, нежная, так много говорящая, так трогающая самые сокровенные уголки сердца.

Казалось, паровоз и тот проникся настроением: стих и только тихо, жалобно посвистывал.

Бедняга! Он был уже старый, очень старый ветеран, сданный после всех долгих походов на станционные маневры. Живого места, как говорится, не было на нем: хлябали подшипники, стучали цилиндры, золотниковая коробка сработалась вконец, а сальники, масленки парили, как не парят взятые вместе сорок паровозов линейных. И мы всегда вследствие этого носились в облаках пара, и в такт главному дыханью паровоза вторили несколько второстепенных из сальников, цилиндров, коробок. А что делалось, когда приходилось тащить тяжелый состав — вагонов 40 — 50! Тогда со всех концов нашего паровоза вылетало столько пара, что, казалось, он унесет вверх и нас и наш паровоз № 34.

Мы поели и ждем составителя.

Григорьев, сидя, манит пальцем меня и говорит ласково, насколько это возможно для него, конечно:

— Подите сюда, молодой человек!

Я подхожу.

— Вы что ж, из лакеев, что ли? У господ служите? — поясняет он, замечая мое недоумение.

Еще вчера я был уверен, что произведу страшный эффект, когда сообщу своему машинисту, что я ни более, ни менее, как студент института инженеров путей сообщения. Теперь я об этом больше не думаю и возможно скромнее стараюсь объяснить Григорьеву, кто я. Гри-

горьев, машинист из слесарей, ни в каких школах не бывавший, и поэтому все ранги ученические для него китайская грамота: ученик приходской школы, студент все тот же ученик, и берет он вопрос по существу.

— Чему же в 4-5 месяцев научитесь? Если вы хотите научиться, вам надо итти в мастерские сперва. Года через четыре вы будете слесарем и даже механиком, — тогда поступайте в кочегары, года три поездите, получите испытанного качегара. Будете тогда человеком. А теперь что ж? Ну, дадут вам паровоз, сломается что-нибудь в дороге: так и будете стоять?

Я опять объясняю, что это только практика для меня, что я не буду ездить машинистом, что мне нужен только аттестат машиниста. Еще меньше Григорьев понимает.

— На что же такой аттестат?

Но уже бежит составитель, — Григорьев берется за регулятор и продолжает, рассуждая сам с собою, пожимать плечами.

II

Уже месяц прошел с начала моей практики. Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же черный, как весь окружающий нас уголь. Попрежнему, как ни брошу в топку, все могила, т. е. бугор посередине; но когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:

— Ну, как он?

Григорьев снисходительно отвечает:

— Ничего, пойдет дело.

Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я приятель, и мы трясем руки друг другу так, что надо удивляться, как еще не оторвана моя рука и не раздавлены пальцы.

Все на станции знают меня, студента-практиканта.

— Что, барин, — говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя, — видно, не на белой земле хлеб растет?

— Да, тяжелый труд...

Чтобы поспеть к восьми часам утра на смену и иметь хоть 30 ф. пара, надо начать растапливать паровоз с четырех часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия и, следовательно, прямой убыток и Григорьеву, и мне. Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брикетах, род кирпичей, — пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардиф дает жар, а пламя дает ньюкестль, черный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.

Ровно в восемь часов на другой день утра мы кончаем дежурство. Но это еще далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие сутки, затем едем за дровами и часам к двенадцати, наконец, въезжаем в паровозное здание.

И тут еще до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она еще горяча. Часам

к двум все кончается. Надо еще обмыться; мы идем в ванную, моемся, чистимся и все-таки черные и грязные идем обедать.

Часа в три я попадаю на квартиру — напиться чаю и спать, потому что в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из 48 часов — 12 часов отдыха. По шести часов в сутки. Все остальное время в работе и в какой работе!

— Тормоз! тормоз!

— Угля!

— Поддувало!

О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец, и другим на весу пробиваю шлак там в слившейся в одно с колосниками огненной массе. Жар, пепел захватывают дыханье, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох, как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал труном там, под паровозом, и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.

Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:

— Ну, что ж вы там, уснули, что ли?

И опять убежавшие куда-то силы возвращаются, и снова слышатся глухие удары из моего склепа.

— Ну, скорей назад! — кричит Григорьев.

Вылетит сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колесами пролезаю и я в то мгновенье, когда колеса уже трогаются. Меньше даже мгновенья, но этого все-таки достаточно, чтоб я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится — судорога, зацепится нога?!

Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно забыл о моем существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать верст — все это я уже проделываю с искусством обезьяны. Я сказал, что Григорьев не увидит. Но он всегда и все видит.

Раз, еще вначале как-то, я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтоб удержаться на нем, и я стал медленно сползать вниз, к полотну, прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз № 34.

Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время все сползая, я все смотрел туда вниз, на бегущие мимо меня колеса вагонов, угадывая, которое из них разрежет меня. Так бы и случилось, потому что я, в конце концов, упал прямо под колеса... остановившегося вдруг поезда. Григорьев остановил. По моему ли прыжку, по мелькнувшей ли между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью, от Григорьева я так и не добился, — но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контрпар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек, я не слыхал. Все, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.

Еще большую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев другой раз.

Как известно, паровоз соединен с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность самостоятельно двигаться в известных пределах как паровозу, так и тендеру. Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединенные неподвижно паровоз и и тендер не смогли бы пройти. Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикрепленная к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идет по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам, расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля. Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть ее оттуда уже больше не мог.

Все это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с еще большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:

— Мне захватило ногу.

Если б Григорьев повернулся, чтоб сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено, и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновенье, не закрывая регулятора, дал контр-пар.

Сила нужна была для этого неимоверная. Малосильного рычаг так бросил бы вперед, что или убил бы или изувечил, и был бы достигнут как раз обратный результат — паровоз в том же напряжении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперед. Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а главное, испугом.

— Будете в другой раз ворон ловить... — ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперед. — Только время с вами теряешь да паровоз портишь. Вот хорошо, что старый все равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать, — да пропадите вы и с вашей ногой!

И так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:

— Тормоз!!

Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой, сгорбленной фигуре с красным большим носом обнаружилась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было.

А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине маленький сгорбленный, угрюмый, сосредоточенно снимая ногтем со своего красного носа лупившуюся кожу и угрюмо говоря:

— Лупится проклятый, хоть ты что...

Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом и, казалось, на свете только и были: Григорьев, я да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтоб он поменьше ругался. И всегда он ругался, и в то же время я всегда чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную, по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.

Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал стоя, он вдруг раздраженно крикнет:

— Ну, что носом тычете? Все равно никакой пользы нет от вас, — ступайте спать!

Вот блаженство! Я взбираюсь на тендер и, выискав там подальше от топки местечко, чтобы Григорьев как-нибудь и меня вместе с углем не проводил в топку, укладываюсь на мягкий ньюкестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновенье ощущаю свежий аромат ночи, еще вижу над собой синее, темное небо, далекие, яркие, как капли росы, звезды и уже сплю мертвым сном.

Никогда потом на самых мягких сомье[1] я не спал так сладко, так крепко.

III

— Сегодня мое рождение,— сказал как-то в июле Григорьев, когда наступила обеденная пора: — в харчевню мы не пойдем, а будем свой пирог есть и другое что.

А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судками худенькая, лет пятнадцати девочка.

Она была в светлом платочке, отчего маленькое, загорелое лицо ее казалось еще темнее, и рельефно выделялись только ее большие, горящие как уголь глаза.

Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причесанный, ворчал:

— Вишь, воструха, а оробела здесь...— и усмехнувшись добавил:— Моя дочка... Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет... Да и я не хочу... Ну их!

Он повернулся к дочери и крикнул:

— Вот если бы дома Маруся да такая тихоня — ох, хорошо бы было...

Маруся уж подавала отцу судки, а затем и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу все и меня в том числе.

— Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое, чем бог послал.

Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал ее руку.

— Ишь каким кобельком... — усмехнулся Григорьев.

Когда за едой я, обращаясь к ней, назвал ее по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:

— Какая там еще Марья Григорьевна да еще «вы»?.. Вбиваете ей в голову... И так огонь-девка, сладу нет... Маруська, ты, да за вихры, чтобы понимала...

Маруська только носом потянула да бросила на меня вызывающий, веселый взгляд. Ее наружность производила впечатление чего-то находящегося еще в работе, и закончены были пока только эти чудные, живые, все говорящие глаза.

Эти глаза остались в памяти.

Мы уехали на пристань делать там маневры. Пред нами было море, выпуклое, полное напряженья, все в блестках, и чувствовались в нем глаза Маруси...

В этот день я сделал подарок Григорьеву.

Как-то раньше во время отдыха, сидя по обыкновению на перилах,

[1] Сомье (от франц. sommeil — сон) особые кушетки для послеобеденного отдыха.

Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:

— Вы читали Лермонтова? Помните?..

И он начал декламировать: «Отец, отец, оставь угрозы». Декламировал он так быстро, так незвучно, что если не знать, что именно он говорит, понять ничего нельзя было бы. Оборвавшись на какой-то строке, он с горечью проговорил:

— Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки, и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное...

Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева, и все не решался передать книгу Григорьеву.

День его рождения был очень удобный случай. После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.

Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно встрепенувшись, сказал:

— Ну, вот так спасибо, такое спасибо, — ночи спать не стану, пока все, что вырвано, не перепишу.

— Списывать не надо: вот прочтите, чья это книжка.

Григорьев, поняв в чем дело, растрогался до слез. Вытирая их жестким рукавом, он говорил:

— Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы.

И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:

— Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла... Я ведь так и вырос без отца и матери... Кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни, и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били и как били!... Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вышло в роде замирения у меня, — женился я... Был уж кочегаром... Вот также все не дома да не дома... Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут, — так, прощелыга. Приехал раз с поезда: никого, и дверь не заперта, иди кто хочешь, бери что хочешь... И остался я сразу один опять... Тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой... Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я выл медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитю-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться?... Что мне врать? Была бы воля, лег бы за нее в гроб и сейчас даже...

А через несколько дней Григорьев, счастливый как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книжку и сказал:

— Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.

IV

Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали по обыкновению к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:

— Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдыхайте, а завтра сдавайте свой и получайте новый паровоз.

На другие сутки в половине двенадцатого ночи мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.

Я волновался, Григорьев был торжественен.

Моросил дождик, и Григорьев спросил:

— Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?

Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:

— Насыпал.

Сейчас же за станцией начинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла.

— Песок!

Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.

— Игрушка, что ли? — крикнул Григорьев, как давно не кричал:— знаете сами, что нет песку! Сейчас съедем назад и перебьем весь поезд,— ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.

И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище — паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня, но все-таки покорное, укрощенное, — тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.

— Ну, будет, садитесь!

Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.

Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу: мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед, в непроглядную темь. Смотрим, чтоб вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.

И вдруг из-за крутого закругления, перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну. И в одно мгновенье—все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезываемся в эту живую массу, — впечатление — точно поплыли вдруг мы; с моста летят лошади, треск и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.

Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если б и мы слетели туда вниз вместе с лошадьми.

— Счастье, что еще с разбега да регулятор успел открыть... А вот если бы шпалы лежали на пути, — тут что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди, — уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда, что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский!

Приехав на станцию, мы заявили, и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов, оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колеса паровоза.

— Вот так крещенье! — повторял, осматривая, Григорьев.

Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется, — все три часа отдыха в оборотном депо уйдут на это...

И обычным путем пошла наша линейная работа.

Приедешь на оборотное депо, и через сутки дежурство,то-есть время отдыха стоять под парами, готовясь делать маневры. Движение усиленное и маневров много. Приедешь домой, двенадцать часов отдыху и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах. Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше. Мы прошли еще 150 верст.

Там нас заставили делать маневры и погнали назад, в наше оборотное депо. А оттуда без всякого отдыха опять мы поехали с новым поездом домой. Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела, —я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, — глаза оставались телесными, но ничего больше не видели: их что-то выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уж не было удерживать его.

Кончилось тем, что и Григорьев и я стоя заснули.

Так, в сонном виде мы проскочили две станции. Нам кричали бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слыхали. На третьей станции, наконец смельчак-составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры. Мы возвратились на станцию, где нас, признав невменяемыми, ссадили, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.

Чтоб проехать две станции, надо было и воду качать и подбрасывать от поры до времени уголь. Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду. Что до меня, то, держась двумя руками за стойку, я стоял и спал как убитый.

Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня на десять.

V

Конец практики.

Я в вагоне, еду обратно в свой институт, опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.

Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял. Но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда, мерило на всю дальнейшую жизнь.

И когда в жизни находили иногда, что я могут напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?

Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года, в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире? Пятнадцать лет такой работы — и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стояния и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста

белого огня топки и темной ночи; от непогоды, контрастов тепла от котла и холода снаружи — ревматизм...

Наше прощанье с Григорьевым было очень трогательное. Провожать собрались меня все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.

— Когда будете большим человеком, не забывайте нас маленьких людей!

— И бог вас не забудет!

— Не забывайте, что хлеб не на белой земле растет!

— И будьте всегда и прежде всего человеком!

Так провожали меня и кричали мне, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумевающими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которым где угодно, но только не на глазах чистой публики?

VI

Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.

— Ну, здравствуйте! — раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная, мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.

Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.

Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.

Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин, с большим красным носом. Спокойным, слегка пренебрежительным голосом он спросил:

— Не узнали?

Узнал, конечно: Григорьев! Такой же, хотя постарел и горечь в лице.

— Как поживаете?

— Да вот нос... все лупится.

— Как вы попали сюда? Как меня разыскали?

— Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня, — из кочегаров, больше не надо, — ученые пошли...

— Найдем работу!..

И я устроил Григорьева машинистом при водокачке.

Он поселился в чистом, маленьком домике. С ним поселилась его дочь Маруся, жгучая красавица со своими из черного бриллианта глазами. Поселился и ее муж, молодой, красивый кузнец.

Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднование дня рождения. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречусь и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты. А теперь я жалел и завидовал счастливцу-кузнецу.

А. Серафимович

Никита

(Отрывки из рассказа)

Крестьянин Никита в голодный 1891 г. покидает родную деревню, пробираясь на Кавказ на заработки. На одной из станций безбилетного Никиту высаживают.

...Поезд стоял огромный. Все суетились, бегали, спешили забраться в вагоны. Никита тоже было полез.

— А билет есть? — строго спросил кондуктор.

— Билет... Нетути. Я из голодающей губернии.

— Так что же, что из голодающей. Голодающим только скидка делается на билете, а даром не возят. Поди возьми билет.

— Да у меня всего только пятак меди и есть.

— Ну, а я чем виноват? — и отвернулся.

Поезд ушел. На платформе осталась толпа таких же несчастливцев, как и Никита. Понемногу все разбрелись: кто пошел назад в деревню, кто в город искать работы, на которую не было надежды, и просить милостыню.

Никита стоял в великом затруднении. Ворочаться назад — итти на голодную смерть. Уйти в город значит за нищенство попасть в тюрьму. Постоял Никита, постоял, потом решился, подтянул кушак и пошел по полотну на юг.

Сверкал веселый, солнечный день. Полотно, очищенное от снега, желтея песком, прямое, как стрела, убегало, пропадая на краю тонкой чертой. По сторонам ослепительно сверкал рыхлый осевший снег. Глубоко сквозили перелески, и по голым деревьям прыгали галки и шныряли, без умолку щебеча, пичуги. Почки надулись. Кое-где чернели обнажившиеся поля. Земля дымилась. Высоко тянули с юга журавли, дикие гуси.

Никита неустанно шагал, нагнув голову и глядя, как пядь за пядью уходит назад полотно. А впереди еще тысячи верст.

И опять Никита не может оторваться от деревни, от семьи, от хозяйства, — все стоит перед глазами. Вот и соху надо бы налаживать, скоро под яровое пахать. И Никита вздыхает и, глядя под ноги, все идет, идет, идет...

Его обгоняли и катились, навстречу поездá. Тогда он останавливался и глядел, как, сердито работая поршнями, с грохотом, от которого дрожала земля, пробегал локомотив, а за ним мелькали вагоны, и в вагонах окна, и в окнах лица людей. Потом последний вагон, краснея флагом, быстро уменьшался, рельсы переставали вздрагивать, шум замирал, таял дым, — и опять тишина, опять сквозят перелески и земля дымится весенним паром.

По пути Никита заходил в деревни, останавливался у окна первой избы, снимал шапку, кланялся и долго стоял. Иногда ему подавали кусок хлеба, а чаще махали рукой и приговаривали: «Не прогневайся». Тогда он шел к другому окну — и так через всю деревню.

Две недели шел Никита. Лапти изорвались, ноги опухли, и он их обертывал и подвязывал тряпками. Всего разломило, в голове стоял звон, и он еле тащил ноги.

«Эх, не дойду!.. Помру под откосом, как пес!» — с отчаянием думал он и шел, шел, шел...

По мере того как он подвигался на юг, весна все больше вступала в свои права. Снег пропал, напоенная влагой земля чернела, на полях бархатно зеленели озимые.

Как-то под вечер в изнеможении опустился Никита на землю и прислонился к телеграфному столбу. Столб гудел заунывно и жалобно. На проволоке, чернея, сидели рядком ласточки. Показался поезд. Никита закрыл глаза. От усталости и голода ни о чем не хотелось думать. Шум поезда приближался и вдруг покрылся страшным грохотом и треском.

Никита вскочил. Там, где был поезд, высилась огромная гора вагонов. Груженый хлебом товарный поезд разбился. Никита бросился бежать туда. Возле суетились успевшие соскочить кондуктора и машинист.

Дали знать на станцию. Приехало железнодорожное начальство, рабочие стали разбирать обломки, ссыпать хлеб. Наняли и Никиту, так как полотно надо было очистить возможно скорее. Никита, страшно ослабевший от истощения, рвался из последних сил, охваченный надеждой заработать на дорогу.

Через три дня его довезли до ближайшей станции; он получил за работу деньги.

Это была большая узловая станция, и на ней толкалось много рабочего люда, ехавшего на заработки. Никита пошел брать билет. Оказалось, денег у него все-таки нехватило до места назначения.

«Ну, ничего, — думал Никита, — там уже недалеко, доберусь как-нибудь».

Подали поезд. Вагоны товарные, только скамейки были поставлены внутри, чтоб посидеть.

Полез народ в вагоны, и столько набилось, что и повернуться нельзя, один на одном сидят. Никиту прижали к скамейке, сидят у него и на коленях, навалились на плечи, и дышать трудно стало. Не вытерпел Никита, стал выдираться:

— Что же это, братцы, нас сюда пихают силком... Ведь друг на дружке сидим, дух-то тяжолый стал, не продохнешь... Не пропадать же нам! Услыхали другие, все разом загалдели:

— Вестимо, пропадать тут! Вылезай, братцы, пусть еще вагонов цепляют! И полезли из вагонов.

Прибежали кондуктора, кричат, ругаются:

— Да вы, сиволапые идолы, куда претесь? Лезь назад!

— Куда же назад? Некуда нам, один на одном сидим!

— Да вам чего надо? В первый класс, что ли, захотели?

— В первый не в первый, а только тоже ведь люди мы. Не даром везете, денежки тоже берете чистоганом.

— Тоже и деньги! Какие деньги, такое и помещение дают. Лезьте, говорят вам, назад!

Но народ разошелся, стали шуметь, высыпали все на платформу, стали наступать на кондукторов. Кондуктора струсили, отошли к сторонке, стали о чем-то советоваться.

Потом выходит обер-кондуктор и говорит:

— Да вы чего расшумелись? Есть среди вас грамотные?

Все попримолкли, стали оглядываться, — все были неграмотные.

— Выходи, которые грамотные!

— В нашей деревне и за деньги грамотного не найдешь.

— Да зачем те грамотеи?

— А уж тогда увидишь, зачем. Выходи, грамотные!

Из толпы протолкался молодой парень.

— Грамотный?

— Грамотный.

— Ну, иди сюда.

Подошел обер-кондуктор к ближайшему вагону, подошел парень. Народ кругом надвинулся, стеснился, друг на друга нажимают, ждут, что-то будет.

Показал обер на стенку вагона и говорит:

— Ну, читай.

Стал читать:

— «Сорок человек. Восемь лошадей».

— Ну, то-то и есть... Видите теперь сами, что в каждый вагон полагается сорок человек посадить да восемь лошадей поставить. А мы вам еще снисхождение сделали: лошадей не ставили, оставили до другого поезда. А ежели вы бунтуете, то сейчас отсчитаем на вагон по сорок человек да по восемь лошадей поставим.

— Да это что же такое?.. Как же это возможно?.. Один на одном сидим, да еще лошадей нам поставят...

— Да ведь вы слышали, что ваш же парень читал. Не я же это придумал. Ежели так написано, так тут ничего не поделаешь. Написано пером, не вырубишь и топором.

— Что же, ребята, уж лучше потеснимся, чем как ежели нам коней поставят. Тесно, до смерти убить могут, — говорил струсивший Никита.

— Ды пакостить начнут.

— Знамо, лучше потеснимся, ежели как написано, гляди, на каждом вагоне.

И мужички полезли назад в вагоны и набились, как сельди в бочке.

Кондуктора забрались к себе в отделение, ухватились за животы и со смеху катались, как сумасшедшие. Когда все втиснулись в вагоны, двери задвинули, наступила кромешная темнота, и воздух сделался таким спертым, что люди начали задыхаться. Стали бить в двери и стенки вагонов. Кондуктора принуждены были снова отодвинуть двери и положить лишь поперек дверей перекладины, чтобы люди не вываливались во время хода.

Наконец тронулись, под вагонами побежала насыпь, и стали мелькать мимо телеграфные столбы, деревья, пашни, колокольни дальних церквей. Никита с облегчением вздохнул.

В вагоне было душно и жарко. Все, кто мог, сели в дверях на пол

и спустили ноги наружу. Крестьяне, работавшие в поле, с удивлением глядели, как по рельсам катился тяжелый поезд, словно товаром, нагруженный людьми.

Скучно было сидеть в душном грязном вагоне. Нельзя прилечь, повернуться. Вагоны трясло, и несся такой грохот, что нужно было кричать, чтобы слышать друг друга.

На станциях стояли необыкновенно долго. Проходит час, два, три, а поезд все стоит. Поставят его где-нибудь на запасном пути далеко от станции и ждут неведомо чего. Приходят и уходят пассажирские поезда, а этот все стоит. Наконец, серые пассажиры начинают выходить из терпения.

— Что же это! Докудова же мы стоять тут будем?

Кондуктора огрызаются:

— Как платите, так и везут. Благодарите, что четвертый класс завели, а то бы путешествовали по полотну.

В пути развлекались, как умели. Появились засусоленные карты, играли на коленях друг у друга. Кой у кого из молодежи оказались гармоники. Иной раз запевали песни.

Никита не принимал участия в развлечениях. Он угрюмо сидел в дверях вагона, спустив наружу ноги, и глядел, как под ними мелькал щебень балласта, которым усыпано полотно.

Уложенные по краям насыпи камешки нескончаемой полоской бежали назад.

Никиту сосала тоска и томил голод. Особенно скверно было ночью. От духоты, грохота, тряски, тесноты и безделья охватывало неодолимое желание спать, а лечь не было никакой возможности. Наваливались друг на друга и на минуту забывались тяжелой дремотой.

Никита тоже дремал. Из вагона несло духотой и теплом, а висевшие снаружи в рваных пестрядинных портках ноги зябли от ночной сырости и холода. Ночь стояла темная... Не было видно ни полотна, ни телеграфных столбов. Ничто не мелькало. Казалось, вагон недвижно грохотал в подземельи, темном и сыром.

Этот грохот обессиливал Никиту. Веки смежались. И тогда его мысли и представление действительности начинали путаться со сновидениями. Знает он, что сидит на краю вагона, спустив ноги, и что можно тут свалиться, надо проснуться и не спать, и начинает ему казаться, что едет он на телеге, мешки везет на мельницу, а дорога скверная, трясет...

— Вдруг кто-то крикнул и толкнул его: «Эй, куль упал!...»

Шатнулся Никита, чуть не свалился. Забилось сердце. Сам не знает, чего так испугался. Чует — с правой стороны свободно стало, как будто никого нет, а то все парень наваливался на него. Никита торопливо пошарил, и холодный пот выступил: возле было пусто.

— Стой!.. Стой!! Человека нету!.. Стой!.. Ребята, кричи, чтоб стали, — должно парень, свалился...

Никита кричал во весь голос, но грохот поезда сурово покрывал его.

Огарок свечи потух, в вагоне стояла кромешная тьма.

— Кондуктор!.. Эй!.. Что же это такое?! Человек сейчас упал...

Около Никиты зашевелились. Послышались голоса:

— Что такое?

— Сказывают, в поезде неладно.

— Кто говорит?

— Бытто труба самая главная в машине лопнула.

— Колесо из-под вагона вырвало, сам сейчас видал.

— То-то оно и трясет, аж душу вышибает.

Насилу Никита растолковал в чем дело.

Все всполошились.

— Беспременно надо остановить поезд. Шуми, ребята!

Стали кричать и взывать к кондукторам, машинисту, — все напрасно. Попрежнему в ночной мгле стоял железный грохот, на стыках стучали колеса, и вагоны тряслись всем корпусом, точно ехали по мостовой. Делать нечего, пришлось дожидаться станции.

На станции была получена депеша, что на 594-й версте найдено изуродованное колесами тело. Тогда прицепили лишний вагон, и стало просторнее.

На третий день Никиту высадили — билет был только до этой станции. Никита тоскливо слонялся по платформе в ожидании случайного заработка, который дал бы ему возможность доехать до конца.

— Ты чего, земляк?

Оборванный субъект с обрюзглой от водки физиономией стоял перед Никитой.

— Да вот на завод еду, денег нехватает...

— А много у тебя?

— Семьдесят пять копеек.

— Стой, у меня тоже...

Он достал горсть медяков и подсчитал.

— Девяносто копеек. Вот чего, дядя: купим один билет и поедем двое.

— Как так?

— А так: один — на крыше, а другой — в вагоне. Как три станции проедем, так и меняться будем. Доедем — разлюли-малина. Давай деньги.

— Не дам.

— Чудак! Не веришь, что ль? Нá мои. Ступай, купи билет.

Никита подошел к кассе и купил билет.

— Ну, давай! Сначала ты полезай на крышу. Три станции проедем, я тебя сменю, а потом через три ты опять приходи.

И он подсадил обрадованного Никиту на крышу вагона.

Ночь. Накрапывал дождик. Сквозь серую мглу тускло светили огни. Мокрая платформа блестела под фонарями проходивших кондукторов. Никита лежал на крыше вагона, не шевелясь.

Поезд тронулся. Ушла назад станция с огнями. Пропали позади и разбросанные огни стрелок. Поезд прибавил ходу. Густой мрак, сырой и холодный, мчался рядом, окутывая вагоны со всех сторон. Чаще и чаще постукивало на стыках. Вагон стало качать, и Никита с ужасом почувствовал, что понемногу съезжает на край выпуклой, скользкой от дождя крыши. Тогда он лег животом книзу и растопырил

руки и ноги, делая усилия, чтобы удержаться на середине. Стал дрожать от холода.

«Кабы теперича полушубок», — думал Никита, лежа на животе и поминутно от тряски тычась лицом в мокрую холодную крышу. «Чудно! Домашность, ребятенки, хозяйка, а я на пузе лежу и не знаю, той ли доеду, той ли нет».

И все в той же позе, все так же чувствуя у своего лица холодную мокрую крышу, продолжал он думать о доме, хозяйстве, семье. И опять чем-то странным, необъяснимым, какой-то роковой ошибкой казалось Никите его путешествие. Чем это кончится, когда и где?

А поезд все так же мчался среди ночи, так же качало вагоны. Через долгие промежутки во мгле показывались огни станций. Поезд замедлял ход; слышались звонки; некоторое время стояли, потом опять отправлялись дальше.

Никита дрожал; клонило ко сну. Спутник его не появлялся, а сам он боялся спуститься на ходу.

Стало светать. Дождь перестал. Сырой туман подбирался с земли. Теперь отчетливо были видны полотно, рельсы, мокрые телеграфные столбы. Когда подошли к станции, совсем рассвело. Никиту увидели и стащили с крыши вагона. Разыскал он своего спутника, но тот заявил, что видит его в первый раз.

Никита был в отчаянии, ходил за кондукторами,за начальниками, кланялся и со слезами просил разрешить доехать, —оставалось всего две станции. Над ним наконец, сжалились и посадили.

Часа через два задымились громадные трубы завода, а справа открылся водный простор.

Все глядели в окна.

— Братцы, гляди, — никак, это вода.

— Больше нашего озера.

— Как ножичком по краям обрезано.

— Гляди, ребята, лодка загорелась! Дым, дым-то черный повалил.. страсти господни!

— Дурак! «Лодка»! Па-ро-ход это: паром ход дает, стало быть. «Загорелось!» Эх, неотесанность!.. Дым это из котла в трубу, потому там уголь жгут.

— Диковинное дело! Сколько дыму, а ничего себе — плывет, да и все...

Подошли к станции. Все высыпали из вагонов. Волны, глухо и тяжело шипя, вкатывались на песчаный берег. Вдали лесом мачт виднелся порт. На синеве белели косыми парусами рыбацкие лодки, а у горизонта чуть приметно дымил уходивший пароход.

⋆

Под уклон

I

Мелкий надоедливый дождь без устали сыпался с серого неба на рельсы, шпалы, крыши и стенки вагонов, на пассажиров с узелками, баульчиками и картонками, торопливо переходивших через путь, и с ветром забирался даже под навес крытой платформы, асфальт которой, становясь мокрым, темнел все более и более...

Я ходил вдоль длинного поезда на пятом пути. Вагоны молчаливые и угрюмые, неподвижно стояли друг за другом, ожидая, когда там, далеко, в голове поезда, лязгнув сцепками и зашипев клубами белого пара, дернет паровоз, и они постепенно, один за другим, пойдут сначала неохотно и медленно, а потом быстрее и быстрее, и бесчисленные колеса, катясь по рельсам, поведут свой ритмически-однообразный, но полный значения для едущих разговор.

Поездная прислуга стоит у вагонов. Отпечаток скуки лежит на лицах кондукторов. Впереди им предстоит сегодня то же, что и день, неделю, месяцы, годы назад: тот же убаюкивающий ход, мелькающие фигуры пассажиров, стрижка билетов, «зайцы», недоразумения с публикой, станции, буфеты, неодолимое желание на каждом из них выпить рюмку водки, заев ее солененьким, и возможность делать это лишь через десять-двенадцать станций, так как везде задолжено, и в долг не верят, наконец, мучительная борьба с дремотой в утомительные ночные переходы. Все это ясно написано на скучающих кондукторских лицах. От нечего делать они прохаживаются перед вагонами, провожая глазами проходящих мимо и суетящихся пассажиров.

Ударил второй звонок, потом третий, послышался обер-кондукторский свисток, впереди откликнулся паровоз, и то, чего так долго дожидались вагоны, началось: заскрипели, завизжали и натянулись стяжки, разошлись буфера, и колеса покатились друг за другом.

Поезд прошел водокачку, семафор, изогнувшись на закруглении, обошел предместье города. Потом, выравнявшись нескончаемой вереницей бегущих друг за другом вагонов и стуча, понесся по ускользавшим в серую даль рельсам.

II

Я сидел один на скамейке, слегка покачиваясь от хода вагона. Это был вагон третьего класса, и потому его качало и трясло; в нем было грязно, душно, наплевано, скамейки липли к рукам от человеческого пота и грязи, но никто из пассажиров не обращал на это внимания, очевидно, проникаясь убеждением железнодорожников, что третьеклассную публику можно возить и в хлевах.

Из-за перегородок вагонных сидений виднелись спины мужиков-хлеборобов в дубленых полушубках, картузы мелких торговцев, худые лица фабричных в замасленных блузах. Вся эта публика страшно воняла махоркой, тулупами, смазными сапогами, разговаривала, смеялась. По вагону ходили синие табачные волны.

Я стал глядеть в окно, которое наискось сек дождь, торопливо сбегая вниз целыми потоками. Сквозь движущуюся водяную пленку неясно виднелись проносившиеся телеграфные столбы, лужи, мокрая, черная земля и белые пятна еще не успевшего растаять снега. По низкому небу в том же направлении, как и поезд, бежали, обгоняя его, серые тучи.

Вагон все больше и больше заполнялся табачным дымом и мутью дождливого весеннего вечера. Мужички разговаривали с купцом, наклоняясь и махая руками, о земле, об урожае, о ценах на зерно, а один из фабричных вытащил из кармана маленькую гармонь и стал небрежно на ней наигрывать, затейливо перебирая пальцами и с таким видом, как будто хотел сказать: «вот, ежели захочу, та́к гряну, жилки все ходуном пойдут, но только не хочу, а так балуюсь»; и звуки его гармоники терялись в монотонном и однообразном гуле поезда.

А этот гул несся из-под пола неутомимо и неустанно, ровно и уверенно. Казалось, катившиеся вагонные колеса спокойно выговаривали: «тра-та-та... тра-та-та... тра-та-та все идет, как надо, это привычное, постоянное наше дело, и мы хорошо его делаем... тра-та-та... тра-та-та...»

Узкие окна, двери, сиденья с перегораживающими вагон спинками, выгнутый потолок, стенки, выкрашенные желтой краской под дуб, тяжелая атмосфера, фигуры пассажиров, — все сливалось с этим непрекращающимся гулом в нечто утомительное, однообразное и скучное.

— Билеты!.. Ваши билеты!.. Приготовьте ваши билеты...

Четыре кондуктора в черных, перехваченных кушаками куртках, с молодцеватой выправкой вошли в вагон, плотно притворяя за собою двери. Один из кондукторов прошел вперед и стал в проходе, другие два поместились сзади, у двери.

Высокий, плотный, с окладистой красивой черной бородкой «обер»[1] не спеша, с достоинством и сознанием своей власти, брал билеты, просматривал штемпель и просекал. Мужички торопливо развязывали свои кошели и извлекали оттуда билеты, уже успевшие засалиться и пропахнуть тютюном. Сидевший против них фабричный с испитым лицом и гармоникой в руках и два его товарища, когда к ним подошел «обер», ухмыляясь, полезли в карманы шаровар, потом в жилет и потом в пиджак, потом опять в шаровары, разыскивая не положенные билеты.

— Ваши билеты.

— Диковинное дело, куда они делись... Потерял, стало быть.

— Высадить, — проговорил «обер» и прошел в следующее отделение.

— На следующей станции потрудитесь, господа, встать и заплатить за проезд в двойном размере, — сказал последний кондуктор, маленький человек с веснушчатым лицом и красными веками, и, слегка отвернувшись, подставил руку, сложив ее чашечкой.

---

[1] Главный кондуктор (прежнее наименование).

Каждый из фабричных положил в чашечку по двугривенному. Кондуктор ушел.

— Ишь, мошенники, знают только зайцев возить да карманы себе набивать. И чего только начальство смотрит.

— Что же начальство? Которое пониже — свой процент получает, а которое повыше, известно в страхе держит кондукторов, гонит их со службы. Да что с ними поделаешь!

— У них даже таксия своя: до Черкасска — двадцать копеек, до Грушовки — сорок, аккурат вдвое дешевле билета.

— Што ж такое, им тоже пить-есть хочется.

— «Пить-есть хочется»... — так ты работай, а не то что хозяина обворовывай, — запальчиво заговорил купец. — Тоже вот и по нашему делу приказчики: ты гляди за ним в четыре глаза, и не углядишь.

— Охо-хо-хо... — крестя рот, широко зевнул мужичок, и, опершись о колени, стал задумчиво смотреть в пол.

III

Дождь попрежнему расплывался по стеклам. Поезд, видимо, шел под уклон, вагоны стало качать, они скрипели и кряхтели. Белевшие пятна талого снега и телеграфные столбы проносились мимо с такой быстротой, что их не улавливал глаз, и земля вдоль полотна мокрая от дождя сливалась в темную полосу.

Сумерки сгущались. Вошел кондуктор, зажег наверху в фонаре свечу, и от сидений, от перегородок, от пассажиров легли, перегибаясь по углам, колеблющиеся тени. Они скользили по стенкам раскачивающегося вагона.

— Что это такой ход быстрый? — обратился я к кондуктору, проходившему в другой вагон вправлять свечу.

— Под уклон тут идем, поезд громадный, товаро-пассажирский, за нами идут тридцать два товарных вагона, груженых, ну и напирают: паровоз-то не сдерживает, накатывается состав на него, — вот и летим.

Впереди потянулся жалобный звук паровозного свистка, уносимый ветром и заглушаемый дождем и гулом поезда. Маленький паровоз словно жаловался на темноту, непогоду, на непосильный груз, который на сотнях колес катился позади и наваливался на него, а он ничего не мог поделать; он жаловался и просил помочь тревожными, прерывающимися свистками. А под полом, в свою очередь, вагонные колеса, сбиваясь, путаясь и перебивая друг друга, торопливо говорили: «И мы не поспеваем... сил нет... вагоны качаются... вот-вот сорвешься с рельсов... буксы разгорелись... искры сыплются... быть беде... трах-трах-трах... трах-трах-трах...» И этот призыв о помощи среди надвигающейся дождливой ночи и тревожный говор колес вселяли беспокойство...

— Дуем, братцы, здорово, — проговорил фабричный, запихивая в карман гармонию.

Мужик снял шапку и стал сосредоточенно и не спеша креститься. Купец тревожно оглядывался.

— Что же это? Куда кондуктора подевались? Умеют только зайцев возить. Что же это такое? Надо на станции заявить начальнику.

— Да, заявишь, как тебя прищемит, да кишки выпустит, — вызывающе бросил рабочий.

— Все под богом ходим, — проговорил мужичок, и полагая, что достаточно накрестился, надел шапку, спокойно уселся и снова уставился в пол.

Среди ночи опять потянулись в голове поезда жалобные, тревожные призывы о помощи, уносимые ветром. Жуткое ощущение близости беды охватывает меня. Сохраняя внешнее спокойствие, я подымаюсь и направляюсь к двери, чтобы выбраться на площадку, но в дверях сталкиваюсь с кондуктором.

— Не извольте беспокоиться, вы лучше, господин, сидите: а на площадке в случае чего, перво-на перво... ежели вагоны сойдут, — утешает он меня, и я опускаюсь на свое место.

Кондуктор садится напротив на лавочку, прислоняется головой к стенке вагона и начинает дремать.

— Чего он все свистит? — говорю я, чувствуя, что задаю нелепый вопрос.

— А это, чтобы вагоны тормозили вручную; ну, только тормоза не держат, старые.

Он помолчал немного и добавил:

— Закругление... место скверное.

Опять холодное ощущение ожидания томит душу. Мне хочется разговором подавить это тягостное состояние.

— Вы давно служите?

Кондуктор нехотя подымает отяжелевшие красные веки,

— Шестнадцатый год пошел с февраля, — и опять закрывает глаза.

Его добродушное, веснушчатое, спокойное лицо ободряюще действует на меня.

Купец, прислушивавшийся к нашему разговору, вдруг заволновался:

— Да что же это такое? Отчего же меры не принимаются? Ты чего же тут спишь? — накидывается он на кондуктора. — Зайцев вы молодцы возить, а вот насчет чего другого прочего, чтоб, значит, пассажиру удобства доставить, об этом вы и в ус не дуете.

Купец собственно хотел сказать о мерах, чтобы предотвратить крушение, но из суеверного страха перед словом «крушение» заговорил об удобствах публики. Кондуктор улыбается добродушно — наивной улыбкой:

— Как же быть? Мы тут не причинны, господин купец, нам какой состав дают, с тем и поезжай... Вагоны старые, тормоза не держат, нас об этом не спрашивают... Да вы не извольте беспокоиться, зараз с этой горы съедем, там ровно пойдет.

Он немного помолчал.

— А насчет зайцев вы, господин купец, напрасно: ведь их-то нам не сладко возить. Его везешь, а сам не знаешь, будешь завтра служить

или нет: контроль накроет — вот и готов, на улице с семьей. И все-таки возим. А почему?

Он уставился на купца своими добрыми голубыми глазами, мигая красными веками:

— Волк, скажем, зверь и тот, как голод прижмет, прямо на жилье лезет, на человека, — и знает, что убьют, а лезет.

Купец сердито обернулся, неодобрительно и строго покачивая головой.

— Вы семейный? — спросил я.

— Семья, — проговорил кондуктор, добродушно улыбаясь, — шесть человек.

— Учатся?

— Учится один старший, на всех-то нехватает, а старшего учу.

И вдруг по его веснушчатому лицу расплылось радостное, светлое выражение, и от уголков сузившихся глаз побежали морщинки, как будто человек сдерживал себя, чтобы не высказать постороннему что-то необыкновенно радостное и огромной важности.

— Учу я его, в люди хочу вывести.

И, придвинувшись и наклонившись ко мне, проговорил, улыбаясь губами, лицом, глазами, всей своей фигурой, и высоко подняв брови:

— В гимназии, во втором классе.

Чтобы не обидеть человека, я удивился и спросил:

— Вот как, в гимназии?

— В гимназии, во втором классе, — повторил он выразительно, приподняв правую бровь и глядя на меня с восхищением, — во втором классе. Шесть классов осталось. Теперь у них третья четверть кончилась, — продолжал он таинственно, перестав улыбаться и погрозив пальцем, как будто сообщал это под большим секретом и был уверен, что это между нами останется.

Он вздохнул, казалось, от избытка волновавших его чувств и переложил ногу на ногу.

— Вот, приеду с наряда, узнаю... Кто его знает, как... благополучно ли, нет ли. Строго у них, ух, строго!

Мы помолчали немного.

— Трудно нам в нашем положении, — заговорил он, видимо желая продолжать разговор о близком его сердцу предмете, — трудно воспитывать детей.

Он достал завернутый в бумажку порошкообразный табак и, подбирая все крошки его, осторожно стал курить папиросу.

— Сколько я этого зайца поперевозил, пока приготовил Ванятку в гимназию, уму непостижимо. Самому удивительно, как я до сих пор на службе. Зато, как стал он учиться, земли под собой не слышу. Билеты отбираешь в поезде, с пассажирами резонишься, а самому все представляется, как Ванятка в класс идет: на горбу ранец, на голове форменная фуражка. Весь свет особенный стал. Рапортуешь начальнику, а он по-особенному смотрит, так вот будто и хочет спросить: «Ну что, отдали сына?..» Да, вот кончается первая четверть, зовут меня в гимназию...

Мой собеседник поднялся на лавку, вытащил из фонаря над дверью

свечку, закурил, снова вставил свечку в фонарь и сел против меня, затягиваясь, пуская дым в сторону и разгоняя его по воздуху рукой, чтоб не беспокоить. Вагон теперь шел спокойно и ровно, под полом слышался обычный говор колес, в окна глядела ночь, пассажиры дремали, свесив головы.

— Кончается первая четверть, зовут меня в гимназию. Прихожу. Дожидался, дожидался в передней, все ноги отстоял, все просители, какие были, прошли, а я стою. Наконец, позвали. Подымаюсь за швейцаром, показал он дверь, вхожу, за письменным столом директор сидит, строгий да суровый. Вытянулся я у притолоки. «Черемисов?» — говорит. — «Так точно». — «В кондукторах, говорит служишь?» — «Так точно». — «Твой сын, говорит, у нас в первом классе учится». — «Точно так, говорю, ваше превосходительство». Директор то — действительный статский советник. Ну, хорошо. — «Так вот, говорит, сын твой слаб оказался». Как сказал он это, стало темно у меня в глазах, а потом все поплыло кругом, и директор, и письменный стол, и окна, и стена. Я к притолоке прислонился...— «Что же, говорю, ваше превосходительство, балуется?» — «Нет , говорит, этого не наблюдалось, слаб оказался по древнему, по латинскому у него двойка за четверть. Ему необходима помощь. Пригласите репетитора, пусть хорошенько позанимается». Я, как стоял, слова не могу выговорить, в горле пересохло. — «Ваше высокопревосходительство, говорю, осмеливаюсь вам доложить, трудно мне его в гимназии содержать. Получаю я, говорю, двадцать один рубль, больше доходов никаких (про зайцев-то я уж ему не сказал), а как репетитору еще платить, мочи не будет». Как рассердился он, как закричит, как затопочет ногами, я обомлел весь. — «Что это, говорит, лезете в гимназию, не имея средств! Это, говорит, затем, что пробудет ученик два-три года в гимназии и выбывает. Сколько, говорит, у нас доходит до восьмого класса. И без того все тыкают, что поступает в гимназию двадцать человек, а аттестаты получают двa-три. Гимназия, говорит, не для того, чтобы недоучек плодить; ежели говорит, средств нет, так отдай его в слесаря или сапожники». Кричал он долго, только уж не помню я ничего. Не помню, как спустился по лестнице, как шел по улице, как домой пришел. Выбежала жена, руками всплеснула: «Где ты пропадаешь, нарядчик два раза присылал!» Махнул я на нее и—прямо в дом: «Ванятка!.. Что ты меня режешь!..» Плачет: «Папаша, по латинскому никак... папаша...» Потерял я голову. Сел сам с ним заниматься. Я ведь сам в гимназии был, — с достоинством заявил мой собеседник, — из пятого класса вышел, ну только все забыл, все, как есть, как будто утюгом в голове выгладили, все сравняло, хоть шаром покати... А? Удивительное дело: пять лет грыз, и следа не осталось. Вот стал я с ним заниматься: — «Читай». Читает — амо, и я за ним — амо. Что такое амо? По какому падежу, и к чему относится? Ну?

Он в слезы: «Папаша, не так учишь... у нас не так»... А я взопрел, голова лопается, а тут нарядчик прислал в последний раз, что, дескать, ежели не приду сейчас к наряду — расчет. Тут уж у меня в голове помутилось. Как вспомнил я, сколько зайцев перевозил, когда готовил его, а потом зайцы для платы за правоучение, зайцы на книги,

да на мундир, да на ранец, да на перышки, тетради, нет им числа и краю, вспомнил, что и впереди, пока он кончит, придется бесчисленно зайцев возить, и все семейство будет дрожать, что вот-вот из-за него все останемся без куска на улице, — у нас каждый день, почитай, сменяются целые бригады из-за этих самых зайцев, — свету божьего не взвидел, ухватил с себя ремень и давай его ремнем, давай его ремнем... Плачет, кричит, руки целует: «Папаша!.. папаша!.. папаша!»... а я его ремнем, у самого руки трясутся, а я его ремнем... кровью подплыл...

Лицо кондуктора вытянулось, заострилось, и он, точно его подгоняли, торопливо стал сосать папиросу.

— Не помню, как выскочил, как прибежал к нарядчику, как с поездом поехал... До этого ведь пальцем его не трогал... Через двое суток ворочаюсь, зараз: дневник подавай. Принес дневник, гляжу: по латинскому три с минусом. Обрадовался я и боюсь, что это по нечаянности, ухватил ремень и давай его ремнем. Кричит: «Папаша, я стараюсь... я стараюсь... я стараюсь»... — А я еще! Вот с тех пор каждый раз, как ворочаюсь, секу... Он уж знает, увидит в окно, весь побелеет, затрясется, глазами бегает... Иной раз нарочно лишний раз не в очередь в наряд уйду, чтоб, значит, не ворочаться домой, передышку ему дать, ну да и поверстных лишних загонишь; а как воротишься, высекешь. Уж думал я, голову ломал, чтобы не сечь его, а репетитора нанять, ну, невозможно — десять целковых в месяц, немыслимо, — это значит, остальной семье голодом сидеть. Иной раз так припадает, как контроль зачастит, что от зайцев целковый в месяц принесешь, — только и есть. В бригаде-то все ведь делимся, обер-то наружность только одну показывает, что он не ведает, не знает ничего, потому, в случае чего — вину один кто-нибудь из нас на себя берет, а обера оберегаем, он в стороне...

Он замолчал и сдунул с папиросы пепел.

— Худой он у меня, высох, все книжки читает. Мать ругается, чтобы спать ложился, а он потихоньку возьмет огарок, — свечи у нас от вагонов остаются, экономия, домой приношу, — загородится одеялом на кровати и читает, а потом братьям рассказывает про разные страны, государства, про путешествия. С товарищами не играет, да и некогда — за уроками все. Говорит, как вырастет, в монастырь уйдет. Летом поправляется, летом я его не бью, веселый такой делается, я его все катаю, с собой беру, любит до страсти станции разные, города видит. Иной раз, оставишь на станции, купается, бегает, рыбу ловит, а назад ворочаешься часов через восемь и берешь его. Никак не дождемся лета.

— Погубите вы мальчика, забьете.

Он глянул на меня не то виновато, не то полупрезрительно.

— Моя жизнь, господин, конченная. Шестнадцать лет я только и знал, что вагон да станция. Дому-то я, почитай, и не видал. Приедешь домой, ну, самоварчик, тепло, семья, да вспомнишь, что время идет, скорее спать, хоть отоспишься-то, — в вагоне не много наспишь; а там выскочишь, скорее в наряд, и опять трясись. Душно, накурено, скучно... Вагон для нас все: и семья и дом... Да в пассажирском еще

хоть тепло, не мерзнешь, и на людях все с хорошим человеком хоть словом перекинешься, а как на товарном, господи, да не дай ты, царица небесная; упаси и избави! Сидишь на площадке один-одинешенек целыми днями, ветер, дождь, снег насквозь тебя пробивает, закоченеешь, так, что еле слазишь, только тем и держишься, что водки выпьешь на станции... Половину своего жалования в буфете оставляем. Не дай, господи!.. А тут еще то сказать, с другой стороны, что начальство нас на собачьем положении считает. Как встретился с красной фуражкой, хоть и не виноват, а у самого, как у собаки, хвост и уши поджимаются... Правов у нас никаких не признают, а если чуть рот разинешь... Да что! Меня начальник станции два раза по морде съездил, — проговорил он, вызывающе глядя мне прямо в глаза, — и ничего — съел... Люди, мы что ли?.. Так, дикая животная: ее пнул ногой, а она даже визжать не смеет.

Он на минуту смолк, усиленно затянувшись папиросой.

— Поопределяю ребят, кого в столяры, кого в сапожники, кого в слесаря... Известно, какая их жизнь будет: пьянство, драка, мордобой... И мне не два века жить, помру. Что же останется на земле? Вот и тянусь, в веревочку вьюсь, чтобы Ванятку человеком сделать, чтоб память оставить... Мои косточки будут гнить, ребята — кто куда, какую уж им долю господь положит, потому на всех сил моих нехватает, а Ванятка останется после нас... Никто не посмеет ему не то что в морду или в зубы заглянуть, или обругать, а и грубое слово сказать, все к нему с уважением, не надо ему будет воровать, зайцев крадучись возить, как отец возил... И я спокойно в гробе буду лежать, что оставил по себе хоть одного человека настоящего. Я, господин, мясо дам из себя резать живое, только бы Ванятку довести... Господи!.. Ляжешь иной раз в вагоне в своем отделении, не спишь, глядишь в темноту в потолок, и все Ванятка представляется: как ходит, говорит, какое лицо, на горбу ранец, а на голове форменная фуражка, — не оторвался бы...

Его веснушчатое, добродушное лицо, слегка сощуренные глаза, от которых разбегались морщинки, светились нескрываемым радостным воспоминанием о сыне, и от всей его фигуры, освещенной неверным, колеблющимся пламенем огарка, веяло простотой и искренностью.

В голове поезда опять потянулся свисток, но теперь спокойный и ровный.

— Кизитеринка, — проговорил кондуктор, торопливо докуривая остатки своей папиросы, которая стала жечь ему пальцы, и на лицо его и на фигуру набежало обычное выражение, которое бывает у кондукторов, когда они проходят по вагону, отбирают билеты и заученно выкрикивают скучными голосами: «Станция такая-то, поезд стоит столько-то».

Он задавил ногой окурок и вышел.

Поезд все больше и больше задерживал ход. Сквозь черное окно, на стекле которого то-и-дело появлялись продолговатые капли дождя, загорелся зеленый огонек стрелки и тихонько проплыл назад. Показались неясные темные контуры станционных зданий, платформа,

слабо отражавшая в лужах огни фонарей, тускло светивших сквозь сетку дождя. Вагоны толкнулись, подались немного назад, и ясно стало слышно, как без устали барабанил по вагонным крышам дождь.

*

Паровоз Б № 314

На Подсолнечной стоял почтовый поезд.

К сдержанно шипящему паровозу подходят двое в засаленных картузах, в синих промасленных блузах, с осунувшимися лицами, темными от въевшегося в кожу масла, пыли и грязи. Один высокий, другой — низенький.

— Никандру Алексеевичу наше почтение, — и приподняли картузы.

Машинист, кряжистый, раздавшийся вширь, как будто ему было тесно в маленькой железной будочке, хмурый, с лицом в складках дряблой кожи, тоже подернутой налетом масла и копоти, ничего не сказал, отвернулся, взялся слегка дрожащей рукой за кран, и паровоз, точно прорвавшись, с озлобленной радостью, дрожа от нетерпения, зашипел так оглушительно, кутаясь в облака пара, что бродившие поодаль куры со всех ног пустились к деревне.

Слесарь, переминаясь, сдвинул картуз на затылок, потом ссунул его опять на лоб.

— К вашей милости, Никандр Алексеевич.

— Да это ты, Иван?

Хмурые складки на лице машиниста снисходительно шевельнулись.

— Я же, я; я и есть. А это — товарищ, токарь.

— Откуда?

— Да грешным делом на праздничек урвались в деревню. Сами знаете... Опять же в конторе печенег-народ, билета удавятся, не дадут... Сами ездиют беспеременно, а для нас так, как родить им. Сделайте милость, возьмите.

Машинист достал бумажный портсигар, нежно взял папироску большим пальцем и мизинцем, обмял ее, закурил и стал пускать дым, глядя на кончик носа.

— Кабы не срочно, а то срочно; безотлагательно надо в депо кончить работу ко вторнику.

— Главное, срочно, — неожиданно тонким голосом, так не шедшим к его тощей длинной фигуре, неизвестно чему засмеялся токарь. Вокруг его глаз разбежались лучики. Но сразу он опять стал серьезным, глядя в сторону, будто его все это вовсе не касалось. И лучики около глаз потухли.

Помощник машиниста, молодой, широкоплечий, с впалою грудью и такими же запавшими, густо занесенными угольной пылью щеками, повернувшись спиной, точно молча осуждая весь этот разговор, неодобрительно лил из длинной масленки смазку в сочленения паровоза.

— Штрафуют нас, — хмуро выронил машинист и густо выпустил дым, скупясь на лишнее слово.

— Сделайте милость... Кабы не к сроку...
— Главное, к сроку, — снова засмеялся длинный, засветивши лучиками у глаз, и замолчал. И лицо его опять стало костлявым, лошадиным.
— В поезде, что же?
— Контро-оль. Спрашивали обера. Сами бегают, не знают, куда зайцев девать... Одного положили на скамейке, покрыли одеялом и велели на него сесть мужикам... Ну, тот лежал, лежал, упарился, да как заревет боровом на весь поезд, публика с испуга кто куда... смеху было...
Отчетливо трижды медно ударил колокол. Засвирестел обер-кондукторский свисток. Платформа опустела; только краснела шапка дежурного. Паровоз густым, низким голосом отозвался на свисток.
— Никандр Алексеевич... кабы не срочно, а то срочно... будьте добры... мастер - то главный — собака, беспременно к штрафу...
Он торопливо спешил выложить все слова, чтобы поспеть, пока не тронулся паровоз.
— Ну, лезьте... да зайдите с другой стороны, чтоб не увидали.
Оба торопливо, искоса глянув на красневшую вдали шапку начальника, обежали широкую, приготовившуюся к бегу грудь паровоза, от которой несло жаром, и цепляясь за поручни, как обезьяны, взобрались на площадку.
В мгновенно наступившей тишине паровоз густо металлически дохнул клубом белого пара и двинулся. Со скрежетом забилась под ногами железная площадка между будкой и тендером. Поплыла назад платформа, заскользила земля, рельсы: но далекие зеленеющие поля будто бежали вперед. Уже ветер мчался навстречу, уже шпалы безумно неслись под ненасытно поглощавший их паровоз...
Неукротимый, клокочущий железный грохот тяжко метался, не отставая от паровоза, то больно врываясь в уши отчетливым клекотом колес, то потрясая мозг и задыхающуюся грудь лязгом сотен тысяч пудов железа...
В будке было тесно, жарко, грязно от угля, крутились вихри вырывавшейся из-под колес пыли, люди, железо и груды угля шатались, раскачиваемые из стороны в сторону.
Слесарь и токарь, оглушенные, с усилием удерживаясь на ногах, прижимались к стенкам, боясь помешать работе.
Машинист бегло глянул на водомерную трубку, буркнул:
— Качай! — и, выставив слегка голову на бешено несущийся навстречу воздух, глянул вдоль пути.
На секунду мелькнуло привычное: бесконечно вытянувшиеся рельсы, и все, что неслось вдоль них — березки, столбы, овраги, поля; все издалека бежало медленно, но чем ближе, — тем быстрее в шумящем разорванном воздухе проносилось мимо паровоза, как и убегавшие под колеса сливающиеся в мелькании шпалы.
Машинист, все такой же хмурый, проговорил:
— У вашего деповского начальника, говорят, жена сбежала.
Но в железной будке, ни на секунду не слабея, все покрывая, бе-

шенно метался грохот, и слесарь с токарем только видели, как шевелились под усами у машиниста губы.

— Ась?

Помощник сильными молодыми движениями глубоко забирал железной лопатой уголь и размашисто кидал в разинутую топку, нестерпимо обдававшую ослепительным жаром и людей и железо.

Слесарь и токарь все жались и сторонились, но податься было некуда, и перед их глазами расплывались красные круги.

Помощник сразмаху захлопнул загремевшую и мгновенно потушившую красный блеск дверку, и люди легче вздохнули. Грохот метался.

— Тепло, — проговорил слесарь, чтоб поддержать разговор, но и сам не слыхал своего голоса, — тепло, говорю, у вас! — закричал он диким голосом, поглядывая на всех.

Ему не ответили.

Помощник отирал с лица ставшего пепельным, крупные капли пота, размазывая угольную пыль, грязь и масло.

— Соблаговолите... — и слесарь осторожно потянул что-то из кармана, но, спохватившись, что не слышит своего голоса, опять закричал диким и заискивающим голосом: — Соблаговолите, Никандр Алексеевич.

И снова потянул: из кармана полезла бутылка с красной печатью на горлышке.

Машинист бегло взглянул на манометр, на водомерную трубку, присел на крошечную откидную железную лавочку и закрыл глаза. Складки кожи на лице стали еще глубже, голова свесилась, и все осунувшееся тело слегка покачивалось от хода машины.

Помощник, наклонившись в окошечко, глядел на несшийся навстречу путь, и волосы на голове его буйно рвались и трепетали от ветра.

Слесарь держал бутылку, протянув ее машинисту и находя неловким начинать без хозяина. Ему казалось, что сквозь мечущийся грохот и гул он слышит, как тот посвистывает мирно носом. Оглянулся на товарища, — тот с полуудивленным длинным лицом так же покачивался, держась за скобку и думал о чем-то своем.

Слесарь крякнул, хлопнул снизу ладонью — выскочила пробка. Запрокинув голову, торопливо сделал несколько глотков.

— Угощайтесь, пожалуйста...

Но помощник машиниста попрежнему не оборачивался, встречный ветер трепал его волосы.

Слесарь забывал и о грохоте, и о движении шатающегося паровоза. Но, когда подымал глаза, видел, что поля летели мимо, а когда говорил, не слышал своего голоса.

Длинный тоже глотнул неуклюже и, играя кадыком, запрокинул голову.

— Вон, сказываете, у деповского жена сбежала. Да у меня самого сбежала — проговорил он, отдавая бутылку, и вдруг коротко засмеялся. Но сейчас же лицо его опять стало унылым и длинным с красными и беспокойными глазами.

Машинист открыл глаза, хмуро глянул на бегущий путь, как будто

хотел сказать: «знаю, знаю... как раз, то что нужно» и отер лицо, словно снимая паутину усталости после минутной дремы. Складки его лица чуть-чуть разгладились.

— Ну-ну, давай, что ли, — протянул он слегка дрожащую руку.

— Соснули трошки, Никандра Алексеевич.

И слесарь услужливо подал бутылку, достал из кармана и положил на бумажку соленый огурец.

— Да ведь по-лошадиному... разве это служба, — злобно играя мускулами черных от копоти щек, проговорил помощник, — девятнадцать часов с паровоза не слезает... и почти что каждый день так...

Слесарь вдруг открыл секрет: не надо напрягаться и кричать в этом без устали дико-мечущемся грохоте, а только смотреть на лицо и губы говорящего и схватывать все с полуслова. Оттого-то машинист с помощником так странно спокойно, не торопясь разговаривают.

— А, вот как женишься да отдашь дочь в гимназию, так будешь и по двадцать девять часов не слезать с паровоза.

Но помощник, словно не желая продолжать разговора, снова с грохотом распахнул железную пасть топки, бросившую на всех красный отблеск сжигающего жара, и стал напряженно кидать уголь, роняя с побледневшего лба капли пота.

— Убежала... Что ни делал: бил, вязал, за волосы возил по полу, — ни-и-чего: как будто не ее... Опять возьмет и убегает...

Лошадиное лицо обернулось и посмотрело на всех с тоской, болью и изумлением.

— Домик у вас на Воскресенской, — проговорил слесарь, хрустя откушенным огурцом и чувствуя, как в грохоте, в гуле, с лицом, окрашенным отблеском палящего жара, машинист тоже спокойно и вкусно хрустит. — Под железной крышей, хороший домик.

— Вот он у меня где, этот домик, — машинист хлопнул себя по шее, — для него и живу, для него и с паровоза не слезаю. Вон руки у меня уже трясутся, а мне всего сорок второй. Годов пять подержут, а там скажут: до свиданья, слезай, наездился... А дом-то заложен...

... — И бил, и за волосы таскал — ни-и-чего...

— Разве домá для нашего брата... Домá для нашего брата — камень и смерть.

Помощник, только что с железным стуком захлопнувший палящую жаром топку, злобно запрокинул голову и жадно глотнул водки.

— Наш брат должен быть вольный, как ветер в поле, куда хочешь лети. Вот... А то — до-ом, гимназия... А почему?

И точно во всем был виноват слесарь, помощник повернулся к нему худым, постаревшим лицом, нарочно не закусывая после горькой водки и глядя злыми глазами.

И слесарь повинился: сделав заискивающее лицо, он проговорил:

— Действительно...

И должно быть, смягчил помощника. Безусое лицо его снова стало молодым, что-то мягко прошло по нему, словно сняло нагар, копоть и грязь, а глаза влажно подернулись ласковостью и грустью.

— На пасху прихожу в церковь (он глядел куда-то мимо слесаря), —

а она вся в белом, цветы в волосах, тоненькая как хворостинка... Я стою... пиджак на мне — коробом, цельную неделю мылся, не мог морду оттереть, въелось все... стою и не знаю, нето на алтарь молиться, нето на нее... А около нее гимназисты, студенты... куда уж нам!..

Первый раз за все время неподвижные складки лица машиниста тронула улыбка, и оно стало иным, будто мягко глянул из него другой человек.

— Дочка — ничего, дай бог всякому... Хоть в генеральский дом... Не побрезгают...

Лицо помощника исказилось злой судорогой и опять постарело, а между искривленными бровями залегла складка:

— Думаете, долго вас железная дорога продержит — руки вон трясутся... Выкинут, не беспокойтесь, а тогда ей... — и он закричал визгливо сорвавшимся голосом, — в проститутки!..

Машинист грузно, пошатнувшись, как каменный, поднялся:

— Нну!.. Т-ты!..

Помощник на секунду закрыл ладонью глаза, потом схватил бутылку и, быстро и жадно запрокинувшись, сделал три огромных глотка.

Слесарь сидел согнувшись. Холодный страх охватывал его, покалывая в пальцы. Как будто в первый раз увидел он, что все пьют водку, что никто не смотрит на несущийся навстречу путь, что машина в грохоте, в дыму несется, слепая, ничего не видя, безумная.

Мелькают поля, проносятся березки, телеграфные столбы, а тут пьют и закусывают, как будто забыли о скользящих под колесами рельсах. И сквозь грохот и мелькание неумолкаемо слышится торопливое и предостерегающее: «клы-клы-клы...» — голос сотни колес, который неустанно и торопливо твердит:

— Мы за вами... мы за вами... клы-клы-клы-клы...—Покорно и все одинаково.

Слесарь обводит вокруг себя словно побелевшими глазами, хочет побольше вдохнуть воздуха, но не может. И стараясь хоть в чем-нибудь найти выход и смягчить положение, говорит заикаясь:

— Она сама... то есть, знает дорогу... машина-то...

— А-а... чорт с ними!..—и помощник злобно отмахнулся от кого-то рукой.

Тут, в виду этих спокойных каменно-темных лиц, этой непрерывной, дьявольски-грохочущей, пышущей жаром работы слесарь забывает про угрожающую ему самому опасность. Но ледянящий холод заливает мозг, когда он прислушивается к колесному перестуку: клы-клы-клы... Полтысячи человек назади в вагонах спокойно сидят, лежат, разговаривают, спят, смеются, ни о чем не думая, ничего не подозревая, а тут, шатаясь, от безумной силы, оставляя после себя разорванный грохот и дым, несется машина, молниеносно работая сочленениями, несется слепая, темная, невидящая.

В будке выпивают, закусывают огурцами... И все неудержимо несутся к какому-то темному, немому, черноразинутому оврагу, который жадно подстерегает впереди, постоянно убегая от поезда, и о ко-

тором непрерывно твердит сотня покорно бегущих колес: «клы-клы-клы...»

. . . .

Тесно, узко и душно в будке, где со скрежетом, то сдвигается, то раздвигается железная перекидная площадка. Но просторно тут для усталости и измученности людской, еще хватит места для горя и тоски — потеснится даже все заполняющий грохот.

«Клы-клы-клы-клы... клы-клы-клы-клы...»

Слесарь чувствует — измучился, истомился он этим непотухающим ожиданием.

— Нет, у нас в депе лучше, — говорит он с извиняющейся улыбкой, — отработался, да и домой...

Тут машинист и помощник разом, как по команде, подымаются и глядят с обеих сторон в оконца.

— Я те... я те... а... эт... ваа...

Но несущийся навстречу ветер срывает и уносит слова, которых не разберешь. Только видно, как грозит кому-то черным кулаком машинист, как проносится незакрытый переезд, закинувшаяся от испуга лошадь, и накренившаяся телега. На секунду мелькает виноватая фигура путевого сторожа.

И опять тот же грохот, тот же скрежет железной, ходящей под ногами, площадки, так же тесно, грязно, удушливо, и пышет жаром и кидает из стороны в сторону, и все дрожит от безумной тряски неперестающего бега, и несется мимо ветер...

«Клы-клы-клы... клы-клы-клы...»

Но теперь голос сотни бегущих позади колес клокочет спокойно и покорно. Разинутый черный овраг пропал. Глубокий покой и уверенность разливаются в измученной, истомившейся ожиданием душе слесаря. То, что оба они, и машинист, и помощник, разом, не глядя на путь, поднялись именно там, где нужно, точно камень с сердца свалило. Слесарь почувствовал: за беззаботностью и равнодушием этих хмурых неподвижно-каменных лиц живет постоянное, ни на секунду не потухающее напряжение, от которого раньше первых усов приходит старость, и в сорок два года трясутся руки...

«Клы-клы-клы-клы...»

Ничего, машина знает свое дело, и люди знают свое...

Где-то в темной глубине их души несомненно, вместе с бегом машины, ни на секунду не потухая, скользит навстречу полотно со всеми знаками, закруглениями, уклонами, будками, столбами. Даже сон весь наполнен этим неукротимым бегом и мельканием.

С обеих сторон проносятся широкие поля, сверкающий воздух, деревни, люди, животные, птицы и звуки со своей особенной ласковой неспешной жизнью, а эти двое с хмуро-темными лицами ничего не видят, не слышат и живут в тесной, узенькой, душной будочке, в урагане крутящейся пыли, жара и грохота, в непрерывном мелькании, непрестанном скрытом напряжении, чтобы они ни делали; и так сутки, недели, годы: так вся жизнь, будто и нет другой...

«Клы-клы-клы-клы...».

Машинист, взглядывая то на несущийся путь, то на водомерную

трубку, присаживался и на минуту заводил глаза, поблескивая белком из-под несомкнутых век.

Помощник, кидая уголь, качая воду, тоже лишь изредка поглядывал на беспрерывно пропадающие под паровозом рельсы, присаживался потом к бутылке, и, шатаясь и кутаясь в грохот, неслась слепая машина.

Слесаря стала одолевать дрема. Сидит он на корточках, тесно и неудобно, и вдруг все поплывет, мягко и грустно, и мучительно хочется лечь и опустить голову, а где-то далеко-далеко слабо и ласково бежит замирающий клекот колес: «клы-клы-клы-клы...»

И вдруг вскинется:

— А?..

Тот же грохот, и теснота, и буйно кружится угольная пыль.

Слесарь встряхивает головой, избавляясь от дремоты, поглядывает на пустую бутылку и говорит, ухмыляясь:

— Еще есть... запас, — лезет в карман, и оттуда не спеша вылезает горлышко с красной печатью.

— Будет, — хмуро говорит машинист.

Слесарю хочется сделать или сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он взял на паровоз, и еще за то, что освободил от давящего ожидания и страха.

— Вам бы, Никандра Алексеевич, какую ни то другую работу взять. Чижало уж очень тут. Вон, надысь купец Корытин искал машиниста — мельница у него паровая. И жалованье хор...

Осекся. Машинист странно задвигался... Сквозь неподвижно-пепельные черты его лица тяжело пробивалось волнение.

— Будет те молоть-то... балабола... дай-кось сюда.

Взял бутылку и проглотил много, как воду. Смутный румянец лег на пепельную кожу. Он передохнул и, как бы вдавливая воспоминания назад, крепко и широко потер лоб.

— Нельзя мне... нельзя мне, — заговорил он, подавшись, — не могу бросить... Вот в этом самом... в этом самом паровозе человека я сварил...

Он поглядел вокруг себя, точно ища чего-то, и все так же тяжело, сдержанно дыша.

Слесарь не сумел ответить, крякнул и тоже потянул из бутылки.

— В депо поставили паровоз в ремонт. Слесарь был, вот такой, как ты...

— Так... понимаю... — слесарь утвердительно мотнул головой.

— К рождеству время шло... Каждый старается зашибить лишнюю копеечку.

— Известно, к празднику-то.

— Вот и он... работал день и ночь не в очередь... спал часа по два в сутки. Глянешь, а он белый, и ноги, как мочало. «Кончаю, говорит, Никандр Алексеевич», — а сам улыбается, устал, стало быть. Потом вдруг нету его... Ну, думаем, ушел домой, кончил. Велел я помощнику воду в котел пустить, затопить. Затопили. В депо стук, гром, разве слышно...

— Где уж...

— А он, слышь, залез в котел кончать, да и уснул, устал...

Машинист глядел, раздув ноздри, трудно дыша.

— Гляди, бился, кричал, где уж слыхать, — проговорил слесарь, чувствуя, как хмель слезает с него.

— Две недели в пути были, ходили с поездами. Баба его все в депо ходила, все слезы проплакала — нету мужа, куда ушел, никто не знает. Праздник прошел, а его нету. Ну, вернулись опять в депо, через две недели, выпустили воду, полезли в котел, а там... косточки б-елые... одни косточки, ни мяса, ни одежи, ни глаз, ни хряща... бе-елые... одни косточки...

Он наклонился, дыша в самое лицо, глядя широкими неподвижными глазами.

Все четверо помолчали, нечего было прибавить, точно постояли над свежей могилой с непокрытыми головами; только грохочущий гул ревел и метался, куда попало, длинный, слепой и, должно быть, косматый, отпевая свою железную воющую панихиду, всегда одну и ту же, такую простую и такую непонятную людям. И сквозь ветер спокойно, уверенно и покорно доносилось:

«Клы-клы-клы-клы»...

Помощник, глянув искоса и хмуро на рассолодевшего, плескающего в дрожащей руке водку машиниста, делал теперь все сам.

— Не уйду я отсюда... не уйду, покуда не прогонят, али голову сложу, не уйду от его могилки. Давали курьерский водить, да на другой паровоз надо, — не могу...

— Я то и говорю, то и говорю, — бросил помощник, — убью без следа и следствия!.. Камня на камне от башки твоей не оставлю...; ей богу!

— Убьет... Он убьет, — такой... — подтвердил спокойно слесарь.

Поражая слух даже среди грохота несущегося поезда, заревел паровозный гудок. Помощник глядел, наклонившись, в окно, тянул веревку, и белый пар клубами бурно рвался над свистком. Загремели колеса на крестовинах, мелькнула стрелка, другая, проплыл семафор...

Машинист поднялся. Безразличное хмуро-равнодушное выражение легло на серое лицо. Положил руку на регулятор, глядя на бегущую навстречу водокачку и платформу... Станционное здание... красная шапка на платформе... Земля, вся запорошенная углем и исчерченная рельсами, потекла мимо все тише и тише. Вагоны, навалившись друг на друга, толкнулись звеня буферами, — поезд стал...

Двое, тщательно спрятав пустые бутылки, слезли с паровоза.

— Покорно благодарим. Счастливо оставаться, Никандра Алексеевич.

И пошли по путям, не оборачиваясь и о чем-то разговаривая.

Публика суетилась на платформе, потом успокоилась. Гуляли вдоль вагонов, иногда подходили к паровозу, глядели на его отдельные части и слушали, как, сдержанно подавляя бунтовавшие внутри силы, дышала машина. Смотрели на спокойных с серыми, равнодушно-каменными лицами людей, делавших в будочке что-то свое, важное и недоступное другим...

Впрочем, паровоз был, как все паровозы, и отличался только номером: Б 314.

Эмиль Золя

В снегу

(Отрывок из романа «Человек-зверь»)

Пассажиры, собиравшиеся в четверг ехать из Гавра с почтовым поездом, отходившим по утру в сорок минут седьмого, проснувшись, пришли в величайшее изумление, когда выглянули на улицу: действительно, с самой полуночи шел снег такими большими и частыми хлопьями, что успел к утру покрыть землю пластом толщиною приблизительно в пол-аршина.

Под крышей у дебаркадера пыхтела и дымилась «Лиза»[1], прицепленная к поезду, состоявшему из семи вагонов: трех второго и четырех первого класса. Когда, в половине шестого, Жак и Пекэ[2] пришли в депо, чтобы осмотреть паровоз, их не на шутку встревожил снег, которым свинцово-черное небо упорно осыпало землю. Теперь они были на местах и ожидали только приказания тронуться в путь. Глаза их были устремлены вдаль, словно стараясь пронизать сумрак, еще более затемненный наполнявшими его снеговыми хлопьями, окутывавшими все вокруг, словно пеленою густого тумана.

Машинист проворчал сквозь зубы: «Чорт возьми, теперь не увидишь даже и сигнала».

— В такой снег, пожалуй, можно где-нибудь и застрянуть, — заметил кочегар. Рубо[3] был со своим фонарем на дебаркадере. Он явился на службу как раз во-время. Веки его, раскрасневшиеся от бессонной ночи, смыкались по временам сами собою от усталости, но он все-таки инстинктивно исполнял свои служебные обязанности. Жак осведомился у него о состоянии пути. Рубо подошел к машинисту, чтобы пожать ему руку, а затем отвечал, что не получил еще телеграммы с соседней станции. Северина, закутанная в широкую тальму, спустилась по лестнице, и муж сам усадил ее в один из вагонов первого класса. Он, без сомнения, подметил тревожный и нежный взгляд, которым обменялись влюбленные, но не позаботился даже сказать жене, что с ее стороны было очень неосторожно уезжать в такую погоду и что следовало бы лучше отложить поездку.

Утро было страшно холодное, но, несмотря на это, вагоны были переполнены пассажирами; все они являлись укутанными в теплое платье, со множеством чемоданов и саквояжей. Было так холодно, что снег, приставший к обуви, не таял, и дверцы вагонов тотчас же захлопывались за каждым пассажиром. Каждый старался как можно скорее усесться в вагон, а потому дебаркадер[4], плохо освещенный несколь-

---

[1] Имя, которым по тогдашнему обычаю Жак окрестил свой паровоз.

[2] Машинист и кочегар—герои романа.

[3] Помощник начальника станции, жену которого, Северину, любит машинист Жак Лантье.

[4] Перрон вокзала.

кими тусклыми газовыми рожками, оставался совершенно пустым и погруженным в полумрак. Один только передний фонарь паровоза, прикрепленный у основания дымовой трубы, сверкал, словно гигантский глаз, отбрасывая далеко вперед огненный конус своих лучей.

Рубо поднял свой фонарь, подавая таким образом сигнал к отходу поезда. Обер-кондуктор дал свисток. Жак ответил на него, открыв предварительно регулятор и выдвинув вперед маховичек, управляющий изменением хода. Поезд тронулся. Помощник начальника станции с минуту еще следил за ним, пока он не скрылся за туманной пеленой падавшего снега.

— Теперь надо держать ухо востро, — сказал Жак своему кочегару, — сегодня у нас дело не шуточное.

Жак заметил, что его товарищ едва держался на ногах от усталости: он, очевидно, кутил и пьянствовал целую ночь.

— Ничего, кривая вывезет! — ответил с пьяной усмешкой Пекэ.

Тотчас по выходе паровоза из-под крыши и машинист, и кочегар попали под снег. Ветер дул с востока, прямо в упор паровозу, а потому они в своей будке не особенно от него страдали, так как были тепло одеты и носили очки, защищавшие глаза. Однако яркий свет фонаря, который должен был пронизывать ночной мрак, совершенно поглощался хлопьями падавшего снега. Полотно дороги, вместо того, чтобы освещаться на двести или триста метров вперед, было окутано словно дымкой молочно-белого тумана, из которого предметы выделялись лишь в непосредственной близости, как будто мгновенно вырастая из под земли. Машинист не на шутку испугался, убедившись при взгляде на огонь первого же сторожевого участка, что нельзя различить с надлежащего расстояния красные сигналы, закрывающие путь. Он вел поезд поэтому с величайшей осторожностью, не решаясь, однако, уменьшить скорость, так как противный ветер и без того задерживал ход паровоза. Между тем всякое замедление при таких обстоятельствах могло бы оказаться опасным.

До Гарфлерской станции «Лиза» шла бойко и ровно. Пласт выпавшего снега пока еще не тревожил Жака, так как не превышал в толщину шестидесяти сантиметров, а прикрепленные к передней части паровоза щетки были в состоянии расчищать снег даже в метр толщины. Он заботился теперь лишь о том, чтобы итти с надлежащей скоростью, зная, что главнейшее достоинство машиниста, после трезвости и любви к своему паровозу, заключается в том, чтобы везти поезд с равномерной скоростью, сохраняя возможно высокое давление пара. Единственный его недостаток заключался именно в упрямстве, с которым он шел вперед, не слушая сигналов, в полной уверенности, что всегда успеет сдержать «Лизу». Поэтому иногда он заходил слишком далеко, так что давил положенные на рельсы петарды или так называемые мозоли; за это его два раза даже штрафовали, отстраняя на неделю от должности. Теперь, однако, Жак сознавал лежавшую на нем тяжкую ответственность. Мысль, что Северина была тут же, в поезде, подвергавшемся такой серьезной опасности, удесятеряла силу его воли, которая всецело направлялась туда, к Парижу, вдоль двойного рельсового пути, сквозь все препятствия, которые следовало миновать.

Стоя на железном мостике, соединявшем паровоз с тендером, Жак, несмотря на сильнейшую качку и снег, бивший ему в лицу, нагибался вправо от паровоза, чтобы лучше разглядеть путь. Сквозь мокрые стекла он ничего не мог рассмотреть, а потому должен был подставить лицо прямо навстречу ветру. Снег колол ему кожу словно тысячами иголок, мороз щипал его так, что вызывал ощущение мелких порезов бритвы. От времени до времени Жак возвращался в будку, снимал с себя очки и вытирал их, а затем тотчас же возвращался к своему наблюдательному посту, лицо к лицу с ураганом, и зорко вглядывался вперед, в ожидании увидеть красный сигнальный огонь. Он был до того погружен в это ожидание, что дважды у него являлась галлюцинация: ему казалось, будто сквозь дрожащую молочно-белую пелену падающего снега внезапно сверкнули красные искры.

Совершенно неожиданно Жак, несмотря на темноту, почувствовал, словно инстинктивно, что кочегар не смотрит более за котлом. Чтобы не утомлять глаз машиниста, никакого освещения в будке не было, только маленький фонарик отбрасывал свой свет на водомерную трубку. Эмалевый циферблат манометра блестел, казалось, собственным своим светом. Взглянув на него, Жак заметил, что стрелка быстро понижалась. Огонь под паровозом ослабевал. Действительно, кочегар спал, растянувшись на сундуке. «Я тебе дам спать, проклятый пьянчужка!» сердито вскричал Жак, расталкивая кочегара.

Пекэ встал и невнятно проворчал какое-то извинение. Он едва держался на ногах, но сила привычки заставила его тотчас приняться за дело. Схвативши молоток, он наколол угля, насыпал этот уголь лопатою ровным слоем на решетку, а затем сбросил метлою вниз мелкие обломки угля. Когда дверцы топки оставались открытыми, отблески от раскаленной печи ложились позади поезда на снег, словно огненный хвост кометы[1]. В этих огненных лучах багровый снег сверкал переливами золота.

За Гарфлерской станцией начинался большой подъем длиною в три мили, идущий до Сен-Роменской станции. Это был самый крутой подъем на всей линии. Машинист удвоил там внимание, ожидая, что ему придется прибегнуть к энергичным мерам, чтобы взобраться на этот подъем, который трудно одолеть даже в хорошую погоду. Не выпуская из рук маховичка, управляющего переменою хода, он смотрел, как пробегали мимо телеграфные столбы, стараясь таким образом составить себе понятие о скорости хода поезда. Скорость эта значительно уменьшилась. «Лиза» выбивалась из сил и можно было по возраставшему сопротивлению угадать, что снегоочистителям[2] приходилось усиленно работать. Толчком ноги он отворил дверцы топки. Дремавший кочегар понял, в чем дело, и усилил огонь, чтобы увеличить давление паров. Топочные дверцы раскалились и освещали фиолетовым

---

[1] Блуждающие светила, отбрасывающие при стремительном своем движении полосу светящихся газов и частиц, так называемый «хвост», достигающий гигантских размеров.

[2] В годы, к которым относится действие романа особых снегоочистителей не существовало и паровозы снабжались небольшими снегорезами в виде щеток или плужков.

светом ноги машиниста и кочегара. Они не чувствовали, однако, никакого неудобства от жара, подпекавшего их снизу, так как их охватывал ток холодного воздуха. По знаку, поданному машинистом, кочегар отворил зольник[1], вследствие чего тяга еще усилилась. Стрелка манометра быстро поднялась с девяти до десяти атмосфер. «Лиза» развивала теперь всю энергию, которую вообще могла дать. Увидев, что уровень воды в котле понижается, машинист должен был пустить в ход инжектор, хотя это должно было понизить давление пара. Впрочем, давление это тотчас опять поднялось. Паровоз пыхтел и сопел, как загнанная лошадь, вздрагивая по временам от собственных своих усилий, так что, казалось, можно было расслышать, как он трещит по всем сочленениям. Жак обходился теперь с «Лизой» грубо и сердито. Он, очевидно, не питал уже к паровозу таких нежных чувств, как в прежнее время. «Никогда эта лентяйка не взберется на подъем», — проворчал он сквозь зубы, хотя вообще не имел привычки разговаривать дорогой.

Пекэ, несмотря на свою дремоту, взглянул с изумлением на машиниста; за что это он взъелся на «Лизу»? Разве она не была попрежнему образцово послушным паровозом, который так легко трогался в путь, что им было положительно приятно управлять? К тому же «Лиза» так хорошо держала пары, что на пути из Парижа в Гавр сберегала десять процентов отпускавшегося на нее топлива. Когда паровоз снабжен такими прекрасными золотниками, которые так тщательно выверены и так прекрасно отсекают пар, то можно простить ему все остальные недостатки, подобно тому, как если бы дело шло о домовитой хозяйке, бережливой и хорошего поведения. Правда, что «Лиза» расходовала много смазочного масла. Никакой беды в этом, впрочем, не было; приходилось только смазывать ее почаще.

Жак повторял с величайшим равнодушием: «Нет, она ни за что не взберется на гору, если ее не поддержать».

Он взял масленку и отправился смазывать паровоз на полном ходу. Это случалось ему делать, быть может, всего раза три в жизни. Перешагнув через перила, он взобрался на раму и стал подвигаться по ней боком вдоль котла. Предприятие это было чрезвычайно опасным. Ноги Жака скользили на узкой железной полосе, гладко отполированной и смоченной, сверх того, снегом[2]. Страшный ветер, дувший прямо навстречу паровозу, хлестал машинисту в лицо крупными хлопьями снега и угрожал снести его самого, как соломинку. Он должен был изо всех сил цепляться за бока «Лизы», которая, бешено пыхтя, мчалась во мраке, прорезая глубокую борозду в беспредельном снеговом покрове. Она не могла стряхнуть Жака ни боковой, ни продольной качкой и уносила его с собою. Добравшись до передней поперечной связи, Жак присел на корточки перед масленкой правого цилиндра и с величайшим трудом наполнил ее маслом, придерживаясь одной рукой за стержень, управляющий изменением хода; потом ему пришлось перебраться на другую сторону паровоза, чтобы смазать левый его

[1] Поддувало.
[2] Паровозы в те времена (70-е годы) не имели перил вокруг котла.

цилиндр. Он сделал это ползком, словно какое-нибудь насекомое, и был бледен, как полотно, когда вернулся, истомленный физической и нравственной пыткой, которую ему пришлось выдержать. Сознавая, что во время своего путешествия вокруг паровоза был всего на волос от смерти, Жак проворчал сквозь зубы:

— Этакая ведь подлая бестия!

Стряхнув с себя отчасти дремоту, Пекэ тоже стоял на своем посту, наблюдая за левой стороной полотна дороги. Глаза у него были зоркие, так что в обыкновенное время он видел лучше, чем машинист, но теперь все исчезало перед ним в общем хаосе бурной метели. Жак и Пекэ прекрасно изучили каждый километр железной дороги, по которой ездили уже в продолжение нескольких лет, а между тем они с трудом лишь узнавали местность, по которой мчались на всех парах. Дорога была засыпана снегом, в котором утопали не только заборы, но даже и самые дома. Казалось, что перед ними расстилается голая, беспредельная равнина, по которой сквозь хаос непроглядной метели «Лиза» мчится словно без всякой дороги. Никогда еще машинист и кочегар не сознавали в такой степени тесные узы соединявшего их братства, как теперь на паровозе, шедшем на всех парах сквозь снеговую бурю. Они были здесь более одинокими, более покинутыми всем миром, чем арестанты, содержащиеся в одиночном заключении. И в то же время на них лежала подавляющая ответственность за жизнь людей, находившихся на поезде, которым они управляли.

Снег валил все сильнее и гуще. Пелена, застилавшая горизонт, становилась все более непроницаемой. Поезд продолжал подниматься в гору, когда кочегару, в свою очередь показалось, будто вдали мелькнул красный сигнальный огонь. Он тотчас же уведомил об этом своего начальника-машиниста; но затем сигнальный огонь пропал. Пекэ решил, что огонь этот ему померещился. Машинист, который сам ничего не заметил, был до крайности смущен такой галлюцинацией у своего товарища: он окончательно утратил всякое доверие к самому себе. Сердце его начало учащенно биться от тревожного опасения. Ему казалось, что там, вдалеке, за белой завесой падающих снеговых хлопьев, встают какие-то громадные черные массы, словно колоссальные обрывки ночного мрака, которые переменяют место и движутся навстречу паровозу.

Казалось, будто целые горы обрушились и загородили собой путь, так что поезд должен разбиться о них вдребезги. Жак испуганно потянул за стержень парового свистка. Раздался продолжительный, отчаянный свисток, плачевно пронизывавший завывание бури. К величайшему удивлению машиниста, поезд проходил на всех парах через Сен-Роменскую станцию, которую Жак считал находившейся, по крайней мере, верстах еще в двух.

«Лиза», благополучно поднявшись в гору, стала гораздо ходче итти вперед, и Жаку можно было вздохнуть свободнее. От Сен-Ромена к Больбеку подъем совершенно нечувствителен, так что до конца плоскогорья, вероятно, удастся дойти благополучно. Тем не менее, прибыв в Безеваль, где поезд останавливался на три минуты, Жак подозвал начальника станции, которого заметил на дебаркадере, и передал ему свои

опасения по поводу снега, валившего все более густыми хлопьями и все сильнее заносившего путь. Сквозь такой снег ни за что не доберешься до Руана, если не припречь еще добавочного паровоза. В Безевале кстати находилось паровозное депо, где всегда имелись паровозы в полной готовности. Начальник станции возразил, что не получал на этот счет приказания, а сам не решается принять на себя ответственность за такое распоряжение. Единственное, что он мог сделать, это дать Жаку пять или шесть деревянных лопат, чтобы, в случае надобности, сгребать снег с рельсов. Пекэ принял лопаты и поставил их в углу тендера.

Действительно, на плоскогории «Лиза» продолжала итти с надлежащею скоростью без особенного труда, но тем не менее она утомлялась. Машинисту ежеминутно приходилось отворять толчком ноги топочные дверцы, заставляя этим кочегара подбрасывать свежего угля на решетку, и каждый раз над черным поездом, молча несшимся по беспредельному белому савану, сверкал ослепительный свет, прорезывавший ночной мрак, словно хвост блестящей кометы. Было уже три четверти восьмого. Рассветало, но с трудом лишь можно было различить бледный рассвет на небе в чудовищном белом вихре снежных хлопьев, наполнявших все пространство от одного края горизонта до другого. Этот неясный дневной свет, в котором пока ничего нельзя было различить, еще более тревожил машиниста и кочегара, пристально вглядывавшихся вдаль. Глаза у них были защищены очками, но тем не менее слезились. Не выпуская из рук маховичка, управлявшего изменением хода, машинист постоянно держал теперь также и стержень от парового свистка и на всякий случай почти беспрерывно действовал им. Свист паровоза плачевно раздавался и замирал в снеговой пустыне.

Поезд беспрепятственно миновал сперва Больбекскую станцию, а затем станцию Исето. В Маттевиле, однако, Жак счет нужным обратиться к помощнику начальника станции с вопросом о состоянии пути. Оказалось, что на станции достоверных сведений об этом не имеется. Из Парижа не приходило еще ни одного поезда. Впрочем, получена телеграмма о том, что парижский поезд-омнибус[1] прибыл в Руан. «Лиза» тронулась, спускаясь медленно и как будто утомившись по легкому склону, шедшему на расстоянии целых восемнадцати километров от Матте виля до Барантенской станции. День занимался, но такой бледный, что, казалось, будто его свет был только отражением от снеговой пелены, застилавшей землю и наполнявшей собою воздух. Снег падал теперь еще обильнее, казалось, будто небо разверзлось и осыпало землю своими снеговыми осколками.

С рассветом ветер усилился и снеговые хлопья летели словно пули навстречу паровозу. В тендере набралось так много снегу, что кочегару ежеминутно приходилось выгребать его оттуда лопатой, чтобы добраться до угля. Местность по обе стороны полотна дороги до того изменила свой вид, что ее положительно нельзя было узнать. Машинисту и кочегару казалось, будто они грезят наяву. Обширные поля, тучные луга и окруженные живыми изгородями фруктовые сады и дво-

[2] Поезд местного сообщения.

ры, засаженные яблонями,— все это сливалось в общем снеговом море, поверхность которого лишь слегка бороздили мелкие бугры. Все пропадало в беспредельном, бледном, холодном снеговом хаосе. Машинист упорно стоял на своем посту, несмотря на то, что буйная мятель словно ножами резала ему лицо, и продолжал искусной рукой управлять маховичком рычага-реверса, хотя начал сильно страдать от холода.

В Барантене начальник станции Бессиер сам подошел к паровозу и предупредил Жака о больших снеговых заносах, по направлению к переезду Мофра.

— Думаю, что вам еще удастся пройти сквозь заносы, — присовокупил он, — во всяком случае, они наделают вам хлопот.

Машиниста тогда совершенно взорвало.

— Чорт возьми! — вскричал он. — Я ведь предсказывал им это в Безевале. Ведь их бы от этого не убыло, если бы припрягли еще другой паровоз. Я вполне уверен, что мы застрянем теперь в снегу.

Обер-кондуктор сошел с заднего вагона. Он был тоже раздражен до последней крайности. Он совсем замерз в своей будке и заявил, что не в состоянии более различать сигнального флага от телеграфного столба. В эту страшную мятель поезд должен итти просто наудачу.

— Во всяком случае] вы теперь предупреждены, — продолжал Бессиер.

Пассажиры стали удивляться продолжительной остановке среди глубокого молчания станции, занесенной снегом. Не слышно было ни одной команды, не растворилась ни одна вагонная дверца. Постепенно начали опускаться стекло за стеклом, и из окон вагонов стали высовываться головы. Из одного окна выглянула очень полная дама с двумя молоденькими, очаровательными блондинками, очевидно, ее дочерьми,—все три наверно англичанки. Несколько далее появилась головка очень хорошенькой молодой женщины, брюнетки, которую какой-то пожилой господин заставлял отойти от окна. Двое мужчин, молодой и пожилой, высунув до половины туловища из окон соседних вагонов, оживленно беседовали друг с другом. Оглянувшись назад, Жак увидел, однако, лишь Северину, которая, также выглядывая из окна, окинула его тревожным взглядом. Бедняжка, как она должна была беспокоиться! Он и сам несказанно мучился сознанием опасности, в которой она теперь находилась. Он пожертвовал бы всем, чем угодно, для того, чтобы быть теперь в Париже, доставив ее туда здоровой и невредимой.

— Отправляйтесь, однако, — заявил в заключение начальник станции. — Незачем понапрасну пугать публику.

Вместе с тем он подал сигнал к отправлению. Вернувшись в свою будку, обер-кондуктор дал свисток, и «Лиза» тронулась в путь, ответив на этот свисток протяжным жалобным стоном.

Вскоре после отхода поезда с Барантенской станции, Жак заметил, что состояние пути изменилось. Поезд шел теперь уже не по беспредельной равнине, покрытой густым снеговым ковром, в котором паровоз прокладывал себе дорогу, оставляя след, постепенно изглаживавшийся за ним, как изглаживается на море след, оставляемый пароходом. Теперь местность кругом была неровная, состоявшая попере-

менно из холмов и долин, чередовавшихся до самого Малонэ. Снег лежал только местами, где его не сдувало ветром. Насыпи полотна дороги были совершенно свободны от снега, тогда как в выемках он лежал плотными массами. Поезду приходилось преодолевать целый ряд последовательных препятствий, пробиваясь сквозь громадные снеговые сугробы, отделенные друг от друга участками совершенно свободного пути.

Уже совсем рассвело, и окрестная пустынная местность, перерезанная узкими оврагами и крутыми холмами, казалась под снеговым пластом словно взволнованным океаном, замерзшим во время бури.

Жаку никогда еще до сих пор не приходилось страдать до такой степени от холода. Снег колол ему лицо словно тысячами игл, так что казалось будто оно было все в крови. Руки совсем закоченели и утратили всякую чувствительность. Жак с ужасом заметил, что пальцы его не ощущают, держат ли они за маховик реверса или нет. Когда ему приходилось поднимать руку, чтобы потянуть за стержень парового свистка, рука эта казалась чужою и давила ему плечо, как рука покойника. Ноги у него были также словно чужие, и он сам не сознавал, каким образом удавалось ему стоять на них, несмотря на страшную качку, которая теперь, на морозе и в снеговую бурю, вызывала ощущение морской болезни. Машиниста одолевала страшная усталость. Холод сдавливал ему череп, вызывая в голове чувство тупого болезненного бессилия. Он боялся вконец поддаться этому чувству, угрожавшему уничтожить всякое сознание. Уже и теперь сознание это до известной степени притупилось, так как он не мог дать себе определенного отчета, управляет ли на самом деле паровозом. Он как-то машинально поворачивал маховичок реверса и в тупом оцепенении смотрел на быстро понижавшуюся стрелку манометра. В голове у него мелькали воспоминания обо всем, и он не мог теперь отличить действительных своих впечатлений от галлюцинаций. Он не знал, на самом ли деле видел дерево, лежащее на дороге, и красный флаг, развевающийся над кустом, или это ему только пригрезилось. Ему слышались беспрерывно стуки колес паровоза, взрывы петард, но это также была, вероятно галлюцинация. Он неоднократно повторял себе, что при таких обстоятельствах следовало бы остановить поезд, но не находил в себе необходимой для этого решимости. В течение нескольких минут в нем шла мучительная борьба, когда вдруг глаза его остановились на Пекэ, который уснул от утомления и холода на ящике тендера. Это привело машиниста в такое негодование и раздражение, что он сразу как будто согрелся. «Этот негодный пьяница опять заснул, вот я ему дам спать».

Жак обыкновенно смотрел сквозь пальцы на слабости Пекэ, но теперь разбудил его здоровым пинком и колотил до тех пор, пока кочегар окончательно не проснулся. Он был, однако, в каком-то тумане и, схватившись за лопату, проворчал: «Ладно, за мною дело не станет».

Когда на решетку насыпали свежего угля, давление пара опять увеличилось. Это было весьма своевременно, потому что «Лиза» шла как раз по выемке, где ей приходилось прорезать себе путь в снеговом пласте толщиною более метра. Она двигалась вперед с чрезвычайными усилиями, от которых вся дрожала, словно живой организм. Одно

мгновение казалось, будто она до того истощила свои силы, что вынуждена будет остановиться, подобно судну, севшему на мель. Ее чрезвычайно обременял снег, налипший тяжелым пластом на крыши вагонов. Эти черные вагоны, мчавшиеся, оставляя за собой белый след, были покрыты словно саваном, тогда как у паровоза виднелись только снеговые каймы. Снег, падавший на его бока, тотчас таял и стекал с них словно дождь. Несмотря на тяжесть налипшего снега, «Лиза» выбралась из сугроба и благополучно прошла сквозь выемку. Тогда с крутой насыпи, там где дорога образовала закругление, можно было следить за поездом, казавшимся на снеговой пелене черною лентой, затерянной в белом сверкающем сказочном царстве.

Далее, однако, снова начинались выемки. Жак и Пекэ, понимая, что «Лиза» чуть не остановилась, энергично боролись теперь с холодом, мужественно оставаясь на посту, покинуть который нельзя было, если бы даже им угрожала немедленная смерть.

Паровоз снова утрачивал свою скорость. Он шел в овраге между двумя крутыми склонами и постепенно, без всяких толчков, замедлял свой ход. Казалось, что «Лиза» совершенно выбилась из сил и что она увязнет в снежном сугробе, в который ушла совсем с колесами. Действительно, она остановилась, окруженная со всех сторон снеговыми массами, с которыми не в состоянии была бороться.

— Вот, чорт возьми, мы и засели! — проворчал Жак.

Еще в продолжение нескольких секунд он оставался на своем посту и повернул маховичок рычага-реверса так, чтобы открыть пару полный доступ в цилиндр. Он надеялся, что паровоз все же пробьется сквозь сугроб. Убедившись, однако, что «Лиза» понапрасну только шипит и пыхтит, он закрыл регулятор и разразился проклятиями.

Обер-кондуктор выглянул из дверей своей будки. Пекэ, обернувшись, крикнул ему в свою очередь:

— Кончено дело, мы сидим в снегу.

Обер-кондуктор поспешно соскочил с вагона и увяз в снегу по колено. Он с трудом лишь добрался до паровоза, и начал совещаться там с машинистом и кочегаром.

— Нам остается теперь только сделать попытку расчистить себе дорогу. К счастью, у нас есть лопаты. Пригласите на подмогу багажного кондуктора, и мы как-нибудь вчетвером отроем колеса.

Подозвали багажного кондуктора, который также вышел тем временем из вагона. Он также с трудом добрался до паровоза по рыхлому снегу. Остановка в чистом поле, среди белой снеговой пустыни, голоса, громко обсуждавшие, что теперь надо было делать, и кондуктор, медленно пробиравшийся сквозь глубокий снег, — все это естественно должно было обеспокоить пассажиров. Стекла в вагонах опускались одно за другим. Из открытых окон раздавались крики, вопросы, слившиеся в смутный гомон.

— Где мы? Отчего поезд остановился? Что там такое? Уж не случилось ли несчастия?

Обер-кондуктор сознавал необходимость успокоить пассажиров. Он снова пошел вдоль поезда, когда в одном вагоне показалось широкое красное лицо англичанки, обрамленное двумя очаровательными ли-

чиками ее дочерей. Она с сильным иностранным акцентом спросила у него:

— Мы в очень опасном положении, сударь?

— Помилуйте, сударыня, никакой опасности нет, — отвечал обер-кондуктор. — Дорогу слегка занесло снегом. Мы ее мигом расчистим и снова тронемся в путь.

Стекло опять поднялось под веселую болтовню свежих молодых девушек, розовые губки которых умеют придавать английскому языку такую нежную музыкальность.

Обе девушки смеялись, искренно забавляясь неожиданной остановкой.

Немного далее пожилой господин подозвал обер-кондуктора. Его молодая жена, хорошенькая брюнетка, робко выставляла из-за плеча мужа свою головку.

— Как это могли не принять необходимых мер предосторожности? Это просто невыносимо!.. Я возвращаюсь из Лондона по делам и должен сегодня утром непременно быть в Париже. Предупреждаю вас, что я заставлю железнодорожное общество отвечать за убытки, которые могу понести вследствие такого промедления.

— Надеюсь, сударь, что минуты через три мы опять тронемся,— возразил обер-кондуктор.

Было страшно холодно. Снег врывался в открытые окна, а потому выглядывавшие оттуда головы исчезали, и стекла снова поднимались. Тем не менее в запертых вагонах не прекращалось тревожное волнение, отголоски которого глухо вырывались наружу. Стекла почти во всем поезде оставались опущенными. Из одного лишь окна высовывались головы двух пассажиров, беседовавших друг с другом. Одним из них был американец лет сорока, а другим — молодой человек родом из Гавра. Оба они, очевидно, очень интересовались расчисткою снега.

— В Америке, милостивый государь, все в таких случаях выходят из вагона и берутся за лопаты.

— Ничего, и без нас управятся. В прошлом году мне два раза доводилось сидеть таким же образом в снегу. Мне приходится по делам ездить каждую неделю в Париж.

— Я также приезжаю в Париж приблизительно через каждые три недели.

— Как, из Нью-Йорка?

— Да, сударь, из Нью-Йорка.

Жак руководил расчисткою снега и усердно работал сам. Увидев Северину у открытого окна первого вагона, где она всегда помещалась, чтобы оставаться по возможности ближе к машинисту, он бросил на нее умоляющий взгляд. Она поняла этот взгляд и опустила стекло, чтобы защититься от ледяного ветра, который жег ей лицо. Мысль о Северине заставляла Жака работать еще деятельнее. Он вскоре заметил, однако, что причиной остановки были вовсе не колеса паровоза, прорезавшие всю снеговую толщину, а висевший между ними зольник. Он гнал перед собою снег, уплотнявшийся в громадный ком, который, наконец, должен был совершенно остановить движение паровоза.

У машиниста явилась блестящая мысль: надо отвинтить зольник.

Сперва обер-кондуктор воспротивился этому. Машинист состоял у него под начальством, и он не хотел дозволить ему портить паровоз. Постепенно, однако, обер-кондуктор дал себя уговорить.

— Вы, значит, берете на себя всю ответственность? В таком случае я согласен.

Отвернуть зольник было, однако, не легко. Лежа под паровозом, спиною на снегу, таявшему, вследствие близости паровика, Жак и Пекэ должны были проработать около получаса. К счастью, в ящике для инструментов у них были запасные отвертки. Рискуя двадцать раз обжечься и быть раздавленными, они, наконец, отделили зольник от паровоза. После этого им пришлось вытаскивать его из-под локомотива. Дело это было очень нелегкое, так как громоздкий тяжелый зольник цеплялся за колеса и цилиндры. Тем не менее, с помощью двух кондукторов удалось высвободить его оттуда и стащить с полотна дороги на откос.

— Теперь закончим расчистку пути, — сказал обер-кондуктор.

Поезд стоял в снегу в продолжение почти целого часа, и беспокойство пассажиров все возрастало. Ежеминутно опускалось стекло в каком-нибудь из окон, и чей-нибудь голос спрашивал, отчего поезд все еще не трогается с места. Среди пассажиров начиналась настоящая паника. Из вагонов доносились крики и жалобы. Испуганные женщины плакали.

— Нет, не к чему более расчищать дорогу, — заявил Жак. — Садитесь. Я надеюсь теперь и без того выбраться из сугроба.

Машинист и кочегар заняли свои места на паровозе, и когда обер-кондуктор и багажный кондуктор вернулись в задний вагон, Жак сам повернул рукоять пароотводного крана. Мощная струя пара с шипением устремилась прямо на рельсы и мигом весь снег с них стáял. Затем, взявшись за маховичок реверса, он медленно отодвинул поезд задним ходом, метров на 300 назад для того, чтобы выиграть пространство для разбега[1]. Пекэ тем временем развел в топке паровоза такой адский огонь, что давление пара поднялось выше дозволенной нормы. Тогда Жак пустил «Лизу» полным ходом вперед и со всего разгона ударил массой поезда в снеговой сугроб, загораживавший дорогу. «Лиза» врезалась в сугроб с глухим ударом, подобно тому, как врезается топор дровосека в разрыхленный от гнилости старый пень, но все-таки не могла пройти насквозь и остановилась, дымя и дрожа всем своим стальным телом. Еще два раза Жак повторил этот маневр: отодвигая поезд назад, чтобы сильнее разбежаться, и действуя им затем, как тараном, он пытался опрокинуть снеговую стену, заграждавшую путь. Оба раза «Лиза», пыхтя и выбрасывая клубы дыма и пара, глубоко врезалась железной своею грудью в снеговой сугроб и останавливалась в снегу, бешенно фыркая, словно разъяренное чудовище. Наконец она еще раз перевела дух, напрягая свои металлические

---

[1] Здесь, как и в некоторых других местах романа, сказывается недостаточное знание Э. Золя железнодорожной техники. Подобная пропашка заноса локомотивом, если и допустима, то во всяком случае после отцепки его от состава, так как в противном случае неизбежна авария.

мышцы, и, пробив насквозь снеговую преграду, прошла через нее, тяжело таща за собою поезд, по обе стороны которого высились почти отвесные стены снега.

Она выбралась из выемки и бодро везла поезд по насыпи, где путь был совершенно свободен.

— А ведь наша «Лиза» все-таки молодчина,—вполголоса похвалил ее Пекэ.

У Жака все лицо было в снегу; он снял очки и начал их тщательно протирать. Сердце его усиленно билось, он не чувствовал более холода. В это время он внезапно вспомнил о глубокой выемке, находившейся приблизительно в 300 метрах от переезда Мофра.

Ветер дул как раз вдоль этой выемки, а потому там должно было скопиться множество снега. У него тотчас явилось полная уверенность в том, что именно там поезду и придется засесть окончательно. Нагнувшись вправо, он увидел вдали за последним закруглением выемку, казавшуюся совершенно прямою чертою, словно длинным рвом, засыпанным снегом. Было уже совсем светло, и все кругом сверкало беспредельною белизной. Снег продолжал падать крупными хлопьями.

Не встречая более на пути серьезных препятствий, «Лиза» продолжала итти с нормальною скоростью. Ради предосторожности не потушили фонарей ни сзади, ни спереди. Передний фонарь с белым огнем, помещенный у основания трубы, светился словно колоссальный глаз циклопа[1]. Быстрым и ровным ходом, широко раскрыв свой огненный глаз, «Лиза» приближалась к выемке. Подойдя к ней, она начала пыхтеть и задыхаться, будто испуганный конь. Она начала вздрагивать и упираться, подвигаясь вперед лишь вследствие энергичных побуждений со стороны машиниста. Толчком ноги Жак открыл топочные дверцы, отдавая этим жестом кочегару приказание усилить огонь. Теперь уже нельзя было видеть «хвоста кометы», так ярко светившего ночью. Взамен этого на бледном беловатом фоне неба, подернутого пеленою обильно падавшего снега, вырезался столб густого черного дыма, расходившегося наверху клубами.

«Лиза» шла вперед и, наконец, должна была войти в выемку, заполненную снегом вровень с верхней окраиной откосов. Выемка эта казалась теперь руслом потока, наполненным до краев снегом. Полотна дороги вовсе нельзя было различить. «Лиза» врезалась на всех парах в эту снеговую толщу, продвинулась в ней метров на 50, пыхтя, шипя и постепенно замедляя свой ход. Снег, который она выпирала своей мощною грудью, образовал перед нею бугор, который лез все более кверху, подобно волне, угрожавшей поглотить паровоз. Одно мгновение «Лиза» казалась побежденной этой шедшей перед нею снеговой волной, но, собрав последние силы, она энергично стряхнула ее с себя и продвинулась еще на 30 метров. Это было уже со стороны паровоза последним, как бы предсмертным усилием. Взрытые им снеговые массы обрушились на него и засыпали выше колес. Снег втиснулся между всеми частями механизма так, что «Лиза» должна была окончательно

---

[1] Сказочные великаны с одним глазом во лбу.

остановиться. Она замерла в заваливших ее массах снега и перестала даже пыхтеть и фыркать.

— Ловко же мы здесь засели, — сказал Пекэ.

— Я, признаться, этого и ожидал, — спокойным тоном сказал Жак.

Тем не менее он попытался дать ход назад, чтобы вывести паровоз из сугроба. На этот раз, однако, «Лиза» не тронулась с места. Она одинаково упорно отказывалась итти как вперед, так и назад. Она была вся завалена снегом, пригвоздившим ее к земле, недвижную, безжизненную. Впрочем, весь вообще поезд казался умершим и похороненным, словно в могиле, в снеговой толще, доходившей до самых дверец. Снег продолжал падать все гуще и обильнее. Ветер, наносивший его в выемку, продолжал засыпать паровоз и вагоны. Они уже были покрыты снегом до половины и угрожали исчезнуть совсем в трепетном молчании ледяной белой пустыни. Ничто кругом не трогалось с места, лишь снег продолжал окутывать окружающие предметы все более толстым саваном.

— Ну, что же, мы опять засели в снегу? — осведомился обер-кондуктор, высовываясь из богажного вагона.

— Сидим! — крикнул ему в ответ Пекэ.

На этот раз положение действительно становилось критическим. Багажный кондуктор побежал размещать петарды, чтобы оградить поезд с задней стороны, тогда как машинист давал свисток за свистком, сигналы бедствия. Однако снеговые хлопья, наполнявшие воздух, заглушали звуки, так что свисток навряд ли можно было услышать с ближайшей Барантенской станции. Между тем четверо рабочих, очевидно, не были в состоянии высвободить поезд из такого сугроба. Чтобы расчистить путь, необходимо было бы тридцати или сорока рабочим поработать самым усердным образом в течение нескольких часов. Приходилось поэтому требовать помощи с соседней станции. Хуже всего было то, что между пассажирами началась снова паника. Дверца одного из вагонов раскрылась и из нее выскочила в снег испуганная молодая, хорошенькая брюнетка, очевидно, думавшая, что поезд потерпел крушение. Следом за ней погрузился по пояс в снег ее муж, пожилой негоциант[1], кричавший:

— Я непременно пожалуюсь министру! Это просто бессовестно!

Плач женщин и раздраженные возгласы мужчин раздавались из вагонов, стекла в которых энергично опускались одно за другим. Только две молоденькие английские мисс, повидимому, забавлялись общим смятением, на которое глядели с совершенно спокойной улыбкой. Обер-кондуктор всячески старался успокоить пассажиров. Когда он проходил мимо вагона, в котором сидели английские мисс, младшая из них осведомилась у него по-французски с легким иностранным акцентом:

— Кажется, сударь, нам придется здесь остановиться?..

Многие пассажиры вышли из вагонов, несмотря на глубокий снег, в котором вязли по пояс. Американец встретился при этом с молодым

---

[1] Деловой человек, коммерсант.

человеком из Гавра. Оба они прошли к паровозу, чтобы посмотреть, крепко ли он сидит в снегу.

— Раньше четырех или пяти часов мы ни под каким видом не высвободимся отсюда.

— Да и то для расчистки пути потребуется по меньшей мере 20 или 30 рабочих.

Жак только-что уговорил обер-кондуктора отправить багажного кондуктора за помощью в Барантен. Машинист и кочегар, очевидно, не могли покинуть паровоз, находившийся в таком бедственном положении. Кондуктор ушел, и его вскоре потеряли из вида в конце выемки. До станции было версты четыре, так что нельзя было рассчитывать на его возвращение раньше, чем часа через два. Жак в отчаянии соскочил на мгновение с паровоза и побежал к первому вагону, где Северина только-что открыла оконное стекло.

— Не бойтесь, — поспешно сказал он ей, — вам не угрожает ни малейшей опасности.

Она отвечала вполголоса, опасаясь, чтобы ее не услышали.

— Я ничего не боюсь, а только очень тревожилась за вас.

В словах этих было столько нежной ласки, что оба они утешились и улыбнулись друг другу. Возвращаясь к своему посту, Жак с удивлением увидел на откосах выемки Флору и Мизара[1] с другими мужчинами, которых он в первую минуту не узнал. Они услышали сигнал бедствия, и Мизар, не состоявший на дежурстве, прибежал на этот сигнал с двумя товарищами, которых он как раз угощал белым вином. Это был каменоломщик Кабюш, которому, вследствие глубокого снега, приходилось поневоле сидеть сложа руки, и стрелочник Озиль, пришедший с Малонейского участка через туннель. Он все еще ухаживал за Флорой, несмотря на то, что она вовсе не поощряла его ухаживаний. Она пришла вместе с ними в качестве взрослой девушки, смелой и энергичной, способной заткнуть за пояс любого парня ее лет. Для нее и для Мизара поезд, остановившийся чуть не у самых дверей их хижины, составлял важное и необычайное событие. Они жили уже целых пять лет в этой хижине. Ежечасно, днем и ночью, не взирая ни на какую погоду, мчались мимо них на всех парах поезда. Все они как будто уносились могучим, увлекавшим их с собою вихрем. Ни один поезд до сих пор не замедлял даже на мгновение своего хода. Они быстро неслись мимо, исчезая из глаз прежде, чем можно было узнать о них что-нибудь. В толпе пассажиров, стремительно проносившихся мимо, Мизар и его дочь могли разглядеть только мелькавшие лица. Некоторые из этих лиц казались как будто знакомыми. И вдруг теперь поезд засел в снегу и остановился чуть ли не возле самой хижины. Это казалось настоящим чудом. Флора и Мизар могли теперь сколько угодно рассматривать этот неизвестный им мир, выброшенный волею случая на полотно дороги. Они смотрели на пассажиров, выпучив глаза, как дикари на европейцев, потерпевших крушение у берегов их пустынного острова. Сквозь открытые дверцы видны были женщины в дорогих шубах; мужчины, вышедшие из вагонов, одеты были в теп-

---

[1] Сторож, дочь которого Флора влюблена в машиниста Лантье.

лые пальто. Вся эта роскошь и комфорт, неожиданно очутившиеся в ледяной пустыне, приводили в немое изумление обитавших в ней отшельников. Флора вскоре узнала Северину. Молодая девушка особенно внимательно присматривалась к поезду Жака и за последние несколько недель не раз замечала лицо Северины в почтовом поезде, проходившем в четверг утром по направлению к Парижу. Ей было тем легче узнать Северину, что та у самого переезда Мофра через полотно железной дороги всегда смотрела из окна на доставшийся ей здесь в наследство дом. Глаза Флоры загорелись недобрым огнем, когда она заметила, что молодая женщина вполголоса беседует с машинистом.

— Ах, г-жа Рубо, — вскричал своим обычным притворно-вежливым тоном Мизар, узнавший Северину. — Скажите, какое несчастие... Но ведь вы, я думаю, не рассчитываете остаться здесь. Надеюсь, что вы не откажетесь зайти к нам.

Жак, пожав руку дорожному сторожу, поддержал его предложение.

— Он совершенно прав... Нам здесь, пожалуй, придется просидеть несколько часов, так что вы успеете за это время умереть от холода.

Северина отказывалась, ссылаясь на то, что тепло одета. Ее до известной степени пугала и перспектива пройти с четверть километра пешком по снегу.

Флора, подойдя к молодой женщине, пристально взглянула на нее своими большими, выразительными глазами и, наконец, сказала:

— Я, пожалуй, донесу вас до дому, сударыня.

Прежде чем Северина ответила на это предложение, Флора схватила ее своими здоровыми руками, которые могли бы поспорить в силе с руками любого парня, и подняла, как малого ребенка. Затем она перенесла ее по другую сторону железнодорожного полотна, на место, где снег был уже умят и где ноги в него не уходили. Некоторые из пассажиров принялись смеяться и выказывать удивление по поводу такой необычайной силы.

— Молодец девка, — сказал один из них. — Если бы можно было достать дюжину таких же девиц, то они в продолжение часов двух, наверное, сумели бы высвободить поезд из-под снега.

Тем временем из вагона в вагон переходило известие о предложении Мизара. Возможность укрыться в домике дорожного сторожа представлялась во всяком случае приятною перспективой. Там все же можно согреться возле жарко натопленной печи, раздобыть себе кусок хлеба и даже, пожалуй, стакан вина. Паника улеглась когда пассажиры поняли, что им не угрожало непосредственной опасности. Положение их оставалось, однако, до чрезвычайности незавидным. Грелки в вагонах застывали. Было всего девять часов утра, и если помощь явится не скоро, то придется, пожалуй порядком настрадаться от голода и жажды. Между тем нельзя было поручиться, что поезду не придется заночевать тут в открытом поле. Образовались две партии. Одна не хотела выходить из вагонов и решилась ждать там избавления или смерти. Пассажиры, принадлежавшие к этой партии, укутались в одеяла и разлеглись по скамьям с выражением тупого, апатичного отчаяния. Другая партия предпочитала добраться по снегу

пешком до дома дорожного сторожа, в надежде устроиться там удобнее и во всяком случае стряхнуть с себя тягостное впечатление, которое производил засевший в снегу и оцепеневший поезд. К этой партии принадлежали: пожилой негоциант с молодой женой, англичанка с двумя дочерьми, молодой человек из Гавра, американец и с полдесятка других пассажиров. Они вышли из вагонов и, собравшись гурьбой, готовились уже тронуться в путь. Жак, понизив голос, убеждал Северину итти вместе с ними, уверяя, что как только высвободит поезд, тотчас даст ей об этом знать. Обращаясь к Флоре, которая продолжала смотреть на них с мрачным видом, Жак сказал ей ласковым, приятельским тоном:

— Я попрошу тебя проводить этих дам и господ к вам в дом, Мизара и его товарищей я оставлю здесь: мы примемся сейчас же за работу и постараемся сделать, что можно в ожидании, пока подойдет подмога.

Кабюш, Озиль и Мизар немедленно взялись за лопаты и тотчас же присоединились к Пекэ и обер-кондуктору, уже разгребавшим снег. Они все сообща старались высвободить паровоз, отрывая колеса и отбрасывая снег на откосы. Никто не говорил ни слова, и в ужасной тишине пустыни, окутанной белым саваном слышался только глухой шум деятельной работы. Небольшая группа пассажиров, решившихся покинуть засевший в снегу поезд и отправиться в соседний дом дорожного сторожа, отойдя несколько сот шагов, оглянулась на поезд, казавшийся лишь узкою черною чертой. Дверцы вагонов были заперты и стекла в окнах подняты. Снег, все еще продолжавший падать, постепенно засыпал поезд, налегая толстым пластом на крыши вагонов. Он делал свое дело медленно, но верно, с непреодолимым немым упорством.

Флора опять собиралась было взять Северину на руки, но госпожа Рубо отказалась, предпочитая итти, подобно всем остальным. Расстояние до хижины железнодорожного сторожа было не более четверти километра, но пройти его было очень нелегко. Местами, особенно же в выемке, снег лежал по пояс. Англичанка, пожилая, полная дама, сравнительно малого роста, два раза так глубоко уходила в снег, что ее приходилось оттуда вытаскивать. Дочери ее, очевидно, забавлялись этими приключениями и все время смеялись без умолку. Молодая жена пожилого негоцианта, поскользнувшись на снегу, вынуждена была принять руку, предложенную ей молодым человеком из Гавра, в то время как ее муж вместе с американцем, громил французские порядки. После того, как миновали выемку, дорога сделалась удобнее, потому что приходилось итти по насыпи, зато ветер разгуливал там на просторе, и маленькой группе пассажиров пришлось итти гуськом друг за другом, тщательно держась подалее от краев, где легко можно было поскользнуться и упасть. Наконец, все общество добралось до хижины, и Флора привела всех пассажиров в кухню, где нельзя было дать каждому из них даже стула, так как их набралось человек до двадцати. К счастью, кухня была довольно просторная. Молодая девушка догадалась, впрочем, принести досок и устроить из них с помощью стульев, две больших скамьи. Бросив охапку дров в печь, она

показала жестом, чтобы от нея не требовали ничего более. Не говоря ни слова, она продолжала стоять, глядя на собравшееся в кухне общество своими большими зеленоватыми глазами, с суровым и смелым выражением, рослой белокурой дикарки. Ей были отчасти знакомы всего только два лица, которые она в продолжение нескольких месяцев уже видела мельком сквозь окна вагонов. Это были лица американца и молодого человека из Гавра. Она теперь внимательно всматривалась в них, так, как разглядывают жужжащее и усевшееся, наконец, насекомое, которое нельзя было увидеть как следует во время полета. Оба эти пассажира казались ей странными; она представляла их себе совершенно не такими, хотя и не знала о них ничего, и судила лишь по мимолетному впечатлению, произведенному на нее обоими. Что касается других пассажиров, они казались ей принадлежащими к совершенно иной расе, жителями неведомой страны, словно с неба свалившимися и принесшими с собою к ней на кухню одежды, нравы и мысли, которых она никогда не рассчитывала видеть и знать. Англичанка рассказывала молодой жене негоцианта, что едет в Ост-Индию к старшему своему сыну, занимающему там важный пост на государственной службе, а молодая дама подшучивала над собой, называя себя неудачницей. Ей впервые пришла фантазия проводить в Лондон своего мужа, и на возвратном пути почтовый поезд засел в снегу. Все горевали при мысли, что придется, пожалуй, провести несколько часов в этой пустыне. Надо раздобыть чего-нибудь съестного и где-нибудь улечься спать. Флора слушала молча эти сетования, но встретив взгляд Северины, сидевшей на стуле возле печи, жестом пригласила ее в соседнюю комнату.

— Мамаша, — доложила она при входе, — вот госпожа Рубо, не желаешь ли ты ей что-нибудь сказать.

Фази лежала в постели; лицо ее совсем пожелтело, а ноги распухли. Она чувствовала себя так дурно, что не вставала уже целых две недели. В бедной комнатке, где чугунная печка поддерживала удушливо-жаркую температуру, она по целым часам ворочала у себя в голове неотвязную, упрямую мысль, отвлекаясь от нее только тогда, когда вся хижина сотрясалась при проходе поездов, мчавшихся мимо на всех парах.

Больная прошептала равнодушным, усталым голосом:

— А, г-жа Рубо, хорошо, хорошо.

Флора рассказала ей, что почтовый поезд засел в снегу и что она привела десятка два пассажиров, которые сидят теперь и греются на кухне. Все это, однако, очевидно уже не интересовало больную.

— Да, хорошо, хорошо, — повторяла она тем же усталым равнодушным тоном.

Впрочем, она как будто вспомнила что-то и, приподняв на мгновение голову с подушки, сказала:

— Если г-же Рубо угодно осмотреть свой дом, то ведь ты знаешь, что ключи висят возле шкапа.

Северина, однако, от этого отказалась. Она вздрогнула при мысли войти в дом у переезда Мофра в такой снег и такую мрачную, безотрад-

ную погоду. Нет, ей нечего там делать. Она предпочитает оставаться здесь, в теплой комнате, в ожидании, пока удастся высвободить поезд из-под снега.

— В таком случае присядьте здесь, сударыня, здесь все-таки лучше, чем там на кухне, притом же у нас не найдется достаточно хлеба, чтобы накормить всех двадцать человек, тогда как, если вы голодны, то для вас всегда отыщется кусочек чего-нибудь.

Флора подвинула Северине кресло и продолжала держать себя с нею предупредительно и вежливо, делая видимое усилие, чтобы смягчить обычную свою грубость. При этом, однако, она не сводила глаз с молодой женщины, как будто стараясь прочесть сокровенные мысли Северины и выяснить с полною уверенностью вопрос, который задавала себе теперь уже в течение некоторого времени. Предупредительность молодой дикарки скрывала за собою потребность подойти вплотную к Северине, дотронуться до нее, чтобы разрешить, наконец, этот вопрос.

Поблагодарив Флору, Северина грелась возле печки. Она действительно предпочитала оставаться в этой комнате одна с больною, надеясь, что Жак найдет средство зайти сюда к ней. Так прошли целых два часа. Поддаваясь усыпляющему влиянию жарко-натопленной печи, госпожа Рубо погрузилась уже в дремоту, когда Флора, которую ежеминутно требовали в кухню, отворила дверь в комнату, заметив жестким тоном:

— Войди же, она ведь тут.

Вошел Жак, принесший с собою хорошие вести. Кондуктор, посланный на Барантенскую станцию, привез оттуда целую рабочую команду из тридцати солдат, заранее присланную на станцию, так как предвиделось, что в окрестностях ее непременно образуются снежные заносы. Солдаты уже усердно работали заступами и лопатами; тем не менее снега в выемке накопилось так много, что раньше ночи поезду все равно оттуда не выбраться.

*

А. Чехов

Холодная кровь

Длинный товарный поезд давно уже стоит у полустанка. Паровоз не издает ни звука, точно потух; около поезда и в дверях полустанка ни души.

От одного из вагонов идет бледная полоса света и скользит по рельсам запасного пути. В этом вагоне на разостланной бурке сидят двое: один — старый с широкой, седой бородой, в полушубке и в высокой, мерлушковой шапке, похожей на папаху, другой — молодой, безусый, в потертом драповом пиджаке и в высоких, грязных сапогах. Это грузоотправители. Старик сидит, протянув вперед ноги, молчит и о чем-то думает; молодой полулежит и едва слышно пиликает на дешевой гармонике. Около них на стене висит фонарь с сальной свечкой.

Вагон полон груза. Если сквозь тусклый свет фонаря вглядеться в этот груз, то в первую минуту глазам представится что-то бесформенно-чудовищное и несомненно живое, что-то очень похожее на гигантских раков, которые шевелят клешнями и усами, теснятся и бесшумно карабкаются по скользкой стене вверх к потолку; но вглядишься попристальнее, и в сумерках начинают явственно вырастать рога и их отражения, затем тощие, длинные спины, грязная шерсть, хвосты, глаза. Это быки и их тени. Всех быков в вагоне восемь. Одни из них, обернувшись, глядят на людей и помахивают хвостами, другие стараются лечь или стать поудобнее. Им тесно. Если один ложится, то остальные должны стоять и жаться друг к другу. Нет ни яслей, ни коновязей, ни подстилок и ни клочка сена[1]...

После долгого молчания старик вытаскивает из кармана серебряную луковицу и справляется, который час: четверть третьего.

— Уж второй час стоим, — говорит он, зевая. — Пойти поторопить их, а то до утра будем здесь стоять. Они позаснули или, бог их знает, что они там.

Старик встает и вместе со своею длинною тенью осторожно спускается из вагона в потемки. Он пробирается вдоль поезда к локомотиву и, пройдя десятка два вагонов, видит раскрытую, красную печь; против печи неподвижно сидит человеческая фигура; ее козырек, нос и колени выкрашены в багровый цвет, все же остальное черно и едва вырисовывается из потемок.

— Долго еще тут стоять будем? — спрашивает старик.

Ответа нет. Неподвижная фигура, очевидно, спит. Старик нетерпеливо крякает и, пожимаясь от едкой сырости, обходит локомотив, причем яркий свет двух фонарей на мгновение бьет ему в глаза, а ночь от этого становится для него еще чернее; он идет к полустанку.

Платформа и ступени полустанка мокры. Кое-где белеет недавно выпавший, тающий снег. В самом полустанке светло и натоплено жарко, как в бане. Пахнет керосином. Кроме десятичных весов и небольшого, желтого дивана, на котором спит какой-то человек в кондукторской форме, в помещении нет никакой мебели. Налево две настежь открытые двери. В одну из них видны телеграфный станок и лампа с зеленым колпаком, в другую—небольшая комнатка, наполовину занятая темным шкапом. В этой комнатке, на подоконнике сидят обер-кондуктор и машинист. Оба они мнут в руках какую-то шапку и спорят.

— Это не настоящий бобер, а польский,—говорит машинист.—Настоящие бобры не такие бывают. Всей этой шапке, ежели желаете знать, красная цена — пять целковых!

— Понимаете вы много... — обижается обер-кондуктор. — Пять целковых! А вот мы сейчас купца спросим. Господин Малахин, — обращается он к старику, — как по-вашему: польский это бобер или настоящий?

Старик Малахин берет в руки шапку и с видом знатока щупает мех,

---

[1] На многих дорогах во избежание несчастных случаев запрещается держать в вагонах сено, а потому живой груз во все время пути остается без корма (прим. автора).

дует, нюхает и на сердитом лице его вдруг вспыхивает презрительная улыбка.

— Стало-быть, польский! — говорит он радостно. — Польский и и есть.

Начинается спор. Обер-кондуктор доказывает, что на шапке бобер настоящий, а машинист и Малахин стараются убедить его в противном. Среди спора старик вдруг вспоминает о цели своего прихода.

— Бобер бобром, шапка шапкой, а поезд стоит, господа! — говорит он. — Что ж? Кого ждем? Поедем!

— Поедем, — соглашается обер-кондуктор. — Выкурим еще по папироске и поедем. Только спешить нечего... Все равно нас задержат на станции!

— Это с какой стати?

— А так... Запоздали слишком... Если на одной станции опоздаешь, то на других поневоле будут задерживать, чтоб дать ход встречным. Поезжай хоть сейчас, хоть утром, а все равно нам уж не придется ехать четырнадцатым номером. Поедем, должно-быть, двадцать третьим.

— Это же по-каковски?

— А по-таковски.

Малахин пытливо глядит на обер-кондуктора, думает и бормочет машинально, как бы про себя:

— Накажи меня бог, считал и даже в книжку записал: за всю дорогу простояли мы лишних тридцать четыре часа. Доведете вы, господа, до той точки, что у меня или быки подохнут, или мне за мясо, когда до места доеду, и двух рублей не дадут. Это не езда, а чистое разоренье!

Обер-кондуктор поднимает брови и вздыхает с таким выражением, как будто хочет сказать: «К сожалению, все это правда!» Машинист молчит и задумчиво оглядывает шапку. По лицам обоих видно, что у них есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не высказывают не потому, что хотят скрыть ее, а потому, что подобные мысли передаются молчанием гораздо лучше, чем на словах. И старик понимает. Он лезет в карман, достает оттуда десятирублевку и без предисловий, не меняя ни тона голоса, ни выражения лица, а с уверенностью и прямотою, с какими дают и берут взятки, вероятно, одни только русские люди, подает бумажку обер-кондуктору. Тот молча берет, складывает ее вчетверо и, не спеша, кладет в карман. После этого все трое выходят из комнатки и, разбудив на пути спящего кондуктора, идут на платформу.

— Погода! — крякает обер-кондуктор, вздрагивая плечами. — Зги не видать!

— Да, волчья погода...

В окно видно, как около зеленой лампы и телеграфного станка появляется белокурая голова телеграфиста; около нее показывается скоро другая голова, бородатая и в красной фуражке — должно-быть, начальника полустанка. Начальник нагнулся к столу, читает что-то на синем бланке и быстро водит папиросой вдоль строк... Малахин идет к своему вагону.

Его спутник, молодой человек, попрежнему полулежит и едва

слышно пиликает на гармонике. Он безус, почти еще мальчик; полное, белое лицо его с широкими скулами детски задумчиво, глаза глядят не как у взрослых, а грустно и покорно, но весь он широк, крепок, тяжел и груб так же, как старик; он не шевелится и не меняет своей позы, точно ему не под силу приводить в движение свое крупное тело. Пошевелись он, и тотчас, кажется, на нем что-нибудь лопнет или раздастся стук, которого испугаются быки и он сам. Из-под его больших, толстых пальцев, неповоротливо перебирающих клавиши и клапаны гармоники, непрерывно текут мелкие, жиденькие звуки и сливаются в немудрый, однообразный мотивчик; он слушает и, повидимому, очень доволен своей музыкой.

Слышится звонок, но так глухо, как будто бы звонят не вблизи, а где-то очень далеко. За ним тотчас же следует торопливый второй звонок, потом третий и свист обер-кондуктора. Проходит минута в глубоком молчании; вагон не движется, стоит на месте, но из-под него начинают слышаться какие-то неопределенные звуки, похожие на скрип снега под полозьями; вагон вздрагивает и звуки стихают. Наступает опять тишина. Но вот раздается лязг буферов, от сильного толчка вагон вздрагивает, точно делает прыжок, и все быки падают друг на друга.

— Чтоб тебя на том свете так дернуло! — ворчит старик, поправляя свою высокую шапку, съехавшую от толчка на затылок. — Этак он у меня всю скотину перекалечит!

Яша молча встает и, взяв одного упавшего быка за рога, помогает ему подняться на ноги... Вслед за толчком опять наступает тишина. Из-под вагона слышатся звуки скрипящего снега, и кажется, что поезд тронулся слегка назад.

— Сейчас опять дернет, — говорит старик.

И действительно, по поезду проносится судорога, раздается треск, вагон вздрагивает и быки опять падают друг на друга.

— Задача! — говорит Яша, прислушиваясь. — Должно, поезд тяжелый. Никак не сдвинет.

— Раньше не был тяжелый, а теперь вдруг потяжелел. Нет, брат, это значит обер-кондуктор с ним не поделился. Поди-ка снеси ему, а то он до утра будет дергать.

Яша берет у старика трехрублевую бумажку и прыгает из вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются вне вагона и постепенно стихают. Тишина... В соседнем вагоне протяжно и тихо мычит бык, точно поет.

Яша возвращается. В вагон влетает сырой, холодный ветер.

— Закрой-ка, Яша, дверь, да будем ложиться, — говорит старик.— Что даром свечку жечь?

Яша задвигает тяжелую дверь; раздается свист локомотива, и поезд трогается.

— Холодно! — бормочет старик, растягиваясь на бурке и кладя голову на узел. — То ли дело дома! И тепло, и чисто, и мягко, и богу есть где помолиться, а тут хуже свиней всяких. Уж четверо суток как сапог не снимали.

Яша, пошатываясь от вагонной качки, открывает фонарь и мокры-

ми пальцами сдавливает фитиль. Свечка вспыхивает, шипит, как сковорода, и тухнет.

. . . .

— Да, брат... — продолжает Малахин, слыша, как Яша ложится рядом и своей громадной спиной прижимается к его спине. — Холодно. Из всех щелей так и дует. Поспи тут твоя мать или сестра одну ночь, так к утру бы ноги протянули. Так-то, брат, не хотел учиться и в гимназию ходить, как братья, ну вот и вози с отцом быков. Сам виноват, на себя и ропщи... Братья-то теперь на постелях спят, одеялами укрылись, а ты, нерадивый и ленивый, на одной линии с быками... Да...

Из-за шума поезда не слышно слов старика, но он еще долго бормочет, вздыхает и крякает. Холодный воздух в вагоне становится все гуще и душнее. Острый запах свежего навоза и свечная гарь делают его таким противным и едким, что у засыпающего Яши начинает чесаться в горле и внутри груди. Он перхает и чихает, а привычный старик, как ни в чем не бывало, дышит всею грудью и только покрякивает.

Судя по качке вагона и по стуку колес, поезд летит быстро и неровно. Паровоз тяжело дышит, пыхтит не в такт шуму поезда и в общем получается какое-то клокотанье. Быки беспокойно теснятся и стучат рогами о стены.

Когда старик просыпается, в щели вагона и в открытое оконце глядит синее небо раннего утра. Холодно невыносимо, в особенности спине и ногам. Поезд стоит. Яша заспанный и угрюмый возится около быков.

Старик просыпается не в духе. Нахмуренный и суровый он сердито крякает и глядит исподлобья на Яшу, который подпер своим могучим плечом под грудью быка и, слегка приподняв его, старается распутать ему ногу.

— Говорил вчерась, что веревки длинные, — ворчит старик: — так нет — «не длинные, папаша!» Ничего нельзя заставить, все по-своему делаешь... Болван.

Он сердито выдвигает дверь, и в вагон врывается свет. Как раз против двери стоит пассажирский поезд, а за ним красное здание с навесом — какая-то большая станция с буфетом. Крыши и площадки вагонов, земля, шпалы — все покрыто тонким слоем пушистого, недавно выпавшего снега. В промежутки между вагонами пассажирского поезда видно, как снуют пассажиры и прохаживается рыжий, краснолицый жандарм; лакей во фраке и в белой, как снег, манишке, не выспавшийся, озябший и, вероятно, очень недовольный своей жизнью, бежит по платформе и несет на подносе стакан чаю с двумя сухарями.

Старик поднимается и начинает молиться на восток. Яша, покончив с быком и поставив в угол лопату, становится рядом с ним и тоже молится. Он только шевелит губами и крестится, отец же громко шепчет и конец каждой молитвы произносит вслух и отчетливо.

— ...и жизни будущего века аминь! — говорит громко старик, втягивает в себя воздух и тотчас же шепчет другую молитву и в конце отчеканивает твердо и ясно: — и возложат на алтарь твой тельцы!

Прочитав свои молитвы, Яша торопливо крестится и говорит:

— Пожалуйте пять копеек.

И, получив пятак, он берет красный медный чайник и бежит на станцию за кипятком. Широко прыгая через шпалы и рельсы, оставляя на пушистом снегу громадные следы и выливая на пути из чайника вчерашний чай, он подбегает к буфету и звонко стучит пятаком по своей посуде. Из вагона видно, как буфетчик отстраняет рукой его большой чайник и не соглашается отдать за пятак почти половину своего самовара, но Яша сам отворачивает кран и, расставив локти, чтобы ему не мешали, наливает себе кипятку полный чайник.

— Сволочь проклятая! — кричит ему вслед буфетчик, когда он бежит обратно к вагону.

За чаем хмурое лицо старика Малахина немного проясняется.

— Пить и есть мы умеем, а дела не помним, — говорит он. — Вчерась целый день только и знали, что пили да ели, а небось забыли расходы записать. Экая память, господи!

Старик припоминает вслух вчерашние расходы и записывает в истрепанной записной книжке, где и сколько было дано кондукторам, машинистам, смазчикам...

Между тем пассажирский поезд давно уже ушел, и по свободному пути взад и вперед, как кажется, без всякой определенной цели, а просто радуясь своей свободе, бегает дежурный локомотив. Солнце уже взошло и играет по снегу; с навеса станции и с крыши вагонов падают светлые капли.

Напившись чаю, старик лениво плетется из вагона на станцию. Тут среди залы первого класса стоят знакомый обер-кондуктор и начальник станции, молодой человек с красивой бородкой и в великолепном, шершавом пальто. Молодой человек, вероятно, от непривычки стоять на одном месте, грациозно, как хороший скаковой конь, переминается с ноги на ногу, глядит по сторонам, делает под козырек всем мимо проходящим, улыбается, щурит глаза... Он румян, здоров, весел, лицо его дышит вдохновением и такою свежестью, как будто он только-что свалился с неба вместе с пушистым снегом. Увидев Малахина, обер-кондуктор виновато вздыхает и разводит руками.

— Не придется нам ехать четырнадцатым номером! — говорит он.— Опоздали сильно. Уж другой поезд пошел с этим номером.

Начальник станции быстро просматривает какие-то бланки, потом переводит свои голубые, восторженные глаза на Малахина и, улыбаясь, дыша на него свежестью, осыпает его вопросами:

— Вы господин Малахин? У вас быки? Восемь вагонов? Как же теперь быть? Вы опоздали, и четырнадцатый номер уже пущен мною ночью. Что же мы теперь будем делать?

Молодой человек двумя розовыми пальцами осторожно берет Малахина за мех полушубка и, переминаясь с ноги на ногу, ласково и убедительно объясняет ему, что такие-то номера уже ушли, а такие-то пойдут, что он готов сделать для Малахина все от него зависящее. И по лицу его видно, что он действительно готов сделать приятное не только Малахину, но даже всему свету — так он счастлив, доволен и рад! Старик слушает и хотя ровно ничего не понимает в замысловатой поездной номерации, но одобрительно кивает головой и сам касается двумя пальцами нежной ворсы шершавого пальто. Ему приятно ви-

деть и слушать приличного и ласкового молодого человека. Чтобы с своей стороны показать ему свое расположение, он вынимает десятирублевку, подумав, прибавляет к ней еще две рублевые бумажки и подает их начальнику станции. Тот берет, делает под козырек и грациозно сует себе в карман.

— Вот что, господа, не устроить ли нам таким образом? — говорит он, озаренный новой, только-что мелькнувшей идеей. — Воинский поезд опоздал... его, как видите, нет... Так не отправиться ли вам воинским[1] поездом? А воинский я уж пущу двадцать восьмым номером. А?

— Пожалуй, — соглашается обер-кондуктор.

— И отлично! — радуется начальник станции. — В таком случае вам нечего тут ждать, сейчас и поезжайте! Я вас сейчас и отправлю! Отлично!

Он делает Малахину под козырек и, читая на пути бланки, бежит к себе. Старик очень доволен только-что бывшим разговором; он улыбается и оглядывает всю залу, как бы ища: нет ли тут еще чего-нибудь приятного?

— А мы все-таки выпьем, — говорит он, беря обер-кондуктора под руку.

— Как будто бы еще рановато пить.

— Нет, уж вы позвольте мне угостить вас из любезности.

Оба идут к буфету. Выпивши, обер-кондуктор долго выбирает, чем бы закусить.

Это человек пожилой, чрезвычайно полный, с полинявшим, пухлым лицом. Полнота у него неприятная, обрюзглая, с желтизной, какая бывает у людей, много пьющих и спящих не во-время.

— А теперь и по второй можно выпить, — говорит Малахин. — Теперь время холодное, не грех выпить. Кушайте, покорнейше прошу. Так, значит, я на вас надеюсь, господин обер-кондуктор, что всю дорогу не будет никаких препятствий и неприятностей. Потому, знаете, в нашем скотопромышленном деле каждый час дорог. Сегодня одна цена мясу, а завтра, гляди, другая. Опоздаешь на день — на два и не попадешь в цену, да вместо того, чтобы пользу взять, гляди, и приедешь домой, извините, без брюков. Кушайте, покорнейше прошу... Я на вас надеюсь, а насчет угощения, или чего желаете, я из любезности могу во всякое время вас уважить.

Накормив обер-кондуктора, Малахин возвращается к себе в вагон.

— Сейчас я себе воинский номер вымаклачил, — говорит он сыну. — Шибко поедем. Кондуктор говорит, что если все время с этим номером будем ехать, то завтра в восемь часов вечера будем на месте. Не похлопочешь, брат, не получишь... Так-то... Гляди вот и приучайся...

После первого звонка к дверям вагона подходит человек с лицом, черным от сажи, в блузе и в грязных, потертых панталонах навыпуск. Это смазчик, который только-что лазил под вагонами и стучал молотком по колесам.

---

[1] Воинским называется номер поезда, предназначенного специально для перевозки войск; когда войск не бывает, он везет товар и идет быстрее обыкновенных товарных поездов (прим. автора).

— Господа, это ваши вагоны с быками? — спрашивает он.

— Наши, а что?

— А то, что два вагона больные. Нельзя их пущать, надо тут в починку оставить.

— Ну да, бреши больше! Просто выпить хочется, хабару взять... Так и говорил бы.

— Как вам угодно, а только я сейчас обязан доложить.

Не возмущаясь и не протестуя, а спокойно, почти машинально, старик достает из кармана два двугривенных и подает их смазчику. Тот тоже очень спокойно берет их и, добродушно глядя на старика, заводит разговор:

— Поторговать, стало-быть, едете... Хорошее дело!

Малахин вздыхает и, спокойно глядя на черное лицо смазчика, рассказывает, что торговля быками прежде была действительно выгодна, теперь же она составляет дело рискованное и убыточное.

— Тут у меня товарищ есть, — перебивает его смазчик. — Так вы бы, господа-купцы, и ему сколько-нибудь презентовали...

Малахин дает и на товарища... Воинский поезд идет быстро и стоит на станциях сравнительно недолго. Старик доволен.

Приятное впечатление, оставленное молодым человеком в шершавом пальто, крепко засело в нем, выпитая водка слегка туманит голову, погода великолепная и, повидимому, все обстоит прекрасно. Он без умолку говорит и во время каждой остановки бегает к буфету. Чувствуя потребность в слушателях, он тащит к буфету то обер-кондуктора, то машиниста и пьет не просто, а длинно, с причитываниями и с чоканьем.

— У вас свое дело, у нас свое... — говорит он благодушно, улыбаясь. — Дай бог и нам, и вам, и чтоб не как нам угодно, а как богу...

От водки он мало-по-малу возбуждается и впадает в деловой азарт. Ему хочется хлопотать, торопиться, наводить справки, без умолку говорить. Он то роется в карманах и в узлах, и ищет какой-то бланок, то что-то вспоминает и никак не может вспомнить, то вынимает бумажник и без всякой надобности пересчитывает свои деньги. Он суетится, охает, ужасается, всплескивает руками... Разложив перед собой письма и телеграммы столичных мясоторговцев, счеты, почтовые и телеграфные расписки, бланки, свою записную книжку, он соображает вслух и требует, чтобы Яша слушал.

А когда надоедает ему читать бланки и говорить о ценах, он во время остановок бегает по вагонам, где стоят его быки, ничего не делает, а только всплескивает руками и ужасается.

— Ах, боже мой, боже мой! — говорит он жалобным голосом. — Священномученик Власий! Хоть оно и бык, хоть оно и тварь, а ведь тоже, как и люди, хочет и пить, и есть. Уж четверо суток, как не пили и не ели. Ах, боже мой, боже мой!

Яша, как послушный сын, ходит за ним и исполняет его приказания. Ему не нравится, что старик часто бегает к буфету. Хоть он и боится отца, но не может удержаться от замечания.

— А вы уж начали! — говорит он, сурово оглядывая старика. — С какой это радости? Именинники вы, что ли?

— Не смеешь ты родному отцу указывать.

— Ишь, моду какую взяли...

Когда не нужно бывает ходить за отцом, Яша все время сидит неподвижно на бурке и пиликает на гармонике. Изредка он выйдет из вагона и лениво пройдется вдоль поезда; остановится он около локомотива и устремит долгий, неподвижный взгляд на колеса или на рабочих, бросающих поленья на тендер; горячий локомотив сипит, падающие поленья издают сочный, здоровый звук свежего дерева; машинист и его помощник, люди очень хладнокровные и равнодушные, делают какие-то непонятные движения и не спешат. Постояв около паровоза, Яша лениво плетется на станцию; тут он оглядит закуски в буфете, прочтет для себя вслух какое-нибудь очень неинтересное объявление и не спеша возвращается в вагон. Лицо его не выражает ни скуки, ни желаний; ему, повидимому, решительно все равно, где ни быть: дома ли, в вагоне, около ли паровоза...

К вечеру поезд останавливается около большой станции. Огни по линии только-что зажжены; на синеющем фоне, в свежем, прозрачном воздухе огни ярки и бледны, как звезды; красны и лучисты они только под навесом, где уже темно. Все пути запружены вагонами и, кажется, приди новый поезд, для него не найдется места. Яша бежит на станцию за кипятком для вечернего чая. На платформе гуляют хорошо одетые дамы и гимназисты. По обе стороны вокзала, если поглядеть с платформы вдаль, мелькают в вечерней мгле далекие огоньки— это город. Какой? Яше не интересно знать. Он видит только тусклые огни и жалкие постройки за вокзалом, слышит крик извозчиков, чувствует на лице резкий, холодный ветер и думает, что этот город, вероятно, нехороший, неуютный и скучный...

Во время чая, когда уже совсем стемнело и на стене вагона по-вчерашнему висит фонарь, поезд вздрагивает от легкого толчка и тихо идет назад. Пройдя немного, он останавливается; слышатся неясные крики, кто-то стучит цепями около буферов и кричит: «Готово!» Поезд трогается и идет вперед. Минут через десять его опять тащат назад.

Выйдя из вагона, Малахин не узнает своего поезда. Его восемь вагонов с быками стоят в одном ряду с невысокими вагонами-платформами, каких раньше не было в поезде. На двух-трех платформах навален бут, а остальные пусты. Вдоль поезда снуют незнакомые кондуктора. На вопросы они отвечают неохотно и глухо. Им не до Малахина; они торопятся составить поезд, чтобы поскорее отделаться и итти в тепло.

— Какой это номер? — спрашивает Малахин.

— Восемнадцатый!

— А где же воинский? Зачем меня от воинского отцепили?

Не получив ответа, старик идет на станцию. Он ищет сначала знакомого обер-кондуктора и, не найдя его, идет к начальнику станции. Начальник сидит у себя в комнате за столом и перебирает пальцами пачку каких-то бланков. Он занят и делает вид, что не замечает вошедшего. Наружность у него внушительная: голова черная, стриженая, уши оттопыренные, нос длинный, с горбиной, лицо смуглое; вы-

ражение у него суровое и как будто оскорбленное. Малахин начинает длинно излагать ему свою претензию.

— Что-с? — спрашивает начальник. — Как? — он откидывается на спинку стула и продолжает, возмущаясь: — что-с? А почему же вам не ехать с восемнадцатым номером? Говорите яснее, я ничего не понимаю! Как? Прикажете мне разорваться на части?

Он сыплет вопросами и без всякой видимой причины становится все строже и строже. Малахин уже лезет в карман за бумажником, но начальник, вконец оскорбленный и возмущенный неизвестно чем, вскакивает со стула и выбегает из комнаты. Малахин, пожимая плечами, выходит и ищет, с кем бы еще поговорить.

От скуки ли, из желания ли завершить хлопотливый день еще какой-нибудь новой хлопотой или просто потому, что на глаза ему попадается оконце с вывеской «Телеграф», он подходит к окну и заявляет желание послать телеграмму. Взявши перо, он думает и пишет на синем бланке: «Срочная. Начальнику движения. Восемь вагонов живым грузом. Задерживают на каждой станции. Прошу дать скорый номер. Ответ уплочен. Малахин».

Послав телеграмму, он опять идет в комнату начальника станции. Тут на диванчике, обитом серым сукном, сидит какой-то благообразный господин с бакенами, в очках и в енотовой шапке; на нем какая-то странная шубка, очень похожая на женскую, с меховой опушкой, с аксельбантами и с разрезами на рукавах. Перед ним стоит другой господин, сухой и жилистый в форме контролера.

— Помилуйте, — рассказывает контролер, обращаясь к господину в странной шубке. — Я сейчас расскажу вам случай такой, что мое вам почтенье! Z-я дорога преспокойнейшим образом украла у N-ской дороги триста товарных вагонов. Это факт-с! Клянусь богом! Завезла к себе, перекрасила, выставила свои литеры и — сделайте ваше одолжение! N-ская дорога шлет всюду агентов, ищет, ищет, и вдруг, можете себе представить, попадается ей больной вагон Z-ской дороги. Она чинит его у себя в депо и вдруг, мое вам почтение, видит на колесах и осях свое клеймо. Каково-с? А? Сделай это я, меня в Сибирь сошлют, а железным дорогам — пссс!

Малахину приятно поговорить с интеллигентными, образованными людьми. Он разглаживает бороду и солидно вмешивается в разговор.

— Взять теперь, господа, к примеру хоть такой случай, — говорит он. — Я везу быков в X. Восемь вагонов. Хорошо-с... Скажем теперь так: берут с меня за каждый вагон, как за 600 пудов тяги. В восьми быках не будет шестисот пудов, а гораздо меньше, они же не принимают этого себе во внимание.

В это время в комнату входит Яша, ищущий отца. Он слушает и хочет сесть на стул, но, вероятно, вспомнив про свою тяжесть, отходит от стула и садится на подоконник.

— А они не принимают это себе во внимание, — продолжает Малахин: — и берут еще с меня и с сына за то, что мы при быках едем, сорок два рубля, как за III класс. Это мой сын Иаков; есть у меня дома еще двое, да те по ученой части. Ну-с, и кроме того, я так пони-

маю, что железные дороги разорили скотопромышленников. Прежде, когда гурты гоняли, лучше было.

Говорит старик протяжно и длинно. После каждой фразы он взглядывает на Яшу, как бы желая сказать: гляди, как я с умными людьми разговариваю!

— Помилуйте! — перебивает его контролер. — Никто не возмущается, никто не критикует! А почему? Очень просто! Мерзость возмущает и режет глаза только там, где она случайна, где ею нарушается порядок; здесь же, где она, мое вам почтение, составляет давно заведенную программу и входит в основу самого порядка, где каждая шпала носит ее след и издает ее запах, она слишком скоро входит в привычку! Да-с!

Бьет второй звонок. Господин в странной шубке поднимается. Контролер берет его под руку и, продолжая горячо говорить, уходит с ним на платформу. После третьего звонка в комнату вбегает начальник станции и садится за свой стол.

— Послушайте, с каким же номером я поеду? — спрашивает Малахин.

Начальник глядит в бланок и говорит, возмущаясь:

— Вы Малахин? Восемь вагонов? С вас по рублю за вагон и шесть двадцать за марки. У нас марок нет. Итого 14 руб. 20 коп.

Получив деньги, он записывает что-то, засыпает песком и, сердито рванув со стола пачку бланков, быстро выходит из комнаты.

В 10 часов вечера Малахин получает ответ начальника движения: «Дать преимущество». Прочитав эту телеграмму, старик значительно подмигивает глазом и, очень довольный собою, кладет ее в карман.

— Вот, — говорит он Яше. — Гляди и приучайся.

В полночь его поезд идет дальше. Ночь, как вчера темная и холодная, стоянки долгие. Яша сидит на бурке и невозмутимо пиликает на гармонике, а старику все еще хочется хлопотать. На одной из станций ему приходит охота составить протокол. По его требованию, жандарм садится и пишет: «188... года ноября 10 я, унтер-офицер Z-го отделения N-ского жандармского полицейского управления железных дорог Илья Черед, на основании 11 статьи закона 19-го мая 1871 года, составил сей протокол на станции X в нижеследующем...»

— Дальше что писать? — спрашивает жандарм.

Малахин выкладывает перед ним бланки, почтовые и телеграфные расписки, счета.... Что ему нужно от жандарма, он сам определенно не знает; ему хочется описать в протоколе не какой-нибудь отдельный эпизод, а все свое путешествие, все свои убытки, разговоры с начальниками станций, описать длинно и язвительно.

— А на станции Z., — говорит он: — напишите: начальник станции отцепил мои вагоны от воинского поезда, потому что моя физиономия ему не понравилась.

И ему хочется, чтобы жандарм непременно упомянул о физиономии. Тот утомленно слушает и, не дослушав, продолжает писать. Свой протокол он заканчивает так: «Вышеизложенное я, унтер-офицер Черед, записал в сей протокол и постановил представить оный начальнику Z-го отделения, а копию оного выдать мещанину Гавриле Малахину».

Старик берет копию, приобщает ее к бумагам, которыми набит его боковой карман, и очень довольный идет к себе в вагон.

Утром Малахин опять просыпается не в духе, но уже гнев свой изливает не на Яше, а на быках.

— Пропали быки! — ворчит он. — Пропали! Они передохнут! Накажи меня бог, передохнут все! Тьфу!

Быки, давно уже не пившие, мучимые жаждой, лижут иней на стенах и, когда подходит к ним Малахин, начинают лизать его холодный полушубок. По их светлым слезящимся глазам видно, что они изнеможены жаждой и вагонной качкой, голодны и тоскуют.

— Вот, вози вас, проклятых! — ворчит Малахин. — Уж издыхали бы поскорей, что ли! Глядеть на вас противно.

В полдень поезд останавливается у большой станции, где, по правилам, для живого груза устраивается водопой. Быкам Малахина дают пить, но быки не пьют; вода оказывается слишком холодной...

Проходит еще двое суток и наконец вдали, в смуглом тумане показывается столица. Путь кончен. Поезд останавливается, не доезжая города, около товарной станции. Быки, выпущенные из вагонов на волю, пошатываются и спотыкаются, точно идут по скользкому льду.

Покончив с выгрузкой и ветеринарным осмотром, Малахин и Яша поселяются в грязных, дешевых номерах на окраине города на той самой площади, где производится торг скотом. Живут они в грязи, едят отвратительно, как никогда не ели у себя дома, спят под резкие звуки плохого оркестриона, день и ночь играющего в трактире под номерами. Старик с утра уходит куда-то искать покупателей, а Яша по целым дням сидит в номере или же выходит на улицу поглядеть столичный город. Он видит грязную, унавоженную площадь, трактирные вывески, зубчатую стену монастыря в тумане... Изредка перебежит он улицу и заглянет в окно бакалейной лавочки, полюбуется на банки с разноцветными пряниками, зевнет и лениво поплетется к себе в номер. Столица не интересует его.

Наконец быков продают какому-то купцу. Малахин нанимает погонщиков. Всех быков делят на партии по десяти голов в каждой и гонит их на другой конец города. Быки, понурив головы, утомленные, идут по шумным улицам и равнодушно глядят на то, что видят они первый и последний раз в жизни. Оборванные погонщики идут за ними, тоже понурив головы. Им скучно... Изредка какой-нибудь погонщик встрепенется от дум, вспомнит, что впереди его идут вверенные ему быки, и, чтобы показать себя занятым человеком, со всего размаха ударит палкой по спине быка. Бык спотыкнется от боли, пробежит шагов десять вперед и поглядит в стороны с таким выражением, как будто ему совестно, что его бьют при чужих людях.

Продав быков и накупив для семьи гостинцев, какие можно было бы купить у себя дома, Малахин и Яша собираются в обратный путь. За три часа до отхода поезда, старик, уже выпивший с покупателем, а потому хлопотливый, спускается с Яшей в трактир и садится пить чай. Как все провинциалы, он не может один пить и есть: ему нужна компания, такая же хлопотливая и рассудительная, как он сам.

— Позови хозяина! — говорит он половому. — Скажи, что я его угостить желаю из любезности.

Хозяин, человек сытый и совершенно равнодушный к своим постояльцам, приходит и садится за стол.

— Ну, поторговали! — говорит ему Малахин, смеясь.— Променяли козу на ястреба. Как же, ехали сюда, — было мясо по три девяносто, а приезжаем — оно уж по три с четвертаком. Говорят, опоздали, было бы тремя днями раньше приезжать, потому что теперь на мясо спрос не тот, Филиппов пост прошел... А? Чистая катавасия! На каждом быке взял убытку четырнадцать рублей. Да вы посудите: провоз быка сколько стоит? Пятнадцать рублей тарифа, да шесть рублей кладите на каждого быка — шахер-махер, взятки, угощения, то да се...

Хозяин из приличия слушает и неохотно хлебает чай. Малахин охает, всплескивает руками, подшучивает над своей неудачей, но по всему видно, что понесенный им убыток мало волнует его. Ему все равно, что убыток, что польза, лишь бы только были у него слушатели, было бы о чем хлопотать да не опоздать бы как-нибудь на поезд.

Через час Малахин и Яша, навьюченные мешками и чемоданами, спускаются из номеров вниз к выходу, чтобы садиться на извозчика и ехать на вокзал. Их провожают хозяин, коридорные и какие-то бабы. Старик растроган. Он тычет во все стороны гривенники и говорит нараспев:

— Прощайте, оставайтесь здоровы! Дай бог вам, чтоб все было, как надо. Бог даст, коли будем живы и здоровы, опять приедем к великому посту. Прощайте! Спасибо... дай бог!

Севши в санки, старик снимает шапку и долго крестится в ту сторону, где в тумане темнеет монастырская стена. Яша садится рядом с ним на краешек сиденья и свешивает ногу в сторону. Его лицо попрежнему бесстрастно, и не выражает ни скуки, ни желаний. Он не радуется, что едет домой, и не жалеет, что не успел поглядеть на столицу.

— Трогай!

— Извозчик бьет по лошадке и, обернувшись, начинает браниться за тяжелый и громоздкий багаж.

Антон Чехов

Ну, и—публика!

— Шабаш, не буду больше пить!.. Ни... ни за что! Пора уж за ум взяться. Надо работать, трудиться... Любишь жалованье получать, так работай честно, усердно, по-совести, пренебрегая покоем и сном. Баловство брось... Привык, брат, задаром жалованье получать, а это вот и нехорошо... и нехорошо...

Прочитав себе несколько подобных нравоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будит кондукторов и вместе с ними идет по вагонам контролировать билеты.

— Вашш... билеты! — выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками.

Сонные фигуры, окутанные вагонным полумраком, вздрагивают, встряхивают головами и подают свои билеты.

— Вашш... билеты! — обращается Подтягин к пассажиру II класса, тощему, жилистому человеку, окутанному в шубу и одеяло и окруженному подушками. — Вашш... билеты!

Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Обер-кондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет:

— Вашш... билеты!

Пассажир вздрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина.

— Что? Кто? а?

— Вам говорят по-человэчески: вашш... билеты! Па-а-трудитесь!

— Боже мой!—стонет жилистый человек, делая плачущее лицо.— Господи, боже мой! Я страдаю ревматизмом... три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтоб уснуть, а вы... с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой... Безжалостно, нелепо! И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!

Подтягин думает, обидеться ему, или нет, — и решает обидеться.

— Вы здесь не кричите! Здесь не кабак! — говорит он.

— Да в кабаке люди человечней... — кашляет пассажир. — Изволь я теперь уснуть во второй раз! И удивительное дело: всю заграницу объездил, и никто у меня там билета не спрашивал, а тут, словно чорт их под локоть толкает, то и дело, то и дело!...

— Ну, и поезжайте за границу, ежели вам там нравится!

— Глупо, сударь! Да! Мало того, что морят пассажиров угаром, духотой и сквозняком, так хотят еще, чорт ее подери, формалистикой добить. Билет ему понадобился! Скажите, какое усердие! Добро бы это для контроля делалось, а то ведь половина поезда без билетов едет!

— Послушайте, господин! — вспыхивает Подтягин. — И ежели вы не перестанете кричать и беспокоить публику, то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте!

— Это возмутительно! — негодует публика. — Пристает к больному человеку! Послушайте, да имейте же сожаление!

— Да ведь они сами ругаются! — трусит Подтягин. — Хорошо, я не возьму билета... Как угодно... Только ведь, сами знаете, служба моя этого требует... Ежели б не служба, то, конечно... Можете даже начальника станции спросить... Кого угодно спросите...

Подтягин пожимает плечами и отходит от больного. Сначала он чувствует себя обиженным и несколько третированным, потом же, пройдя вагона два-три, он начинает ощущать в своей обер-кондукторской груди некоторое беспокойство, похожее на угрызения совести.

«Действительно, не нужно было будить больного, — думает он. — Впрочем, я не виноват... Они там думают, что это я с жиру, от нечего делать, а того не знают, что этого служба требует... Ежели они не верят, так я могу к ним начальника станции привести».

Станция. Поезд стоит пять минут. Перед третьим звонком в описанный вагон II класса входит Подтягин. За ним шествует начальник станции, в красной фуражке.

— Вот этот господин, — начинает Подтягин: — говорят, что я не имею полного права спрашивать с них билет, и... и обижаются. Прошу вас, господин начальник станции, объяснить им — по службе я требую билет или зря? Господин, — обращается Подтягин к жилистому человеку. — Господин! Можете вот начальника станции спросить, ежели мне не верите.

Больной вздрагивает, словно ужаленный, открывает глаза и, сделав плачущее лицо, откидывается на спинки дивана.

— Боже мой! Принял другой порошок и только-что задремал, как он опять... опять! Умоляю вас, имейте вы сожаление!

— Вы можете поговорить вот с господином начальником станции... Имею я полное право билет спрашивать или нет!

— Это невыносимо! Нате вам ваш билет! Нате! Я куплю еще пять билетов, только дайте мне умереть спокойно! Неужели вы сами никогда не были больны! Бесчувственный народ!

— Это просто издевательство! — негодует какой-то господин в военной форме. Иначе я не могу понять этого приставанья!

— Оставьте... — морщится начальник станции, дергая Подтягина за рукав.

Подтягин пожимает плечами и медленно уходит за начальником станции.

«Изволь тут угодить! — недоумевает он. — Я для него же позвал начальника станции, чтоб он понимал, успокоился, а он... ругается».

Другая станция. Поезд стоит десять минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфета и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто.

— Послушайте, обер-кондуктор! — обращается инженер к Подтягину. — Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возмутило всех очевидцев. Я инженер Пузицкий, это вот... господин полковник. Если вы не извинитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения, нашему общему знакомцу.

— Господа, да ведь я... да ведь вы... — оторопел Подтягин.

— Объяснений нам не надо. Но предупреждаем, если не извинитесь, то мы берем пассажира под свою защиту.

— Хорошо, я... я, пожалуй, извинюсь... Извольте...

Через полчаса Подтягин, придумав извинительную фразу, которая бы удовлетворила пассажира и не умалила его достоинства, входит в вагон.

— Господин! — обращается он к больному. — Послушайте, господин!

Больной вздрагивает и вскакивает.

— Что?

— Я тово... как его?.. Вы не обижайтесь...

— Ох... воды... — задыхается больной, хватаясь за сердце. —

Третий порошок морфия принял, задремал и... опять! Боже, когда же, наконец, кончится эта пытка?

— Я тово... Вы извините...

— Слушайте... Высадите меня на следующей станции... Более терпеть я не в состоянии... Я... я умираю...

— Это подло, гадко! — возмущается публика. — Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!

Подтягин машет рукой, вздыхает и выходит из вагона.

Идет он в служебный вагон, садится изнеможенный за стол и жалуется:

«Ну, и—публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться! Поневоле плюнешь на все и запьешь.. Ничего не делаешь — сердятся, начнешь делать — тоже сердятся... Выпить!»

Подтягин выпивает сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности.

*

Шолом-Алейхем

Чудо в Соболевке

«Чудо в Соболевке»—так назвали у нас железнодорожную катастрофу, которая случилась в день Ойшанорабо, в день подписания небесного жребия. Произошло это событие в нашем же Гайсине. Правильнее, не доезжая Гайсина, на одной из станций, называемой Соболевка...

В таких словах гайсинский купец — на вид очень солидный человек — степенно начал свой рассказ о катастрофе, случившейся у них на узкоколейке, где поезд называется «праздношатающимся» (я уже описал его в своем введении). А так как гайсинский купец рассказывал мне эту историю, сидя в этом же «праздношатающемся», который не очень спешит, а в вагоне нас было только двое пассажиров, он расстегнулся, разлегся, точно у себя дома, и начал рассказывать не спеша, смакуя каждое слово и поглаживая при этом живот, улыбаясь, будучи, видимо, очень доволен собой и своим рассказом.

— Вы разъезжаете в нашем «праздношатающемся», слава богу, вторую неделю и изучили, конечно, его прихоти. У него есть привычка: как придет на какую-либо станцию, так остановится и стоит, никак распрощаться не может с ней. По расписанию ему, конечно, полагается стоять определенное время. На станции Затковичи, например, ему назначена стоянка ровно в один час и пятьдесят восемь минут, а на станции Соболевка, о которой я вам рассказываю, он не имеет права стоять ни одной секундой больше, нежели час и тридцать две минуты. Но я пожелал бы ему столько чирьев, сколько лишних минут он простаивает и в Затковичах и в Соболевке. Он стоит там больше двух, а иногда и больше трех часов. Все зависит от того, как много времени отнимают у него маневры. А что у «праздношатающегося» называется маневрами, вам и без меня известно. Распрягут паровоз,

и вся бригада, кондуктора, машинист и кочегар усаживаются с начальником станции, с жандармом и телеграфистом распивать пиво бутылку за бутылкой...

А что делает во время этих «маневров» публика, пассажиры значит, вы уже видели. Слоняются без толку, чуть с ума не сходят. Кто зевает, кто забирается в уголок и дремлет, кто прогуливается по платформе с заложенными назад руками, напевая вполголоса.

И вот, как раз в день Ойшанорабо, во время маневров, стоит себе на станции Соболевка один еврей, даже и не пассажир, представьте себе, а просто один из соболевских жителей, любопытный еврей, стоит у паровоза, заложив за спину руки, и глядит. Как тут вдруг очутился соболевский житель? Дело обыкновенное... День праздничный, еврей утром помолился, как полагается, поотхлестал об стол свой пучок вербы, сходил домой, поел. На душе настроение — полупраздничное, полубудничное. Жребий там на небе все равно уже подписан на весь грядущий год, а дома делать нечего — канун праздника. Взял он палку и побрел на вокзал — «встречать поезд».

«Встречать поезд», надобно вам сказать, обычное занятие во всех наших местечках. Как подходит время поезда, так все и устремляются к вокзалу — авось, кого-нибудь увидят. Кого? — Теплицкого еврея? Гайсинскую еврейку? Голованевского попа? Они и сами не знают. Однако ходят. К тому же поезд им тогда еще в диковину был,—«праздношатающийся» недавно только появился в наших местах—было на что посмотреть, что послушать. Как бы то ни было, ходили ли на вокзал по той или другой причине, но в день Ойшанорабо, утром после «жребия» стоял у распряженного паровоза еврей и смотрел на машину.

Казалось бы, кому до этого дело! Захотелось соболевскому еврею постоять и поглядеть, пусть стоит и глядит себе на здоровье! Так нет же. Случился тут на грех среди пассажиров поп один. Из наших же мест, из Голованевска, — местечко такое есть недалеко от Гайсина. От нечего делать расхаживает поп на той же платформе. Он тоже заложил руки назад и тоже остановился у паровоза. И вот поп этот обращается к еврею:

— Послушай-ка, Юдко! Чего ты здесь не видал?

— Почему Юдко? Мое имя Берко, а не Юдко! — отвечает еврей.

— Пусть будет Берко. Что ты, Берко, здесь делаешь?.. — говорит поп.

— А вот стою и гляжу на божьи чудеса, — отвечает еврей, не сводя глаз с паровоза. Как мудро все это устроено. Стоит повернуть этакой пустяковый винтик сюда, а другой туда, и такая громадная махина начинает двигаться.

— А откуда ты знаешь, что нужно повернуть этот винт сюда, а тот — туда, и тогда машина пойдет? — спрашивает его поп.

— Если бы я не знал, то не говорил бы, — отвечает еврей.

— Кугель[1] ты знаешь, как едят, а больше ничего, — выпалил поп.

Обиделся наш еврей (соболевские евреи люди с амбицией) и говорит попу:

---

[1] Кугель — еврейское сладкое блюдо.

— А ну-ка, батюшка, потрудись взобраться со мной на паровоз, и я тебе покажу, в чем дело: почему паровоз движется и почему останавливается.

Тут уж и попа взяло за живое, и он рассердился не на шутку. С какой стати этот еврейчик смеет говорить, что он ему объяснит, почему паровоз идет и почему останавливается. И он крикнул в сердцах:

— Лезь, Гершко, на паровоз!

— Я не Гершко, а Берко, — снова поправляет его еврей.

— Пусть будет Берко, — соглашается поп, — полезай, Берко, на паровоз!

— Нет, — говорит еврей, — что значит — лезть? Почему мне лезть? Полезай, батюшка, ты первый...

— Ты же меня учить хочешь, — сердито кричит поп, — ты первый и полезай...

Одним словом, спорили, спорили, и, наконец, полезли оба. Оба очутились на паровозе, и наш соболевский еврей стал объяснять попу мудрую механику машины. Тихонько повернул один кран сюда, а другой — туда, и не успели они оба оглянуться, как с ужасом заметили, что паровоз тронул с места и — пошел, пошел!

Но теперь, кажется, самая пора оставить на минутку еврея вместе с попом на распряженном паровозе — пусть мчатся на доброе здоровье — и познакомить вас с нашим героем: кто же он, этот еврей из Соболевки, который обладает таким мужеством, что отважился взобраться с попом на распряженный паровоз?

Берель Уксусный — так зовут, представьте себе, этого соболевского еврея, о котором я вам рассказываю. Почему Уксусный? Потому что он занимается изготовлением уксуса, самого лучшего уксуса в нашем краю. Это искусство досталось ему по наследству от покойного отца. Но он усовершенствовал его. Придумал, — как он сам про себя рассказывает,—такую машину, которая дает самую лучшую эссенцию. Будь у него время, говорит он, он мог бы снабдить уксусом несколько губерний, но он не видит в этом нужды. Он не гонится за богатством, говорит он. Вот какой он, наш Уксусный. Нигде не учился, а знает какое угодно тонкое ремесло и сведущ во всякого рода машинах. Откуда у него такие знания? В этом нет ничего удивительного. Ведь изготовление уксуса имеет некоторое отношение, говорит он, к винокурению, а винокурение пахнет уже заводом. А на заводе, говорит он, работают почти такие же машины, как паровоз. Завод свистит, и паровоз свистит — какая же между ними разница. Главная сила у них берется, говорит Берель и размахивает при этом руками, от топки. Когда топят, говорит он, нагревается котел, и в котле закипает вода; это, говорит, толкает вал, и колеса начинают вертеться, куда хочешь. Хочешь, чтобы пошло вправо, крути регулятор вправо. Хочешь влево— крути регулятор влево. Это, говорит, так просто, что проще и быть не может...

Теперь, после того как я вас уже познакомил немного с этим соболевским евреем, вам, надеюсь, многое стало ясно, и мы можем снова вернуться к катастрофе.

Вы можете себе представить, какой ужас охватил людей, стоявших

на платформе, и какая паника поднялась среди них, когда они увидели, что паровоз, неизвестно по какой причине, снялся с места и пошел. Вы можете себе представить также, какой переполох начался в «бригаде». Они в первую минуту, представьте себе, бросились было догонять паровоз, хотели, видно, поймать его сзади. Но скоро, однако, убедились, что их труды напрасны. Как на зло, паровоз мчался теперь с какой-то бешеной быстротой. С тех пор, как «праздношатающийся» начал ходить в наших краях, еще ни разу не случалось, чтобы паровоз шел с такой скоростью. Бригада вынуждена была вернуться ни с чем и стала сообща с жандармом и начальником станции составлять протокол, а потом разослала телеграммы по всей линии: «Сбежал паровоз. Примите меры. Телеграфируйте».

Нетрудно представить себе, какую панику эти телеграммы подняли по всей линии. Никто не понимал их значения. Что это значит: «Сбежал паровоз?». И что означают слова «Примите меры?» Какие меры можно принять, кроме посылки телеграмм?.. И пошли лететь телеграммы во все концы. Телеграф работал бешено. Все станции переговаривались между собой, и страшная весть мгновенно распространилась по всем городам и местечкам. По всему краю началось форменное светопреставление!

У нас, в Гайсине, передавали, например, что погибла масса народу. Какая ужасная смерть! «Суждено им, видно, несчастным! Да еще в такой день! Как раз в тот день, когда человеку в окончательной форме выносится приговор на весь грядущий год. На небе, видно, решение такое состоялось...» Так говорили у нас, в Гайсине, так говорили во всех окрестных местах. И сколько страхов, сколько страданий всякий из нас пережил! Но это, конечно, нельзя даже сравнить с терзаниями тех несчастных пассажиров, которые сбились на станции Соболевка, как стадо овец, потерявших пастуха. Посреди поездки остаться вдруг без паровоза! Что им, бедным, делать? Куда им в канун праздника деваться? Придется, чего доброго, проводить праздник на этой станции... Да еще такой праздник! Вот неудача! Сбились все в одну кучу и стали оплакивать свою собственную судьбу и судьбу «беглеца» (так успели прозвать сбежавший паровоз). Бог знает, что может случиться с этим беднягой! Шутка ли, несется махина такая по линии одна-одинешенька! К тому же «беглец» ведь должен неизбежно встретиться с тем «праздношатающимся», который идет сюда из Гайсина через Затковичи. Что будет с теми пассажирами? Несчастные! Воображение рисовало картину столкновения со всеми подробностями страшной железнодорожной катастрофы: разлетевшиеся колеса, перевернутые вагоны, оторванные головы, сломанные ноги, отрезанные руки, затоптанные чемоданы, забрызганные кровью... Вдруг — телеграмма! Получилась телеграмма из Затковичей. Телеграмма гласит: «Сейчас пронесся со страшной быстротой мимо станции Затковичи паровоз с двумя пассажирами. Один из них, кажется еврей, второй священник. Оба размахивали руками, неизвестно зачем. Паровоз промчался на Гайсин».

И тут только началась суматоха. Что это значит? Еврей и священник на убежавшем паровозе! Куда они убежали? И зачем? И кто он,

этот еврей? Туда, сюда, стали расспрашивать, разнюхивать и вскоре узнали, что еврей — местный, из Соболевки. Пошли расспросы: — Кто такой? Вы знаете его? Вопрос, знают ли его! Это же — Берель Уксусный, из Соболевки! Каким образом известно, что это он, а не другой? Известно! Соболевские евреи готовы присягнуть, что они издали видели, как Берель стоял с попом у паровоза и размахивал руками... Но что же тут происходит? Как очутился вдруг еврей, делающий уксус, вместе с попом у распряженного паровоза?

Пошли догадки, толки, споры. Между тем, весть о Береле, достигла, представьте себе, до Соболевки. Хоть от местечка до станции Соболевка не очень-то далеко, однако известие, переходя по дороге в Соболевку из уст в уста, всякий раз видоизменялось, каждый прибавлял кое-что от себя и, когда оно, наконец, докатилось до дома Береля, то приняло уже такую дикую форму, что Берелиха раз десять падала в обморок, и пришлось даже врача вызвать... Вся Соболевка высыпала на станцию. Поднялся такой шум, что начальник вынужден был отдать жандарму распоряжение: очистить станцию от соболевских евреев... А раз так, то и нам тут нечего делать. Давайте лучше посмотрим, что стало с нашим евреем и с попом, уехавшими на «беглеце», на ушедшем, значит, паровозе.

Впрочем, это легко сказать — посмотреть, что делается на сбежавшем паровозе. Кто может знать, что там творилось? Приходится верить соболевскому уксуснику на честное слово. Он же рассказывает про свое путешествие удивительные чудеса. Если предположить даже, что тут есть правды только наполовину, то и этого достаточно. Но Берель Уксусный, насколько я его знаю, не относится, кажется, к тем людям, которые любят преувеличивать.

В первые минуты после того, как паровоз тронулся с места, рассказывает Берель, он почти и не помнит, что с ним произошло. Не столько от страха, сколько от того, говорит он, что он никак не мог понять, почему паровоз его не слушается. По здравому смыслу, говорит он, если еще раз повернуть регулятор в ту же сторону, паровоз должен был моментально остановиться, а между тем он пошел еще быстрей, чем раньше. Точно тысяча чертей его толкала сзади. Паровоз мчался с такой быстротой, говорит Берель, что телеграфные столбы, словно мухи, мелькали в глазах, и у него закружилась голова, а ноги стали подкашиваться... Через некоторое время, рассказывает Берель, когда он пришел в себя, он вспомнил, что на паровозе есть тормоз, рычаг такой, которым можно при желании остановить машину. Есть, — поясняет руками Берель Уксусный, — воздушный тормоз и есть ручной. Колесо такое небольшое. Если повернуть колесо вправо, оно надавливает на рычаг, и колеса сами собою перестают вертеться. Он даже не понимает, говорит он, как могла такая простая вещь выскочить у него из памяти. И вот он подходит, значит, к колесу, и хочет повернуть его вправо. Но в ту же минуту кто-то хватает его за руку: «Стоп!»— Кто такой? А это, оказывается, поп. Бледный, как полотно, почти и говорить не в состоянии. «Ты что хочешь сделать?» — еле произносит он дрожащим голосом. «Ничего! — отвечает Берель. — Хочу машину остановить...» — «Боже тебя упаси,— говорит поп,— не смей больше

и прикоснуться к машине! А если ты меня не послушаешь — возьму за шиворот и так швырну с паровоза, что ты даже забудешь, что тебя Мошкой звали».

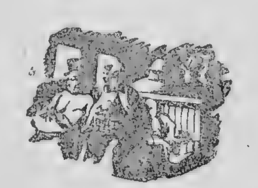
«Я не Мошка, а Берко», — поправляет его Берель и хочет объяснить ему всю хитрую механику колеса, которое называется тормозом. Но тот и слышать не хочет. Такой противный поп! «Довольно тебе вертеть,—ворчит поп,—ты и так навертел уже, чтоб тебя завертело, проклятый! Почему ты себе шею не сломал раньше, чем взялся на мою голову»?—«Батюшка,—говорит ему Берель,—ты, как видно, полагаешь, что мне моя жизнь не дорога так же, как твоя жизнь—тебе». «Твоя жизнь»? — желчно отвечает поп. — Какая цена собачьей жизни?». Береля это задело не на шутку, и он отчитал, говорит он, попа так, что тот его всю жизнь будет помнить. «Во-первых,—говорит Берель,— и собаки тоже жалко. По нашему закону и собаки трогать нельзя. Заповедано «и скоты миловать». А во-вторых, чем моя жизнь перед господом-богом хуже твоей, батюшка? Разве мы не происходим все от одного и того же Адама, и разве мы не возвращаемся к одной и той же земле? Притом,—говорит Берель,—заметь, батюшка, разницу между мной и тобой: я делаю все возможное, чтобы задержать паровоз, следовательно, забочусь о нас обоих. А ты пришел в такую ярость, что готов сбросить меня с паровоза, иначе говоря, готов убить человека...» И еще много такого наговорил ему, попу значит, всякую мораль читал и ему такие аллегории приводил, что тот чуть не лопнул с досады.

Разговаривая таким образом, они увидели перед собой станцию Затковичи, с начальником станции, с жандармом и прочим народом. Они оба, Берель и поп, стали махать руками, но никто, как видно, их не понял, и они, бедные, вынуждены были, говорит он, мчаться дальше, к Гайсину. «Теперь,—рассказывает Берель,—поп стал гораздо мягче, но дотронуться до машины все же не давал ему». «Ты ответь мне, Лейбко, — обратился к нему поп, — на один вопрос...» Меня зовут не Лейбко,—отвечает ему Берель,—меня зовут Берко».—«Пусть будет Берко, —говорит поп. — Скажи-ка, Берко, согласился бы ты, к примеру, спрыгнуть со мною вместе с паровоза на землю?» — «Зачем? — спрашивает его Берель. — Для того, чтобы нам обоим, не дай бог, насмерть разбиться?» « Нам все равно помирать придется», — отвечает ему поп. — «Из чего ты заключаешь? — спрашивает Берель. — Это вовсе не доказано. Если бог захочет, всякое может случиться...» — «Например?»— спрашивает поп. — «А вот я тебе скажу, батюшка, — отвечает Берель. — У нас, евреев, сегодня такой день — Ойшанорабо. В этот день господь утверждает судьбу всякого человека и всякой твари на земле: жить ли им или умереть; а если умереть, то какой именно смертью. Так что, если небо судило, что мы должны умереть, то наше дело все равно пропащее. И не все ли мне равно: умереть ли, спрыгнув с паровоза, умереть ли на паровозе или, вообще, от грома умереть! А разве, идя по совершенно ровному месту, —говорит Берель, — я не могу упасть и убиться, если будет на то божья воля! Но если господь утвердил нам сегодня жизнь, и я все равно буду жить, то зачем же мне прыгать?»

— И что вам сказать? — рассказывает дальше Берель Уксусный и божится при этом так, что и отступнику поверить можно. — Не помню, как это случилось, но уже под самым Гайсином, едва показались трубы Гайсинского завода, паровоз начал вдруг двигаться все тише и тише, потом пошел совсем медленнее и, наконец, решил совсем остановиться. В чем дело? Ему, очевидно, — говорит Берель,— топлива нехватило. А когда в паровозе, — говорит Берель, — иссякает топливо, то вода в нем перестает бурлить, колеса перестают вертеться, и конец езде. Так бывает и с человеком, — говорит Берель, — если его не кормить. Берель, конечно, тут же сказал попу: «Ну, батюшка, видишь? Я тебе раньше говорил. Если бы господь-бог не решил сегодня, что мне надо еще жить на белом свете, то кто его знает, на сколько времени хватило бы еще топлива и куда бы мы с тобой еще заехали». А поп, — рассказывает Берель, — стоит, опустив глаза, и молчит. Что ему, бедному, отвечать было?

И только уже на прощание поп протянул ему вдруг руку и сказал: «Прощай, Ицко!»

«Я не Ицко, — говорит Берель, — я — Берко». — «Пусть будет Берко, — говорит поп. — Прощай, Берко, я и не знал, что ты такой...» И, не сказав больше ни слова, задрал полы своей рясы и зашагал быстро назад, очевидно, к себе в Голованевск. А Берель двинул прямо в город, к нам, значит, в Гайсин. И у нас он, представьте себе, провел уже и праздники, вознес молитву об избавлении от беды, а потом не меньше тысячи раз рассказал всю историю с самого начала до конца, всякий раз с новыми подробностями и чудесами... Каждый норовил затащить к себе соболевского уксусника гостем к трапезе, чтобы послушать рассказ о великом чуде. И был у нас в городе такой праздник и такое веселье, что и старожилы такого не запомнят...



Глава IV

НА СТАНЦИИ, НА ЛИНИИ

В. Гаршин

Сигнал

Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой — десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за леса ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.

Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и по пятидесяти верст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку — турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают, страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа-офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только ноги и руки ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой — отец - старик помер; сынишка был по четвертому году — тоже помер, горлом болел; остался Семен с женою сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен попрежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции, видит, начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга. Офицер своего полка оказался.

— Ты Иванов? — говорит.

— Так точно, ваше благородие, я самый и есть.

— Ты как сюда попал?

Рассказал ему Семен: так, мол, и так.

— Куда ж теперь идешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как так, дурак, не можешь знать?

— Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.

Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:

— Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?

— Так точно, ваше благородие, женат; жена в городе Курске, у купца в услужении находится.

— Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится, уж попрошу за тебя начальника дистанции.

— Много благодарен, ваше благородие, — ответил Семен.

Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена, и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, тепла, дров — сколько хочешь, огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.

Дали ему весь нужный припас: флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключи — гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей, дали две книжки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки, и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.

Дело было летом; работа не тяжелая, снега отгребать не надо. Да и поезда на той дороге редки. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует, подвинтит, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женою даже скучать.

Прошло времени месяца два; стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; все сменить его собирались; едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе; Семен шапку снял и поклонился.

— Доброго,— говорит,— здоровья, сосед.

Сосед поглядел на него сбоку.

— Здравствуй, — говорит.

Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собою встретились.

Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговоривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен:

— Что это,—говорит,—у тебя, молодица, муж неразговорчивый?

Помолчала баба, потом говорит:

— Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое... Иди себе с богом.

Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий же больше помалчивал, а Семен и про деревню свою и про поход рассказывал.

— Немало,—говорил,—я горя на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть. Так-то братец, Василий Степаныч.

А Василий Степаныч трубку об рельс выколотил, встал и говорит:

— Не талан-судьба нам с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.

— Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.

— К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесто́че. Не людская бы злость да жадность — жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус отхватить, да слопать.

Задумался Семен.

— Не знаю,— говорит,— брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от бога положение.

— А коли так, — говорит Василий: — так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком надо быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.

Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.

— Сосед, — кричит: — за что же ругаешься?

Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:

— Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.

Однако не поссорились они; встретились опять и попрежнему разговаривать стали, и все о том же.

— Э, брат, кабы не люди... не сидели бы мы с тобою в будках этих,— говорит Василий.

— Что ж в будке... ничего, жить можно.

— Жить можно, жить можно.... Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь — выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?

— Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.

— А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Позволь тебя спросить?...

А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне: вышел на платформу, стоит... Да не останусь я здесь долго; уйду, куда глаза глядят.

— Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница....

— Землицы! Посмотрел бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки, так и то дорожный мастер приехал. «Это, - говорит,— что такое? Почему без доношения? Почему без разрешения? Выкопать, чтоб и духу ее не было». Пьяный был. В другой раз ничего бы не сказал, а тут втемяшилось... «Три рубля штрафу!»...

Помолчал Василий, потянул трубочку и говорит тихо:

— Немного еще, зашиб бы я его до смерти.

— Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу.

— Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождется он у меня, красная рожа. Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрим!

И точно пожаловался.

Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать: ревизию делали, так перед их проездом все надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтого песочку подсыпать. Соседка-сторожиха и старика своего выгнала траву подчищать. Работал Семен целую неделю; все в исправность привел и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; шестерни жужжат; мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семеновой будке; подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски.

Все в исправности оказалось.

— Ты давно здесь? — спрашивает начальник.

— Со второго мая, ваше благородие.

— Ладно. Спасибо. А в сто шестьдесят четвертом номере кто?

Дорожный мастер (вместе с ним на дрезине ехал) ответил:

— Василий Спиридонов.

— Спиридонов, Спиридонов.... А, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании?

— Он самый и есть-с.

— Ну, ладно, посмотрим Василия Спиридонова. Трогай.

Налегли рабочие на рукояти; пошла дрезина в ход.

Смотрит Семен на нее и думает: «Ну, будет у них с соседом игра».

Часа через два пошел он в обход. Видит, из выемки по полотну идет кто-то, на голове будто белое что виднеется. Стал Семен присматриваться — Василий; в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана.

— Сосед, куда собрался? — кричит Семен.

Подошел Василий совсем близко: лица на нем нету, белый, как мел, глаза дикие; говорить начал — голос обрывается.

— В город,— говорит,— в Москву... в правление.

— В правление... Вот что! Жаловаться, стало-быть, идешь? Брось, Василий Степаныч, забудь...

— Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так!

Взял его за руку Семен.

— Оставь, Степаныч; верно тебе говорю: лучше не сделаешь.

— Что там лучше! Знаю сам, что лучше не сделаю; правду ты про талан-судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять.

— Да ты скажи, с чего все пошло-то?

— Да с чего.... Осмотрел все, с дрезины сошел, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать; все, как следует, исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать. «Тут,— говорит,— правительственная ревизия, такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать! Тут,— говорит,— тайные советники, а ты с капустой лезешь!» Я не стерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне.... а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошел.

— Как же будка-то?

— Жена осталась. Не прозевает; да ну их совсем и с дорогой ихней!

Встал Василий, собрался.

— Прощай, Иваныч. Не знаю, найду ли управу себе.

— Неужто пешком пойдешь?

— На станции на товарный попрошусь; завтра в Москве буду.

Простились соседи; ушел Василий, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсем, поджидаючи мужа. На третий день проехала ревизия: паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку; лицо от слез пухлое, глаза красные.

— Вернулся муж? — спрашивает.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.

Научился Семен когда-то, еще мальчишкой, из тальника дудки делать. Выжжет таловой палке сердце, дырки, где надо высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял; давали ему там за штуку по две копейки. На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошел, палок себе нарезать. Дошел он до конца своего участка, — на этом месте путь круто поворачивал, — спустился с насыпи и пошел лесом под гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошел домой. Идет лесом; солнце уже низко было; тишина мертвая, слышно только, как птицы чиликают, да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен немного еще, скоро и полотно, и чудится ему, что-то еще



Иогансон. Узловая станция. Гос. Третьяковская галлерея.

слышно: будто где-то железо о железо позвякивает. Пошел Семен скорей. Ремонту в то время на их участке не было. «Что бы это значило?» — думает. Выходит он на опушку — перед ним железнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотне, человек сидит на корточках, что-то делает; стал подыматься Семен потихоньку к нему: думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит — и человек поднялся, в руках у него лом; поддел он рельс ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семена в глазах; крикнуть хочет — не может. Видит он Василия, бежит наверх бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится.

— Василий Степаныч! Отец родной, голубчик, воротись! Дай лом! Поставим рельс, никто не узнает. Воротись, спаси свою душу от греха.

Не обернулся Василий, в лес ушел.

Стоит Семен над отвороченным рельсом; палки свои выронил. Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит — вот-вот упадет. Выбежал из лесу — до будки сто сажен, не больше, осталось, слышит — на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи! Спаси невинные души! Так и видит перед собою Семен: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые... Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня!... Нет, до будки добежать и назад во-время вернуться не поспеешь...

Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти; сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимает зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий, слышит, рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету; остановился он от страшного места саженях во ста: тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный; вынул нож из-за голенища; перекрестился, господи, благослови!

Ударил себя ножом в левую руку повыше локтя; брызнула кровь, полила горячей струей; намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.

Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженях не остановить тяжелого поезда!

А кровь все льет и льет: прижимает Семен рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове; в глазах черные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума; одна мысль в голове: «не устою, упаду, уроню флаг; пройдет поезд через меня..... помоги, господи, пошли смену...»

И стало черно в глазах его, и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю; чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился.

Выскочили из вагонов люди, сбились толпою. Видят: лежит человек весь в крови, без памяти; другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке.

Обвел Василий всех глазами, опустил голову.

— Вяжите меня, — говорит: — я рельс отворотил.

☆

А. Серафимович

Стрелочник

I

— Эй, Иван, беги, начальник кличет!

Иван, стрелочник, мужиченка лет сорока, с испитым, истомленным лицом, весь в саже и масле, торопливо поставил в угол метлу, которою он сметал снег с платформы, и побежал в дежурную комнату.

— Чего прикажете? — проговорил он, вытягиваясь у дверей.

Начальник, не обращая на него внимания, продолжал писать. Иван стоял, вытянувшись и держа шапку подмышкой.

Он не смел спросить еще раз, а между тем дорога̀ была каждая минута. Он сегодня дежурит с восьми часов утра, дела по горло: надо станцию убрать к завтрашнему дню, убрать путь, осмотреть стрелки, тяжи к семафорам, вычистить и налить керосином все лампы, наколоть и натаскать на два дня праздника дров в станционные помещения, убрать зал первого и второго класса, — и еще многое другое мелькает у него в голове, что нужно сделать. Уже пятый час, уже смеркается, надо огни зажигать на стрелках.

Иван приложил заскорузлую ладонь ко рту и осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.

— На стрелках огни не зажигал еще? — проговорил начальник, поднимая голову.

— Никак нет, сейчас побегу зажигать.

— Зажжешь, пойди да почисть из-под коровы: по колено в навозе стоит. Никогда во́-время ничего не делается. От этого и копыта у нее болеют.

— Поезд товарный через десять минут, — осторожно вставил Иван.

— Ну, проводишь поезд, тогда...

— Слушаю-с.

Возражать не приходилось. Иван притворил за собою дверь и бегом прошел в ламповую. В проходной комнатке, вроде чуланчика, по полкам стояло штук двадцать ламп самых разнообразных размеров,

с блестящими, чисто вымытыми стеклянными трубками. Иван отобрал из них несколько штук, поставил в широкий, из толстой жести, ящик и пошел к стрелкам.

Было тихо. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Зимние сумерки тихо спускались на станционные здания, на полотно, на дома обывателей. Снег хрустел под ногами. Там и сям проходили фигуры спешивших покончить свои дела людей в ожидании отдыха в завтрашний праздник от повседневной нескончаемой работы и вечных забот.

Иван бегал от стрелки к стрелке и ставил лампы. По всему пути там и сям зажглись разноцветные огни, а на небе тоже зажигались одна за другой звезды, играя и искрясь сквозь прозрачный морозный сумрак.

II

Далеко-далеко с железнодорожного пути потянулся однообразный, долгий и унылый звук; он подержался в морозном воздухе и замер. Иван с секунду прислушался, потом побежал в будку, схватил фонарь, рожок и что есть духу пустился по полотну за станцию, к самой дальней стрелке, что одиноко горела красной звездочкой [1] среди снежной пелены пустынного поля. Бежать пришлось далеко.

Но вот и стрелка. Иван взялся за рычаг, нажал ногой и навалился: тяж заскрипел, потянул остряки рельсов и с визгом передвинул их на свободный путь. Вдали зачернелось что-то неопределенное и в то же время неуклюжее; затем оно стало расти и удлиняться все больше и больше, точно выползало откуда-то; блеснули два огненных глаза, и теперь уже ясно и резко зазвучал свисток локомотива. Звук вырывающегося из локомотивного свистка пара разносился во все стороны и стоял в морозном воздухе; казалось, ему и конца не будет. Уже вот и поезд весь виден, изогнувшийся на закруглении, уже и рельсы стали подрагивать от надвигающейся громадной массы, а нестерпимый звук все режет ухо. Но, наконец, он оборвался и зазвучал три раза отрывисто и коротко.

Тогда Иван приставил рожок к губам, подобрал их особенным манером, надулся, покраснел и заиграл. И в ответ тому, что катилось, надвигалось и грохотало вдали, потянулся тонкий, унылый и жалобный звук рожка, от которого щемило сердце. Он тянулся безнадежно, все на одной и той же ноте, среди зимних сумерок, среди снежной равнины в виду уходивших в бесконечную даль рельсов.

Казалось, этот жалобный звук рожка говорил о том, что все равно некуда спешить, что кругом все то же, что впереди — такие же станции, каких миновали уже с сотню, те же станционные здания, звонок, платформа, начальник, служащие, разбегающиеся рельсовые пути, что тут так же уныло и скучно и каждый занят своим делом, своими мыслями, каждый ждет и не дождется встретить праздник в семье, и никому нет дела до тех, кто теперь мерзнет на тормозных площадках вагонов и напряженно всматривается вдаль из будки катящегося с

---

[1] В старое время на стрелочных флюгарках были и красные стекла.

грохотом локомотива. Но потом рожок как будто раздумал и весело и коротко протрубил три раза: тру-ту-ту — дескать, хоть и скучно, и уныло, и все—то же самое, а все-таки ведь можно забежать на станцию, выпить рюмку водки, закусить скверной селедкой, погреться, покалякать со служащими, а там — и опять в дорогу. Ведь и жизнь вся такая: труд, труд, изо дня в день, недели, месяцы, годы, и забудешь, и не знаешь, что такое отдых. А вот, когда дождешься, наконец, праздника, словно среди глухой степи на станцию поездом придешь, так заворачивай-ка на третий запасный путь.

И локомотив послушался. Вот он уже совсем накатывается на стрелку, и пыхтит, и отдувается, и пар его дыхания с шумом вырывается из трубы и стелется белой пеленой по мерзлой и молчаливой земле. Он, видимо, начинает задерживать движение, вагоны набегают, сталкиваются и гремят буферами. Иван налег на рычаг, и поезд, стуча и визжа на крестовине железом о железо, стал переходить на запасный путь. Мимо стрелочника прошел локомотив, тендер, потом пошли один за другим вагоны. Их прошло уже двадцать-тридцать, а они, все так же набегая и сталкиваясь, катятся мимо, и редко-редко где виднеется закутанная человеческая фигура, закручивающая тормоз. Это был громадный груженый товарный поезд. Наконец, мимо прошел последний вагон и покатился прочь, посвечивая в морозной мгле красным фонарем.

Стрелочник пустился догонять поезд, чтобы пропустить его на следующей стрелке на другой запасный путь. Хотя поезд сильно замедлил ход и шел все тише и тише, догонять его было страшно трудно. Иван, задыхаясь и чувствуя, что ноги у него подкашиваются, бежал у заднего вагона, будучи не в силах схватиться за поручень. Раза два он схватывался, но замерзшие, онемевшие руки срывались, и он едва не угодил под колеса. Наконец-таки он уцепился за подножку, взобрался на нее и несколько минут неподвижно держался за перекладину, не будучи в состоянии отдышаться. Поезд совсем замедлил ход и шел мимо станции, платформа тихо плыла назад.

Стрелочник соскочил и побежал в обгонку поезда к будке, куда сходились тяги от нескольких стрелок. «Ну, и, дьявол, здоровый»! — бормотал он, нагоняя голову поезда. Он быстро вскочил в будку: тут торчала целая куча рычагов от стрелок. Он нажал один из них, и поезд, пройдя на запасный путь, стал вдали от станции: ему нужно было дождаться и пропустить почтовый поезд. Стрелочник передвинул рычаг на главный путь, по которому должен был пойти почтовый.

«Ну, теперь можно из-под коровы почистить», — решил он и направился через станцию на задний двор.

— Ты куда? — встретил его помощник начальника.

— Начальник велели из-под коровы...

— А платформа почему не подметена?

— Начальник велели из-под...

— Во́-время все надо делать. Завтра праздник, а у нас на станцию не влезешь, гадость по колено. Сейчас же подмети!

— Слушаю-с...

Помощник пошел было, но приостановился и крикнул:

— Да дров натаскай ко мне наверх дня на два, а то вас, чертей пьяных, на праздник и за хвост не поймаешь.

— Слушаю-с...

Помощник ушел. Иван взял метлу и стал подметать платформу. «И удивительное дело! — рассуждал он, широко захватывая справа налево метлой, — теперя одному человеку хучь разорваться. Об семи головах будь, а то и не поспеешь...»

— Эй, Иван!

— Чего изволите? — проговорил стрелочник, подбегая к дверям багажной, где стоял заведующий багажом.

— Куда ты запропастился? Черти тебя носят! С ума ты сошел или ради праздника натрескаться успел: до сих пор в первом классе лампы не зажег. Пассажиры съезжаться начинают, а там хоть глаз выколи. Не хочешь служить, так убирайся ко всем чертям!...

— Запамятовал, Василий Василич. Иван Петрович велели платформу подместь, а господин начальник из-под коровы...

— Платформа, платформа! Во-время все надо делать. Ступай сейчас, зажги.

— Слушаю-с...

Иван поставил метлу и побежал в зал первого класса зажигать лампы. Тут уже стали собираться пассажиры, и Ивану в их фигурах, движениях и в том, как они расхаживали по залу и давали носильщикам на билет, виделось молчаливое ожидание, что вот, мол, наступает праздник и можно будет отдохнуть от дел и забот. Иван зажег лампы и побежал дометать платформу. Покончив с платформой и опасаясь, как бы его опять куда-нибудь не услали или еще что-нибудь не заставили делать, он поспешил в дровяной склад. Дров колотых не было, пришлось колоть. Иван с усердием принялся за работу. Надо было заготовить дров на все станционные помещения, но этого мало: надо было нарубить и натаскать их для комнат и кухни начальника и помощника. Правда, у обоих была прислуга, и он, собственно, не обязан был этого делать, на нем лежала исключительно обязанность смотреть за стрелками и за путями, — но ведь если начальство приказывает, некуда деваться. И Иван продолжал с кряхтением взмахивать топором и отбрасывать расколотые поленья. Груда колотых дров росла все больше и больше.

«Должно, будя», — решил стрелочник и стал увязывать поленья в громадные вязанки, чтобы скорее отделаться. Но когда он взвалил себе на спину первую вязанку, то почувствовал, что захватил слишком много. Пошатываясь, хватаясь за притолку и стены, пошел он, сгибаясь под огромной тяжестью, наваленной на спину. И все-таки сбрасывать дрова он не стал: хотелось разом и скорее их разнести. Четыре вязанки он разнес по станционным помещениям; но надо было еще нести начальнику и помощнику на второй этаж, а это была самая тяжелая работа: колени гнулись, ноги дрожали. С напряжением, с усилием переступая со ступени на ступень, он каждую минуту ожидал, что с дровами полетит вниз по лестнице. Наконец, он добрался до кухни помощника начальника и свалил ношу на пол.

— Чего же поздно так? Из-за тебя да жди. Приборку нельзя кон-

чать, полы мыть, все одно заляпаешь, — встретила Ивана кухарка помощника, сварливая, неуживчивая баба с красным носом и всегда «с зарядом».

Иван озлился.

— А ты бы пораньше натрескалась, да кричала бы, что поздно! Что же, мне для тебя треснуть, что ли?

— Ах ты, пьяница! Ах ты, несчастный! Да будь ты от меня, анафема, трижды проклят! Да я тебя, нечистая твоя морда, на порог не пущу теперя! Да я барину сейчас доложу...

И кухарка сделала решительный жест итти в комнаты.

Иван струсил.

— Макрида Спиридоновна, дозвольте.. да я к вам, значит, с нашим почтением и завсегда рад... Може, вам помойку вынесть?

И, не дожидаясь ответа, подхватил лохань, сбегал и вылил. Спиридоновна смягчилась.

— Ну, натаскай же воды.

Иван натаскал воды.

— Лучины, что ли, наколол бы для самовара? В праздники-то нéколи будет.

«Ну и баба озорная, что будешь делать с ней, — думал Иван, щепля лучину. — Тут, господи, дыхнуть нèколи, а тут она... И ничего не поделаешь: пойдет жалиться».

Отделавшись и бормоча себе под нос, что «человека совсем заездили», Иван отправился в сарай, где стояла корова начальника. Она меланхолически пережевывала жвачку и равнодушно глядела на вошедшего Ивана.

— Но, идол! — крикнул Иван, — поворачивайся, сенной мешок!

И он со злобой ударил железной лопатой корову. Та покорно отодвинулась, поднимая ушибленную ногу. Иван начал работать, с ожесточением кидая навоз.

— И откуда навозу с нее столько! Только и знает, что жрет и пакостит. Кабы столько молока давала, а то даром сено жрет. Да меня озолоти, не стал бы держать такую животину. Да и начальник... Мало, что ли, молока на базаре! Пошел да купил, были бы денежки. А то эдакую прорву держи, она тебя проест всего. Гляди, одного навозу наворочала сколько! У-у, тварь, чтоб те околеть!

И он опять с сердцем ткнул лопатой ни в чем неповинную корову, которая решительно не знала, чем заслужила такую немилость, и все жалась к стене.

Ивана прошиб пот. Он чувствовал страшное утомление, но надо было кончать.

«Кончу, — пойтить выпить рюмку с устатку, а то не вытянешь до смены».

Наконец, навоз был убран. Иван, толкнул еще раза два корову, поставил лопату в угол и пошел на станцию.

III

В буфете за столом грелись чаем кондуктора пришедшего товарного поезда. Иван подошел к стойке, взял стаканчик водки, выпил, кряк-

нул, закусил кусочком вонючей рыбы и купил сороковку, чтобы дома встретить праздник честь-честью. Сунув сороковку в карман, он отправился в будку, захватил ключ, молоток, чтоб осмотреть путь перед приходом почтового, и остановился в раздумьи: если таскать за собой вино, то можно еще как-нибудь разбить драгоценную бутылку, если же оставить в будке, сменщик явится и непременно утащит водку: уж у него нюх на этот счет собачий. «Сбегаю домой, отнесу»,— решил Иван и, торопливо сбежав с полотна, направился к маленькой хатенке саженях в тридцати от полотна, в которой приветливо светилось маленькое окошечко.

Иван заглянул в него. Крохотная комнатка с огромной печью, всегда такая грязная, неуютная, заставленная горшками, кадушечками, всяким домашним хламом, теперь была прибрана, глиняный пол чисто смазан, стены выбелены, а занимавшая полкомнаты печь вся разрисована синими петухами. В переднем углу, под образами, был накрыт грубой, но чистой скатертью стол. У образа теплился восковой огарок, трепетно освещая низкий потолок, синих петухов и русые головки ребятишек. Их было у Ивана восемь человек; один качался еще в подвешенной к потолку «зыбке».

Ребятишки, видимо, с нетерпением ожидали тятьку, чтобы приступить к ужину, несмотря на то, что сон клонил их головенки. И эти синие петухи, и выбеленные стены, и скатерть на столе — все производило на Ивана впечатление отдыха и покоя, которые ждут его.

Он постучался в окно. Вышла хозяйка.

— Кто тут? — проговорила она, всматриваясь в темноту, чуть светящуюся от слабого мерцания звезд, проглядывающих сквозь рваные тучи.

— Возьми во, захватил, в будке-то упрут.

— Али с дежурства?

— Нет, сейчас путь иду оглядеть.

— Долго не сиди после дежурства, ребятишки спать хотят.

— Через полчаса буду: зараз почтовый придет, провожу — и домой.

Иван вбежал опять на полотно, и посвечивая фонарем и постукивая молоточком, пошел по рельсам, изредка подвинчивая ненадежные гайки. Он осмотрел стрелки, попробовал тяжи — все было в порядке,—и направился к станции.

IV

Огромный, с двумя паровозами, почтовый поезд тяжело и с грохотом катился по рельсам. Снежные вихри крутились из-под его колес, и пар, клубами вырываясь из труб двух его локомотивов, далеко стлался белой пеленой.

Весь поезд был битком набит публикой. Кондуктора ходили по вагонам, отбирая билеты. Грубо зазвучал паровозный свисток.

Пассажиры снимали с полок чемоданы, узлы, увязывали подушки. Поезд стал задерживать ход. Тормоза со скрежетом зажимали колеса.

Иван, как только поезд подошел к платформе, по знаку началь-

ника дал первый звонок,—здесь остановка была всего две минуты, — бросился в багажный вагон и стал вытаскивать багаж высаживающихся здесь пассажиров.

Он изо всех сил раскидывал чемоданы, сундуки, тюки, разыскивая нужные номера. Когда багаж был выгружен, Иван повез его на тележке в багажную.

— Иван, какого же ты чорта?! Второй звонок, тебе говорят!

Небольшой колокол отчетливо и звонко ударил два раза.

— Беги, отдай путевую!

Стрелочник схватил бумагу и пустился по платформе к паровозу, толкая публику. Поезд был громадный, и надо было почти весь его пробежать. Машинист, перегнувшись с своей площадки, взял у запыхавшегося Ивана путевую записку.

— Третий!...

Чувствуя, как колотится у него сердце, кинулся Иван опять к звонку и ударил три раза. Свистнул обер-кондуктор, паровоз отозвался сердито и нехотя, и поезд, раздвигаясь и визжа железом, тронулся. Платформа пошла назад, а вагоны, раскачиваясь и мерно постукивая колесами на стыках, покатились по рельсам друг за другом.

Иван с облегчением вздохнул. Он дежурит через день и каждый раз в десять часов вечера точно так же надрывается, выгружая багаж, точно так же ему нужно и давать звонки, и передавать путевку машинисту, и бежать открывать семафор, т. е. каждый раз приходится исполнять обязанности, которые должны быть распределены по крайней мере, между двумя человеками, и это — в продолжение двадцати двух лет.

Эти двадцать два года съели его. Ему казалось, что он всю жизнь только и умел делать, что бегать по стрелкам, подавать сигналы, давать звонки, зажигать лампы. Работа эта казалась наиболее легкой, подходящей, благородной. Ему казалось, что, кроме нее, он больше ни на что не способен, не годен. У него было восемь детей, и он получал 15 руб. в месяц. Потому-то, когда он бегал по стрелкам, пропускал поезда, ставил фонари, чистил из-под коровы, подметал платформу, он всегда носил с собою одну и ту же мысль, одно и то же ощущение: страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли упущения, не вышло бы чего-нибудь скверного. Двадцать два года сделали свое дело, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы иначе устроиться. Вне железнодорожного порядка дня, вне станции, путей, платформы он себя не представлял. В десять часов вечера, с отходом почтового поезда кончалось его дежурство, и только тогда вместе с глубоким вздохом облегчения с него сваливалась давящая тяжесть страха и ожиданий, как бы чего не случилось.

Так и сегодня. Когда поезд прошел платформу, Иван, испытывая необыкновенную слабость, которая всегда охватывала его по окончании дежурства, и чувствуя в то же время, как сваливается с него тяжесть, поднял руку, чтобы перекреститься и... замер. Страшная мысль прожгла его: он забыл перекинуть рычаг стрелки на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несся почтовый. Весь страх, все отчаяние ответственности охватили его. Без шапки, с по-

белевшим лицом кинулся он бежать туда, где, удаляясь, светился красный фонарь уходившего поезда.

Поздно!... Вот-вот раздастся оглушительный треск, и к небу в белесоватом ночном сумраке подымется над полотном темная громада, неподвижная и зловещая, и нечеловеческие, бессмысленные крики наполнят морозную зимнюю ночь.

Чтоб не слышать их, Иван кинулся бежать на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз. Задыхаясь, добежал он и бросился на ярко освещенные рефлекторами приближавшегося паровоза рельсы.

В эти несколько секунд вся его жизнь, точно озаренная отблеском, предстала перед ним, законченная сегодняшним днем: дежурство... платформа... лампы... дрова... корова... печь с синими петухами... русые головенки и... роковая стрелка!...

В этот момент страшного напряжения вдруг с поразительной отчетливостью Ивану представилось, что он... перекинул стрелку на главный путь. Боже мой, ведь он п р а в и л ь н о ее поставил! Он не спутал, и почтовый поезд благополучно шел по главному пути.

Иван отчаянно закричал и сделал нечеловеческое усилие скатиться с рельсов, но в эту самую секунду накатившийся паровоз обрушился на него всей массой железа, стали, раскаленного угля...

V

Машинист дежурного паровоза стоял на площадке, поглядывая на бежавшие навстречу ярко освещенные рельсы. Мелькнула одна стрелка, другая. Он взялся за свисток и несколько раз дернул. Застучали колеса на переходе, мелькнул зеленый огонь, будка вынырнула из темноты и опять пропала. Вдруг он, как сумасшедший, бросился к регулятору и закричал не своим голосом: «Тормоз!» А помощник уже сам изо всех сил тормозил, отчаянно налегая на рукоять.

— Господи, никак человека зарезало!...

Заскрипели тормозные колодки, завизжали колеса, пар рванулся в открытые клапаны. Из-под паровоза донесся нечеловеческий вопль: «Ай, бат...» и оборвался. Паровоз пробежал еще с сажень и остановился.

Соскочили машинист с помощником наземь, ничего не видать: сечет крупой в темноте глаза ветер. Бросился помощник за фонарем, осветил им: видит — лежат поодаль от рельсов две отрезанные ступни, а за колесами под паровозом виднеется человек.

— Ведь зарезало, царица небесная!...

Побежал помощник на станцию, сбежался народ. Отодвинули паровоз назад. Кто-то наклонился над лежавшим:

— Помер!

Все смолкли, сняли шапки, перекрестились.

Иван неподвижно лежал между рельсов с насильственно повернутой на-бок головой, с закатившимися глазами. Кольцо фонаря, надетое на правую руку, сорвало у кисти кожу и завернуло ее, как кровавый рукав, к самому плечу; сама рука была вывернута в плече и закинута за голову, а ребра левого бока глубоко вдавлены в грудь.

Среди собравшихся слышался сдержанный, подавленный говор: расспрашивали, как случилось несчастие, не был ли покойник выпивши, кричал ли, когда на него набежала машина. Никто ничего не мог толком ответить.

— Только это я выглянул,— говорил изменившимся от волнения голосом машинист окружавшей его кучке людей,— вижу, огни на стрелке засветились, думаю — стану сейчас. Только что хотел было повернуться, гляжу, а он тут, у самого фонаря... Господи!... кинулся я, — а он как закричи-ит!... Потемнело у меня в глазах. Знаю, что тут вот, под паровозом — человек, а ничего не могу сделать...

Голос у машиниста оборвался.

Ветер набежал, зашумел и посыпал на мертвеца и всех стоявших белой крупой. Все замолчали. В паровозе угрожающе клокотал сдавленный пар. Машинист поднялся на площадку и повернул какую-то ручку. Пар с бешенством вырвался низом, окутав всех тепловатой сыростью.

— А ведь шел, не думал, к стрелке шел. Он его тут и накрыл.

— Рожок весь так и свернуло, а самого, видно, зацепило за фонарь, и поволокло, а то бы пополам перерезало.

На минуту опять водворилось молчание. Ветер снова зашумел по насыпи и посыпал крупой.

— Послали за начальником?

— Сейчас пошли.

— Баба теперь завоет, с восьмерыми осталась.

От станции показались огни и темные силуэты людей. Подошел начальник. Собравшаяся кучка расступилась. Он взял у служащего фонарь, направил на покойника. На мгновение свет мелькнул по сурово-сосредоточенным лицам стоявших, по рельсам, по шпалам и упал на искаженное страданием лицо убитого с неподвижными белками закатившихся глаз. Начальник повернулся и велел убрать тело в пустой вагон.

Принесли рогожу, подняли труп. Он стал коченеть. Вывернутая рука бессильно упала и повисла.

— Чего же, надо всего... — сдержанно проговорил один из поднимавших, как будто не договаривая.

— Вон где,— указал в темноте помощник машиниста.

Кто-то отделился с фонарем, прошел несколько шагов вдоль рельсов; видно было, как он нагнулся и поднял что-то. Вернувшись, он бережно положил на рогожу отрезанные ступни.

Тело отнесли и положили в пустой вагон, одиноко стоявший на запасном пути.

В составленном на месте происшествия протоколе значилось: «Ноября такого-то числа на станции такой-то железной дороги в час ночи шедшим в депо дежурным паровозом № 5 был задавлен, по собственной своей неосторожности, дежурный стрелочник, кр. Орловской губ., Демьяновской вол., дер. Ульино Иван Герасимов Пелипасов».

Было часов десять утра. По платформе гуляла публика. Ожидался поезд; уже было получено по телеграфу извещение, что он вышел со станции. Пассажиры повыбрались из вокзала и расположились

с узелками, чемоданами и корзинами на платформе у самого полотна, то-и-дело посматривая в ту сторону, откуда ожидался поезд. Жандармы, позвякивая шпорами, подозрительно поглядывали вокруг. Раздвигая публику, гулко прокатили по асфальту багажную тележку. Торопливо пробежал смазчик с длинным молотком и линейкой, несмотря на холод — в синей замасленной блузе без пояса. Вышел, слегка приподняв голову и с видом человека, привыкшего отдавать приказания, начальник, полный господин в красной фуражке и золотых очках.

В это время какая-то женщина пробиралась между публикой, постоянно оглядываясь; она, видимо, искала кого-то. Лицо и глаза ее были красны, на редкие ресницы, сиротливо торчавшие на подпухших и как будто слегка вывернутых веках, набегали слезы. Она старалась удержать их, непрерывно вытирала глоза и постоянно сморкалась в угол головного платка. Но как только увидела начальника, слезы неудержимо закапали из глаз. Она подошла к нему и, держа у подергивавшихся губ зажатый в руке конец платка, хотела что-то сказать, но не выдержала и вдруг неожиданно заголосила на всю станцию, так что все невольно оглянулись. Начальник неприятно поморщился и слегка нахмурил брови:

— Что такое? Что ты, матушка?

— Ба.. ба... ро-ди-мый, за..да-да-ви-ло...да-ви-ло...

Кругом столпились, вытягивая один из-за другого шеи и стараясь взглянуть на начальника и на голосившую бабу.

— Чего она кричит? — спрашивали друг у друга.

— Вчерась кого-то убило тут, сказывают.

«Чистая» публика держалась в стороне, посматривая издали на происходившее.

— Да что такое?

— Жена умершего вчера стрелочника, — объяснил начальнику высокий артельщик с бляхой на груди.

— Так чего же тебе, матушка?

— Ро-ди-мый мой, куды же те-пе-рича?... не ду-ма-ли, не га-да-ли... Приходят, сказывают — убило тво-во... убило... Вчерась еще с дежурства забежал... «при-ду, — го-во-рит, — при-ду»... о-ооо!... Женщина не выдержала: как только стала рассказывать о том, что муж говорил «приду», она истерически зарыдала, ухватившись обеими руками за тощую грудь.

— Иди за мной! — приказал начальник, направившись в вокзал и желая увести женщину от публики.

Она пошла за ним, наклонив голову набок и все так же судорожно рыдая.

— Так ты что же — хочешь, чтоб тебе помогли?

— Батюшка, куды же с сиротами теперича? Исть нечего... Нельзя ли вашей милости исхлопотать от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?

Начальник полез в карман, достал бумажник и подал женщине три рубля.

— Это вот от меня, понимаешь, я даю, как честный человек, все



Хуцишвили — Сталин проводит забастовку в Тбилисских главных ж. д. мастерских. (1900)

Выставка Грузинского Изобразительного Искусства

равно, как если бы кто другой дал. А управление дороги ничего не выдаст, оно не отвечает за такие случаи: твой муж был убит по собственной неосторожности. Неосторожен был, понимаешь? Железная дорога не отвечает в таких случаях.

— Куды же нам деться?... Пенсию, сказывают, можно охлопотать, а то с голоду помереть с ребятами... Христом богом прошу, не оставьте вашей милостью! — и женщина, нагнувшись, достала рукой до земли.

— Да говорят тебе — не отвечает в таких случаях железная дорога... Послушай-ка, — обратился начальник к проходившему кондуктору, — растолкуй ей, что управление ничего не выдаст. Может, конечно, повести дело судебным порядком, но толку никакого не будет, только деньги и время даром убьет.

Начальник вышел. Женщина стояла на одном месте, вздрагивая от душивших ее рыданий и непрерывно вытирала глаза и красное мокрое лицо концом платка.

— Ну, вот что, Алексеевна, иди теперь с богом. Начальник сказал — нельзя, значит, нельзя. Сколько можно было — помог, добрый человек, а дорога не отвечает. Это если бы по ее вине, можно бы высудить, а так ничего не будет... Ну, иди, иди, Алексеевна, а то поезд сейчас придет.

Она тихонько пошла. Публика, стоявшая на платформе, видела, как она прошла по полотну, и один из жандармов крикнул: «Проходи, проходи, поезд сейчас!», потом спустилась с насыпи. Некоторое время красный платок ее мелькал из-за оголенных деревьев станционного садика и, наконец, пропал за последними деревьями.

☆

Сцепщик

Вернулся Макар с японской войны и сам удивлялся, что целый вернулся. Стал искать работы. Тут запылала революция 1905 года. Вздохнули на минуту рабочий люд и крестьянство, думали — кончилась их тяжелая жизнь, наступил конец насильникам. Да ошиблись: помещики и фабриканты вместе со своим слугою царем одолели рабочих и крестьян, опять взнуздали, и потянул рабочий люд прежнюю лямку.

Потянул лямку и Макар. Попал он на железную дорогу сцепщиком. Жил с семьей в вагоне и летом, и зимой.

Проснулся Макар рано. Высунул голову. Солнце еще не успело подняться и стояло низко над вагонами и землянками. Сизые тени наполняли воздух, и дымка окутывала просыпающуюся землю. Начиналось весеннее утро, свежее и ясное.

Макар несколько раз глубоко втянул в себя воздух. В вагоне «шибало духом» и пахло «человечиной». Это оттого, что он был товарный, тесный, темный, без окон, а народу в нем было много. Пятеро ребятишек, разметавшись разгоряченными грязными телами, лежали на полу, прикрытые тряпьем, которое было когда-то одеялами. Тут же спали — жена Макара, отец и теща.

Макар опять спрятал в вагон голову, на четвереньках перелез через спящих детей, вытащил из-под изголовья свои сапоги и портянки и стал обуваться. Как раз впору итти на дежурство...

Шесть часов.

Макар поспешно зашагал к станции. Над полотном там и сям курились белым паром паровозы. Громыхая на последней стрелке, уходил утренний поезд. Вот и дежурный маневровый паровоз № 713, черная, тяжелая, неповоротливая машина, вечно хмурая и неопрятная, — нефть грязными полосами постоянно стекает по ее бокам, — но зато сильная. Макар подошел вплотную, взялся за поручни и поднялся на площадку. № 713 шипел так оглушительно, что приходилось кричать, чтобы слышали.

— Карле Иванычу мое почтение!

Машинист, хмурый немец, проговорил, не протягивая своей черной, пропитанной нефтью руки:

— Бувайт, здоров, Макар!

Немец, казалось, и сам был насквозь пропитан нефтью. Макар поздоровался и с помощником, безусым парнем. От форсунки несло нестерпимым жаром. Лица у машиниста и помощника были потны.

— Тепло тут у вас.

— Тепло, куда теплее. Форсунка все балует, — проговорил помощник, и как бы в подтверждение его слов из форсунки вырвался сноп пламени с удушливыми газами.

— Ну, Карла Иваныч, теперя к депе валяйте, заберем вагоны, надо десятичасовой составлять...

Паровоз перешел на другой путь и направился к депо, а Макар на ходу, как обезьяна, уцепился за подножку и, повиснув на одной руке, а в другой держа флажок, глядел, как приближались вагоны, стоявшие у депо.

Со скрежетом и звоном ударился паровоз буферами в ближайший вагон. Макар соскочил, посвистел, — паровоз убавил ходу, — затем он торопливо пролез под буферами и, идя между катившимися вагонами, накинул сцепку на крюк и стал ее свинчивать, чтобы крепче стянуть. Вагоны тихо катились, наталкиваясь один на другой и звеня буферами. Если Макар споткнется, зацепится ногой, сделает неловкое движение, — его сейчас же повалит и мгновенно перережет десятками пар колес, которые, тихо и грозно поворачиваясь, вдавливали шпалы в песок. Но Макар меньше всего думал об этом. Он шел между вагонами и думал, что, кроме этих десяти вагонов, надо добавить еще семнадцать балластных, что надо не забыть завести в депо два «больных» вагона, которые стоят на запасном пути, что надо получить семь копеек долгу со стрелочника Ивана, что сапоги у него давно прохудились, неловко ходить, полны песку...

Макар опять торопливо выбрался из-под вагонов и свистнул. Паровоз остановился, дрогнул, крюки натянулись, и вагоны, скрипя, один за другим пошли в обратную сторону. Макар на ходу уцепился за задний вагон.

Началась обычная ежедневная работа: стрелки, буфера, крюки, сцепки, звон металлических частей вагонов, свистки, нестерпимое

шипение и тяжелое дыхание паровозов, песок, которым усыпано полотно и из которого с трудом вытаскиваешь ноги, а к концу дежурства — усталость, усталость нечеловеческая, одуряющая, — вот все, что будет заполнять собой его двадцатичетырехчасовое дежурство. И это тянется уже десять лет, в течение которых он служит на железной дороге.

Для постороннего, свежего человека эта непрерывная, без отдыха, двадцатичетырехчасовая работа кажется чем-то чудовищным, противоестественным. Ведь есть же день и ночь — день для работы, ночь для отдыха! Но Макар свыкся: десять лет, как он изо дня в день нарушал эту заповедь, работая по двадцать четыре часа подряд. Правда, следующие двадцать четыре часа ему давали на отдых, но страшное напряжение в течение суток не возмещалось. И уже наказание отпечатлелось на нем: еще не старый человек, он весь был в морщинах, согнулся, щеки ввалились и руки дрожали. На рассвете же, к концу дежурства, в нем трудно было признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота, без мысли, без выражения.

Впрочем, Макар об этом не думал, не задавался такими вопросами; он просто в шесть часов становился на дежурство, потом к концу двадцати четырех часов делался идиотом, потом, дотащившись до своего смрадного, тесного, темного, а зимою и холодного вагона, падал, как сноп, и засыпал тяжелым сном; потом просыпался и, если были деньги, напивался пьян, если же их не было, садился чинить себе сапоги, ребятишкам и жене башмаки. Все это он проделывал потому, что у него было пятеро ребятишек, жена, отец и теща, и все они, к его глубокому прискорбию, ели аккуратно каждый день.

Свою семью, ребятишек он любил по-своему. Если бы кого-нибудь из его ребят задавило вагоном или искалечило, он извелся бы от горя, а тому, что они хирели от плохой пищи и тяжелой обстановки, он не придавал значения.

Пил Макар потому, что это была его единственная услада. Кругом была степь, на много верст безлюдная, и изредка лишь попадались казачьи хутора̀. Но он дальше своего железнодорожного полотна нигде не бывал. Возле раскинулся небольшой поселок. В конце его стояла покривившаяся землянка, где Семеныч тайно торговал водкой и принимал в заклад носильное платье и куда Макар нередко заглядывал.

★

Макар по отношению ко всем чувствовал себя так, как вообще чувствуют себя «Макары», на которых валятся все шишки. Всякого начальства он боялся, как огня. Но жить постоянно в страхе, всегда сознавать себя меньше и ниже других для человека невозможно. Он всегда ищет тех, кто стоит еще ниже его, над кем он может проявить свою власть. Макар тоже искал этого, но не находил, и только когда возвращался домой, чувствовал себя господином: кричал на жену, а под пьяную руку избивал ее и награждал ребятишек колотушками.

С машинистами, с которыми приходилось работать, Макар вел себя робко, приниженно, они же, всегда угрюмые, смотрели на него свы-

сока. Вот и теперь он подошел к неистово шипевшему паровозу № 713 и проговорил заискивающе:

— Скоро, Карла Иваныч, воду брать пойдете?

Дело-то в том, что когда дежурный паровоз брал воду, сцепщик мог эти несколько минут отдохнуть, и Макар давно ждал этого момента. Но Карл Иванович сердито пробурчал:

— Когда пойдем, тогда и будем брать.

И опять стал бегать Макар от вагона к вагону...

☆

Стало смеркаться. Видит Макар, что из депо вышел паровоз, а за ним, немного погодя, другой и остановились. Машет на переднем паровозе Макару машинист, но Макар не обращает внимания, — со своим делом еле управляется.

Смотрит, опять машет машинист и кричит:

— Ты что же, оглох, что ли? Докудова дожидать-то будем?

— Чего надыть?

— А того надыть — паровозы сцепи. Просить тебя!..

— Чего пристали? Старший стрелочник-то на что? Мне, что ль, за этим смотреть? Своего дела не оберешься, а тут еще чужое суют.

Макар уцепился за свой тронувшийся паровоз; надо было «больные» вагоны из поезда выключать.

А машинист вышедшего из депо паровоза выругался и пригрозил пожаловаться начальнику. Видно Макару, как он слез с паровоза и пошел к станции, на платформе подошел к дежурному по станции помощнику начальника и стал говорить ему что-то. А минуты через две кликнули Макара. Макар торопливо прошел на платформу к дежурному по станции и снял шапку.

— Ты что же это паровозы не сцепил?

— У меня свое дело было, выключаем больные вагоны, а из депо завсегда старший стрелочник машины выводит, он и сцепку делает. Вы ничего не изволили приказать, я и не знал...

— А-а, не знал!

Помощник начальника размахнулся и... бац. Кулак у него был большой, костлявый и волосатый, голова Макара сильно мотнулась в сторону, лицо смертельно побледнело и обезобразилось, разбитое место под глазом налилось кровью и посинело. Дежурный круто повернулся и ушел. По платформе ходили жандармы, кондуктора. Все делали вид, что ничего не замечают.

Макар помял шапку, растерянно глядя вокруг себя помутневшим взором. Постоял и потом тихонько пошел, забыв надеть шапку, к своему паровозу: дело не ждало.

Снова надо было бегать по песку, пролезать под вагоны, сцеплять их, давать сигналы свистком, флагом, и Макар все это делал, и казалось, ничто кругом не изменилось.

Но почему же едкая горечь и боль томят душу? Что особенного случилось? Разве у Макара больше не было пятерых детей, жены, тещи и отца, которые аккуратно ели каждый день? А раз это остается попрежнему, значит, и все остальное остается тем же, а, стало быть

ничего не случилось и надо бегать от вагона к вагону так, как бегал третьего дня, как бегал все эти десять лет.

И он продолжал бегать.

Приходили и уходили поезда, станционная платформа оживлялась и пустела, наступила ночь. В темноте труднее и опаснее работать; раза два Макара едва не защемило между сдвинувшимися буферами. Часам к двенадцати стал размаривать сон: глаза слипаются, походка стала неверной; спотыкнешься или зацепишься — и конец. И борется с собой Макар, борется с дремотой, дело ведь не шуточное, жить каждому хочется. Но чем ближе подходил рассвет, тем мучительнее становилось работать; предутренний конец дежурства — самое тяжелое время. Стал цепляться Макар за рельсы, за шпалы, колени подгибаются, толкается о вагоны, в голове шум и звон, с трудом и звуки стал разбирать; иной раз свистнет паровоз, и не знает Макар, свисток это или так только показалось ему. И все, что кругом делалось, казалось Макару смутным и неясным, будто это был сон, и давило его что-то, и хотел он проснуться, и не мог.

Видит Макар — не совладáть ему с собой, все равно упадет гденибудь или повалит его вагоном и зарежет. Чтоб дотянуть несколько часов до конца дежурства, неизбежно приходилось прибегать к возбудителю, и Макар, улучив минуту, поплелся в буфет. Плеская водку дрожащей рукой, он осушил одну рюмку, другую. И тогда разом кругом посветлело, предметы стали выпуклее и резче бросались в глаза.

— Никак, ноне съел, Макар? — проговорил, жуя, один из кондукторов.

И вдруг осевшая где-то в глубине горечь, едкое чувство обиды и попранного человеческого достоинства, задетые неосторожным вопросом, прорвались нестерпимой болью.

— Да что ж ты думаешь, он имеет полное право бить, значит, по морде? Кто такие права ему давал? Таких правов нет! А ежели я да не стерплю, а? Нет, ты скажи, ежели не стерплю я, а? Ежели я да протокол составлю, да в суд подам, а?

— Не подашь, — спокойно догрызая рыбий хвост, проговорил кондуктор.

Это подлило масла в огонь. Макар вспыхнул.

— Не подам? Нет, подам! Потому, правов таких нет, чтоб морды бить людям. Что ж я — не человек, скотина, что ли? Собаку ткнут сапогом, и та визжит, а почему я должен молчать? Жандарм, прошу составить протокол. Протокол прошу составить насчет бою, т. е., значит, в морду дал дежурный по станции и разбил глаз...

Жандарм поморщился.

— Ну, ступай в дежурную. На свою голову составляешь.

Протокол был составлен.

☆

Опять бегает Макар, трубит в рожок, накидывает вагонные крюки, и хотя с трудом вытаскивает вязнущие в песке ноги, но кажется ему, что ноги стали длиннее, выросли и зашагали широко и уверенно. И кру-

гом стало веселей и просторней, весело накатываются и звенят буферами вагоны, весело посвистывает где-то далеко впереди паровоз. Та горечь, ноющая боль, что сверлила где-то в глубине души, пропала, и пропала она в тот самый момент, как он своей заскорузлой, черной от нефти и грязи, дрожавшей от усталости рукой вывел каракулями под протоколом: Макар Чушкин.

Уже посерело небо, уже в редевшем сумраке стали выступать невидные дотоле дальние вагоны, станционные здания, депо, столбы телеграфные, водокачка.

— Ма-ка-а-ар!.. — пронеслось в утреннем воздухе.

Макар приостановился.

«Никак, кличут?»

— Ма-ка-а-ар!.. — донеслось опять с платформы и потерялось между станционными зданиями, между вагонами, которые были теперь все видны, как на ладони.

Макар бегом направился к станции.

— Иди, начальник кличет.

Держа шапку в руках, он робко вошел в комнату начальника. Тут же был и дежурный по станции.

— Ты протокол составил?

— Я, ваше благор.... это я, значит, так, для примеру только... я его сейчас же порву, ваше благородие... — проговорил Макар, заикаясь, бледный, как полотно.

— Вон! Завтра получишь расчет.

Макар стоял, как громом пораженный.

— Тебе говорят — сейчас же вон!

И начальник, схватив его за плечи, повернул и вытолкнул из комнаты. Макар постоял с минуту на одном месте и пошел... к Семенычу.

V

Через полчаса он вышел оттуда, качаясь во все стороны, точно на палубе во время шторма; порванных сапог на ногах у него уже не было. Он направился к своему вагону, рассуждая сам с собой пьяным голосом:

— Почему? В каком смысле? Морда, напримерыча, — значит, чтоб бить ее... Ты што такое? Сопля, тьфу! Растер — и нет ничего. И правильно!... На то—начальник... А ты слухай его и производи, какие распоряжения от него есть, и не думай о себе много. Што такое — съездил раз? Это даже за честь почитай, потому что они — начальники тебе, то есть замест отца, стало быть. Тебя—в морду, а ты кланяйся ниже, благодари, потому для тебя же, дурака, для твоей же пользы...

Хозяйка увидела издали Макара.

— Пьяный! Головушка ты моя бедная!.. Ребятишки, бегите отсюда! Вишь, руками размахивает, — кабы драться не стал.

Макар, качаясь из стороны в сторону, словно его валило то туда, то сюда, босой, подошел и бессильно опустился на стоявший возле ящик с углем.

Хозяйка глянула ему на ноги и так и всплеснула руками:

— И сапоги пропил! Окаянная ты сила! С ума ты сошел, что ли? Вымотал ты душу мою грешную, кровопивец, губитель ты, изверг ты наш несчастный! И наказал же господь каторгой! У людей мужики, как мужики. Ну, не без того, и выпьют когда, да не тянут же из дому. А этот, что под руку ни попадается, все — в кабак...

К удивлению, Макар не только не бросился ее бить а заплетающимся, коснеющим языком подозвал оробевших детишек и, обдавая их запахом перегорелой сивухи, стал гладить по белокурым головкам заскорузлой, грязной, пропахшей нефтью, рукой.

— Соколятки мои, поросяточки!.. Н... ничего, привыкайте... Набалованы, каждый день ели... теперя привыкайте, штоб, значит, с передышкой, потому каждый день нам исть никак нельзя, не полагается, не туда рылом вышли... Н... ничего, попоститесь, ан привыкнете... До всего можно дойтить, значит, своим умом... Ежели человек умный, то он может исть через день там, скажем, али через два, потому человек — создание божие, все он превзошел... Милые мои соколяточки! Глазеночками-то лупают, ничего не понимают... — и Макар ронял пьяные слезы на лица притихших ребятишек.

Хозяйка стояла, как онемелая; она не знала, что случилось, но в словах мужа слышалось что-то грозное и неумолимое. Одно хорошо знала хозяйка: некуда обратиться, некому заступиться.

☆

Н. А. Темный

Охота

(Из серии рассказов «Собачья доля»)

I

Начальник службы тяги Н-ской ж. д. с пасмурным и озабоченным видом вошел в кабинет управляющего той же дорогой.

— А-а, бабий угодник! — весело приветствовал управляющий своего друга, помешивая ложечкой чай. — Ты что же это пропал?.. А я, брат, телеграмму получил со станции Лоботрясово: кругом Заячьего острова горят леса; птицы и звери перебрались на остров. Так едем в ночь сегодня на охоту? Я уже назначил поезд литера Б. Ужинать будем в вагоне, — об этом я тоже распорядился... Да ты что нос-то повесил?

— Я?.. Ничего. Это тебе так кажется, — рассеянно сказал начальник тяги, усаживаясь с ногами на диван.

— Н-ну, брат, меня не проведешь. Иль опять женский вопрос? Люся изменила, что ли? — осведомился управляющий, лукаво поглядывая на приятеля. — Плюнь, нужно в архив все это сдать... довольно!

— Ах, совсем не то!.. Тут женщины не при чем, — раздраженно заявил начальник тяги, — все этот свинья начальник мастерских

безобразничает. Ты ему заказал биллиард и буфет, а я ванну, кастрюли. Представь, он все это в двух экземплярах делает, да еще какие-то тарантасы[1], черт его знает, строит!.. Вот письмо, его писал не канцелярская кляуза, а рабочий, и он знает доподлинно, что вся наша прислуга, — кучера, повара, лакеи, — числятся кузнецами, токарями, слесарями и получают жалованье из сумм заказов, ассигнованных на ремонт паровозов и вагонов. Все это понижает заработок... Так жить нельзя, это не порядок! — волновался начальник тяги.

— Ну, это пустяки, есть вещи поскандальней — прокурором пахнет, — успокаивал своего друга управляющий. — Представь себе, что наделал инженер Пьянчужкин: он до сих пор не представил ни подписного листа, ни денег, которые он собрал с рабочих не то на церковь, не то на голодающих. Он говорит, что сдал табельщику, а тот отпирается. Да и денег-то пустяк, каких-то 20 — 30 рублей. Чорт знает, что такое, церковь обокрал, а еще инженер! — с досадой сказал управляющий. — Или вот еще... Не угодно ли послушать?

Управляющий вынул из кармана письмо и начал читать, подражая простонародному выговору.

«Ваше благородие! Во первых строках моего письма прохвати ты с песком дорожного мастера пятого околодка. Заставляет он нас расписываться по два раза правой и по два раза левой рукой и все разные фамилии. Намедни хотел пожаловаться на него барину, начальнику дистанции, да Гаврюшка рассыльный отсоветовал: «У него, говорит, у самого брюхо болит, коли ежели поденщицы нет, а опять же он рельцы и гвозди справляет на постройку своей дачи. Дело ваше, говорит, ребята не выгорит и меня не заставит по шее вас проводить». Сделай божецкую милость, отбуксуй ты их хорошенько, рожа у тебя подходящая, а они вас боятся. А то попадем мы через них, через жуликов, в арестантские роты... А еще не вели ты им звать наших молодых баб полы мыть и водкой их поить. Затем прощай».

— Да ну их к чорту! Всей мерзости перечитать нельзя, каждый день корзину доставляют. Едем обедать! — решительно сказал управляющий, поглядывая на часы, и лицо его приняло начальственное выражение.

II

На вокзале была суета, какая бывает перед отъездом крупного чиновника: настроение у всех было приподнятое. Каждый ждал, что его непременно сейчас оштрафуют или прогонят, поэтому все с особым вниманием относились к своим обязанностям. Машинист бегал кругом паровоза, подвинчивал гайки, замечал малейшие неисправности, волновался и ругал своего помощника. Обер-кондуктор и кондуктора в широких шароварах и лаковых сапогах браво стояли спиной к вагонам и тревожно глядели на станционную дверь, из которой должно было показаться что-то страшное. Жандарм спугнул с платформы собак и восстановил порядок. Огромного роста началь-

[1] Экипажи

ник станции, старый служака, страдающий служебной болезнью, которую он получил в буфете и совершенно бесплатно, то и дело поглядывал на часы, делал разные замечания сторожам и утиной походкой переносил свое десятипудовое тело с платформы во внутрь вокзала и обратно.

— Приехали! — крикнул швейцар и широко отворил дверь.

Все вздохнули, вытянулись и по-солдатски взяли под козырек. В дверях показались приятели: управляющий грузно и прямо шел впереди, не замечая вытянувшихся людей и их поклонов. Начальник тяги шел за ним.

Он умильно кивал головой на все стороны и, конфузливо улыбаясь, как-будто просил своим ласковым взглядом извинения за невежество своего друга. Обер-кондуктор, с цепочкой и медалью на груди, затворил за охотниками дверь вагона и свистнул. Ему ответил паровоз, и поезд тронулся. Охотники сняли мундиры, жилеты и сели ужинать. Выпили и закусили сколько полагается «по штату», управляющий лег на диван, начальник тяги под впечатлением вина впал в меланхолический тон. Ему хотелось кому-то жаловаться, каяться в грехах и уйти в монахи.

— Нет, брат, так жить нельзя, — говорил он, повертывая двумя пальцами стаканчик старого капского вина, — т. е. бессовестно и подло так жить, как мы живем. С какими капиталами начали мы карьеру свою?.. Забыл?.. А я отлично помню: у тебя была рулетка, а у меня — циркуль и... все!.. Откуда же взялись у нас с тобой имения, дома, акции... Откуда, спрашиваю я? А еще хотим этого кулака в воровстве уличить. Да... а жизнь-то кончается... Вот они, вот, смотри, предвестники смерти.

Он приподнял на ладони седеющую бороду и подержал ее перед своим другом. Управляющий находился в послеобеденном равнодушии, лежал на спине на мягком диване, молча глядел в потолок и не обращал внимания на болтовню своего друга; в его животе что-то выло и рычало, казалось, что там спряталась собака, которой было скучно и тесно, из носу вылетал свист, а по красному лоснящемуся лицу ползали мухи.

— Экая корова! — подумал начальник тяги, глядя на своего друга, и опустил бороду. Потом он допил вино, пересел на качалку и задремал. Управляющий тоже закрыл глаза и усилил свист и рычание до самого утра.

III

Пока друзья дремали и ехали, полустанок Лоботрясово готовился к их приему: дорожный мастер исправлял «толчки»; сторожа чистили кирпичом медные ручки у дверей; начальник полустанка, тщедушный, кривоногий и бестолковый чиновник, в новом мундире и бумажных манжетах, вертелся перед зеркалом и старался придать себе вид начальника большой станции. Оттого ли, что ночью жена родила восьмого ребенка, или от нового мундира, а, может быть, и от счастливой мысли, которая зародилась в его голове, он чувствовал

себя солидно и как-то торжественно. Пристегнувши бумажный воротник, он вошел в комнату больной жены и крикнул:

— Ну, Маша, погляди-ка на меня сзади, каков я?!.

— Хорош, иди! — сказала больная женщина, не поднимая головы с подушки.

— А ноги как, не очень криво выглядывают?

— Да нет же, нет, иди, а то опоздаешь!

— А тебе ни за что не угадать, что я придумал: сюрприз одно слово! — таинственно сказал муж и лукаво прищурил глаза.

Жена молча глядела на сияющего мужа и ждала сюрприза.

— Я думаю пригласить управляющего кумом. Скажу, так и так, для вашего приезда родился сын, осчастливьте, не откажите привести душу в лоно церкви православных христиан... Да уж придумаю, как сказать... Он после охоты бывает веселый; выпьет, закусит, ну и того, — говорить с ним можно.

В это время пришел сторож и доложил о выходе с соседней станции поезда литера Б. Начальник засуетился, выбежал на платформу, и при виде дворника, убирающего кучу сора, впал в бестолковый и крикливый тон:

— У вас всегда одно и то же: как на охоту ехать — так собак кормить! Раньше-то времени не было, чорт, прибрать?!

— Известно не было... Что у меня, десять рук, что ли? — недовольно отвечал дворник. — Вам же рожь молотил.

— Молчать! В двадцать четыре секунды прогоню дурака!

— Слышали! Только жалованья прибавить не можете, а это слышали, — ворчал дворник и делал свое дело.

Со стрелки послышался звук, похожий на мычанье заблудившегося теленка: из-за закругления вышел поезд и приближался к станции. Начальник высморкался, поправил красную фуражку и, приободрившись, встал на край платформы. Поезд шипел и входил на станцию. Обер-кондуктор ловко соскочил на ходу и отрапортовал о благополучном прибытии. Из переднего вагона вышли люди в кондукторских одеждах, с корзинами, двумя собаками и ружьями в футлярах. Из «салона» спустились охотники. Управляющий понюхал дымный воздух и поглядел на багровое солнце, которое висело над дымившимся лесом и покрылось копотью. Несмотря на раннее августовское утро, в воздухе было тепло и хотелось остаться в одной рубашке.

— Лошади готовы? — осведомился управляющий.

— Так точно, готовы, — ответил начальник полустанка, делая «честь».

— Поставить поезд на запасный путь до шести часов вечера, сказал управляющий без начальственного тона.

— Слушаю!

И, не желая пропустить редкого случая, чтобы щегольнуть на глазах начальства своей ловкостью и распорядительностью начальник полустанка решил, как только исполнят приказание, пригласить управляющего окрестить ребенка.

Он крикнул стрелочнику: «Третья!». Машинисту: «Назад!» и махнул рукой.

Но махнул так сильно, что отстегнувшаяся бумажная манжета соскочила с руки и крепким краем попала управляющему в глаз.

Силы небесные! За что вы сделали бедного человека игрушкой в руках нужды и страха? Неужели для него нет более почтенной роли?

Начальник станции, бледный как смерть, замер в позе махнувшего рукой человека и не дышал.

— Вон!!! — рявкнул управляющий, инстинктивно закрывая рукой глаз. Громовой голос, как выстрел пушки, пронесся по станции и погрузил всех в молчаливый трепет. Никто, даже ласкавший собаку начальник тяги, не был уверен в том, жив он или нет. Все замерли в тех позах, в каких застал их окрик управляющего. Только петух попробовал, было, крикнуть «караул», но, вытянувши шею к земле, нырнул под платформу. Управляющий, как ураган, бросился в телеграф и опять рявкнул:

— Перо! Карандаш!!!

Испуганный телеграфист соскочил с табуретки, выхватил из чернильницы перо, сунул его в рот, зачем-то послюнявил и передал управляющему.

— И-з-з... — произнес он и, пораженный своей глупостью, с черными губами, с разинутым ртом, с недосказанной фразой, растерянно глядел на громовержца, писавшего на бланке следующее: «Начальник полустанка Лоботрясово увольняется от должности».

IV

Управляющий молча завязал платком глаз; к счастью, глаз был левый и не расстраивал охоты. Прислуга в кондукторских формах уселась на двух телегах, а приятели — в рессорный экипаж, и покатили по мягкой проселочной дороге, среди выжженных и растрескавшихся полей, мимо убогих деревень с раскрытыми крышами, с подпертыми под бока избами. Голодный народ уныло бродил между разоренных жилищ своих, молил бога о прощении грехов своих, и, протягивая мозолистые руки, просил у наших охотников:

— Барин, дай копеечку, есть хотца!

Эти безотрадные картины произвели грустное впечатление на начальника тяги. В первой же деревне он раздал всю мелочь, какая была в его кошельке, а в третьей и в четвертой он велел кучеру погонять лошадей и как можно шибче ехать мимо бедных, оборванных и без шапок людей.

— Помнишь, — сказал начальник тяги курившему сигару другу, — как мы с тобой студентами пели: «Стонет он по полям и дорогам, свету божьему, солнцу не рад»?.. Хорошее было время, бескорыстное время!..

Экипаж свернул с дороги, запрыгал по твердым кочкам. Начальник тяги прикусил язык и замолчал. Переехав поле, экипаж остановился около узкого прохода на остров. Охотники взяли ружья и

вошли в молоденький березнячок с пожелтевшими и закорюченными от жары листьями, и остановились в изумлении: зайцев было, как в аду грешников. Застигнутые врасплох и окруженные огнем и водой, они смиренно сидели и доверчиво поглядывали на охотников вполне уверенные, что до октября их не тронут... но напрасно.

Первым выстрелил начальник тяги, убил пролетевшего глухаря, за ним управляющий — зайца и... «грянул бой». Раненые метались, как русские граждане от казацких нагаек в медовые дни политической свободы, действительной неприкосновенности личности, и живыми попадали в руки прислуги. Птицы шарахались в кустах и почему-то не летели в поле.

Приятели увлеклись и забыли охотничью этику. Когда же они выстрелили последний заряд и вышли из леса, то изумились своим трофеям: целая телега мертвых птиц и зайцев на опушке леса, и на груде покойников связанными лежали живые зайцы и вздрагивали всем телом.

— Хы-хы-хы! — засмеялся управляющий, и звуки смеха были похожи на хрипение часовой цепочки, когда поднимают гирю.

— Смотри! Охотный ряд!

Начальник тяги поморщился: ему была неприятна радость друга.

— Эй! Подайте корзину да отправляйтесь на станцию! — скомандовал управляющий, приподнявши за уши живого зайца. Заяц жалобно кричал и умоляюще глядел на управляющего.

V

Прислуга тронулась в путь, а приятели сели закусывать. Подкрепивши себя вином и закусивши, охотники тоже поехали на железную дорогу и в полуверсте от станции увидели странное зрелище: телегу окружила целая толпа деревенских ребятишек и собак. Ребятишки были босые и без шапок, а собаки худые, с высунутыми языками и виновато опущенными головами, уныло брели за телегой покойников, которым они не давали житья ни в садах, ни в капустниках и всю жизнь считали их врагами экономического порядка. Управляющий смеялся, а начальник тяги был тронут собачьим великодушием и восторженно сказал своему другу:

— Вот у кого надо учиться!

Управляющий не слушал и хохотал до самого вокзала, но когда телега с зайцами остановилась, положение сделалось серьезным, даже угрожающим. Собаки беспокойно визжали, прыгали на телегу и сердито рычали на тех, кто хотел отогнать их. Управляющий как опытный начальник сразу нашелся и, чтобы предотвратить собачий бунт, приказал сидевшему на возу мужику выбросить подальше от телеги несколько зайцев. Собаки шарахнулись в сторону и начали грызть друг друга из-за добычи.

Всю дичь перенесли в вокзал. Она начала «задумываться», и класть ее в душный вагон в таком виде было невозможно. Но для талантливого изобретателя это обстоятельство не могло служить затруднением: начальник тяги предложил своему другу повесить дичь сна-

ружи вагона. Управляющий даже подпрыгнул от этого остроумного предложения.

— Ну, брат, поздравляю! Лучше этого, забавнее этого ты еще никогда ничего не изобретал!

Он с чувством пожал руку друга и приказал вешать на вагон зайцев и птиц.

Зайцев вешали головой вниз, а птиц — головой кверху. Вагоны принимали странный вид: с боков, сзади, спереди, на сигнальной веревке, на барьерах площадки висели зайцы, тетерева, рябчики и гуси.

Всем было весело от этого небывалого способа перевозки, даже убитый горем начальник полустанка, стоящий со священником в сторонке, улыбался. Только толпившиеся у решетки собаки подняли необыкновенный гвалт и вой: они глядели, голодные и злые, на вагон, увешанный вкусными яствами, рычали и лаяли на кондукторов, которые были, по их мнению, главными виновниками обмана.

— Вот, посмотри, — обратился управляющий к своему другу, показывая на решетку, унизанную собачьими мордами, — что стоит содержание этих собак населению? А нам говорят о недородах, выставляют непобедимые статистические цифры народного бедствия. Мы устраиваем концерты, поем, пляшем, обедаем в пользу голодающих, и все — ерунда! Не статистика, а вот мерило народного благосостояния! — и он опять указал на собачьи морды.

Но управляющий сердиться не мог даже на статистику: ему было весело и казалось все смешным: и вагон, увешанный зайцами, и кондуктора, перевязывающие веревкой зайцам ноги, и подошедший деревенский батюшка в порыжелой шляпе и нанковой рясе, и его поздравление со счастливым «полем», которое он делал в самых изысканных выражениях, и незаметно обратился к управляющему.

— А у меня к вам есть покорнейшая просьба, — коротко сказал батюшка, поддерживая рясу на груди.

— Что такое?

— Видите, ли я уверен в том, что христианское милосердие не ослабит железнодорожную дисциплину и поэтому покорнейше прошу вас простить моего духовного сына, у которого сейчас я совершил таинство крещения восьмого ребенка... Бедность, больная жена и такое горе, такое горе!

— Ничего не понимаю, какой сын?

— Духовный сын — начальник полустанка — которого вы изволили уволить. Говорю, — несказанное горе, несказанная бедность!..

— А! — перебил его управляющий и, взглянув на начальника полустанка, позвал его пальцем. — В последний раз... больше не потерплю! Служите, — сказал он строго.

Начальник полустанка от радости не знал, что говорить, а батюшка благодарил управляющего за милость и сказал:

— Как приятно не только делать добро, а присутствовать и умиляться тем, как великодушные люди делают его.

Обер-кондуктор доложил, что все готово, и охотники весело вошли в вагон. Машинист посвистел, и поезд тронулся. Зайцы вздрогнули и

закачались. Собачьи морды и лапы вдруг исчезли с барьера, и воздух огласился неслыханным воплем, полным злобы и мести. Разъяренная толпа собак ринулась со двора и, обогнув станционные постройки, выбежала на линию, по которой легко катились вагоны, увешанные трофеями охоты. Зайцы качались и, высунув языки, дразнили собак. Птицы хлопали крыльями по бокам вагонов и как-будто хотели улететь с ними в небо. Разношерстная толпа собак двигалась, колыхалась, и, приподнявши кверху кривые хвосты, грозила кому-то ими, как палками и не отставала от вагонов, на которых висело «собачье счастье». Гордые и самонадеянные «элементы толпы» бросались на ходу за своим счастьем, но погибали под колесами вагонов. Благоразумные надеялись на время, когда оно сгноит веревку, и тогда счастье упадет к их ногам...

А из стеклянной галлереи заднего вагона глядели на толпу собак два улыбающиеся лица: одно похожее на красный диск, с маленькой бородкой и большими ушами, другое — благообразное, с большой бородой и маленькими ушами.

Спустя час после отъезда охотников, в квартиру начальника полустанка пришли сослуживцы, поздравили с благополучным исходом, пили водку за здоровье новорожденного и желали ему быть управляющим дорогою, пили за управляющего, желали и ему доброго здоровья, и говорили, что с таким начальником служить можно.



М. Горький

Скуки ради

...Извергая клубы тяжелого серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба, — вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-желтая, небо — ярко-голубое. И та, и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишенным фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты — главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления ее служащим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно оде-

тых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, равнодушные лица — звонок, свистки — и с грохотом они уносятся по степи, в даль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их сердцах — смутная зависть к людям, которые ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами черную ленту, — она исчезает в золотом море хлеба, — и молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции — добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник — рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука — маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик.

На скамье у двери станции сидит жена начальника, маленькая, толстая женщина, сильно страдающая от жары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда начальник станции говорит, обращаясь к жене:

— А что, Соня, самовар готов?

— Конечно, — лениво и тихо отчечает она.

— Лука! Ты тут, тово... подмети полотно и перрон.. видишь, сколько нашвыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвей Егорович...

— Да... ну, что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

— По обыкновению, — говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

— А что, Соня, обед готов?

Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

— Ну, что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

— Как всегда...

Уходят с перрона в комнату, где много цветов и мало мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, вокруг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

— Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в желтом? Ядовитая штукенция!..

— Недурна, но одета безвкусно, — отвечает помощник.

Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он кончил гимназию. У него есть тетрадка в черном коленкоре; он записывает в нее разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признает его авторитет во всем, что не касается службы, и слушает его внимательно. Осо-

бенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

— Разве желтое не к лицу брюнеткам?

— Я говорю о фасоне, а не о цвете, — объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы к себе на блюдечко.

— Фасон — это другое дело! — соглашается начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изощрены — беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своем великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда, но прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведен. Эти новости не обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснется земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение, возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается краем к земле и лениво уходит в нее или за нее. В небе еще долго после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но она все бледнеет, и наступают сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит ночь, черная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздается звонок — повестка к поезду; торопливый звук колокола несется в степь и быстро тонет в ней.

Вскоре после звонка из темной дали выбегает красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окруженной тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в деревню за семь верст от станции. Там у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого и степенного стрелочника «подежурить» на станции.

При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке:

— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно...

А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый солдат с круглым, красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

— Хозяйство! — восклицает он, усмехаясь. — Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ах ты птичий губернатор! — презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг нее, целый день, не смолкая, раздается птичий гам. Плененные солдатом перепела неустанно кричат свое однообразное «подь-полоть», скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними все свое свободное время и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовет ужом, Гомозова — кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они «бабьи прихвостни» и что следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но если солдату удается раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

— Гарниза ты, серая, крысиный объедок! Что ты можешь понимать, отставной козы-барабанщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек, да полковую капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шел жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его — не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплевываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим... Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди, да не осужден будешь...

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать...

Кроме жены начальника, на станции была еще одна женщина — кухарка. Звали ее Арина; ей было лет под сорок и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом лице блестели узкие, испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее нескладной фигуре, толстые губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать. Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он говорил ей «здорово!», она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришел в кухню начальника станции и предложил Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то снова понесла их к нему.

— Вот и спасибо! — сказал Гомозов. — Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть — тридцать копеек следует тебе... Верно?

— Да уж так... — ответила Арина.

Гомозов задумался и долго молчал.

— А ты какой губернии? — спросил он, наконец, женщину, все время смотревшую на его бороду.

— Рязанской... — сказала она.

— Из далека!.. А сюда как же попала?

— А так... одна я... одинокая...

— От этого и дальше можно зайти... — вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачевского уезда... — заговорил Гомозов. — Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дети — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так... А я того... замотался с горя. Да-а... Потом пробовал опять устроиться — ан нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со своей дороги... вот и бьюсь третий год уже...

— Плохо, когда нет своего гнезда, — тихо сказала Арина.

— Еще бы!.. Ты вдова, что ли?

— Девка...

— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.

— Ей-богу, девка, — уверила его Арина.

— Что же замуж не вышла?

— Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть... да и с лица некрасивая...

— Да-а... — задумчиво протянул Гомозов и, поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом справился, сколько она получает жалованья.

— Два с полтиной...

— Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что... ты приди-ка вечером за ними... часов эдак в десять, а? Я тебе и отдам... чаю попьем, поговорим скуки ради... Оба мы одинокие... приходи!

— Приду, — просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал ее к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа на койке, посмотрел на нее и, подвинувшись к стене, сказал:

— Садись.

А когда она села, объявил ей:

— Ты вот что, — храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

— Чтобы ни одна душа — ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он при-

нимал ее снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

— А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

— Приходи сегодня...

И она покорно являлась к нему с таким серьезным выражением на своем рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так, — это все-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

— А сегодня жарче вчерашнего, — сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

— Это от скуки кажется, что жарче...

— Гм! Пожалуй.... действительно... Вот карты хороши в этом случае... но — нас только трое...

Николай Петрович повел плечами и, прищурив глаза, отчетливо произнес:

— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко! — умилился Матвей Егорович. — Как это?.. банкротство мысли... Да-а! А кто сказал?

— Шопенгауэр, немец, философ...

— Фи-илософ? Мм...

— А что эти философы — в университетах служат? — полюбопытствовала Софья Ивановна.

— То-есть, как вам сказать? Это не чин, а... так сказать, природная способность... Философом может быть всякий... кто родится с привычкой думать и во всем искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы... но они могут быть и просто так... даже служить на железной дороге.

— И много получают те, которые при университетах?

— Глядя по уму...

— Но, если бы был четвертый, — премило бы мы повинтили! — со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребенок.

— Арина там? — спрашивает Матвей Егорович.

— Конечно... — кратко отвечает ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович...

— Оригинальность — первый оттиск банальности, — как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

— Как? — оживляется начальник.

И когда Николай Петрович вразумительно повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голоском говорит:

— Как вы хорошо помните то, что читали... а я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то такое интересное, такое забавное, — а что? ни слова не помню!

— Привычка, — кратко объясняет Николай Петрович.

— Нет, это лучше этого... как его? Шопенгауэра... — улыбаясь говорит Матвей Егорович. — Выходит, что все новое будет старым!

— И, наоборот, ибо один поэт сказал: «да, экономна мудрость бытия: все новое в ней шьется из старья».

— Фу, ты, чорт! Как это у вас... точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеется, его жена мило улыбается, а Николай Петрович польщен и безуспешно хочет скрыть это.

— Кто это сказал насчет банальности-то.

— Барятинский, поэт.

— А другое?

— Тоже поэт — Фофанов.

— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и нараспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двустишье.

Скука как бы играет с ними, — на минуту освободит их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи — только солнце.

— Да, так я заговорил об Арине, — вспоминает Матвей Егорович. — Странная это баба, смотрю я на нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чем-то, не смеется она, не поет, говорит мало... пень какой-то! Но, между тем, она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребенку...

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услыхала его слова. Он знает, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

— Ну, уж ты оставь... ты не все знаешь о ней!

Любви раба,
Я так слаба
В борьбе с тобой,
О, демон мой!

— тихонько и речитативом напевает Николая Петрович, отбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.

— Что, что такое? Она... ну, ну, это вы уж врете оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него трясутся и со лба быстро стекают капельки пота.

— Это совсем даже не смешно! — останавливает его жена. — Во-первых, у нее на руках ребенок; во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А почему?

— Да-а, хлеб, действительно, не того... нужно ей сделать внушение! Но, ей-богу это... этого я не ожидал! Она, ведь, тесто! Ах, чорт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого чорта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозов... — кратко говорит Николай Петрович.

— Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того — не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами, то серьезно говорит о необходимости сделать влюбленным строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец, он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно... — не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

— Телеграп стучит...

— Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку. Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: «могу ли отправить поезд № 42», а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

— А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки, скуки ради, посмеемся хоть немного...

— Это позволительно! — соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.

Им очень скоро представилась возможность посмеяться.

Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них — ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, все шептала про себя молитвы, известные ей.

Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шопотом;

— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!

— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.

— Заперли нас...

— Как так? — спросил он, вскакивая.

— Подошли и ... замком...

— Врешь ты! — испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.

— Погляди сам, — покорно сказала она.

Он встал и, задевая за все, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это солдат...

За дверью раздался ликующий хохот.

— Выпусти! — громко попросил Гомозов.

— Что? — раздался голос солдата.

— Выпусти, мол...

— Утром выпустим, — сказал солдат и пошел прочь.

— Дежурство у меня, чорт! — сердито и умоляюще крикнул Гомозов.

— Я подежурю ... сиди, знай!...

И солдат ушел.

— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник. — Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальник... что ты ему скажешь? Он спросит — где Гомозов — о? Вот ты и отвечай ему тогда...

— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, — тихо и безнадежно сказала Арина.

— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов. — Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: — Врешь ты!

Она ответила тяжелым вздохом.

— Что же это будет? — спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери. — Срам-то мне какой! А все ты, уродина чортова, все ты это... у-у!

Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же молчала.

Сырая тьма окружала их, — тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции...

— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов со злобой и презрением. — Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, чорт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах, ты господи! На что я связался с этакой!..

— Я прощения попрошу, — тихо объявила Арина.

— Ну?

— Может, простят...

— Да мне что из того? Ну простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее. А время шло жестоко медленно. Наконец, женщина с дрожью в голосе попросила его:

— Прости ты меня, Тимофей Петрович!

— Колом бы тебя по башке простить! — зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.

— Господи! хоть бы светало скорее, — тоскливо взмолилась Арина.
— Молчи ты... я те вот засвечу! — пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени все увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.
Гомозов задремал, наконец, и проснулся от крика петуха, раздавшегося рядом с погребом.
— Эй, ты... ведьма! Спишь? — глухо спросил он.
— Нет, — тяжелым вздохом ответила Арина.
— А то бы заснула! — с иронией предложил стрелочник. — Эх, ты...
— Тимофей Петрович, — почти взвизгнув, воскликнула Арина,— не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом богом прошу — пожалей! Одна ведь я, одна-то одинешенька! И ты мне... родной ты мой — ведь ты мне...
— Не вой — не смеши людей-то! — строго остановил Гомозов истерический шопот женщины, несколько смягчавший его. — Молчи уж... коли бог убил...
И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот, наконец, в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребе. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.
— М-мучители! — замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и напряженное.
— Господи!... помилуй... — прошептала Арина.
Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок и раздается строгий голос начальника:
— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну, живо!...
— Иди ты! — вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.
Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:
— С законным браком поздравляю! Пожалуйте! Музыка — играй!
Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.
Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:
— Пум! Пум! Пум-пум-пум!
Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

— Тимофею да Орина
Сладки речи говорила...

— пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.

— Ну, идите... ну.. под руку бери ее!.. — кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя... будет... ах! умру!

— За миг свиданья
Терплю страданья!

— пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.

— Ур-ра новобрачным! — скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули «ура», причем солдат кричал ревущим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.

— Мотя, вели им... поцеловаться! ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро все грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, пел:

— А и густо ты, Орина,
Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.

— Новобрачный удрал, а... она осталась, — кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы — в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.

— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна. — Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.

— Как, как? — переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел время и место вставить маленькую мудрость.

— Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно!

— сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил:

— Но много смеяться — вредно!

Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать, и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою красавицу.

— По оригинальности — это грехопадение номер первый, — сказал Николай Петрович начальнику.

— Грехопадение и есть, — хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

— Вначале она мне все подмаргивала.

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потом, стало-быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

— Но «не в шитье была тут сила»... — заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете, из Некрасова — из стихотворения «Нарядная и убогая»... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неугомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту, подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать. И в то время, как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

— Господи!... помилуй...

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрекот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной желтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой сере-

дине ее, и уж никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества, — никто, никогда...

К вечеру она услыхала крики:

— Арина-а! Аришка, чо-орт!...

Один голос был голосом Луки, другой — солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, все сильнее терзавшую ее. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погреба и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее позоре, и кондуктора́ хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй... — вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из веревки, на которой сушила выстиранное ею белье.

Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле? Николай Петрович неопровержимо доказал, что виноват — Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожного мастера было поручено свезти ее в степь и там закопать. Когда же это было исполнено — на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова ее обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетавшими мимо них.

...А зимой, когда по степи с воем и ревом носятся выоги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими звуками, — обитателям станции живется еще скучнее.

★

Сторож

(Отрывки)

Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе мед-

ленно плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собой черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо, раздробленное в холодную, белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носится вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигурки, — это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся за сугроб и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

— Бросьте это, ребята, — говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они — не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин...

. . . .

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне, и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый, длиннорукий богатырь, у него выпуклые — рачьи — темные глаза, черная бородища, он весь, как зверь, оброс шерстью, а говорит — чужим голосом, тенором, и когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он — вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое и устраивает по ночам на квартире у себя «Монашью жизнь». Он жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят — до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбитейку на черной шапке курчавых волос; таков — он похож на трактирного певца, одетого в «боярский костюм».

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы и лисьими глазками распутной женщины; это очень злой, хитрый, лживый человек, в городе его прозвали «Актриса»; является мыловар Тихон Степахин, рыжий, благообразный мужик, тяжелый как вол, полусонный, на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный засаленный человечишко, превосходный гитарист и гармонист, рябое, скуластое лицо его в серых волосах, толстых как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый яркосиний глаз, — дьякона так и зовут - «Краденый глаз».

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними—Лёска[1]. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами,

---

[1] Проститутка-солдатка.

садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашеной вилкой капустой, — среди всей этой благостыни блестит четверть водки; Петровский и друзья его почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной «братской» стойки, — в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир, крестится; дьякон, нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев, и начинают петь.

Поют — дивно. Петровский — тенором, Степахин — густейшим, мягким басом, у дьякона — хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину. Женщины тоже обладают хорошими голосами, особенно выдается чистотой звука контральто казачки Кубасовой, голос Лёски криклив, — дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы в храме, и все строго смотрят друг на друга, только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего «Покаяние».

Белки рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом, как солдат в строю, и орет:

— Дьякон — плясу! Тихон — делай! Живем!

— Начали! — отзывается дьякон, взмахивая гитарой, и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака; а Степахин — пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых, ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела,—его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

— Тихон! Богослужебно... Голубчик! Всё... всё простится!..

А Маслов кружится около них и кричит:

— Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это — опьянение от радости, от взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня. Лёска, полуоткрыв рот, дышит тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков. За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон. Степахин, отирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

— Из-за плясок этих в хороших людях никакого уважения нету ко мне...

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной, затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно, а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его; пляшет Лёска, как безумный, неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок, и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

— Эх-ма! Пропадаю-у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном веселье нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это — почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел — сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди — талантливы, каждый по своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука; всё, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в «Монашьем житье», потому что я много знаю хороших песен, не плохо умею «сказывать» их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

— Пешков — валяй! — орет он. Он орет даже когда обнимает женщин, ревет зверем, это его потребность.

Становлюсь к стене и «валяю». Нарочито выбирая трогательные и красивые, я «сказываю» песни, стараясь обнажить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

— Господи! — взывает дьякон, хватаясь за голову; его маленькие, нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно. Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней, и глядит в пол, как больная собака.

Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, — тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

— Разбойник, — говорит мне Маслов гладя руку мою, Степахин молча целует меня.

— Пей, все равно пропадешь! — ревет Петровский, а Лёска, размахивая руками, говорит:

— Влюбилася я в него, при всех говорю — влюбилася, даже ноги трясутся...

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

Знаю я, что они люди негодные, но — они религиозно поклоня-

ются красоте, служат ей до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради нее...

. . . .

... Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал, что больше — не могу, потому что, кроме исступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока шести лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах «Фербенкс», она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном лунообразном лице сердито сверкали круглые, зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

— Нарвались бы они на меня, я б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать пред «Актрисой» Масловым. В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом счастливой собаки...

. . . .

... В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то порицающее ее рабью покорность «Актрисе». Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели, грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

— Ма-мальчишка, — да ты что это? Это — про него, ты? Эдаким-то словом? Да — я тебя... он тебя... тебя надо на мельнице смолоть! Ты — с ума ли сошел? Он — святе святого, а ты... ты — кто?

И крикнула, неожиданно густо:

— Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но — как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса, размещенная на огромных костях, носит в себе нечто неприкосновенное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним. После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

— Затираню до того, что на Кавказ сбежишь!

«Кавказ требует привычки», — вспоминал я изречение Баринова[1] и

---

[1] Баринов — один из героев «Моих университетов» (куда входит и «Сторож») — болтун и хвастун.

написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором — стихами — изобразил Маремьянино тиранство. Прошение имело успех: вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были «неблагонадежны», изведали тюрьму и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, все это — исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу — человек шестьдесят — собрал в городах Волги некто М. Е. Ададуров, делец, предложивший правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачили плутни начальников станций, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому, — я тогда еще не ясно понимал, что в России запрещено «сеять разумное, доброе, вечное».

Я шел по середине между первобытными людьми города и «культуртрегерами» своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что «ададуровцы» — «политики, из тех, которых вешают», и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливо-мстительные взгляды обывателей; они ненавидели «ададуровцев» и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов «веры и царя».

Мой знакомый токарь Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкой пива, громко рассуждал:

— Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова,—в Робинзоны их отдать! А — того лучше— перевешать! Два года тому назад вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и, среди них, «Процесс 1-го марта». Таинственно давая мне эту книгу, он сказал:

— Вот почитай — каковы они! Берегись, гляди, — ни за грош погубят.

Так рассуждал не один он, разумеется.

Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым — он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлось вместилищем разнообразных болезней, мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

— Плохо!

Вечерами, в своей маленькой комнатке с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераней на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

— Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кровью сердца. Ты, — читающий человек, — ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако — его печатают в лучших журналах, а — я...

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале «Дело»; Старостин любил, чтобы ему напоминали об этом.

Я — напоминал.

— Много ли? — печально, но уже не так жалобно восклицал он.— Много ли это, когда я...

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

— Вот — все готово! Соком сердца написано! Да-да! Кр-ровью...

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой.

Но однажды, трезвый, он прочитал мне только что написанный им рассказ о мужике, который, во время пожара, спас от гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою-мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся геройствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

— Как это хорошо, как задушевно написано! Да-да, брат, д-да! Учись, вникай в душу...

Рассказ очень не понравился мне, но — я тоже едва не заплакал, видя радость автора; его искреннее чувство так же искренно волновало и меня.

Но отчего же плакал этот неприятно смешной человек? Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет, — рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения «несчастных страдальцев» добрым и богатым вдовам. А, все-таки, — чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

— Не нравится мне рассказ, — сознался я Старостину.

Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

— Груб ты! И — непонятлив.

— Что вас трогает в нем?

— Душа! — сердито крикнул он. — Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

— Учись! Вот — стихи пишешь ты, это глупо. Этого — не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя — сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недю-

жинный талант. Проза — вот настоящая литература, святая, честная проза!

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не помещался на стуле. В день ее именин Старостин торжественно поднес ей широкое плетеное кресло, это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

— Вот, молодой юноша, учитесь у старших, как надо ублажать даму!

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фуксии, в комнату вливался весенний лепет вешних вод, — в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в «святой, честной прозе» возможности тяжких и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станицы. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал духовенство служить молебны о изгнании чертей из колодца на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане свою жену; иногда она вырывалась от него и, нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся за нею с прутьями в руках.

Соседи-учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть — на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

— Ну, чего ты разгорячился? Ведь на такую штуку всякому интересно взглянуть! Такой случай и в Москве не покажут.

Железнодорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники, но еще и двуполые. Я спорил с ним, и вот ночью он, в сопровождении жены и ее брата, подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо его брату, чтобы отвязаться от них...

. . . .

... За окнами, в темноте разорванной огнями станции, с железным грохотом ползают тяжелые, красноглазые змеи поездов, ходят, качая разными фонарями, шарообразные фигуры смазчиков, кондукторов. Стекла окон опахивает дым, пар, и когда свистят локомотивы, стекла откликаются тихим, ноющим звуком. Там, в ночи, тяжело идет

жизнь, ничем не связанная с буйным радением о красоте, замкнутой в этой комнате.

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой — бьется обескрыленной птицей разум, запертый в грязной клетке быта...

*

А. Чехов

Хороший конец

У обер-кондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, солидная крупичатая дама лет сорока, занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шопотом. Стычкин, несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару и говорил:

— Весьма приятно познакомиться. Семен Иванович рекомендовал вас с той точки, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни. Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года, то есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояния хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Скажу вам, между нами, что, кроме жалованья, я имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного — своего домашнего очага и подруги жизни, и веду я свою жизнь как какой-нибудь кочующий венгерец, с места на место, без всякого удовольствия, и не с кем мне посоветоваться, а будучи болен, некому мне даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имеет больше весу в обществе, чем холостой... Я человек образованного класса, при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бобыль, все равно, как какой-нибудь ксендз [1]. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменéя[2], то-есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой.

— Хорошее дело! — вздохнула сваха.

— Человек я одинокий, и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности? Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить.

---

[1] Католический священник, который по церковным правилам должен быть холостым.

[2] Переврашюе имя «Гименей»—божество брака у древних греков.

— Это можно...
— Кушайте, покорнейше прошу...
Привычным жестом сваха поднесла рюмку ко рту, выпила и не поморщилась.
— Это можно, — повторила она. — А какую вам, Николай Николаевич, невесту угодно?
— Мне-с? Какую судьба пошлет.
— Оно, конечно, это дело от судьбы, но ведь у всякого свой вкус есть. Один любит брюнеток, другой блондинок.
— Видите-ли, Любовь Григорьевна... — сказал Стычкин солидно вздыхая. — Я человек положительный и с характером. Для меня красота и вообще видимость имеет второстепенную роль, потому что, сами знаете, с лица воды не пить и с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находиться изнутри, то есть, чтобы у нее была душа и все свойства. Кушайте, покорнейше прошу... Оно, конечно, весьма приятно, если жена будет из себя полненькая, но это для обоюдной фортуны [1] не суть важно; главное — ум. Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она об себе большое понятие будет иметь и думать разные идеалы. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно; но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я образованного класса, с князем Канителиным, могу сказать, все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер. Мне нужна девушка попроще. Главнее же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил.
— Дело известное.
— Ну-с, теперь насчет существительного... Богатую мне не нужно. Я не позволю себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться. Я желаю, чтобы не я женин хлеб ел, а чтоб она мой, чтоб она чувствовала. Но и бедной мне тоже не нужно. Человек я хотя и со средствами, и хотя я женюсь не из интереса, а по-любви, но нельзя мне взять бедную, потому, что, сами знаете, теперь все вздорожало, и будут дети.
— Можно и с приданным сыскать, — сказала сваха.
— Кушайте, покорнейше прошу...
Помолчали минут пять. Сваха вздохнула, искоса поглядела на кондуктора и спросила:
— Ну, а того, батюшка... по холостой части тебе не требуется? Хороший есть товар. Одна французенка, а другая будет из гречанок. Очень стоющие.
Кондуктор подумал и сказал.
— Нет, благодарю вас. Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить: сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты?
— Мне немного надо. Дадите четвертную и материи на платье, как водится, — и спасибо... А за приданое особо, это уж другой счет.

[1] Счастье.

Стычкин скрестил на груди руки и стал молча думать. Подумав, он вздохнул и сказал:

— Это дорого...

— И нисколько не дорого, Николай Николаич! Прежде, бывало, когда свадеб было много, брали и дешевле, а по нынешнему времени — какие наши заработки? Ежели в скоромный месяц заработаешь две четвертных, и слава богу. И то, батюшка, не на свадьбах наживаем.

Стычкин с недоумением поглядел на сваху и пожал плечами.

— Гм!.. Да разве две четвертных мало? — спросил он.

— Стало быть, мало! В прежнее время мы побольше ста добывали, случалось.

— Гм!.. Я никак не ожидал, чтобы этакими делами можно было зарабатывать такую сумму. Пятьдесят рублей! Не всякий мужчина столько получает! Кушайте, покорнейше прошу...

Сваха выпила и не поморщилась. Стычкин молча оглядел ее с ног до головы и сказал:

— Пятьдесят рублей... Это, значит, шестьсот рублей в год... Кушайте, покорнейше прошу... С этакими, знаете ли, дивидентами вам, Любовь Григорьевна, не трудно и партию себе составить.

— Мне-то? — засмеялась сваха. — Я старая...

— Нисколько-с... И комплекция у вас этакая, и лицо полное, белое, и все прочее.

Сваха сконфузилась. Стычкин тоже сконфузился и сел рядом с ней.

— Вы еще весьма можете понравиться, — сказал он. — Ежели муж попадется вам положительный, степенный, бережливый, то при его жалованьи, да с вашим заработком вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу...

— Бог знает, что вы говорите, Николай Николаич...

— Что ж? Я ничего...

Наступило молчание. Стычкин начал громко сморкаться, а сваха раскраснелась и, стыдливо глядя на него, спросила:

— А вы сколько получаете, Николай Николаич?

— Я-с? Семьдесят пять рублей, помимо наградных... Кроме того мы имеем доход от стеариновых свечей и зайцев.

— Охотой занимаетесь?

— Нет-с, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры.

Прошла еще минута в молчании. Стычкин поднялся и в волнении заходил по комнате.

— Мне молодой супруги не надо, — сказал он. — Я человек пожилой, и мне нужна, которая такая... вроде как бы вы... степенная и солидная... и вроде вашей комплекции...

— И бог знает, что вы говорите... — захихикала сваха, закрывая платком свое багровое лицо.

— Что ж тут долго думать? Вы мне по сердцу и для меня вы подходящая в ваших качествах. Человек я положительный, трезвый, и ежели вам нравлюсь, то... чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение!

Сваха прослезилась, засмеялась и, в знак своего согласия, чокнулась со Стычкиным.

— Ну-с, — сказал счастливый обер-кондуктор, — теперь позвольте вам объяснить, какого я желаю от вас поведения и образа жизни... Я человек строгий, солидный, положительный, обо всем благородно понимаю и желаю, чтоб моя жена была тоже строгая и понимала, что я для нее благодетель и первый человек.

Он сел и, глубоко вздохнув, стал излагать своей невесте взгляд на семейную жизнь и обязанности жены.

☆

Жалобная книга

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера».

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!».

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиономию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю, кто это писал. Это писал М. Д.».

«Господа! Тельцовский шуллер!».

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!».

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»...

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!».

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

*

Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесаных, путаных волос, что придает ему еще бо́льшую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это мы?

— Мы, народ... Климовские мужики, то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру... — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца, или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... — усмехается Денис. — Чорт ли в нем, в живце-то, ежели он поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая, и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился, или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные, или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес, или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляются рельсы к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили...

— С каким Митрофаном? — Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На кажный невод, почитай, штук десять...

— Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пискаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи, — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне иттить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму. Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу... — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

★

На железной дороге

Под насыпью, во рву некошеном
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может кто из проезжающих
Посмотрит пристально из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие[1],
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд вдаль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая.

Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Там много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно;
Любовью, грязью и колесами
Она раздавлена — все больно.

---

[1] В царское время вагоны первого класса окрашивались в синий цвет, второго — в желтый, а третьего — в зеленый.

Налет на поезд

Примечание. Человек, сообщивший мне эти сведения, был в течение нескольких лет бандитом на Юго-Западе и участвовал в нападениях, которые он так откровенно описывает. Его описание бандитского modus faciendi[1] не лишено интереса; его советы полезны для осторожного пассажира во время какой-нибудь будущей «остановки», а его оценка удовольствий, связанных с ремеслом грабителей поездов, вряд ли побудит кого бы то ни было избрать эту профессию. Я передаю его рассказ почти что его подлинными словами.

Большинство людей сказало бы, если спросить на этот счет их мнение, что «остановить» поезд — дело довольно трудное. Но это не так: это дело довольно легкое. Я в свое время немало содействовал тревожному состоянию на железных дорогах и бессоннице директоров железнодорожных обществ. А самой большой неприятностью, испытанной мной из-за остановки поезда, было надувательство со стороны беспринципных людей, когда я тратил добытые мною деньги. Об опасности не стоит даже говорить, ибо мы не боялись хлопот.

Одному человеку почти удалось единолично ограбить однажды поезд; двум это удавалось несколько раз; трое сумеют это проделать всегда, если они ловкачи, но пять — это самая подходящая цифра. Выбор времени и места зависит от многих условий.

Первый «налет», в котором я участвовал, произошел в 1890 году. Рассказ о том, как я дошел до этого, может служить объяснением карьеры большинства грабителей поездов. Пять из шести западных бандитов — это ковбои[2], которые остались без дела и сбились с пути. Шестой — восточный хулиган, играющий роль злодея и устраивающий какую-нибудь подлую проделку, которая создает парням плохую репутацию. Проволочные заграждения, которыми все больше и больше охватываются свободные степи, и акулы земельной спекуляции создают из шести человек пятерых разбойников; природная испорченность создает шестого.

Мы с Джимом С. работали на 101-м ранчо в Колорадо. Ковбоям приходилось туговато от земельных акул. Они завладели землей и выбрали должностных лиц, с которыми было трудно поладить.

Как-то раз мы с Джимом, направляясь к югу после объездов скота, заехали в город Ла-Джунта. Мы развлекались, никому не делая зла, когда к нам привязалась фермерская организация и пыталась подоить нас. Джим подстрелил помощника начальника полиции, а я оказал ему в этом деятельную поддержку. Мы носились, отстреливаясь, взад и вперед по главной улице, причем стражникам все время не везло. Спустя некоторое время мы вырвались из города и помчались на ранчо[3] вдоль по Серизо.

---

1 Образ действий.
2 Ковбои — рабочие на скотоводческих фермах (буквально—коровьи парни).
3 Ранчо—ферма скотовода.

Мы ехали на паре коней, которые не умели летать, но могли бы состязаться в скорости с птицами.

Несколько дней спустя партия стражников из Ла-Джунты явилась на ранчо и выразила желание, чтобы мы последовали за ними. Мы, понятно, уклонились. Мы были в доме, и прежде чем успели выговорить отказ, старая глиняная лачуга наполнилась свинцом. Когда наступили сумерки, мы угостили стражников градом пуль и пробрались через черный ход к скалам. Они, конечно начали нас обстреливать, когда мы уходили. Нам пришлось лавировать. Кое-как нам удалось ускользнуть, но мы еще долго метали в прерии петли, пока, наконец, не добрались до Оклахомы.

Ну, там мы никак не могли устроиться, и так как нам пришлось очень туго, то мы и решили заключить маленькую сделку с железной дорогой. Джим и я вступили в союз с Томом и Айком Му́рами, двумя братьями, у которых было очень много мужества и очень мало денег. Я называю их имена, потому что их обоих уже нет в живых. Тома застрелили при ограблении банка в Арканзасе; Айк же был убит во время более опасного развлечения, а именно — на танцульке в Крик-Нешене.

Мы выбрали место около Санта-Фе, у моста, перекинутого через глубокую речку, окруженную густым лесом. Пассажирские поезда обыкновенно набирали воду у водокачки около одного из концов этого моста. Это было глухое место — ближайшее жилье находилось на расстоянии пяти миль. За день до нападения мы дали отдых своим коням, а сами начали раскидывать умом, как мы все это проделаем. Наши планы не отличались сложностью, так как мы все еще были новичками.

Экспресс из Санта-Фе должен был прибыть к водокачке в одиннадцать часов пятнадцать минут.

В одиннадцать часов мы с Томом залегли с одной стороны полотна, а Джим и Айк расположились с другой. Когда показался поезд с фонарем, сверкавшим на далеком расстоянии, с паром, брызгавшим из локомотива, я почувствовал слабость во всем теле. Я согласился бы целый год даром работать на ранчо, чтобы только выпутаться из этой истории. Многие из наиболее энергичных работников нашей профессии сознавались мне, что в первый раз они испытывали то же самое.

Поезд едва успел остановиться, как я уже вскочил на подножку паровоза с одной стороны, а Джим с другой. Как только машинист и кочегар увидели наши револьверы, они подняли руки вверх, не ожидая нашего приказания, и попросили нас на стрелять, обещая сделать все, что мы пожелаем.

— Вылезай — приказал я, и оба они соскочили на землю.

Пока это происходило, Том и Айк подняли страшную бучу: они стреляли вдоль поезда с обеих сторон и вопили, как индейцы; это делалось для того, чтобы испуганные пассажиры сбились в кучу в вагонах. Какой-то молодец пробил револьвером окно и выстрелил в воздух. Я прицелился и разбил окно как раз над его головой. Это положило конец всем попыткам к сопротивлению с этой стороны.

К этому времени вся моя нервность прошла. Я испытывал какое-

то приятное возбуждение, словно был на танцульке или на каком-нибудь другом увеселении. Во всех вагонах были потушены огни, и когда Том и Айк мало-помалу прекратили стрельбу и вошли, стало тихо, почти как на кладбище. Я, помню, слышал птичку, чирикавшую в кустах около полотна; она словно жаловалась, что ее разбудили.

Я велел кочегару принести фонарь, а потом подошел к служебному вагону и закричал сопровождавшему его курьеру, чтобы он открыл мне, если не хочет быть убитым. Тот раздвинул дверь и остался у входа, подняв руки вверх.

— Брысь за борт, сынок, — сказал я, и он шлепнулся в грязь, как кусок свинца.

В вагоне оказались два сейфа[1], большой и маленький. Я прежде всего наложил руку на арсенал курьера — двухствольное ружье с охотничьими патронами и револьвер тридцать восьмого калибра, находившиеся в ящике. Я разрядил ружье, опустил револьвер в карман и позвал курьера в вагон. Я приставил свой револьвер к его носу и заставил его работать. Большой сейф он открыть не сумел, но маленький открыл. Там оказалось только девятьсот долларов. Это было слишком ничтожное вознаграждение за наши хлопоты, и мы решили обыскать пассажиров. Мы собрали всех наших пленников в курительном вагоне и оттуда послали механика зажечь свет во всех вагонах поезда. Приступив к первому вагону, мы поставили по человеку к каждой двери и приказали пассажирам стоять в проходе между сидениями, подняв руки вверх.

Если вы хотите узнать, до чего большинство людей трусливы, вам надо только ограбить пассажирский поезд. Дело не в том, что они не защищаются,—я вам потом объясню, почему это для них невозможно,— но на них больно смотреть: так они теряют голову. Громадные толстые коммерсанты, фермеры, отставные офицеры, франты в высоких воротничках, спортсмены, только что наполнявшие вагон шумом и бахвальством, — все они так теряются, что только хлопают ушами.

В дневных купе в этот поздний час оказалось очень мало народу, и нам достался очень плохой улов, пока мы не добрались до спального вагона. Проводник этого вагона встретил меня у одних дверей, в то время как Джим направился к другим. Проводник очень вежливо заявил мне, что я не имею доступа в этот вагон, ибо он принадлежит не железнодорожной компании, а частному обществу, и кроме того пассажиры и так уже встревожены криками и стрельбой. Я никогда в жизни не встречал лучшего образчика служебного достоинства и доверия к обаянию великого имени Общества спальных вагонов. Я, можно сказать, вонзил свой револьвер в грудь проводника. Впоследствии оказалось, что дуло моего револьвера было закупорено пуговицей его форменной куртки. Она засела в дуле так плотно, что мне пришлось выстрелить ею, чтобы от нее избавиться. Когда я приставил револьвер к груди проводника, он скатился со ступенек вагона.

Я открыл дверь спального вагона и вошел туда. Высокий полный

---

[1] Сейф—стальной шкаф или ящик с секретным замком.

старик подошел ко мне, ковыляя, пыхтя и задыхаясь. Он влез в один рукав пиджака и пытался надеть поверх него жилет. Не знаю, за кого он меня принял.

— Молодой человек, молодой человек, — сказал он, сохраняйте хладнокровие. Только не волнуйтесь. Прежде всего сохраняйте хладнокровие.

— Не могу — сказал я. — Я сгораю от возбуждения.

Затем я издал дикий вопль и выстрелил в потолок из моего револьвера сорок пятого калибра. Старик попытался нырнуть в одну из нижних коек, но оттуда раздался крик, — голая нога ударила его в живот и опрокинула на пол. Я увидел Джима, входившего с другой стороны и закричал, чтобы все пассажиры вылезли и выстроились в ряд.

Они начали сползать с коек.

Мужчины казались испуганными и покорными, как куча кроликов в глубоком снегу. На них было в среднем по четверти костюма и по одному сапогу на человека. Какой-то парень сидел на полу и у него был такой вид, словно он решал трудную арифметическую задачу. Он пытался с торжественным видом напялить дамский ботинок номер второй на свою ногу номер девятый.

Дамы не теряли времени на одеванье. Им так любопытно было взглянуть на настоящего живого грабителя поездов, — благослови их господь, — что они только завернулись кто во что горазд, — в одеяла и простыни и вышли, визгливые и суетливые. Дамы всегда проявляют больше любопытства и смелости, чем мужчины.

Мы добились того, что пассажиры довольно спокойно выстроились в ряд, и я обыскал всю компанию. Я очень мало нашел в них — я говорю о ценностях. Один человек в ряду представлял собой интересное зрелище. Это была одна из тех крупных, громоздких и величественных сонных тетерь, которые во время митингов сидят с мудрым видом на эстраде. Перед тем как сползти с койки, он умудрился напялить свой длинный сюртук и цилиндр, но в остальном он состоял из кальсон и мозолей. Когда я обшарил этого принца Альберта, я надеялся вытащить из него, по крайней мере, стопу золотопромышленных акций или охапку государственной ренты, но нашел у него всего-навсего детскую губную гармонику. Для чего она была у него, не знаю. Я был немного взбешен, потому что он ввел меня в обман. Я ударил его по губам этой гармоникой.

— Если вы не можете платить, играйте — сказал я.

— Я не умею играть, — возразил он.

— Так научитесь, и поскорее, сказал я, дав ему понюхать дуло моего револьвера.

Он взял гармонику, стал краснее свеклы и начал дуть в нее. Он наигрывал жиденькую мелодию, которую я слышал, когда был ребенком; что-то вроде:

Дети в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.

Я заставил его играть все время, пока мы были в вагоне. Временами он уставал и сбивался с тона; тогда я направлял на него револьвер

и спрашивал, что случилось с детьми, не опоздали ли они в школу — и это заставляло его снова воспрянуть духом. Этот старикашка в цилиндре с босыми ногами, играющий на гармонике, был, пожалуй, самым забавным зрелищем, которое мне приходилось видеть. Маленькая рыжеволосая дамочка расхохоталась, глядя на него. Ее смех был слышен в соседнем вагоне.

Затем Джим удерживал путешественников в порядке, пока я обыскивал койки и наполнил целую наволочку самым невероятным хламом.

Иногда мне попадался маленький револьвер-хлопушка, годный только для выбивания зубов; я выкидывал его за окно. Когда я кончил сбор, я вытряхнул содержимое наволочки на середину купе. Там оказалось много часов, браслетов, колец, записных книжек, несколько искусственных челюстей, фляжек с виски, пудрениц, леденцов и париков разнообразного цвета и длины. Я нашел также около дюжины дамских чулок, куда были запиханы драгоценности, часы и пачки денег; они лежали туго закрученные, под матрацами. Я предложил дамам вернуть им их скальпы, заявив, что мы не индейцы. Но ни одна из дам, повидимому, не знала, кому принадлежали эти парики.

Одна из дам, очень недурная собой, завернутая в полосатое одеяло, увидела, как я взял чулок с довольно плотно набитым и тяжелым носком, и крикнула:

— Это мой чулок, сэр. Вы не собираетесь грабить женщин, надеюсь.

Так как это было наше первое дело, то мы еще не успели выработать кодекс этики, и я не знал, что ответить. На всякий случай я сказал:

— Собственно, это не наша специальность. Если в вашем чулке ваша личная собственность, то вы можете получить ее обратно.

— Да, именно,—поспешно заявила дама и протянула руку к чулку.

— Вы позвольте все-таки взглянуть на его содержимое, сказал я, поднимая чулок за нос.

Оттуда выпали большие мужские золотые часы, мужской кожаный бумажник, в котором мы потом нашли шестьдесят долларов, и револьвер тридцать второго калибра; единственной вещью во всем этом хламе, которая могла являться личной собственностью дамы, был серебряный браслет, стоимостью центов в пятьдесят.

Я сказал:

— Сударыня, вот ваша собственность, — и передал ей браслет.

— Ну, как же вы можете, — продолжал я, — ожидать, что мы будем поступать с вами честно, когда вы сами нас так обманываете. Я поражен таким поведением.

Молодая женщина вспыхнула, как будто ее действительно уличили в бесчестном поступке. Другая женщина в конце ряда воскликнула: «Подлая тварь». Я так и не узнал, подразумевала ли она ту даму или меня.

Когда мы окончили нашу работу, то велели всем вернуться на койки, очень вежливо пожелали им спокойной ночи и ушли.

До рассвета мы проехали сорок миль, потом остановились и поделили добычу. Каждый из нас получил по одной тысяче семьсот

два доллара восемьдесят пять центов наличными и кроме того мы распределили между собой драгоценности. Затем мы разъехались каждый в свою сторону.

Это было мое первое ограбление поезда, и оно удалось мне почти так же легко, как и все последующие. Но это был единственный и последний раз, когда я обыскивал пассажиров. Я не люблю эту процедуру. Впоследствии я строго ограничивался только служебным вагоном.

В течение ближайших восьми лет через мои руки прошли большие деньги.

Самый удачный налет я совершил через семь лет после первого. Мы узнали, что в одном поезде повезут крупную сумму денег для уплаты жалованья солдатам на пограничном посту. Мы залегли впятером на песчаных холмах близ маленькой станции. Деньги в поезде охраняли десять человек солдат, но они с тем же успехом могли бы сидеть дома, в отпуску. Мы даже не позволили им высунуть головы из окон, чтобы посмотреть на потеху. Нам не стоило никакого труда забрать деньги: вся сумма оказалась в золоте.

Понятно, в то время много кричали об этом ограблении. Это были казенные деньги, и правительство не без сарказма осведомлялось, для чего, собственно, поезд взял военный конвой. Единственным оправданием железнодорожников было то, что никто не мог ожидать нападения среди бела дня между голых песчаных холмов. Не знаю, как приняло это оправдание правительство, но я считаю его веским. Неожиданность — самое главное при ограблении поездов. Газеты сочиняли всякие басни об этой истории и в конце концов объявили, что убыток равнялся сумме между девятью и десятью тысячами долларов. Правительство играло в молчанку. Враки, сэр. Вот настоящая цифра, впервые публикуемая: сорок восемь тысяч долларов. Если кто-нибудь возьмет на себя труд просмотреть секретные книги Дяди Сэма[1], он увидит в отделе убытков именно эту сумму.

К этому времени мы были достаточно опытны, чтобы знать, как нам действовать. Мы проехали двадцать миль к западу, оставляя за собой след, чтобы им могли воспользоваться сыщики из Нью-Йорка, а потом мы повернули оглобли и замели следы. На следующий вечер после налета, в то время как отряды полиции рыскали по всей округе во всех направлениях, мы с Джимом ужинали в доме одного приятеля в том городе, откуда началась тревога. Как раз напротив помещалась типография. Несмотря на поздний час, она еще работала; там печатали в экстренном порядке объявление, возвещавшее, что за наши головы назначено вознаграждение.

Меня спрашивали, что мы делали с добытыми таким образом деньгами, но я никогда не мог дать отчета даже в десятой части моих расходов. Деньги текут быстро и свободно. Бандиту необходимо иметь много друзей. Почтенный гражданин может обойтись и часто обходится очень малым числом друзей, но человек «на-чеку» должен иметь сторонников. Из-за сыщиков и полисменов, жаждущих награды и

---

[1] «Дядя Сэм» — шуточное олицетворение Америки, чистокровного «янки», как «Джон Буль» — шуточное народное воплощение Англии.

гоняющихся по его следам, ему приходится иметь несколько убежищ, достаточно одно от другого отдаленных, где бы он мог остановиться, покормить себя и свою лошадь и поспать час-другой без необходимости быть все время настороже. Когда бандит сделает удачный налет, он чувствует потребность растрести часть денег с приятелями и делает он это очень щедро. Мне случалось в конце торопливого визита в одно из таких спасательных убежищ, швырнуть горсть золота и кредиток ребятишкам, игравшим на полу, и я сам не знал, сотни ли долларов я лишился или тысячи.

После того, как «старая гвардия» сделает крупный налет, участники его обыкновенно отправляются в один из больших городов, чтобы там покутить. Новички, какой бы удачный грабеж они не совершили, всегда выдают себя, показывая слишком много денег вблизи от того места, где их добыли.

Был раз такой случай в 1894 году, когда мы заработали двадцать тысяч долларов. Мы выполнили наш любимый план отступления, то есть оставили двойной след, и устроились на некоторое время невдалеке от того места, где поезду не повезло. Как-то утром я взял газету и прочел заметку под крупным заголовком, гласившую, что мэр с восемью помещиками и отрядом из тридцати вооруженных граждан окружил грабителей поезда в мескитовой роще[1] на Симарроне и через несколько часов бандиты будут либо пленниками, либо покойниками. Я читал эту статью, сидя за завтраком в одном из наиболее шикарных частных домов Вашингтон-Сити, причем за моим стулом стоял ливрейный лакей в коротких штанах. Джим сидел против меня, разговаривая со своим сводным дядей, отставным морским офицером, чье имя часто встречалось вам в светской хронике. Мы прибыли туда, купили себе шикарный ассортимент хорошего платья и отдыхали от трудов среди набобов[2]. Нас, вероятно, убили в этой мескитовой роще, потому что я могу дать клятву, что мы не сдались.

Теперь позвольте рассказать вам, почему так легко остановить поезд и, вместе с тем, отчего я никому не рекомендую заниматься этим делом.

Во-первых, все преимущества на стороне нападающих. Я, само собой разумеется, имею в виду «старую гвардию», обладающую достаточным опытом и мужеством. За ними простор полей, и они защищены темнотой, в то время как противники освещены, заключены в маленьком тесном пространстве и рискуют, если только они высунут голову в окно, предложить легкую мишень людям, которые не знают, что такое промах и стреляют, не задумываясь. Но все-таки я думаю, что легкость в деле ограбления поездов создается главным образом неожиданностью в связи с воображением пассажиров. Если вы видели когда-нибудь лошадь, наевшуюся белены, вы поймете, что представляют собой пассажиры поезда, подвергшиеся нападению. Такая лошадь обладает самым чудовищным на свете воображением. Вы не уговорите ее перескочить через маленький ручеек шириной в два фута. Он представляется ей шириной с Миссисипи. То же самое происходит

---

[1] Мескит — растение в техасских прериях (равнинах).
[2] Набоб — индийский богач — аристократ.

и с пассажиром. Ему кажется, что сотня людей вопит и стреляет под окнами, когда их, может быть, всего двое или трое. А дуло револьвера сорок пятого калибра представляется ему входом в туннель. Пассажир — славный малый, хоть он и позволяет себе иногда подлые проделки; например запрятывает пачку денег в башмаки или забывает вынуть из своей койки, пока вы не пощекочете ему ребра концом вашего револьвера. Но, в общем, это существо безобидное.

Что касается служебного состава поезда, то он доставляет не больше хлопот, чем стадо баранов. Я не хочу сказать, что они трусы, просто они не лишены здравого смысла. Они знают, что налет не шутка. То же и полиция. Я видел, как мэры, железнодорожные сыщики и прочие виды власти отдавали свою наличность с кротостью христианских мучеников. Я видел, как один из самых храбрых мэров спрятал револьвер под сиденье и выстроился в ряд вместе с прочими, пока я собирал дань. Он не струсил: он просто знал, что наша взяла и, стало быть, нечего шебаршить. Кроме того, у многих из этих чиновников есть семьи, и они чувствуют, что им лучше не рисковать, между тем как грабителю поездов смерть не страшна. Он знает, что его когда-нибудь убьют, и большей частью так оно и бывает. Мой вам совет, если вам придется испытать ограбление поезда, встаньте в ряд вместе с трусами и сохраните свое мужество на тот случай, когда оно вам действительно может пригодиться.

Другая причина, отчего полицейские не торопятся померяться силами с грабителями поездов—финансового характера. Когда бандита убивают, это очень невыгодно отражается на кармане чиновников. Если же грабителю удалось бежать, полицейские добывают предписание об аресте, проезжают сотни миль, объявляют тысячное вознаграждение, выдают обязательства, и правительство охотно оплачивает все эти расходы. Поэтому, поскольку дело касается чиновников, тут вопрос скорее в поверстной оплате, в суточных и прогонах, чем в мужестве.

Я приведу пример, подтверждающий мои слова, что самая лучшая карта в игре в остановку поезда — это неожиданность. В девяносто втором году бандиты Дальтона задали властям серьезную гонку на индейской территории. Это были их красные денечки, и они так обнаглели, что завели манеру возвещать заранее программу своих действий. Однажды они заявили, что в такую-то ночь они остановят экспресс-молнию на станции Приэр-Крик, на индейской территории.

Железнодорожная компания приняла меры. Она раздобыла в Мускоги пятнадцать полицейских и посадила их в поезд. Кроме того, на вокзале в Приэр-Крике были спрятаны пятьдесят вооруженных людей.

Когда экспресс прибыл туда, ни одного дальтоновца не было видно. Следующая станция была Адер, на расстоянии шести миль. Когда поезд прибыл туда и полицейские веселились, хвастая, что они сделали бы с шайкой Дальтона, если бы она появилась, вдруг раздались выстрелы; казалось, что палит целая армия. Кондуктор и тормозной прибежали в служебный вагон с криком:

— Бандиты!

Некоторые из полицейских выбежали из дверей, соскочили на землю и пустились наутек. Другие запрятали свои винчестеры под сиденья. Двое вступили в бой и были мгновенно убиты.

Дальтоновцам потребовалось всего десять минут, чтобы захватить поезд и очистить его от конвоя. Еще через двадцать минут они ограбили служебный вагон, забрали двадцать семь тысяч долларов и дали тягу.

Я думаю, что в Приэр-Крике, где полицейские ожидали опасности, они вступили бы в серьезную борьбу, но в Адере они были захвачены врасплох и «взбеленились»[1], как и предполагали дальтоновцы, знатоки своего дела.

Я кончаю. Но я не могу закончить, не добавив несколько выводов, сделанных мною в течение моего восьмилетнего стажа «на-чеку». Ограбление поездов — ремесло невыгодное: оно не окупается. Оставляя в стороне вопросы о праве и морали, — я в этом не специалист, — я скажу только, что в жизни бандита мало завидного.

Деньги скоро теряют цену в его глазах. Он привык смотреть на железнодорожные компании, как на своих банкиров, а на свой револьвер, как на чековую книжку, действительную на какую угодно сумму. Он швыряет деньги направо и налево. Большую часть времени он проводит в бегах и не сходит с коня ни днем, ни ночью. А в промежутках ему приходится так туго, что он не может насладиться всеми прелестями жизни на широкую ногу, когда он, наконец, дорвется до нее. Он знает, что придет час, когда он потеряет жизнь или свободу, и что меткость его прицела, быстрота его коня и верность его сподвижников — единственные силы, несколько отсрочивающие его неизбежный и печальный конец.

Я не хочу сказать, что существование полицейских лишает бандита сна и покоя. За весь свой опыт я никогда не видел, чтобы полицейские напали на шайку бандитов, если они не превышали их численностью, по крайней мере, втрое.

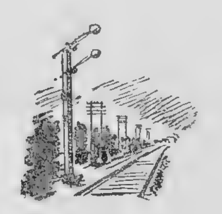
Но бандит всегда таит в душе одну мысль, и это больше всего ожесточает его; он знает, откуда мэры вербуют своих помощников. Он знает, что большинство всех этих блюстителей закона были когда-то конокрадами, бродягами, отверженцами и такими же разбойниками, как он сам, и что они заслужили свое положение и безнаказанность тем, что стали свидетелями противной стороны, стали предателями и выдали товарищей на каторгу и смерть. Он знает, что настанет день, — если, конечно его раньше не пристрелят, — когда эти иуды примутся за дело, устроят ему западню, и он будет застигнут врасплох.

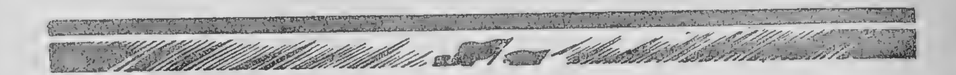
Вот почему человек, занимающийся ограблением поездов, в тысячу раз тщательнее выбирает своих товарищей, чем любая девушка жениха. Вот почему он ночью поднимается на кровати и прислушивается к каждому стуку копыт на дальней дороге. Вот почему он це-

[1] Взбелениться (от слова «белена» ядовитое растение) обезуметь, дойти до беспамятства.

лыми днями подозрительно обдумывает шутливое замечание или непривычный жест испытанного товарища или вслушивается в сбивчивое бормотание ближайшего друга, спящего подле него.

Это существенная причина, почему полевой бандитизм не может считаться такой же приятной профессией, как любая из его, так сказать, гражданских отраслей — политическая деятельность или спекуляция на бирже.





Глава V

РАЗГОРАЮЩЕЕСЯ ПЛАМЯ

Н. Темный

Докладная записка

I

Телеграфист Ручкин и стрелочник Дубов проснулись рано и опять принялись за работу.

Жестяная лампочка с отбитым сверху стеклом стояла рядом с чернильницей на широком кухонном столе и тускло освещала желтоватым, мигающим светом покосившиеся, прелые стены маленького «особняка», ситцевый полог, загораживающий кровать, и полуразрушенную печь, по которой бегали испуганные светом тараканы. Оттого, что лампочка мигала, стены, печь и потолок вздрагивали, и казалось, что вот-вот они обрушатся...

Ручкин, в рваной форменной тужурке с желтыми кантами на воротнике и рукавах, быстро шмыгал резиновыми галошами, надетыми на́-босу ногу, по скрипучему полу каморки и грыз карандаш. Выражение болезненного лица было озабоченное и напряженное. Изношенная, жалкая, согнутая фигура его, казалось, служила ничтожной частью какой-то огромной машины — и теперь была выброшена из нее за негодностью...

— «Прослужив, — говорил он, потирая ладонью лысину, — прослужив честно и непорочно с 68 года и добросовестно исполняя возложенные на меня обязанности... обязанности»... — уныло повторял он третий день одно и то же.

Стрелочник Дубов, отставной солдат, неестественно прямой, стриженый, с длинной жилистой шеей, сидел на табурете и облокотившись на стол, нетерпеливо крутил седые усы и сердито таращил глаза на Ручкина.

— Ну, что же ты все ходишь? Садись и пиши!—говорил он.—«Прослужив, прослужив»... уперся в одно — и ни с места. Этак мы и сегодня не напишем...

С тех пор как их уволили, он глядел на телеграфиста, как на товарища по несчастью, говорил ему «ты», постоянно с ним спорил и держался за панибрата.

Ручкина задели за живое грубый тон и небрежность Дубова.

— Солдат ты был, солдатом и остался, — сказал он, — и насчет гражданских слов понять ничего не можешь. Ты думаешь, это повоенному: «так точно, никак нет, виноват!» Нет, брат, шалишь, не так-то это просто. Я через эти слова две ночи глаз не смыкал, все думал, все соображал, как бы их высказать так, чтобы они совесть разбудили в человеке, а ты погоняешь...

В маленькие оконца «собачьего дворца», как прозвал свое жилище Дубов, глядело белесоватое осеннее утро, хмурое и холодное. За ситцевой занавеской бредили сонные люди и наводили уныние. Дубов нервно и нетерпеливо приводил в порядок разбросанные по столу листы бумаги, а Ручкин ходил из угла в угол, скрипел половицами и продолжал скучным, тягучим тоном, словно он читал псалтырь по покойнике:

— «Обязанности»... «Трудные обязанности телеграфиста, от которых я получил психологическое расстройство всей головы, и, дежурив за больного товарища третьи сутки, не помню, как сделал в журнале ошибку, за что и был уволен от службы...» Он подсел к столу, наскоро записал все, что говорил, и, закуривши папироску, задумался.

Его прежняя служба представлялась страшно тяжелой, кропотливой и томительно-однообразной. Он только и помнит, что сидел всю жизнь на табурете, выстукивал дробь на аппарате, составлял из точек и тире слова, числа — и все это до ломоты в груди и спине, до потери сознания. Он бросил потухшую папироску на пол, взял карандаш, молча и быстро начал писать:

— «Будучи обременен семейством и расстройством зрения глаз, обращаюсь к благородным чувствам милосердной Вашей души с мольбой спасти мою честь и доброе мое имя, чтобы дети не могли упрекнуть и стыдиться своего отца. По Вашему велению, за мою невольную ошибку, сделанную вследствие умственного затемнения от непосильного труда, я был уволен и ввергнут в бездну голодной нищеты со всей многочисленной семьей. И вот я, стоящий на краю человеческой погибели, прошу Вас не оставить своим состраданием моей мольбы и дать мне хоть какую-нибудь должность: курьера, сторожа, услужающего — все, что Вам заблагорассудится, а я на все согласен с радостью, только бы не позор нищеты»...

— Ах, боже мой, никак удавился!? — отчаянно крикнула женщина за ситцевой занавеской.

Ручкин бросился к кровати и отдернул полог; Дубов схватил лампочку и осветил растерянную, с испуганным видом женщину. Она сидела, поджавши ноги, на кровати и тряслась всем телом; около ее ног барахтался и глухо стонал мальчик, стараясь освободить запутавшуюся в лохмотьях одеяла голову. Ручкин разорвал тряпье и взял сынишку на руки; мальчик плакал и тер кулачонками глаза...

— Молчи, молчи... Экий ты, братец, куда залез, словно мышенок... Право, ей-богу, наказание с вами! — волнуясь утешал мальчика Ручкин.

— Миша, Михаил Кузьмич! а это что?.. Да будя плакать-то, погляди, какая штука у меня, — говорил Дубов, вынимая из кар-

мана коробочку с картинкой. Мальчик недовольно поглядел одним глазом на картинку, которую Дубов держал, перед ним и перестал плакать.

— Собачка! — сказал он, улыбаясь.

— То-то собачка. На-ка, держи. По какому ты случаю ни свет, ни заря ревешь и родителев беспокоишь?

Мальчик не слушал рассуждений стрелочника; он был занят собачкой и подыскивал для нее подходящее помещение около печи.

Ручкин, с пришибленным видом, мрачно ходил из угла в угол и молча рассуждал руками. Его жена возилась на кровати и что-то ежеминутно вздыхая, шептала. Дубов, сидевший на прежнем месте, осторожно заметил Ручкину:

— Ты бы кончил свою-то, да заодно и мне бы написал.

— Не могу... все мысли разлетелись.

— Себе не можешь, валяй мне, — настаивал Дубов, — садись да все мои слова и записывай!

Ручкин знал, что от настойчивого Дубова отделаться ничем нельзя, и неохотно сел за стол. Обмокнув перо в чернила и низко склонив голову, стал он выводить четким почерком заглавие докладной записки. Дубов серьезно наморщил лоб и сосредоточенно следил за движением пера по бумаге.

— Говори, что писать? — сказал Ручкин, не поднимая головы и не глядя на Дубова.

— Ну, стало-быть, пиши: «Прослужив верой и правдой с турецкой войны возложенную на меня обязанность, как свеча перед господом, завсегда трезвого поведения и трудящей расторопности...

— Пореже, пореже! — перебил его Ручкин, — не успеваю записывать.

Дубов недружелюбно поглядел на согнутую фигуру своего секретаря, на его лысую голову, которая вместе с пером двигалась от одного края бумаги до другого, что-то хотел сказать, но удержался. Ручкин, не обращая внимания, прилежно выводил букву за буквой.

— «Расторопности»... Еще что?

Дубов непонятно бурчал, шевелил усами, глядел на потолок, который от дождевых протоков был в желтых и бурых пятнах и походил на огромную географическую карту. А Ручкин свернул папиросу, закурил и сказал, добродушно улыбаясь:

— Что, брат, осел? Вот оно, какое легкое дело-то!

— Пиши! — быстро крикнул Дубов. — «Приказания начальников исполнял беспрекословно: доил коров, няньчил их ребятишек, чистил им сапоги, косил траву и все это делал двадцать пять годов»...

— Да не спеши, пожалуйста; что ты барабанишь? Этак нельзя.

— А ты не перебивай! Выслушай все, а потом и пиши, — сердился Дубов и в волнении стал ходить по комнате. — За сто верст по проволоке разговариваешь, а этого пустяка сообразить не можешь... Вот за это-то вашего брата и со службы туряют. Пиши: «Вагоны разбил не я, а вокзальный сторож Тимофей, который исполнял мою обязанность на стрелке; а меня начальник приставил к своей стельной корове в роде акушерки. Тимофей же засуетился и не так

перевел стрелку, отчего попортились два вагона, а меня за это уволили. Обратите внимание на Тимофея и прикажите поставить меня на стрелку, потому что, при нашей старости и больных ногах, никто меня на работу не допустит, в чем и подписуюсь». — Вот и все, — сказал Дубов. Он бережно вынул из сундучка «подвенечный» пиджак на вате с двумя медалями и георгиевским крестом, осторожно повесил его на гвоздь и тщательно начал чистить травяным веничком.

Жена Ручкина, высокая костлявая женщина, безжизненно и неуклюже двигалась около печи и разжигала самовар. Вместо углей, она совала в трубу березовую кору, щепки и напустила едкого дыма. От дыма проснулись дети, начали плакать и просить есть. Все они были бледны, вялы, старообразны, и казалось, что они никогда не играли, не смеялись, а только ходили за матерью, плакали и просили хлеба.

Скрючившись, Ручкин сидел за столом; он внимательно прочел все, что написал, и, подчистив перочинным ножом кляксы, обратился к Дубову:

— Ну, вот и готово — подписывай!.. Только я тебе прямо скажу: ни склада, ни лада в этой записке нет, и струн человеческого сердца она тронуть не может.

— Они, брат, гра-амо-тные: и без струн поймут! — полуиронически, полусерьезно протянул Дубов и тряхнул головой; потом он до локтя засучил рукава рубашки, крепко взял непривычной рукой перо и, поддерживая его корявыми пальцами левой руки, криво расписался.

— Вот и готово... Сложи-ка бумагу поаккуратней, а я оденусь, да и марш... — Дубов надел пиджак с орденами, внимательно оглядел себя в осколок зеркальца, молодцевато заломил набекрень военную фуражку без кокарды, сунул в боковой карман докладную записку и вышел на двор.

II

Он быстро шагал по улице и все думал о том, как он безо всяких обиняков скажет всю правду главному начальнику и подаст ему докладную записку, как тот прочтет ее, покачает головой и тут же прикажет написать бумагу о водворении Дубова на прежнюю должность. Мечтая, он незаметно подошел к огромному каменному дому, с часами наверху, с тяжелыми балконами; дубовую дверь парадного крыльца охранял благообразный швейцар с седыми бакенами в коричневом кафтане, украшенном серебряными пуговицами, и в картузе с медным ободком на козырьке.

— А, а, а... мое почтение! — равнодушно протянул швейцар. — Опять со всеми орденами пожаловал?.. Ну, и напорист же ты, брат, эх, напорист! У нас таких не любят!

— Да ведь дело-то мое такое: ложись да умирай. А то бы вы меня и калачом к себе не заманили... Сам-то, здесь ли?

— Скоро приедет... Эх, брат, напрасно к самому-то лезешь: что твой начальник решил, то и сам подпишет. Их одна шайка; сказано, ворон ворону глаз не выклюет. А впрочем, подожди в передней.

В большой и светлой комнате на деревянных полированных диванах сидели разные люди: подрядчики, комиссионеры, служащие, читали газеты и потихоньку толковали. Дубов внимательно оглядел разношерстную публику и, убедившись, что присесть ему негде, встал к сторонке, поближе к кабинету начальника. Не успел он, как следует, обломком гребенки расчесать усы, как к крыльцу бесшумно подкатила коляска, и в переднюю вошел плотный, кряжистый, с сильной проседью мужчина, с развязными манерами, в форменной, с двумя кокардами фуражке. При его появлении все вскочили с диванов и закачали головами, как игрушечные слоны. Дубов стоял по-солдатски и, не моргая, «ел глазами» начальника, пока курьеры снимали с него шинель.

— Осмелюсь побеспокоить вас, — сказал Дубов, подавая докладную записку проходившему мимо него инженеру.

— Что еще? — недовольно спросил начальник, наморщив лоб.

— Извольте прочитать, здесь все написано.

Инженер надел пенснэ, наскоро прочитал докладную записку и, сердито хмурясь, сказал, прицепляя пенснэ на пуговицу:

— Ну, и чего-же ты от меня хочешь? Чтобы я послал тебя делать крушения поездов, что ли?.. Ведь, в твое дежурство разбили вагоны, а?

— В мое, это точно, — хмуро буркнул Дубов. — Только тут не я... Тимофей...

— Ты мне не кляузничай на других! — крикнул инженер. — Я знаю, у вас всегда другие виноваты. Ты был дежурный, ты за все и отвечаешь, понял? И другого решения быть не может, ступай!

— Несправедливо решили, — потупясь сказал Дубов, — потому начальник должен вникнуть и...

— А-а-а! — Лицо инженера побагровело, забегали глаза, судорожно скривился рот. — Ты смеешь разговаривать, каналья?! Эй, курьер, гони его в шею!

Привычные к подобным сценам курьеры в один миг подхватили Дубова под руки и вывели на улицу.

III

Дубов, с фуражкой в руках, стоял, точно в столбняке, у парадного подъезда.

— Что, брат, говорил? Эх, глупость человеческая! — резонерствовал швейцар, солидно разглаживая бакены. — Ну-ка, милый, проходи отсюда, не задерживайся.

Вдруг Дубов, к удивлению швейцара, сорвал у себя с груди ордена, глубоко до ушей нахлобучил картуз и, размахивая руками, почти побежал от парадного подъезда. Он торопливо шагал по пустынной улице и скоро очутился на толкучем рынке, среди разной рухляди. Здесь он подошел к палатке скупщика старого серебра и положил на прилавок ордена, возбуждая своим безумным видом подозрение лавочника.

Скупщик обрезал ленточки, аккуратно взвесил ордена и отсчитал деньги. Дубов также нервно и торопливо подошел к палатке хозяй-

ственных принадлежностей и взял узкий длинный нож, упер его концом в прилавок, несколько раз погнул, поглядел одним глазом вдоль лезвия и спросил, сколько стоит.

Лавочник сказал цену. Дубов, не торгуясь, отсчитал деньги, спрятал нож в рукав и побежал обратно. Сердце его тревожно билось. Он задыхался от волнения. Крупные капли пота выступали на лице его. Он увидал коляску, дожидавшуюся инженера, и остановился в нескольких шагах от нее, прислонясь к телеграфному столбу.

— «Сейчас выйдет», — думал он.

Странная дрожь начиналась у него во всем теле; и грудь теснило, и ноги как-то ослабли.

Вспомнилась ему старуха-жена, как она недавно говорила ему: «Ты смотри, не свались. Что я без тебя буду делать? Куда мне будет голову преклонить?»

— «Небойсь, сопрела моя старуха у корыта с господской грязью?..» — пронеслось в голове Дубова, и ему вдруг стало нестерпимо жалко ее.

Из дверей вышел швейцар и помахал кучеру. Тот ударил возжами лошадей и подкатил к подъезду.

На крыльце показался инженер; он небрежно надевал желтые перчатки и любовался красивыми лошадьми. Сытые кони фыркали, мотали головами, словно приветствовали своего хозяйна. Дубов замер и перестал дышать.

Инженер сел в коляску, небрежно развалился и, покачиваясь на эластичных рессорах, прокатил мимо стрелочника.

Дубов, как окаменелый, стоял, стиснув зубы, на месте. Что-то неприятно-холодное скользнуло вдруг по его руке и, звеня, упало из рукава на каменные плиты тротуара.

Дубов посмотрел мутным взором на нож, махнул безнадежно рукой и, пошатываясь, побрел прочь...

*

А. Серафимович

Город в степи

(Отрывки)

Через степь строится железная дорога. Главный инженер Полынов, верный слуга воротил строительства, создает тяжелые условия для труда и быта рабочих-строителей, среди которых начинаются волнения.

В железнодорожном поселке

В том месте, где из-за семафора вышел и ушел в степь рабочий поезд, словно задымилась степная земля. Белые дымки бесчисленными живыми, колеблющимися столбиками восходят к ясному небу, на котором давно уже растаяли проснувшиеся тучки.

Дымки подымаются над глинистыми бугорками. Когда приглядишься — это мазанки и землянки, далеко разбросанные то кучками, то врозь, без улиц, без переулков. Нет ни заборов, ни огорожи, и потрескавшаяся, сухая земля поросла колючкой, бурьяном, да исчерчена старыми, иссохшими колеями.

Словно неведомая орда шла по степи и заночевала. Над становищем подымается пахучий кизячный дым.

Но, тут же, напоминая о людском, обыкновенном и долговечном, белеют за полотном станционные здания, незаконченные железнодорожные стройки, да великолепное здание с садом, клумбами, тополями, с оранжереей и фонтаном, которое занимает начальник дистанции.

А с другой стороны, на отшибе от поселка, прямо и высоко четырьмя углами нового двухэтажного сруба подымается трактир.

Покрыт он камышом, видно, сколочен на живую нитку, и человек, его поставивший, тоже пришел откуда-то и заночевал в степи; но, должно быть, понравилось место и не собирался он скоро сняться, поставил плетни, сараи, вырыл колодец; то и дело скрипит и кланяется над колодцем высокий журавль.

Дом этот живет, как ночные птицы, ночною жизнью, но уже давно поднялись бабы и хлопочут и суетятся по хозяйству.

Как ни молода жизнь этой кучки землянок, возникшей среди раскинувшейся без границ и предела изжелта-бурой, выжженной степи, — на отлете уже белеют свежетесаные кресты, большие и малые, а под ними желтая, недавно взрытая глина. И ни деревца, ни кустика, ни травинки...

Торопливо, лихорадочно бьется трудовая жизнь в поселке, начавшись задолго до солнца.

Кто обмазывает глиной стены и крышу приземистой, подслеповатой землянки, от которой тянется длинная утренняя тень, кто наспех тут же у двери тачает сапоги. Бондари сколачивают кадушки, хозяйки на дворе в печурках, вырытых в земле, готовят ранний обед.

Между землянками, на кое-как сколоченных полках под наскоро сбитыми дощатыми навесами бойко, в говоре и шуме, торгуют бараниной, помидорами, огурцами, свежевыпеченным хлебом и водкой, сдобренной водой.

. . . .

Борщ, огненно-рыжий мужик, торгует горячим борщом, и всякой снедью, которую его баба наварила и напекла еще затемно.

Ловя каждую минуту, сюда торопливо забегают бессемейные стрелочники, кондуктора, составители, которым надо становиться на дежурство, слесаря, монтеры, которых ждет паровозное депо, грузчики и из чернорабочих, не успевших сбиться в артели. Тут же присев прямо на землю или стоя, ломают ковриги хлеба, хлебают и жуют, стараясь наесться на весь день, — на работе уже негде, — и, расплатившись, бегут.

Тут же коротко, на бегу рассказываются новости, происшествия, и то-и-дело разносится грохот здоровых глоток.

Помощник машиниста в просмоленной кожаной куртке с ввалившимся пепельным лицом, на котором поблескивают только ослепительные зубы, вытягивая шею, глотает куски и рассказывает:

— Подали это мы с Иван Митричем паровоз под поезд. Поезд пробный, только что путь уложили. Начальник движения разрешил публике без денег садиться. На даровщину-то всякому в охотку, набилось — дыхнуть негде. Тронулись. Тихо едем, путь-то не подсыпан. Где и остановимся, стоим-стоим в степи, рельс, вишь, выперло, — рабочие слезут, переменят. Жара, духота, пыль, все пóтом заливаются. А в вагонах — столпотворение, друг на дружке сидят, песни, гомон. Вот идем мимо речки, степь кругом — хоть шаром покати, солнце жарит... Тут Иван Митрич и говорит...

Все, так же торопливо прожевывая и глотая, слушают.

— «...Постоим, говорит, пускай искупаются, — вишь духота». Стали, публика обрадовалась, как суслики из нор, вся высыпала на берег. Зараз разделись — и в воду...

— И бабы?..

Глаза засветились... Подошло еще несколько человек, жуя и поглядывая на говорившего через плечи уже обступивших его слушателей...

— Да все же, и бабы, все, кто был, разве десяток осталось в вагонах. Смех, гомон, чисто сказились. Жара же, а тут благодать.

Слушатели, осклабляясь и перемигиваясь друг с другом, поматывали головами.

— И бабы, ешь те с хреном...

—...А Иван Митрич глянул на них, на голых-то, и говорит: «Ну-ка угля!» Подкинул я, он свистнул, открыл регулятор, поезд и пошел... Братцы мои, что сделалось! Повыскакали все в чем мать родила, мокрые, похватали одежду, сапоги, башмаки подмышку — да за поездом, по полотну что есть духу лупят...

Взрыв хохота разом покрыл и заполнил все.

— Голые?!

— Не успели!

— По полотну, стало быть... Го-го-го-го!..
— И бабы?!
— Го-го-го-го...
— Главное, бабы!..
Дрожало все кругом от гоготанья и далеко разносилось оно по молчаливой, не принимающей ни в чем участия степи.
Солнце подымалось.
—...С полверсты так проманежили. А как остановился поезд, все наперебой полезли, в вагонах уже одевались. Мы было подохли со смеху на паровозе...
Базар редеет.

Митинг

Над степью угасал закат. Задумчиво далеко потянулись синеющие тени. В отлогой балке с размытыми краснеющими откосами — синие рубахи, картузы, пиджаки. Расположились ожидающими чего-то группами. Кто — на земле, кто стоя, щелкают семечки, равнодушно плюя перед собой и все гуще белеет шелухой сивый полынок. Иные в лаптях. Особенной значительностью веет от этих собравшихся в безвестной глуши людей. Меркнет вдали окрашенный закатным заревом поселок... В душе Пети [1] трепещет буйно радостное чувство, — от неоглядного простора, доброго, красного от усталости солнца, пополам перерезанного краем дальнего увала, от чудесных людей, собравшихся тайно в пустой степи. Он нахмурился. Не это сейчас нужно. Нужны обжигающие слова, нужны призывы, грозные, сердитые или волнующие.
И он сказал:
— Товарищи...
Все поднимаются нето медлительно лениво, нето торжественно празднично. Сгрудились. Те, что щелкали подсолнухи, перестали выплевывать щелуху и слушают.
— Товарищи...
Стоят и слушают, вытянув шеи.
— Товарищи, одно нужно помнить, с одной мыслью нужно ложиться спать и просыпаться: помнить, что у вас — один враг, неумолимый, непримиримый, ничего не забывающий, не знающий пощады враг...
С разных концов собрался на народившуюся в степи станцию народ. Кто с дальних заводов, фабрик, кто с других железных дорог. В городах, откуда пришли, все это слышали. Но когда попали сюда, в этот потерянный среди молчаливых выжженных солнцем просторов уголок, где, как из земли вырос, глиняный поселок, где жили в вагонах, в землянках и теплушках, — словно стерлось все, что узнали в городах, где мостовые, церкви и тюрьмы, где день и ночь движение людей и экипажей. Словно там оставили люди все накопленное в мозгу и сердце и пришли сюда, потеряв его, голые, с пу-

[1] Брат жены главного инженера Полынова—студент.

стотой в душе. После работы, когда замирал гул станков и звон молотов, шли к Захарке в трактир, в непотребный дом...

А теперь снова этот молодой, звучный голос говорит о празднике мысли, о счастьи борьбы, сдергивая серую, тусклую пелену с усталого степного простора, с унылой обыденщины, которая изо дня в день бредет в беспросветных буднях.

И густо отдается:

— Верно.

— Правильно.

. . . .

— Товарищи, понимаете, даже самая маленькая попытка вашей борьбы не пройдет даром. Это — один из кирпичиков в здании освобождения. Только бейтесь во имя общих принципов и из-за мелких нужд и ближайших целей не забывайте, не заслоняйте их.

Он снял шапку и отер лоб, вслушиваясь в одобрительный гул, говор, сморкание и шорох.

Красная, как уголек, полоска солнца над засыпающей степью погасла. Степь неуловимо утонула в синеве, как будто не было ни отлогих изволоков, ни оврагов, ни далеких курганов.

Блеснула первая звезда. И кто-то сказал:

— Рябой...

— Рябой... Рябой... Рябой..., — подхватили голоса.

Чувствовалось, что толпа заколыхалась, что сквозь нее кто-то пробирался. Раздался смех и шутки. Потом перед толпой из-за бугорка затемнелась небольшая коренастая фигура, и раздался немного хриповатый, резкий голос. Рябой рассказывал, как на заводе выкатили директора в тачке.

— То́лстой, это самое, пузо вылезло из тачки, как опара из квашни, глаза, это самое, круглые, держится за края и об одном только просит: «Братцы, легче. Разломится она, окаянная»... Сдохли было со смеху. Кто, это самое, и держал зло на него,—плюнул... Выволокли тачку, это самое, и в лужу, и чорт с ним.

Потом стал говорить Волков, привычным взмахом откидывая волнистые волосы со лба.

. . . .

Волков говорил красиво, то же самое, что Петя, но, точно отмежевываясь, постоянно вставляя.

— Мы, рабочие, сами о себе должны позаботиться, помощи нам никто не даст: всяк ведь за себя...

Только тогда и выбьемся, когда сами за ум возьмемся. Петя чувствовал, что в этих словах есть доля и по его адресу, но с чувством удовлетворения видел, что Волков и язком, и жестами, и манерой говорить старался походить на него, Петю.

Из-за горизонта, который, казалось, в двух шагах обрезал потемневшую землю, выбирались все новые и новые звезды и, выбравшись, располагались над головами.

В темноте слышалось:

— Ну, айда, ребята.

— Да не табуньтесь.

— Эй, Прошка, дай махорки свернуть.

— Ребята, станцию обходи, как бы жандарм не увидел.

— А то не узнает? Узнают...

— Небось и среди нас, которые найдутся, зараз к нему на пузе поползут, доложат.

— Пришить их!

— На мордах не написано!

Петя идет с Рябым и Волковым, перекидываясь отдельными фразами, и ночь молчаливо идет с ними — невидимым степным простором под бесчисленно раскинувшимися над головами звездами...

Инженер и рабочие

— Здравствуйте, Феликс Брониславович! Что хорошего?

Тот глядел холодными глазами и, как бы мстя за что-то, сказал, особенно отчетливо выговаривая слова.

— Рабочие волнуются.

«Это для тебя подходящий случай попытаться столкнуть меня и занять мое место». И то сосредоточенное спокойствие, которое приходило всегда к Полынову в минуту опасности, легло на его лицо.

— Что такое?

— В депо бросили работу. Стрелочники, составители, смазчики — тоже волнуются. Бригады оставили рабочие поезда...

Постояло молчание.

— Хорошо, — проговорил Полынов так спокойно, как будто сказал: «Знаю, все знаю. Знаю, что нужно делать, но не считаю нужным распространяться на этот счет». С динамомашиной покончили?

— Сегодня можно будет пустить.

— Пожалуйста, чтобы сегодня же. А я приду туда.

Помощник ушел.

Полынов покончил с бумагами, аккуратно запер их, прошел в столовую и поцеловал руку жены.

— Ну, я иду.

Та печально смотрела в окна.

— Какая тоска...

Полынов вышел. Все было мутно, точно стерлись очертания и пропали краски. Станционные здания, постройки, возле которых он проходил, чудилось, смутно маячили где-то далеко, в зыбкой завесе мчащейся пыли.

И в этой тонкой, все заволакивающей мути поражало безлюдье. Пусто было на платформе, опустело темнели кое-где проступавшие рельсы; молча, не дымя, стояли, смутно обрисовываясь у разинутых ворот депо, холодные паровозы; не слышно было обычно перекликающихся уныво и печально рожков. От мутно несущихся пыльных облаков веяло затаенной угрозой.

Полынов шел смело и спокойно, чувствуя где-то в глубине у себя такой запас неопровержимой убедительности, который разом восстановит нарушенный порядок. Он шел мимо бесконечно вытянувшегося

на запасном пути красного ряда товарных вагонов — временного жилья рабочих.

По шпалам между колесами ползали голые, черные от загара ребятишки; с тоненьким визгом крутился песок, у печурок неугомонно возились бабы, и ветер, вскидывая языки огня, трепал им юбки, облепляя ноги, рвал развешанное на веревках, серое от пыли белье, одеяла и пеленки.

Когда инженер обогнул депо, он увидел, что у стены чернела толпа. Глаз, привыкший к одиноким фигурам, разбросанным по путям, на стрелках, на паровозах, у буферов сдвигающихся вагонов, странно и непривычно останавливался на этом живом, густеющем сквозь колеблющуюся муть море картузов.

Полынов подошел быстро и смело с гордо поднятой головой, как человек, у которого все ясно, определенно и оттого нет основания для опасений.

В сторонке конфузливо и растерянно жалось все железнодорожное начальство, жандармы. В телеграфных проводах визжал задыхавшийся от злобы и пыли ветер.

Полынов подошел вплотную к толпе, и дальние ее ряды утонули в несшейся пыли.

— Что такое? Что это все значит?

Он старался поймать выражение глаз на отдельных лицах, как привык делать в обычное время, разговаривая с каждым рабочим. Чернели картузы. Но вокруг желтело одно общее лицо толпы, блестели глаза.

Кое-кто в передних рядах неуверенно взялся было за шапки. Но тотчас же, смешиваясь с ветром и несшейся пылью, побежали смех и восклицания.

— Вы бы еще штаны сняли...

— Спинолизы.

— Я спрашиваю, что все это значит?

Голос Полынова гневно покрыл и взвизги песка, и крутящийся шум ветра, и смех.

И тогда его окрик также был покрыт неудержимым взрывом голосов толпы:

— Долой мастеров!..

— Долой начальство!

— Пускай уходят!

— Чтоб не было жандармов!

— Примечают...

— Им бы выловить кого...

— Все в ответе. Никого не дадим в отдельности!

Жандармы стояли с хмурыми лицами, на которых читалось сдержанное волнение: мы, дескать, свое дело исполняем, а остальное нас не касается.

— Господа, я прошу вас на некоторое время уйти.

Жандармы и мастера неторопливо, ежась, точно пожимая плечами, пошли, теряясь в вихрях несшейся пыли: приказания, мол, слушаемся, а ответственность с себя снимаем.

— Теперь прошу спокойно изложить, в чем дело.

Выступил приземистый, в картузе, рябой, с нето насмешливо, нето хитро бегающими колючими глазками. Он заговорил, глядя смеющимся серым глазом и прищурив другой:

— Рабочие желают, одно слово, этово... Потому в скотинячьих вагонах... для скота вагоны, а вы людей напихали...

— Ну-с?

Полынов вдруг почувствовал свое превосходство перед этим Рябым, который писал словами «мыслете», не только превосходство образованного человека, к услугам которого точная, чеканная, культурная речь, но и превосходство внутреннего понимания, которое давало удовлетворяющее чувство нравственной правоты.

— Опять же лето кончается, а там ветры, дожди... Одно слово, этово... ребятишки, семьи... Куды же?

И он смотрел прищуренным глазом нето насмешливо, нето хитро, как будто за этими словесными каракулями таил нечто, чего пока не хотел обнаруживать.

— Так вам чего же, собственно, нужно?

Толпа дрогнула:

— Правильно! Он правильно!

— Нельзя людей гноить в скотских вагонах.

— Не лошади, не быки, люди.

— Осень подходит...

И опять уверенный, красивый и точный голос зазвучал над толпой:

— Раз у вас имеются требования, вы должны были спокойно изложить их мне, а не бросать работу.

Его голос потонул во взмывших косматых голосах:

— Знаем!

— Старая погудка!

— Поможет, как мертвому кадило.

— Покеда разговоры, подохнем все с ребятами.

А человек с прищуренным глазом, глядя другим, — серым, и хитрым, говорил:

— Одним словом, люди... этово понимать надо.

Полынова укололо.

— Ну да, потому, что вы люди, потому, что отношусь к вам, как к людям, я и говорю с вами. На моем месте другие давно бы вместо разговоров дали телеграмму, и перед вами стояла бы рота солдат.

— Не пужай!

— Не испужались!

— Не на таковских напал!

А Прищуренный глаз так же нето покорно, нето хитро, нето насмешливо продолжал:

— Господин начальник, должно, на скотском положении: у него цветы в оранжереях, двенадцать комнат, чисто и благородно. А мы наподобие людей, одним словом, этово... в скотинячьих вагонах... Осень подходит, холода, дожди... ребятишек, одним словом, заморимся таскать на погост.

И опять космато и отрывочно понеслось на ветер:
— Себя обстроил!
— Себя перво-наперво...
— Себя не забыл...
Полынов подавил вспыхнувшее было раздражение.
— Вы не понимаете. Вы должны понять, что это зависит не от меня. Смета и порядок работ вырабатываются в управлении. Мне присылают готовый план, а я его выполняю. Я так же его не могу изменить, как и последний чернорабочий. Указано раньше всего возвести станционные постройки, помещения для служащих, необходимые для эксплуатации пути сооружения, — я так и выполнил. Если бы план был обратный и распорядились бы сначала возвести рабочий поселок, я бы так и выполнил. Я простой исполнитель. И если бы я хоть на кирпич построил иначе, меня сейчас же выгнали бы. Вы это должны понять.
Черное море картузов негодующе дрогнуло, но Рябой обернулся, сделал знак рукой и, точно отвечая за всех, попрежнему щуря глаз, проговорил:
— Нам ни тепло, ни холодно, этово... Одним словом, правление ли, управление ли, — ребятишек все одно придется таскать на погост. Кто там командует, нас не касается. Вина не наша, а подыхать нам...
И вдруг повернувшись и будто выросши и, уже злобно глядя обоими большими серыми глазами, бросил толпе охрипшим на ветру голосом:
— Не так ли, ребята?!
Толпа разом взмыла, поглотив его. И Полынова окружили возбужденные, отсвечивающие клейким потом лица с глазами, играющими злобным блеском.
— Умный задом наперед...
— На посуле, как на стуле...
— Мокро под ним стало — наговорил.
— Чего на них глядеть.
— Га-а-а...
«Нет с ними только плетью разговаривать!..»
Но в ту же минуту главный инженер подавил мысль, которой бы не произнес вслух. И пошел из толпы, спокойно и гордо подняв голову и не оглядываясь, каждую минуту ожидая, что плюхнется в затылок пущенный сзади камень...

★

М. Горький

На вокзале

(Отрывок из повести «Мать»)

Рабочий Павел Власов сближается с революционным подпольем и становится активным участником социал-демократической организации. Мать его Пелагея Ниловна постепенно проникается, несмотря на свою отсталость, великой правдой сына. Когда царский суд приговаривает Власова и его товарищей к каторге, старуха Ниловна выполняет волю организации—везет в город для распространения летучки с пламенной речью своего сына на суде.

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко — шел какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.

— Должно быть в лавочку послали солдатика! — подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под ее ногами.

На вокзал она пришла рано, еще не был готов ее поезд, но в грязном, закопченном дымом зале третьего класса уже собралось много народа — холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда ее с шумом захлопывали. Запах табаку и соленой рыбы густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь — на нее налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках — тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались, и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крякали.

Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к матери.

— В Москву? — негромко спросил он.

— Да. К Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала



Цимакуридзе — Нелегальный приезд Сталина из ссылки в Тбилиси (1904 г.). Выставка грузинского изобразительного искусства

и пошла на другую скамью ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был не велик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.

Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нем, она оглянулась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула и ноша вдруг отяжелела.

— Я где-то видела его! — подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью, ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть еще раз. Она сделала это — человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.

Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека — один раз в поле, за городом, после побега Рыбина, другой — в суде. Там рядом с ним стоял тот околодочный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею следили — это было ясно.

— Попалась? — спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая:

— Может быть, еще нет...

И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала:

— Попалась!

Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна за другой искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу.

— Оставить чемодан, — уйти?

Но более ярко мелькнула другая искра:

— Сыновнее слово бросить? В такие руки...

Она прижала к себе чемодан.

— А — с ним уйти?.. Бежать...

Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли, ожоги их больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя ее прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх; на висках у нее сильно забились жилы, и корням волос стало тепло.

Тогда, одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно сказав себе:

— Стыдись!

Ей сразу лучше, и она совсем окрепла, добавив:

— Не позорь сына-то! Никто не боится.

Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили все в ней. Сердце забилось спокойнее.

— Что ж теперь будет? — думала она, наблюдая.

Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.

Старик шагал, не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ее. Она подвинулась вглубь скамьи.

— Только бы не били...

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко, сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— То-то, — воровка! Старая уж, а — туда же!

Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза...

— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею грудью, и все перед нею загружилось в вихре ее возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.

— Гляди! Глядите все! — кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум в ушах, она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела — бежали быстро, все, отовсюду.

— Что такое?

— Вот, сыщик...

— Что это?

— Украла, говорят...

— Почтенная такая, — ай-ай-ай!

— Я не воровка! — говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на нее со всех сторон.

— Вчера судили политических, там был мой сын — Власов, он сказал речь — вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде...

Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.

— За это тоже не похвалят! — воскликнул чей-то пугливый голос.

Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы, — это снова крепко поставило ее на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растет разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.

— За что судили сына моего и всех, кто с ним — вы знаете? Я вам

скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее — вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду!

Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь все более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни, вот что дает людям их работа. Все против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие, и держат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего не знаем, и в страхе — мы всего боимся! Ночь — наша жизнь, темная ночь!

— Так! — глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука ее опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и, разобщенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретое огнем слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча, мать видела их жадно-внимательные глаза и чувствовала на своем лице теплое дыхание.

— Уходи, старуха!

— Сейчас возьмут!..

— Ах, дерзкая!

— Прочь! Разойдись! — все ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.

Ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям все, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей нехватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвется.

— Слово сына моего — чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!

Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и со страхом.

Ее толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Все почернело, закачалось в глазах матери, но, превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:

— Собирай, народ, силы свои во единую силу!

Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул.

— Молчи!

Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым.

— Иди! — сказал жандарм.

— Не бойтесь ничего! Нет муки, горше той, которой вы всю жизнь дышете...

— Молчать, говорю! — Жандарм взял под руку ее, дернул. Другой схватил другую руку и, крупно шагая, они повели мать.

— Которая каждый день гложет сердце, сушит грудь!

Шпион забежал вперед и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:

— Молчать, ты, сволочь!

Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую — не убьют!

— Собака!

Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки.

— Так ее, стерву старую! — раздался злорадный крик.

Что-то черное и красное на миг ослепило глаза матери, соленый вкус крови наполнил рот.

Дробный, яркий взрыв криков оживил ее.

— Не смей бить!

— Ребята!

— Ах ты, мерзавец!

— Дай ему!

— Не зальют кровью разума!

Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, все закружилось, завертелось темным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, тяжелело и качалось, бессильное. Но глаза ее не угасали и видели много других глаз — они горели знакомым ей смелым, острым огнем — родным ее сердцу огнем.

Ее толкали в двери.

Она вырвала руку, схватилась за косяк.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падет!

Жандарм схватил ее за горло и стал душить. Она хрипела.

— Несчастные!..

Кто-то ответил ей громким рыданием.

*

С. Мстиславский

Удел сильных

(Отрывок из пьесы)

Очень яркий, хотя октябрьский день. Захолустная станция. Платформа, угол станционного здания. На заднем плане паровоз и часть поездного состава. На платформе снуют, собираясь в кучки и снова расходясь, встревоженные пассажиры. Около паровоза — машинист, помощник машиниста, кочегар. Веселые «митингуют» в толпе обступивших их «третьеклассных» пассажиров. Группа пассажиров I и II класса столпилась вокруг начальника станции, — худощавого, заморенного человечка, в красной фуражке, перед которым кипятится, дыбя седые бакенбарды, толстый, багроволицый генерал.

Гул перекрестных вопросов и выкриков.

Генерал. Кто остановил? Чья телеграмма, я спрашиваю?

Начальник станции. Я же докладывал, ваше превосходительство... Стачечный комитет... Всеобщая железнодорожная стачка объявлена.

Генерал. Бунт. А вы потакаете. Под суд!

Начальник станции *(беспомощно разводит руками).*

Подходит от поезда Кедрова (артистка), Жигмонт (капитан лейб-гвардии Семеновского полка) и Василий в летнем заграничном, костюме, мягкой шляпе.

Жигмонт *(очень нервно).* Вот... В каких-нибудь трех часах от Петербурга... Извольте угадать... сколько мы простоим.

Кедрова. Да, вы к тому же уезжали на охоту без разрешения... кажется, вы так говорили. Порок наказан.

Жигмонт. Но и добродетель не торжествует. Для вас... тоже не очень приятное окончание гастролей...

Кедрова. Для меня, напротив. Это ж гораздо волнительней, чем если бы поезд просто слетел под откос... Не правда ли... *(Вопросительно смотрит на Василия.)*

Василий *(договаривает, слегка прикоснувшись к шляпе).* Дорохов.

Кедрова. А... Мы начинаем, наконец, знакомиться... Вы не думаете, что Вам следовало представиться мне раньше, уважаемый сосед по купе... Бог мой, папиросы. Моя сумочка осталась там.

Жигмонт. Разрешите я принесу.

Кедрова. Вы же в другом вагоне. Наш проводник не откроет вам купе... Дорохов, можно вас попросить? *(Василий с полупоклоном уходит к поезду.)*

Жигмонт. Лидия Васильевна, у меня начинает... являться желание поставить этого господина к барьеру... Ваше отношение к нему...

Кедрова *(холодно).* А вам до этого какое, собственно, дело? (*пауза.*) Он, действительно, очень интересен... Посмотрите, какая уверенная походка... Какой торс... Посадка головы... И он очень образован... Мы едем с ним от Пскова, и я его проэкзаменовала буквально по всему.

Жигмонт *(скривя губы. С ударением).* По всему.

Кедрова. Я вас прогоню, капитан, если вы еще раз посмеете сказать пошлость. *(отвернулась, идет вдоль платформы. Жигмонт догоняет ее.)*

Жигмонт. Простите, ради бога... Но, слово чести, — кровь бросается в голову, когда я вижу, что... случайный встречный... неведомо кто...

Василия, подошедшего к поезду, останавливает опознавший его машинист. После короткого разговора Василий входит в вагон, машинист идет станционное здание.

Кедрова. В самом деле... Как вы думаете, кто он? Я никак не могу определить. Он знает языки, литературу. Он мне цитировал Шекспира в подлиннике. Много путешествовал, очевидно и по Европе и по России... даже в Сибири был.

Жигмонт *(неуверенно).* Писатель.

Кедрова (*делая гримасу*). Нет... Писателя я узнаю с первого взгляда... он меньше всего... «словесник»; это явно человек дела. Может быть, инженер. Одно для меня странно: он никогда не бывает в театре. *(засмеялась.)* Он мне сказал, что не смог выбраться посмотреть даже Гильду, хотя о ней так трубят газеты.

Жигмонт. Не видел вас на сцене? И вы говорите о культурности...

Проходят на край платформы, скрываются. Василий с сумочкой Кедровой и небольшим свертком вышел из вагона и отошел к паровозу. Снова говорит с машинистом. К генералу подошел другой бакенбардист, штатский, очень сановитого вида.

Сановник. Дожили, ваше превосходительство. Этак скоро в Петергоф, на доклад государю императору, вплавь придется доставляться.

Генерал *(хмыкнул, неопределенно).* Да... знаете... с рабочими...

Сановник. С рабочими еще можно было ладить... Но теперь же у нас пролетариат... Это совсем другое... Тут только пулеметом... На июльском совещании у его величества... вы изволили слышать...

Генерал *(хмыкнул еще неопределеннее).*

Сановник. Единогласно пришли к выводу, что опору престола необходимо искать исключительно в стомиллионном нашем крестьянстве, поскольку только мужички в политической жизни руководятся религиозным началом, а стало быть искренно чтут святыню самодержавия.

Генерал *(отдулся).* Но, ведь, и пейзане тоже... по весне фейерверки жгли... Как называется... аграрное...

Сановник. Ну, это пустяки. Никакого аграрного вопроса на деле нет: его революционеры выдумали. Русский крестьянин,

если и не владеет, то пользуется всей землей, какая только есть... Статистикой установлено твердо, по моему департаменту: нет ни одной десятины в империи, на которой не работал бы крестьянин. И даже если эта десятина — помещичья, все равно, он же с нее получает доход, за работу-то ему платят...



Савицкий. Начало всеобщей железнодорожной забастовки в 1905 г.

Парень в солдатской бескозырке без кокарды, в полувоенном костюме, очевидно из уволенных запасных, запевает, подыгрывая себе на гармонке и подмигнув соседям на проходящего генерала

От Артура до Телина
Отступали мы толпой,
Провозилась Акулина
И ни с чем пришла домой.

Сановник. Изволите слышать. Буквально все основы расшатаны. Вы бы его цукнули, ваше превосходительство.

Генерал *(отвел глаза)*. И—не цукнешь. Он теперь уже по гражданскому ведомству...

Кедрова и Жигмонт возвращаются.

Жигмонт. Однако этот господин не торопится...

Кедрова. В самом деле... Где же он? Я хочу курить.

Жигмонт. Прикажите поторопить. *(Не дожидаясь ответа, идет к вагонам.)*

Генерал *(притоптывая шпорой, подходит к Кедровой)*. Разрешите... выразиться... Пылкий поклонник несравненного вашего таланта.

Кедрова *(небрежно)*. Вы меня знаете?

Генерал. Помилуйте, кто же вас не знает.

Кедрова *(нервно)*. Представьте... есть такие...

Проходит начальник станции. Пассажиры бросаются к нему.

Пассажир. Телеграмма?

Начальник станции *(торопливо)*. Да нет же, нет, господа, не извольте беспокоиться...

Сановник. Это же форменное издевательство. Не беспокоиться. Они, может быть, год бастовать будут.

Пассажир. А в городе резня, может быть... Вон машинист говорит: революция. А у меня там... дети остались.

Жигмонт *(возвращается почти бегом, очень веселый)*. Лидия Васильевна... Идемте скорей... Надо проверить вещи...

Кедрова *(сдвинула брови)*. В чем дело?

Жигмонт. Он сбежал... ваш интересный знакомый... с вашей сумочкой... Забрал свои вещи и—фью. В сумочке были деньги?

Кедрова. Что вы говорите такое.

Жигмонт. Я сразу чутьем почуял: бандит... Хорошо еще, что он вас не отравил и не зарезал.

Кедрова *(холодно)*. Может быть еще и зарежет: время не ушло. Вот он идет.

Василий подходит с сумочкой. Свой сверток он отдал машинисту.

Василий. Я очень, очень прошу прощенья. Но—совершенно непредвиденное — и очень спешное дело...

Голос *(с края платформы, пронзительный)*. Скачет, кто-то... Тройка. Смотри.

2-й Голос. Эка... наяривает! *(все обернули головы.)* Машет чего-то...

Топот подъезжающей во весь опор тройки. Затем на платформу кубарем вкатывается помещик—низенький, кругленький человек в дворянской, с красным околышем, фуражке: за ним взбирается грузная, рыхлая, растрепанная дама. Оба тащат узлы и чемоданы.

Помещик (*еще с края платформы кричит в надрыв*). Задержите поезд.

Хохот среди третьеклассников.

Голос. Ванька! Крепче хвост держи... уйдет.

Помещик *(тяжело переводит дух)*. Ну, Манюрочка, слава богу, поспели.

Жена (*зло*). Молчи, сглазишь еще. Всегда глáзишь. Тащи в вагон. Билеты потом...

Тащат, сломя голову, вещи. Новый взрыв хохота.

Начальник станции. Викентий Викентьевич. Куда? Не идет поезд.

Помещик *(пошатнулся, сел на узел).* То есть... как... Иван Дементьевич? Отправьте... Убьют.

Жена *(взвизгнула диким голосом).*

Генерал. Убьют? *(Пассажиры теснятся к помещику.)* Кто? Кто?

Помещик *(слов нет, только руками машет).*

Голос. Горит? Гляди, из-за лесу... Во, полыхает...

Жена *(плачет навзрыд).* На-а-ше. Ро-до-вое. При царице Екатерине жалованное... е... е. Завод ви-н-ный.

Голоса. Добрались. Не век у мужика на горбу сидеть...

Генерал *(наступает на помещика, перепуганный).* Кто, я вас спрашиваю?

Помещик. Мужики... Сенявинские... Как еще самих бог спас. Мы только из парка успели... а они на подводах... двадцать... тридцать... не сосчитать.

Волнение среди пассажиров. Говор.

Сановник. Далеко отсюда?

Начальник станции. Какое... версты три... *(волнение усиливается.)* Как бы в самом деле... *(быстро идет к машинисту, за ним валит часть пассажиров. Машинист на уговоры качает отрицательно головой).*

Помещик *(вытаскивает дрожащими руками деньги из бумажника).* Вези. Озолочу.

Машинист *(резко).* Ты себе озолоти... знаешь, какое место...

Голос *(с платформы).* Едут! *(толпа метнулась к краю, смотрит.)* С гармошкой, ей же бог. Отселе слышно.

Парень в бескозырке. Стронулся мир. А ну-кас и мы. *(растянул мех гармошки.)* Э-эх, жги.

Голос. Бросьте. Что Вы делаете. Еще наведете. *(паника на платформе.)*

Парень *(задорно).* Свернули. Сюда держат.

Женский визг, пассажиры I и II класса бросаются к вагонам, а частью к станционному зданию. Визжит придавленная чьей-то ногой собаченка. Третьеклассная публика столпилась у края платформы. Машинист смотрит, смеясь, с паровоза, в паровозной будке кочегар прилаживает красный флажок.

Генерал. Лидия Васильевна... вашу руку...

Кедрова *(отрицательно качает головой).* Я останусь.. Жакерия[1]. Это не каждый день бывает...

Генерал. Но это, простите, донкихотство. Смотреть...

Кедрова. Я не для того, чтоб... «смотреть», а для того, чтоб «видеть».

Генерал *(топчется на месте).* Они... знаете, что могут... стихия. Долг рыцарского служения женщине обязывает... настоять...

---

[1] Жакерия (франц. от имени «Жак») — стихийное крестьянское восстание.

Идемте. Капитан... вам тоже нельзя оставаться... Мундир для них... как... красное для быка... *(увидел красный флажок на паровозе, осатанел, затрясся.)* Мерзавцы. Смотрите. Красный.

Кедрова. Капитан может итти: он мне вовсе не нужен. *(Василию.)* А вы что же. *(Василий повел плечами.)* Ну! видите, господа... Ваша рыцарская совесть может быть совершенно спокойна... Идите, Жигмонт. Я — под надежной охраной.

Жигмонт *(закусив губы).* Охрана.

Кедрова. Но каким чудом вы знаете доброго старого Гюго? Да... Ведь... «Эрнани» [1] шел в Михайловском.... Все понятно.

Постепенно надвигается топот, стук колес, песня, взвизги гармоники.

Генерал. Лидия Васильевна, умоляю... Пока не совсем поздно. *(Сильнее затопал ногами.)* Я вынужден буду... по долгу присяги... *(Гул подъезжающих подвод совсем близко. Голоса.)* Для пользы службы. Капитан! Приказываю следовать. *(Оборвал на полуслове, бежит, путаясь шпорами.)*

Кедрова *(с вызовом).* Вы слышали приказ. Идите. Вы в самом деле рискуете, капитан гвардии, князь Жигмонт.

Жигмонт *(сквозь зубы, положив руку на эфес шашки.)* Простите, я не нуждаюсь в напоминаниях, кто я.

Наигрыш гармоники оборвался резко. Лязгая косами и вилами, подымаются на платформу крестьяне. Впереди—Панкрат—немолодой уже крестьянин, в бурке, обшитой золотым галуном, и в папахе.

Панкрат. Тройка здесь, — а хозяева где? В какую щель залезли, воши... Нукося, православные...

Начальник станции. Вам... что собственно, господа...

Голос. Слышишь, Панкрат. Как топоры взяли, сразу господами заделались.

Панкрат. Ладно. Ты нам тени не наводи. Куды его запрятал, ирода. Червем округу объел. Закрепостил округу... Мы ему — с процентом. *(Смотрит на Кедрову, Жигмонта и Василия, резко выделяющихся на фоне оставшейся на платформе третьеклассной публики.)* А это что за гуси-лебеди?

Начальник станции. Очень прошу вас, господа, без буйства.

Инвалид *(в солдатской фуражке, на деревянной ноге, протискивается сквозь толпу).* О чем разговор? Чего стали? Навались, братцы. Стеганем по вагончикам, то-то слизи распустится... Ась, красавица? *(Подмигнул Кедровой. Жигмонт вспыхнул. Выдвинулся вперед. Инвалид осклабился, злорадно и вызывающе. С издевкой стукнул деревяшкой, стал, выкатив глаза, во фронт.)* Виноват, ваше благородие, не заметил.

Жигмонт *(негромко).* Пойдемте, Лидия Васильевна.

Инвалид. Куда? Нет.. Ты постой... Мужицкого разговору не захотел? А ежели мы хочим. Ежели у меня к тебе вопрос.

Кедрова *(бледная, но очень спокойная).* Жигмонт... ради бога... спокойно...

---

[1] Пьеса В. Гюго, известного французского писателя.

Инвалид *(подступил ближе. Следом за ним ближе надвигается, взблескивая косами и топорами, толпа).* Стой-постой... Ты мне вот что скажи... Почему это я тебя на фронте не видел, ась? И еще мне, вот, ногу попортили... пулей... так сестра милосердия в палате морду от меня воротила... «Фу, от тебя пахнет»... так и загноили ногу, пропала... А офицеру в отдельной комнатке, грудки. *(Подставляя грудь.)* Ты мне, вот, и скажи: это порядок? Почему ты о двух ногах, а я — об одной. *(Оскалился.)* А что, ежели я сейчас тебе ногу— к чертям собачьим, а цацу твою за грудки? *(Василий быстро повернулся к инвалиду, раздвигая обступившую Кедрову и Жигмонта толпу. В толпе на слова инвалида гогот. Жигмонт отступил шаг назад и взялся за шашку.)*

Инвалид *(захохотал).* Испугал. А ну, посторонись, народ... Дай-ка косу. Я ему покажу селедкой махать... Даром, что калека... *(Крестьяне расступаются, широким кругом, очищая место. Кто-то подал инвалиду косу. Жигмонт вырвал из ножен шашку. Кедрова хочет что-то сказать, но губы шевелятся без звука.)*

Василий *(ровным и сильным голосом).* Стой. *(Отодвинул за плечо загораживавшего ему дорогу крестьянина.)*

Крестьянин. *(Занес косым взмахом топор. Кедрова подняла руки к голове.)* Ты что... о двух головах, барин.

Машинист *(с паровоза, раскатом голоса прикрывая гул толпы.)* Не тронь ребята. Свой. *(Сильное движение Кедровой.)*

Панкрат. Свой. То есть как? *(Смотрит внимательно на Василия. Василий кивнул, улыбаясь.)*

Панкрат. *(почтительно).* Стюдент, что ли?

Машинист *(засмеялся).* Ну, да. Подымай выше.

Василий *(подошел к Жигмонту).* Сдайте оружие и идите.

Жигмонт *(хрипло).* Оружие. Я?

Кедрова *(быстро кладет обе руки на руку Жигмонта).* Отдайте, Жигмонт... Это же не в бою... В самом деле,— стихия... *(Жигмонт колеблется, крестьяне следят, — злорадные улыбки на лицах.)* Отдать им— все равно, что утопить клинок в море... И потом *(быстро и тихо)*... ведь никто не узнает.

Жигмонт повел взглядом вокруг, — в самом деле кругом только сплошная крестьянская стена, да паровозная бригада смотрит с паровоза. Он разжал руку, инвалид перехватил на-лету падающую шашку. По рядам — гул и смех. Жигмонт лихорадочно отстегивает ножны и бросает.

Из толпы вывернулся поп с двустволкою на спине. Бросился к Василию.

Поп. Господин народный начальник... извините, как титуловать не знаю... по чину революционному, досель на ектениях только царей поминал. Прикажите меня отпустить... Не пастырское дело...

Панкрат. Куда, — жеребячья порода. Чтобы ежели что... тебя пороть в первую очередь... От нас живешь,— за нас и ответ держи! *(Василию.)* Мы ему — смекаешь и ружьишко повесили, чтоб все видели: с нами вместе воевал. *(Попу.)* Не рыпайся, а то прикажу— будешь в офицера пулять.

П о п *(в совершенном отчаянии стал на колени, руки к небу).* Господь бог Саваоф. Порази его...

П а н к р а т *(захохотал).* «Порази», паршивый чорт. Я тебе поражу. *(Василию.)* Правильно мы — попа под жабры.

В а с и л и й. Пустое дело... Таскай—не таскай, он все равно от вас открестится, ребята... Еще хуже: указывать будет: кто, что и как... На себя ж свидетеля во̀зите.

И н в а л и д. Донесет — на осине повесим, церковное дерево, на нем апостол Иуда удавился.

В а с и л и й. А вот жгете вы—зря. Свое ж жгете.

П а н к р а т. Свое. Себе не возьмешь. Отымут, небось, не удержишь.

В а с и л и й. Дружно, всей землей станете, — не отберут. В городах слышали — мы, рабочие *(Движение Кедровой и Жигмонта.)* против царя поднялись... Ежели теперь крестьянство дружно нажмет, всем миром — конец царю, а стало быть и помещикам.

Крестьяне тесно обступили В а с и л и я.

К р е с т ь я н и н. Куды... всем. У нас каждое село само по себе... Своего помещика жгет... А чтоб на сговор... Это как же?

2-й к р е с т ь я н и н. От нас до Вороньих Палок двенадцать верстов, до Требуньков—пятнадцать... А по уезду... *(Махнул рукой.)* Пойди тут, собери концы...

В а с и л и й. Становой собирает же.

2-й к р е с т ь я н и н. На то он — власть.

В а с и л и й. О том я и говорю. Свою власть ставьте. *(Гул по толпе, ряды сдвигаются плотнее.)* Становых, волостных, всех царских ставленников — долой. Собирайте сходы, выбирайте крестьянские комитеты, — по селам, волостям... по уездам. Свой порядок устанавливайте. Строгий порядок, чтобы каждый понял, как вольготно и радостно при народной власти жить.

П а н к р а т *(крутит головой).* Разгонют... Не совладаем.

В а с и л и й. Сегодня не совладаем — завтра наш верх будет... Теперь пошло, не остановишь, пока мы свое не возьмем, пока вся земля крестьянам не отойдет.

П а н к р а т. Слушай-ка... А ты бы с нами, а? А то мы, видишь ли, вслепую, ей богу... Меня, вот стюдентом обрядили *(распялил бурку),* а только какой я стюдент. Только что своим умом.

В а с и л и й. И своего хватит, не чужое дело делаешь. Опять же мир подсобит. В город ходоков пошлите, рабочие своего человека дадут... как мы с вами союзники.

П а н к р а т *(ухмыльнулся, однако покачал головой).* Далеко посылать. Пока суть да дело... Оставайся, право, а? Уж мы тебя уважим...

В а с и л и й. И рад бы, родной... да никак невозможно: в городе меня ждут.

Г о л о с *(с дороги).* Ребята. От Ольсуфьева графа имения подводы катят.

Инвалид *(взмахнул шашкой Жигмонта).* На переймы. *(Толпа бросается с платформы к телегам.)*

Панкрат *(Василию).* Ну, хоть насчет комитету поясни вразумительней.

Отходит с Василием, Василий говорит на ходу. Платформа быстро пустеет.

Голос. Панкрат. Где завяз? Иди, командуй.

Панкрат с Василием спускаются с платформы, стук колес отъезжающих телег, постепенно удаляющийся.

Кедрова *(тихо провожая глазами удаляющиеся подводы).* Жутко все-таки. *(Перевела взгляд на Жигмонта, увидела его искаженное лицо.)* Вам очень трудно, Жигмонт?

Жигмонт *(стиснул зубы).* Я сумею смыть это пятно... Я сведу с ними счеты...

Из вагонов, из станционного здания опять стали выбираться пассажиры Сначала — в одиночку, потом сплошным потоком.

Генерал *(прихрамывая, идет к Кедровой.)* Пронесло... саранчу. Лидия Васильевна — преклоняюсь. Героиня... Капитан! *(Протягивает руку для пожатия.)* Приятным долгом сочту сообщить вашему командиру полка о проявленном вами примерном мужестве...

Жигмонт нахмурился, взял под козырек, скосив глаза на Кедрову: ее лицо недвижно.

Подходит, тоже прихрамывая, сановник.

Генерал. Что же это, ваше высокопревосходительство — мужички-то ваши? «Опора престола». *(Сановник разводит руками.)* Пугачевщина! *(Кедровой.)* Верно я говорю?

Кедрова *(кивнула).* Да. Настоящая. Потому, что здесь и все Пугачевы и — ни одного самозванца.

Сановник. Расстреливать, расстреливать их надо... как бешеных сабак. А у нас, изволите видеть, с ними цацкаются... Царь совещание созывает, изволите видеть... как бы... обласкать...

Генерал *(вздохнул).* Д... да... А там и пропасть нетрудно... Ведь на волосок были, ваше высокопревосходительство.

Сановник *(убежденно).* И пропадем... В годину бури у кормила правления нужна твердая рука... А его величество... *(Развел руками.)* Мы погибаем, а он... со спиритами... столики крутит...

Генерал. Попущение божие... Вот ежели бы нам сейчас первого Николая, — он бы им прописал ижицу [1].

Отходят.

Василий, проводив крестьян, отошел к паровозу, грозит, смеясь пальцем машинисту. Тот, улыбаясь тоже, оправдывается. Кедрова видит это, резко отворачивается.

Кедрова. О чем вы думаете, Жигмонт?

Жигмонт. О Николаях — первом и втором.

Кедрова. А именно?

---

[1] Выражение «прописать ижицу» означало «задать», «взгреть».

Жигмонт *(глухо)*. Я сброшу этого выродка с трона.

Кедрова (*пораженная*). Что?

Жигмонт. Они правы... При нем мы погибли. Императорскому скипетру нужна железная рука. Такая рука — есть. Третий Николай. Николай Николаевич, великий князь. Этот сумеет выбить им зубы из пасти. В первую же ночь, когда я буду в дворцовом карауле...

Кедрова *(медленно)*. Я кажется, до сих пор... не знала Вас, Жигмонт...

Жигмонт *(наклонился к ней)*. Если я положу эту коронованную голову... в свадебную корзинку... что вы мне скажете?

Кедрова *(губы дрогнули брезгливой усмешкой)*. Вы, кажется, опять цитируете Эрнани... Только в собственном... вольном переводе.

Жигмонт. Не верите. Слово чести. В первую же ночь, когда Семеновский полк заступит внутренний караул...

По платформе проходит начальник станции с сигнальными флажками— зелеными и красным. Паровозная бригада заторопилась около паровоза. Василий поднимается на паровоз.

Пассажир *(бросился к начальнику станции.)* Отправлять будете?

Начальник станции. Нет, нет, господа... Паровоз один идет. *(Таинственно.)* Тут... большевик... из старших... Стачечный комитет приказал на паровозе в Питер доставить.

Пассажир. А поезд?

Начальник станции. О поезде будет дополнительно. *(Проходит к паровозу.)*

2-й пассажир *(первому)*. Что он сказал? *(Тот шепчет.)* Большевик. Почему только большевика?

Пассажирка *(мужу)*. Что? Только большевиков берут. Ну, что ж ты стал. Беги. Скажи, что ты большевик тоже...

Муж. А кто они такие... большевики?

Пассажирка. Почем я знаю. Не все ли равно, раз берут...

Пассажир *(стоящий рядом, услышал, просиял)*. Господи, вот... Женщина всегда... во всем. *(побежал опрометью к паровозу, в обгон мужу.)* Господа, господа... обождите. Я сейчас чемодан... Я ж большевик тоже...

По его следам ринулась целая толпа. Выкрики: «большевик»... «тоже»...

Машинист (*на паровозе, свесившись, машет рукой*). Места вам, господа, только в топке... Отойдите, пар даю...

В самом деле пар дан. Толпа отхлынула.

Пассажир. Бунтовщики. Вешать их надо.

Кедрова *(следившая за этой сценой, сдвинула брови и пошла к паровозу)*.

Жигмонт. Лидия Васильевна, куда?

Паровоз дал гудок.

Кедрова *(обернувшись, кинула Жигмонту)*. Я не могу больше дожидаться... Я рискую опоздать.

Жигмонт. Опоздать. К чему?

Кедрова. К премьере. *(подходит к паровозу, поставила ногу на ступеньку лестницы. Василию.)* Дайте мне руку.

Василий. Простите, но...

Кедрова. Вы, очевидно, не знаете, кто я... Я артистка...

Василий *(пожал плечами).* К сожалению... Я ничем не могу... В таком же положении, как вы — весь поезд, и делать исключения...

Кедрова *(вспыхнула).* Весь поезд. *(выпрямилась.)* Могу я быть вам чем-нибудь на пользу, Строитель?

Василий *(быстро наклонился).* Гильда. Вы — Кедрова?

Кедрова. Да.

Василий *(протягивает руку.)* Подымайтесь. Таланту у нас всегда найдется место. *(засмеялся.)* Пока, правда, только на паровозе.

Кедрова *(засмеялась тоже.)* Но... это же паровоз истории.

Поднимается при помощи Василия и кочегара. Начальник станции махнул зеленым флажком.

Машинист. Обознался. Красным давай.

Начальник станции торопливо развертывает красный флажок. Паровоз трогается с места, дав долгий, торжествующий гудок.

*

Расправа

(Отрывки из повести «Откровенные рассказы полковника Платова о знакомых и даже родственниках»)

Штыки

«Подходя к Сортировочной, поезд замедлил ход. Высунувшись из окна, Грабов[1] увидел: по забитым товарными составами путям сновали люди, у путей вереницами стояли подводы. Из раскрытых, распахнутых, разбитых вагонов крестьяне, весело перекликаясь, выкидывали тяжелые мучные мешки. Мертва́го[1] усмехнулся всегдашней своей добродушной улыбкой.

— Пользуются... мужички. Нынче ведь недород был, пейзане в подмосковных с голоду мрут, говорят. А тут — такой случай: сколько добра без присмотра. Смотри, что делается... Как на базаре, честное слово. Вот стервы!

Тормоза зашипели. Вагон стал. Майер[1] негромко скомандовал:

— По грабителям... Прицельный огонь... На выбор.

— А ну...—Мертва́го откинулся назад и взял винтовку у ближайшего солдата.

[1] Фамилии офицеров

— Грабов, пукнем? Покажем класс?

Грабов тоже взял винтовку. У соседних окон щелкали затворы.

— Во-он... кривенького... видишь?

Кривенький мужичонка, в рваном зипуне и лаптях, спускался с насыпи, шатаясь и приседая под тяжестью огромного мешка. Мешок был прорван, из дыры сыпалась, тонкой струйкой при каждом встряхе, мука. Мужик волочил его, к дровням, запряженным таким же кривеньким, тощим и лохматым коньком.

— Шалишь, браток — благодушно сказал Мертваго. — Я — лошадку, Грабов.

Он нажал спуск. Клячонка испуганно крякнула, приподняла перед, точно собиралась — в первый раз в жизни — стать на дыбы, и грузно рухнула. Мужик взмахнул руками, выпустив мешок, и, спотыкаясь, побежал к лошади.

— Грабов! Бе-ре-ги!

Выстрел ударил. Мужик ткнулся с размаху лицом в лохматую шерсть. Грабов отдал винтовку и посторонился.

— Ну-ка, Михеев... Вот того... в кацавейке...

— Беглый огонь!—отрывисто крикнул от крайнего окна ротный.— Уходят... Пачками!

Подводы уходили вскачь. По всем направлениям, по путаным, скользким, снегом закрытым путям, прячась под вагонами, разбегались люди в зипунах, армяках и рваных нелепых шапках...

. . . .

Выводя свой взвод на платформу в Перово, Грабов увидел кучку людей в вольной одежде, плотно охваченную штыками. Перед ней стоял Риман[1]. Он окликнул Грабова. Остановив взвод, поручик подошел.

Риман указал на кучку.

— Возьмите двоих и — распорядитесь.

— Которых? — спросил Грабов...

— Вас затрудняет определить, кто из них наиболее виновен?

В голосе Римана Грабову послышалась опасная нотка. Он поспешил ответить:

— Никак нет, — и шагнул к кучке, вглядываясь в лица.

«Так вот они какие, рабочие...»

Прямо в упор глядели глаза: холодные, глубокие... чужие, потому что — ни одной его, грабовской, черты в этих лицах. Вражьи.

Он стиснул зубы, со злобой. Только сейчас он понял...

Голос Римана проговорил жестко:

— Вы еще долго, поручик?

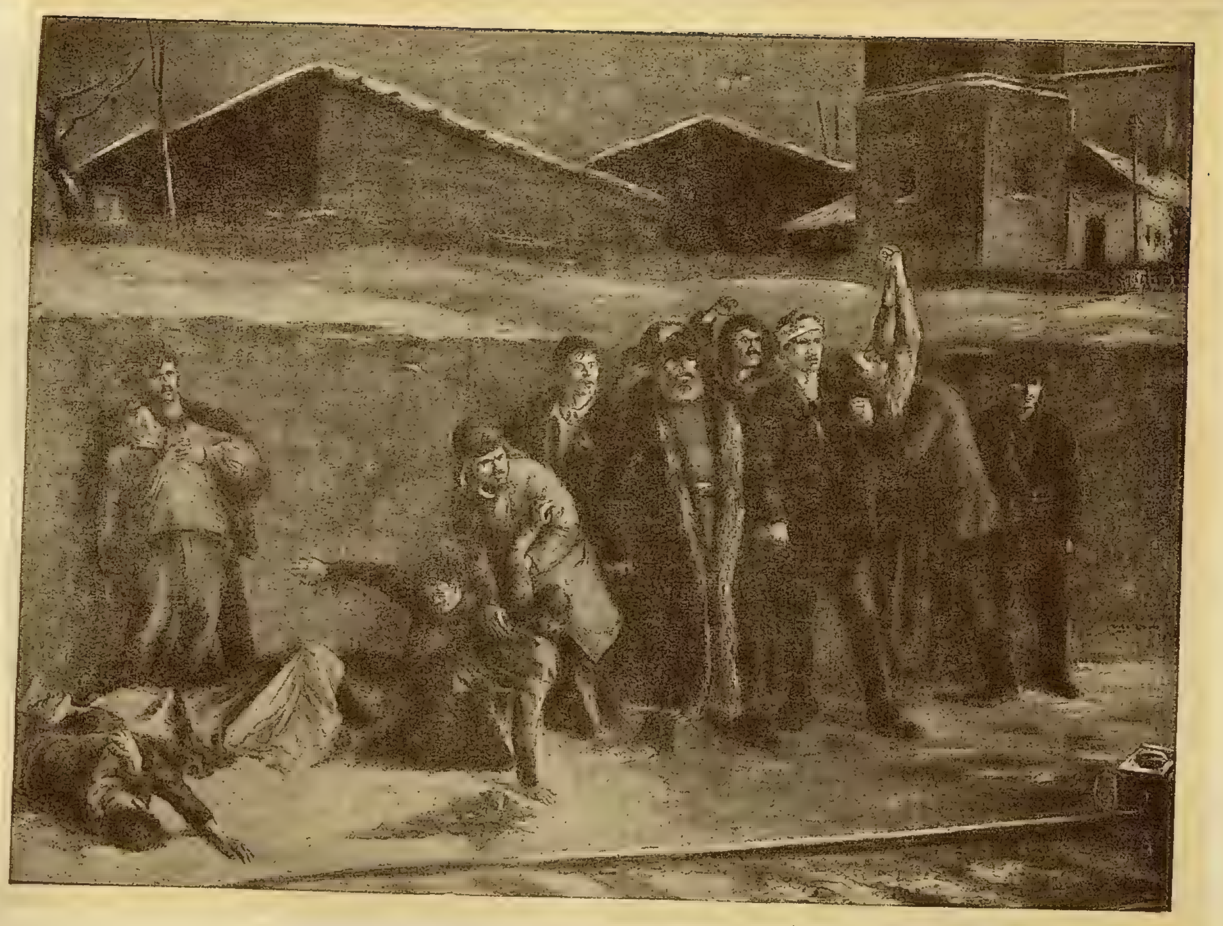
Грабов вытянул руку и схватил за бороду человека, смотревшего на него, как ему показалось — спокойнее других. Человек коротким и сильным взмахом отбил руку. Риман засмеялся.

У Грабова потемнело в глазах. Он отступил на шаг и выкрикнул хрипло:

— Взвод! Ко мне... Коли!

---

[1] Начальник карательного отряда.



Шегаль — Расстрел — Гос. Третьяковская галлерея

Арестованные шарахнулись назад. Только двое остались. Тот, бородатый, и — рядом с ним — седой высокий старик. Грабов обернулся: шеренга взвода придвинулась к нему вплотную, колыша над плечами винтовки... Но ни один не взял «на руку» на изготовку к удару.

— В штыки! — повторил Грабов и задрожавшей рукой потянул шашку из ножен. Никто не двинулся. Поручик увидел, как сквозь туман, бледное напряженное лицо Римана, застывшие фигуры офицеров. И вдвинул безнадежным движением шашку назад.

— Отойдите в сторону, поручик. Вы мешаете людям исполнять вашу команду.

Не вынимая рук из карманов, Риман неторопливо шагнул и стал у правого фланга взвода.

— Бондарчук, Сидоров... Шаг вперед.

Два унтер-офицера, дрогнув, отделились от шеренги. Риман кивнул, не глядя, на стоявших рабочих.

— Коли!

Бондарчук побагровел, выкатил глаза... оттянул винтовку назад, совсем не по-уставному перехватив левой рукою ствол у самого дула и ударил бородатого в середину груди, под ложечку. Рабочий шатнулся назад, справился и поймал дрожащими, но упорными, черными пальцами штык. Унтер-офицер отскочил, выворачивая винтовку, и тяжелым — на этот раз уставным — ударом всадил оружие под полу короткого полушубка, в живот. Бородатый согнулся и сел. Рядом топнул, нескладным выпадом, Сидоров и тотчас, взметнув винтовку прикладом вверх ударил вторично, уже в лежащего. Бондарчук повторил его прием. Звонко ударил о камень сорвавшийся — с удара в череп — окровавленный штык...

— Отставить... Люди вашего взвода не умеют колоть, поручик Грабов! — раздельно проговорил Риман, — и вы понапрасну горячите людей. Сдайте командование взводом подпоручику Миниху. По возвращении из похода — пятнадцать суток ареста.

Он перевел глаза на арестованных.

— Этих двух... стоило бы бросить подыхать собачьей смертью, которую они заслужили. Но, так и быть, по христианскому милосердию...

Он вынул револьвер из расстегнутой уже кобуры и, быстрым движением, уверенным и твердым, выстрелил в голову старику. Бородатый метался, полковник не мог сразу поймать его на мушку. Досадливо хмурясь, он наклонился, поймал дулом висок и нажал спуск. Выпрямился и, опустив револьвер в кобуру, брезгливо сдернул с рук забрызганную белую замшевую перчатку.

— Капитан Тимрот! Выведите арестованных за станцию. Для быстроты — расстрелять, хотя на них и жаль портить патроны. Остальные роты—к посадке. Горнист! Играй сбор.

Стемнело быстро. Когда пришли в Люберцы (пять часов тридцать), была тьма. Солдаты соскочили на ходу, оцепляя станцию. Станционное здание оказалось пустым. В конторе в углу нашли два свернутых красных флага с белыми нашитыми надписями:

— Да здравствует революция!

— Да здравствует социальная республика!

а в телеграфной комнате, на просиженном, просаленном диване — гитару с голубым бантом. Но людей — никого: ни в телеграфной, ни в конторе. И ни огня — нигде.

— Почуяли, дьяволы.

Риман выругался шопотом, сквозь зубы. И шопотом отдал приказание:

— Не обнаруживать себя ничем до утра: темень адова — сейчас никуда не тронешься, а по списку охранного отделения здесь, в Люберцах, главная шайка. Огней не зажигать. На платформе не курить.

— А как же с ужином людям... ежели не топить кухни...

— Попостятся ночь—на утро злее будут,—раздражительно сказал Риман. Собак перед охотой не кормят.

— Господам офицерам прикажете выдать консервы?

— Офицерам? Конечно. Но — без огня, я сказал. И особо подтвердить нижним чинам, стоящим в охранении: спрятаться за закрытиями, пропускать на станцию всех, со станции — никого.

Девушка

За ужином, если можно назвать ужином выковыривание из прогнутых жестяных банок лохмотьев вареного мяса, мерзлого гороха и сала (по чьему-то недосмотру консервы оказались солдатские, притом еще военной 1878 г. заготовки), выпито было, строго говоря, больше чем допустимо в обстановке военного времени. К тому же — флотская мадера, специально заграничного заказа, но собственного разлива, с адреевским флагом на ярлыке оказалась на этот раз как-то особенно бронебойной.

Грабов пил больше других, глуша щемящую обиду. Его походка была поэтому не слишком тверда, когда он спустился на станционную платформу, освежиться перед сном. С ним вместе вышел Мертва́го, его тоже разморило от мадеры: безудержно клонило ко сну, а лечь он не мог, так как отбывал дежурство.

Ночь была темная: сквозь густой морозный туман едва проступали белесые контуры низкого станционного здания, черная застылая вереница вагонов. Молча, держась под руку, заботливо поддерживая друг друга на скользких местах, офицеры зашагали по платформе. Она казалась совершенно пустой: часовые стояли за прикрытиями, дежурный взвод в телеграфной комнате не выдавал себя ни звуком, ни шорохом. Дойдя до хвоста эшелона, Грабов внезапно попытался сесть, но Мертва́го не дал и завернул поручика обратно, налево кругом. В этот самый момент дошел до слуха хруст снега, и голос женский, низкий, грудной окликнул негромко:

— Это какой поезд?

Из окрестной мглы выдвинулась женская укутанная фигура; увидев офицеров, женщина шатнулась назад, но сзади, засекая путь, выросла плечистая солдатская тень, черным блеском взблеснул

штык. Грабов толкнул плечом Мертвáго и пошел к женщине, широко растопырив руки, — как дети, когда они играют в коршуна:

«Ах, попалась, птичка, стой!
Не уйдешь из сети.
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете».

— Легче, Грабов, — предостерегающе окликнул Мертвáго.

Он подошел следом за ним, в упор присматриваясь. Нет, ничего интересного: обыкновенное, — пройдешь, не заметишь, — девичье лицо, худощавое, тонкобровое, под черным, плотно окутавшим голову, платком. Полушубок. Валенки.

Грабов стал твердо и взял под козырек.

— Вам угодно ознакомиться с поездом, сударыня? К вашим услугам. Пожалуйте.

— Я вышла пройтись, сказала девушка, оправляя варежку на левой руке. Вижу поезд. Поезда же не ходят... Что же странного, что я спросила?..

— Странного в жизни вообще ничего нет, — механически сказал поручик...

Он рассмеялся визгливым, нетрезвым смехом.

— Оружия при вас нет?

Не дожидаясь ответа, он засунул руку под борт ее полушубка, уверенным привычным движением расстегивая крючки. Жадные пальцы поползли по груди. Грудь была маленькая и упругая. Грабов задышал тяжело. Девушка рванулась.

— Не смейте...

. . . .

В купе Римана было так же темно, как и во всем поезде. Он спал одетый и тотчас же разрешил ввести арестованную.

— Кто?

Девушка ответила, чуть вздрогнувшим — на сухой и резкий оклик—голосом:

— Учительница здешней школы. То-есть... правильней: помощница учительницы.

— Фамилия?

— Мария Званцева.

Блеснул низко, лучом к полу огонь потайного фонарика. Риман, нагнувшись зашелестел бумагой, он развернул список.

— Званцева? А не Рейн, Анна?

Голос низкий, грудной ответил:

— Нет. Это — старшая учительница; я — помощница.

Круглый выпуклый глаз фонаря быстро взметнулся в лицо девушки, под брови. Она зажмурилась.

— Смотрите, смотреть потрудитесь,—отчеканил Риман.—Глаза — документ. Я по этому документу читаю. Та-ак-с...

Желтый, едкий, световой луч мигнул и погас. Опять темно. Темнее, чем было.

— Та-а-а-к...—повторил Риман, и в растяжистом звуке была на этот раз явная колючая насмешка.—Значит—учите? В школе? Сопляков?

А, случайно, не... взрослых? По завету нашего великого поэта Некрасова... «Сейте разумное, доброе, вечное»... «Вставай, подымайся, рабочий народ»...

И опять круглый желтый глаз ударил лучом в лицо.

— Не морщитесь. Учительница — и боится света. Ясно: вы не учительница. В предъявленном вами документе я читаю: вы лазутчик этих... слесарей, желающих управлять, если не Россией, то полустанком Люберцы...

Кто-то засмеялся в темном углу сочувственно и визгливо.

— Вы зашли очень кстати, — продолжал Риман.—Ваши друзья уклоняются от встречи с нами, а мне оч-чень хочется познакомиться... Назовем, au hasard[1]: Быстров, Малиновский, Козлинский, Моисеев... Не посоветуете ли, где их найти?

— Я не помню таких фамилий...

— Не помните? — Риман встал.—Как же так? У учительницы должна быть хорошая память. Так-таки никого? Ну, по крайней мере—Ухтомского-то вы наверное, помните... все говорят: видный мужчина... Машинист Ухтомский, Алексей... Нет? Невероятно. Вся Москва знает, а вы, местная жительница, не слышали.

— Вы можете издеваться, сколько вам угодно...—начала девушка, но Риман перебил:

— Издеваться? Храни бог. Рыцарское отношение к женщине — первый долг дворянина и офицера. Но вам должно быть известно, милая девица, что там, где ступила нога семеновца — военное положение. А стало-быть за шпионство уже само по себе — не считая вашего прошлого...

— Какого прошлого?

— Вам и нам известного, — оборвал Риман — за шпионство, я говорю, расстрел. По совокупности — можем поднять на штыки. Сильное, но... довольно неприятное ощущение, смею заверить... Единственный способ сохранить жизнь: чистосердечное признание. Мы не требовательны. У меня в списке — сотня имен, включая ваше...

— Званцева?

— Не Званцева, а Рейн... Госпожа Рейн. Вы нам укажете, где искать названных мною господ и других, кого припомните по списку. Срок — до рассвета. Поручик Мертва́го!

Поручик вздрогнул. Он стоял у двери, привалившись к ней плечом. Мадера сказывалась; в теплом купе его опять разморила дремота, заволакивала мозг.

— Возьмите эту девицу...

— Слушаюсь,—сказал, вытягиваясь, Мертва́го. Голос, из темного угла, проговорил глумливо:

— В таких случаях надо говорить—рад стараться.

— Займите крайнее купе. Вот список. Опросите по всему списку. Действуйте... по усмотрению и — будьте убедительны. Я надеюсь на ваше красноречие.

. . . .

---

[1] Здесь—«на выбор».

— Бросьте упрямиться, мадмуазель. Это же ни к чему не приведет, вы сами видите... Многого я не прошу: шепните, кто здесь больше буянил: не можете же вы этого не знать. Записывать я не буду — о разговоре нашем никто не узнает, никто на вас не подумает... да и некому будет подумать: ведь все равно ваших всех переловят и перевешают... Ничего в их судьбе ваше показание не переменит...

Совесть может быть совсем покойна... Смерть — на штыках—это долго и больно... зачем? Вы, ведь, еще молодая совсем? Вы даже замуж еще можете выйти...

Девушка молчала. Сонный и безразличный голос Мертва́го убаюкивал его самого. Опухшие красные веки упрямо наползали на глаза. Ну, так и есть: ничего не выходит.

Мертва́го встряхнул головой. Мелькнувшая в заволоченном дремой мозгу мысль показалась блестящей: конечно, именно так. Ведь срок—до рассвета.

Он открыл дверь купе. Часовой брякнул винтовкой. Поручик присмотрелся к широкому бородатому лицу и невольно поморщился. Лицо это он помнил: рядовой 14-й роты—Названов...Незванов... что-то в таком роде... Летом, в лагерях, он этому Незванову дал в зубы за небрежное отдание чести...

— Вот что, братец, — сказал Мертва́го, мягко, но вместе с тем строго. — Ты когда сменяешься?

— В три часа, вашбродь.

Мертва́го покивал отвисшими своими щеками.

— Так вот. Видишь: арестованная. Смотри за ней в оба: ты за нее отвечаешь головой. Я пока приостановлю допрос: устал за день, подремлю немного. Перед сменой разбуди. Я продолжу.

— Слушаю, вашбродь...

Мертва́го посулил солдату пятерку... куме на платок и скоро крепко заснул.

Он проснулся от осторожного прикосновения и мгновенно открыл глаза.

Над ним наклонился ефрейтор Незванов, Названов... как его...

— Смена?

— Так точно. Приказывали разбудить...

— Можешь итти. Спасибо.

Солдат повернулся четко, налево кругом. Поручик лениво повел глазами по купе, и вздрогнул. Девушки не было.

Почудилось со сна? Нет. Пусто.

Он крикнул в дверь, сдавленным криком, потому что за горло что-то держало.

— Где арестованная?

Солдат, с порога, глянул удивленно.

— По вашему приказанию...

Мертва́го поморгал ресницами.

— Какому приказанию?

— Изволили приказать... В поле на снег, и — прикладом...

— Убил?—Мертва́го взялся за грудь; сердце замерло радостно—

перед тем, как свалить с себя тяжесть. Солдат шевельнул штыком и голос его зазвучал совсем уже недоуменно.

— Никак нет... Вы приказали: в поле, прикладом под... виноват, вашброд... и ко всем дьяволам...

Поручик похолодел...

— Ты врешь,— сказал он раздельно и вплотную придвинулся к солдату.— Ничего подобного я приказать не мог. Ты под суд, под расстрел пойдешь, каналья.

— Никак нет,—твердо ответил ефрейтор.— Я засомневался, прямо сказать: кликнул Парамонова и Вазюкина — они со мной одной смены — вы при них изволили повторить. Под присягой покажут.

Мертва́го поднял фонарь к лицу солдата. Глаза смотрели уверенно и открыто..., но в глубине зрачков поручик видел ясно— злорадно шевелились змейки. Он подумал с тоскою.

— Стакнулись мерзавцы. Потопят. И крыть нечем. Не тем же, что на дежурстве, в боевой обстановке, при арестованной спал.

Тихо рокоча, отодвинулась дальняя дверка. В коридор вышел Риман. Часовой застыл, сразу опознав фигуру командира. Мертва́го поспешно задвинул дверь своего купе. Но Риман окликнул:

— Поручик Мертва́го? Ну, как дела?

Он подошел к поручику обычным своим неторопливым шагом. Мертва́го сказал, с трудом ворочая языком:

— Разрешите доложить... Арестованная указала на допросе дом... здесь в поселке... где, по ее заверению, сегодня ночуют все главари... Я взял, немедля, Названова...

— Этого? Это — Наживин, — поправил Риман. — Надо знать людей своего батальона, поручик.

— Виноват, господин полковник, оговорился... Наживина, Парамонова и Вазюкина — и с ними отправился, захватив арестованную.

Риман движением руки остановил Мертва́го.

— Инициатива — прекрасное дело, поручик. Но почему вы не доложили мне? И не вызвали дежурного взвода?

— Для пользы службы,— проговорил запинаясь поручик, — я полагал священным долгом дать вам отдохнуть хоть час, господин полковник. Судьбы экспедиции... Что касается взвода, — смею заверить: трех семеновцев вашей выучки—вполне довольно...

Риман погрозил пальцем.

— Не хотели делиться успехом?.. Одному поймать фортуну за волосы... Вы—игрок, Мертва́го, я знаю: в тактике—это не годится. Но смелость—всегда смелость... Продолжайте... Девушка вас обманула, конечно...

— Так точно,—с искренним остервенением отозвался поручик,— более того: она попыталась бежать и солдаты прикладами...

— Убили? — Риман пожевал сухими своими губами. Жаль. Я готов поклясться, что это именно Рейн, главная здешняя агитаторша: у нее в школе митинговали без передышки. Повесить ее было бы помпезней.

★

Примечания к первой части

Андерсен, Ганс-Христиан (1805 — 1875). Известный датский поэт-сказочник. Отец его бедняк - сапожник был отличным рассказчиком и знал много народных песен и сказаний. Мать служила в больнице для душевно-больных. «Песни отца и речи сумасшедших сделали меня сказочником», — говорил потом А. Неиссякаемую фантазию и светлый юмор А. очень ценил Диккенс. Мастерство и простота сюжетов сказок и новелл А. снискали ему широкую популярность во всем мире. Сказки А. переведены на 19 языков. Новелла «Чудо-конь» является результатом поездки автора по первой в Германии железной дороге Магдебург — Дрезден в 1840 г.

Гейне, Генрих (1797 — 1856). Знаменитый немецкий поэт-лирик, сатирик и публицист. Как еврей Г. познал всю горечь национального угнетения и гонений. В своем творчестве Г. примыкал и к романтикам, и к реалистам. Как участник тайного общества «Молодая Германия» был вынужден покинуть родину и на всю жизнь остаться изгнанником. К 1844 г. Г. сблизился с К. Марксом, под влиянием которого написал такие произведения, как «Песнь ткачей» и «Германия», где ярко звучит призыв к революционной борьбе. Печатаемое стихотворение принадлежит к циклу политических сатир Г.

Диккенс, Чарльз (1812 — 1870). Знаменитый английский писатель - реалист. Родился в бедной семье и рано начал самостоятельную жизнь. Литературную известность дал ему сатирический роман «Записки Пиквикского клуба». Д. блестяще описал быт и нравы буржуазной Англии своего времени («Оливер Твист», «Николай Никльби», «Давид Копперфильд» и др. романы). Хорошо зная жизнь городской бедноты, он почерпнул из этого источника немало сюжетов. К этому циклу и относится рассказ «Станция Мегби», рисующий труд и быт железнодорожников старой Англии. В печатаемом отрывке хорошо охарактеризован типичный машинист первых локомотивов.

Добролюбов, Николай Александрович (1836 — 1861). Знаменитый публицист и критик, соратник Н. Г. Чернышевского. Один из выдающихся вождей русского левого демократизма пятидесятых годов прошлого столетия. Тяжелый недуг унес его в могилу совсем молодым. Д. писал и стихи, преимущественно сатирические. Печатаемое стихотворение «В прусском вагоне» было написано под свежим впечатлением заграничной поездки Д. в мае 1860 г. и носит характер политического памфлета.

Некрасов, Николай Алексеевич (1821 — 1877). Замечательный поэт-демократ, отразивший в своем творчестве ужасное положение русского трудового народа, закабаленного крепостничеством. Его поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Орина-мать солдатская», «Мороз-красный нос» и другие читались нарасхват и сыграли огромную революционизирующую роль. Изображая народ угнетенным и страдающим, Н. неизменно подчеркивал духовную мощь, ум и стойкость трудового люда, его способность к протесту и борьбе. Н. жестоко преследовало самодержавие. Помещаемое стихотворение «Железная дорога» изображает тяжкую долю строителей б. Николаевской дороги. Цензура в свое

время признавала стихотворение «зловредным», но Н. ухитрился (хотя и в урезанном виде) поместить его в «Современнике».

Берт Брехт (р. 1891). Немецкий беллетрист и поэт-драматург. Из крупных произведений его наиболее известен роман «Опера нищих». Печатаемое стихотворение рисует тяжелый труд строителей железной дороги в Огайо (Америка)...

Салтыков (Щедрин), Михаил Евграфович (1826 — 1889). Великий русский сатирик. Происходил из родовитой дворянской семьи, занимал видные административные посты, что дало ему возможность досконально изучить нравы бюрократического строя. За первую же свою повесть «Запутанное дело» был сослан в Вятку. Увлеченный вначале идеями утопического социализма, Салтыков впоследствии перешел в лагерь революционного демократизма. Выйдя в отставку, целиком посвятил себя литературной работе. Был одним из руководителей «Современника» и редактировал «Отечественные записки». В своих произведениях С. дал беспощадную, обличительную критику чиновничьей, крепостной России, беззубого либерализма с его «разнообразными веяниями», дворянства и «чумазых» новых капиталистов.

В сборнике помещен отрывок из «Пестрых писем» С., где дан замечательный потрет инженера-путейца Стрелова, взяточника и казнокрада.

Слепцов, Василий Алексеевич (1836 — 1878). Писатель, выразитель настроений радикальной интеллигенции 60-х годов. Был близок с Некрасовым, Салтыковым-Щедриным. Ходил в народ. Из его произведений большой известностью пользовался роман «Трудное время», очерки об осташковцах и «Владимирка и Клязьма». Печатаемый в сборнике художественный очерк: «На железной дороге» описывает железнодорожную поездку, а отрывок из цикла статей и очерков «Владимирка и Клязьма» — правдиво рассказывает о тяжелой доле русских рабочих на постройке Московско-Нижегородской железной дороги, которой руководили французы. С. умер в нужде.

Гарин (Михайловский), Николай Георгиевич (1852 — 1906) Беллетрист. Окончил Петербурский институт инженеров путей сообщения и всю жизнь не оставлял работы инженера-путейца. Его произведения «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» носят автобиографический характер и ярко рисуют быт и нравы тогдашнего общества. Печатаемый отрывок из романа «Инженеры» правдиво описывает первые шаги молодого инженера семидесятых годов. Рассказ «На практике» посвящен переживаниям студента из «хорошей семьи», впервые столкнувшегося с тяжелыми условиями труда на железных дорогах. Г. хорошо знал Горький, оставивший о нем интересные воспоминания.

Вебер, Макс. Немецкий беллетрист конца XIX века. Печатаемый рассказ красочно изображает ужасные условия труда немецких железнодорожников 60-х годов.

Успенский, Глеб Иванович (1843 — 1902). Писатель-разночинец, связанный с революционными демократами 60-х годов. Очерки «Разорение», отрывки из которых помещаются в сборнике, рисуют тусклый и тяжелый быт мещанства. Обывателям противопоставлена в очерках фигура Михаила Ивановича, уволенного с завода рабочего, неутомимо протестующего против существующих порядков и всяческих «прижимок». Железная дорога, о которой идет речь в печатаемом отрывке, была впервые открыта для движения в 1867 г. Кроме «Разорение» широкую известность приобрели очерки У. «Нравы Растеряевой улицы», описывающие современную писателю Тулу, а также «Власть земли» и «Крестьянский труд». Скончался У. в сумасшедшем доме, где провел последние 9 лет жизни.

Серафимович, Александр Серафимович (р. 1863). Известный советский писатель-коммунист. Дважды награжден орденом. Из произведений, написанных после Октября, наибольшую популярность приобрела повесть «Железный поток». Все творчество С. и до революции было проникнуто ярким революционным духом. Особенно хорошо знал и изображал С. рабочую жизнь, в частности труд и быт железнодорожников. В сборнике помещены лучшие рассказы С. из этого цикла: «Стрелочник», «Паровоз Б. 314» и др. Отрывок из рассказа «Никита» правдиво рисует злоключения крестьянина из голодающей деревни, отправившегося в далекие края на заработки. Отрывки из романа «Город в степи» рассказывают о первых революционных вспышках среди рабочих

на железнодорожном строительстве. Материалом для этого романа послужила постройка железной дороги Тихорецкая — Царицын.

Золя, Эмиль (1840 — 1902). Один из крупнейших французских писателей XIX века. Творчество З. носит ярко реалистический характер. В своих многочисленных произведениях З. ярко показал нравы современного ему буржуазного общества (романы из цикла «Ругон-Маккары»), жуткие противоречия капиталистического строя («Лурд» «Париж»). Многие романы почти целиком посвящены жизни городской бедноты («Утроба Парижа») и рабочих («Жерминаль», «Человек-зверь»). В сборнике помещается отрывок из романа «Человек-зверь», где писатель с большой художественной силой рисует тяжелые условия труда и быт железнодорожников Франции.

Шолом Алейхем (1859 — 1916). Псевдоним одного из крупнейших еврейских писателей Ш. Рабиновича. Будучи исключительным знатоком быта и нравов еврейского местечка былой «черты оседлости», Ш. А. сумел подняться в своем творчестве выше рядового бытописательства, доходя до больших художественных обобщений. В этом смысле особенно характерен образ бедняка Тевье-молочника, сочетающего в себе лучшие черты подлинного сына народа — ум, сердечность, безграничное терпение и стойкость в борьбе. Юмор, мастерство формы и превосходный язык создали Ш. А. широкую популярность. Ш. А. и до революции переводили на русский язык. Печатаемый в сборнике рассказ типичен для «местечковых» новелл писателя.

Полонский, Яков Петрович (1819 —1898). Поэт-лирик. Яркий представитель либеральных тенденций в русской поэзии второй половины XIX века. Из произведений П. наибольшую известность получила поэма «Кузнечик-музыкант», стихотворение «Орел и змея» и др. Печатаемое стихотворение очень характерно для настроений либеральной интеллигенции 60-х годов.

Чехов, Антон Павлович (1860 — 1904). Один из величайших русских писателей новеллист и драматург. Творчество Ч. ярко отразило полосу «безвременья», подавленность интеллигенции, уходившей от гнета реакции в «футляр» скучного провинциального быта. С непревзойденным юмором Ч. нещадно бичевал «хмурых людей», обывателей, мещан. Среди печатаемых в сборнике произведений Ч. особенно характерен рассказ «Холодная кровь», рисующий разлагающую обстановку и нравы, царившие на дореволюционных железных дорогах. Остальные рассказы дают зарисовки современных Ч. железнодорожников, а рассказ «Злоумышленник» характеризует отношение темной деревни к городской культуре вообще и к железной дороге, в частности.

Гаршин, Всеволод Михайлович (1855 — 1886). Талантливый писатель. Из его немногочисленных произведений особенной популярностью пользовались рассказы: «Четыре дня» (о солдате, раненом и забытом на поле битвы), «Красный цветок» (героем которого является душевно больной человек) и печатаемый рассказ «Сигнал», написанный в 70-х годах прошлого столетия. Г. просто и сильно рисует труд железнодорожников своего времени. Затравленный преследованиями Г. в припадке нервного расстройства покончил с собой, бросившись в пролет лестницы с четвертого этажа.

Темный, Николай Артемьевич (1868 — 1910). Псевдоним писателя Лазарева—выходца из крестьян. Лазарев прожил тяжелую жизнь, много работал простым рабочим. Хорошо зная тогдашнюю рабочую среду и в частности быт железнодорожников (служил смазчиком), дал ряд зарисовок железнодорожных нравов и трудового быта русских рабочих и служащих. Оба помещаемых рассказа «Охота» и «Докладная записка» написаны на эту тему.

Горький (Пешков), Алексей Максимович (1868 — 1936). Великий пролетарский писатель, выходец из народа. Девяти лет ушел в люди. Тяжелая борьба за существование, нескончаемые скитания дали ему блестящий материал для творчества. В 1892 г. в Тифлисе в газете «Кавказ» был помещен его первый рассказ «Макар Чудра», а уже в 1900 г. Горький был признанным и любимым писателем. Огромный талант, ярко выраженная революционность его произведений и смелые политические выступления вызвали репрессии. Г. неоднократно арестовывали, он отбыл заключение в крепости и, наконец, в 1906 г. был вынужден уехать за границу. С 1901 г. Г. сближается с лучшей частью социал-демократии, группировавшейся вокруг «Искры», руководимой Лениным. Личная дружба с Лениным и его выдающимися соратниками предопределила весь дальнейший

творческий и жизненный путь Г. Он ведет за границей партийную работу, открыто помогает партии большевиков, создает ряд замечательных произведений, на которых учится тогдашнее революционное подполье. С начала Октябрьской революции Г. работает вместе с большевиками в качестве ближайшего друга Ленина и Сталина. После вынужденного болезнью перерыва, в течение которого Г. пришлось жить и лечиться за границей, он вновь возвращается в СССР и здесь весь уходит в работу, участвуя как литератор и как политический деятель в социалистическом строительстве. Яркие антифашистские выступления Г., его огромная популярность среди трудящихся всего мира вызвали к нему дикую ненависть фашистских кругов и их агентуры в советской стране. В 1936 г. Г. был предательски умерщвлен убийцами из троцкистско-бухаринской банды, разоблаченной и расстрелянной впоследствии. Творчество Г. вошло в сокровищницу мировой литературы. Он дал потрясающую картину прошлой России — «страны уездной», показал страшную, нелепую жизнь обывательщины и мещанства, беспросветный тяжкий труд рабочих («Детство», «В людях», «Мои университеты», «Городок Окуров» и др.). Г. создал замечательные образы российских капиталистов («Матвей Кожемякин», «Фома Гордеев», «Егор Булычев— и другие», «Дело Артамоновых»). Г. написаны небывалые по силе революционного воздействия на массы произведения («Враги» «9 января», «Мать»). Он изобразил совершенно новый мир российского «дна» — бывших людей — стихийных бунтарей против бессмыслицы и гнета тогдашней жизни («На дне», «Бывшие люди», «Мальва» и др.) Г. нарисовал целую эпопею общественной жизни России за 40 лет («Жизнь Клима Самгина»).

Печатаемые рассказы «Скуки ради» (полностью) и «Сторож» (в отрывках) с исключительной силой изображают дикие нравы былого российского захолустья и в частности —маленькой станции. В сборнике помещен также отрывок из замечательной повести «Мать».

О' Генри (1862 — 1910). Псевдоним Вильяма Сиднея Портера — американского писателя, замечательного мастера маленького рассказа. Писать стал в тюрьме, куда был заключен, став жертвой банковских махинаций (О' Г. служил в банке). Успех его рассказов был совершенно исключителен, хотя писательской деятельностью О' Г. занимался всего 8 лет. Излюбленным героем О' Г. являлся маленький человек в городе, на ферме. Тюремное заключение дало О' Г. огромный материал для рассказов, посвященных преступному миру больших городов Америки. Он нарисовал целую вереницу своеобразных темных дельцов, бандитов. В частности печатаемый рассказ «Налет на поезд» является литературно-обработанной записью беседы со знаменитым железнодорожным бандитом Дженнингсом, с которым О' Г. сидел в тюрьме, и ярко характеризует условия, в которых приходилось работать железнодорожникам Техаса в 90-х годах прошлого столетия.

Блок, Александр Александрович (1880 — 1921). Выдающийся поэт, крупнейший лирик позднего символизма. Еще до Октября, наряду с религиозно-эстетской лирикой, создал ряд произведений, проникнутых революционным настроением («Ямбы», «Возмездие»). Октябрь встретил замечательной поэмой «Двенадцать», приветствующей рабочую революцию, а в своих статьях, обращенных к интеллигенции, призывал ее «всем сердцем слушать революцию». Стихотворение «На железной дороге», помещаемое в сборнике, написано Б. в годы разгула реакции (1910). Переживания девушки, покончившей с собой от тоски на захолустной станции, отражают настроения тогдашней интеллигенции.

Мстиславский, Сергей Дмитриевич (р. 1876). Советский беллетрист и драматург. В сборнике помещены отрывки из пьесы М. «Удел сильных» и из повести «Откровенные рассказы полковника Платова». В обоих произведениях изображены эпизоды революции 1905 г.—октябрьская стачка железнодорожников и расправа карательного отряда Римана с железнодорожниками б. М.-Казанской дороги.

*



Соколов — Приезд Ленина на Финляндский вокзал в Петроград (1917) — Музей Ленина

Часть вторая

СОВРЕМЕННОСТЬ

*



Глава I

ОГНЕВЫЕ ГОДЫ

А. Неверов

В будке паровоза

(Отрызок из романа «Ташкент—город хлебный»)

Во время голода на Поволжье крестьянский мальчик Мишка решает ехать в Ташкент за хлебом для семьи. Несмотря на все ухищрения его, как «зайца», высаживают из поезда. Но Мишка все же устраивается и доезжает благополучно до Ташкента.

... Полил дождь.

Мишка сидел в уголке, всовывая руки в рукава рубашки, вздрагивал, ежился, и вся его прежняя жизнь, простая, нестрашная, казалась теперь оторванной, потерянной навсегда. Где он сидит сейчас? Ближе к Лопатину или ближе к Ташкенту? И понять не мог, куда попадет скорее. Может быть, никуда не попадет, потеряет дорогу, обессилит, останется вот в этой степи.

Резкий паровозный свисток оборвал встревоженные мысли, поднял Мишку на ноги, вытолкнул из будки в мокрую шуршащую траву, под дождь и ветер, под удары грома, и, слепнувшего от вспыхивающей молнии, повел на маленькую станцию; там, прорезывая темноту, горели два паровозных фонаря.

Падая, разъезжаясь лаптями по осклизлой земле, спотыкаясь о шпалы, не думая о дожде и ветре, толкающем из стороны в сторону, бежал Мишка к поезду, идущему в Ташкент. А поезд этот обязательно на Ташкент, потому что фонари глядят в ту сторону. И если Мишка не уедет сейчас, то пропадет в этих местах, и уйти ему от своей смерти будет некуда...

Около паровоза копошились люди, стучали молотками.

Повертелся Мишка за спиной у них, побежал вдоль вагонов, царапая руками запертые двери. Еще больше испугался, что его не посадят, и опять очутился около паровоза.

Кто-то крикнул из темноты:

— Не стой под ногами!

Отошел шага на два, снял картуз.

Лил дождь, шумел ветер, а Мишка стоял, будто нищий, около паровозной подножки, держа в руке старый отцовский картуз. Когда подошел машинист с зажженной паклей и багровый свет, потрескивая на дожде, упал на мишкино лицо, вырывая его из темноты, Мишка громко сказал:

— Дяденька, миленький, пожалей меня христа-ради!

Машинист не ответил.

И опять Мишка стоял.

Лил дождь, шумел ветер, стучали молотками по колесам, а он с непокрытой головой, дрогнущий от холода и отчаяния, жался около паровозной подножки. Опять показался машинист с зажженной паклей, и опять Мишка схватил его за руку:

— Дяденька, пропадаю я здесь!..

Машинист остановился:

— Ты кто?

А Мишка и сам не знает, кто он теперь: мальчишка голодающий из Бузулуцкого уезда. За хлебом поехал в Ташкент, а товарищи бросили его, и в вагон никто не сажает. Нельзя ли с пристроиться как-нибудь? Он заплатит маленько, если чего надо: ножик есть у него и деньгами тысяча рублей.

— Подожди! — сказал машинист. — Кондуктор сейчас придет, его проси хорошенько.

Мишка стал на колени, протянул вперед руки и голосом отчаяния, голосом тоски и горя своего мучительно закричал:

— Дяденька, товарищ, христа-ради посади, пропаду я здесь!..

Машинист не ответил.

Долго ползал под колесами, стучал молотками, потом ушел на станцию.

Лил дождь, шумел ветер, а Мишка стоял около паровозного колеса, мучая себя нерешительностью, и вдруг, никого не спрашивая, полез на паровоз. Согрел немножко спину о паровозную «трубу», повернулся грудью. Согрел немножко грудь, опять повернулся спиной.

К утру дождь перестал.

Стало тихо, туманно, мертво.

В бледном рассвете выступала станция, киргизские юрты за станцией.

Пришел машинист.

Увидя Мишку с посиневшим лицом, мутные мишкины глаза, налитые страданьем, спросил несердитым голосом:

— Едешь, товарищ?

Мишка жалобно ответил:

— Дяденька, не гони меня отсюда! Замерз я, всю ночь...

— Куда же ты едешь, голова с мозгами? Ведь ты пропадешь!..

Легче бывает, когда люди разговаривают, и смелости больше. Рассказал Мишка, куда и откуда он едет, немножко прихвастнул: ему бы только до Ташкента доехать, там у него родственники есть. Два раза писали они мишкиной матери и очень просили, чтобы он при-

ехал. Если, говорят, понравится ему у нас, совсем может остаться, а если не понравится — домой вернется с билетом.

Слушал машинист, улыбался, разглядывая посиневшие мишкины губы, и неожиданно сказал:

— Идем со мной!

Не сразу поверил Мишка, а когда очутился около паровозной топки и увидел невиданные рычаги с колесами, гайки, ключи, ручки и огненное паровозное жерло, полыхающее жаром, в голодной голове вспыхнули тревожные мысли: куда он попал?

Потянул машинист одну ручку — наверху, над крышей, гудок засвистел. Повернул другую ручку — паровоз вдруг тронулся, поплыл: сначала легко, осторожно, потом разошелся во всю и летел вперед с такой быстротой, что у Мишки сердце заходилось и мысли в голове кувыркались. Какая сила несет их, и кто все это устроил?

На подъемах паровоз шел тише, потом опять пускался во весь дух, а машинист в черной рубашке смотрел из окна, покуривая трубочку. Другой человек подкидывал дров в огненную глотку и, нарочно подхватывая Мишку, кричал машинисту:

— Товарищ Кондратьев, бросим его вместо полена?

— Кидай! — смеялся Кондратьев. — Жарче будет...

Смотрел Мишка на новых людей с большим уважением, видел, что они шутят с ним, и от этих шуток, от паровозного тепла становилось легче, веселее. А когда товарищ Кондратьев отвернул маленький кран, нацедил из него кипятку в чайник, напился сам и подал Мишке жестяную кружку, Мишка, тронутый любовью, задушевно сказал:

— Давно я не пил горячей воды!

Кондратьев отломил корочку хлебца.

— Хочешь?

Нет, тут не корочка виновата.

Не наелся Мишка, мало было ему черствой корочки, но не хлеб согрел его радостью, а добрая ласка, хорошая улыбка на лице у товарища Кондратьева. Сидел он будто дома, на горячей печке, часто дремал, забывался, сонно ощупывая ножик в кармане, спокойно и радостно думал:

«Какие хорошие люди!»

Когда стали подъезжать к большой станции, Кондратьев сказал:

— Ты, Михайла, сейчас прыгнешь отсюда: паровоз в депо пойдет, на починку. Починим хорошенько его, чтобы он не дурачился у нас, опять поедем в Ташкент... Теперь уж недалеко осталось.

Мишка поник головой.

— Ты что напугался?

— Люди больно не всякие! Который посадит, который нарочно гонит...

Кондратьев похлопал его по плечу:

— Не бойся, Михайла, со мной поедешь, только со станции далеко не бегай. Как пойдет паровоз из депо, свистну я тебе два раза вот в этот свисток, ты и беги ко мне. Понял? Не увидишь меня около паровоза — жди...

— Ну, ладно, дяденька, я так и сделаю.
— Угу!..
— А пока мужиков наших на станции погляжу, мо́жа, кто попадется. Вы папиросы курите?
— Зачем?
— Мо́жа, я вам папирос куплю?
Кондратьев улыбнулся.
— Если ты купишь мне папирос, я тебя не посажу...
На станции Мишка ласково поглядел в лицо ему, нехотя прыгнул с паровоза, присел за вагонами, разулся, вытащил оборины из лаптей, лапти растрепанные бросил, а чулки, связанные обориной, перекинул через плечо, и босиком, в глубоко посаженном картузе, пошел на базар. Сразу не хотелось давать большую цену за хлеб, и Мишка все приценивался у разных торговок, словно мужик, покупающий лошадь. Цены были везде одинаковы, страшно хотелось есть, особенно при виде караваев, и, поглядев в последний раз на припрятанную тысячу, купил он большой кусок ситного. Съел половину, отяжелел, раздулся, утомленно подумал:
«Будет, завтра доем!»
Мимо пронесли мужика на носилках.
Поглядел Мишка на русую бороду, на синие штаны, на голые почерневшие пятки, вобрал в себя чужую печаль, погрустил над умершим:
— Все-таки я счастливый человек: он вот умер, а я еду потихоньку...
За станцией сидели мужики, бабы, девченки — целое голодное стадо. Мишка спросил двоих мужиков:
— Вы откуда едете?
Мужики не ответили.
Мишка рассердился:
— Что же вы не скажете?
Тогда мужик сказал:
— Ты, мальчишка, не лезь, без тебя тошно...
А другой добавил:
— Четыре дня токуем на этом месте — не до разговоров тут...
И Мишка сказал, как большой, настоящий мужик:
— Я тоже сидел не хуже вашего, ночью в степях один, ночевал, пешком шел.
— Как же ты шел?
— Шел вот, нужда заставила.
— Болтаешь, не знай чего! — покосились мужики.
Мишка поправил старый отцовский картуз, начал рассказывать, как его бросили товарищи, как он ночевал одну ночь прямо в степи, а другую — в будке, и никого с ним не было. Потом попался машинист, товарищ Кондратьев, посадил его на паровоз, поил чаем из своего чайника и хлебца немножко дал. Будь таких людей побольше, давно бы все доехали.
Рассказывал Мишка спокойно, голосом уверенным, твердым, и сам от этого казался ростом выше. Мужики слушали внимательно,

задние подвинулись ближе, смотрели в лицо рассказчику, а он, довольный и сытый от съеденного хлеба, помахивая парой чулок, стоял среди мужиков, как маленький проповедник, укрепляющий верой и бодростью на далекий и неоконченный путь.

Увлеченный вниманием, начал хвалиться:

— Пойду сейчас, на паровоз сяду!

— На какой паровоз?

— К товарищу Кондратьеву.

И — пошел.

Обернулся к мужикам, подумал:

«Завидно им маленько!..»

Бегали два паровоза маневровых, резко гудели свистки, отцеплялись вагоны, лязгали буфера. Паровозам подсвистывали стрелочники в тоненькие рожки. Увидя кондуктора с двумя флажками за поясом, Мишка спросил;

— Это, товарищ, куда паровозы пойдут?

— К матери в штаны! — сказал кондуктор.

— Ну?

— Вот тебе и ну!

Оба засмеялись.

Кондуктор пошел дальше, а Мишка стоял на горячем рельсе босыми ногами. Мимо прошел красноармеец с винтовкой, Мишке и с ним захотелось поговорить:

— Товарищ, сколько сейчас часов?

— А тебе сколько надо?

— Два есть после обеда?

— Есть! — сказал красноармеец. — Два больших и третий маленький.

Мишка не сердился: шутят с ним, и сам он шутит. Вчера маленько напугался, нынче после пищи веселее стало. Хорошо, если бы каждый день съедать по такому куску...

Около будки стоял стрелочник с медным рожком в руке. Рожок был начищенный, светлый, а стрелочник — с большой бородой и не сердитый. Подошел Мишка поближе к нему, от нечего делать сказал:

— Товарищ, ножик не купишь у меня?

— Зачем мне его?

— Мòжа, годится куда.

— Ну-ка, покажи!

Прежде чем отдать ножик, Мишка поднял с земли толстую щепку.

— Порежь, попробуй, как бритва берет!..

Попробовал стрелочник — ножик острый.

— А ты его не украл?

Мишка обиделся: это же его собственный ножик, отец покойный привез из солдат, и, если бы не нужда, он бы его ни за что не продал, потому что таких ножей не найдешь, особенно здесь. Даже в Бузулуке у них, наверное, нет таких...

— В каком Бузулуке?
— Город такой, меньше Самары!
Разговаривали долго.
Ножик Мишка не продал, но не было пока и нужды большой. Кое-где он протягивал руку за милостыней, снимал старый отцовский картуз и спокойно, совсем не жалобно, говорил:
— Дайте кусочек хлебца!
Ему кричали:
— А ну тебя к чертям, мальчишка, надоели вы, как собаки!..
Устал Мишка, клонило ко сну, но спать не ложился: уснешь — опять останешься на этом месте.
И ночь прошла, и утро глянуло мутными глазами, а паровоз не приходил, не видно и товарища Кондратьева.
«Неужто обманул? Неужто один уехал?»
Длинной вереницей стояли вчерашние вагоны, в вагонах еще спали, спросить некого, а сам Мишка не мог догадаться: эти вагоны или другие пришли? Стало досадно и страшно. Ехал-ехал он, шел-шел — опять несчастье. Наверное, никогда не доедет и где-нибудь обязательно пропадет, потому что ошибки во всем выходят у него. Надо бы ему на этом месте дожидаться, а он ушел, гармонь прослушал.
«Эх, дурак, дурак!..»

Широко разрумянилось небо за станцией, и тоска мишкина, как перед смертью, ущемила ему разболевшееся сердце. Хотел он заплакать от досады, дернуть себя за волосы, но из депо, попыхивая трубой, весело вышел отдохнувший паровоз, громко вскрикнул в утренней тишине, и сердце мишкино запрыгало воробьем:
«Идет, миленький, идет!»
Отбежал в сторону Мишка, чтобы колесами не задавило, а в окошечко из паровозной будки товарищ Кондратьев глядит, и в зубах у него вчерашняя трубочка. Увидал он Мишку, крикнул что-то, но Мишка не расслышал, побежал по шпалам за паровозом. Повернул паровоз назад, стал пятиться к вагонам, стукнул их, остановился. Опять товарищ Кондратьев крикнул Мишке, шмыгающему носом:
— Ну, Михайла, едем?
Сразу зачесалось все тело у Мишки, а слова, какие сказать — не найдет. Поправил картуз, поскоблил шею, громко ответил:
— Я всю ночь не спал!
Засмеялся товарищ Кондратьев:
— Ты молодец, я знаю. Лезь скорее, а то один уеду.
В это время Мишка был самый счастливый человек на всем свете.
Опять, как на прежних станциях, бегали мужики, бабы, кричали, плакали, просили посадить, а он спокойно сидел в уголке на полу, да не где-нибудь, а на паровозе, и не просто сидел, а все время улыбался. Вспомнил Сережку с Трофимом [1], подумал:

---

[1] Приятели Мишки.

«Вот бы сюда показаться им!»

Повернул товарищ Кондратьев рычажок, — медленно пошли назад станционные постройки. Не вытерпел Мишка, вылез из уголка и, довольный, веселый и гордый, выглянул в узенькую дверь: увидал двоих мужиков, бегущих вдоль паровоза, бабу с ребенком, красноармейца с ружьем, услыхал плач...

Еще быстрее побежали назад фонари, деревья, старые вагоны без колес, пеленки на вагонах, дрова, телеги, доски — в лицо глянула веселая, голубая степь. Потянулись озера в зеленых камышах, светлые реки (арыки), опять широкая степь, опять зеленые камыши, горы, камни, песок. Глядел Мишка жадными заблестевшими глазами и в мыслях своих горячо благодарил товарища Кондратьева, который везет его, будто сына. А товарищ Кондратьев, чувствуя мишкину радость по блестевшим глазам, спрашивал нарочно:

— Ну, Михайла, как наши дела?

— Помаленьку!

— Скоро в Ташкент приедем!

— Сколько дней еще?

— Не будет остановок больших — день да ночь, а утром там...

Хотел сказать Мишка хорошее слово, чтобы понял товарищ Кондратьев, как Мишка благодарен ему, но слова такого не было на мишкином языке, только глаза блестели, полные любви и преданности. Съел он оставшийся кусочек, не наелся, но тут же подумал:

«Ладно, терпеть буду...»

К вечеру товарищ Кондратьев спросил:

— Шибко хочешь есть, Михайла?

Стыдно было лезть Мишке в глаза хорошему человеку, и он твердо сказал:

— Вы сами ешьте, разве мне напасешься?

А товарищ Кондратьев опять:

— Ничего, Михайла, сделаемся! На вот корочку, поломай об нее зубы, они у тебя молодые. Зубами не возьмешь — в воде размочи.

Не видел Кондратьев мишкиных глаз, любящих и преданных, только голос дрогнувший услыхал:

— Благодарим покорно, дяденька!

Размякла корочка сухая в горячей воде, размякло и мишкино сердце от большого взволновавшего его чувства. Съел он корочку, выпил горячую воду и, протягивая Кондратьеву складной непроданный ножик, дрогнувшим голосом сказал:

— Возьмите мой подарочек, за ваше снисхождение!

И у Кондратьева голос дрогнул:

— Зачем мне?

— Везете вы меня, жалеете.

— Спасибо, Миша, положи в карман.

Но так горячо упрашивал Мишка, так ласково блестели у него глаза — отказаться было нельзя. Взял Кондратьев большой деревенский ножик с дырочкой в рукоятке, повесил за веревочку на один палец, помотал, улыбнулся и, высунувшись головой в окно, долго смотрел в лиловую вечернюю степь добрыми, смеющимися глазами.



Терпсихоров. Мешочники. Музей революции

Спал Мишка в эту ночь хорошо и спокойно. Во сне видел мать, Яшку с Федькой, лопатинских мужиков с бабами. Мать ему истопила баню, подошла будто к кровати, тихонько сказала:

— Спишь или нет, Миша? Сходи, сынок, помойся после дороги, вот я и рубашку припасла тебе...

Вымылся Мишка, даже попарился веником — очень уж натомилось тело за долгий путь, — пришел из бани большим, неузнаваемым. Сел за стол на переднюю лавку, начал рассказывать про товарища Кондратьева.

— А Сережка наш как? — спросила сережкина мать. — Ты где его бросил?

Мишка спокойно ответил:

— Сережка не выдержал: положил я в больницу его, он и помер там.

Стала сережкина мать плакать, стала жаловаться на Мишку, а мужики лопатинские говорили:

— Михайло тут не виноват, умереть может всякий человек...

Хотел Мишка на двор пойти, поглядеть хозяйство оставленное, а в избу вошел сам товарищ Кондратьев и крикнул в самое ухо:

— Вставай, вставай!

Вскочил Мишка непонимающий, увидел Кондратьева, услыхал веселый, одобряющий голос:

— Ну, Мишка, видишь?

— А чего это?

— Сейчас в Ташкенте будем.

*

А. Толстой

На покинутой станции

(Отрывок из повести «Хлеб»)

Бронепоезд остановился в глубокой выемке, — здесь опять был взорван путь и, видимо, недавно: одна из шпал еще тлела. Команда разведчиков взобралась по откосу. Выжженная степь была пустынна. Впереди, верстах в двух, торчала водокачка, блестели на солнце крыши станционных построек.

Разведчики дошли до станции. Она была покинута. На вокзале выбиты окна, поломаны телеграфные и телефонные аппараты. На станционном дворе у двери погреба лежал какой-то разутый человек с прорубленной головой.

Станция — пустынная, маленькая, грабить там, в сущности, было нечего, и такой налет показался странным, — тем более странным, что на пути бронепоезда, секретно покинувшего Царицын, попадалась уже третья разгромленная станция, — будто это приурочивалось к проходу бронепоезда.

— По линии дано знать, совершенно очевидно, — сказал Воро-

шилов, подходя вместе со Сталиным к паровозу. Ремонтные рабочие развинчивали рельсы, убирали поврежденные шпалы, стаскивали с платформы запасные. Работы здесь было часа на два. Расспросив вернувшихся разведчиков, Ворошилов предложил пойти до станции пешком: в выемке было невыносимо знойно.

Он перекинул через плечо карабин. Сталин взял ореховую палочку. Пошли вдвоем по полотну. Выемка завернула направо, и бронепоезда не стало видно. В открытой степи подул горячий, все же приятный, ветер. Горизонт был волнистый. Очень далеко на меловой возвышенности виднелась мельница. Ворошилов указал на нее: «Оттуда и был налет...» В бледном небе парили хищники.

Сталин следил, как один из коршунов — совсем близко от них, так что слышен был свист его твердо раскинутых крыльев, — пронесся к земле и почти задел суслика, стоймя торчавшего у своей норы на невысоком кургане — древней могиле какого-нибудь гунна-наездника. Суслик успел, вильнув кисточкой хвоста, нырнуть под землю. Коршун важно, будто ему совсем и не хотелось мяса, взмыл по горячему току воздуха.

Сталин рассмеялся, похлопывая себя палочкой по голенищу.

— Когда-нибудь научимся строить такие самолеты,—сказал он. — Совершенный полет, совершенное владение силами. А люди могут летать лучше, если освободить их силы... Мы будем летать лучше.

Нижние веки его приподнялись. Он шагал, не глядя теперь ни на коршунов, ни на сусликов, между кустиками полыни. Ворошилов заговорил о том плане наступления, который необходимо было развивать, не дожидаясь переформирования армии, чтобы предотвратить перебои в отправке маршрутных поездов на Москву.

Добровольческая армия, предполагал он, добившись серьезных успехов по Тихорецкой магистрали, неминуемо должна не итти к Царицыну, но повернуть на юг, потому что в тылу у нее остаются: гарнизон Екатеринодара (разбивший в марте месяце Добровольческую армию Корнилова), черноморские моряки в Новороссийске и на фланге — у Азовского моря — армия Сорокина.

Деникин должен будет прежде всего войти в соприкосновение с Сорокиным и отойти от магистрали, оставив на ней лишь заслоны, и тогда нам с одними оставшимися у нас на южном участке силами возможно прочистить и восстановить линию до Тихорецкой и протолкнуть оттуда хлебные поезда.

Сталин сказал:

— Когда мы переформируем армию и призовем семь возрастов, то и тогда противник численно будет сильнее нас. Мы должны создать новую тактику. Наши дивизии не должны быть громоздкими, но гибкими и подвижными, усиленно снабженными пулеметами и артиллерией. Конница — будущее этой войны. Пехотные дивизии нужно укомплектовать крупными конными частями, которые могли бы развивать самостоятельные операции. Мы должны иметь перевес в технике — создать фронтовую завесу из бронепоездов и бронемашин. Нам нужен воздушный флот. Мы должны создать воздушный флот...

Они дошли до покинутой станции. Водонапорная башня, к счастью, уцелела. Открыли кран, — с наслаждением вымылись до пояса и напились. Ворошилов принес лестницу, приставил ее к стене одноэтажного вокзала и полез на крышу, чтобы оттуда хорошенько в бинокль оглядеть местность. Сталин остался внизу.

Едва только Ворошилов, взобравшись, поднял руки с биноклем,— по железной крыше будто ударило горохом...

— Вниз! Скорее! — крикнул Сталин.

Донеслись выстрелы. Пули впивались в деревянную стену вокзала. Ворошилов соскочил с крыши. Все же он успел разглядеть, что стреляли в версте отсюда, из-за кургана. Он сказал, когда отошли под прикрытие:

— Извините, Иосиф Виссарионович, право... (У него было совсем расстроенное лицо. Сталин засмеялся: «Бывает»...). Можно здесь обождать бронепоезд... Но боюсь, как бы казачки не вздумали нас атаковать кавалерией... Лучше будет вернуться.

— Идем...

— Идем...

Ворошилов снял с плеча карабин. И они, обогнув станцию, пошли, держась в стороне от полотна. Пулями здесь достать их было трудно, все же не одна пуля просвистала над головой. Сталин шел все так же, спокойно, постукивая палочкой. Ворошилов с тревогой поглядывал то на него, то в сторону далекого кургана. Вдруг там, над гребнем, взвился желтый дымок, прошипел снаряд, раскатился орудийный выстрел.

— Идиоты! — крикнул Ворошилов. — Из орудия — по отдельным точкам, — идиоты!..

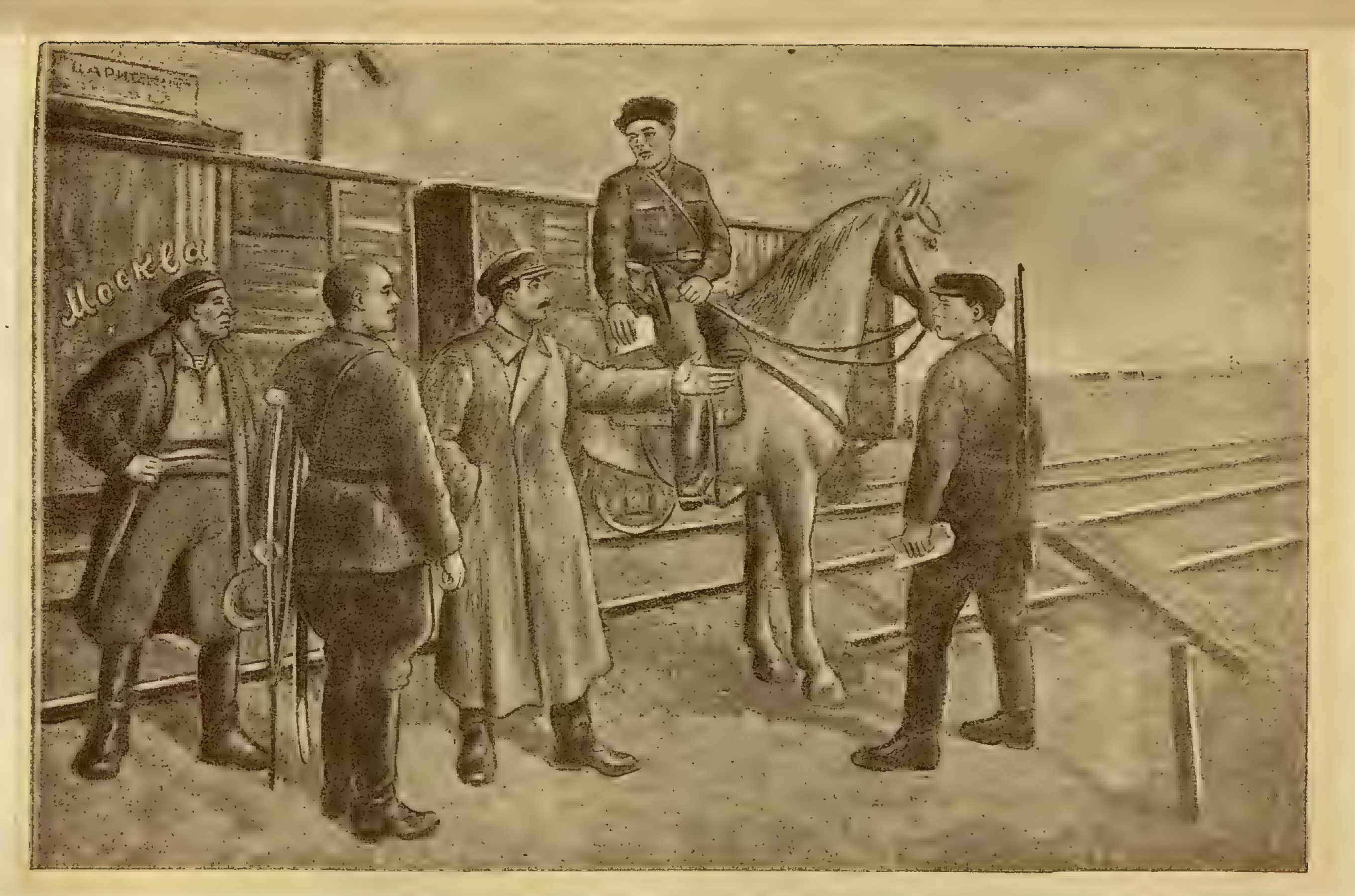
Они шли, не ускоряя шага. Через минуту снаряд поднял вихрь земли позади них. Выемка, где стоял невидимый отсюда бронепоезд, была еще далеко. Следующий снаряд разорвался впереди них.

— Для казаков — стрельба неслишком плохая, — сказал Ворошилов.

Наконец, из выемки ответило тяжелое орудие бронепоезда, — рев его был такой грозный, что казачья пушечка за курганом еще раз тявкнула и замолкла. На гребень выемки выскакивали разведчики, — они бежали цепью в сторону кургана.

Сталин остановился и, прикрывая от ветра огонек спички, раскуривал трубку...

★



Меньшиков—Сталин отправляет хлеб из Царицына в Москву. Выставка «Ленин и Сталин в народном изобразительном искусстве»

А. Первенцев

Кизлярская линия

(Отрывок из повести «Кочубей»)

Советская Россия готовилась к осаде.

В Москву, к великому вождю народа, летел план сохранения жизни осажденной страны, план борьбы с голодом и измором.

«Москва, Кремль, Ленину.

На немедленную заготовку и отправку в Москву десяти миллионов пудов хлеба и тысяч десяти голов скота необходимо прислать в распоряжение Чокпрода[1] семьдесят пять миллионов деньгами, по возможности мелкими купюрами, и разных товаров миллионов на тридцать шесть: вилы, топоры, гвозди, болты, гайки, стекла оконные, чайная и столовая посуда, косилки и части к ним, заклепки, железо шинное круглое, лобогрейки, катки, спички, части конной упряжи, обувь, ситец, трико, коленкор, бязь, модеполам, нансук, грисбон, ластик, сатин, шевьет, марин-сукно, дамское и гвардейское, разные кожи, заготовки, чай, косы, сеялки, подойники, плуги, мешки, брезенты, галоши, краски, лаки, кузнечные, столярные инструменты, напильники, карболовая кислота, скипидар, сода. У Чокпрода всего денег миллионов пятнадцать и товаров разных на десять миллионов. Деньги и указанные товары должно выслать без промедления» — «Всем начальникам отрядов на фронте и штабу Снесарева не захватывать продовольственных грузов и мануфактуры, беспрепятственно пропускать наши маршрутные поезда, оказывать содействие нашим продовольственным комитетам. Копию Сталину. Пусть ЦИК немедленно телеграфно обяжет Кубанский, Терский, Ставропольский советы не ломать твердых цен, не способствовать самостоятельным заготовкам и вывозу отдельными губерниями, уездами и волостями, а всемерно содействовать агентам Сталина и Чокпрода». И далее: «Пусть Наркомпрод разошлет циркулярный приказ всем губпродкомам и советам, особенно же Орехово-Зуеву и прочим промышленным городам, не присылать своих агентов на юг за хлебом, так как весь заготовленный хлеб будем посылать в Москву сухим путем, в Нижний — водой. Копию Сталину. Мы настаиваем на обезличении продовольственных грузов с юга, снимаем с себя функцию распределения, отдавая ее всецело Волпроду, ограничиваемся заготовкой и транспортированием в два пункта: Москву и Нижний, где предлагаем Компроду создать базисные склады и распределительные конторы в общерусском масштабе. Исключены близкие к югу Баку, Туркестан и Астраханская губерния, которые беремся удовлетворить непосредственно. Постройка Кизлярской линии началась.

Нарком СТАЛИН».

В темной комнате уполномоченного Чокпрода Кандыбин[2] сказал:

---

[1] «Чокпроды» чрезвычайные окружные продовольственные комиссии, имевшие специальные задания правительства в годы разрухи и голода.

[2] Кандыбин — комиссар партизанской бригады, коммунист.

— Мы испытываем патронный голод. Кустарные заводы армии делают ничтожное количество патронов. Сабельные атаки вырывают лучших бойцов.

— Скоро база снабжения будет перенесена в Яшкуль, тогда мы поможем больше. Сейчас я могу уделить Кочубею сорок тысяч трехлинейных патронов и три тысячи маузерных, — сказал уполномоченный Чокпрода. — Сколько вы можете захватить с собой?

— Маузерные возьмем целиком, винтовочных — ящиков десять-пятнадцать, — подумав, ответил Кандыбин.

— Хорошо. За остальными пришлете. Сейчас вам выпишут наряд. Имейте в виду, на транспорты нападают. Чрезвычайная комиссия раскрыла в ряде сел кулацкие террористические гнезда. По степи бродят шайки.

— Что вы рекомендуете? — спросил Кандыбин.

— Железной дорогой на Георгиевск, а там гужом. Или по железной дороге до Невиномысской, — посоветовал уполномоченный и, достав из стола бутерброд, начал жевать.

За ставнями завывал ветер. Ставни были закрыты. Чокпрод расположился во втором этаже углового кирпичного дома. Заметив, что Рой[1] удивленно оглядывал плотно закупоренную комнату, уполномоченный рассеял его удивление.

— О климатических особенностях Прикумья меня предупредили еще при моем отъезде из Царицына. Святой Крест я называю столицей астраханских ветров. Ставни закрыты от пыли. Немного темновато.

Принесли наряд на патроны. Уполномоченный, внимательно прочитав, размашисто подписал и передал Кандыбину. Наряд был отпечатан на прозрачной конфетной бумаге и производил впечатление весьма легкомысленной бумаги.

— Можно получить? — спросил Кандыбин.

— Конечно, — подтвердил уполномоченный. — Только не забывайте наш уговор в партийном комитете. Помогите хлебом. Так, между прочим, в передышке между двумя сражениями, как это делает комдив Степан Чугуев. По заданию Сталина началась постройка Кизлярской линии. Тогда значительно облегчится транспортирование хлеба и скота. Мы получим выход к морю. Ведь сейчас единственная связь с Царицыным, Астраханью — через пустыню. Постарайтесь хоть подольше задержать белых, если не сумеете их разбить.

Уполномоченный улыбнулся, и эта улыбка точно осветила его. Стали удивительно ясными высокий облысевший лоб, широкое, скуластое лицо и небольшая темная бородка, похожая на бородку Ленина.

— По всему Прикумью говорят о строительстве дороги отсюда на Астрахань. Это имеет какое-либо отношение к Кизляру? — спросил уходя Рой.

— Строят самостоятельно, — подтвердил уполномоченный, — советую посмотреть. Предприятие по идее блестящее, но невыполнимое. Но разве их убедишь! Зато какой энтузиазм! Вот так когда-то с верой в победу мы несли кандалы по Владимирке.

---

1 Рой — начальник штаба Кочубея.

Кочубеевцы наблюдали картину строительства железнодорожной магистрали. Люди, лошади, подводы, вагонетки, пыхтящая «кукушка» — все копошилось под неуемный свист ветра. На высокой мачте у деревянных бараков напряженно колотилось знамя стройки. Мимо везли рельсы на разведенных ходах, балласт в рундуках и камни. Кони остановились, с гиком им помогали крестьяне, подпирая плечами повозки, отворачиваясь от ветра и сплевывая песчаную слюну. Клубились вихревые облака раскаленного песку, визжали и проносились дальше, бессильные сломить эту упрямую коллективную волю...

В глазах комиссара горела гордость. Рой, нахмурившись, сосредоточенно покручивал ус. Володька [1] давно облетал все и, захлебываясь, делился узнанным.

— Пять тысяч работает. Рельсы, костыли, шпалы сняли из запаса по всей линии. Вы знаете, сколько раньше рельсов зря лежало у железной дороги. Теперь все сюда свезли. Через Буйволову дамбу насыпят, а там прямо клади на песок шпалы, сверху рельсы — и пошла, поехала...

Комиссар опустил руку на плечо Володьки, подставил лицо душному ветру, и вставали перед глазами в этой коричневой мгле прикумской полупустыни голубые кварталы многоэтажных домов, светлые корпуса заводов, гранитные берега каналов, бесконечные магистрали блестящих рельсов... Такими казались комиссару будущие пейзажи, и осуществление этой мечты было бы прекрасной наградой за эти годы борьбы и лишений.

Все доступно. Все могут сработать вот эти люди, сейчас, под гул орудий Бичерахова и Барагунова, осуществляющие мечту человечества — творить для творцов. Был каждый из этих пяти тысяч и мечтатель, и работник, и хозяин. Вот туда, дальше по Куме, вырыт тысячами крестьян канал помещику Калантарову. Народ окрестил канал Плаксиевкой, ибо много плача было на его берегах. А здесь?

Кандыбин взял Роя за руку.

— Пусть они ее не построят. Но ведь они все решили ее строить. Сюда, прямо с митингов, пошли они с кирками, заступами, лопатами и с песнями. Рой, может, это уже начало коммунизма! Вот сюда бы Кочубея. Я больше чем уверен, что Ваня сказал бы: «Добре, хлопцы, добре. Работяги! Гляди, як сгарбузовались. Ладно у их выходит», — и сам бы, скинув черкеску, подсучив рукава бешмета, схватил бы лопату и стал бы ею работать не хуже, чем сейчас своей шашкой Османа...

— Товарищ комиссар, — живо перебил Володька, указывая рукой вдоль новой магистрали, — Москва там? Ленин там?

— Да, в ту сторону — Советская Россия, — ответил комиссар.

— Вот, теперь я расскажу батько, что к Ленину дорогу ведут, а то он все на жеребце к нему собирался ехать, — важно, заложив руки за спину, сказал Володька.

★

[1] Володька — любимец Кочубея, воспитанный отрядом мальчик.

Г. Мирошниченко

У семафора

(Отрывок из повести «Юнармия»)

На главной железнодорожной магистрали, почти у самого перрона, блеснул оранжевый огонек, треснул и потонул в облаке бурого дыма.

Глухо и тяжело ударил взрыв. Посыпались камни, песок, хрустнули станционные стекла. Совсем недалеко от станции, на воинских путях, по деревянным настилам торопливо заводили в товарные вагоны исхудалых, в коросте лошадей. Лошади фыркали, ржали, топали копытами, и боязливо озираясь, шли в вагоны.

На открытые платформы грузили пушки, кухни, двуколки.

У самой станции снаряд со свистом вырвал рельс, выворотил рыхлую землю и почерневший огрызок шпалы.

Из конторы выскосил начальник станции. Он посмотрел на семафор и, схватившись руками за голову, побежал обратно в контору...

На платформе человек двадцат красноармейцев, окружив наначальника станции, требовали отправления эшелонов.

— Эшелоны задерживать права не имеешь!

— Взять бы да двинуть по-свойски, враз бы путь починил!

Но маленький человек в красной фуражке только пожимал плечами и повторял одно и то же:

— Товарищи, не могу я отправить воинские эшелоны. Все пути позабиты. У семафора снарядами полотно разорвало, что я могу поделать?..

Тут из конторы вышел обтянутый крест-накрест потертыми ремнями начальник эшелонов.

— Саботаж разводят станционники, товарищ командир! Не отправляют! — закричали красноармейцы, оглядываясь на командира.

— Почему это не отправляют? — спросил командир.

— Да как же отправлять?.. Все железнодорожные пути забиты, — опять забормотал начальник станции.

И действительно, у семафора, в той стороне, куда нужно было отправлять эшелоны, как назло, у вывороченных рельсов стояла шестерка товарных вагонов.

— А мастеровые почему до сих пор не вызваны?

— Не слушают меня... Отвыкли... Не знаю...

— Ну, так я знаю, — сказал командир резко и громко. — Мастеровые помогут нам.

— Что же, попробуйте, если угодно, — сказал начальник станции, прищуривая один глаз. — Да только выйдет ли? Там, у семафора, снарядом выворотило рельс, товарный состав застрял. Здесь это еще пустяки, а там...

— И там дело не мудреное, — вдруг сказал из толпы молодой рабочий. Он давно уже стоял рядом с начальником станции и прислушивался к разговору.



Шестопалов. Раздача оружия рабочим. Музей революции

— Сперва нужно спустить под откос вагоны — те, что у семафора торчат, а потом вызвать дорожного мастера. И рабочих я созову. Нужно рельсы менять. Иначе ничего не выйдет.

Он круто повернулся и куда-то побежал.

Начальник станции проводил мастерового хмурым взглядом.

— Куда же он сбежал, мастеровой-то этот? — беспокойно говорили красноармейцы. — Придет еще или не придет?

— Придет, — ответил командир, но видно было, что он и сам сомневается.

Снаряды стали падать у водокачки. Сперва они перелетали и падали далеко за железнодорожным поселком, но потом стали ложиться у самой стенки цементной водокачки.

— Губа не дура! Ишь чего захотели! — сказал командир, показывая на водокачку красноармейцам.

— Форменная дура! Зачем же водокачку-то! — спросил красноармеец.

— А затем, что нашего наблюдателя на водокачке заметили.

— Вот оно что...

Пушечные выстрелы слышались все сильнее и ближе. В воздухе рвалась шрапнель.

Машинист хмуро выглядывал из окон паровоза и ругался:

— Во чорт! Паровоз стоит, а не уедешь...

В это время из-за угла станции вынырнул вспотевший мастеровой. За ним быстро шагал седоватый широкоплечий человек — это был дорожный мастер — и еще несколько рабочих. Рабочие несли кирки, ломы, разводные ключи.

— Товарищ командир, давай красноармейцев! — на ходу сказал дорожный мастер.

Командир оглядел красноармейцев и быстро отсчитал человек пятнадцать.

Красноармейцы и мастеровые побежали к семафору. Бежали, спотыкаясь о рельсы и камни.

— Можно бы и пешком уйти, — говорил командир дорожному мастеру, — догоняя его, — да у меня полэшелона тифознобольных, раненых, а бросать их на произвол врага — преступление. Не могу.

— Как можно! Если банда доберется до них — всех порежет, — сказал дорожный мастер, вытирая рукавом со лба пот.

— Ничего, отправим. Только бы вагоны убрать, — отозвался мастеровой сзади.

Подбежали к семафору. Дорожный мастер отрывисто скомандовал: — Отвинтить болты! Отнять накладки! Заменить шпалу! Рабочие выворотили болты, разгребли ржавыми лопатами щебень и потащили с насыпи обломки рельсов. Двое, трое, шестеро с трудом сбрасывали обломки рельсов далеко вниз, под крутой откос. Работали молча.

Вдруг у самых вагонов шлепнулся снаряд. Это белогвардейцы перенесли на полотно артиллерийский огонь. Один за другим снаряды стали падать совсем рядом. Осколки шаркали по полотну, по крышам вагонов, стоявших у семафора. Дорожный мастер торопил

рабочих. Он сам расцепил вагоны, сам выворотил огрызок застрявшего рельса.

— Не робей, ребята, — говорил он спокойно. — Пока они там прицелятся, мы и разберем и соберем дорогу.

— Соберем, — подхватил раскрасневшийся молодой рабочий, выворачивая камни лопатой.

— Дело привычное, — согласился другой, крепко ударяя кувалдой по рельсу.

Тяжелая кувалда с силой падала на сталь, звеня и подскакивая. Далеко по рельсам катился хрупкий стук.

Наконец, рельсы разобрали. Рабочие налегли плечами на вагоны. Вагоны тяжело поползли вниз. Не доходя середины разобранного полотна, они повалились на бок и, перевернувшись, как деревянные ящики, полетели под откос. Сверху полыхнула шрапнель — словно горохом посыпало. За ней вторая, третья. Командир и дорожный мастер протирали глаза, засыпанные песком. Красноармейцы и мастеровые молча толкали последние оставшиеся на путях вагоны. Каждый раз, когда раздавался визг шрапнели, мастеровые тревожно посматривали вверх, а красноармейцы только наклоняли головы, — они привыкли.

Вдруг шрапнель шарахнула и рассыпалась у самого места работы. Рабочие кубарем покатились вниз по откосу. Кровью обрызгало черную от угля землю, осколки рельсов, старую придорожную траву.

А там, у станции, под самым огнем все еще стояли два эшелона больных и раненых красноармейцев.

— Товарищи, за работу! — что есть силы крикнул командир. — Мастеровые, сюда!

Зажимая раны, мастеровые снова полезли на высокую насыпь. Внизу под откосом остались только мертвые.

— Ну, ребята, поднажми еще раз, — сказал дорожный мастер. Последний вагон с глухим треском полетел на бок. Мастеровые и красноармейцы начали сшивать костылями железнодорожное полотно. Шили наскоро.

Торопились. Белые напоследок пустили еще несколько шрапнелей, но красноармейцы уже стояли у составов, готовых к отправлению, и прощались с мастеровыми.

— Не горюй, товарищи, придем. А вы тут тоже не сидите сложа руки, — говорил командир.

— За это не беспокойтесь, товарищ командир, — ответил дорожный мастер и тряхнул головой.

Воинский состав, тяжело набирая скорость, тронулся без свистка. За ним, буксуя колесами, тронулся второй. Следом медленно шел броневик «Коммунист». К бугру, откуда высунулись белогвардейские папахи, скакали, прикрывая отступление эшелонов, конные и бежали пешие красноармейцы. На ходу они досылали в винтовку очередной патрон. Начальник станции то и дело выбегал на платформу и растерянно махал сигнальными флагами.

Орудийный гул то стихал, то нарастал вновь. Снаряды падали у

семафора, у водокачки, на станции. По земле расползался густой бурый дым.

Когда поезд с больными и ранеными проходил мимо мастерских, командир крикнул:

— Прощайте, товарищи! Держитесь! Мы придем!

А на макушке бугра уже растянулась неровной лентой цепь белых. Цепь перекатывалась к вокзалу.

Казачья конница вихрем перескочила балку. Ворочая в руках сабли, казаки понеслись вслед за броневиком. Выстрелы слышались все реже и реже. На станции стало тихо.

Красноармейцы отступили.

☆

А. Авдеенко

На бронепоезде

(Из романа «Я люблю»)

Ночь...

Глухая, тихая ночь в болотных топях, в лесных зарослях прифронтовой полосы.

...Бежит по рельсам зеленый бронепоезд «Донбасский пролетарий». Мчится без свистков, прикрыв черными дисками сигнальные огни. Остались сзади степи, четырехрукие ветряки, курганы. Впереди и вокруг стоит темный лес. Он протянул свои ветки к поезду. Я слышу, как он шелестит о бронь паровоза листьями.

Болота повеяли прохладой и сыростью. Я застегиваю воротник сорочки и прижимаюсь ближе к паровозному котлу. Ко мне подходит машинист Богатырев. Он шевелит черными усами, ласкает их широкой огрубелой ладонью, щурит глаза, показывает густые белые зубы:

— Ай, ай, какой позор, Санька! Замерз? В баню хочется? А может, поляков испугался, а?

Я не успеваю ответить. Звонит телефон. Дежурный комиссар берет трубку, слушает, пристукивает каблуком, и отдает какие-то приказания Богатыреву.

Командир бронепоезда — бывший донбасский металлист Гарбуз. Он жесток, он не дает пощады. Он не умеет смеяться, этот высокий, чуть согнутый в спине, затянутый в черную кожу, беззубый мужчина. Он говорит, не поднимая глаз. Он забыл, как люди кричат. Он отдает приказания почти шопотом. Рассказывают красноармейцы, что если он раскричится, то хватает его удар, сваливает в постель на несколько дней.

Я привык к бронепоезду, полюбил вечную тревогу, которой полны мои дни и ночи. У меня много работы. Помогаю на кухне чистить картошку. Вместе с помощником машиниста смазываем паровоз, делаем мелкий ремонт. Я подношу воду красноармейцам, когда они лежат голые у пулеметов. Меня зовут Саня, а когда хотят обласкать, говорят: «Дитё, Сань, поди сюда».

Я научился смеяться. На моей зеленой фуражке алая железная, на весь лоб, звезда. Я мечтаю о шашке. Гарбуз сказал, что вот как только поляков разобьем, я шашку получу обязательно. Сегодня мы, наверно, будем бить поляков. Говорят, будет бой, страшный бой. Еще никогда так не готовился и не скакал бронепоезд.

Я иду пульманами. Ночь. Не спит никто. У пулеметов залегли красноармейцы, одетые в полное снаряжение. У их ног извиваются клубками, как змеи, пулеметные ленты. Матово блестят свинцовые носы пулеметов. Душно. Все бойницы, окна, люки закрыты наглухо. Ствольные кожуха пулеметов залиты холодной ключевой водой. Ложусь рядом с лентами. Вижу, как красноармеец опускает руку в ведро и мокрой ладонью освежает лоб, расстегивая воротник.

— Душно? — спрашиваю.

— Душно, — отвечает бритоголовый.

— Надоело ждать?

— Ох, как надоело, тоска смертная. Поляк — он хитрый, — как бы освобождаясь от чего-то, мучившего его, говорит красноармеец.

— Хитрый?

— Хитрый, дьявол, он и говорит-то шопотом, пша да пша, и бить нашего брата будет шопотом.

Сухо и раскатисто загремел звонок в пульмане, и сейчас же за ним раздалась команда хриплым голосом:

— Тихий ход... Остановка. При-иго-товиться.

Засуетились люди у пулеметов. Я побежал на паровоз. Он, шипя от контрпара, останавливался. Я вошел, как в плиту, рубашка сразу стала мокрой. Пот заливал Богатыреву глаза. Он чуть приоткрыл бронированный щиток окна, что-то разглядывал в темноте.

За окном тишина. Только из недалекого болота слышны лягушечьи голоса. В топке бушует пламя, трещит уголь. А быть может, это лопаются ветви под неосторожными ногами засады там, в лесу?

Дежурный комиссар приник к щели и слушает, опустив глаза в пол и не дыша, что скажет лес. Потом он идет к телефону, звонит, но, испугавшись шума, почти шопотом начинает разговор с командиром бронепоезда Гарбузом:

— Тихо, ничего подозрительного. По-моему мы уже в тылу у неприятеля. Мы прошли вдвое большее расстояние, чем предполагалось. Что? Заманивают?.. Ждать?..

Богатырев подходит к комиссару. Он спрашивает разрешения осмотреть движущие механизмы паровоза. Комиссар передает просьбу командиру и сейчас же разрешает.

Помощник машиниста берет ключи, молоток, масленку, открывает засовы бронированной двери, торопливо спускается на землю. Оттуда он зовет меня. Я бегу через все подножки, спрыгиваю, и кажется мне, что я пьян. Я раскачиваюсь, не могу итти ровно.

— Это от долгой поездной качки, — шепчет помощник.

Мы смотрим одну секунду на лес. Он стоит над самыми нашими головами, гнется верхушками, гневно шумит, бросает сухие листья.

— Страшный, — улыбаясь кивает на лес помощник и наги-

баясь, залезает под щиты. Он стучит там молотком, зовет меня к себе, говорит тревожно:

— Подшипники нагрелись, мясо жарить можно, надо ослабить крепление, залить, давай мазут.

Я бегу. Успеваю сделать шаг — и вдруг лес оживает. Он осветился молниями, ударил выстрелами.

Я закричал, чтобы помощник вылезал скорее из-под паровоза. Я побежал вдоль паровоза, но опомнился и вернулся к машине. Вижу выскочившего помощника. Он торопится к лестнице, высоко вертит руками. Не добежав несколько шагов, останавливается, выгибает грудь, ломает ноги и без слов, не ойкая, валится на спину.

Пригибаюсь, бегу и вижу на откосе толпы людей, дико кричащих. Они спешат к паровозу. Подскакиваю на подножку. Кто-то хватает меня за волосы, тянет на паровоз. Я падаю на пол, и сейчас же за мной хлопает железная дверь, гремит засов. Богатырев тревожно и удивленно смотрит на меня, ждет. Затем он истерически кричит комиссару, чтобы послали людей за его помощником.

Комиссар, не поворачивая головы к Богатыреву, слушает хрип в телефонную трубку и чеканит:

— Есть, — товарищ командир.

Комиссар смотрит мимо головы Богатырева, синими губами отдает приказ:

— Задний полный ход...

Богатырев стоит не двигаясь.

— Задний полный ход... — неожиданно тихо, почти ласково говорит комиссар.

Богатырев вяло идет от двери к управлению паровозом. Тогда комиссар звонко кричит.

— Последний раз — задний полный ход. — Рука комиссара лежит на кобуре, а из-под кожаной фуражки по вискам потекла оловянная струя пота.

Богатырев заспешил. Он завертел рычагом, повернул регулятор, и поезд, фыркая, грохоча, вихляясь, поехал назад.

Комиссар подходит ко мне, дает мне лопату, говорит тихо:

— Помогай, Сань.

Лопата моего роста. Я бросаю в топку уголь, качаю воду. Не разгибаясь. Я не вижу ни манометров, ни людей. Мне тошно и темно в глазах. Иногда становлюсь на колени и молчу, повесив руки. Тогда ко мне бежит Богатырев, он хочет помочь. Я поднимаюсь с колен, выпрямляюсь, снова бросаю уголь, качаю воду. Он боится, что я упаду.

Комиссар говорит по телефону. Он слушает командира, а смотрит на меня, одобрительно кивая головой. Наконец, отдает команду:

— Тихий ход... Остановка.

На паровоз прибегает сам Гарбуз. Он, не замечая меня, говорит с комиссаром и Богатыревым. Обидно, как это он не чувствует, что это я, именно я, давал жизнь паровозу.

Мы бежим с Богатыревым осматривать машину. Он видит нака-

ленные подшипники, он просит несколько минут у Гарбуза для ремонта. Командир отдает команду комиссару:

— Ждать до сигнала. Пока наша пехота подтягивается и вся цепь выравнивается — остановка. Потом — наступление.

Командир уходит, Богатырев не пробует возражать. Он знает характер этого человека. Богатырев дает мне ключ, молоток, рассказывает, как сделать ремонт подшипника, а сам бежит на паровоз. Я слышу оттуда команду комиссара:

— Тихий ход — вперед, бесшумно. Приготовить полное давление пара, предстоит форсированный пробег.

Стою растерянный. Если не исправить подшипник, мы изуродуем ось паровоза. Тогда наверно Гарбуз поведет машиниста Богатырева в свою каморку во втором пульмане, закроет дверь, и никто из отряда не услышит выстрела, как это было с батарейщиком Ивановым, когда он испортил трехдюймовку.

Я думаю еще о том, что если Богатырев не послушает команду, сойдет вниз и будет ремонтировать, тогда остановится вся наступающая цепь, тогда... кто знает, что тогда может случиться.

Я твердо решаю во что бы то ни стало сам исправить подшипник. Но в моих руках бьется о ногти ключ, он тянет ладонь к коленям. Я начинаю дрожать от выстрелов, огня, которыми живет сейчас лес.

...Паровоз тронулся, в дверь выглянул Богатырев, он умоляюще просит:

— На ходу, Сань, зацепись за раму и делай...

Сзади Богатырева стоит командир. У него губа отвисла, подрагивает. Он вдруг испугался, что я в белой сорочке. Снял свою зеленую, набросил на мои плечи:

— Так темнее, — не заметят. — И почти оттолкнул от паровоза.

Я упал в канаву. Сырая земля подалась, как подушка. Зашуршали под руками листья. У самого лица что-то прыгнуло. Оказалось — лягушка. Испуганный, я вскочил, выбежал из канавы. От сырости ломило зубы. Вверху моргали звезды, крупные, как дыни. Я побежал вслед броневику. Он шел тихо, крался по рельсам. Я бегу по белой, отмытой дождями насыпи, галька шумит под большими солдатскими сапогами.

На ходу, цепляясь за броню паровоза, проскальзываю под щиты.

Как только паровоз останавливается на секунду, я стучу молотком, отпускаю клин, заливаю подшипник. Окончив ремонт, я бросаюсь на землю и, не сдерживая шальной радости, бегу к лестнице, не пригибаясь.

Богатырев с зеленым лицом качнулся навстречу, дал руку, помял мои плечи и окатил с головы до ног водой.

Потом, не давая опомниться, стряхивая воду, приказал:

— Заправь топку белым огнем, качни водички, залей смазкой поршни.

★

Н. Островский

Ночью

(Отрывок из романа «Как закалялась сталь»)

По линии бастовали почти все рабочие-железнодорожники.

За сутки не прошел ни один поезд, а в ста двадцати километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты.

Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава.

Открыв тяжелые двери пакгауза, вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев.

Помощник коменданта вызвал:

— Корчагин, Полентовский, Бруздак. Вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ — расстрел на месте. Едете?

Трое рабочих понуро кивнули головами.

Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав.

Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи.

Артем [1], набросав в топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курносого чайника глоток воды и обратился к старику-машинисту Полентовскому:

— Везем, говоришь, папаша?

Тот сердито мигнул из-под нависших бровей:

— Да, повезешь, ежели штыком в задницу заезжают.

— Бросить все и тикать с паровоза, — предложил Бруздак [2], искоса поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата.

— Я тоже так думаю, — буркнул Артем, — да вот этот тип за спиной торчит...

— Да, — неопределенно протянул Бруздак, высовываясь в окно.

Подвинувшись поближе к Артему, Полентовский тихо прошептал:

— Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их порешат в два счета. Ты, знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнью рисковали, а все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь?

— Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим? — и он взглядом показал на солдата.

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел

---

[1] Брат героя романа Павла Корчагина — кочегар.
[2] Помощник машиниста.

воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипью отчаяния, выругался. Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться, Артему вспомнилось жухрарево:

— Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?

И его, Артема, ответ:

— Помочь всегда готов, можешь на меня положиться...

— «Хороша помощь, везем карателей...»

Полентовский, нагнувшись над ящиком с инструментом, бок о бок с Артемом с трудом выговорил:

— А этого надо порешить. Понимаешь?

Артем вздрогнул. Полентовский скрипнул зубами, добавил:

— Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор — в печку, рычаги — в печку, паровоз — на снижающийся ход и с паровоза — долой.

И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал:

— Ладно.

Артем, нагнувшись к Брузжаку, рассказал помощнику о принятом решении.

Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейный был Полентовский: у него дома оставалось девять душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя.

— Что ж, я согласен, — сказал Брузжак, — но кто ж его...

Он не договорил понятную для Артема фразу.

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Брузжак тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешенным вопросом, подвинулся к Полентовскому ближе.

— Но как же мы это сделаем?

Тот посмотрел на Артема:

— Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок — и кончено.

Старик сильно волновался. Артем нахмурился.

— У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали.

Полентовский блеснул глазами.

— Не виноват, говоришь? Но мы ведь тоже не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карательный везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те, что? виноваты?.. Эх ты, сиромаха... здоров, как медведь, а толку с тебя мало...

— Ладно, — прохрипел Артем, беря лом, но Полентовский зашептал:

— Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой. А я вроде уголь разбивать пойду.

Брузжак, слушавший Полентовского, кивнул головой.

— Верно, старик.

И стал у регулятора.

Немец в суконной бескозырке с красным околышем сидел с края на тендере, поставив между ног винтовку, и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих.

Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Полентовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз, к дверке, ведущей в будку паровоза.

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход. Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка.

— Кончено, — прошептал Полентовский, бросая лом, и, судорожно покривившись, добавил: — Теперь для нас заднего хода нет.

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик:

— Вывинчивай регулятор, живей! — крикнул он.

Через десяток минут все было сделано. Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход.

Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую темь. Глаза паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже.

— Прыгай, сынок! — услышал Артем за собой голос Полентовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову.

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени...



Лесная узкоколейка

(Отрывок из романа «Как закалялась сталь»)

Новый враг угрожал городу — паралич на стальных путях, а за ним голод и холод.

Хлеб и дрова решали все...

. . . .

Федор [1] в раздумьи вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла.

Седой дым от десятка папирос кружил облаком ниже матовых плафонов, над креслом Руссульбаса[2]. Как в легком тумане видны лица сидящих за столом в углах кабинета.

[1] Федор Жухрай — замначальника особого отдела военного округа.
[1] Секретарь губкома партии

Рядом с Руссульбасом грудью на стол навалился Токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косил на низкорослого лысого человека, высокий тенорок которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами.

Аким[1] поймал косой взгляд слесаря, и вспомнилось детство: был у них в доме драчун — петух «Выбей глаз». Он точно так же посматривал перед наскоком.

Второй час продолжалось заседание губкома партии. Лысый человек был председателем железнодорожного лесного комитета.

Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, лысый строчил:

—...И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше четырехсот кубометров дров. Ну, а задание в сто восемьдесят тысяч кубометров — это... — лысый подбирал слово, — утопия!

Сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ.

Молчание казалось долгим.

Федор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса.

— Тут жевать нечего. В Желлескоме дров не было, нет и впредь не надейтесь... так, что ли?

Лысый дернул плечом.

— Извиняюсь, товарищ, дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта...

Человечек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель.

— Что же вы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней, — сказал из угла Денекко.

Лысый обернулся к нему:

— Я трижды сообщал в правление дороги о невозможности без транспорта...

Токарев остановил его.

— Это мы уже слыхали, — язвительно хмыкнул слесарь, кольнув лысого враждебным взглядом. — Вы, что же, нас за дураков считаете?

От этого вопроса у лысого по спине заходили мурашки.

— Я за действия контрреволюционеров не отвечаю, — уже тихо отвечал лысый.

— Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги? — спросил Аким.

— Слышал, но я не мог указывать начальству на ненормальности в чужом участке.

— Сколько у вас служащих? — задал лысому вопрос председатель совпрофа.

— Около двухсот.

---

[1] Аким — секретарь губкомола.

— По кубометру на дармоеда в год! — бешено сплюнул Токарев.

— Мы всему Желлескому даем ударный паек, отрываем у рабочих, а вы чем занимаетесь? Куда вы дели два вагона муки, данные вам для рабочих? — продолжал председатель совпрофа.

Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей.

Угрем ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам. Нутром чуял приближение опасности. С трусливой нервозностью желал лишь одного: поскорее уйти отсюда, туда, где к сытому ужину ждет его еще не старая жена, коротая вечер за романом Поль де Кока.

Не переставая вслушиваться в ответы лысого, Федор писал на блокноте: «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже, здесь не простое неумение работать. У меня уже кое-что есть о нем... Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается, и приступим к делу».

Руссульбас прочел переданную ему записку и кивнул Федору.

Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону. Когда он возвратился, Руссульбас читал конец резолюции:

«...снять руководство Желлескома за явный саботаж. Дело о разработке передать следственным органам».

Лысый ожидал худшего. «Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадежность, но это пустяк, а дело о Боярке — ну, за это он спокоен, это не на его участке. Фу, чорт, мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь...»

Собирая в портфель бумаги, уже почти успокоенный, сказал:

— Что ж, я беспартийный специалист, и вы в праве мне не доверять. Но моя совесть чиста. Если я не сделал, то значит не мог.

Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу.

— Ваша фамилия, гражданин? — спросил его человек в шинели.

С обрывающимся сердцем лысый проикал:

— Чер...винский...

В кабинете Руссульбаса, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились тринадцать.

— Вот видите... — надавил пальцем развернутую карту Жухрай. — Вот станция Боярка, в шести верстах лесоразработка. Здесь сложено в штабеля двести десять тысяч кубометров дров. Восемь месяцев работала трудармия, затрачена уйма труда, а в результате — предательство, дорога и город без дров. Их надо подвозить за шесть верст к станции. Для этого нужно не менее пяти тысяч подвод в течение целого месяца, и то при условии, если будут делать по два конца в день. Ближайшая деревня в пятнадцати верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой... Понимаете, что это значит?.. Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где и итти к вокзалу, а эти негодяи повели ее в глубь леса. Расчет верный: не сможем подвезти заготовленных дров к путям. И действительно, нам и сотни подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили!.. Это не меньше повстанкома.

Сжатый кулак Жухрая тяжело лег на вощеную бумагу. Каждому

из тринадцати ясно представлялся весь ужас надвигающегося, о чем Жухрай не сказал. Зима у дверей. Больницы, школы, учреждения и сотни тысяч людей во власти стужи, а на вокзалах — человеческий муравейник, и поезд один раз в неделю.

Каждый глубоко задумался.

Федор разжал кулак.

— Есть один выход, товарищи: построить в три месяца узкоколейку от станции до лесоразработок — семь верст — с таким расчетом, чтобы уже через полтора месяца она была доведена до начала сруба. Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно, — голос Жухрая в пересохшем горле заскрипел, — триста пятьдесят рабочих и два инженера. Рельсы и семь паровозов есть в Пущей Водице. Их там комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить, одна развалина — школа лесная. Рабочих придется посылать партиями на две недели, больше не выдержат. Бросим туда комсомольцев, Аким? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Комсомол кинет туда все, что только сможет: во-первых, соломенскую организацию и часть из города. Задача очень трудная, но если ребятам рассказать, что это спасет город и дорогу, они сделают.

Начальник дороги недоверчиво покачал головой.

— Навряд ли выйдет что из этого. На голом месте семь верст проложить при теперешней обстановке: осень, дожди, потом морозы, — устало сказал он.

Жухрай, не поворачивая к нему головы, отрезал:

— За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездной путь мы построим. Не замерзать же сложа руки.

Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурке Риты скатывались стеклянными крупинками дождевые капли.

Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала:

— Желаем удачи.

Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей.

— Да, задали нам мороку, язви их в сердце, — буркнул он, отвечая вслух на свои мысли. — Вы тут посматривайте. Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите, где надо. Ведь без волокиты эта шушваль не может работать. Ну, пора седать, доченька.

Старик плотно запахнул пиджак. В последний момент Рита как бы невзначай спросила:

— Что, разве Корчагин не едет с вами? Его среди ребят не видно.

— Он с технoруком вчера на дрезине поехал приготовить кое-что к нашему приезду...

. . . .

Хлестал в лицо осенний дождь. Низко ползли над землей темносерые, набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные пол-

чища, хмуро стояли старики-грабы, пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышные одеяния, и стояли они голые и чахлые.

Одиноко среди леса ютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхленной земли. Муравьями облепили ее люди.

Противно чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи. Глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты.

А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали к телам. Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи.

Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда, но люди с работы уходили только поздно вечером.

И с каждым днем полоса вскопанной и взрыхленной земли уходила все дальше и дальше в лес.

Недалеко от станции угрюмо взгорбился каменный остов здания. Все, что можно было вывернуть с мясом, снять или взорвать, — все давно уже загребла рука мародера. Вместо окон и дверей — дыры; вместо печных дверок — черные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши видны ребра стропил.

Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырех просторных комнатах. На него к ночи ложилось четыреста человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у дверей одежду, из нее текли грязные ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный слегка запорошенный соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала. А сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер.

Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своем однообразии постную чечевицу, полтора фунта черного, как антрацит, хлеба.

Это было все, что мог дать город.

Техноpук — сухой высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках — Валериан Никодимович Патошкин и техник Вакуленко — коренастый, с мясистым носом на грубо скроенном лице — поместились в квартире начальника станции.

Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Холявы, коротконогого, подвижного, как ртуть.

Строительный отряд с озлобленным упорством переносил лишения. Насыпь с каждым днем углублялась в лес.

Отряд насчитывал уже девять дезертиров. Через несколько дней сбежало еще пять.

Первый удар стройка получила на второй неделе: с вечерним поездом не пришел из города хлеб.

Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом.

Секретарь партколлектива, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб у себя подмышкой.

— Начинаются игрушки! — буркнул он себе под нос, быстро одеваясь.

В комнату вкатился шарообразный Холява.

— Сыпь к телефону и достучись до Особого отдела, — приказал ему Токарев. — А ты никому о хлебе ни звука, — предупредил он Дубаву.

После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый Холява добился связи с замнач Особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что? Хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал,— угрожающе загудел в трубку Жухрай.

— Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем? — сердито кричал в трубку Токарев.

Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь партколлектива услыхал:

— Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной Литке, он дорогу знает. Под утро хлеб будет у вас.

Чуть свет к станции подошла забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из нее устало вылез бледный от бессонной ночи Литке-сын.

Борьба за стройку обострялась. Из правления дороги сообщили: нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозиков на стройку, и сами паровозики, оказалось, требовали значительного ремонта. Первая партия заканчивала работу, а смены не было, задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности.

В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив.

Утром в город уехали Токарев, Дубава, Клавичек, захватив еще шестерых для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавичек, как пекарь по профессии, посылался контролером в отдел снабжения, а остальные — в Пуща-Водицу.

А дождь все лил.

Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью; сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режуще холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данное себе слово не ругаться. С остатком сапога пошел о барак. Сел около походной кухни, развернул всю в грязи портянку и поставил к печке окоченевшую от стужи ногу.

На кухонном столе резала свеклу Одарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего вволю: по-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми, могучими бедрами; она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей.

Одарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила:

— Ты что, к обеду мостишься? Раненько малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня, — брала она в оборот Корчагина.

Вошел пожилой повар.

— Сапог порвался вдребезги, — объяснил свое присутствие на кухне Павел.

Повар посмотрел искалеченный сапог и кивнул головой на Одарку:

— У нее муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель.

Слушая повара, Одарка пригляделась к Павлу, и немного смутилась.

— А я вас за лодыря приняла, — призналась она.

Павел прощающе улыбнулся. Одарка глазом знатока осмотрела сапог.

— Латать его мой мужик не будет — не к чему, а чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу, на горище у нас такая валяется. Где ж это видано, так мучиться! Не сегодня-завтра мороз ударит, пропадете, — уже сочувственно говорила Одарка и, положив нож, вышла.

Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху.

Токарев приехал из города раздраженный, собрал в комнату Холявы актив и передал ему невеселые новости.

— Всюду заторы. Куда ни кинешься, везде колеса крутят и все на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повыловили, на наш век их хватит, — докладывал старик собравшимся. — Я, ребятки, скажу открыто: дело ни к чорту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют — неизвестно. Мороз на носу. До него, хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну, так вот, ребятки, в городе возьмут в «штосс» всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем — одна слякоть, — говорил Токарев не обычным для него хриповатым баском, а напряженно-стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве.

— Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром беспартийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома, — передал он Панкратову сложенный вчетверо лист.

Через плечо грузчика Корчагин прочел: «Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкомола Р. Устинович».

В тесном бараке не пройти. Сто двадцать человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню.

Открывал собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех:

— Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут.
Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город, к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о «домашнем уюте», другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемежку с бранью:
— К чортовой матери! Я здесь и дня не останусь! Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление. А нас за что? Держали нас две недели — хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит. Кто хочет, пусть копается в этой грязи, а у меня одна жизнь. Я завтра уезжаю.
Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал: сын бухгалтера из губпродкома.
— Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор.
Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост.
— Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание — каторга? — глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близ стоящих. — Братва, нам в город никак нельзя, наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим дѐру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся, а тикать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина.
Грузчик не любил больших речей, но и эту, короткую, перебил все тот же голос:
— А беспартийные уезжают?
— Да, — отрубил Панкратов.
К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром.
— Вот билет, возьмите, пожалуйста, из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!
Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса:
— Чем швыряешься!
— Ах ты, шкура продажная!
— В комсомол втерся, на теплое местечко целился!
— Гони его отсюда!
— Мы тебя погреем, вошь тифозная!
Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали сторонясь, как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.
Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки.
Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку.
В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса ныр-

нул конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющиеся от ветра огоньки полами одежды, прочли: «Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьем всех до одного, пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи». И подписано: «Атаман Чеснок».

Чеснок был из банды Орлика.

В комнате Риты на столе незакрытый дневник.

«2 декабря

. . . .

Из Боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего двести сорок человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе? Дубава уже неделю там. В Пуще-Водице из восьми паровозов собрали пять. К остальным нет частей.

На Дмитрия создано Управлением трамвая уголовное дело: он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из Пуща-Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли девятнадцать площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали во-всю.

На вокзале остатки соломенской комсомолии за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повез рельсы в Боярку.

Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в Управлении трамвая. Там наотрез отказались дать больше двух площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение:

— Пора бросить партизанские выходки, теперь за это в тюрьме насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата?

Я еще не видела Дубаву таким свирепым.

— Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь, пиявка чернильная, и языком брешет. Мне без рельсов на Боярке морду набьют. А тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать, Токареву на пересушку! — гремел Дмитрий на весь губком.

Туфта написал на Дубаву заявление, но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним минут десять. Туфта от Акима выскочил красный и злой.

3 декабря

В губкоме новое дело уже из Трансчека. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили и, лишь когда тронулся поезд, вернули ему револьвер, вынув из него патроны. Двери и окна увезли. Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада двадцати пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу

по вывозке с лесоразработки длинных поленьев, которые они кладут вместо шпал.

Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется: «Все эти дела мы поломаем».

На стройке положение крайне напряженное, и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. То и дело тянем в губком тормозильщиков. Ребята на стройке все чаще выходят за рамки формалистики.

. . . .

4 декабря

Всю ночь валил снег. В Боярке, пишут, все засыпал. Работа стала. Очищают путь. Сегодня губком вынес решение: стройку первой очереди до границы лесоразработки закончить не позже 1 января 1922 года. Когда передали это в Боярку, Токарев, говорят, ответил: «Если не передохнем, то выполним».

О Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что на него нет «дела» вроде панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встречаться.

5 декабря

Вчера банда обстреляла стройку».

Кони осторожно ставят ноги в мягкий, податливый снег. Изредка заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка, затрещит — тогда всхрапывает конь. Метнется в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних.

Около десятка конных перевалило через холмистый кряж, в который уперлась полоса черной, еще не устланной снегом земли.

Здесь всадники задержали коней. Звякнули, встретясь, стремена. Шумно встряхнулся всем телом вспотевший от далекого пробега жеребец переднего.

— Их до биса наихало сюды, — говорил передний. — Ось мы им холоду нагоним. Батько сказав, щоб ции саранчи тут завтра не було, бо вже видно, що к дровам сволочная мастеровщина доберется...

К станции подъезжали гуськом, по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы; не выезжая на поляну, остались за деревьями.

Залп разметал тишину темной ночи. Белкой скользнул вниз снежный ком с ветки, серебристой при лунном свете, березы. А меж деревьев высекали искры куцые обрезы, ковыряли пули сыпучую штукатурку, жалобно дзинькало пробитое стекло привезенных Панкратовым окон.

Залп сорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги, но, когда залетали по комнатам жуткие сверчки, страх повалил людей обратно на пол.

Падали друг на друга.

— Ты куда? — схватил Павла за шинель Дубава.

— На двор.

— Ложись, идиот! Уложат на месте, только покажись, — порывисто шептал Дмитрий.

Они лежали в комнате рядом у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. В них пять патронов. Нащупав пустоты, повернул барабан.

Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла.

— Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда, — шопотом командовал лежащий Дубава.

Корчагин осторожно открыл дверь. На прогалине пусто. Медленно кружась, падали снежинки.

А в лесу десять всадников нахлестывали лошадей.

В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Холява. С дрезины сняли и поставили на перрон пулемет Максима, несколько коробок с пулеметными лентами и два десятка винтовок.

К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чертили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, вперевалку — все еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще была качающаяся палуба миноносца. Токареву то-и-дело приходилось бежать за своими спутниками: высокий Аким шел в ногу с Федором.

— Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его! Много земли вынимать придется.

Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, держа ладони лодочкой, и, пахнув дымком раз, другой, догнал ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шага, уходил дальше.

Аким спросил Токарева:

— Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?

Токарев ответил не сразу.

— Знаешь, сынок, — сказал он, наконец, — если говорить вообще, то построить нельзя, но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается...

Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил возбужденно:

— Вот тут-то и начинается это самое «но». Ведь только нас двое тут — Патошкин и я — знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить — нельзя. И вот почему я смог сказать: «Если не перемерзнем, то будет сделано». Сами поглядите, второй месяц как здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем, а основной состав без передышки, только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так сердце кровью заливает. Цены им нет... Не одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба.

В километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка.

Дальше километра на полтора на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого косогора, шла лишь ровная дорога.

Здесь работала первая строительная группа Панкратова. Сорок человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал с розвальней поленья и бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов, под них равняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты.

Кропотливое и медленное это дело — прокладка шпал. Прочно и устойчиво должны лежать в земле шпалы и так, чтобы рельс опирался одинаково на каждую из них.

Технику прокладки знал только один старик, без единой сединки в свои пятьдесят четыре года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой — дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный (отец Тали) всегда занимал почетное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки.

— Ну, как же мне вас кидать, скажите на милость? Напутаете без меня с прокладкой, тут глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по Расее натыкал за свою жизнь... — добродушно говорил он при каждой смене и оставался.

Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы.

Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, а плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось.

— А, губерния приехала! — проговорил он и подал Акиму горячую влажную руку.

Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же, прямо на снегу.

Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повел приезжих к выемке. Грузчик шел рядом с Федором.

— Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом вышло, в Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то? — серьезно спросил Федор неразговорчивого грузчика.

Панкратов смущенно улыбнулся.

— Мы его по согласию разоружили, он нас сам просил. Ведь он наш парняга. Мы ему растолковали все, как есть, он и говорит: «Я, ребята, не имею права позволить вам увезти окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах, ворует, мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас — он на меня обязательно донесет по службе и меня в Ревтрибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если

начальник станции не донесет, то на этом и кончится». Мы так и сделали. Двери и окна ведь не себе же везли!

Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил:

— Пусть же нам одним попадет, вы уж парня-то не жмите, товарищ Жухрай.

— Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать нельзя — это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном.—И Федор начал расспрашивать о подробностях налета.

В четырех с половиной километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути.

А по сторонам стояло семеро, вооруженных карабином Холявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хомутова. Это было все оружие отряда.

Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство смерти от пули бандита, утром удрал в город.

— На выемку у нас уйдет полмесяца, земля мерзлая, — негромко сказал Патошкин стоящему перед ним Хомутову, всегда хмурому увальню, скуповатому на слова.

— Нам всего дают на дорогу двадцать пять дней, а вы на выемку пятнадцать кладете, — ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса.

— Этот срок нереален, правда, я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало.

В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к выемке. На косогоре их заметили.

— Глянь, кто это? — толкнул Корчагина локтем раскосый парень в старом, порвавшемся на локтях свитере, Петька Трофимов, болторез из мастерских, указывая пальцем под косогор. В этот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Федор дольше других жал его руку.

— Здорово, Павел. Поди узнай его в такой разнокалиберной обмундировке.

Панкратов криво усмехнулся:

— Ничего себе комбинация из пяти пальцев, и все пять наружу. К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с Окуневым коммуна: тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солома почти не помогает, а потом «сыграет в ящик», — невесело говорил Акиму грузчик.

Чернорабочий Окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые глаза, возразил:

— Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем — и на кухню его в повара, к Одарке в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъест и погреется — хоть у печки, хоть у Одарки.

Дружный смех покрыл его слова....

В этот день смеялись первый раз.

Федор осмотрел косогор, съездил с Токаревым и Патошкиным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На косогоре рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мельканье лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо сказал Акиму:

— Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется.

Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих землекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа. А сейчас они охвачены единым стремлением довести стальную параллель игрушечных с виду рельсов до заветных дровяных богатств — источника тепла и жизни.

Патошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невозможность прорыть выемку раньше двух недель. Федор слушал его вычисления и про себя что-то решал.

— Снимите людей с косогора, развертывайте путь дальше, а холм мы возьмем иначе.

На станции Жухрай долго сидел у телефона. Холява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора:

— Позвони сейчас же от моего имени наштаокру,[1] пусть немедленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки. Необходимо очистить район от банд. Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращусь ночью. Вышлите на вокзал к двенадцати Литке с машиной.

В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенный на первое января.

— Мы переводим стройку на военное положение. Коммунисты сводятся в роту ЧОН[2]. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все шесть строительных групп получают твердые задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на шесть равных частей. Каждая группа получает свою часть. К первому января все работы должны быть закончены. Группа, которая окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город. Кроме этого, президиум губисполкома возбудит ходатайство перед ВУЦИК о награждении орденом Красного знамени лучшего рабочего этой группы.

Начальниками стройгрупп были утверждены: первой — товарищ Панкратов, второй — товарищ Дубава, третьей — товарищ Хомутов, четвертой — товарищ Лагутин, пятой — товарищ Корчагин, шестой — товарищ Окунев.

— Начальником стройки, — заканчивал свою речь Жухрай, — ее идейным руководителем и организатором остается бессменно Антон Никифорович Токарев.

Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались су-

---

[1] Начальник штаба округа

[3] Часть особого назначения.

ровые лица, и дружески-шутливая последняя фраза серьезного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха.

Человек двадцать гурьбой провожали Акима и Федора до автодрезин.

Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом калошу, Федор сказал негромко:

— Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил?

— Что-то похоже на это, припухать стали, — ответил Павел и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав: — Ты мне немного патрон для нагана дашь? У меня надежных только три.

Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер.

— Вот тебе мой подарок.

Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал, но Жухрай накинул на его плечо ремень...

. . . .

Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел бронепоезд. Пышным султаном вырывался белый, как лебяжий пух, освобожденный пар, незримо тая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов трое подрывников из бронепоезда глубоко забили в косогор две огромные вороненые тыквы, отвели от них длинные шнуры и дали сигнальный выстрел. Тогда от страшного теперь косогора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком.

У сотен людей на миг сжались сердца. Одна-две минуты томительного ожидания — и... вздрогнула земля, страшная сила разнесла вершины холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв сильнее первого. Страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного в клочья косогора.

Там, где только что был холм, зияла глубокая яма и на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхленная земля.

В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди с кирками и лопатами....

С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание — борьба за первенство.

Еще далеко до рассвета Корчагин тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая одеревяневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу.

Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло.

В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Дубава со своими арсенальщиками, протискался Панкратов.

— Видал, Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги поднял. Поди, саженей десять уже проложили. Ребята говорят, что он своих из главмастерских так навинтил, что те решили двадцать пятого закончить свой участок. Щелкнуть хочет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще посмотрим! — возмущенно говорил он Дубаве.

Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок Павлушка подхлестнул: не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду.

— Дружба дружбой, а табачок врозь — тут «кто кого», — сказал Панкратов.

Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и дал тревожный выстрел.

— В ружье, братва! Банда! — крикнул Павел и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер.

Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снег у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один из них крикнул:

— Стой, товарищи! Свои!

Полсотни конных в буденновках с алыми звездами подъезжали по дороге.

Оказалось, что стройку пришел проведать взвод полка Пузыревского.

. . . .

В городе «нажали на все рычаги». Это сразу сказалось на стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки организации в Боярку. На Соломенке остались одни девчата. В путейском техникуме Жаркий же добился посылки на стройку новой группы студентов.

. . . .

В Боярку прибывал народ. Прибыло и шестьдесят студентов-путейцев.

Жухрай добился у управления дороги посылки в Боярку четырех классных вагонов для жилья вновь посланным рабочим.

Группа Дубавы была снята с работы и послана в Пуща-Водицу. Ей приказывалось доставить на стройку паровозики и шестьдесят пять узкоколейных платформ: эта работа засчитывалась как задание на участке.

. . . .

Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низко плывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом.

Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи. Не держала тепла станционная развалина.

Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце, и на сине-голубом небе ни единого облачка.

Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только тепер Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу на

шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце.

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег...

. . . .

Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало.

Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе. Мыслим ли отъезд? Уже вчера медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперед таким ходом, что все только удивились. Грузчик шел напролом к первенству и, потеряв свое обычное спокойствие, поджигал своих «пристанских» на сумасшедшие темпы.

Патошкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себя: «Что это за люди? Что это за непонятная сила? Ведь если погода продержится еще хотя бы дней восемь, то мы подойдем к лесоразработкам. Выходит: век живи, век учись и на старости дураком останешься. Эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы».

Из города приехал Клавичек, привез последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с Токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавичек, улыбаясь, вынул из мешка прекрасную желтую меховую шведскую куртку, и хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал:

— Это тебе. Не ведаешь, от кого?.. Хо! Ну и глуп же ты, хлопче! Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты, дурак, не смерз. Куртку товарищ Ольшинский ей подарил, она из рук его взяла и мне передала — вези Корчагину. Аким говорил ей, что ты в пиджаке на морозе работаешь. Ольшинский немного нос скривил. «Я, —говорит,— этому товарищу шинель послать могу». А Рита смеялась: ничего, в куртке ему лучше работать! Получай!

Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь.

Рита записывала:

20 декабря

«Полоса вьюг. Снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюга остановили их. Утопают в снегу. Рыть мерзлую землю трудно. Осталось всего три четверти километра, но самые трудные.

Токарев сообщает: на стройке появился тиф, трое заболело.

22 декабря

На пленум губкомола из Боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос эшелон с хлебом в семнадцати километрах от Боярки. По приказу уполнаркомпрода весь строительный отряд переброшен туда.

23 декабря

В город из Боярки привезли еще семерых в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда

снимали окоченевшие трупы. В больницах холодно. Проклятая вьюга. Когда она кончится?

24 декабря

Только что от Жухрая. Оказывается верно: Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на Боярку. Два часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром Жухраю удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь навылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу, но отстреливаясь от нападавших, не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено одиннадцать. Сейчас там бронепоезд и два эскадрона кавалерии.

Начальником стройки стал Панкратов. Днем Пузыревский настиг часть банды в хуторе Глубоком и вырубил всех до единого. Часть кадровиков беспартийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам.

25 декабря

Привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика. Он в беспамятстве. Жизнь остальных вне опасности.

Из Боярки губкомпарт и мы получили телеграмму: «В ответ на бандитские нападения мы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге, совместно с командой бронепоезда «За власть советов» и красноармейцами кавполка заверяем вас, что несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к первому января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует коммунистическая партия, пославшая нас! Председатель митинга Корчагин. Секретарь Берзин».

На Соломенке с военными почестями похоронили Клавичека.»

Заветные дрова уже близки, но к ним продвигались томительно медленно; каждый день тиф вырывал десятки нужных рук. Шатаясь, как пьяный, на подгибающихся ногах, возвращался к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного. Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и пять дней он находил силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и итти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка и валенки, присланные Федором, надетые на уже обмороженные ноги. При каждом шаге, что-то больно кололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кружили странную карусель.

Едва добрался до станции, как необычный шум поразил его. Вгляделся: длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы, — их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижег снег горящую щеку.

Николай Сидоренко

Слон

Мой мир был мал,
Но он был мною добыт.
Я вижу детство, как далекий сон.
Мне звезды снились, снился теплый хобот.
Мне снились кактусы со всех сторон.

Голубовато-серый, словно кактус,
Огромнее и тяжелей слона,
Весь в хлопьях пара, — на разъезде как-то
Он затрубил у нашего окна.

На двух боках — штыки и пулеметы.
Спина покрыта сталью броневой.
Холодный хобот делал повороты
Над пепельно-седою головой.

Потрескивая, шпалы оседали.
Он жадно пил. Студеная вода
Тревожно булькала...
Потом в степные дали
Потопал слон. А красная звезда,

Прибитая между его клыками,
Во мгле ночной мерцала предо мной.
Мне снились кактусы, штыки и звезды... Память
Их пронесла сквозь ливень, снег и зной.

К ногам отца, в провинцию сырую
Осенний ветер гнал, свистя, листву.
Шли сквозняки и, тишину шуруя,
По левому пустому рукаву

Служебной куртки к сердцу подступали.
Проклятый нерв сверлит, сверлит, сверлит.
И видел я, как в стороне на шпале
Сидел родной, усталый инвалид.

По той земле, куда мой слон протопал,
Змеился фронт.
По-волчьи, без огня,
Через болота, по звериным тропам
В Республику ползла офицерня.

И поднимались на защиту сёла;
Заводы выходили, как один.

И серый дождь — недельный, невесёлый —
Мочил щиты у прорванных плотин.

В бою бывает всякое... И как-то
Он вновь трубил у моего окна —
Голубовато-серый, словно кактус,
Огромнее и тяжелей слона.

Спина рассечена. Клыки разбиты оба.
Бока изодраны. Он вынес тяжкий бой!
Звезда обветрена...
Но поднят длинный хобот
Над пепельно-седою головой.

Два человека в куртках на перроне
Отца спросили: «Кто начальник? Вы?
Мы отступаем. Позади — погоня.
Вы поняли?»
Наклоном головы

Он отвечал, что понял; беспокоясь,
Все время кашляя, старался козырнуть:
— «Сынишку захватите в бронепоезд.
А я один... А я уж как-нибудь».

Мы тронулись...
Небритый подбородок,
Пустой рукав, усталые глаза,
Привычный мир, привычная погода —
Всё оставалось!..

Ныли тормоза.

Промозглой тучей осень покрывала
Грибной уезд.
И по ночам лило̀.
Больной отец, припав к холодным шпалам,
Болты вытаскивал, вздыхая тяжело.

Он ослабел, но приготовил встречу
Врагам народа... Белых паровоз,
Круша березы, приминая вечер,
Забор ломая, рухнул под откос.

Колеса — вверх!
И звон стекла. И скрежет.
И выстрелы. И ругань. И мольба.
И суета... А стоны реже, реже...
Фонарь в упор и браунинг у лба.

… Всё вышло так, как говорил начальник
На бронепоезде однажды поутру,
Одной рукой придерживая чайник,
Другой поглаживая кобуру:

—« Пусть я умру, но ты увидишь, мальчик,
Незыблемое солнце в небесах!
Поверь чекисту…»
                                        Прыгал светлый зайчик
На козырьках, на сводках, на усах.

Когда мой мир я трогаю руками,
Звезда боев мерцает предо мной.
… Мне снились кактусы, слоны и ветры.
                                                                Память
Их пронесла над бурею земной.



Вл. Бахметьев

Железная трава

I

Большая, сложная, неповторяемая работа, в которой своими жизнями участвовали тысячи рабочих, крестьян происходила вдали от Солонечной. Еще десятки верст отделяли станцию от места боев. Не было слышно ни грохота орудий, ни гула земли под кавалерийскими ватагами и не видно было зарниц по ночам. Казалось, ничто не угрожало мирной жизни. Люди неторопливо возились около складов и гоняли по путям паровозы. За станцией, в поселке, с утра до позднего вечера дымила кузница, пели на заре пастушьи рожки, и по-обычному, как вчера, как год назад, знойная степь оглашалась многоголосною песнею труда.

Порою через станцию провозили эшелоны бойцов. Угрюмо и бесшумно, почему-то всегда ночью, подкатывали вагоны с огнеприпасами. Раз и два, сотрясая под собою почву, громыхали мимо, вне всякого расписания, тяжелые, в сизых латах, броневики.

Но ни людские эшелоны, ни броневики, с выглядывавшими из-под прикрытия орудиями, не вызывали на Солонечной тревоги.

У эшелонов были автомобили на залитых солнцем площадках и красные знамена, вздернутые под крыши вагонов. Армейцы, еще не ведая бессонных ночей, с веселым гоготом бегали взапуски по платформе. Броневики окружала орава подростков; команда из матросов, пользуясь краткосрочной остановкой, рассыпалась по базару, таскала оттуда горячие лепешки, сало и арбузы, похожие на ядра. За ма-

тросами с площади следовали молодые торговки; они со всех сторон разглядывали стальной поезд и охотно лезли в накаленные зноем коробы, откуда, как из стогов сена, до самого сигнала отправления слышались ярый визг и хохот.

И вот все это оборвалось.

Какая-то непоправимая беда стряслась там, где не одну неделю отважные полки сдерживали натиск врага.

Похоже было, что та самая прочная стена, которую не одну неделю толпами подпирали вооруженные люди, вдруг рухнула и — через степь, в черные дыры, зияющие между землей и ночным небом, потянуло несообразно диким и жутким.

К Солонечной с юга двинулись поезда с эвакуированным имуществом, с полуразрушенными автомобилями, с фуражом и ранеными под красным крестом. Из сел и деревень, опаленных близким дыханием войны, хлынули беженцы. Точно подстегиваемые бичами, они обгоняли друг друга, запружали переправы. С гиканьем и понуканиями бабы тащили за повозками коров, в повозках гремели цибарки, боченки, ухваты. Дети лепились на возах, как сливы на ветвях в урожайное лето. Псы, жеребята, овцы поднимали вокруг обозов столбы пыли, и чудилось, что степь охвачена пожарищем.

Все спуталось. Потерялось представление о времени, о местонахождении неприятеля, о его силах. Беженцы рассказывали о стальных чудищах, будто бы проникавших к ним на пашни, и о самолетах, сбрасывавших огонь прямо на избы. Люди с самодельными перевязками на руках толкались всюду и всех уверяли, что подверглись обстрелу каких-то разъездов в тех местах, где ни казакам, ни офицерству быть не полагалось. И это было едва ли не самое страшное из того, что перекатывалось из уст в уста среди беспорядочной, полонившей станцию, толпы.

Штаб бригады расположен был на станции к югу; в Солонечной очищали уже под него служебные помещения, и кто-то в туго перетянутой ремнями тужурке, окруженный хмурыми зеваками, выселял в слободке бывшего владельца паровой мельницы и вдовую собственницу двухэтажного, под черепичной крышей, дома.

Люди в ременных поясах, в блузах, залитых маслом, с винтовками и без винтовок, молодые и старые, неутомимо топотали под стеклянным навесом платформы, гоняли паровозы, стерегли — по-двое и по-трое, положа руки на револьверные кобуры — базар и поселок.

На станции было два телеграфиста, — один лежал в тифу, другой круглые сутки не отходил от аппаратов, принимая и отправляя депеши. Одна из депеш отправлена была на северную узловую — Медовую. Депеша прошла по установленному порядку через десяток рук, и ровно в три часа пополуночи, когда над Медовой проступал рассвет, прямо из депо вышел паровоз. Вел его машинист Гаврилов, седовласый служака, двадцать лет не слезавший с колес.

Привычно, но уже дрожащей рукой Гаврилов потянул рычажок сигнала — пар загремел, станция огласилась протяжным свистком. Затем та же рука открыла регулятор, и нехотя, одним глазом, ма-

шинист глянул из-под пучковатых бровей в окно на семафор. Паровоз Э-115 тронулся, держа путь на Солонечную.

Помощник Русанов или, как прозвал его машинист за белокурые кудри, Белокур-Русаныч, не торопясь, ловкими хватками, подбросил в топку угля, потом, так же не торопясь, стряхнув со штанов угольную пыль, поставил на топку чайник.

Гаврилов, не отрывая руки от рычага, коротко взглянул сначала на помощника, потом на чайник, и в его испитых, цвета спелой гречихи, глазах блеснула улыбка: одобряю.

Мимо, подмигнув, пронесся семафор, проплыла водокачка, похожая на верблюда с гусиной шеей, и паровоз, шатаясь от бега, ворвался в неоглядную степь.

Над степью студенела заря, курились пахучие туманы, в туманах невидимые пиликали птахи.

— Опять на сутки впряглись! — прокричал от топки Русаныч, и машинист, невзирая на грохот и лязг, по одному лишь движению губ разобрал каждое слово.

— Бестолочь! — раскрыл он ответно рот. — Вчера подавали, сегодня увозим...

Русаныч махнул рукой:

— Время такое... Война на капитал!..

Последние слова, рискуя быть неуслышанным, помощник прокричал в окно, навстречу буйно крутящемуся ветру.

У Русаныча, вчерашнего деповского слесаря, за голенищем лежал малокалиберный браунинг, а в груди колотилось неугомонное сердце, и он готов был о самом простом и будничном кричать и петь в погожее утро.

А там, на Солонечной, по остынувшим за ночь путям уже танцовали поездные паровозы, собирали в цепь вагоны, и за ними, трубя в рожок, бегали невыспавшиеся сцепщики.

Эвакуация станции началась.

II

На правом фланге армии кипел ожесточенный бой.

Как всегда перед решительными событиями, все в тылу, начиная от млевших под зноем деревень и кончая дальнею будкою на полотне у шлагбаума, лежало неподвижным, оглохшим.

Будочник на песчаном подъеме с утра маячил в пустой степи, под белесым омертвелым солнцем. Волосатое свое лицо, обожженное ветрами, он повернул в сторону от поля сражения, на север. Блеклые, в прозелени, глаза налиты были тревогою, и при каждом дымке на горизонте он поднимал ко лбу тяжелую руку ковшиком.

От будки не было слышно ни стона орудий, уносимого ветром, ни — тем более — треска раскаленных пулеметов. Но по тому, как днем, под солнцем, легонько вспыхивали крылья небосклона, и еще по обильным галчиным стаям, молчаливо устремлявшимся через заозерье на север, было ясно, что война приближается.

На Солонечной никто не видел ни вздрагивающего зарницей не-

босклона, ни парящих в выси над степью галчиных стай. По-обычному, вольно и радостно, голубело утро, на белых соляных буграх, падавших к речке, мирно копались овцы и козы, у темных соломенных крыш поселка, синие и ласковые, курились дымки.

А по путям, как волки, преследуемые охотником, метались паровозы. Вагоны, лязгая, сталкивались друг с другом, пятились к серым, заросшим крапивой тупикам и вновь рвались на простор, туда, в степь, в даль. Пели рожки, кричали, вспрыгнув на подножку паровоза, сцепщики, и одинокие кондуктора, с темными подсумками в руках, перескакивали через рельсы, пробирались к своим бригадам.

Без звонков, без сигналов снялся состав — с мебелью, с пачками перевязанных бумаг, с пишущими машинками и бледными опрокинутыми лицами женщин.

По станционной платформе, взмахивая прикладом, вышагивал человек в зеленой шинели, и от него кучами и в одиночку, вскинув на плечи мешки, бежали прочь, к чахлому скверу и дальше, на базарную площадь, люди в зипунах и онучах.

На площади и за путями, на перелесках, кони били в оглобли, кричали ребята, бабы суетливо укладывали на возы всякую рухлядь.

Людской гам и плач, женские причитания клубились под стеклянным навесом, щелкали затворы винтовок, из аппаратной вырывался ровный сухой треск, кто-то диктовал четко:

— Двадцать три товарных... Под номер седьмой... Седьмой, седьмой...

У тронувшегося по второму пути лазарета шли, подняв к вагонам головы, молодые ребята. Из окон, высунув белые передники, весело выкрикивали сестры:

— Не забывайте, если запомнили...

К полудню из Солонечной двинулся паровоз Гаврилова: тащил за собой первый эшелон в семьдесят вагонов. Комендант, шагая подле паровоза, кричал:

—Еще сорок вагонов с хлебом!.. Слышите? —Русаныч, с шумом захлопнув топку, дал полный ход. Дзинь-дзинь... дзинь-дзинь-дзинь-дзинь... — запели, вдруг рванувшись, вагоны.

— Тридцать тысяч пудов! — не унимался комендант.

Постепенно станция затихала, и лишь издалека, с проселочных дорог, из-за перелесья, еще долго слышались скрип телег, коровье мычанье да одинокие щелчки бича, похожие на выстрелы.

Бледное от бездождья небо дымилось. Над онемевшим поселком плыли горячие волны, земля задыхалась, пропитанная всюду вонючим угаром. По шпалам, окропленным маслом, в палисаднике с акациями, у пустых бараков и дальше, на пыльном базаре курились арбузные корки, шматки груш, марля с запекшейся на ней кровью.

К вечеру ждали штаб бригады, но вот солнце стало падать к белым заречным буграм, а морзе в аппаратной молчал, пути на север и на юг лежали пустынными: ни эшелонов из бригады, ни паровозов со станции Медовой за сорока вагонами брошенного груза!

Комендант станции, переругиваясь со старым сцепщиком, по прозванью Закутный, шел к телеграфной. Надо было отбить запрос. В эту

минуту на перрон, бледный, с загадочно возбужденными глазами, выполз телеграфист.

— На Роговую — обрыв!... — сказал он почти весело.

Комендант сразу умолк, а сцепщик раздумчиво покачал головой.

— Чего ты заливаешь! — бросил комендант, пальцами оттягивая тесный ворот. — Только что прошел ремонт...

Телеграфист мотнул стриженой головой и, как бы обидевшись, произнес:

— Что ж я, маленький, что ли?..

— Только что вышел Э-115... за остатками!..

Через стеклянный навес платформы было видно небо. Оно еще светилось, но у красных вагонов укладывались бурые тени, и вдали, за перелесьем, на синем остывающем небосклоне продиралась первая звезда.

— Язви тебя в душу! — выругался комендант и закричал, обернувшись в сторону складов: — Эй, Пучков! Начальника не видал?..

Сцепщик Закутный, почуяв недоброе, молча заковылял прочь с платформы.

Телеграфист сощурил вслед ему карие глазки и, вдруг наморщившись, охватив рот ладонью, чихнул.

— Будьте здоровы, Николай Петрович! — сказал он себе, доставая из кармана ситцевый платочек.

Телеграфист, — было ему девятнадцать лет от роду, он еще никого не любил, но много мечтал о большом городе и о «настоящей» жизни с рабфаком и митингами, с девушками, похожими на сон, — телеграфист Николай Петрович не думал, протирая платочком забрызганные губы, что сейчас он чихнул последний раз в своей жизни.

III

Паровоз Э-115, отцепив на Медовой вагоны, полным ходом возвращался с Солонечной за новым грузом. Железный грохот метался в будке, площадка скрежетала, было жарко и грязно от угля и масла, в оконца хлестала пыль из-под колес.

Русаныч, выставив наружу голову, вбирал в себя вечереющие запахи степи. Льняные волосы его трепались над глазами, глаза, обычно просторные и ясные, теперь, под ветром, щурились и слезились. Он выкрикивал любимую свою песенку:

> Вечор поздно из лесочку
> Я домой со стадом шла...

Гаврилов, держа руку у рычагов, поглядывал на водомерную трубку и как бы соображал что-то относящееся к машине. На самом же деле он прислушивался к ноющей боли в своих скрипучих коленях и думал о том, что через каких-нибудь пять лет ему придется навсегда проститься с паровозом.

Молодость пролетела, как быстрый бег паровоза: верста за верстой, будка за будкой, — хвать, ан уж и последняя станция на носу! Жизнь большая, всамделишная, прошла мимо, затерялась на станциях и полустанках.

Когда Гаврилов работал в депо, были у него друзья, была материнская ласка, была девушка, которая могла стать его женой, и была сладостная мечта о паровозе, о серебряных галунах вокруг фуражки, о поверстных и премиях. Но вот — дали паровоз, и все вокруг резко изменилось: стальной конь навсегда умчал Гаврилова от семьи, от любви, от борьбы об руку с товарищами за будущее, и не стало самого будущего, потому что уже не о чем было мечтать.

— Прелая балка! — прокричал Русаныч, отходя от окошка.

Начался подъем, самый крутой на этом перебеге. Машинист, не отрываясь от своих мыслей, повернул рычаги — один и другой. Русаныч, сгорбившись, кидал в топку веером уголь. Потом, захлопнув дверцы, он прислонился к стене, потный и серый от угольной пыли.

Гаврилов третий год ездит с Русанычем и знает его, как сына, с головы до пят. Парень хоть куда! Одно не нравится в нем машинисту: в дни отдыха не посидит дома, все шлындает с деповскими, и притом — бабник! В каждый перерыв дежурства та или другая девчонка ждала его на вокзале, и всем им парень сулил, конечно, жениться.

Сам Гаврилов о женщинах отзывался почтительно и, всегда тайно, чтобы не подрывать девичью честь, встречался со старой своей привязанностью, пожилой и косоглазой дочкой казначейского бухгалтера. Ленушка — так ее звали — никогда не мечтала, вследствие своего косоглазия, о замужестве. Гаврилова боялась и обожала, как человека, всегда являвшегося из недоступных ей далей, из городов и земель неведомых. Порою он дарил ей на платье, но был с нею всегда, даже в минуты ласки, суров.

Революция застала машиниста врасплох, и не все в ней обмозговал он. До сих пор, например, не мирился с тем, что над тяговиками командовал нивесть кто: сначала паровоз брали в плен оравы бежавших с немецкого фронта солдат, потом распоряжались выскочки из деповских, а еще дальше понасели всякие «чужаки» не имевшие представления о начальных правилах дорожной службы.

И здесь, как и в другом многом, Гаврилов расходился со своим помощником.

— Опять старое надвигается!.. — сказал машинист, поворачиваясь к Русанычу.

— То-есть, как это? — насторожился помощник, и в его ясных, ничем не затуманенных глазах старик перехватил тревогу.

— Да очень просто! — продолжал он, стараясь больше не встречаться глазами с помощником. — Нешто не чуешь, чем на фронте-то пахнет?..

— А чем! — по-волчьи ощерил зубы Русаныч.—Что бьют-то? Ну, так что?.. Сегодня они — нас, завтра мы — их!

Гаврилов махнул рукой:

— Помолчи лучше...

Паровоз, как дикий жеребец, с могучим храпом взносился на подъем. Сумеречная степь бежала по сторонам. У темных шпал, пересчитывая ребра пути, неслась жидкая, сиреневого цвета, тень.

Впереди, над шпалою, как бы преграждая путь железному чудо-

вищу, стоял, поднявшись на задние лапки, суслик. Паровоз надвигался с бешеной быстротой, и лишь в самый последний момент, описав в воздухе дугу, зверек исчез.

— Я так полагаю... — обернувшись от окошка, сказал Гаврилов помягче: — не стоило начинать! Крови, брат ты мой, пролито бочки, а конца не видно...

Русаныч шаркнул по грязному полу метлою, затем откинул метлу и твердо, с вызовом кому-то неведомому, произнес:

— Нам конец один: либо — в петлю, либо — вперед!

У машиниста, от раздражения, под черными пучковатыми бровями опять заострились глаза, и по щекам, покрытым щетиною седины — точно посыпанным солью, пробежала судорога.

— Эх! — произнес он с горечью. — Куда вперед-то?.. Я вот двадцать лет вперед еду, а все на месте...

Помощник никак не мог свыкнуться с этими вспышками у старика.

— Очень даже странно слышать вас! — проговорил Русаныч шершавым голосом. — Просто, обидно!..

Гаврилов посапывая молчал.

— Ровно бы вы, извините за выраженье, дворянских кровей!.. Иль в инженерском мундире хаживали!..

Гаврилов не откликнулся, но по тому, как с сердцем сплюнул он сквозь зубы, было видно, что последние слова помощника имели успех: машинист не выносил всякого рода железнодорожных белоручек, изучив их еще с той поры, когда будущие инженеры-чиновники лезли к нему на паровоз в качестве практикантов.

— Угля! — крикнул он Русанычу, заглядывая в окно.

Паровоз, взобравшись на взлобок, огибал овраги, темные, дышавшие упругою свежестью.

Вдали, в призрачном тумане сумерек, маячила крыша водокачки.

— Солонечная! — кинул Русаныч, чтобы разорвать хмурую минуту молчания.

Машинист живо, как бы вовсе забыв о стычке с товарищем, откликнулся:

— Давай сигнал!..

И выждав, пока свисток умолк, старик заговорил своим обычным— суровым, но задушевным голосом:

— В шестнадцатом году в этом месте студентик один чуть котел не сжег... Всего-то минутку прикорнул я, а он и ну хозяйничать... Ухитрился, башка, воду спустить, а потом спохватился да ка-а-ак качнет.. Спасибо, перехватил я, а то бы такого натворил.

— Чего от них ждать! — улыбчиво отозвался Русаныч, не раз уж слышавший от старика о глупом студентике-практиканте. — Их дело — паровозы портить...

— Кабы это только... — подхватил Гаврилов. — Они, брат ты мой, и до катастрофы ловкачи. Хоть бы тот случай со студентом взять: не догляди я, весь бы паровоз вдрызг разнесло... Нарочно этак не сделаешь, ей-ей!.. — Он нахмурился. — На нашего брата, из депо если, всех собак вешают, а им, чертям, все с рук сходило... Как же.

будущие инженеры!.. А что такое инженерство их?.. Тьфу, вот что!.. Им бы только задницу мять, да рабочим человеком помыкать... Маменькины сынки!

— Во, во! — совсем весело прокричал Русаныч. — Об чем и речь! За что и кровь льем!

— А — за что? — опять насупился старик.

— Как — за что?! А чтобы не маменькины — свои, рабочие, ребятки в практикантах-то...

Машинист молча просунул в окошко голову.

Мимо бежали вороха шпал, первые вагоны на запасах.

— Путь открыт!..

Зычный голос паровоза еще раз встряхнул накаленный за день воздух и густым эхом покатился среди сумеречной улицы вагонов.

Закрыв регулятор, Русаныч принялся тормозить. Паровоз, вздрагивая и отфыркиваясь, катил вдоль платформы.

Вдруг Гаврилов бросился от окна к рычагам.

— Задний ход!

Русаныч мгновенно, не рассуждая, отпустил тормоз; паровоз с силой рвануло на месте.

— Но? — в свою очередь зыкнул помощник, заметив, что рука старика оставила реверс.

— Брось! — отмахнулся тот. — Проспали!..

С платформы и по путям в тылу, придерживая шашки, бежали к паровозу люди. Русаныч успел разглядеть на одном из них галуны.

— Белые!.. — обронил он, хватая Гаврилова пальцами за обшлаг.

— Ладно, молчи!..

Старик стоял, чуть-чуть подавшись вперед, вдруг весь подтянувшись, и в его глазах, на булавочных их остриях, уловил Русаныч злобу. И опять почуял он в Гаврилове свое, родное, надежное.

— Сдержитесь, Андрей Семеныч... — сказал он, сжимая жесткую, как наждак, руку машиниста.

Тот отстранил его.

— Закрывай поддувало!

IV

На паровоз, держа в руках наганы, взбирались двое.

— С Медовой? — крикнул первый, в новенькой фуражке с красным околышем.

— С Медовой! — отвечал Гаврилов, и помощник уловил в его голосе никогда ранее не слышанные нотки: что-то насмешливо-задорное, как у забияки-подростка, еще не знающего, что бы ему выкинуть. — С Медовой, только... без меда!

Тому, кто следовал за казаком в новенькой фуражке, тучному, шумно посапывающему из-под нависших усов, должно быть, не понравился бойкий ответ машиниста.

— Слезай!.. — скомандовал он и повернул наган рукояткой к старику.

Гаврилов спокойно кинул Русанычу:

— Слышишь? Туши!..

Русаныч дрожащей рукой потянулся к поддувалу, но вслед, что-то решив, торопливо отпустил тормоз тендера и слегка толкнул регулятор.

— Готово!..

Машинист перехватил движение его руки, досадливо буркнул себе под нос и, плотно закрыв регулятор, поставил рычаг на место.

— Теперь не уйдет! — с прежней, едва уловимой усмешкой произнес он, ни к кому не обращаясь.

— Ну, ну, шевелись!.. — опять зычно скомандовал тучный и, подозрительно оглядев площадку, полез наружу.

Отойдя на несколько шагов от паровоза, Гаврилов оглянулся (столько лет ездил на этом скакуне), что-то хотел сказать Русанычу, но махнул рукой и пошел дальше, сухой, чуть-чуть сутулый, с фуражкой в потемневших серебряных оторочках.

Шли оба — машинист и помощник — косолапо, покачиваясь, как ходят после долгого пути матросы и все тяговики.

— Вы кто такие? — спросил Русаныч, приостанавливаясь у подъема на платформу.

Тучный фыркнул в жесткие свои усы, толкнул Русаныча, сказал:

— Не видишь?..

— Нет!..

— Ну, так увидишь!

Потом, уже на платформе, тучный поймал среди толкавшихся здесь людей юркого, прихрамывающего на одну ногу человечка.

— Ну, чего, Валяня, добыл?..

— Есть! — отвечал хромой и шлепнул рукой по карману.

— А с закусочкой как?..

— В полном обмундировании!

— Молодец!..

— Рад стараться!..

От людей пахло конским потом и жаркой пылью, их шашки гремели, на ногах звякали шпоры, короткие винтовки за плечами, сталкиваясь, издавали легкий скрежет, и в дымчатом калильном освещении ярко выступали кровяные околыши.

Окно в телеграфную было открыто. Мельком заглянув в него, Русаныч невольно остановился.

— Ну, ну, пошел!.. зыкнул на него толстяк.

Русаныч двинулся, но все озирался к окну в тоскливом недоумении.

Там, в аппаратной, у поваленного стула, лежал на полу, стриженным затылком вверх, телеграфист, и, пока шли мимо, ни одно движение не обнаружило жизни в тощем долговязом теле.

Русаныч тронул старика за руку, рука Гаврилова была холодна, как остывшая сталь.

— Куда? — с нескрываемой злобой, замедляя шаг, спросил старик у провожатых.

— Идем, идем! — шипел толстяк и, так как у дверей дежурной толкалось много людей, закричал: — Дорогу!..

Проходя тут, Русаныч уловил сладкий горючий дымок махорки, смешанной с донником. Его неудержимо потянуло закурить, он решительно остановился за порогом и, щурясь на свет, полез в карман.

— Но?! — схватил его за руку провожатый.

— Дай закурить ему! — огрызнулся Гаврилов.

Тучный глухо выругался и опять толкнул старика в спину.

У стола, под ярким светом, склонившись к карте, сидели и полулежали, облокотившись о край, люди. Они о чем-то спорили, одни — барабаня по карте пальцами, другие — прожевывая сыр с хлебом, третьи — дымя сигарой.

В первое мгновение Русаныч разглядел только поблескивающие плеши, густые и красные складки шей, выпиравшие сдобным тестом через ворот, и еще раз — эти размеренно жующие рты.

— Немедленно... фланг... штаб... Роговая... Гаубицу... — успел уловить Гаврилов. Сердце старика прыгнуло: «Роговая, штаб бригады, правый фланг армии».

Машинист не даром ездил тут на своем паровозе взад-вперед много лет. Перед глазами его вспыхнул черный кружок — Роговая — и черная извилистая за ним линия: один перегон, только перегон до фронта!..

Он взглянул на помощника. Глаза их встретились: старые, сузившись и вспыхивая, казалось, говорили: «Ничего, поглядим, что будет». Молодые... В молодых глазах ничего, кроме тоски, не было.

— Не нюнь! — тихонько бросил машинист товарищу.

Подняв седую, стриженную ежом голову, на Гаврилова смотрел человек с тускло-мерцающими на плечах погонами. Человек был стар, бритые его щеки отвисли, как у мопса, на темной стариковской шее выступал желобок, и усталые глаза его под бледными зонтиками век явственно говорили:

«Я ничем не интересуюсь, все под луною минется, отойдет в землю, и мне ничего не нужно»...

Короткое время генерал всматривался в машиниста, потом окинул тусклым взором Русаныча и, очевидно, ничего не найдя в них обоих интересного, слабым, рассыпающимся, как зола, голосом произнес:

— Поздновато...

Тучный, подобравшись, звякнув шпорами, отвечал:

— Только что прибыли, ваше превосходительство... Машинист и кочегар!..

Еще двое, отрываясь от карты, рассеянно, кисельным взглядом, окинули пленных.

— Паровоз... сильный? — спросил старик в погонах и сунул на острый желтый зуб такой же желтый, из янтаря, мундштук.

Тучный не знал, какой паровоз, и потому, повернулся к машинисту.

— Паровоз сильный, господин... генерал! — отвечал Гаврилов. — Не уступит американскому...

— А-а...

Генерал слегка склонил голову к соседу, молодому и розовому, в гусином пушку, офицеру, и что-то произнес.

— Слушаю-с!

Офицер встал у стола потягиваясь, выпячивая одновременно грудь и широкобедрый зад.

— Ну-ка! — сказал он машинисту, небрежно указывая на дверь.

Снова шли через платформу. Русаныч заглянул в окно аппаратной, — телеграфиста там уже не было. Под стеклянным навесом звенела сталь, бряцали винтовки. Люди вокруг спешили, увешанные шашками, ручными бомбами, револьверами. От сквера, по путям, из-за угла, с площади доносились бранные выкрики, конские похрапывания. Покрывая этот близкий взлохмаченный шум, со стороны селения, тягуче и мягко наплывало мирное, вечернее, всегдашнее: скрип пересохших ворот, лай собак и еще нечто, глубокое и прекрасное, как жалобный человеческий голос.

«Гармоника», — догадался Русаныч, и в первый раз за этот день вспомнил он о своей милой, покинутой на Медовой.

Старый машинист был не прав, думая, что у помощника много возлюбленных. У Белокура-Русаныча была одна, настоящая: Катенька, та самая, которая всякий раз встречала и провожала его на вокзале в Медовой. Это она снабжала парня в дорогу узелочком с провизией, и это ее руками шились исподние его рубашки в цветных вышивках с вензелями.

«Не скоро теперь увижу», — подумал о своей милой Русаныч, и его сердце сжалось в предчувствии чего-то неизъяснимо-жуткого.

И Гаврилов подумал о том, что не так уж скоро выберешься нынче на отдых, и что косоглазая его Ленушка, пожалуй завертит с соборным регентом: не даром негодяй этот ловит девку в коридорах с посулами.

«Ну и чорт с нею! — решил про себя машинист. — Полюбовница— не мать, сердце — дырявое!..»

Спускаясь по ступенькам, он потянул носом, учуял терпкое и влажное дыхание, идущее из-под чугуна и камня, и закрыл глаза... Кто бы думал, что даже здесь, среди железа и щебня, июльская ночь так сладко дышит!

— Поставить на место сцепщиков! — кричал кому-то в темноту офицер. — Подать сюда начальника!..

Подле самого паровоза, указывая на машиниста и его помощника, офицер приказал:

—Ковалев, обыскать!..

У Ковалева даже в темноте поблескивали зубы, крепкие и ровные; фуражка на нем была огромная, широкодонная, и из-под нее выбивался на лоб кудлатый чуб.

— У этого нет ничего! — говорил Ковалев, обшарив Гаврилова.— А у этого... Ну-ка!.. — Голос казака вдруг прыгнул.— Вашскородие, оружие!..

С платформы пробивался свет. В нем, блеклом и неверном, маячили на паровозе перила, и было видно, как у Русаныча, забывшего о своем браунинге, прыгали губы.

Офицер достал папиросу, казак поднес ему спичку.

— Слушай, ты! — пыхнул дымом в лицо Русанычу офицер, — оружием тебя большевики обдарили?

Русаныч молчал.

— Отвечай, сволочь, когда у тебя...

Офицер рванулся к помощнику машиниста, тот отступил. Глаза Русаныча вспыхнули с такою силою, что, взглянув не него, старый машинист понял: сейчас произойдет несчастье, Русаныч погиб. Встав к нему спиною, машинист проговорил, обращаясь к офицеру:

— Напрасно вы! Нашему брату по нынешнему времени... без оружия не выезжай! Намедни у разъезда пятеро бандитов чуть нас... не искромсали...

Офицер держал в зубах папиросу и, сощурив глаза, всматривался в старика.

— Послушай-ка: один ты с паровозом можешь?

Старик не сразу понял, что от него хотели, а поняв, сердито откликнулся:

— Один? Ежели без ручательства — могу!

— То-есть, как это без ручательства? — дернулся на месте офицер.

— А так, что за исправность доставки... не отвечаю! — с холодною решимостью объяснил машинист.

И хотя старик не повысил голоса, офицер кинул ему:

— Ну, ну, потише! Прикажу — поедешь один... — Помолчав, он крикнул казаку: — Чорт с ними, Ковалев, пускай оба лезут.

А когда Гаврилов занес ногу на выступ паровоза, офицер концом ножен ткнул его в бок и закричал сорвавшимся голосом:

— Гляди у меня... мать вашу... Понимаешь?..

Машинист улыбнулся, — никто этой улыбки не видел.

— Будьте, господин, покойны... Нам все одно, какую кладь везти!..

И, по-молодому вспрыгнув на крыло паровоза, скомандовал:

— Ну-ка, Русаныч, вступай!..

У офицера, взобравшегося за ними, старик спросил, показывая на Ковалева внизу:

— Этот—тоже? У нас в работе теснота!..

Офицер с раздражением прервал его:

— Не рассуждать!..

Но казаку махнул рукой, и тот, не торопясь, уплыл в темноту.

— Пары! Живо! — голос у офицера подрагивал.

Гаврилов с нескрываемым вызовом откликнулся ему:

— А вы... не командуйте! Какие пары?.. Воды взять надо...

Он снова был тут хозяином, а офицер, с детства беспомощный там, где люди трудились, отступил в глубь будки.

Пока паровоз заправляли, ездили к водокачке и затем маневрировали, составляя небывалый, в десятки вагонов эшелон, старый машинист возился у машины с масленкой и ключом: что-то подвинчивал, что-то смазывал и потом проверял из-под руки Русаныча рычаги, — Русаныч стоял за машиниста.

И все это время оба они не произнесли между собой ни слова. Лишь покончив с работой, Гаврилов сказал, заглядывая в окошко.

— Эвон чего делается!..

Он говорил о небе. Густое, отсыревшее, оно вольно раскинуло свои спелые звездные поля. Где-то далеко (паровоз выдвинулся за пределы станции), в стороне от черного, без огней, селения, в черных ракитах, над белыми водами, подавленная величием ночи, кричала выпь.

На станции после людского шума, лошадиного ржания, грохота вкатываемых на площадки орудий, наступила тишина. Ударили в колокол: раз и два.

— Ишь, дьяволы, тоже, со звонками! — пробурчал машинист, подошел к машине и потрепал ладонью стальную ее оправу.

— Ну, скакун!..

Он не договорил, вдруг как-то весь осуровев.

Позади били третий.

Паровоз загремел протяжно и уныло, и в этом железном голосе офицеру почудилось что-то бесконечно чужое и враждебное. «Зря Ковалева не взял», — пожалел он и рассердился на себя за свою беспечность.

V

Паровоз, дрожа и шатаясь, как пьяный, рвался вперед: деревянные коробки вагонов, вцепившись в него, гудели колесами: невообразимый гул плясал под железным навесом будки.

Офицер стоял, ухватившись рукою за скобу, широко расставив ноги. Новенькая фуражка сползла у него на затылок, шашка беспомощно билась о стенку, и на всем его юном, упитанном и тщательно выбритом, лице трепалась досада.

А эти люди, — машинист и его помощник, — не торопясь и беззаботно, как бы издеваясь над ним, возились у машины, что-то, чего нельзя было разобрать непривычному уху, говорили друг другу и, как бы по уговору, вдруг оба оставляли работу, вытирая рукавом потные маслянистые щеки, и раскуривали цыгарки.

Прошло не более пятнадцати минут, как поезд двинулся в путь, а офицеру казалось, что они уже должны были подходить к новой станции, к полустанку, к этому (чорт их там разберет!) разъезду, что ли...

Но не было ни станции, ни разъезда; паровоз, пожирая пространство, мчался вперед, в непроглядную ночь, в безвестную степь, навстречу своей, одному ему ведомой, тайне.

— Эй, ты! — позвал офицер во весь голос машиниста.

Старик повернулся к нему и с досадою махнул, черной в масле, рукой: не мешай!..

— Отлично! — прижимаясь к подрагивающей стене, произнес вслух офицер. — Ты у меня еще запоешь...

Машинист опустился на откидную лавочку и безразлично влип глазами во влажный обугленный пол. Его помощник размеренно подкидывал в топку уголь. Паровоз сам по себе, никем не управляемый, мчался вперед, и в темном, захлебывающемся страхе неслись за

ним деревянные, набитые людьми, животными, сталью и порохом, коробки.

— По башке бы, сволочь! — сказал Русаныч, кивая на офицера, и старик, впившись глазами в его губы, ответил коротко:

— Не дури!

Потом, встав на ноги, он взглянул на водомер.

— Качай!..

Исполняя приказы старика, Русаныч метался у котла, говорил:

— И откуда их шут принес? Прорвались, что ли, где?..

— Объехали... А ты качай, качай!

Подрагивая, рука старика легла на регулятор.

— Олений подъем!..

Русаныч просунул голову в окошко, кинул, не оборачиваясь:

— Закругление 201...

Гаврилов закрыл глаза, судорога пробежала по его щетинистой щеке. Он знал:

«Закругление 201... Потом подъем... От подъема до самой станции уклон: скорый бег, двадцать минут...»

И Русаныч думал о том же:

«Закругление... Подъем... Станция и штаб... Красный штаб всего фланга!..»

И у обоих сразу встали перед глазами залитые ужасом лица, блеск и вспышки огня.

Еще не взойдет солнце над степью — загремят пушки, затрещат пулеметы, и многие сотни людей, повернутых спиной к новому, нежданному врагу, примут на свои плечи острую сталь.

Они так и не увидят солнца. Солнце жадно высосет их кровь, испепелит на щеках их последнюю смертную слезу. Они не увидят этого утра, не поймут, не распознают удара, смешаются в дикое стадо и будут падать, падать, как трава под косою. И они вымостят своими телами дорогу новым вражеским полчищам. Полчища ринутся вглубь, истопчут ниву, урожай долгого мучительного труда; на пути их взовьются столбы пламени, огонь охватит мирные деревеньки; золотые гнезда человека превратятся в труху, в пепел.

Эта ночь с паровозом, эта смерть на мчащихся стальных колесах! Разве там слышат, как ревет протяжно и жалобно сирена: «Берегись... берегись... берегись...» И разве там видят, как попирая минуты и версты, летят к ним на крыльях — их муки, их отчаянье, их смерть?.. И разве кто распознает, — пройдут сотни и сотни дней, — разве кто распознает, кто они, эти двое у машины: рабы иль предатели, неволя на посту иль Иуды?..

«Закругление... Подъем... От подъема — двадцать минут...»

— Довольно! — крикнул Гаврилов, припадая к водомеру, и стоявший у рычага Русаныч видел, как новая судорога змеею оплела пепельную щеку старика.

«Трусит дедка», — подумал он, не отводя от машиниста глаз, и тот, подняв пучковую бровь, уловил этот настороженный взгляд.

«Ишь ты, байбак! — вздрогнув, подумал в свою очередь Гаврилов о помощнике. — Небось, с бабами-то горазд!..»

Так, одно короткое мгновение они глядели друг на друга в упор, как насторожившиеся враги, и оба сразу почувствовали, что из того страшного, что стало к ним лицом к лицу, есть только один выход.

И оба сразу, как бы забыв о машине, отвернувшись, заглянули в оконца.

Русаныч увидел тут, подле, летящие на сторону огненные хлопья и там, высоко в черном небе, голубые звезды.

«Завтра, через месяц и через тысячи лет эти звезды будут светить и радовать, а сегодня что-то должно случиться — что-то непоправимое».

Такое пронеслось в голове Русаныча, и именно об этом подумал машинист, отходя к машине и снова встречаясь с помощником.

Теперь у обоих в глазах, горячих и влажных, мерцала растерянность. Не было выхода, нельзя было отступать ни вправо, ни влево, всюду подстерегало их сознание: жить попрежнему и вообще жить уже нельзя будет после того, что должно было произойти там, где тысячи людей, ничего не подозревая, стоят сейчас лицом к врагу.

— Провались вы все пропадом! — сказал Гаврилов, с силой отбросив в угол метлу и, никогда ранее не бранясь, подкатил матерщиной.

— Она тут ни при чем! — сказал Русаныч негромко, ставя метлу на место.

Старик снял фуражку, отер потный лоб. Русаныч видел, как, неожиданно, под пучковатыми бровями запрыгали лукавые искорки.

— Жить, небось, всякому охота!.. — почти злорадно говорил старик, засовывая что-то в фуражку.

Паровоз, отдуваясь, взбирался на гору, ночь затихала, над темными жерновами степи дрожали звезды.

Офицер глядел в окошко, нюхал воздух, пряный, горьковатый. Лужи мрака, разлившись по уемам дегтем, отсвечивали синим. Откуда-то со стороны, напоминая о людях, о жилье, доносилось сонное воркованье лягушек.

Мысли офицера уходили в будущее: оно не могло не быть счастливым. Офицеру было около тридцати, а он уже был в капитанском чине, и начальство баловало его. Только бы покончить с этой сволочью, полонившей страну, жизнь пойдет дальше, как по-писанному!..

А те двое стояли друг против друга у топки и тянули из фуражки, отороченной потемневшими галунами, свою судьбу: медные бляшки — одна с нарезами внутри, другая гладкая.

Первым просунул руку Русаныч. Старик отвернулся.

— С нарезом... — сказал дрогнув помощник, губы его бело распустились, на лбу, под льняною прядью, выступил градинами пот.

— Значит, тебе! — повернулся к нему Гаврилов и торопливо отвел глаза, как бы боясь, что помощник прочтет в них хлынувшую к сердцу радость. — Ничего не поделаешь: тебе!

Русаныч молчал. Как ни слабо было вокруг освещение, старик видел: студеная бледность медленно, начиная от губ, заливала парню лицо.

— А ты, человече, крепись! — сказал машинист с непонятным

озлоблением и, облизав пересохшие губы, поспешно начал объяснять, что и как делать, показывая рукою то на водомер, то на рычаги.

Помощник смотрел и слушал, как сонный.

— Понял?..

Русаныч перевел на старика, тяжелые, в синих кругах, глаза; старик сморгнул.

— Понял!..

— Так ты... чего же?..

— Ничего, уходи!..

Теперь машинист старался поймать взор Русаныча, а тот, чужой, холодный, косил глазом в угол.

— Уходи!.. — повторил Русаныч и вдруг, отпахнув влажные глаза, заговорил высоким, захлебывающимся голосом: — Чего жмешься? Уходи, не томи... Сразу уж!

— Твое дело... — пробормотал Гаврилов. — Ну, так... прощай!..

Он потянулся к помощнику, но тот, как бы не заметив его движения, сказал: — Прощай! — и, не глядя, положил руку на рычаг.

Старик опустил голову. Офицер стоял к ним спиною; над новенькой его фуражкой прыгали за окном, в темноте, огненные мухи.

«У-а-а-а»... — дико, протяжно заревел под рукою Русаныча паровоз.

Подъем кончился.

—Ну-ка! — подходя к помощнику и отталкивая его, сказал Гаврилов.

Русаныч вздрогнул и огляделся, как бы возвращаясь из своего, ему одному ведомого, мира.

— Слышишь! — снова окликнул старик. — Бляшки эти... наврали!..

Русаныч не понимал. Старик продолжал:

— Чорта ты тут сделаешь... Ишь, механик какой!..

— Дык, ты вот как!.. — закричал, осмыслив наконец слова машиниста, Русаныч. — А чорт... Издеваться надо мной?..

Последние слова застряли у него в горле. Со старого, испепеленного многолетним трудом лица машиниста повеяло на него спокойною решимостью. Это было лицо, говорившее Русанычу о жизни, разрешающее ему, приговоренному за минуту перед тем, жить... «Жить... жить... жить...» — зазвучало во всем теле Русаныча многоголосною музыкой, и все еще бранчливо, с обидой, но уже не веря в свои слова, он заторопился:

— Разве же так можно? Мне выпало!.. Что же я, хуже тебя, что ли?!.

Гаврилов сурово перервал его:

— Стой! Кто тут хозяин?..

Потом, перехватив в мокрых глазах Русаныча надежду и обиду одновременно, старик произнес мягче:

— Ты не противься... Знаю, не откажешься, не таковский... Я об чем, пойми! Мне ведь все одно... Я, вишь, Русаныч, у последней станции: часом раньше, часом позже — вылезай!.. А тебе вон еще сколько кататься... Понял?

У Русаныча прыгали губы. Он молчал.

— Опять же, с умом тут надо, умеючи... Поезди с мое, узнаешь!.. Я, вишь, у скакуна моего каждый каприз знаю, а ты... что?.. Ты думаешь, ушел бы я?.. Мне от него все равно не уйти... Я что́ сам сделаю, то и есть!..

Он еще что-то говорил, бестолковое и неубедительное, но Русаныч понимал его.

Когда вслед затем офицер повернулся от окошка, глазам его представилось странное зрелище: крепко обняв друг друга машинист и помощник целовались. Делали они это сосредоточенно, степенно, по-стариковски, поворачивая головы крест-накрест, то к одному, то к другому плечу.

«А ведь напились-таки! — подумал офицер, брезгливо сплюнул и затревожился. — Не вышло б беды!»

Тут он вспомнил о завтрашнем утре, о новых опасностях, угрожавших ему, о возможной смерти.

«Э, чорт! Все равно...»

Он опустился на откидную скамью и почти до конца безразлично клевал носом, насторожившись лишь в самые последние минуты, когда паровоз с новым стремительным грохотом пронесся под уклон. Тут он заметил, что белокурый кочегар куда-то исчез, а машинист, вытянувшись, точно часовой у порохового погреба, одиноко стоит подле своих рычагов. И еще видел он сквозь дрему, как, сгорбившись старик жадно сосал цыгарку, придерживая ее у рта трясущимися пальцами.

Офицер не успел осознать конца. Беззвучно полыхнуло огнем, и все вокруг мгновенно померкло.

Русаныч, спрыгнув на тихом ходу с паровоза, пополз вслед, но едва он добрался до уклона, звездное небо рухнуло, песчаный омет у дороги рассыпался, как пепел цыгарки, и полусгнивший верстовой столбик, вырванный, из земли, сполз с насыпи.

Прижавшись лицом к шпале, Русаныч зарыдал.

VI

На Солонечной, в зале первого класса, на столах, спешно сдвинутых в виде нар, под красным полотнищем лежали рядом: комендант, начальник продбазы, стриженный телеграфист и еще один из караула станции. У всех их лица были нахмуренные, с восковыми складками вокруг рта и полузакрытыми, как бы прищуренными, глазами. Руки, откинутые на сторону, застыли в том самом положении, в каком смерть застала этих людей.

Одинокий часовой стоял у изголовья и, точно завороженный, не отрывал косого взора от головы коменданта. Раскроенная ударом шашки, она кое-как стянута была бинтами, мертвая кровь каплями просачивалась через холстину.

А в зале, балансируя, как по льду, ходили на носках вооруженные бойцы, бойцами были запружены станционная платформа и вся площадь за чахлым сквером с акациями.

Весть о крушении казачьего поезда передана была из штаба бригады в Солонечную, а отсюда, подхваченная телеграфом соседних станций, разнесена в течение нескольких часов по всей округе.

К Солонечной прибывали люди.

Тут была пехота в полном походном снаряжении, поданная с севера из укрепленного крепостного района, и кавалерия, сделавшая за ночь многоверстный пробег. Кавалерия шла по следам врага и не встретилась с ним только потому, что с Солонечной казачий отряд перегрузился в вагоны.

С часу на час с побочного пути ожидали новый эшелон — с тяжелой батареей.

Когда солнце, старое, степное, с багровой морокой в полнеба, поднялось над белыми заречными буграми, людское возбуждение в Солонечной переливалось через край.

Пути были полны снующих взад-вперед пехотинцев, на базаре, за вокзалом военные смешались с сельчанами, огромная толпа гудела у сквера. Здесь, взобравшись на перила и держась одной рукой за сук иссохшей ивы, говорил речь политком пехоты. Был он в короткой и тесной — защитного цвета — рубахе, с огромной кобурой у пояса. С лица его, рябого и красного, точно распаренного в бане, струился пот, глазки брызгали восхищением, свободная левая рука, сжатая в кулак, то-и-дело секла воздух. В толпу, пригретую солнцем, дышащую угаром потных горячих тел, сыпались калеными орехами бойкие, напитанные страстью, слова:

—...Они нас в спину, а мы их — в сердце... Поднимайся, чего там... Бабы — дома, мужики — за винтовку!..

Тут же, у развалившейся беседки, за треногим столиком шла запись добровольцев. Были подростки с запрокинутыми набекрень картузами, были и такие, у которых серебрились бороды и в притухших глазах светилось холодное спокойствие старости.

На перрон, расталкивая зеленые рубахи, вышел помощник начальника. Часто забили в колокол.

Из-за складов, сотрясая землю, катился паровоз, за ним — вагоны. Большое багровое полотнище развевалось с тендера. Люди из вагонов махали руками, орали «ура».

— С Медовой... деповские!.. — прокричал в толпу сцепщик Закутный и побежал, размахивая локтями, к платформе.

А из вагонов, гремя винтовками, уже выпрыгивали деповские, и где-то впереди, у паровоза, грянул оркестр.

— Наши! Добровольцы! — захлебываясь от внутреннего волнения, кидал на бегу Закутный. — Наши! Добровольцы...

Его никто не слушал, а он все выкрикивал это, как бы сообщая о чем-то таком огромном и радостном, перед чем все прочее должно было померкнуть.

— Наши! Деповские...

Затем он заглянул в зал первого класса, улыбнулся покойникам, щурившимся на солнце, толкнул двери в телеграфную (закрыты) и, повернув к скверу, но не дойдя до него, опустился на тумбу.

Сидел, протирая с лица пот,и сладко чему-то улыбался. У ног

его зеленела трава-железняк. Прибитая этой ночью конскими копытами, она уже расправляла свои жесткие кружева, и каждый ее стебель упорно тянулся к солнцу.

Старик ласково коснулся рукою травы.

— Живуча ты, матушка... Ужь и впрямь — железная!..

А к вокзалу отовсюду бежали люди, оркестр подымал к небу стройные медные голоса. Те, что прибыли с Медовой, спешно строились вдоль платформы.

В лугах, за станцией, кричали гуси; встревоженные, они бежали, взмахивая крыльями, пытаясь лететь, и не могли... Старая бабка, с темным лицом идола, глядела в сторону станции и беззубо смеялась: она не понимала, зачем людям музыка, если кругом смерть!

★

Геннадий Фиш

Разоружение эшелона

(Отрывок из повести «Третий поезд»)

Я выскочил из своего последнего вагона и побежал вперед:

— Почему остановился поезд, когда семафор открыт?

Было совсем темно и морозно, снег хрустел под ногами. Комиссар тоже подходил к паровозу.

— Что случилось, Айрола [1].

Айрола ругался.

— Отсталая страна. Играет стрелочник на рожке, подумаешь — пастух собирает стадо, а что эта деревенская музыка значит и не понять!

Он был прав, на наших дорогах никаких музыкальных инструментов не применяют, днем зеленый и красный флажки, ночью зеленый и красный огонь.

— Но семафор-то открыт!

— Открыт, открыт, — словно передразнивая комиссара, повторил Айрола, — но вот посмотрите, что там сигнальщик-стрелочник вытворяет.

Стрелочник быстро вращал свой фонарь. Зеленый, белый, красный огни его сливались вместе, и не разобрать было, какой именно цвет предназначен для нас. Но вот он остановился.

Белое стекло приветливо мерцало нашему паровозу.

— Что значит белое? Нам надо твердо знать — красный или зеленый? Или стрелочник сошел с ума или на русских дорогах совсем другие правила.

Вспомнив стычку с начальником станции, я решил, что второе решение правдоподобнее.

— Надо итти вперед к стрелочнику и узнать, что он хочет ска-

---

[1] Машинист финского поезда, посланного рабочей властью Финляндии в Сибирь за хлебом.

зать своим фонарем, — мрачно сказал комиссар, и мы отправились вперед. Около будки стрелочника нас встретили неожиданной бранью.

— Какого чорта вы остановили поезд?

Ругался на этот раз не железнодорожник, а человек в форме военного моряка, в бескозырке и с шерстяными наушниками.

— Мы не понимаем таких сигналов. Мы из Финляндии, — сумрачно сказал комиссар. Что это значит?

— Белый означает: путь открыт, — сказал выступивший из темноты человек. — Разве вы это не знаете?

— У нас — зеленый. А вы кто будете? — обращается Карвонен[1] к моряку, и тут я заметил, что у матроса за плечами на ремне винтовка, а у пояса две гранаты.

— Проходи по своему делу, потом узнаешь.

— Что за разговоры?

— Помалкивай, — и рука матроса ползет к револьверу.

Я тоже нащупываю в кармане револьвер.

— Значит можно итти? — спрашивает комиссар.

— Путь открыт, — уклончиво говорит человек в штатском.

У него тоже за плечами винтовка и у пояса две гранаты.

— Здесь что-то неладно, — думаю, — и хочу дать знать об этом комиссару. Но он уже идет к поезду рядом с матросом.

Я двинулся вслед за ним. В ногу со мной идет вооруженный штатский.

«Что бы здесь ни было, но поезд наш должен пройти своим путем. Хлеб мы должны доставить Суоми»[2] думаю я, торопясь догнать комиссара. Но штатский осторожно трогает меня за рукав.

— Товарищ, по чьей путевке идет поезд?

— Идем за хлебом для мировой революции, — путевка Ленина.

Он выслушивает мой ответ и начинает жарко шептать:

— Товарищ, здесь готовится предательство. На станции стоит эшелон матросов и самодемобилизующейся солдатни. Вооружены... Паровоз у них испорчен. Они ждут поезда, чтобы отнять паровоз. Они возьмут его от вас.

— Наш паровоз не сменный, он приписан к поезду и идет из самой Финляндии.

— Да им наплевать на это. Это — анархисты. Много они понимают в железнодорожном деле! Они вооружены до зубов. Они разгромили на нашей станции два пакгауза.

— Сколько их?

— Не меньше шестисот, наверно больше. За свои слова ручаюсь. Я — начальник здешнего железнодорожного отряда красной гвардии.

— Что же можно сделать? Сколько у тебя людей?

— Двадцать и два пулемета. В трех верстах есть спичечная фабрика, я послал уже туда одного парнишку за рабочей подмогой. Но сам знаешь, ночь... холодно...

---

[1] Комиссар финского поезда.
[2] Суоми — название Финляндии (по-фински).

Комиссар дошел до паровоза и взобрался к машинисту. Паровоз загудел и медленно повел состав к станции. Мы с товарищем красногвардейцем на ходу вскочили в вагон. От поручней холодит руки, холодный ветер обжигает лицо, а в голове одно — надо во что бы то ни стало обеспечить безопасность нашего поезда, во что бы то ни стало нужно доставить хлеб.

Мелькают огоньки семафоров и стрелок... Поблескивают темные окна придорожных сонных домиков. Толпятся на запасных путях теплушки и пустые холодные классные вагоны. Несколько больных паровозов в стороне побелели от инея. Один из них в темноте кажется великаном. И правда, по русским дорогам ходят тяжеленные паровозы, в сравнении с ними даже наши Юмбо-К. З. кажутся небольшими. Поезд подкатывает к платформе с навесом.

Свет из окон станционного здания и нашего классного вагона вырывает из тьмы несколько вооруженных групп.

Это высокие широкоплечие матросы. У каждого на поясе ручные гранаты, за плечами на ремнях винтовки, карабины, у многих маузеры. Многие из них сменили свои бескозырки на шапки с наушниками. Но даже и этих пробирает холод. Робко жмутся к стенам станции выбежавшие на шум поезда одинокие пассажиры. Волокут свои сундучки, баулы. Они кажутся испуганными, увидев черные наши вагоны и столько вооруженных людей. А вот уже на снегу — платформа кончилась — стоит группа в рабочей робе. В полушубках, овчинах, валенках. Тоже с ружьями.

— Это наши, — говорит мне спутник. — Я буду здесь. Надо действовать, — и он спрыгивает со ступенек к своим. Я прыгаю за ним.

— Как же быть? — спрашивают красногвардейцы в несколько голосов.

— Я посоветуюсь со своим комиссаром.

— Мы будем ждать здесь. А вот и их эшелон.

На запасном пути вдоль привокзального, занесенного снегом сада вытянулся эшелон матросов и солдат. В темноте красные теплушки кажутся такими же темными, как и наши. Порою широкие двери вагонов с визгом и грохотом открываются, и, выпустив людей, с таким же визгом быстро закрываются, чтобы не выпустить драгоценное тепло из вагонов. На перроне, к нашему комиссару подбегают матросы и, угрожая револьверами и гранатами, о чем-то начинают спорить. Поездная бригада почти вся проснулась, и ребята выходят с заспанными лицами на платформу.

«Надо приготовить охрану к действию», думаю я и быстрым шагом, миновав комиссара и окружившую его группу матросов, бегу к последнему вагону поднимать своих... «К действию! А чорт меня возьми, если я знаю, как мне надо действовать. Одно ясно, что поезд наш должен проскочить эту станцию». Когда я иду быстро, я быстро думаю, но сейчас мысли толпятся в полном беспорядке. Из группы, окружившей комиссара, доносятся выкрики.

— Вы наверное коньяк везете и спирт!

— Прощупать хорошенько вас надо!

— Что, коммунисты Россию продали немцам?

Тихие и спокойные ответы комиссара не долетают до меня. Кто-то трогает меня за рукав. Это — Ваня.

— О чем тревога?

Я на ходу быстро и скомканно объясняю, в чем дело.

— Це дило треба розжувати, — отвечает он против обыкновения встревоженно. И быстро идет за мной. Я подымаю своих красногвардейцев охраны. Нет времени объяснять, в чем дело. Объявляю только, что положение серьезное, нужна дисциплина и решительность. Трусов будем судить дома. Молчат. Один сказал насчет того, что жизнь ему дороже всякого хлеба. Но другие цыкнули, и он затих. Вывел я свою дружину не на платформу, а на другую сторону поезда. Выкатили пулемет. И смотрим — к классному вагону, на ступеньки, прицепилось уже несколько вооруженных «братишек». Несколько матросов пробуют своими штыками сковырнуть пломбы на наших вагонах. Ближние, увидев нас и наш пулемет, оставили это дело с таким видом, будто не они, а кто-то другой, посторонний, вертится около наших вагонов. Что делать? И тут Ваня обрадовался, хлопает себя по лбу, потом бьет меня по плечу и говорит мне быстро, что надо сделать, как из этой ледяной воды выйти без воспаления легких. И, правда, такая же мысль сразу мелькнула и у меня. Ваня прав. Оставляю своих людей, назначаю себе заместителя, и мы с Ваней спешим полубегом уже по платформе. Около комиссара огромная толпа, и его совсем не видно за широкими матросскими спинами.

— Да, что с ним долго рассуждать, списать в штаб Духонина, вот и все.

— Разве не видите? Вильгельмовский шпион!

Да, усы сейчас совсем не к лицу комиссару.

И я слышу его взволнованный голос:

— Товарищи анархисты, я вам не могу дать паровоз, приписанный к моему поезду, за который отвечаю перед советской властью.

Его перебивают голоса:

— Нам нужна своя власть!

— Мы и без твоего разрешения возьмем!

И вот, они срывают с комиссара поясной ремень с кобурой, они толкают его в спину, они тащат его куда-то за собой. Паровоз дает толчок, поезд вздрагивает.

— Не пускай поезд, — раздаются крики. Кое-кто из этих парней вскакивает на паровоз. И тогда, вырвав у перепуганного пассажира сундучок, Ваня Заливин, слесарь петроградского депо Финляндской железной дороги, вскакивает на этот сундучок и кричит так, что слышно далеко за платформу:

— Товарищи, братва, об чем речь? Паровоз мы вам дадим. Нам не к спеху, если на то пошло, мы и постоять сможем. Мы ведь тоже анархисты!

— Брось заливать, говори дело.

— Кто это выискался?

— Я с этого поезда... работник. А ежели б не анархисты были, к чему нам черные теплушки?! Взгляните на них, уважаемая братва!

Паровоз мы вам даем немедленно, только вы его не расшибите и со следующей узловой обратно нам пришлите. Товарищи, мы вам или нет?!

— Раз так, значит друзья?

— Как это понимать надо? — раздались недружные голоса еще не понимающих, в чем дело, матросов.

— Мы сами спасаемся, — продолжал врать Ваня, — за нами, анархистами, вдогонку два поезда с большевистской гвардией шпарят, вагоны у нас, к сожалению, пустые, а то добром поделились бы. И если у вас что в вагонах есть, может с нами поделитесь, — нам оружие особенно нужно.

— Держи карман шире!

— Не надейся дед на чужой обед!

Матросы хитро улыбались. Некоторые даже откровенно захохотали.

— А старичка нашего отпустите, мы сами с ним по душам поговорим. А ну, отцепляй паровоз!

Последних слов Заливина я уже не слыхал, так как шел к начальнику здешней красной гвардии. Нашел я его там, где оставил. Мы сговорились быстро. Он понял меня с полуслова.

— По первому свистку моему навести пулеметы на матросский эшелон — я возьму с собой кого надо. Дело будет жаркое!

Мы вошли к дежурному по станции. В диспетчерской было натоплено до духоты.

— Сволочи! — сказал равнодушно диспетчер и положил трубку на стол. — Пищик не работает. Матросы перерезали провода!

— Давай нашего стрелочника и сцепщика, — сказал ему начальник отряда. — Нам надо загнать их на дальний запасный путь и забить оттуда все выходы порожняком.

— А как дальше?

— Утром придет помощь фабричная. А потом телеграмма о помощи уже отправлена.

— Все возможно, — усмехнулся диспетчер, но помощи по-моему ждать не приходится. А одному тебе не вывернуться.

— Делай как я говорю, — другого выхода нет. Станция должна быть большевистской, советской, — отвечает начальник, а я мысленно добавляю:

— А поезд должен вернуться с хлебом в красный Гельсингфорс.

Едва дежурный успел выполнить все, что просил у него начальник, как в помещение ввалилась группа матросов.

— Отправляем поезд.

— Паровоз добыли? — равнодушно спросил дежурный.

— Есть паровоз. Мы чего захотим, того и добьемся, — хвастливо заявил один из матросов, усиленно оттирая перчаткой побелевшие уши.

— Чего же вы хотите? — так же равнодушно спросил дежурный.

— Анархии, — гордо сказал хвастун.

— По домам? — как-то робко вставил другой, и уже увереннее повторил: — по домам, скоро ведь и посев у нас в Вятской.

— Мы пермские, — отозвался другой.

— Так, так, — сказал в пустоту дежурный и стал вызывать нужных ему для отправки матросского эшелона людей.

Мы вышли на перрон.

Кто-то из наших отцепляет паровоз.

На паровозе уже матрос с наганом в руке.

— Все равно я не поведу, — кричит Айрола, громко ругаясь.

— Веди паровоз — я отвечаю! — кричит ему Ваня. Но так как один говорит по-фински, а другой — по-русски, то им никак не сговориться.

— Комиссар, — раздраженно кричит Ваня, — скажи ему посвоему, чтобы делал, как велено.

Но обеспокоенный комиссар сидит молча на перроне. Никто не обращает на него внимания, он смотрит на темную стену теплушки, словно в пустоту и затем тихо говорит, словно про себя:

— Я тебя, изменник, пристрелю.

Говорит он это тоже по-фински и поэтому никто, кроме меня, его не понимает. И тогда я подхожу к нему и говорю громко, будто ссорясь, будто препираясь с ним. Я нарочно не шепчу, пусть Айрола на паровозе тоже слышит, в чем дело:

— Скажи Айрола, чтобы действовал, как велит Заливин, за все я отвечу перед народными уполномоченными и рабочими Гельсинки [1]. В открытом бою мы матросов не возьмем, их больше и у них оружие. Надо их разоружить. Надо их заманить обратно в теплушки, а там будет легче, полагайся на меня.

Я хочу объяснить ему весь наш план, но тут двое проходящих матросов останавливаются и подозрительно смотрят на нас.

— Немецкие шпионы, — говорит один из них.

— Нет, — успокаивает его другой, — это они по-своему, по-чухонски лопочут.

— А ну, прекратить, — командует он.

Но тут уже Карвонен вежливо спрашивает командующего:

— Разрешите дать распоряжение машинисту, чтобы он согласился отцепить от нашего поезда свой паровоз и вел ваш поезд.

— Ну, говори, — снисходительно соглашается матрос.

И Карвонен командует:

— Айрола, делай все, что тебе скажут Эйно и Заливин, маневрируй, но не выходя с территории станции.

Айрола что-то бормочет и соглашается. Со стуком падает кольцо сцепной стяжки. Буфера перестают пружинить, из тормозного шланга с шипением выходит воздух. Паровоз медленно отходит. Он идет набирать воду.

Наш поезд остается обезглавленным.

Теперь надо действовать решительно, осторожно. И точно, точно, как часы...

Начальник здешних красногвардейцев около своих людей.

Я спешу к своим, надо объяснить им все, чтобы всякий проник

---

[1] Название столицы Финляндии — Гельсинг форса (по-фински).

в суть до последней мелочи. Может быть они надумают что-нибудь и получше, чем мы с Ваней.

— Надо заманить матросов в вагоны. Для этого мы даем наш паровоз, его прицепляют к анархистскому эшелону. Айрола дает гудок и трогает с места, — сначала как будто проверяя стяжки. Матросы подумают, что поезд уходит, заберутся в теплушки, захлопнут двери, а тогда и будем действовать по плану. — У Вани был план запереть теплушки наглухо и так и оставить. Нас, вооруженных, вместе с местными красногвардейцами, тридцать человек с тремя пулеметами, так что против каждой отдельной теплушки мы сумеем принять меры.

Чувствую весь невероятный риск затеянного, но другого выхода не вижу.

Ребята жмутся.

Некоторые наверно трусят, но в темноте не видно, и тем, кто трусит, совестно в этом признаваться.

Мы слышим звуки рожка стрелочника, гудки маневрирующего паровоза и громкий голос Вани Заливина, находящегося у топки рядом с Айрола и матросом.

Он переругивается со стрелочниками, переспрашивая значение сигналов.

— Пора, товарищи, пора, — говорю я своим ребятам, и мы быстро идем по путям, на соединение с отрядом русских красногвардейцев. Они уже приготовились к действиям.

— Ваш план половинчат, — говорит мне начальник отряда. — Оставить матросов здесь, с оружием, чтобы они потом разгромили станцию!..

Я не отвечаю и думаю, что товарищ прав. И я додумываю план до конца.

Ваня, ты хитрый, а я еще хитрее.

Начальник с изумлением смотрит на меня. Пожимает плечами. И потом как-то сразу загорается.

— Да, если нет выхода, безумие может помочь.

Он жмет мне руку и смеется.

— Дай бог, чтобы сошло, — крестится какой-то бородач из его отряда.

Я выхожу на перрон — матросов стало меньше. И вот слышится металлический стук буферов прицепляемого к поезду паровоза. Скрип стяжек. Слышно, как Айрола рывком берет с места эшелон и дает громкие позывные гудки.

Подействовало. Увешанные гранатами матросы спрыгивают с перрона и бегут, пересекая железнодорожные пути, к своему эшелону.

Выскакивают отдельные фигуры из станционного помещения, скрипят двери теплушек. Это их закрывают. Опоздавшие залезли внутрь. Сейчас они уже занимают свои насиженные места.

— Эх, чорт! Чего они медлят? — сердится начальник, но никто и не медлит. Кладовщик тащит дюжину огромных замков.

— Только-то! Снимай штыки! — командует начальник своим красногвардейцам.

Теперь я уже не понимаю, в чем дело.

— Все в порядке, — говорит мне начальник.

К нам подходит комиссар. Обращается ко мне как к начальству.

— Товарищ Эйно [1], я приготовил поездную бригаду, в случае чего и она может пригодиться.

Мы полубегом с винтовками в руках направляемся к маневрирующему на путях поезду. Товарищи выволакивают пулеметы и катят их вслед за нами. Попрежнему играет пастуший рожок стрелочника, слышны свистки сцепщика, короткие гудки паровоза, стук тарелок буферов и бренчание сцепок.

— Правильно, Айрола! — кричу я изо всех сил и потом командую своим пулеметчикам:

— Если откроется какая-нибудь дверь, по первой моей команде— огонь.

И я вижу, как пять человек из русского отряда отделяются и бегут вдоль медленно идущего эшелона, вместо замков втыкая находу свои штыки, как засовы.

Ловко. Теперь теплушки снаружи закрыты. Никто оттуда не выберется. Разве что из верхних люков, ну да оттуда можно вылезать лишь по-одиночке и прыгать высоко, так что каждого в отдельности можно застукать. А чтобы сразу вылезать, надо сговориться. Этого им уже не сделать.

— Ну, будем действовать дальше, — совсем спокойно говорит мне начальник. — Вы только скажите, по-своему, машинисту, чтобы он не останавливал поезда.

Я опять кричу изо всех сил. Слышим два коротких револьверных выстрела на паровозе. Русский красноармеец-бородач снова крестится. Ваня соскакивает с паровоза и бежит к нам, в его руках два нагана.

— Все в порядке! Матрос больше мешать не будет.

— Начинаем, — повторяет начальник и начинает дубасить в дверь первой теплушки. Поезд идет медленно, но нам нужно все же, чтобы не отставать, итти быстрым шагом.

Пять красногвардейцев переходят на другую сторону поезда. Они вскакивают на ступеньки тормозной площадки, перебегают ее и исчезают.

Рядом с теплушкой наши ребята катят пулеметы. Вокруг нас кирпичные, темные от копоти железнодорожные строения, засыпанные снегом товарные вагоны, одичалые больные паровозы, штабели дров и угля, — какие-то цистерны, позади белеет оснеженная крыша станции.

Начальник настойчиво стучит в дверь первой теплушки.

— Да какого ж чорта?

Изнутри слышна ругань.

— Весь комплект налицо!

Комиссар рукоятью нагана барабанит в дверь.

— Открой, может баба! — и мы слышим, как в теплушке ржут.

Наконец, дверь начинает медленно ползти в сторону, и пока она

---

[1] Герой повести, рабочий-финн, от имени которого ведется рассказ.

ползет, в теплушку успеваем влезть мы с начальником и еще один красногвардеец.

— В чем дело? — спрашивает разочарованно открывший дверь матрос.

— А вот в чем! — говорит начальник, взводя курок нагана. Я делаю то же самое. Красногвардеец щелкнул затвором.

— А вот в чем дело, — повторяет начальник, — революционная советская власть рабочих предлагает немедленно сдать оружие. Через четверть часа подходит к станции эшелон латышских стрелков и красные финны — вот их делегат. — И он кивнул на меня. — Если вы не сдадите оружие — будете уничтожены все до одного. Красногвардейцы с фабрики окружили станцию и пути. Вам отсюда не уйти живыми, если не сдадите добровольно оружия. Если сдадите сразу, советская власть гарантирует вам всем отправку по домам в течение полутора суток. Финский поезд заберет с собой один вагон тех, у кого дом в Вятке, Перми и Екатеринбурге. Кто из вас оттуда?

— Я, я, я — раздалось несколько голосов.

— Брось шебуршить, — прикрикнул на них, видимо, их вожак. И тогда они зашумели, загалдели. Послышался стук взводимых курков.

— Советская власть не шутит, — громко сказал начальник и скомандовал: — Огонь!

И тогда, как было условлено, дали большую очередь в воздух наши пулеметчики. Первый пулемет замолчал. И с другой стороны поезда очередь повторил второй пулемет.

— Смотрите, — сказал начальник.

Матросы увидели, как рядом с вагоном идут вооруженные люди и катят пулеметы.

— Давай оружие! — и он сорвал с плеча стоящего рядом с ним матроса винтовку.

— Ну, ну, потише, — угрожающе произнес тот.

— Не разговаривать.

И комиссар, сняв со стенки винтовку, передал ее мне. Я бросил ее наружу.

— Давай оружие!

Еще две винтовки я передал на мороз и крикнул:

— Товарищ комиссар, поездная бригада пусть берет оружие.

— Эй ты, — увидел я матроса, который спорил с другим о севе, — ты вятский ведь, товарищ твой сибиряк, сдавайте оружие, выходите, мы вас сегодня же возьмем домой.

Это их проняло, они быстро сдают свое оружие под наведенными на них дулами, собирают сундучки и выскакивают со своим скарбом наружу, на пути.

— Возьмите у них гранату, — кричит своим красногвардейцам начальник.

Что делается на путях, я не вижу, не знаю, мне не до того...

— Бросьте вы морозить теплушку, закройте дверь, — сердится только-что проснувшийся матрос.

Он еще не раскумекал толком, что происходит.

— Скорее сдадите оружие, скорее закроем дверь,—уверенно говорит начальник.

Наших ребят в теплушке уже десять человек. Они держат винтовки готовыми к бою. Но никто из матросов сам не сдает оружия, приходится нам самим снимать со стенок, вытаскивать из-под тонких матрацов винтовки.

— Руки вверх, — командует, наконец, начальник. Буду снимать гранаты.

— У меня нет гранаты, — говорит один из матросов и засовывает демонстративно руки в карманы.

— Выкуси!

И тогда раздался короткий удар рукоятью нагана по голове, и матрос, схватившись обеими руками за голову, мешком оседает на нары.

— Я сказал: руки вверх!

Так мы выбираем из теплушки винтовки и гранаты и выскакиваем на путь. Блестят морозные рельсы. И, пересекая эти рельсы, темнеет цепь поездной бригады.

Комиссар выстроил всех наших в цепь и по этой цепи передается оружие из матросского эшелона в наш поезд.

Цепи все время приходится менять свое положение, потому что эшелон непрестанно маневрирует.

Первая теплушка наглухо заперта.

Рядом с нею быстро идет один красногвардеец.

Он наблюдает, чтобы никто не открывал люк.

И тогда мы начинаем операцию со второй теплушкой.

О, если бы и она прошла так же хорошо, как и первая.

И вот тут-то и срывается...

Сразу, как только распахнулась на стук начальника дверь, матросы почувствовали, что творится что-то неладное.

Отворял дверь сам вожак, тот самый, который в диспетчерской распространялся про анархию.

Увидев вооруженного начальника, он выхватил маузер.

— Пулеметы, огонь! — скомандовал начальник, и как и в первый раз пулеметчики наши ответили короткой очередью в воздух. В вагоне произошло замешательство.

— Революционная советская власть,—твердо сказал начальник. Но этот беспутный матрос торопил свою смерть, он не дал договорить комиссару.

— Плевать нам на твою жидовскую советскую власть! — заорал он. — Да здравствует анархия!—и кто-то из темного угла теплушки, до которого не доходил слабый свет коптилки, крикнул:

— Правильно, Василий!

И тогда раздался выстрел.

Я не знаю, кто выстрелил, начальник ли, один из красногвардейцев или, может быть, я сам. Нервы были у меня напряжены до последнего.

Матрос-анархист, неуклюже взмахнув руками, свалился на раскаленную печурку, стоявшую посредине теплушки.

— Правильно! — сказал начальник. Около него уже стояли три красногвардейца с винтовками на изготовку.

— Сдавайте оружие, — и он повторил почти слово в слово свою речь.

Матросы притихли.

Здесь тоже нашелся один вятский.

Стараясь не глядеть на убитого, как бы не замечая его, хмурясь и молча, клешники сдавали свое оружие, винтовки и гранаты.

И так же, как в первый раз, цепью передавалось это оружие к нашему поезду, к нашим товарным вагонам.

Поезд продолжал маневрировать, и странно, что никому из моряков и солдат, находящихся в других теплушках, и в голову не пришло проверить, полюбопытствовать — кто это дает такие гулкие пулеметные очереди. Они или все уже спали, или так привыкли на фронте и за последние дни к стрельбе, что несколько случайных выстрелов ни во что не ставили.

Мы совершенно забыли об опасности и чтобы дело шло быстрее, разбились на две группы и сразу принялись обезоруживать две теплушки с разных концов поезда, чтобы из одного вагона разоружаемые не могли перекликаться с другими.

Итак, я со своими и с Ваней Заливиным стали работать с хвоста. И нам попались солдаты — более спокойная публика.

Ваня говорил им о бабах, которые ждут в деревнях, и о том, что незачем рисковать своей жизнью из-за паршивой винтовки, которую к тому же надо чистить. Он говорил еще о том, что через двадцать минут придет сюда эшелон с латышскими стрелками.

Среди солдат было много бородачей, и некоторые из них разоружались, можно сказать, даже с охотой. Особенно любезно сдавали они гранаты.

Матросы были куда активнее...

Когда мы разоружили с хвоста два вагона, в голове раздался взрыв и громкий отчаянный крик.

Я побежал к месту взрыва вместе со своими людьми, оставив наблюдать за люками двоих товарищей.

У места взрыва толпились русские красногвардейцы.

Поезд попрежнему продолжал маневрировать по пристанционным путям.

— Из люка первого вагона какая-то сволочь бросила гранату в нашего часового, — возмущенно говорит начальник.

Уже несут на станцию стонущего в беспамятстве и, может быть, умирающего красногвардейца. Уже выводят из притихшего вагона бросившего гранату матроса. Это тот самый, который уже получил угощение от начальника. Его ведут двое к водокачке.

Жалобно блеет рожок, дребезжат, сталкиваясь, буфера вагонов, ровно горят огоньки сигналов.

— Мы слишком поверхностно разоружали. Надо будет обыскивать, — говорит начальник русских, и мы расходимся по своим местам и снова принимаемся за работу.

С большой неохотой дают нам на просмотр свои сундучки и мешки солдаты и матросы.

Ваня нашел способ осаживать непокорных. Он сразу наводит на него яркий огонь карманного электрического фонарика. Мой подарок. Свет этот слепит смутьяна, он отворачивается, закрывает глаза рукою и под наведенными на него дулами, ворча, пихает нам в руки несложное свое имущество. В мешках, сундучках мы нашли еще немало оружия и боеприпасов.

Матросы все были очень хорошо экипированы, у каждого из них было по два комплекта белья, запасные брюки, тужурки, обувь. У солдат скарба было больше, но он отличался от матросского — это были простыни, скатерти, шинели, разные хозяйственные предметы, романовские полушубки.

Но нам-то в первую очередь нужно было оружие.

И вот уже оружие все, или почти все, взято. Теплушки закрыты снаружи. Паровоз наш оставил их на дальнем запасном пути и забивает сейчас этот путь порожняком. Около вагонов дежурит охрана.

— Ну, с каждым приходящим поездом я буду отправлять один вагон, — говорит начальник и начинает оттирать себе уши снегом. — Отморозил, в этой передряге совсем не заметил мороза, — пытается он шутить. Но видно все-таки, что его пронимает тревога и к тому же уши дают себя знать.

— Теперь познакомимся, — говорит он мне, — Владимир Яковлев.

Называю себя; мы крепко жмем друг другу руки и идем на станцию.

— Спасибо, товарищи, — говорит Ване и мне товарищ Яковлев.

— Спасибо, товарищ, — отвечаем мы.

Русские красногвардейцы вытаскивают оружие из нашего товарного вагона.

— По-братски поделим, — говорит кто-то из них.

— Да нам оно совсем не нужно, — отвечает Ваня.

— А может быть пригодится, не говори так, парень, кто нынче от оружия отказывается, — и товарищ Яковлев похлопывает по плечу Ваню...

В пассажирском зале ожидания, прокуренном и насыщенном тяжелым до невозможности дышать воздухом, на проплеванном полу, вповалку, подложив под голову незатейливые свои пожитки, храпя спят уставшие пассажиры. Сколько суток им осталось еще ждать своего поезда?

— Они отковырнули пломбы на двух наших вагонах. Ну что ж, они предвидели, что нам нужен будет порожняк. Мы и свалили туда конфискованное оружие, — говорит комиссар и пожимает руку начальнику.

В диспетчерской на диване стонет раненый.

Молочный рассвет проникает сквозь замерзшие окна в помещение.

— Через три минуты можно итти. Только идите медленно, — беспокоится о нашей судьбе дежурный по станции. — Эта сволочь порвала провода.

Мои красногвардейцы делятся с русскими красногвардейцами папиросами. Каждый говорит на своем языке, но, как видно, сейчас они сговорились и без переводчика. Русские с наслаждением затягиваются дымом наших папиросок, прикуривают друг у друга. Смеются... Язык курильщиков интернационален, а наши папиросы славятся своим качеством по всей Балтике. Лица у красногвардейцев бледны от утомления.

На меня нападает отчаянная апатия, безразличие ко всему и очень хочется спать.

Я сижу почему-то не у себя, а в купе у Заливина, я говорю ему:

— А, пожалуй, хорошо получилось, что мы не знали сигналов, этих рожков, поэтому мы остановились и познакомились с товарищем Яковлевым.

— Отличнейший человек, — отвечает мне Ваня и продолжает свою длинную, только-что прерванную мною речь.

— На этой чертовской станции оставили Нюмана. Весь поезд обыскали — нет его! У него заболел живот, в уборную приспичило. Я и говорю ему — иди в вагон, у нас ведь уборная первого класса, — а он так отчаянно замахал руками мол, что ты, что ты, разве можно такие дела творить во время остановки поезда на путях. Убежал он на вокзал отыскивать мужскую уборную. Правила, видишь, заели его. Айрола не знал этого и дал гудок. Вот без него и ушли. Он там с солдатней остался. Дурак, — смачно плюет в плевательницу Ваня...

И тогда я замечаю, что диван подо мною дрожит, слышу мерное перестукивание колес.

Раз-два, пять. Раз-два, три, пять, — раз, два — пять. Поезд уносит нас от Суоми, от тебя, Тюне [1], далеко, далеко. В снежные поля, в тайгу Сибири.

Распахивается дверь, и кондуктор Мальме спрашивает, нет ли пачки папирос у Вани — сам он свои отдал русскому красногвардейцу. Ответа я не слышу. Колеса выбивают: отстал, отстал, отстал, отстал...

Счастливейший сон одолевает меня...

★

В. Маяковский

«Окна» Роста[2]

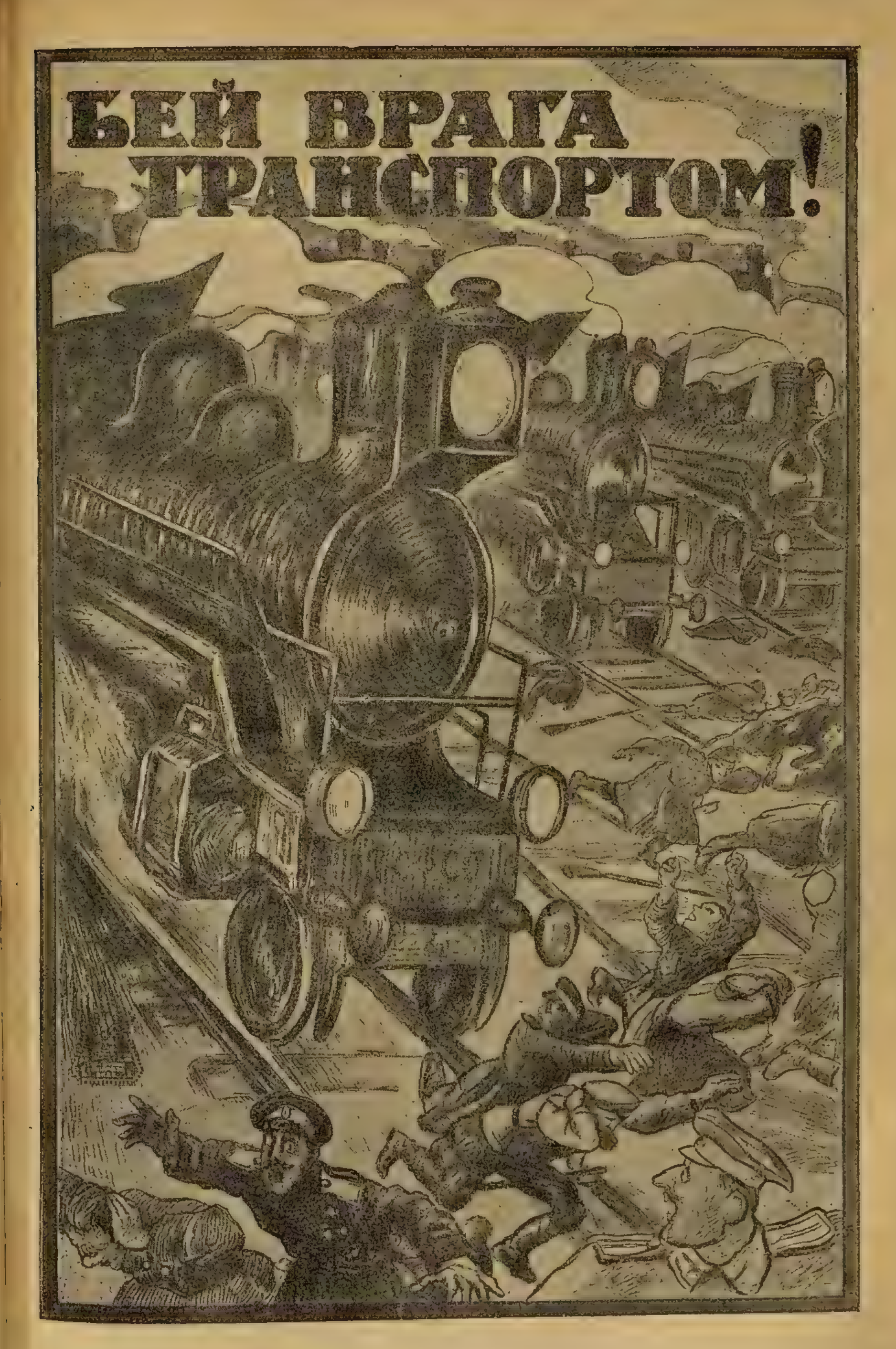
I

СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ ИЗДАЛ ДЕКРЕТ

Отныне езды на паровозах нет.
Дуракам, известно закон не писан:
Много ль в поезде места,
или мало, —

---

[1] Невеста Эйно, которой он описывает свою поездку в Советскую Россию.
[2] «Окна» — не цельные стихи, а подписи к рисункам, составляющие связную «агитку».



Плакат 1920 г. Музей революции

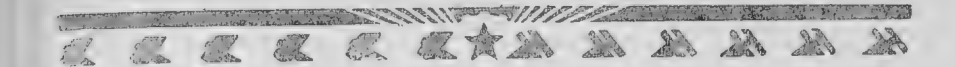
садятся как и на что попало.
Паровоз, мол, не лошадь, паровоз, мол, силён,
всякую тяжесть выдержит он.
А паровозу вред не малый,
капля по капле ломает скалы.
Сегодня мало,
Завтра мало,
а через месяц публика паровоз поломала.
А главное машинисту грех чистый.
Стонут от помехи кочегары и машинисты.
Если б вам при ходьбе на шею насели,
Вы бы немного так походили,
а потом задышали б еле.
Сломают сами
и орут в уши:
транспорт мол, в Советской России разрушен.
Ты же и разрушил транспорт весь.
Зря верхом на паровоз не лезь.
А полезешь — поймает дорога.
За разгром паровозов ответишь строго.

2

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СУББОТНИКИ

Эй, товарищи, железнодорожник и водник!
Помните,
каждый честный работник
должен итти на субботник.
Вас
на субботник
может выйти
полмиллиона ровно.
А ходит всего 50 000,
да и то
случайно и неорганизованно.
Чинить,
чистить дорогу нужно.
Двиньтесь все на субботник,
и будет дорога починена,
почищена
и разгружена.

★



Глава II

ТВОРЧЕСТВО

Н. Островский

Ленинский призыв

(Отрывки из романа «Как закалялась сталь»)

Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью.

На Юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись с озверелой стихией. В снежные горы врезались стальные буравы снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работало только три: Индо-европейский телеграф и две линии прямого провода.

В комнате телеграфа станции Шепетовка I три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор.

Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже насчитывал третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланки слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху: «Всем, всем, всем!»

Записывая, телеграфист думает: «Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами». За окном вьюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей. Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтоб прочесть пропущенные слова. Аппарат передавал:

«Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут...» Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руку, стал слушать.

«Вчера в Горках скончался...» Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием.

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок: «Всем, всем, всем.» Аппарат стучал: «В-л-а-д-и-м-и-р И-л-ь-и-ч», переводил стуки молоточка в буквы старик-телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это все чужое, он — посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк, — это была «Л». За ней он написал вторую — «Е», рядом с ней старательно вывел «Н», дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю — «Н».

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунды остановился взглядом на выписанном им слове:

— Ленин.

Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово — «Ленин». Что? Ленин? Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за тридцатидвухлетнюю работу он не поверил записанному.

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись: «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить! Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик:

— Ленин умер!

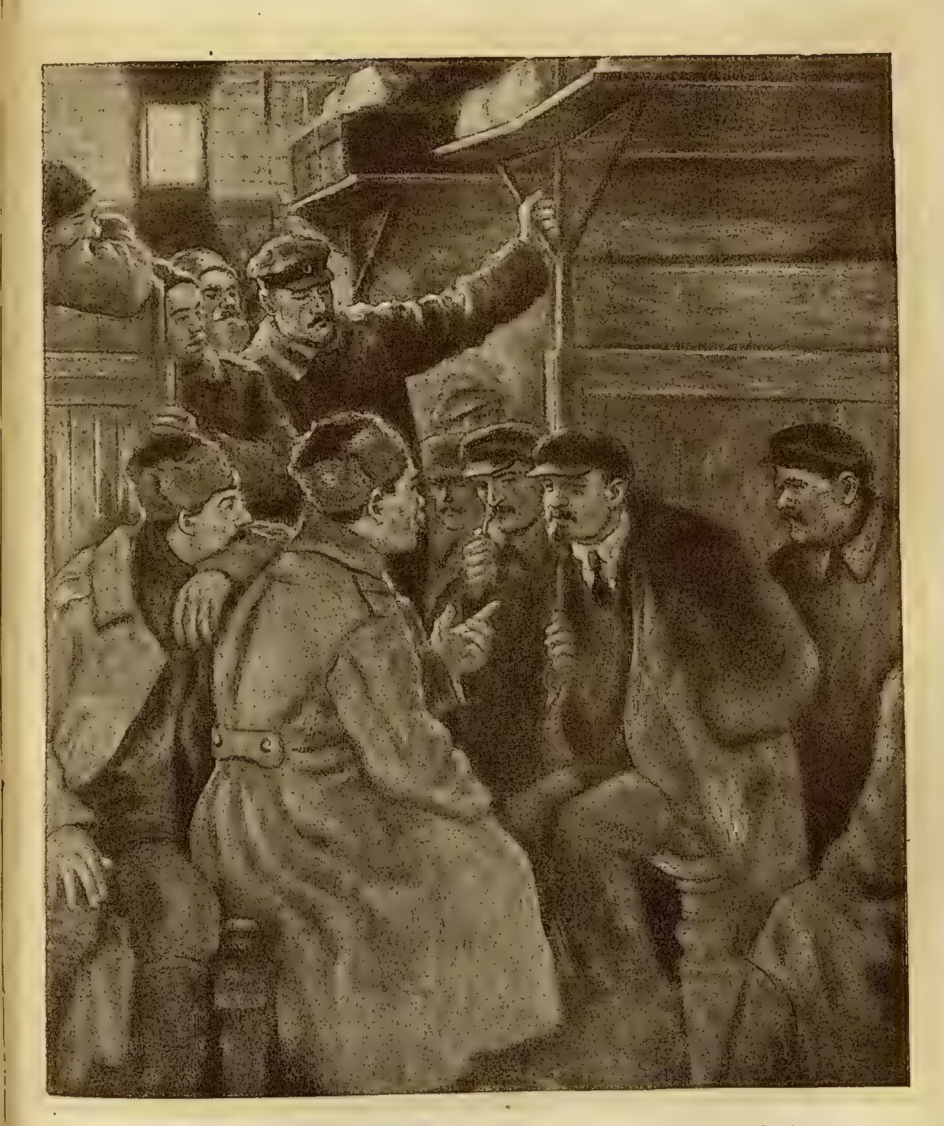
Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину окованных железом деповских ворот.

В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Полентовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Брузжак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников.

Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема.

Захар постарел за последние годы, пережитое оставило глубокую рытвину-складку на лбу, а виски посеребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки.

В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек и пред-



Моравов — Ленин на пути в Петроград в 1917 г. — Музей Ленина

в
к
ш

с

ш

н

д
т

и

з
т
т
б
п

с
о
л
г
н
в
р

к
д

бе

пе
пр
на

то
до

че
ни
на
уч

пр

вечерние тени проглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но, когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опустил его.

— Товарищи! Ленин умер!

Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема незвучно опустила его на цементный пол.

— Ты что сказал? — Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть.

А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорванно:

— Да, товарищи, Ленин умер.

И оттого, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека: это был секретарь партколлектива.

Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир.

А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий... В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец «С» — паровоз готового к отходу на Киев пассажирского поезда.

Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения Шепетовка — Варшава, узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушивался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов.

Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, и, когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова.

Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии, старый большевик Шарабрин.

— Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю, умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию... Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды...

Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов, и Артем, который за последние пятнадцать лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога, и могучие плечи дрогнули.

Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания шестисот человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива.

Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушила голоса, люди разговаривали тихо, и не в одной сотне

глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море... Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале.

Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании.

А Сиротенко сказал:

— Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное тридцатью семью товарищами. — И он прочел заявление:

«В железнодорожный коллектив коммунистической партии большевиков станции Шепетовка Юго-западной железной дороги.

Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина».

Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена.

— Полентовский Станислав Зигмундович — паровозный машинист, тридцать шесть лет производственного стажа.

По залу пробежал гул одобрения.

— Корчагин Артем Андреевич, слесарь, семнадцать лет производственного стажа.

— Бруздак Захар Филиппович, паровозный машинист, двадцать один год производственного стажа.

Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени.

Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый поставивший свою подпись.

Старик Полентовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни.

—...Что ж мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была, известно какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В девятьсот пятом в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками за одно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать! Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости!.. Пущай кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю: мне с большевиками по пути, и никак не иначе.

Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей был твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения.

Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому с седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово.

От стола Полентовский уходил коммунистом.

Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо: среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе, в ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ.

— Расскажи свою биографию, Артем! — услыхал слесарь голос Сиротенко.

Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший, не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью.

Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он — Артем — делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование.

— Было нас у матери четверо, — начал Артем.

В зале тихо. Шестьсот человек внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей.

— Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше чем следует. Жили мы с матерью. Невмоготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне десятый год подошел, не стало у матери иного спасения, как отвести меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалованья, на три года — за одни харчи... Хозяин мастерской был немец, по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне два года прибавила. Был я у этого немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он намертвую... Гонял и за углем, и за железом... Заделала меня хозяйка своим холуем: таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины — так уж, по привычке: не потрафлю хозяйке чем — она из-за пьянки мужа на всех злая была — хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься? Мать за сорок верст, да и у ней приюту нет... В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай, — говорит, — мне вон ту шайбу» — и покажет на

землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал, из горна вынул. На земле она лежит черная, а хватишь — сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается. Невмоготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кой-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я коечто по слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я девятый год работаю. Вот оно насчет жизни прежней, а про здешнее вы все знаете.

Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И, вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть:

— Каждый может меня спросить: почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу, нам— еще в восемнадцатом, когда против немца бастовали, начинать было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети... Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней нехватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьей заместо Ленина, чтобы власть советская, как гора железная стояла. Должны мы большевиками стать — партия наша ведь?

Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычайный слог своей речи, закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов.

— Может, кто желает спросить о чем-нибудь? — нарушил тишину Сиротенко.

Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно:

— О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку и все тут!

Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Гиляка прохрипел простуженно:

— Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!..



Терпсихоров. Восстановление транспорта. Музей революции

В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один невидный в полутьме и спросил:

— Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии.

В зале прошел легкий шум неодобрения и чей-то голос запротестовал:

— Говори по-простому. Нашел, где звонарить...

Но Артем уже отвечал:

— Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно.

Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук, и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услыхал голос Сиротенко:

— Единогласно...

☆

В. Ильенков

Ведущая ось

(Отрывок)

...Высокий и мрачный двухсветный зал старой гимназии, переделанной под заводской клуб, быстро заполнялся рабочими, любимые всеми скамейки внизу были уже заняты, и Мохов, ругая неизвестно кого, полез на балкон, или, как выражались в клубе, «на верхотурку».

С высоты этой «верхотурки», нависшей пузатыми балконами вокруг всего зала, Мохов смотрел вниз, беспокойно ерзая на скамье.

Снизу шел тихий, сдержанный шорох.

У сцены стоял маленький столик, покрытый красной материей. На столике темнело что-то, похожее на старинную пушку — короткорылое и тупое. Вновь пришедшие обходили столик, вглядывались в то, что сверху казалось пушкой, и тихо отходили, словно здесь стоял гроб. И во всем зале Мохов ощущал тягостное напряжение, какое бывает в доме, где умер человек.

— Чего они там щупают — спросил Мохов у соседа.

— Ось ведущая, из-за которой крушение вышло.

И хотя Мохов видел эту ось на месте крушения, он почувствовал тревогу. Снизу, от черного немого обломка, струилась она, притекая к Мохову в волнах напряженного человеческого дыхания и приглушенного шопота. Он беспокойно разыскивал кого-то внизу, низко нагибался всем туловищем, пыхтел и, наконец, облегченно вздохнул— снизу ему махала рукой Оля и улыбалась.

Мохов успокоился и уткнулся в занавес. На нем был изображен богатый особняк с видом на море: роскошные колонны, лестница, уставленная цветами, спускалась к воде, качалась вместе с занавесом

парусная лодка. Мохову представлялось, что вот так будет при социализме, — было красиво и торжественно. Но он недоумевал: почему же нет на картине заводских труб. Вдруг колонны особняка поднялись вверх, лодка очутилась где-то под потолком и вместо ярких цветов проступило бледное знакомое лицо секретаря райкома.

В зале шорох сразу утих.

На край сцены вышел Вартаньян.

— Товарищи! Сегодня мы со всей пролетарской сознательностью должны дать ответ: почему произошло крушение поезда, почему сломался наш паровоз? Нанесены огромные убытки стране. Есть человеческие жертвы. Как очень правильно выразился товарищ Платов: он увидел там убытки, кровь и позор. Кровь не вернешь. Убытки придется покрывать из кармана государства. А позор? Он ляжет тяжелым камнем на наш завод, на всех нас, здесь сидящих...

В зале висела тягостная тишина. Сосед Мохова прерывисто перевел дух, и Мохов шумно вздохнул.

— Помните, товарищи, что этот случай не единственный. Вы все читали и обсуждали в цехах письмо рабочих Курского депо о наших паровозах. Вспомните и то, что за последнее время на нашем заводе были всякие неприятные происшествия: покушения на инженеров дважды, колоссальный рост брака в мартене, голодовка токаря из механического, странный случай со стариком в мартеновской мастерской. Все это говорит, что у нас неблагополучно. В чем дело? И еще помните — мы должны отстоять свой завод. Москва, а значит — страна, не хочет нам доверить постройку нового завода. Есть серьезные опасения, что нам не дадут строить завод, так как мы не оправдали доверия страны. Товарищи! От нас ждут ответа и исправления всех наших болячек страна, партия, весь рабочий класс. И мы должны дать честный и прямой большевистский ответ! Слово имеет инженер Турчанинов.

Вениамин Павлович выскочил сбоку, из-под серых обтрепанных декораций, придерживая пальцем пенснэ.

— Я буду краток, товарищи. Для нас, специалистов-инженеров, знакомых с законами техники, с законами структуры металла и различными аномалиями металла, с причинами всякого рода деформаций его, дело разрешается просто. Мы, в данном случае, имеем характерный по своей типичности факт так называемой усталости металла. Что это такое? Усталостью металла мы называем поломку, которая происходит в совершенно здоровом по внешнему виду металле от периодических, многократно повторяющихся в известных пределах деформаций, вызываемых в металле под действием переменных усилий. Происходит изменение структуры металла в результате концентрации напряжений, и тогда неожиданно, катастрофически наступает излом... Точно так же определяют явления усталости и немецкие ученые, например, Хорт, Фепль, Майлендер, Лер и другие...

— Нельзя ли попроще? — громыхнул с балкона недовольный голос Мохова и будто звонким ключом отомкнул тишину; раздались крики:

— Ничего не понятно!
— Одна иностранщина!
— Даже голова распухла от деформаций, — прозвенел голос Оли.
— Тише, не галдите! Дайте кончить!

Вениамин Павлович снимал и надевал пенснэ, протирал его платком и спокойно улыбался.

— Я буду, товарищи, дальше говорить совершенно понятно, примерами. Вот, например, если взять детский молоточек и начать непрерывно, в течение нескольких часов, легонько стучать им по одному месту какой-нибудь стальной детали, то она обязательно треснет. Кажется, что можно сделать детским молоточком? Муху пришибить только. А на самом деле получается трещина в огромном куске совершенно здорового, хорошего литья.

— Это здорово-о! — удовлетворенно пропел сиплый тенор, и зал снова оживился: посыпались шутки, смех. Напряжение таяло.

— Или другой пример... Однажды в Государственной думе, не помню, в каком году, произошел обвал потолка. Тут, конечно, переполох, шум, следствие и прочее и прочее, хотя жертв не было — обвал произошел ночью, при пустом зале. Все было построено прочно, никаких изъянов не обнаружили. И что же оказалось?

— А оказалось... — Вениамин Павлович нарочно затянул паузу и молча смотрел на людей, как бы гипнотизируя их: — Ночью работал двигатель отопления и ритмически много лет сотрясал здание. В результате — обвал.

Зал ахнул, от выдоха тысяч людей колыхнулись красные полотнища лозунгов, и лодка под потолком закачалась, как на настоящих волнах. А Вениамин Павлович, не давая опомниться пораженным людям, рассказал случай с петербургским мостом, который обрушился потому, что офицер провел солдат по мосту «в ногу». Вартаньян сосредоточенно думал, разглядывал лица рабочих. Он видел, что его вступительная речь забыта аудиторией и пропала зря. Симпатии были явно на стороне Турчанинова, — люди начинали верить ему, что произошла несчастная случайность, что завод здесь не причем.

— Еще пример... Или, может быть, достаточно ясно? — с уверенной улыбкой спросил Вениамин Павлович.

— Просим! Просим!

— На первый взгляд то, что я вам расскажу, покажется чудесным, таинственным, сверхъестественным. Но мы, люди науки, не верим в бога и прочую дребедень. Мы раскрываем все тайны всесильными формулами техники. Так вот... У нас на реке Молве есть железнодорожный мост, вы это прекрасно знаете. Давайте завтра поставим под мост скрипача и пусть он играет день, два, три, месяц какую-нибудь ритмическую мелодию, и, я уверяю вас, — мост от усталости рухнет.

— Это уже брехня! — крикнул Мохов, и Оля дружно подхватила:

— Шарлатанство! Морочат нам голову! До-воль-но-о!
— Не мешайте! Дайте договорить!
— Прекратите бузу!

А сверху ревел Мохов:

— Хватит нам этих сказок! Ты про ось скажи!

— А как насчет оси? Тоже от скрипки лопнула? — кричал взъерошенный Титыч.

Вартаньян еле успокоил собрание.

— Следующее слово имеет представитель специальной комиссии треста и ВСНХ инженер Граев.

На сцену спокойно вышел стройный блондин в прекрасном сером костюме.

— Я хотел выступить после прений. Но кое-какие возгласы заставили меня взять слово сейчас. Здесь, я слышал, кричали о шарлатанстве, о сказках и так далее. Всякому, непосвященному в технику человеку, теория усталости металла может показаться шарлатанством. Это — неизбежно. Этим неграмотным технически людям я извиняю их выкрики. Я лично и вся комиссия ВСНХ и трест присоединяемся целиком и полностью к тому, что здесь говорил инженер Турчанинов... Приходится лишь выразить сожаление, что Турчанинов в погоне за дешевой популяризацией слишком упростил теорию усталости металла. Впрочем, он был вынужден к этому. Произошел несчастный случай, независимый от завода. Ваша совесть может быть спокойна. Поэтому в Москве мы будем отстаивать постройку завода у вас.

Раздались дружные радостные хлопки.

Оля смотрела на Граева, и постепенно краска возбуждения таяла на ее щеках. Она никак не могла ожидать, что московская комиссия поддержит Турчанинова. Что делать? Хоть бы скорей пришел Платов. Она растерянно смотрела на Титыча, поднимала голову вверх, видела мрачное лицо Мохова и еще больше терялась.

— Что будем делать теперь, Титыч? — шепнула она старику.

— Как Сеня сказал, так и делать. Крой — бога нет! — отрезал старик, теребя бородку.

— Кто желает высказаться? К сожалению, нет почему-то товарища Платова, и неизвестна его точка зрения,—сказал Вартаньян.

— Нет, известна! — рявкнул с балкона Мохов.

Тогда Оля, боясь, что Мохов выступит первым и все запутает, попросила слова.

— Слово имеет (зал смолк) товарищ Оля Пылаева! — улыбаясь крикнул Вартаньян.

Оля с бьющимся трепетно сердцем вбежала по ступенькам на сцену. Тысячи искрящихся глаз, как ивановские светлячки, загорелись перед ней в глубине зала.

— Товарищи, я принадлежу к числу тех, кого здесь инженер Граев укорял в технической неграмотности. Таких, как я, девять десятых в этом зале. И эти девять десятых будут решать вопрос. Иначе зачем же было собирать сюда неграмотных? Правда, товарищи?

— Это правильно!

— Крой, Оля, бога нет!

— Я — неграмотная технически — правильно, но я достаточно грамотный человек, чтобы понимать, когда говорят правду и когда

морочат голову. Я, кроме того, пять лет работаю в механическом и кое в чем могу разбираться. Товарищи! — Оля повысила голос, и он зазвучал крепко и чисто. — Нам здесь инженер Турчанинов рассказал много интересных вещей, слушать было занятно. Но сказал ли он хоть одно слово: почему же лопнула наша ось. Нет, не сказал! Никто из нас не слышал. А мы здесь ведь для этого собрались, а не слушать интересные шуточки.

— Правильно, Оля!

— Не слыхал!

— Не слыхали!

— А ведь и верно, не сказал! — спохватился сиплый тенор.

Оля, ободренная сочувствующими репликами, приподнялась над трибуной.

— Товарищи рабочие и работницы! Что вы поняли из доклада Турчанинова? Я не поняла — почему сломалась наша ось. От усталости... А усталость от чего? От деформации структуры и концентрации напряжений...

В зале рассыпался смех.

— Я спрашиваю, что это за объяснение? Или нас за дураков считают? А почему получилась концентрация напряжений? Опять от усталости? Хвост вытащил — нос увяз. Нос вытащил — хвост увяз.

— Правиль-на-а! Не понимаем!— прокатился над головами звонкий теноровый крик, всколыхнув зал.

— Крой дальше, Оля! Крой, бога нет! — исступленно кричал Титыч.

Вартаньян, заражаясь общим настроением зала, не мог удержать улыбки.

— Регламент истек, Оля, короче!

— Про-дол-жи-ить!

— Пущай говорит!

Начальник паровозосборочного цеха Страхов с удивлением смотрел на Олю.

Вначале ему казалось, что эта девушка говорит лишь для того, чтобы отбыть очередную повинность комсомольской активности. Но с каждой новой фразой Оли, с каждой минутой отношение его к оратору стало меняться. Он чувствовал в каждом слове ее страстное напряжение, которое передавалось слушателям, как электрический ток, и приводило их в волнение. Откуда у этой девушки столько смелости в суждениях по чисто техническому вопросу? Он невольно соглашался с ней, когда она критиковала объяснения Турчанинова. Для Страхова как инженера усталость металла была неоспорима, но что вызвало эту усталость, было неясно, — концентрация напряжений в металле должна была иметь свою конкретную, определенную причину. На этот вопрос нужно было дать прямой честный ответ.

Ссылка на усталость металла избавляла Страхова от юридической ответственности за излом, но внутренне он продолжал ощущать эту ответственность.

Он видел беспомощность Оли и всех людей, — они чувствовали,

но не могли открыть настоящую причину крушения. Зал бурлил тревогой и злобным раздражением, кричал, протестовал. Но что могли сказать они, не знающие техники? Страхов понимал, что тайна крушения может быть раскрыта только людьми, посвященными в технику. А сколько их сидит в этом зале?

Он обернулся: отовсюду струились взгляды, накаленные ненавистью к ученым, непонятным словам, закрывавшим доступ к такому понятному и простому, как смерть людей и гибель целого поезда. И Страхов почувствовал стыд: он, инженер, не знает настоящей причины крушения. Страхов придвинулся к столику с обломком оси. Излом имеет пятна усталости... Излом произошел при переходе одного сечения в другое, — там, где идет галтель, выкружка... Здесь, конечно, излом должен произойти скорее, чем в другом месте тела оси, потому что всякий переход от одного сечения к другому, естественно, вызывает сосредоточение напряжений в металле... Обточка осей производится в механическом. Там начальник — Зорин, неплохой инженер. Он, конечно, знает, к чему обязывают элементарные расчеты по законам сопротивления металла. Чертежи осей, конечно, правильны. Но, может быть, рабочий не досмотрел и слишком резко обточил выкружку? Может быть... Тогда, конечно, напряжения именно в этом месте возрастут во много раз, и тогда...

— Товарищи! — продолжала Оля: — поверим Турчанинову, что мост можно разрушить скрипкой, но я спрашиваю: какая скрипка играла под паровозом и разрушила вот эту ось? Какая же это скрипка такая, товарищи? Нам инженер Турчанинов не сказал.

— Правильно!

Страхов с благодарностью смотрел на пылавшую от возбуждения Олю. Да, она ставит вопрос совершенно здраво и законно. И здесь, при крушении, играла своя «скрипка» — непосредственный толчок к катастрофе. Да, слишком резко выполнен переход от одного сечения к другому. Слишком подрезана выкружка... Законы сопротивления материалов непреложны. Нарушение их карается катастрофой.

— Товарищи! Получается с этот теорией целая петрушка. Турчанинов все объяснил усталостью, как поп все объясняет греховностью человека. Украл, например, человек кусок хлеба — поп говорит: все от греховности, так человек, мол, устроен. А про то молчок, что человек украл потому, что он есть хочет, потому что буржуазия захватила все средства производства, потому, что эксплуатация человека человеком. Этого он не скажет — не выгодно. Потому поп от этого кормится!

— Правильна-а!

— Молодец, Оля!

— Крой, бога нет!

Директор Корченко наклонился к Вартаньяну:

— Прекрати эту демагогию. Или закрой собрание. Мне стыдно перед московской комиссией. Граев возмущенный покинул собрание.

— Обожди, не торопись, Корченко. Видишь, как ее слушают — отмахнулся Вартаньян.

— Товарищи, я кончаю, — тихо сказала Оля усталым, спадаю-

щим голосом. — Нам говорят: «металл устал». Но мы, люди, слабей металла, и то нас не берет никакая усталость. Почему Титыч, работающий сорок лет над формовкой, совершая «ритмические движения», не лопнул, а и сейчас работает? Почему наш заводской «хозяин», Кузьмич, дожил до восьмидесяти с лишним и не устал? Всю жизнь свою отдал рабочему классу. Сейчас умирает... — голос Оли задребезжал и оборвался. Тысячи глаз засверкали ярко и гневно.

— И если умрет, то не от усталости, не от старости, а потому, что он кому-то помешал делать грязные делишки. И тут причина ясна. Мы эту причину найдем, товарищи! Я конч... — Оля задохнулась от волнения и опустилась на стул у трибуны.

Зал снова загрохотал.

— Ти-ше! — крикнул Вартаньян, но зал продолжал бушевать.

— Товарищи! К порядку. Отойди, Корченко, не мешай! — злился Вартаньян. — Я тебе слова не дам.

— Ты не имеешь права! — вскипел Корченко.

— О моем праве будем говорить на райкоме. Слова не дам.

Страхов упорно вглядывался в обломок оси. Да, подрезанная выкружка чрезмерно усилила напряжение в металле... Она сгустила его в одном месте... Она подготовила катастрофу. Но кто обтачивал эту ось? Как жаль, что на изделиях не принято ставить фамилии людей, которые их изготовили!

...Люди хлынули к выходу, мгновенно закупорив двери, а навстречу, напористо ввинчиваясь в толпу, протискивался Платов. Дрожащими от нетерпения руками он разгребал потные плечи, наступал на ноги, цеплялся за скамейки рубашкой, — она трещала, но Платов, не спуская глаз со сцены, упорно прокладывал себе путь.

Он увидел радостно возбужденное лицо Оли и крепко сжал ее руки.

Титыч любовно оглядывал своего прежнего подручного, вытирал мокрую лысину.

— Сполнили, Сеня, как ты наказывал. В самую точку попали. Вишь жизня какая!

Платов и Оля шли по заводскому парку.

Длинная аллея в сумерках казалась бесконечной. Кроны сосновых деревьев сплетались вверху, образуя свод; по бокам аллеи во всю длину ее краснели слабо накаленные электрические лампочки. Оле казалось, что она идет по туннелю, проложенному в какой-то огромной горе. В конце аллеи над воротами сверкал далекий фонарь и казалось: там — выход в яркий солнечный день.

☆

Дорога на Океан

(Отрывки)

Курилов разговаривает

Беседа с другом не возвращает молодости. Неверный жар воспоминанья согреет ненадолго, взволнует, выпрямит и утомит. Разговора по душам не выходило. Друг рассказывал только то, что помнил сам Курилов. Он и не умел больше. Это был старый, бывалый вагон, но дизеля и моторы вставили в него, мягкие кресла и шторки на окнах придали ему непривычное благообразие, а пол покрылся мягкой травкой хорошего ковра. В купе, где почти вчера смердели жаркие овчины политработников, сверкало сложенное конвертами прохладное белье. Поколение старело, и вещи торопились изменяться, чтоб не повторять участи людей. Как ни искал Курилов, не осталось и рубца на стене, разорванной снарядом. В этой четырехосной коробке мой герой когда-то мотался по всему юго-востоку, цепляясь в хвосты ленивых тифозных поездов. Но член армейского реввоенсовета назывался теперь начальником политотдела дороги. Судьба опять одела в кожаное пальто и тесные командирские сапоги. Кольцо замыкалось.

Он достал трубку и пошарил спички. Коробка была пуста. Последнюю сжег диспетчер соседней станции, которого он разносил на предыдущей остановке. С минуту Курилов глядел на свои большие, в жилах руки. Вдруг он покричал наугад, чтоб дали спички. Секретарь доложил кстати, что партийные руководители собрались у вагона. Курилов приказал начинать совещание. Семеро вошли, толкаясь в узком проходе. У первого нашлось смелости рапортовать о благополучии Черемшанского района, и Курилов усмехнулся детской легкости, с какою тот соврал. Не отрываясь от бумаг, он махнул рукой. Они сели. Смеркалось, но все успели разглядеть нового начальника. Он был громадный и невеселый; изредка улыбка шевелила седоватые, такие водопадные усы. Он поднял голову, и все увидели, что не лишены приветливости начальниковы глаза. Догадывались, что он приехал шерстить их, и всем одинаково любопытно стало, с чего он начнет. За месяц пребывания в должности он не мог, конечно, постигнуть сложной путейской грамоты.

Страхи оказывались напрасными. Дело началось с урока политграмоты. Начальник меланхолически спросил о роли коммунистов на любом советском предприятии. Ему хором ответили соответствующий параграф устава. Курилов поинтересовался, хорошо ли задерживать выдачу пайков рабочим, и опять вопрос всем понравился своею исключительною простотой. Алексей Никитич осведомился, есть ли бог. Парторг пушечным голосом объяснил, что бог не существует уже шестнадцать лет: таков был возраст революции. Курилов сдержанно выразил недоумение, каким образом пьяный машинист, на

ходу поезда выпавший из будки, остался невредимым. Кто-то засмеялся; случай, действительно, обращал на себя внимание...Он оказывался совсем милым человеком, этот Курилов; такого удобнее было называть попросту Алешей. Тогда начальник попросил директора паровозоремонтного завода снять калоши: с них текло. С алеющими ушами тот отправился за дверь, в коридорчик.

Курилов заново набил трубку. Синий дым путался в его усах и прорастал во все углы салона. Вопросы стали выскакивать из начальника, как из обоймы. Совещание превратилось в беглый перекрестный допрос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на всех страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро, а он один, но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его — от бешенства. Значит, начальник не зря высидел двое суток на станции, не принимая никого. Сразу припомнилось, что в Ревизани этот человек, с плечами грузчика и лбом Сократа, одного отдал под суд, а троих собственной властью посадил на разные сроки; что в прошлом он — серый армейский солдат, которого эпоха научила быть беспощадным; что сестре его, почти легендарной Клавдии Куриловой, поручена чистка их дороги. Повестка дня неожиданно разрасталась.

— Начальник депо среди вас? — брюзгливо спросил начальник.

— Никак нет. Он уехал в Путьму по вопросам снабжения.

— Он знал, что я здесь?

— По линии было известно о вашем прибытии.

— Беспартийный?

— Нет, он член партии.

Курилов взялся за карандаш, приготовившись записать: —

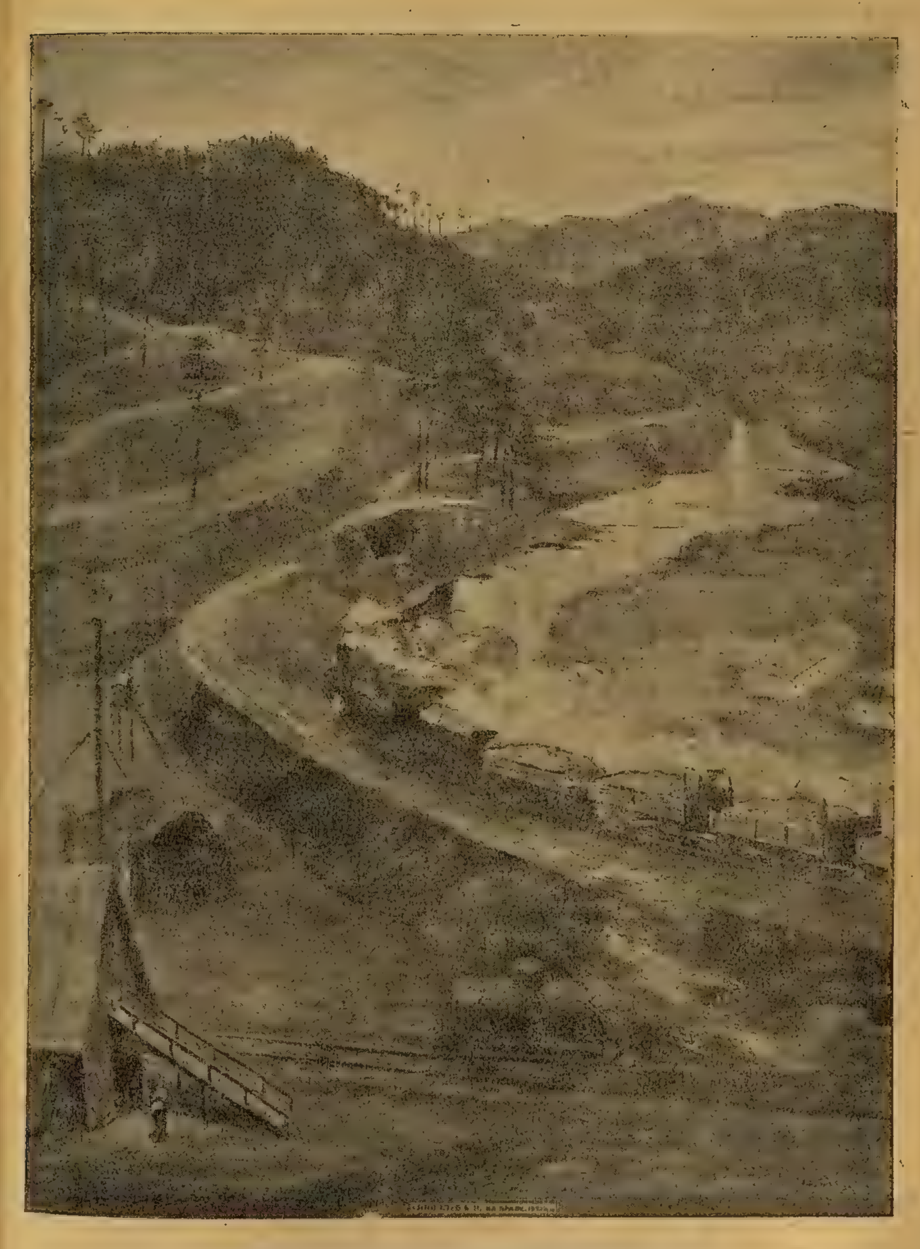
— Его фамилия?

— Протоклитов.

Заметно удивленный, Курилов раздумчиво вертел карандаш. Должно быть, он понадеялся на память, раз не записал фамилии смельчака. Ждали неожиданной разгадки, но здесь задребезжал звонок. Секретарь Фешкин схватил трубку. Он долго мычал какие-то вопросительные междометия, всунув голову между кабинкой управления и старомодным ящиком аппарата. Стало очень тихо. Трубка начальника гасла; что-то всхлипывало в ней. Фешкин попросил разрешения доложить, но все уже знали сущность дела. Происшествие случилось на двести первом километре, у разъезда Сакониха. Шестьдесят шесть вагонов было разбито, из них восемнадцать ушло под откос. Причины крушения, наименование груза и количество жертв остались неизвестны. Вспомогательный поезд вышел из Улган-Урмана час назад... Курилов пошел к окну. Оно запотело, семеро надышали. Он протер стекло взмахом рукава. Лицо его было усталое и хмурое.

Шли ранние осенние сумерки. Мелкий, почти туман, сеялся дождик на путях. Между вагонов бродили тучные куры, подбирая осыпавшееся зерно.

Два чумазых, тепло одетых мальчугана, дети депо, играли возле вагонной буксы. Старший объяснял младшему, как надо насыпать туда песок. Даже внемую угадывались в нем незаурядные педагоги-



Яковлев. На Урале. Третьяковская галлерея

ческие способности. Детскими совочками они набирали материал из-под ног и стряхивали в смазочную коробку. Вагон был товарный, с чужой дороги и направлялся в ремонт.

— Фешкин, сколько до Саконихи? — спросил Курилов, и на этот раз дети показались ему дьяволами, загримированными в невинность.

Ему ответили несколько голосов. Туда было час с четвертью, если не задержат в Басмановке. С этого узла открывалось большое встречное движение. Кроме того, шел хлеб нового урожая. Курилов повторил вслух это могущественное слово.

— Включиться в график...едем! — и посмотрел себе под рукав; было ровно девятнадцать.

И опять, щуря кубанские свои, со смородинкой, глаза, Фешкин испросил позволения доложить. Голос его звучал надтреснуто. Мотриса не могла отправляться немедленно. Несмотря на ряд напоминаний, все еще не доставили соляровое масло с базы. Курилов помолчал.

— Хорошо, я поеду на паровозе. Распорядитесь...Он повернулся на каблуках и удивился, что эти люди еще здесь. —Ну, все могут уходить. Совещание отменяется. Мысленно обнимаю вас... — И жест его пояснял истинный смысл приветствия.

Он надел пальто. Перекликались маневровые. До контрольного поста было шесть минут ходу. Кочегар раздвинул шуровку. Носовой платок в руках механика казался куском пламени. Плиты под ногами зашевелились. Зеленая семафорная звезда одиноко всплыла над головой. Курилов вышел на переднюю площадку паровоза. Машина набирала скорость, поручни больно колотились в ладонях. Здесь он простоял целый час, наблюдая как в пучках света вихрится, пополам с дохлыми мошками, встречный мрак. Паровоз стал замедлять ход, и в октаву ему откликались осенние леса. Курилов спустился вниз и двинулся прямо на задние сигнальные огни вспомогательного поезда. Оттуда в лицо ему повеяло острым холодком беды.

Крушение

Было холодно глухо и печально. За теплушками ремонтной бригады попался первый вывороченный рельс. Отсюда поезд шел прямо по балластному слою, дробя шпалы гребенкой колес.

Кто-то бежал навстречу, размахивая фонарем. То и дело посверкивало в мокром лаке калош. Человек панически спросил, не приехал ли н а ч п о д о р[1]. Курилов назвал себя. Они пошли вместе. Человек оказался начальником местной дистанции. Курилов задал неминуемые вопросы. Была надежда, что движение откроют завтра к полудню. Огромный этот срок определял размеры катастрофы. Выяснилось, что произошел отлом головки рельса. Это была старая, запущенная ветка с рельсами образца девятьсот первого года, с подошвой в сто

[1] Сокращенное название должности начальника политического отдела дороги, которым являлся Курилов.

восемь миллиметров. Начальник дистанции образно прибавил, что это не путь, а исторический памятник. Курилов недобро взглянул на него и промолчал.

Минуту спустя он спросил, давались ли предупреждения поездным бригадам. Сбивчивому ответу соответствовала такая же суматошная жестикуляция. Фонарь стал описывать крайне замысловатые фигуры. Оказалось, что требования на рабочую силу и ремонтные материалы выполнялись всегда в урезанных количествах. Но начальник дистанции знал, что в его власти было вовсе закрыть движение, и сбился окончательно. Надо было, однако, заполнить чем-нибудь эту зловещую тишину. Итак, санитарный поезд с ранеными ушел полчаса назад. Да, их было не очень много! Впрочем, он воспользовался тем, что Курилов не настаивал на точной цифре. Пассажирских вагонов во всем составе было только четыре; все четыре — облегченного типа, двухосные. Конечно, они вошли друг в дружку, как спичечные коробки...

Курилов сдержанно попросил не размахивать фонарем:

— Вы подшибете меня, гражданин, — сказал он грубовато.

А тот и себя-то еле слышал:

—...когда мы прибыли сюда, представьте, возле обломков стояла отдельная... вполне отдельная ступня в лапте. Я так удивился, что чуть было не поднял посмотреть. Но самого человека, который к ступне, как ни искали, не нашли...

— Какую вы чепуху плетете!...—вскользь заметил Курилов.

— Никак нет, товарищ начальник... — Ветер, невидимый ветер, затыкал ему гортань, и вот уже не оставалось сил сопротивляться неминуемому. — Но это означает, что под грудами лома могут еще находиться пассажиры!

Несколько шагов они прошли молча.

— Подходящее место для пассажиров...,— тихо сказал начподор. Вы не особенно нужны мне. Ступайте!

Но тот не отставал. Именно теперь страшно было оставить начальника наедине с его мыслями. Курилов почти не слушал, что он там болтал. Скоро они добрались до самого места крушения. Горы путаного железного лома громоздились на насыпи. Мятые вагонные рамы, сплетенные ужасной силой, служили основанием этого варварского алтаря. Еще дымилась жертва. Тушей громадного животного представлялась нефтяная цистерна, вскинутая на самую вершину. Судорожные полосы факельного света трепетали в ее маслянистых боках. Навсегда запоминался тупой обрубок шеи. Орудие убийства было налицо: два кривых рельса уходили в подбрюшье цистерны. Еще капал из раны густой и черный сок. И точно затем, чтобы никто не видел агонии, висела фанерка с запрещением подносить огонь. Курилов подошел ближе. Исщепленная обшивка вагонов щетинилась в нечистом дрожащем сумраке. Все это было скуповато полито ползучим багрецом несчастья.

— Очень хорошо... — прохрипел начподор.

Могучие костры полыхали далеко внизу по сторонам насыпи. Их было много, может быть, семь. Пламя достигало верхнего уровня

леса. С обугленных ветвей струились тоненькие ленточки дыма, вышитые искрами. Они долго метались и маялись над головой, прежде чем погаснуть. Эти неповоротливые, равнодушные пламена лишь усиливали ощущение гибели и разрушения. Дальше стало не пройти: опрокинутый вагон перегораживал путь. Курилов спустился вниз, под откос. Сапоги глубоко тонули в сугробах сыпучего, непонятного вещества. Это оно придало такую бугристость очертаньям насыпи и теперь с легким шелестом бежало вниз, к огням.

Стараясь не наступать даже на тень Курилова, начальник дистанции преследовал его сзади:

—...Обстоятельства крушения представляются в следующем виде. Уклон в этом месте достигает шести тысячных, то есть шесть метров падения на километр пути. Двадцатисемиминутный перегон машинист проходил с нагоном времени в восемнадцать минут. Шли с толчком. Выяснено, что опоздание произошло по причине свеклы. Я хочу сказать, — потухшим голосом поправился он, — бригада задержалась в Басманове для покупки двух корзин свеклы, которая в этом районе отличается сахаристостью...

— Допросить старшего кондуктора.

— Никак нет, он убит. Когда мы прибыли, он висел сплюснутый на стоп-кране. Мы пробовали кувалдами сбить с него тяжесть, чтоб расспросить подробнее, но он... Нагнитесь, товарищ начальник!

Скрученный рельс торчал на-весу поперек пути. Вагонная дверь в чудесном равновесии покачивалась на нем. Люди молча подлезали снизу. Головоломное сплетение крыш, осей и швеллерного железа нависало над головой. Курилов расстегнул пальто, ему стало жарко. Отчаянно покричали сверху: «Пырьев и Тетешин на домкраты, остальных давай на канат!» И, точно клапан открыли в тишине, стали слышнее голоса, треск дерева и металлические стуки, но жалобного шелеста под ногами не могли заглушить все остальные громы и шорохи ночи.

—...в таких условиях следовало давать не более тридцати километров, но, опасаясь помять график своею свеклой, машинист нажал и попал как раз на то место возле пикетного столбика. Он дал сигнал тормозам и на мосту стал натягивать состав, чтобы с ходу взять подъем...

— Посветите мне, займитесь делом! — сказал начподор. Этот человек обладал даром быть неприятным.

Нагнувшись, он черпнул ладонью с насыпи. Он испытал при этом ноющую боль в спине: сказывалась поездка на открытой площадке паровоза. Было, однако, не до простуды. Внимание целиком принадлежало горсти этого щекотного, жирного, с таким вкрадчивым шелестом, вещества.

— Что это, зерно?

— Так точно, пшеница.

Она мерно цедилась сквозь пальцы, и горстка убывала на глазах

— Сколько ее здесь?

— Под хлебным грузом находилось шестьдесят два вагона. Из них разбито... почти все разбиты, — признался он с удалью крайнего

отчаяния! — Словом, мы образовали комиссию под моим председательством и постановили... Вы желаете что-то спросить, товарищ начальник?

Курилов поднял голову. Должно быть, это пыль и копоть от часового пребывания на паровозе искажали так его черты. Как судьба, он безотрывно глядел теперь в лицо этого человека, участь которого была ему известна наперед. Начальник дистанции был немолод; липкая, темная прядь волос, подобно следу от топора, пересекала его потный лоб. Глаз его, запавших в глубину, Курилов не разглядел вовсе.

— Дети у вас есть?

Тот по-своему понял вопрос: в его положении хороша была и милостыня.

— Так точно, двое. Кроме того, я плачу алименты...—и взяткой пахла эта непрошенная искренность.

— Повидимому, э т о вам больше удается.

...Итак, речь шла о хлебе. Это было самое грозное слово тех лет. Политическое значение хлеба давно переросло его товарную ценность. По существу, новая эра начиналась с этого первого социалистического хлеба... Все вокруг было зерно. Одеялом его была укрыта насыпь, и деревья росли на пшеничных холмах. Оно ползло в костры, трещало в них и смрадило. Никто никогда не сеял так щедро. «То-то всколосится по весне!» — глуховато сказали сзади.

Теперь уже не один, а целая свита сопровождала начподора. Как на подбор, вся она состояла из начальников. Рядышком, на правах старшинства, шагал начальник района. Сердито посапывая, он изредка останавливался высыпать из калош набившееся зерно... По-солдатски мерил пространство артельный староста, он же начальник ремонтной колонны, монументального строения старик, со смоляной, из-под самых глаз, бородою. Начальник Улган-Урманского депо приехал взглянуть на катастрофу окружного значения. («Ваша фамилия не Протоклитов»? — спросил на всякий случай начподор. — «Никак нет, Кусин!»).

Еще какая-то долгополая власть присоединилась к этой беспримерной прогулке. И, наконец, высоко держа факелок, который шипел и ронял капли керосинового огня, лихо завершал шествие детина с самоотверженным лицом, тоже — факелу своему начальник. Так они шли, сопровождаемые пальбой и трескотней огня, когда бросали в него смаху сырые чурки.

Курилов снова нагнулся, и тотчас все повторили его движение.

На сдвинутом рельсе лежала старая сплющенная железка. Едва зажатая под соединительный болт, она прикрывала отломанную и приложенную на старое место головку рельса. Покрышка еле держалась, не стоило труда оторвать ее напрочь. Начподор приказал произвести промер отлома. Панцырный ноготь артельного старосты вдавился в линейку близ цифры пятнадцать. Старик не посмел произнести вслух эту цифру. Тотчас же несколько рук вытолкнули вперед не шибко расторопного тонкошеего старичка в обтрепанном красноармейском шлеме. Он и не думал бежать, но каждый держал его за

какой-нибудь незначительный клочок одежды. Курилов спросил, кто этот, местного масштаба, чудак. Ему дружно гаркнули в самое ухо, что это и есть дорожный мастер, непосредственный хозяин ката-строфы.

Запинаясь и завороженно поглядывая на орденок, что поблескивал за отворотом распахнутого начподорского пальто, мужик стал объяснять назначение железки. Это было не его изобретение; как чрезвычайная мера она допускалась и на других линиях, чтобы не задерживать очередного состава; и не его была вина, что здесь это стало обыденным явлением. Курилов вяло усмехнулся этой дурацкой правде, и вдруг все поняли его усмешку как одобрение происходящему. Раздались голоса, недружные вначале, что страшного в этой штуке ничего нет, называется бандаж, по-русски — бинт, накладывается под болт, крепится гайкой, а колесо прижимает его при проходе, и все получается хорошо, даже с пользой государству: «Как есть мы бедняковско государство, и должны мы отсоль обходиться по маленькой!» — вскричал тонкошеий, и какой-то подвернувшийся мужчина с утиным носом прибавил от себя, что «жизнь ноне производится не в пример слабже супротив прежних времен, а только суеты горазд больше». Тут же выяснилось, что железа на бандажи нехватает, и артельный староста все ведра у бабы своей покрал, все крыши посымал с битых вагонов, лишь бы не останавливать движения на любимом транспорте.

— Путя шибко плохая! — воодушевленно вскричал тонкошеий.— Иной раз рельсу от старости в одиннадцати местах порвет, пра! Еле поспеваю, дорогой товарищ. Все бегаю да железки накладаю!

— Вы, что же, спринтер[1], что ли? Все бегаете, — полюбопытствовал начальник района.

— Не, я из-под Житомира, беженец. У меня и семейство тут...

Жертва была найдена. Потянулись взглянуть на нее в последний раз перед тем, как отдадут ее прокурорам. Факельщик поближе поднес огонек. Желтое пламя озарило пухлые конопатые щеки, как бы облепленные тополевым пухом. В бедных варварских лаптях, с клоком ваты на плече драной кацавейки, мужик глядел напуганно, но улыбался, улыбался всем.

—...и надолго такого бандажа хватает? — вялыми губами спросил Курилов.

И опять начальник дистанции скрипнул калошами и тряхнул головой:

— Разрешите доложить. Трехмиллиметровое железо пропускает восемнадцать составов. Я проверял лично...

Начподор вздрогнул и брезгливо качнул головой. Итак, преступление опиралось здесь на научное исследование. Точность его гарантировал инженерский значок на фуражке путейца.

— Я вас выпущу из своих рук только под суд...— сказал начподор, глядя на эти новенькие, как бы гарцующие перед ним, калоши. Ему все еще было жарко, но он не понял и стал застегивать пальто; пальцы срывались с петель. — Бесстыдник вы...

---

[1] Спринтер — бегун на короткие дистанции — скороход.

Он заторопился из этой человеческой ямы. Начальников кругом поубавилось. И тотчас же веселее стало глазу. Сотни ловких и безотличных людей сновали между обломков, и как будто целый заводской цех приехал сюда в полном составе. Клекот дорожных кирок, плакучий визг домкратов... даже их нехватало преодолеть давешний шелест под ногами! Внизу, мимо костров вереницами шли с ведрами колхозные бабы. Они черпали зерно и ссыпали его во временные бунты. Сам председатель управлял людским потоком, и по лицу его, напряженному и багровому от огня, проходили тени этих пятисот мужиков. Подгонять их не приходилось, потому что им понятнее всех была истинная цена хлеба. Так они спасали зерно.

Иногда лихой гортанный крик раздавался сверху: «Давай на канат!» И потом щекастый паренек, уткнув в бока ручищи, зачинал длинную и не очень сложную песню. В ней было и про то, как «совецку власть спасали меленковски кулаки», и про то, как собственную милку его посватал «черноусый раскаряка, из Сарапуля купец». Никто не смеялся, хотя все знали, что это очень смешно. Он вертел головой при этом, чтобы песни хватило на всех, и пламя факела трепетало от пронзительности его голоса. Мужики внизу слушали его в почтительном и сумеречном молчаньи. Затем следовал одинокий вскрик, тяжелая вагонная рама вставала на дыбы и сразу, кромсая дерн, брызгаясь землею, теряя окна и двери, рушилась под откос. Так они чистили путь.

Курилов шел дальше. Лесная тишина густела. Начальники отстали.

★

Л. Соловьев

Поход «Победителя»

Телеграфист Семен Семенович Моржеедов был необыкновенно волосат. Весь полустанок дивился, как терпит Семен Семенович летнюю жару в такой шерсти. Однажды вечером, сидя на крыльце фельдшерского дома, он вознамерился научно обосновать свою волосатость и сослался на пример туркменов, которые ни зимой, ни летом не расстаются с папахами, почему между ними крайне редки случаи как головной простуды, так и солнечного удара. Фельдшер — человек лысый, ехидный и противоречивый — сейчас же начал опровергать эту теорию.

— Чужой волос, точно, жару оттягивает, — говорил он, — и, кроме пота, папаха вреда не приносит. А свой волос жару на мозг проводит. Так же и холод. Не говоря уж о вшах.

— Вошь бы и у тебя завелась, да негде,—ответил Семен Семенович, необдуманно намекая на совершенную оголенность бегичевской головы.

Бегичев вспылил:

— Я волосы на фронте потерял! От контузии! А ты от безделья

оброс. Волосатость есть признак низкого умственного развития и означает, что человек еще недалеко ушел от обезьяны. Вот что!

— Пусть я обезьяна, а ты коновал! — вскричал уязвленный Семен Семенович. — Подумаешь, академик? Ты и по-латыни-то плохо знаешь. Ротный!

Впоследствии Семен Семенович и сам не мог понять, как он решился нанести фельдшеру столь тяжкое оскорбление. Бегичев в свое время три года изучал теорию медицины и получил диплом фельдшера школьного, в отличие от ротных фельдшеров, которые всю науку проходят на военной службе только практически, прислуживая врачам, сначала в качестве санитаров и уж потом — фельдшеров.

— Гражданин Моржеедов, позвольте вам выйти вон, раз не умеете держать себя в обществе! — воскликнул фельдшер, простирая руку в синеватую даль пустыни.

— Подумаешь — общество! — неукротимо ответил Семен Семенович и навсегда покинул гостеприимное фельдшерское крыльцо.

С тех пор он твердо выдерживал характер и, даже заболевая, не обращался за помощью к фельдшеру, а лечился сам по «Гомеопатическому домашнему лечебнику». В пику фельдшеру он вовсе перестал подстригаться: волосы разрастались буйно, а он при всяком удобном случае говорил, что густота растительности есть признак бытовой воздержанности, в то время, как безволосость — явное доказательство жизни развратной, чему живым примером служит фельдшер.

Семен Семенович имел огород. Этот огород был единственным в пустыне и стоил больших трудов. На песке, как известно, овощи и корнеплоды не произрастают, и землю для огорода пришлось возить с деповской станции за семьдесят с лишним верст в мешках и ящиках. Целую зиму трудился Семен Семенович и к весне имел десять квадратных сажен посевной площади при толщине плодоносного пласта в поларшина. Опустошив станционную уборную, он тщательно удобрил землю, устроил грядки, камышевые навесы от зноя, пообещал начальнику полустанка Петру Евграфовичу Дулину свежей редиски и получил от него разрешение пользоваться для полива железнодорожной водой.

Ехидный фельдшер немедленно написал в «Гудок» заметку: «Казенная вода растрачивается на частные огороды», но потерпел фиаско: заметки не напечатали, а в почтовом ящике ответили следующее:

«Сары-Булак. Б-ву. Заметка не пойдет. Никому не возбраняется пользоваться водопроводом для поливки огородов».

Почтовый ящик с головой выдал фельдшера: только один он в Сары-Булаке носил фамилию, начинавшуюся на «Б» и оканчивающуюся на «в». Семен Семенович в глаза назвал его доносчиком, начальник перешел с ним на «вы».

2

Утро застает Семена Семеновича в огороде, который расположен прямо перед террасой и обнесен высоким дощатым забором. Дрожащими от волнения руками Семен Семенович высаживает редиску, помидоры, лук и морковь. Ровно в семь часов он поднимается, палочкой

счищает с брюк налипшую землю и направляется к калитке, чтоб поздороваться с начальником — Петром Евграфовичем Дулиным.

Фамилия очень подходит начальнику из-за носа — мясистого, на конце утолщенного, покрытого буграми и рытвинами. Этот нос составляет главное несчастие всей его жизни; такие бывают только у горьких пьяниц, а начальник как раз убежденный трезвенник. Кто близко его знает, воспринимает нос как игру природы; новый же человек обязательно приписывает цвет и форму носа воздействию алкоголя, чем причиняет начальнику моральные страдания.

Начальнику уже за шестьдесят, но он еще прям, крепок и вне письменного стола обходится без очков. Степенно, в одних подштанниках и туфлях на босу ногу, идет он вдоль платформы, щурится из-под нависших бровей на солнце и чешет мохнатый седой живот. Сзади бежит и нудно мяучит огромный черный котище, до того гладкий, что шерсть его искрится под солнцем.

Этот кот, носящий странную кличку «Клеврет», уже одиннадцать лет живет вместе с Петром Евграфовичем. Разжирел он на даровых мышах: в свое время начальник сделал три мышеловки и ловит каждую ночь по три мыши. Раньше он от скуки дрессировал мышей, коту доставались только неспособные, ленивые, провинившиеся и сверхштатные. Потом дрессировка надоела Петру Евграфовичу; он решил истребить свой зверинец и впустил кота прямо в клетку. Кот рванулся к мышам, но так как был очень тяжел и неловок, то клетку перевернул, и все мыши разбежались. Петр Евграфович жестоко высек кота, но утром утешил, угостив тремя новыми пленницами. Теперь это вошло в обычай. Каждое утро кот бегает за хозяином и орет до тех пор, пока не получит своих мышей.

Начальник подходит к колонке. Ветер надувает его подштанники, как паруса. Бабы уже привыкли к начальниковой оголенности и, не смущаясь, набирают воду. Кот орет издали: хозяин ради забавы не раз обливал его, и он теперь боится подходить близко.

Солнце дробится в неровной струе. Начальник поочередно обливает голову, лицо, плечи, спину и грудь. Он поеживается и громко стонет, потом долго обсушивается на солнышке и ветерке. Полотенце он употребляет только зимой; поэтому лицо у него жесткое, глянцевитое и багрово-синим цветом своим напоминает бурак.

— Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! — возглашает он. — Попробуйте... Очень даже прекрасно.

— Боюсь холодной воды, — отвечает Семен Семенович. — Сердце у меня незавидное.

— Пустяки, отвечает начальник. — От холодной воды ничего кроме пользы. Получил я, Семен Семенович, письмо из Ахтырска, от родственника. Домик мне там подыскали... Смородина... На пенсию хочу уйти.

Начальник сладко жмурится, точно смородина, зреющая где-то в Ахтырске, уже попала ему в рот.

— Завидую! — энергически восклицает Семен Семенович.— Завидую и от души поздравляю. Сколько лет прослужили вы?

— Сорок лет. Ни одного взыскания не имею. Я всегда порядок

наблюдал. На железной дороге порядок — это самое главное, как и во всем государстве.

— Правильно, — соглашается Семен Семенович, любовно оправляя бороду. — А я вот сны плохие вижу. Синих крыс видел сегодня и мужчину голого... К чему бы?

— Мужчину? Не знаю к чему это — голого мужчину видеть. Если женщину, то к болезни. А мужчину... К противоположному, вероятно. К благополучию.

Степенно и неторопливо течет их беседа.

— Здравия желаю! — кричит издали станционный сторож.

— Здравствуй, — снисходительно, не оборачиваясь, говорит начальник.

Сторож берет метлу и принимается за свое ежедневное дело—уборку платформы. Он одет в белую, с синими горошинами рубаху, его каленую шею покрывает сетка глубоких морщин; в курчавых седых волосах нежно розовеет маленькая плешина.

Ветер подхватывает клочья бумаги, окурки, пыль и несет все это далеко за пути, в голую степь.

— Ишь, расселся, — ворчит сторож, почтительно обметая кота.— Знаешь, что хозяин — начальник, вот и расселся, как барин!

Из-за угла выходит сын местного стрелочника — Васька Фомин, комсомолец, студент путейского техникума, проводящий отпуск под отчим кровом. Он гонит перед собой, как футбольный мяч, пустую консервную банку; гонит он ее, очевидно, издалека, — банка вся помята и переменила цилиндрическую форму на пирамидальную.

Телеграфистка Настя Боброва торопится сдать дежурство, потом бежит навстречу Ваське. Вдвоем они идут кататься на лодке (через Сары-Булак проходит приток большой реки).

Если добавить ко всему сказанному, что Насте девятнадцать лет, что у нее чудесные пепельные волосы, а лицом она несколько напоминает Мэри Пикфорд, — читатель поймет, почему так оглушительно хохочет начальник, завидев томящегося возле телеграфной Ваську...

Так начинается сары-булакский день. Вернее, так начинался он раньше, ибо теперь нет старого полустанка Сары-Булак; на его месте выстроена большая узловая станция. Нет теперь и старого Петра Евграфовича, нет и Семен Семеновича. Физически, конечно, оба они существуют и до сих пор продолжают служить в Сары-Булаке, но стали они совсем другими людьми.

А в те времена, о которых идет здесь речь, в Сары Булаке даже поезда не останавливались, кроме двадцать второго — «максимки», по требованию. Требования бывали раз в год, потому и «максимка» обычно пролетал без остановки, мелькнув фонарями.

В сентябре Васька Фомин уехал доканчивать учение в путейском техникуме.

Перед отъездом он целую ночь провел в телеграфной возле Насти Бобровой.

Семен Семенович случайно остановился около открытого окна и подслушал их разговор.

В телеграфной было уютно и чисто. Тихо урчала лампа «молния» под большим зеленым абажуром, тикали ходики, и нудно зудел аппарат Морзе. Его звук был таким однообразным, что, подобно пению сверчка, даже не замечался и уж, конечно, ничуть не мешал беседе.

— Ну вот, я и уезжаю, Настя, — вздохнув, сказал Васька и снял фуражку. Черная прядь упала на его смуглый лоб. Он добавил:
— Боюсь что будет мне скучно.

— Тебе скучно? — удивилась Настя. — А мне-то как? Мне-то как, Вася! Ведь в Сары-Булаке жить — как в гробу!..

Она в упор смотрела на Ваську большими серыми глазами. В ее распустившихся волосах дрожал зеленоватый отсвет абажура.

— Ты к людям едешь, Вася, учиться. А у нас и книг даже нет. И просвета не видно...

— Я книг пришлю, — пообещал Васька.

Его черный глаз сверкнул, как уголь, из-за полуопущенного века. Он сжал в широкой своей ладони теплую настину руку и сделал вид, что забыл об этом.

Настя сказала:

— Ты посмотри, Вася, — кругом люди-то какие большие стали. Читаешь газету и душа рвется. Люди большие у нас выросли. Это, Вася, от дела. Когда у человека большое дело, он сам большим становится. Широким!

— Как лещ! — неискренне усмехнулся Васька.

Настя продолжала, не слушая его:

— Читаешь газету, и дрожь берет от обиды. Сидим мы тут, как сурки в норе. Маленькие все мы здесь, Вася, жалкие...

Тихо урчала лампа «молния» под большим зеленым абажуром, монотонно зудел аппарат Морзе — единственный выход из Сары-Булака в мир. Чуть колыхалась от ночного ветра плетеная пестрая занавеска.

Семен Семенович глянул в степь. Где-то далеко-далеко в песках кричал ночной ястреб. А кругом было все то же: знакомые домишки, до тошноты приевшиеся люди, все мелкие, незаметные, серые люди... коты, огород и прочая ерунда, а дальше — голая и широкая, как небо, степь. И больших дел не было ни в Сары-Булаке, ни вокруг него. Семен Семенович ощутил прилив щемящей тоски и обиды на то, что и он — такой же мелкий, серый и незаметный, как все остальные сары-булакцы. Он и раньше испытывал нечто подобное, но никогда еще это чувство не овладевало им с такой полнотой и силой.

Мирная сары-булакская жизнь была взорвана одним из бесчисленных московских заседаний.

На площади Ногина в здании бывшего Делового двора, где помещается Наркомтяжпром, некий академик, весьма благообразный старичок, докладывал о серных месторождениях в пустыне и демонстрировал карту, где были указаны границы этих месторождений.

Сары-Булак очутился внутри границ.

Старичок представил цифры, из которых явствовало, что себестоимость килограмма серы будет чрезвычайно низкой и все капитальные затраты окупятся в три года.

Заседание решило немедленно приступить к эксплоатации месторождений. Завод должен был строиться в песках, на берегу большой реки в ста километрах от Сары-Булака. Тут же был намечен срок пуска будущего завода.

Заседание происходило в десятом часу вечера, и, если принять поправку на пояса, можно с уверенностью сказать, что сары-булакцы спали в это время мирным сном, с головой укутавшись в теплые стеганые одеяла. И только Настя Боброва не спала, тоскуя о Ваське и о больших делах. В пустыне рвал ветер, крутил песок на барханах, колотился о негулкую медь станционного колокола и свирепо гнул мертвые желтые стебли помидоров на огороде Семена Семеновича.

Революция началась остановкой скорого. Это была первая остановка скорого за последние два года. Полустанок всполошился. Все — от стариков до младенцев — выстроились на платформе и в безмолвии созерцали блестящий состав. Из международного вагона вышел старичок-академик в сопровождении целой свиты экономистов, геологов и химиков. Из багажного выгрузили десятка полтора разных ящиков. Часа через два товарный привез автомобили, и гости уехали куда-то — в самое сердце пустыни.

Сары-булакцы бросились к начальнику, сообразив, что он, разговаривая по долгу службы с гостями, наверное узнал все подробно. Начальник многозначительно ответил:

— Не могу болтать. Скоро узнаете сами, — точно бы дал слово свято хранить поведанную ему тайну, хотя гости вовсе не требовали от него такого обещания.

Семен Семенович неискренно махнул рукой, дабы показать пренебрежение к начальниковой тайне. Испуганный фельдшер (он, кстати, всегда и всего пугался) помолился на ночь. Настя написала Василию письмо на шести страницах.

Через три дня все стало ясным. В газете появилось сообщение о новом строительстве. На маленькой карте был крупными буквами обозначен Сары-Булак как пункт, от которого к серному заводу пойдет железнодорожная ветка. Настя решила сообщить об этом Ваське, но он опередил ее и прислал письмо, в котором почти отсутствовала буква «л», зато в необычайном изобилии пестрели вопросительные знаки: «Когда начнут строить? Кто начальник строительства? Нужна ли путевка техникума?» «Вася, милый, тебе легче все это узнать», — ответила Настя и хотела ограничиться этой короткой фразой, но забылась и добавила еще одиннадцать с половиной страниц...

Завод снабжался стройматериалами с двух сторон. Часть грузов сплавлялась вниз по реке, на баржах и баркасах, а другая часть доставлялась по железной дороге в Сары-Булак и дальше следовала на автомобилях.

Сары-булакский грузооборот, представлявший собой до сих пор величину скорее отрицательную, сразу фантастически вырос. Потребовались новые запасные пути, тупики, пакгаузы, навесы, склады,

гараж для автомобильной колонны, бараки для рабочих, водонапорная башня и много других подсобных сооружений.

Сары-булакцы, ошеломленные внезапно рухнувшей на них лавиной событий, притихли, растерялись и вяло бродили меж бревен, досок, кирпичей и бочек с цементом, несмело переругиваясь с пришельцами. Но уже недели через две некоторые пообвыклись и начали весьма бойко торговать чаем, пирогами с требухой и рассыпной махоркой. Алчный фельдшер вывесил большое объявление: «Сары-булакская амбулатория. Прием с 8 утра до 11 вечера. Железнодорожники бесплатно с 8 до 2, остальные за умеренную плату с 2 до 11».

— Даже на обед часа не оставил жадюга! — сказал Семен Семенович.

Прочитав объявление, он решил было заняться устройством теплицы, дабы иметь доход с огорода и зимой, но на следующий же день махнул рукой на свою затею.

Он чувствовал себя лишним в мире, и часы безделья между дежурствами были мучительны. Он наблюдал со своего крыльца беготню, суету, слышал ругань, крики, гудки паровозов, лязг буферов; все эти звуки, раньше оставлявшие его в совершенном равнодушии и как бы не доходившие до его слуха, теперь вызывали знакомое ощущение смутной тревоги и неудовлетворенности.

Он стал мрачным, необщительным и целые дни проводил в молчаливом одиночестве, бесцельно блуждая в песках или сидя на берегу, близ парома.

Чтоб заполнить хоть чем-нибудь свободное время, он занялся ужением рыбы. Иногда удавалось наловить порядочно; тогда он собственноручно жарил рыбу и продавал приезжим. Платили хорошо, и он сам не знал, что мешает ему поставить дело на широкую ногу. Больших затрат это не требовало, стоило только сделать десяток хороших подпусков, и он уже принялся плести их из тонкого английского шпагата, но бросил не закончив.

Рыбная ловля постепенно утрачивала в его глазах всякий интерес. Однажды ночью он сидел на пароме и тихо переговаривался с плешивым сторожем, постоянным товарищем по рыбной ловле.

Ночь была теплая, кричали лягушки, причмокивали, выходя на поверхность, сазаны. Струя раздваивалась, обтекая паром; под самыми удилищами Семена Семеновича то-и-дело вспыхивал лунный свет.

— Клюет, — шопотом сказал сторож.

Семен Семенович пригнулся к удилищу, но поклевка не повторилась.

— Балуется, — вздохнул сторож, закручивая цыгарку. — Какая уж это рыба! Дернет два раза — и все... мелочь. Настоящая рыба из наших мест ушла.

— Чего же ей здесь делать? — ответил Семен Семенович. — Пускают с завода разную гадость в реку, — вот рыба и ушла.

— Она гадости не любит, — подтвердил сторож. — Самое горе в том, что завод выше нас по реке. Что бы пониже его поставить! И ловили бы мы с тобой, Семен Семенович, настоящую рыбу...

Со станции доносились гудки маневрового паровоза; он просил седьмой путь. Ему отвечал сиплый рожок стрелочника.

Сторож закурил, загораживая спичку от ветра ладонью.

— Да... Жизнь-то совсем другим боком обернулась. Настю дежурным назначили. Ваське, говорят, доверили ветку строить. Техникум еще не кончил, а уже — доверяют.

Семен Семенович мрачно молчал. Сторож тихонько подтолкнул его локтем.

— Начальник Петр Евграфович, даром что сумасшедший, по трем ведомостям жалованье отхватывает. Как начальник, раз, за совмещение с телеграфом — два, за особое назначение — три. Куда только деньги девает?

— Клюет! — шепнул Семен Семенович.

Сторож рванул удилище. Леса с тонким визгом рассекла воду.

— Эх, чорт!.. Зацепил. Придется лезть, — огорченно сказал сторож, расстегивая штаны.

Зябко пошевеливая лопатками, он слез в воду. От него побежал кругами раздробленный лунный свет.

— Да, вот как люди-то живут, — говорил он, отыскивая предательскую корягу. — А мы с тобой, Семен Семенович, рыбку ловим.

— А что сделаешь! — закричал с надрывом Семен Семенович.— Что ты сделаешь на этакой службе! Вот и сижу в телеграфной! Двадцать лет просидел... Всю жизнь! Как во сне!

Сторож отцепил крючок, влез на паром и посоветовал:

— А ты проснись. Проснись, милый. Мужчина ты крепкий, видный...

— Я проснусь! — яростно ответил Семен Семенович. — Я проснусь! Плюну на все и в Москву уеду! Или в Сибирь— пушного зверя бить!

В эту ночь он понял, что неистребимое чувство тревоги и неудовлетворенности, которое так мучило его раньше, не изчезло, и он только обманывает себя, пытаясь о нем не думать. Испуганный этим открытием он бросился домой и целую ночь трудился, доканчивая подпуска.

Утром он вернулся на берег, закинул их и совершенно отчетливо осознал, что если бы сделал не десять, а сто или даже тысячу подпусков, то все равно не избавился бы от этого гнетущего чувства.

Начальник Петр Евграфович первым почувствовал дыхание большого дела, если не считать, понятно, Насти Бобровой, которая с самого начала сары-булакской революции впала в лирически-восторженный транс и переводила на письма неимоверное количество телеграфных бланков.

Начальник получил приказ о повышении жалованья станционным служащим, новую фуражку с красным верхом и «Положение о станциях особого значения». По этому «Положению» он объявлялся ответственным за всю работу; права его расширились вплоть до самостоятельного найма и увольнения. Он вывесил «Положение» в телеграфной и подчеркнул красным карандашом раздел «О правах».

...Всю жизнь начальник служил на маленьких, глухих станциях;

В молодости еще мечтал о больших узлах, вроде Ташкента или Красноводска, потом и мечтать перестал.

И вот, на старости лет, когда он уже совсем примирился со своей судьбой, его мечта сбылась, и он вначале не радовался этому. Его пугал и колоссальный грузооборот, и огромные деньги, ежедневно поступавшие в кассу, и неполадки с грузами, и бесчисленное количество бланков, которые он ежедневно подписывал.

Да и жаль было прежней безмятежной и тихой жизни: она так подходила к его почтенным годам. И он решил было просить об отставке на пенсию, но пришла в голову мысль, что, должно быть, сильно ценят его в управлении: тогда выслали целую комиссию разбирать конфликт с Семеном Семеновичем, а теперь сочли возможным, даже не справляясь о силах и способностях, поручить такое большое и ответственное дело, как управление станцией особого значения.

Ночь провел он в сомнениях и колебаниях, утром порвал прошение об отставке, вычистил бензином свою форменную тужурку, вышел на платформу и учинил громовой разнос дежурному, перепутавшему вагоны. Услышав грозные раскаты его баса, сары-булакцы поняли, что он взялся за дело всерьез.

Вскоре начальнику прибавили к основному, уже повышенному окладу сорок процентов нагрузки. Прочитав извещение, начальник крякнул и приказал исправить платежную ведомость. В этом месяце он получил вдвое больше, чем раньше, сел на диван и в задумчивости долго перебирал потертые бумажки. Неожиданно он вскочил и с лихорадочной быстротой кинулся проверять накладные. Голодный кот протяжно мяукал. Начальник порывисто замахнулся стулом и крикнул:

— Пшел вон, лодырь, сукин ты сын! Тут без вас, чертей, глаза на лоб лезут!

Изумленный кот шарахнулся под диван и поблескивал оттуда зелеными глазами, не осмеливаясь вылезти.

Прошла еще неделя. Кот совсем отощал; шерсть его, некогда искрившаяся под солнцем, висела ошметками. Тщетно по утрам трагически орал он перед заржавевшими мышеловками, — начальник или спал мертвым сном, или носился вдоль платформы, распекая всех встречных и поперечных. Кот понял, что прежняя легкая и развеселая жизнь не вернется больше уже никогда: надо точить собственные когти и лично заниматься мышиным промыслом. Это, кстати, было делом нетрудным: в пищевом пакгаузе мыши гуляли табунами, кот принялся яростно истреблять их и включился таким образом в одну из боковых линий строительства.

Но, понуждаемый голодом к общественно-полезной деятельности, кот внутренно так и остался нетрудовым элементом, пассивным созерцателем: нажравшись, он, как живой сколок безвозвратно сгинувшего сары-булакского быта, лежал на перилах террасы, озаренный прозрачно-багровым отсветом вечерней зари, щурил зеленые глаза с продолговатыми зрачками и презрительно посматривал на поезда, на грузы, на автомобильные колонны, на бегающих потных людей и на бывшего своего хозяина, который, высунувшись до пояса из

окна телеграфной, надрывным басом кричал что-то бестолковому составителю.

В мае начались работы по строительству железнодорожной ветки.

Василий по окончании курса техникума был откомандирован в Сары-Булак. С первых же дней начались отчаянные сражения с Настей.

— Надо же совесть иметь! — кричал он. — Шпал нет, работа стоит! Давай паровоз!

— Не могу, — спокойно отвечала Настя. — Паровоз занят: составляем порожняк.

— Смеешься!

Василий бежал к Петру Евграфовичу, опять возвращался к Насте и громил кулаками стол.

— Я с тобой, Настя, разведусь! Ей-богу разведусь!

Только один раз удалось ему получить паровоз вне очереди. Он подсел к Насте, обнял, усыпил нежными нашептываниями ее бдительность и незаметно подсунул наряд. С тех пор Настя, отказывая ему в паровозе, всегда надевала форменную фуражку в знак того, что при исполнении служебных обязанностей она считает неуместными всякие семейные разговоры.

В пустыне, на бесплодных песках росли серо-голубые бетонные корпуса. Монтаж оборудования производился одновременно с постройкой зданий, крыш еще не было, и механизмы приходилось закрывать на ночь брезентом, чтоб не падала на металл роса.

15 октября открывалась сессия республиканского ЦИКа. Строители завода решили приурочить пуск к этому дню.

Труднее всего было с доставкой грузов. Баркасам мешало бурное течение реки, мели и подводные камни. Автомобильный путь, усеянный рытвинами и кочками, был еще ужаснее. Шоферы брали в запас по нескольку камер. После каждого рейса автомобили требовали капитальной чистки: мельчайший песок проникал в самые сокровенные части мотора.

Заводские рабочие прислали в Сары-Булак делегацию для заключения договора. Этим договором по существу только закреплялись достижения Сары-Булака, который еще ни разу не задержал заводских грузов. Но Петр Евграфович все-таки долго тосковал перед подписанием договора, а когда на торжественном заседании подписал, выпрямился и размашисто перекрестился:

— С богом, ребятки!

И, сразу опомнившись, начал неуклюже изворачиваться, объясняя, что перекрестился в шутку.

Вечером он долго сидел за столом, помешивая ложкой остывший чай. Зеркало отражало его седую голову и красную морщинистую шею. Он сказал, обращаясь к своему отражению:

— Заботушка, Петр Евграфович! Зря на пенсию не ушел.

— Подписал! так не трусь! — ответило отражение. — Надо было раньше думать...

— «Раньше», «раньше»! — рассердился Петр Евграфович и крепко хлестнул ладонью по столу. — А впрочем, работают же люди? Авось,

и мы вытянем! — Помолчал и добавил: — А лучше бы уйти мне на пенсию. Стар уже я для этих штук... Осрамиться здесь — плевое дело...

Осенью в газете появилась большая статья о новом серном гиганте.

Петр Евграфович крякнул, увидев в газете свою фамилию, снабженную эпитетом «энтузиаст». Эпитет ему, конечно, польстил, но в то же время он еще полнее ощутил тяжесть огромной ответственности.

Семен Семенович тоже прочел статью и заскучал еще больше. Проклятая телеграфная служба не давала ему никакой возможности развернуться вместе с другими во всю ширь. Чувство тоски усиливалось с каждым днем.

Второго октября в Сары-Булак пришла заводская автомобильная колонна и забрала последние детали. Петр Евграфович облегченно вздохнул: наконец-то он получил возможность вплотную заняться изрядно запущенной канцелярией. Но тут в кабинет ворвался бледный сторож. Он бестолково размахивал руками; пот блестел на его розовой плешине.

— Беда, Петр Евграфович! Ей-богу, не вру!

Оказалось, что сторож, убирая пакгауз, натолкнулся на два забытых ящика. Их завалили рогожами во время последней погрузки автомобилей.

Заведующий пакгаузом побледнел, кинулся проверят накладные и с тихим стоном упал на рогожи. В ящиках находились детали двигателя. Пуск завода был сорван.

Станция мгновенно узнала о происшествии. Все сбежались к пакгаузу. Начальник — строгий, прямой, одетый в полную форму — потребовал у заведующего ответа. Но заведующий от нервного потрясения заболел и только охал, прижимая руку к сердцу.

Предпринять можно было только одно: запросить телеграммой с деповской станции автомобиль и на нем доставить ящики. И всем было ясно, что это не спасет дела: когда-то еще телеграмму получат, да подумают, да погрузят автомобиль, дня два он пробудет в дороге, и ящики в самом лушем случае попадут на завод тринадцатого числа.

Начальник хмуро сел за аппарат. Все напряженно следили за подрагиваниями его сухих, узловатых пальцев, точно бы автомобиль мог прибыть по этому же проводу и с такой же скоростью, как депеша.

Вечером Семен Семенович ловил рыбу. Для удобства он забрался на паром и пустил лески по течению.

Странные чувства волновали его сегодня.

— Мне-то какое дело?! — вслух сказал он и пожал плечами.

Перед ним текла река, золотая от закатного солнца. Паром покачивался и лязгал цепью. Разбиваясь о его борта вода белела и вскипала с глухим рокотом.

Настя лежала с мокрой повязкой на голове.

Душная ночь тяжело навалилась на пустыню. Ветер нес в открытые окна тонкие струйки песку.

Васька, поскрипывая сапогами ходил, из угла в угол. В час ночи он лег.

На рассвете в окошко постучали. Настя тревожно крикнула:

— Кто?

В комнату всунулся волосатый облик Семена Семеновича.

— Василия Ильича разбудите. Идею обсудить.

Семен Семенович был очень взволнован. Даже в темноте Настя заметила блеск его глаз.

— Кой чорт! — заворчал, просыпаясь, Васька.

Семен Семенович, сдерживая волнение, пояснил:

— Я чертежики приготовил. Выдумал идею. До утра как раз обсудить успеем.

Василий одобрил проект. Утром Семен Семенович помчался к начальнику, захлебываясь изложил ему суть проекта и настоял на немедленном созыве заседания. Оно происходило в телеграфной. Сары-булакцы теснились около закрытого окна.

Семен Семенович изложил свой проект.

Он предлагал превратить с помощью трактора паро̀м в моторное судно и доставить ящики водой.

Реконструированный паро̀м выглядел очень странно. Ось делила его пополам и была укреплена в четырех деревянных подшипниках с железными вкладышами. Колеса получились не круглыми, а десятиугольными, зато необыкновенно прочными: полуторавершковые доски прошивали шестидюймовыми гвоздями.

Трактор сначала решили поместить на носу, мертво укрепив колеса в деревянных распорах. Но когда втащили трактор, нос ушел в воду. Паро̀м напоминал ныряющую утку. Василий посоветовал переместить трактор на корму. Нос поднялся. В раскаленное небо смотрела, как вызов, красная надпись — «Победитель».

Рассвет пришел прохладный, прозрачный; голоса звонко отдавались над рекой, и каждое, самое пустяковое, слово чувствовалось сегодня на вес.

Бабы несли к паро̀му булки, пирожки и котлеты.

Фельдшер в знак примирения снабдил Семена Семеновича старой берданкой и тремя десятками патронов.

Начальник шутливо крикнул:

— Получите путевку.

Трактор взревел. «Победитель» медленно отошел от плоского песчаного берега и повернул вниз по течению, вспарывая густую желтую воду и оставляя за собой кипящий след.

Вот уже зашел он за далекие камыши, опять показался на излучине и скрылся за поворотом.

Сары-булакцы разошлись по домам.

Только Настя все стояла на берегу, прислушиваясь к уплывающему тугому реву мотора. Через полчаса она уже не могла разобрать, то ли трактор ревет вдалеке, то ли комар тянет сквозь тишину свою звенящую нитку.

7

Вечером достигли реки.

Приток сразмаху врезался в нее и шел мутной полосой до середины.

«Победитель» яростно рвался против течения. Скорость его сразу упала вдвое.

Ночевали в камышах. Комары поднимались целыми тучами, и не было никакой возможности спастись от них.

Утром Васька ощупал чудовищно опухшее лицо. Волдыри нестерпимо чесались. Семен Семенович посоветовал намазать волдыри машинным маслом. Это принесло некоторое облегчение, но когда снова начало припекать, высохшее масло стянуло кожу лица, волдыри полопались и кровоточили.

В час дня трактор дал первый перебой. Васька замер, схватившись за рычаги. Семен Семенович тревожно спросил:

— Шалит?

— Шалит, — ответил Васька.

Он сразу охрип от волнения.

Смена воды в радиаторе не помогла. Перебои повторялись все чаще и чаще.

В два часа дня трактор встал.

«Победитель» точно врос в блестящую гладь. После тугого рева мотора и плеска колес было странно слышать тихое журчание воды за бортами.

Семен Семенович снял с ящиков веревки, нарастил их якорной цепью и теми концами, с помощью которых втаскивали на паром трактор. Он решил вести «Победителя» на бечеве. Он выпотрошил свою ватную куртку и принялся шить лямки, действуя гвоздем вместо шила.

— Никак волоком тащить хочет! — догадался сторож. — Семьдесят верст! Ошалел! Совсем ошалел!

Сторож суетился, приседая и хлопая себя по ляжкам. Семен Семенович спокойно снял штаны и, поднимая с илистого дна желтую муть, прошлепал к берегу.

К нему присоединились остальные.

Сначала казалось, что тащить немногим труднее, чем просто итти. Но скоро Семен Семенович выдохся: было самое жаркое время дня.

Грузчики невесело шутили.

До завода осталось шестьдесят верст.

Через два дня ночью стрелок заводской военизированной охраны, дежуривший на берегу реки, заметил «Победителя».

Потом стрелок рассказывал, что люди, тащившие паром, упали, как только остановились. Они могли держаться только на ходу, как велосипед.

С помощью караульного наряда ящики были выгружены и переданы в склад. Сары-булаковцев отвели в караульное помещение и уложили спать.

Утром секретарь заводской ячейки и председатель завкома прибежали в караульное помещение. Сары-булаковцы спали где попало — на скамейках, на столах и даже на полу.

— Безобразие! — рассердился секретарь. — Постелей дать не могли!

Председатель мигом раздобыл тюфяки. Секретарь, воспользовав-

шись тем, что Семен Семенович все равно проснулся, расспросил его о походе «Победителя».

Семен Семенович рассказывал в полусне, поддерживая пальцем распухшую губу.

На торжественном заседании, посвященном пуску завода, секретарь рассказал о походе «Победителя». Он говорил искренно и горячо.

Герои стройки, в том числе и экипаж «Победителя», сидели в первом ряду.

Оркестр ревел им прямо в лицо.

И здесь при ярком свете электрических ламп, в медном реве оркестра, навсегда умерла тоска Семена Семеновича.

☆

Николай Сидоренко

Полустанок

Сквозняк на минуту. Подножка. Рука.
Привычная мена жезлами.
И млечным наплывом, над медью звонка,
Колышется дымное знамя.

Сегодня — в Челябинск,
А завтра — в Рязань;
Но некому здесь, в луговине, слезать!

И мчится, скрываясь за рощей,
Малиновой звездочки росчерк...

...В осенних газетах писали, что тут —
Подпочва с прожилками меди;
Что люди приедут,
Что землю взорвут,
И что разбегутся медведи.

О ветер болотный, потише! Расколешь
Несложных надежд станционный околыш;
Несложную радость, что взмыла до срока
На стрелке, в плену золотистого дрока.

...Снижает закаты замшелая мгла,
Почтовый взвывает сиреной.
Но в ежевечернем обмене жезла
Есть связь с отдаленной вселенной.

☆



Шегаль. Ремонт вагона. Третьяковская галлерея

А. Кожевников

Люди Турксиба

(Отрывки из романа «Здравствуй, путь»)

Отпуск

Председатель рабочкома Козинов сидел за хлибеньким, сбитым на скорую руку столом и читал письмо от жены. Корявые с изуродованными ногтями пальцы крепко сжимали неровно оторванную бумажку, белесое с подслеповатыми мутными глазами лицо было вплотную придвинуто к ней. Было похоже, что человек старается выжать из письма больше, чем в нем написано. Жена спрашивала, может ли приехать в степь, не опасна ли детишкам вода. Козинов весь съежился и закусил нижнюю, в рыжеватой щетине, губу. Были новости: дочурка научилась выговаривать чисто все слова; сын, сосунок трех месяцев, начал улыбаться на свист и щекотку. Козинов удовлетворенно, точно от сытости, хмыкнул. Год назад он попробовал устроиться на дороге с семьей, но из этого не получилось ничего путного: дочурка заболела дизентерией, и жена, спасая ее, уехала обратно домой. Теперь было двое маленьких, и Козинов, прежде чем на что-либо решиться, позвонил доктору:

— Как у нас с водой? Можно выписать детишек?

— Не советую, — ответил доктор. — Вы же сами прекрасно знаете нашу воду! Взрослый ее с трудом переваривает, а ребятишки мрут. И тиф... В июне, в июле может разыграться такое...Не советую! — Доктор шумно вздохнул.

Козинов жил в степях третий год, два раза имел право на отпуск, но оба раза вышло так, что он не мог им воспользоваться. В первом году помешали чокпарские изыскания, во втором — подготовка к зимнему строительству. Снова, в третий раз, это право было в его руках, и Козинов написал заявление в бюро партколлектива. Вошел Менонитов[1], застал Козинова над развороченным чемоданом и спросил:

— Что, обокрали?

— Уезжаю на отдых.

— Ба — ба! С кем же я буду договариваться о расценках для казахов, о шоферах? Им дано распоряжение с рассветом выйти за горючим. Скоро девять часов, а машины все на месте. Вам известно, что наш транспорт не транспорт, а безобразие. Пески, бездорожье, отсутствие оборудованной ремонтной мастерской — верно, все это отражается на машинах. Но шоферы... Некоторые обнаглели окончательно. Они знают одно — гони монету! С кем же я буду обо всем этом?..

— Партком выделит заместителя. — Козинов втискивал в чемодан грязное белье и, взглядывая на Менонитова искоса, говорил,

---

[1] Менонитов — главный инженер и начальник шестого строительного участка Туркестано-Сибирской железной дороги.

как бы кого-то убеждая: — Третий год здесь. Довольно, надо отдохнуть. Семью год не видел, выписать нельзя. Месяца через два приеду. Ничего, обойдутся, не такой уж я незаменимый...

С отпуском произошла обыкновенная, знакомая Козинову история: идя в партком, с заявлением, он встретил кузнеца Садикова, старого партийца, члена комиссии по поднятию производительности труда, и поделился с ним своей радостью.

— Отпустили? — удивился Садиков.

— Должны, я с первого дня на дороге и ни разу не ездил.

Садиков взял Козинова за карман, притянул к себе и проговорил хмурясь:

— Должны... Могут... — задумчиво присвистнул, — только проситься не следует. Время не то: разгар, сезон, каждая душа на счету. Понимаешь! Работал два года — дорабатывай последний. В месяц ведь не обернешься?

— Прошу два.

— Два самых жарких месяца? Молчал человек и вдруг в самую горячую пору на курорт!

— Я к семье.

— Разница малая, главное — улепетнул с постройки.

— Да... оно, пожалуй, верно, — заворчал Козинов. — Пожалуй я погорячился. — Он рвал заявление, старательно втаптывая клочки сапогом в песок.

— Немножко оступился...

Козинов затоптал последний клочок и, скосив плечи, виноватой походкой пошел по городку.

Садиков на то место, где были схоронены обрывки заявления и козиновский отпуск, сапогом подшвырнул кучу песка и проговорил раздумчиво, пожмуриваясь на горячее беловатое солнце:

— Устал наш пред, устал...Ха, отдохнем!

Козинов сделал круг по тропинке, бежавшей между складами бревен и досок, и свернул к юрточке бюро партколлектива. Она, изрядно потрепанная, отличалась от прочих только тем, что была оплетена густой сетью троп и на полости, закрывавшей вход, имела табличку:

БЮРО КОЛЛЕКТИВА ВКП(б)

Секретарь бюро Николай Фомин внимательно вчитывался в толстое, сшитое шпагатом дело и никак не отозвался на приход Козинова. Козинов начал оглядывать давно знакомое полушарие юрты. Портрет Ленина и Сталина, сидящих на садовой скамейке, несгораемый шкаф, топчан под шинельным одеялом и четыре некрашеных табурета. Вещи не сказали ему ничего нового, и он повернулся к секретарю. Человек, роста и размера чуть поменьше среднего, не по условиям чистый и аккуратный, он не производил впечатления силы, а наоборот, казался слабым, хотя и прислан был (Фомин работал на участке первый месяц) как сила. Узковатые плечи, худое лицо и большие с искорками удивления и веселости глаза делали его похожим на подростка.

Козинов думал: «Что таится под этой неяркой внешностью?» — и

не сразу заметил, что на него смотрят брови с крутым изломом, похожие на запятые, у которых жирные точки и тонкие, еле намеченные хвосты.

— Садись, — сказал Фомин.

— Я... так, без дела, мимоходом.

— Посидим без дела. — Веселость затопила глаза Фомина. — Вообразим, что мы в отпуску.

— Да, да... вот это самое.— Козинов беспокойно завертелся. — Я было думал проситься в отпуск, заявление уж написал, к тебе нес.

— Садись, чего топтаться!..

Козинов сел и торопливо, точно боясь, что его перебьют, рассказал о своей семье, о том, как ему показалось, что можно уехать. Фомин выслушал его и сразу, точно не было ни Козинова, ни его семьи, ни заявления, заговорил о шоферах...

Борьба с холодом

Топливо выдавалось понемножку Менонитову, в кухню, на выемку для ночной работы экскаваторов и в амбулаторный пункт. Школа первый паек получила девятого декабря, и ребятишки так бежали с обрезками шпунта, как бегают только замеченные воры. Рабочих Огуз-Окюрген изредка баловали дровами, потому что их бараки продувал никогда не утихающий ветер из ущелья. Многим категориям рабочих и служащих не давали ничего, с ними о дровах даже не разговаривали. Лишенные топлива в погоне за крохами тепла обнимали кубы на кипятильнике, прижимались к печкам в столовой, сбегались к кузнечным горнам и к трубкам машин, выбрасывающим отработанный газ. Стрелка человеческого терпения была на предельной высоте и трепетала на том ничтожном пространстве, которое отделяло эту высоту от точки «взрыв». Малейший пустяк — полено дров, отданное не по справедливости, необдуманно сказанное слово — мог стать решающим. Менонитов без устали, в паническом страхе перед этим пустяком метался по участку. В сумеречную утреннюю рань, закутанный шарфом, он ехал на работы, где своим пренебрежением ко всем испытаниям поддерживал в людях решимость бороться. Вечером на всяческих заседаниях, — открытых, закрытых, больших и малых — он неотступно твердил: «Стойте! Выдержим, скоро будет лучше». После заседаний соединялся с прорабами дистанций и пунктов, упорно изгонял тревогу у растерявшихся, от бодрых пополнял свои запасы растраченной бодрости. Отпустив последнего, выходил в степь и подолгу стоял на перекрестке верблюжьей тропы и колесной дороги, высматривая в обманчивой светлоте звездных ночей нескладные тени идущих верблюдов и брички, посланные в Мулалы за спецовками. Иногда ему казалось, что позвякивают колеса о плотно укатанную дорогу и наигрывают колокольчики... «Видимо, земля трескается от мороза». По степи замерзали верблюды, на участке у коновязей каждое утро находили издохших лошадей, и он боялся, что верблюды и кони, ушедшие за теплом, лежат где-нибудь на степных барханах

и догладываются волками. Менонитов переживал то мучительное состояние, которое находится между сном и бодрствованием. «Хочу» и «не могу» уже несколько часов боролись в его усталом теле. Он пробовал выключать свет, кутаться с головой в одеяло, затыкать уши ватой, но скоро убедился, что все решительно: свет и темь, стрекот электростанции, пустота и тишина — его враги и он сам себе враг. Лежал, глядя на лампу, закутанную в серую бумажку, чувствовал холод, поднимающийся от щелеватого пола, и ненавидел и холод и лампу.

На мосту через Биже простучали брички. Старик вскочил и начал быстро одеваться.

Нагруженные брички стояли у склада. Поскрипывала обледенелая упряжь. Лошади, отделанные морозом в белую искристую масть, вздрагивали пустыми, отощавшими брюхами. Возчики, стоя на коленках перед бричками, зубами раздергивали затянувшиеся узлы: зазябшие руки не слушались.

— Сколько — спросил Менонитов.

— Четыреста комплектов.

Брички разгружались. Кислая, позывающая на чихоту пыль новых дубленых полушубков расползалась от разворошенных возов. Менонитов жадно вдыхал ее, как голодный вдыхает запах вкусного варева. Он даже чувствовал, что слюна заполняет его рот и спазмы сжимают горло. «Четыреста комплектов—это почти разрешение одеждного вопроса, — думал он. — Это почти смычка».

Пальцем, толстым, как лом, завхоз передвигал костяшки счетиков и, посапывая простуженным носом, глухо бормотал:

— На участке — сто, трем джунгарским разъездам—сто пятьдесят, Огуз-Окюрген — сто, компрессорной части остается пятьдесят. Мало... — и перепутал костяшки.

— А Ваганову? — напомнил Менонитов. — Больше нам не дадут ни лоскута.

Широземов писал в блокноте и бубнил, выбрасывая ртом клубочки папиросного дыма:

— Участок — сто пятьдесят, Огуз-Окюрген, — тоже, джунгарцам — двести, Ваганову — семьдесят пять, на Биже —семьдесят пять, лесопильному — тридцать, компрессорам — сто, двадцать оставить на складе.

— Ты чего считаешь журавлей? Тыщи две насчитал! — Завхоз хмыкнул.

— Восемьсот. Я расколол каждый комплект на двое: кому шубу, кому валенки.

— Лучше четыреста одеть как следует, — заспорил завхоз. — Разбазарим по мелочам, никто и не посчитает, что давали.

— Константин Георгиевич, твое слово? — Широземов отбросил блокнот. — Устроить ли вполне четыреста душ, или устроить наполовину, но восемьсот?

— Я за восемьсот!

Брички развезли одежду по участку, и на второй же день Менонитов получил радостные вести — сократились прогулы, смолкли раз-

говоры о бегстве, почти вдвое увеличилась производительность труда. Вечером он придвинул к телефону столик, попросил Оленьку приготовить чай и начал принимать доклады прорабов.

— Алло, мой птенчик! — приветствовал он техника, носившего за плечами двадцатилетний опыт. — Как ты чувствуешь себя в новых валенках? Ты от них отказался, но все же как будто потеплей стало? Чудесные валеночки на километр кругом себя обогревают!

По проводам прокатился могучий хохот техника.

— Начинайте!

Птенчик преображенным голосом, голосом лучших дней строительства, рассказывал, что у него все решительно, даже и ничего не получившие, вышли на работу.

— А ты способствуй, куй железо, куй!—приговаривал Менонитов.

Потом он разыскал Борискина[1] и объявил:

— Тебе сто комплектов спецовки, приезжай и распределяй сам!

— Кто привалил? — недоверчиво спросил экскомбриг.

— Широземов, мой талантливый помощник.

Старик отвернулся от трубки и хохотнул.

— Не одному тебе повесят орден, повéсят и ему. Где он, скуластый чорт, в песках, што ли, вырыл?

— Математически, способом деления.

— А я было хотел поверить. На сколько же делил?

— Честно, пополам. Тебе пятьдесят полных. Мало покажется, раздели на три. Ребята говорят, будто им от чужих валенок тепло, а все-таки придется тебе варганить какую-нибудь печурку. Саксаул мой бродит где-то четырнадцатый день и, боюсь, не придет совсем. Подумай!

— Печку мы сделаем, а топить чем? Керосину, нефти, бензину не дашь ведь?

— Не дам, не дам! — Менонитов вплотную припал к трубке. — С такой печкой и на глаза мне на показывайся!

— Чем же топить? Морозом? Ничего нигде, кроме холода, не вижу. Водкой? Всю вылакали. Кем? Членами профсоюза или нечленами, рабочими или техническим персоналом? Все промерзли, тепла ни в ком не найдешь.

— Я, Никола, очень серьезно. Шутить можно, а и подумать надо...

— И я серьезно. Печку без топлива...и немцу не выдумать....

С громким ревом, угрожая обледенелыми мордами погонщикам, которые остервенело хлестали их по бокам корягами саксаула, вступали в городок вислогорбые верблюды. Узор кровавых пятен оставался за ними на жестком снегу. Верблюды пятнадцать суток проплутали в снегах Прибалхашья с глазу на-глаз с голодной смертью и выжили только благодаря своему беспредельному упорству, накопленному веками отъявленно-суровой жизни.

К Менонитову подошел караванщик в промороженном до колокольной звонкости халате.

— Давай расчет! Больше наша не может...В аул...

---

[1] Бригадир экскаваторщиков.

Менонитов начал уговаривать погонщиков сходить еще один раз. Погонщики, прижимая руки к сердцу, убеждали:

— Не сердись. Еще пойдем — все умрем. Мы пойдем, верблюд не пойдет. Он знает, где смерть. Не сердись! Будет весна...

Старик покосился на коряги саксаула, похожие на уродливые потемневшие скелеты, покосился на исхудалых верблюдов и подумал: «Родные братья».

— Погонщики пойдут в аул, выдай им по две осьмушки чаю! — крикнул завхозу.

В тот же день было сказано прорабам, что дров не будет, не ждали бы, строили бы жизнь и работу без них...

Путаясь в рапортах и телефонограммах, Широземов громко выкрикивал:

— В Окуз-Окюрген остановились три компрессора. Уходят бурильщики и подрывники, требуют расчета землекопы и казахи, мостовые рабочие и конюхи. По всем пунктам чуть ли не поголовно бегство. Уйдут конюхи, мы останемся без транспорта, без фуража и без хлеба.

Вбежал Козинов.

— Мы должны что-то дать...Одежду, топливо, иначе...

— Чего они хотят? —спросил Менонитов.

— Домой! Это не рвачество, это не забастовка, это — терпение лопнуло!

— А если я дам дрова?

— Дрова? Дрова — это...о!

— Долго ли они могут ждать? С неделю?

— Ждать не будут! — Козинов рывком расстегнул шубу.

— Никто не поверит. Знают — дров нет и не будет. На дровах теперь никого не проведешь...Я говорю — терпение лопнуло!

— Что вы меня сбиваете? — Менонитов затопал ногами. — «Не проведешь! не обманешь!» У меня не игорный дом, и я не шулер! Через неделю будет тепло решительно у всех, через неделю мы получим сто нефтяных печек...

Фомин сидел, опустив голову на подставленную ладонь и уголком правого прищуренного глаза разглядывал Менонитова, Козинов сопел носом, Садиков скручивал одну за другой цыгарки и курил, пыхая дымом в рукав своего бушлата.

Инженер говорил о печках:

— Их нет, их должен выдумать Борискин.

— А если не выдумает? Я ставлю ребром: обнадежить или откровенно признаться, что мы беспомощны, — сказал Фомин.

Фомину никто не ответил. Садиков занялся новой цыгаркой, Козинов — своим насморком, Широземов — блокнотом.

— Я... — Фомин прикрыл глаза рукой. — Я вижу, что товарищи избегают... Я... Со временем, когда мы дадим смычку[1], рабочие поймут. Итак, — он встал, — через неделю мы получаем печки. Про это должен знать каждый рабочий, каждый из нас

[1] Имеется в виду смычка рельсов, прокладывавшихся двумя встречными «городками» на колесах.

должен поступать так, как если бы печки были уже здесь... Товарищи, можете итти!

Колонна в шесть машин, — впереди «амошка[1]» «Турксибу, первой социалистической магистрали», — гремя цепями и заливая дрожащим светом фонарей ночную мглистую степь, ушла по дороге в Мулалы за нефтью. Молва по всему участку трубила о печках и тепле.

За окном топот лошадиных ног, фырканье, шорох замерзших тулупов и голос Борискина: «Назар, у тебя все цело?»

— Садись, Никола! — Инженер схватил холодную руку бригадира. — Знаешь, теперь все в этих, в твоих руках.

— Как это? — Бригадир оставил чай и вздернул голову.

— Знаешь, на чем мы держимся? Мы объявили, что получаем нефтяные печки и у всех будет тепло.

— Какие? Откуда? — Бригадир беспокойно ерзнул.

— Ты выдумаешь! И печки, и нефть — все должен выдумать ты!

— Обман?

Менонитов опасливо оглянулся на дверь и заговорил тише:

— Нагольный! Фиктивный крючок, ничто, нуль, а держимся и работать будем. Сегодня подпишем договор на досрочное окончание. Как же не закончить до срока, когда у нас все условия и топливо! Кузница вызвала на соревнование рабочих Огуз-Окюрген. У нас редкие ребята: дай только им ступеньку опереться, все сделают...

— А через неделю трахнет...

— Не дадим!.. Мы уж если взялись... — Менонитов снова схватил руку бригадира. — Мне много не надо, мне одну, всего одну — показать, что топится и греет!

— В первой-то весь гвоздь... Нефть, керосин — все-таки что-нибудь, хоть немножко, а будет?

— Немножко, совсем немножко. Ты больше на себя рассчитывай, на выдумку.

— Есть! — Бригадир залпом выпил чай. — Попробуем...

. . . .

Садиков разрезает пустые бензиновые баки и гнет кузова. Уже около десятка их валяется в закуте, но Борискин все недоволен и все заказывает новые — плоскобокие, круглые, самоварообразные. Сам он зубами и щипцами гнет трубки. Он забросал ими целый угол.

— Ты, Никола, зря задаешься! — бурчит Садиков и включает вентилятор, который своим буревым шумом охраняет их тайну. — Гни под нефть — и концы в воду!

— Под нефть? — Борискин моргает красными от бессонных ночей веками.

— А где нефть? — Он начинает высчитывать, сколько тонн будут пожирать печки. Получается море, которое перевезти немыслимо при имеющемся транспорте. Надо им загнуть такое брюхо, которое принимало бы всякую дрянь — отработанное масло, смолу, мазут. От нефти оно играть будет.

---

[1] От слова «АМО» прежнее название Московского автозавода (ныне ЗИС).



Соколов. Турксиб. Выставка «Индустрия социализма»

Участок выбрасывал тонны всевозможных горючих остатков, непосильных для машин, сделанных в богатой Америке, — на нихто и думал Борискин пустить печки.

Надежда на тепло обогревала людей только первые два дня, на третий людям стало холодно, и самая вера в печки начала иссякать.

Прорабы надоедливо звонили к Широземову и Менонитову:

— Где же? Когда? Если печки запоздают, мы похерим договор.

Широземов коротко отписывался:

— Будут через день-два-три.

Рабочие колебались — ждать? Не ждать? — И начали снова поговаривать об уходе, нерешительно поглядывать не жен и ребятишек, на дорожные сундуки.

Но основная масса все же аккуратно являлась на работу. По Огуз-Окюрген взлетали последние карьеры, вечерами гул взрывов баламутил неподвижный замороженный воздух, красно-бурая пыль вихрями поднималась из ущелья и заслоняла зеленое стылое небо... Менонитов просматривал сводки проделанных и оставшихся работ и удовлетворенно мычал: «А ведь дотянем. Но... берегись старикан, если Борискин не вывезет, берегись»...

Менонитов наглухо прикрыл дверь. Садиков включил вентилятор.

— Борискин, как? — Инженер был хмур. — Кого повесят — меня? Тебя?

— Меня, — бригадир отложил трубки. — Можешь готовить веревку.

— Не уберечься и мне. Я надавал столько обещаний, так скрутил себя...

— Меня, меня, ...если к утру не будет готова!

Всю ночь Борискин и Садиков возились с трубками в брюхе печки, испытывали ее на все отбросы и к утру добились своего — печка без разбору начала пожирать объедки пищи благородных машин. Утром, придя в кузницу, рабочие застали такую картину: красную печку, около нее всхрапывающих Борискина и Садикова, и вентилятор, выгоняющий тепло.

— Ну, перепились наши фокусники! — решили они и растолкали спящих.

— Здорово, дернули? Где вы раскопали эту барыню?

— Сделали.—Садиков воинственно поднял руки. — Тащи из красного уголка знамена, бери печку, нас бери на руки — и на площадь! Есть смычка, вот она! Чего буркалы пялите? Где, мол, те, обещанные, куда их? Здесь они, у нас с Борискиным в руках, и больше нигде нету!

Печка стояла у мостовиков, окруженная людьми, наконец, поверившими, что тепло существует и для них. Двери барака то и дело открывались, входили все новые люди, чтобы ухватить кусочек тепла, понюхать, как оно пахнет. — Закрывай, выстудишь! Кричали счастливые владельцы печки.

— Испугались! Без печки жили, с печкой замерзать собираются!— подтрунивали над ними. — Вам тепло вредно, разнежитесь!

Забежал Козинов, погрел руки, подержал над печкой свой заиндеве-

лый полушубок и проговорил: — Теперь, ребята, никакой бузы! Не сделаем, сорвем смычку — не будет нам пощады! — И пустился к Фомину.

— Грелся, здорово! — бормотал он, счастливо улыбаясь.

— Ну-ну, довольно! — оборвал Фомин. — Ты там регулируй, кто может подождать, а кто не может. Бригада кузнецов, слесарей и жестяников, организованная Садиковым, гнула ежедневно по нескольку десятков печек. Козинов и Широземов распределяли их, сообразуясь с жилищными условиями и настроениями людей...

Путь открыт

К вечеру ожидалась смычка рельсов. Северный укладочный городок находился в полутора километрах от Айна-Булака, южный — несколько дальше. С каждой минутой промежуток, отделяющий их, становился все меньше. Обе укладочные партии были захвачены духом соревнования. Вприпрыжку бежали разметчики. Карьером на разгоряченных лошадях подвозились шпалы. Рельсы сбрасывались с автоматической точностью: ритм работы за три года достиг музыкальной стройности, даже вдохи и выдохи людей были подчинены ему.

Тысячные кордоны пеших и конных окружали закрытый семафор и две триумфальные арки. Оркестр в медных трубах держал целое созвездие отраженных солнц. Знамена вздрагивали в руках знаменосцев, охваченных волнением: «Скоро ли, скоро ли? Кто первый?»

«Север» сбросил последние рельсы, последние костыли простонали под молотками, и поезд медленно, ощупывая колесами прочность пути, под крики торжествующих толп и рев меди вошел в триумфальную арку. Через несколько минут, не успели еще отыграть «Интернационал» подошел поезд «Юга», и семафор открыл пустыню для новой жизни...



Александр Ноздрин

Сбойка

(Отрывок из повести «Первая линия»)

В калотте[1] душно. Влажные испарения юрской глины издали были похожи на сизый дым табака, а маленькие электрические лампочки казались в них светящимися золотыми пауками. Влажная юра беззвучно лопалась, разрываемая воздухом, глыбы постепенно разрушались, превращаясь в липкую крупу. Лоб забоя крепили быстро, чтобы не дать ему уйти, разрушение лба грозило обвалом верхних слоев, над которыми всего в трех-четырех метрах лежал гигантский пласт плывуна. С юрой обходились осторожно. Эта смуглая красавица в доисторические времена была просто илом, а теперь, спресованная на-

---

[1] Часть свода тоннеля (при разработке так называемым австрийским способом, т. е. двумя штольнями — верхней и нижней).

слоениями земли, блестела серебром и золотом всевозможных ракушек и аммонитов. Часто попадались куски окаменелого дерева с золотым и стальным блеском сыпучего железняка. Мы двигались по дну какого-то моря ледникового периода.

В шахте были смельчаки, которые заигрывали с юрой, украдкой от сменных инженеров. Обыкновенно, когда крепили, выбирали юру с таким расчетом, чтобы можно было загнать одну доску. Смельчаки шли наперекор технике безопасности, выбирали для двух-трех досок. Для этого требовались быстрота и сила.

Вначале я соблюдал все мелочные предосторожности, но скоро увидел, что многое можно отбросить. Так, я не стал применять способ закладки доски вслед за подбойкой глины, а выдалбливал отверстие сразу для трех досок, а затем заправлял их, но делал это с такой быстротой, что удивлял бригаду. За шесть часов я закреплял кровлю во всю длину широкой веерообразной калотты.

Михаил Гаврилович, хотя и был доволен быстротой моей работы, часто предупреждал меня:

— Смотри, Андрюшка...

Я же действовал уверенно, я хорошо изучил юру и надеялся на свою силу и ловкость. Громыхин ставил меня в пример ребятам из других звеньев, и становилось неловко; когда об этом рассказывали при мне, я всегда с удовольствием показывал, как я работаю — всем, кто этим интересовался. За последние дни работа шла успешно, и мы заканчивали калотту не на седьмой день, а на шестой. Но когда мы приступили к последнему котловану, нам перестали подставлять под фурнель[1] вагоны. Десятник сообщил нам, что ствол № 1, по которому выкачивали породу с нашего участка, по приказу начальника шахты, закрепили за отдаленным вторым участком. Порожняк забирали туда, первый пользовался вторым стволом, а наш, третий участок, брал остаток вагонов. Я спустился в нижнюю штольню за порожняком. Бригадир-откатчик Басов Василий, постоянно улыбающийся, поблескивая желтой коронкой зуба, со всей своей бригадой скандалил у ствола, отнимал вагоны, доказывал до хрипоты свою правоту и звал во все горло Данилова. Данилов избегал встреч с Басовым, не желая, чтобы его беспокоили. Спустился начальник участка Александровский. Басов кинулся к нему, но тот угрюмо и молча прошел мимо.

— При такой работе только соревноваться! — прокричал ему вслед Басов, придерживая языком выпадающую коронку.

Я влез в кучу откатчиков и спиной погнал вагон по доскам к себе на участок. Я подкатил его под фурнель и крикнул:

— Ребята, грузите! — и снова побежал к стволу.

Порожняка пока не было, и откатчики всех трех участков стояли кучками, тяжело дыша, то враждебно, то с улыбками посматривая друг на друга. Девчата-откатчицы переругивались, поправляя береты и растрепанные в схватке прически.

---

[1] При проходке тоннеля параллельными штольнями фурнелью называется ствол, соединяющий верхнюю штольню с нижней (для ссыпки породы.)



Зенкевич—Станция метро перед открытием движения—Выставка «Индустрия социализма»

Стволовые отошли далеко от ствола и курили, рассказывая анекдоты. Сигналов долго не было, клеть стояла. Я просил стволовых, чтобы они поторопили работающих на поверхности, но мне не ответили, а когда я настойчиво повторил просьбу, выругали и отвернулись от меня. Я подошел к стволу и сам постучал железным прутом по трубке, по которой обычно переговариваются стволовые. Никто не отозвался на мой сигнал. Я постучал еще раз и громче, стволовые засмеялись:

— Интересный разговор.

— Послушались тебя, как же! Хватай порожняк, ребята!

Я стоял на плитах, чувствуя, как вода, которая бежала по плитам в яму—зумпф, наполняет мои сапоги, и еле сдерживался, чтобы не выругаться от гнева.

— Сколько же вы в час поднимаете вагонов? — сдержанно спросил я стволовых.

— Шестьдесят — семьдесят.

— А сколько можно?

— А мы почему знаем, не хронометражисты.

— Я бы на вашем месте дал... сто вагонов.

— Хо!?

— А что же! — подхватил Басов, — сто вагонов дать можно.

Сухопарый стволовой словно переломился от смеха.

— Сумасшедший! — воскликнул он.

Смеялся и другой стволовой.

Я отошел в сторону, раздумывая—не погорячился ли я. «Во всяком случае, надо испытать». В одном я был уверен, что на стволу внизу и наверху работают или лентяи, или равнодушные люди. Раздумывая об этом, я вернулся на верхнюю штольню.

«После работы напишу в газету свои соображения о работе ствола», — решил я.

В тот день Громыхин много суетился. Он вылезал из котлована, долго осматривал нижнюю часть закрепленного известнякового свода, шептал что-то, закуривал, снова брался за молоток. Когда я вернулся от ствола, его не было; потом он пришел с низкорослым, сутулым бригадиром Макаровым. Вдвоем они осмотрели своды и взяли кувалды. Громыхин сказал мне:

— Посматривай, как увидишь Данилова — скажешь.

Я уселся на корточки, а старики принялись вышибать боковое крепление.

— К чорту! — весело покрикивал проходчик, отдуваясь и поднимая сильным дыханием пышный рыжеватый ус.

Стойки ухнули и со звоном повалились в котлован. Упало верхнее, горизонтально лежащее бревно, а за ним посыпались доски. И когда все было разрушено, старики долго и безмолвно стояли, оглядывая своды, которые были освобождены теперь от лишнего крепления.

— Здорово! — тихо проговорил я, догадавшись, чем целый день был озадачен мой бригадир. Своды калотты могли держаться без удаленного крепления.

— Премировать тебя надо, — уверенно и спокойно сказал Макаров. Громыхин сел на гору породы, вытащил папиросы, но так и остался сидеть, свесив длинные громадные руки между колен.

— Тут, Макаров, не в премии дело, — промолвил он. — Время и лес — вот что дорого.

— Придет Александровский, он тебя так премирует, что мать родную забудешь, — громко, но неуверенно сказал Бубнов.

Ему не ответили.

Михаил Гаврилович, не глядя на него, продолжал:

— В Донбассе в твердых породах целые километры не крепят. А тут довольно и восьми штендеров[1].

---

[1] Стоек крепежных.

В середине дня пришел Данилов. Он сразу обратил внимание на отсутствие бокового крепления.

— В чем дело?

— Сделал опыт, — бодро ответил Громыхин и хотел было объяснять дальше, но Данилов грубо оборвал:

— За подобные опыты снимают с работы и отдают под суд. Немедленно закрепляй. Не вводи своих правил!

Он ушел, когда приступили к креплению.

— Ну... дьявол! — гневно воскликнул Громыхин.

Я успокаивал его, говоря, что Александровский посмотрит на дело иначе. Товарищи поддержали меня, лишь Бубнов повторял:

— Я же говорил! И Александровский то же скажет.

Перед сменой Данилов привел Александровского.

— Вот он, новатор!

Александровский вместо приветствия быстро проговорил:

— Семь дней калотту мучаете, как дворец строите. В чем тут у вас дело?

Громыхин стал объяснять. Серые глаза Александровского светились подозрительно и настороженно. Но вскоре недоверчивый огонек погас, и когда бригадир закончил, инженер внимательно посмотрел на него и сказал:

— Не плохо. Жаль, поставили лонгарины[1]. Но ничего, проверим на калотте у Макарова, — и, недружелюбно взглянув на Данилова, добавил: — Идемте.

— Кручин, сходи за запальщиком, — сказал мне Громыхин.

Я пошел вслед за инженерами.

Они несколько секунд шли молча. Как будто Александровский не знал, с чего начинать, а Данилов все более робел.

— Вы, разумеется, на них накричали, — заговорил начальник. Он вдруг повернулся к Данилову. — Скажите только, пожалуйста, откровенно: вы очень... сомневаетесь?

— В чем?

— В сроках и... вообще сильно не верите, что метро будет выстроено нами?

Данилов молчал, глядя в даль штольни.

— Так? Не верите?

— Я не говорю, что не верю, — резко ответил Данилов.

— Значит, думаете. Это еще хуже.

Данилов, потупя голову, хотел закурить, но руки его дрожали, и пальцы не могли ухватить папиросу. Они остановились. Мне стало интересно — я тоже остановился в тени крепления. Александровский взял у Данилова папиросу и закурил.

— Мне кажется, вы мало видите жизнь, Данилов, и не мечтаете. Нельзя же среди такой молодежи ходить с опущенным хвостом. Наступят! Жизнь — это, как поход. Упал воин — его горе. Плохо с вами, Данилов, на вас смотреть неприятно.

---

[1] Лонгарины — продольные деревянные крепления свода, поддерживаемые круглыми стойками — штендерами.

Данилов сломал папиросу и быстро взглянул на начальника.

—Вы, с вашим образованием, вы не можете быть… легкомысленны. Простите, может быть, я резок?

— Ничего, ничего. Валяйте. — Александровский был как будто спокоен. — Видите ли, Данилов, я бы хотел иметь у себя инженерами ловких и предприимчивых товарищей. Инженер, ставящий под сомнение вполне нормальный срок, а тем более, свои силы — лишний человек на Метрострое. Это надо сказать прямо и честно. Я вас уволю, как только подыщу заместителя. У меня иного выхода нет. — Передохнув, Александровский закончил: — Я помогал вам всем, чем мог, но вы, Данилов, странный человек. Вам тридцать лет, и такая с вами неприятность…

Александровский ушел. Данилов остался на месте, словно задумавшись над словами начальника.

Дальше задерживаться мне было нечего, и я полез в фурнель, почти весь погрузился в него, когда услышал окрик Данилова:

— Панкратов! Сергей! — звал он.

Панкратов был сменный инженер четвертого участка. Я невольно остановился, подумав, что сейчас между инженерами произойдет интересный разговор.

Я поднялся на две ступени и выглянул. Голова моя тонула в тени: я мог все видеть, оставаясь незамеченным. Заглядывая в лицо Данилову, улыбаясь всем своим большим утюгообразным лицом, Панкратов спросил:

— Хмуримся? — и засмеялся, дружески хлопая Данилова ладонью по плечу.

Данилов передал ему свой разговор с начальником участка. Панкратов живо сказал:

— Не робей! Благодари судьбу, что она так милостиво избавляет тебя от этого строительства. Все кончится очень грустно. Ты прав, мы этого дела не осилим. Наша техника молода, но мы самонадеянны и не желаем приглашать иностранные фирмы. Стыдно будет скандала, который разразится в техническом мире. Да и не один технический мир посмеется над нами. Что-то тогда запоет Александровский о патриотизме! Они хотят строить три свода вопреки возражению мистера Моргана. Какая чепуха. Этого не будет.

— Но боковые своды сооружают так, что средний свод должен быть выстроен.

— Должен, да не будет. Морган приехал не шутки шутить.

Панкратов снова весело рассмеялся. Меня бросило в жар. Мне страстно хотелось вылезти и схватить его за горло. Панкратов уверенно продолжал:

— Мы не обойдемся без помощи иностранцев. Все совершается так, как я думал: строительство зайдет в тупик, и правительство будет вынуждено обратиться к иностранным фирмам. А сколько было гонора и самоуверенности. Сколько лозунгов!

Они ушли, я вылез и вытер рукавом рубахи вспотевший лоб. Во рту было сухо, голова горела, сердце колотилось так звучно и часто, словно я без отдыха вылез из шахты по лестнице.

Когда я пришел с запальщиком, товарищи взваливали на плечи инструмент и собирались куда-то уходить.

— На новое место, Андрей, — невесело усмехаясь, сказал Громыхин, — работать некогда, только переходим с места на место.

Михаил Гаврилович получил приказание перейти в то место, где произошла авария, и закончить проходку остатка станционной штольни в десять дней.

— Навстречу нам идет бригада Снегирева, — заключил Громыхин, — ребята все молодые. По восемь метров на бригаду, — и Громыхин покосился на меня; я понял его, и сказал товарищам:

—Мы пройдем одиннадцать метров, а остальные Снегирев.Правда?

Пришли. Здесь все осталось без изменения после аварии в день моего боевого крещения. Лоб забоя освободили от досок, и тихая, затхлая штольня вновь огласилась грохотом молотков, свистом воздуха и веселыми криками. В конце рабочего дня появился Снегирев. Заложив за спину руки, он с усмешкой посмотрел на нас.

— Значит, соревнование? — проговорил он, глядя на Громыхина и ни к кому больше не обращаясь.

Михаил Гаврилович с улыбкой ответил:

— Мы тут же решили на этом, Федя.

— А мы и без соревнования от вас не отстанем.

— Отказываешься! — спросил я.

Снегирев взглянул на меня и, будто глубоко размышляя, ответил, медленно жестикулируя указательным пальцем:

— Для соревнования нужно, чтобы всем снабдили.

— Ну, к чорту! Это не соревнование. Соревнование работа культурная.

— «Культурная». На язык-то ты бойкий...

Какие они разные, эти два бригадира! Откуда у этого нашего соседа такое холодное отношение к работе? Ведь не одни же варварские методы со всеми этими: «раз-два-взяли!», «еще раз!», «подняли!», «подхватывай!» — у нас в ходу.

Снегирев ушел, не приняв нашего вызова.

— Аристократ, — пробормотал Громыхин, и его густые белые брови, как два облака, опустились вниз.

Вечером в общежитии мы снова спорили со Снегиревым. Снегиреву все надоело, он повернулся к нам спиной и взял книгу. Я увидел, что это был учебник немецкого языка, и спросил у Снегирева, куда он готовится. Не поворачиваясь, он нехотя ответил мне:

— Для себя.

...Я угадал, мы прошли одиннадцать метров и двадцать сантиметров. Сбойка (встреча) двух бригад произошла в середине дня.

Между частыми ударами своего молотка я весь день слышал глухой грохот молотков по ту сторону черного слоя юрской глины. Я поднял молоток выше к кровле нажал на него всем телом, и вдруг молоток мой смолк и свободно вошел в пустоту, а я потерял равновесие и упал лицом на юру.

— Пробили! — крикнул я, оборачиваясь к товарищам. Рука моя

с молотком находилась по ту сторону, и кто-то уже пожимал ее и старался отнять молоток.

Все полезли ко мне на деревянный настил. Вдруг перед моим лицом юра зашевелилась и, рассыпаясь, пропустила острый, ясный зубок. Я отклонился, зубок прошел, коснувшись моей щеки, тогда я вырвал свой молоток и стал расширять узкую дыру, сквозь которую уже сочился электрический свет встречных лампочек. Наконец, дыра увеличилась настолько, что можно было просунуть голову. Я хотел нырнуть в отверстие, но вдруг столкнулся с чьим-то белым потным лбом. Мы отшатнулись, с любопытством разглядывая друг друга.

Я увидел лицо девушки. Кто-то из товарищей поднес лампочку к самой дыре. Лицо у девушки было розовое, потное и запачканное юрой, черные волосы выбились из-под синего берета и нависали над белым выпуклым лбом путаным хмелем. Глаза были большие с необычайно широкими зрачками. Я схватил ее протянутую руку и вскрикнул:

— Ольга! Белокурова?

Девушка позабыла пожать мне руку и, видимо, пыталась вспомнить, где она меня видела.

Но я был так вымазан глиной... и только когда я звонко засмеялся, она, должно быть, вспомнила свой завод, отдаленный цех и меня у станка.

— И ты здесь! — воскликнула она, боясь назвать меня по имени, чтобы не ошибиться. — Когда пришел?

— Двадцать дней работаю.

— Двадцать дней и не встречались!

— Ты не жалеешь, что работаешь здесь?

Глаза ее заискрились.

— Ты же видишь, какие здесь цеха! Они меняются с каждым днем. Нет, я даже не жалею, что пришлось отложить свой химический институт. Прости меня, но я хочу узнать, как тебя зовут.

— Ой, Ольга, — с упреком ответил я, и она покраснела.

Нас растащили, в дыру полезли новые головы, ребята кричали, смеялись и пожимали друг другу руки.

— Америка соединилась с Россией! — кричал Митька.

Какой-то большеголовый человек молча просунул в дыру свое рыжебородое татарское лицо и черную сильную ладонь. Огляделся.

— Бригадир где? — потребовал он.

Михаилу Гавриловичу уступили место. Он пожал татарину руку и сказал:

— Здорово, Хапиза.

— Ваша победила, — сказал татарин. — Вы хорошо работал — мы плохо работал. Вы пропечатаетесь — как герои, мы — как лодырь.

— А штольня все-таки пройдена, — смеясь сказал Громыхин и зажег две папиросы. Одну он всунул в рот Хапизы.

— Спасибо, — сказал Хапиза.

— Закурили трубку мира, — объявил Митька.

— Начнем работать? — спросил Михаил Гаврилович, и Хапиза ответил:

— Давай работать.

И снова загрохотали молотками.

* *

Место сбойки[1] нужно было закрепить быстро. Мы разгружали молотками тугой слой юрской глины и отбрасывали ее назад. Кучи породы вырастали за нами. Становилось жарко и тесно. Я сбросил с себя майку. Пот заливал мне глаза, длинные волосы щекотали их. Волосы мне мешали работать всегда, но они нравились девушкам, и я не решался остричь их.

Вдруг кто-то сзади налетел на меня и чуть не сбил. Я обернулся. Яркий свет ручного аккумулятора ударил мне в глаза. Незнакомые мне люди в новых спецовках и комбинезонах перелезали через кучи юры и толкали нас. Я разозлился и крикнул:

— Какого чорта шляются здесь!.. Музей вам тут...

— Тише, тише, молодая гвардия, — прервал меня тучный человек. Он скатился ко мне и, вытирая потное круглое распаренное лицо и седую голову огромным красным платком, похлопал меня по спине.

Это был помощник начальника строительства метро Абакумов, которого я еще не знал. В ответ я приподнялся и в досаде махнул рукой. И она вдруг очутилась в теплой сильной ладони. Руку мою пожимал Лазарь Моисеевич Каганович.

Он стоял на коленях, видимо, только что скатившись следом за Абакумовым. Из-под широкополой шляпы сияли на меня большие, ласковые и спокойные глаза.

Я рассмеялся и крепко пожал ему руку.

— Вот и помирились! — весело воскликнул Абакумов.

Мы бросили работать и пошли следом за Кагановичем. Он оглянулся и шутя покачал головой. Что он мог сказать нам? Чтобы мы вернулись на свои места? Но разве он не знает нас, свою молодежь?

По пути попадались кучи неубранной породы.

Освещая путь аккумуляторами, один за другим, кряхтя и посмеиваясь, перелезали через них на четверенках.

— Почти все бригады работают на расширении станционных калотт, — объяснил один. — На этих днях перегонный тоннель отойдет к девятнадцатой шахте, тогда работы будут исключительно здесь.

Лазарь Моисеевич, сдвинув брови, резко ответил:

— Решение о передаче было вынесено пять дней тому назад. Медлите. Товарищ Абакумов, пошевелите своих работников.

Каганович шел устало. Иногда он останавливался под расщепленным креплением, замечал, что не поставлены добавочные рамы.

Перелезали последнюю кучу. Яркий свет прожектора, звон молотков и перфораторов, крики людей — густо хлынули нам навстречу.

...В верхнюю штольню второго участка собирались все бригады. Шли проходчики, откатчики, инженеры, десятники, лезли со всех фурнелей, торопясь, подталкивая друг друга. Всем хотелось перекинуться словечком, посоветоваться с Кагановичем и, наконец, просто посмот-

[1] Сбойка — соединение встречных штолен тоннеля.

реть на почетного метростроевца. Стало трудно передвигаться, и Лазарь Моисеевич остановился под двумя забетонированными частями сводов, освобожденными от леса и мусора. Он повернулся лицом к рабочим и стал внимательно всматриваться в их возбужденные лица. Потом жестом остановил шум.

— Ну, давайте побеседуем.

Молчаливо, расталкивая всех мощными плечами, протиснулся старый, огромного роста, татарин. Это был уже знакомый мне Хапиза. Он смотрел на Лазаря Моисеевича и тягуче улыбался. Он остановился перед ним, потоптался, потом снял мокрую шляпу, оглядываясь провел широкой ладонью по рыжеватой бороде.

— А ну, валяй, Хапиза, — крикнул кто-то.

— Товарищ Каганович, — заговорил Хапиза, торопясь и спотыкаясь на каждом слое. — Наш хочет домой, наш больше работать не хочет. Колхоз надо ехать.

— Что же случилось, товарищ Хапиза? — спросил Лазарь Моисеевич, подвигаясь к нему.

— Работать очень плоха, — он поднял ногу; из разорванного сапога выглядывала грязная портянка: — сапог худой, нога с водой и нога болит. Очень, очень дела плоха. Хочу колхоз, а начальник Лесандровский не пускает, — он указал на Александровского.

Глаза инженера грустно улыбались. Хапиза продолжал:

— Я прогул делал один-два раза, а он не пускал. «Потерпи, потерпи», говорит.

Рабочие рассмеялись! Хапиза остановился, передохнул и, смущенно улыбаясь, стал ждать ответа.

— Это плохо, что прогулы делаешь, — проговорил Лазарь Моисеевич. В шахте стало очень тихо. — Когда тебе было в колхозе трудно, ты не выходил на работу?

Хапиза покраснел, но ответил:

— Колхоз я работал харашо. Там я получал харашо, а в шахте плохо получал, а работал харашо. Мне спесовка нужна. В шахте етер...

— Разве тебе новую не выдавали? — спросил начальник шахты Ушаков.

— Я получал, а другой день мне дали плохой спесовка. Я в Татарии человек был, а Москва дал плахой хата и плахой постель.

Он остановился и пробормотал еще что-то невнятное.

Лазарь Моисеевич ласково кивнул ему головой, ободряя его.

— Очень хорошо, что ты сказал мне обо всем... Не печалься, товарищ Хапиза, спецовка у тебя будет и сапоги и зарплата хорошая. Ты только не уходи и хорошо работай. Ты нам очень нужен.

Хапиза покраснел от удовольствия и горячо ответил:

— Порожняк нам многа нада. Вся штольня одна-другая полна народа. Очень много нада вагон! Я и комсомол все погрузим. Станции скорей может заработать. Лопата нада хорошая, ручка хорошая — скорей вагон полон будет. Можно очень много денег заработать.

Лицо татарина расплылось в доброй улыбке, узкие глаза пропали в сомкнутых белых ресницах.

— Ладна. Обещал, секретарь? Не будет вагон — станция долга не будет. Товарищу Сталину на тебя пожалуюсь.

И он засмеялся.

Покачиваясь, он пошел обратно, и рабочие хлопали его по громадной спине. Лазарь Моисеевич с улыбкой посмотрел на всех. Вокруг стояла одна молодежь: девушки и парни. Стариков здесь было так же мало, как старых дубов в молодом лесу.

— Товарищ Александровский, — обратился Лазарь Моисеевич к инженеру, — что такое у вас с порожняком?

— Порожняку, действительно, мало. Ни один ствол за моим участком не закреплен, отсюда и нет резерва вагонов.

— Вагонов и так может хватить, — громко сказал я. — Надо только почаще гонять клеть. На стволу работают недобросовестные ребята.

Лазарь Моисеевич одобрительно закивал головой:

— Что ты предлагаешь, товарищ?

— Предлагаю сделать стволы комсомольскими.

Рабочие одобрительно зашумели.

— Стало быть, главное — в людях, товарищи?

— Ясно, Лазарь Моисеевич!

Лазарь Моисеевич живо подхватил:

— Эти люди — ваши товарищи. В ваших руках инициатива. Будьте хорошими хозяевами. С плохими рабочими вы знаете, как надо поступать — вас этому мне не учить.

Я вышел вперед и громко спросил Кагановича:

Лазарь Моисеевич, а правда, что Морган возражает против третьего свода на нашей станции?

Каганович усмехнулся и ответил:

— А вы помните, как в первые годы революции Европа возражала против Советской России?

Мы рассмеялись.

★

Д. Касимов

Маска сорвана

(Отрывок из повести «Семафор открыт»)

Днем прокопченные недра депо кажутся мрачными. Ночью, наоборот, депо сияло огнями.

В стороне от станции, от больших маневров и посадки, здесь было тихо. Только в конторе дежурного, приютившейся в заброшенном вагонном кузове, тренькал телефон, и кто-то сердитым басом кричал в трубку:

— Сказал — и баста! На плечах не перенесу.

Рывком повесив трубку на рычаг, человек заговорил с кем-то,

невидимым через окно, отчего казалось, что разговаривает он сам с собой.

— Каждую минуту звонит! Вот надоел! Ну и диспетчер.

Потом все - таки открыл окно и крикнул в сторону поворотного круга, на котором медленно вращался паровоз.

— Ну, повертывайтесь там! Уснули.

Самро[1] открыл скрипучую, на блоке, дверь в депо. В глаза ударило ярким светом. Мастерские работали при полной энергии: включены все настенные и потолочные лампы.

В стойлах мрачнели три паровоза. Дымогарные трубы были вынуты, вода спущена, дышла разобраны, и один паровоз был даже отделен от скатов: приподнятый на домкратах, неуклюже раскорячился он над канавой.

Вдоль стен — скупое разнообразие станков. Над ними — рабочие в серых промасленных спецовках. На вошедшего никто не обратил внимания. Каждый был занят своим делом.

Самро остановился у токарного станка.

— Стоят? — заговорил он с рабочим, указывая на паровозы.

— Стоят, — равнодушно ответил тот.

— А это что такое?

— Это, надо быть, втулка для колес, — снисходительно объяснил рабочий.

— Вижу, что втулка. Вижу и то, что она не паровозная, а для «форда». Где наряд?

Рабочий внимательно взглянул на него. Кепка, плащ, незнакомое лицо, а спрашивает как начальник. Ответил ворчливо:

— Надо быть, у мастера наряд. Где ж еще?

— Как же вы так работаете?

— Так вот и работаем! — отвернулся тот.

Самро обошел все станки и ни одной детали, годной для паровозов, не нашел. Коленчатый вал, замок центральной стрелки, плашки неизвестного назначения... А паровозы стоят. Самро пытался расспрашивать людей, и все, как сговорившись, отсылали к мастеру.

«Заколдованный круг какой-то»,—подумал Самро. Он вернулся к старику на крайнем станке.

— Как же так, папаша, получается, а?

— Так вот и получается. А тебе, собственно, что? —отозвался токарь.

— Политотдел я.

— Политотдел? — кашлянул в руку старик. —Ну, это нас не касается. У нас мастер — самый главный начальник. — Он еще раз кашлянул и тихо добавил: — на базар, милый, работаем, на сторону. Вот и разберись тут, — и снова углубился в детали, отвернувшись от Самро.

Тот видел, что старик знает многое, хочет сказать, но никак не соберется с силами. Самро продолжал настойчиво:

— Не пойму я что-то, папаша.

---

[1] Начальник политотдела.

— Говорю тебе: двадцать паровозов выпускаем! — повысив голос, выкрикнул старик. — Ударной бригадой работаем.

Самро, не поняв маневра, отшатнулся от неожиданности, но токарь сам к нему нагнулся и продолжал тихо:

— Об этой федоровской шайке-лейке знать ничего не знаю, так и запомни. Меня не пугай. Я тебя не видал, и ты меня тоже. Ничего я тебе не говорил, распутывай сам. Понял? Так вот! — и опять прикрикнул: — Ну, что боком встал, свет застишь? Работу кончать надо.

Самро на этот раз отошел. Снова он походил вокруг потушенных паровозов, решая про себя, что ему предпринять. Зашел к дежурному по депо, поинтересовался суточной выработкой, записал количество больных паровозов, их номера.

— Что у вас в токарно-механической делают ночью?

— Сверхурочники, — пояснил дежурный. — Работают каждую ночь, чтобы подогнать ремонт машин.

«Как у них все шито-крыто! Никто друг друга не выдаст. Дежурный, может быть, и не знает, а сходить проверить не догадается. Мастер предоставлен самому себе, орудует, как захочет. Может быть, он там адские машины изготовляет, а сведения дает, что паровозы чинит. И кругом верят бумажкам, повторяют, как попугаи, без проверки. Что ж это такое? Куда я попал?» — почти испугался Самро своих мыслей.

От дежурного он снова вернулся к старику.

— Хотел спросить тебя, папаша, далеко ли живешь? Зашел бы ко мне, или я к тебе загляну.

Токарь колебался.

— Это на третьем этаже, что ли?

— Да, да.

— Как ты назвал фамилию-то? Самро, что ли? Так это ты Антропова выручал[1], — неожиданно вспомнил старик. — Ладно, зайду после смены. Да, надо быть, спать будешь в это время, в шесть утра?

— Нет, не буду! — коротко ответил Самро и скрылся в черном провале двери.

В прокуренном, необжитом кабинете ночь казалась продолжением дня. Вот-вот откроются двери, набьются сюда люди, затрещат за перегородкой машинки, и странно как-то чувствовать себя здесь отдыхающим на диване. Самро потушил свет. За последние пять-шесть дней он устал, но уснуть все же не мог. Как туго накрученной пружине, нужно было ему раскрутиться до конца, чтобы притти в состояние покоя. Хотелось немедленно раскопать, наладить, убрать чуждых, найти себе надежных людей.

«Антропов — раз, «папаша» — два. Недурно для первых же дней! Завтра же собрать актив, действовать по горячим следам», — планировал он, ворочаясь с боку на бок и не замечая, как тает темнота в комнате.

---

[1] Антропов — передовой машинист, отказавшийся принять неисправную машину, несмотря на приказ начальника депо. Самро поддержал машиниста.

Уже лиловый рассвет просочился через окно, когда Самро вздремнул. В дверь постучали. Пришел «папаша» — токарь депо Семен Петрович Кудрявцев.

Самро больше часа беседовал с Кудрявцевым. «Папаша» устало моргал покрасневшими от бессонницы веками. Старика надо было отпустить на отдых, но то, о чем он рассказывал, заставляло Самро забыть обо всем остальном.

Самро даже позвонил в ячейку, чтобы поговорить с секретарем Болотновым, забыв, что шесть утра, час самого сладкого отдыха для многих людей. Отдых... Какой тут к чорту отдых, когда в депо творятся такие дела! Он звонит снова и просит квартиру секретаря.

Болотнов долго не подходит к телефону.

— Как ты сказал? О «федоровщине»? — кричит он в трубку. — Хорошо. Зайду часов в одиннадцать. Сейчас же? Можно и сейчас же, только оденусь, а то, знаешь, голый...Ха-ха! Иду.

Секретаря ячейки Болотнова прозвали «страшный суд» за способность произносить обвинительные речи по любому поводу. Впервые это прозвище дали ему, когда машинист Толчанов расплавил в пути подшипники и задержал на десять минут поезд. Случай разбирался на производственном совещании, и там спорили, мог ли машинист не расплавить подшипников и не сорвать расписания. Все обстоятельства говорили за то, что машинистом Толчановым проявлена халатность.

Тогда-то и выступил Болотнов. На протяжении двадцати минут он распространялся о том, с какими трудностями восстанавливался транспорт.

— И вот находятся типы, которые продолжают вставлять нам палки в колеса. Ведь так можно расплавить не только подшипники, но и... весь социалистический транспорт! Сжег сначала один социалистический паровоз, потом другой, не считая, сколько от этого терпит советская власть в целом. Сжигая подшипники, машинист сжигает советскую власть.

Производственное совещание кончилось. Толчанов выждал, когда Болотнов остался один, и подошел к нему.

— Раз такое дело, что я стал врагом советской власти, пойду под поезд ложиться. Возьми мой билет.

— Минуточку! — взял его под руку Болотнов. — Для меня важен был не ты, а важно, что двести человек сделают для себя выводы. Расстраиваться тут нечего. — Он проводил машиниста до самого дома, доказывая, что обижаться не приходится

Многие ценили в Болотнове эту непримиримость.

Самро с Болотновым решили созвать через два дня собрание с докладом Боровика[1] о положении в депо.

Объявление об этом было скромно напечатано на машинке, но от этого клочка бумаги по всей станции расходились большие круги волнений и кривотолков. Каждый пытался догадаться, объяснить, почему так внезапно поставлен доклад Боровика.

Болотнов на все вопросы таинственно молчал или бросал загадоч-

[1] Начальник депо.

ные реплики, вроде: «В тылу обнаружен враг», или: «Не всякому верь».

Он был очень расстроен, настолько расстроен, что когда к нему на собрании подошел мастер Федоров, он спрятал руки за спину и, не отвечая на приветствие, перешел на другое место.

Федоров с усмешкой передернул плечами и непринужденно сел на ближайший стул, исподтишка наблюдая, заметили ли соседи эту немую сцену с секретарем и как они на это реагируют.

Лично его этот поступок не столько оскорбил, сколько встревожил. Он жадно начал слушать Боровика. Голос начальника басистый, уверенный, успокоил его.

Боровик говорил только о хорошем в своей работе. По его докладу выходило, что в депо «все в порядке», а если и есть где-нибудь непорядок, поскольку он взялся за это дело, завтра же будет все в порядке.

Самро, слушая его, вспомнил место из постановления ЦК о политотделах, где говорится о близорукости и трусливом замазывании недостатков. Сейчас он видел перед собой конкретный случай подобного замазывания и боязни самокритики. «Шума и хвастовства об овладении техникой много, а подлинного овладения техникой еще нет». Не к Боровику ли персонально относятся и эти слова постановления?

Партийный облик начальника депо теперь прояснился совершенно, и Самро решил набросать свое выступление на бумаге. Первое выступление должно быть строго взвешено, продумано. Нужно рассчитать удар, чтобы он пришелся наверняка.

Федоров слушал доклад Боровика с большим удовлетворением. Его восторгало уменье начальника управлять цифрами, плести из них плотную сетку, через которую не разглядеть истинного положения дел.

Все тревоги и страхи мастера утихли. Он заулыбался благодушно. Вынув расческу, он поправил и без того гладкие волосы. «Надо просить перевода отсюда подальше, пока «все в порядке», — решил он для себя и тут же начал обдумывать детали этого решения. —Подам заявление завтра же».

Сбивая щелчками пушинки с рукава и мысленно переселяясь на другую станцию, он вдруг услышал заявление председателя:

— Слово для содоклада имеет товарищ Болотнов.

Он попрежнему еще сбивал пушинки с рукава, но тревога его все росла.

«Опоздал, — убедился Федоров после первых же слов Болотнова.— Опоздал выпрыгнуть отсюда».

Как из тумана, доносились до него слова докладчика:

— Мы думали, что депо находится в честных руках партийца и хорошего работника. Мы ошибались, товарищи. После того, что выяснилось, я не ручаюсь, что Федоров не окажется вредителем и белобандитом.

На Федорова оглядывались. Он принял позу еще более непринужденную: откинулся на спинку стула, нога на ногу и в зубах папироса.

Самро первый раз слышал выступление Болотнова и был недоволен

выбором содокладчика. К чему эти жесты и интонации? «Короче и побольше фактов»,—начертил он крупно на записке и подсунул ее содокладчику.

Болотнов с удивлением посмотрел на Самро. «Неужели громовая моя речь может не нравиться? Я же всесторонне освещаю факты?!».

После паузы он продолжал потускневшим голосом:

— Несмотря на угрожающий прорыв, мастерские депо до сих пор загружены посторонними заказами. И это делалось в то время, когда паровозы подавались под составы неисправными, когда депо не справлялось ни с капитальным, ни с текущим ремонтом. Как мы должны квалифицировать такое руководство? — Это хозяйственный бандитизм, товарищи!

«Ишь, какого страшного чорта малюет! — думал в это время Федоров. — Пугай больше, мне же легче отбиваться будет. От бандитизма как-нибудь отгребемся».

Вдруг спина его покрылась холодной испариной. Он вспомнил, что дома, в письменном столе, хранятся старые накладные, по которым получены и лично им израсходованы деньги. Накладные не проведены по книгам (он не проводил по книгам частные заказы). О деньгах, присвоенных, никто не узнает, если не найдут у него этих документов.

«А , может быть, уже нашли? Без меня сделали обыск — и нашли? Что делать? Бежать сейчас же, уничтожить их, пока не поздно! А может быть поздно?».

Начались прения. Особенно резко говорил Антропов. Он знал, когда и с какими неисправностями получали машинисты паровозы, когда в мастерских чинились замки централизованных стрелок, сколько материала было затрачено на мотоцикл Боровика, и многое другое.

— Что же ты раньше молчал? — выкрикнул Болотнов, которому все эти разоблачения проделок Федорова казались относящимися лично к нему, секретарю ячейки.

— Говорил я, не раз говорил.

Болотнов вспомнил, что Антропов действительно говорил об этом и раньше, но Федорова все считали хорошим партийцем. Федоров активно посещал собрания, был политически достаточно «подкован» и о каждом вопросе высказывался по-деловому. Это все заставляло принимать разговоры Антропова и других за склоку и недовольство личного порядка.

Яркая лампа плавала в облаках табачного дыма, хотя в комнате было запрещено курить. Самро вел собрание стоя, стараясь видеть всех, нарочно не сдерживая разгоревшихся страстей. Он удивлялся спокойствию Федорова: «Что он — опытный плут или, как молодой зверь, не подозревает опасности, принюхиваясь к ружейному дулу?»

К Федорову сбоку подсел Боровик.

— Что ж ты, негодяй, наделал? Признавайся. Слышал, как кроют!

Федоров сначала отшатнулся, посмотрел на него дикими глазами, потом с достоинством ответил:

— Неужели вы верите всем этим бредням, товарищ начальник?

Антропов давно на меня зубы точит: я три раза его паровоз браковал. Антропову не привыкать очки втирать, за это и премии получал. Пусть расследуют, я не боюсь.

— Ну, тогда выйди и скажи вслух!

— И скажу!

— Потише, — бросил в их сторону Самро.

— Прекратить курение! — в тон ему выкрикнул Ялович[1]. Самро глянул на толстого, красного Яловича и улыбнулся. Беспокойно и вопросительно озираясь, тот отдувался, словно на него навалили непомерную тяжесть или только что выкупали в горячей ванне...

Отдуваться Яловичу было от чего.

Депо находилось у него под боком. Оно никогда не выходило из прорыва. Ялович привык к этому и поверил Боровику, что без нового оборудования положение спасти нельзя. Оказывается дело совсем не в оборудовании. Он прозевал, и, если сейчас никто еще не называл его фамилии, то в другом месте ее назовут.

Ялович сначала надеялся, что факты о Федорове не подтвердятся (тогда Самро узнает, что значит работать на транспорте), но чем дальше шло собрание, тем меньше оставалось этой надежды.

Надо было спасать свою репутацию. Но как? Выступить? Что ж он будет говорить? Ругать Федорова, Боровика, а о себе что скажет: почему прохлопал?

Пока что он переслал записку Самро:

«Крепко ты их взял в работу. Молодец! Я давно собирался их прижать».

Самро неторопливо прочитал записку и только передернул плечами в ответ.

— Продолжай, продолжай! — подбодрил он Антропова, отмахиваясь от новой записки, которую секретарь настойчиво ему подсунул. Развернув записку, Самро узнал почерк жены, Зины.

«Приехала. Вот не во-время!».

Самро оторвал клочок от блокнота и написал:

«Зина, милая! Подожди немного. Скоро закончим».

Приезд Зины был заранее условлен, только в хлопотах он забыл об этом и не встретил жены.

А Зина ждала этой встречи. Чем ближе подъезжал поезд, тем больше она волновалась:

«Сейчас увижу, Встретит...обрадуется».

Жадными глазами искала она мужа среди встречающих. Не нашла родного лица. Чемодан сразу стал тяжелым. Губы капризно оттопырились.

«Всыплю за это! Знает, что нельзя мне поднимать тяжести».

Около кабинета поняла причину, смягчилась, но все же записка ее огорчила. «Хотя бы на минуточку выглянул!». Она скромно уселась на ближайшую скамейку, и, облокотясь на чемодан, заскучала.

Из-за непритворенной плотно двери к ней доносились обрывки фраз:

---

[1] Начальник отделения (б. района).

— Немедленно взять под стражу!.

— С кем я работать буду. Оголите важный участок. У меня план.

— Расстроился. Дайте ему воды.

— Не укачивайте, — не ребенок.

— Арестовать за растрату!

Не столько с дороги, сколько от несостоявшейся встречи с мужем, она почувствовала себя очень усталой. Кружилась голова, хотелось вытянуть ноги вдоль скамьи, но мимо проходило много народу, и на нее с любопытством посматривали.

«Скорей бы шел Евгений», — затосковала она и обрадовалась, когда через дверь услышала его голос. В наступившей тишине собрания голос Самро был особенно четок. Зина насторожилась.

Самро заканчивал говорить:

— В президиум поступило заявление о прекращении прений. Резолюция имеется короткая: «Дело Федорова передать следственным органам». Голосую. Принято при шести воздержавшихся. «Против» нет.

— Одно слово, товарищи! — как бы перебивая Самро, выкрикнул Федоров, пробираясь в передние ряды.

— Кончено.

— Не давать!

— Пусть Федоров скажет! — снова всколыхнулись выкрики.

Самро решительно заявил:

— В порядке дисциплины напомним товарищу Федорову, что выступать надо во-время, однако, ввиду исключительных обстоятельств, дадим ему говорить.

— Вот именно — «ввиду исключительных обстоятельств».

Он встал около стола, сделал паузу и тихо начал:

— Мы все, товарищи — и вы, и я — с нетерпением ждали работы политотдела. Каждый думал — придут, помогут в работе, разрешат трудности.

— По существу говори! — выкрикнул кто-то.

— Минуточку терпенья. Я вас два часа слушал, слушал, как дискредитировали партийца, работника, который десять лет на ответственной работе. Обзывали меня даже бандитом. Здесь я всего год, но с прежних мест у меня прекрасные отзывы.

Федоров говорил очень спокойно и внушительно. Казалось, он сам любовался своим баритоном. Болотнов вспомнил, что так же, рисуясь, мастер рассказывал ему о своем революционном прошлом.

...В девятьсот пятом году Федоров отбывал воинскую повинность в черноморском флоте на броненосце «Синоп». Когда броненосец «Потемкин» отважно поднял красный вымпел, команда «Синопа» тоже отказалась есть гнилые сухари. Команду выстроили с угрозой, что если зачинщики и смутьяны не будут выданы, то расстреляют в строю каждого десятого. Напряженное молчание встретило эту угрозу. Такую тишину трудно даже представить, когда сотни людей стоят, как статуи, боясь шевельнуться, как будто малейшее движение может стать предательством.

Командир броненосца ждал, вглядываясь в каждого, но встречал лишь деревянные лица, ту вышколенную маску, которая называется:

«Ешь глазами свое начальство». Это заученное выражение лица в данный момент, как броня, защищала от начальства все переживания подчиненных.

Тогда командир отдал команду: «По порядку номеров рассчитайсь!» Пересчитывались. Только у некоторых десятых дрогнул голос, словно хрупнуло что-то, надорвалось в горле, и соседним номерам казалось, что они слышат стон расстрелянного товарища.

— С тех пор я и стал большевиком, — обычно заканчивал Федоров, хотя в партийном билете у него стояло: год вступления — 1927, а служивший с ним в 1905 году на корабле односельчанин писал своей матери:

«Какой же Васька Федоров счастливый! Он дежурил в машинном отделении, когда нас выстроили, и ничего не видал, а мне пришлось пережить страху, прямо дрожал весь, как студень, когда в него пыряют ножом, да, видно, ты за меня, маманя, молилась, и все обошлось благополучно. Только товарищей жалко, как родных, за всех за нас они погибли».

И письмо и односельчанин затерялись в неизвестности. Федорову ничто не мешало рассказывать события по-своему. Даже сейчас в свою речь ввернул он об этом. Отпив из стакана и обтерев пышные усы, он продолжал;

— Я бывал и не в таких переделках. Когда нас выстроили на «Синопе», смело глянул я смерти в глаза. Я готов был умереть за свободу и чисто случайно оказался девятым вместо десятого, назначенного на расстрел. После этого мне, конечно, никакие страхи не страшны, тем более, что я...действия политотдела могу обжаловать в ЦК. Политотдел возглавил склоку против меня, занялся травлей работников. В порядке дисциплины напомним также товарищу Самро, что он не понял задачи политотдела на транспорте.

Несколько голосов уговаривали председателя:

— Призови к порядку!

Но Самро внимательно слушал. Во весь рост перед ним встал Федоров, хорошо маскирующийся враг. Даже в том, что он говорил после резолюции, как бы игнорируя ее, был маневр. У Федорова — коренастая фигура крепыша. На востроносом лице густые брови нависли над узкими прорезами глаз. Выдающийся вперед подбородок, покрытый быстро прорастающей щетиной, заставлял думать, что усы и волосы Федоров перекрасил в черный цвет. Было что-то востренькое и пронырливое во всей его повадке.

Самро видел, как менялось настроение собрания. Около Антропова люди слушали Федорова с возмущением, но находились и такие, которые довольно улыбались.

— Товарищи, прекратим, наконец, эту шарманку! — не вытерпел Антропов. — Резолюция принята, волчьи слезы дела не изменят. Надо уважать себя. Давай, товарищ Самро, закрывай.

Федоров выжидал, продолжать ему или нет. Была в нем уверенность, что обязательно заставят подождать. Группа Антропова уже толпилась у дверей. Остальные молчали. Тогда Самро в упор поставил вопрос:

— Товарищ Федоров. Есть у тебя, чем опровергнуть факты, тогда будем слушать.

Федоров, стоя спиной к председателю и не потрудившись к нему повернуться, заявил:

— Факты я опровергну, где следует.

— Собрание закрыто! — прокричал Самро.

В открытую дверь хлынули люди, и, со звоном бросив колокольчик, Самро заторопился к дверям.

Обгоняя Федорова, он услышал его ворчание:

— Голоса лишили, не дали говорить.

Радостно схватил Зину за обе руки.

— Ну, как доехала. Устала? — и не давая ответить, продолжал:— Подожди минуточку, я сейчас, — и снова умчался по коридору.

Вернулся скоро. Схватил чемодан, повел жену, рассказывая, что квартиры у него нет и временно придется остановиться в общежитии кондукторских бригад.

— Понимаешь, какая у них здесь постановочка! Разукрасили мне хоромы школьными красками. Я, конечно, не мог взять. Еще греть надо за это дело.

Зина поддакивала, не понимая хорошенько, в чем дело, потому что муж торопился сразу рассказать и о строительстве, и о депо, и об Яловиче.

Он притащил в жестяном чайнике кипятку. Привкус жести напомнил Зине фронт, костры, теплушки, и даже в том, как муж с жадностью обгладывал крыло курятины и обжигался чаем, было что-то фронтовое, из далеких воспоминаний.

— Зина, ты отдыхай, а я сбегаю на полчасика, — чмокнул он ее стремительно, и через секунду его шаги уже загремели по лестнице.

У Зины сразу пропал аппетит. Она стала осматриваться на новосельи. Комната узкая, с серо-голубыми панелями и двумя кроватями вдоль стен. Окно, небольшое, выходило в сад. В прорези веток просвечивали сигнальные огни стрелок. Ветки качались, и огни мигали, как звезды. Порой в открытое окно врывался ветер и ворошил обрывки газет на столе. В этих мелочах чувствовалась Зине особая какая-то тревожность. За последние дни она полюбила покой, уют и теперь страдала от неустроенности.

Надо было убрать объедки, застелить постели, и в то же время усталость, похожая на болезненную расслабленность, сковывала ее.

Так просидела она в полудремоте на стуле, пока не вернулся муж.

Он шумно двигался по комнате, снова пил чай и рассказывал:

— Устала, Зинка? Ну ложись, я сейчас... Ты знаешь, я здесь на большое дело напоролся. Схватил сразу близко к корню. Колючки попались, руки, пожалуй, поцарапаю, но выдерну, обязательно выдерну.

Он действительно, смеясь, глянул на свои руки и, посерьезнев, продолжал:

— На транспорте главное — быстрота, оперативность. Транспорт — это все: оборона, промышленность, земледелие. Подорвать транспорт — значит, подорвать все.

Он кончил закусывать и прилег тоже, не раздеваясь, и продолжал рассказывать:

— Ты знаешь, что тут было? Содом какой-то! Сидели люди друг на дружке. Да, да! В техническом бюро в комнате на двадцать два метра за пятью столами работало семнадцать человек. И все — техники, инженеры, и другие спецы с высшим образованием: консультанты, экономисты. И все они чертили, высчитывали, делали анализы, составляли графики. А станция, депо, мастерские работали без инженеров, без техников. Где же было с такими методами поднять низы, чтобы каждый рабочий сознательно выполнял свое дело? На транспорте человек должен работать более четко, чем машина. Здесь каждый неуместный жест, неправильный поворот регулятора, нераспорядительность дежурного, растерянность стрелочника или механика грозят десятками жертв, сотнями тысяч убытка.

Самро закурил и, отгоняя взмахами руки папиросный дым от жены, продолжал:

— Зина! если хочешь знать, я люблю транспорт. Здесь жизни много. Вся жизнь в движении, все рассчитано... Красота!

Возбужденно он рисовал перед женой планы:

— Представляешь, сколько работы здесь. Зато через год, через два сегодняшние порядки станут анекдотом. Будут люди качать головами и приговаривать: «Неужели так было когда-то?».

Зина, слушая, разогнала свою дремоту. Ей становилось понятным состояние Евгения. «Загорелся — не потушишь, пока не добьется своего».

— А я что? — ответила она смущенно на его вопрос, как она жила. — Никуда не ходила. Распашонки шила, пеленки там разные, и то не сумела. Нашила и показываю Матрене Ивановне. Она меня — бранит: «Вот говорит, вы молодые, не смыслите на первый день ребенку сшить. Ну куда такие размахала! Годовалому впору». Смотрю и вправду большие. Давай перекраивать, перешивать. Ну, до чего они теперь маленькие, Женька. Прямо не верится, что такой человек бывает. Показать? — живо спросила она.

Евгений не ответил. Глаза его были закрыты, дыхание ровно.

Зина с минуту посмотрела на большой, чистый лоб, осторожно поцеловала загорелую, горячую от сна щеку и повернула выключатель.

*

И. Ильф и Е. Петров

На восточной магистрали

(Отрывки из романа «Золотой теленок»)

Литерный поезд

На утро четвертого дня пути поезд[1] взял на восток. Мимо снеговых цепей — Гималайских отрогов, — с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения (мостики, трубы для пропуска весенних вод и др.), а также бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд проскочил городок под тополями и долго вертелся у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подскакивал к горе то справа, то слева, поворачивая назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил — и выскочил, наконец, на волю. Исправно поработав колесами, поезд молодецки осадил на последней станции перед началом Восточной Магистрали.

В кубах удивительного солнечного света, на фоне алюминиевых гор, стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок станционных рабочих новой железной дороге.

В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую, величиною с кошку, модель паровоза или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб. Такое мучительное превращение маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения.

Но паровоз ОВ, ударно выпущенный из капитального ремонта, был совершенно нормальной величины, и по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера. Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и «овечка», как принято называть в полосе отчуждения паровозы серии ОВ, неся на своем передке плакат «Даешь смычку», покатил к южному истоку Магистрали — станции Горной.

Ровно два года назад здесь лег на землю первый черносиний рельс, выпущенный уральским заводом. С тех пор из прокатных станов завода беспрерывно вылетали огненные полосы рельсов. Магистраль требовала их все больше и больше. Укладочные городки, шедшие навстречу друг другу, в довершение всего устроили соревнование и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго.

Вечер на станции Горной, освещенной розовыми и зелеными ракетами, был настолько хорош, что старожилы, если бы они здесь имелись, конечно, сказали бы, что такого вечера они не запомнят.

---

[1] Поезд, в котором едут на открытие магистрали почетные гости из Москвы.

К счастью, в Горной старожилов не было. Еще в 1928 году здесь не было не только что старожилов, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился литерный поезд.

Пока под керосино-калильными фонарями шел митинг и все население столпилось у трибуны, фоторепортер Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу подходящей, она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, стоящий шагах в двадцати от нее, получился бы слишком маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленькой вышла бы арка. В таких случаях Магомет обычно шел к горе, прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил подать поезд под арку таким же легким тоном, каким просят в трамвае немножко подвинуться. Кроме того, он настаивал, чтобы из трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянулся к арке, из трубы повалил требуемый пар, и машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки. Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе.

Поздно ночью литерный поезд шел уже по Восточной Магистрали. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, ни к кому не обращаясь, скорбно сказал:

— Странный случай! Оказывается, эту проклятую арку я снимал на пустую кассету! Так что ничего не вышло.

— Не беда, — с участием ответил ему Лавуазьян, — пустое дело. Попросите машиниста, и он живо даст задний ход. Всего лишь через три часа вы снова будете в Горной и повторите свой снимок. А смычку можно будет отложить на день.

— Чорта с два теперь снимешь! — печально молвил фоторепортер. — У меня вышел весь магний, а то, конечно, пришлось бы вернуться...

. . . .

...По мере приближения к месту смычки кочевников становилось все больше. Они спускались с холмов, наперерез поезду, в шапках, похожих на китайские пагоды. Литерный, грохоча, с головой уходил в скалистые порфировые выемки, прошел новый трехпролетный мост, последняя ферма которого была надвинута только вчера, и принялся осиливать знаменитый Хрустальный перевал. Знаменитым сделали его строители Магистрали, выполнившие все подрывные и укладочные работы в три месяца вместо восьми, намеченных по плану.

Поезд постепенно обрастал бытом. Иностранцы, выехавшие из Москвы в твердых, словно бы сделанных из аптекарского фаянса, воротничках, в тяжелых шелковых галстуках и суконных костюмах,

стали распоясываться. Одолевала жара. Первым изменил форму одежды один из американцев. Стыдливо посмеиваясь, он вышел из своего вагона в странном наряде. На нем были желтые толстые башмаки, чулки и брюки-гольф, роговые очки и русская косоворотка хлебозаготовительного образца, вышитая крестиками. И чем жарче становилось, тем меньше иностранцев оставалось верными идее европейского костюма. Косоворотки, апашки, гейши, сорочки-фантазии, толстовки, лжетолстовки и полутолстовки, одесские сандалии и тапочки полностью преобразили работников прессы капиталистического мира. Они приобрели разительное сходство со старинными советскими служащими, и их мучительно хотелось чистить, выпытывать, что они делали до 1917 года, не бюрократы ли они, не головотяпы ли и благополучны ли по родственникам.

Прилежная «овечка», увешанная флагами и гирляндами, поздней ночью втянула литерный поезд на станцию Гремящий Ключ, место смычки. Кинооператоры жгли римские свечи. В их резком белом свете стоял начальник строительства, взволнованно глядя на поезд. В вагонах не было огней. Все спали. И только правительственный салон светился большими квадратными окнами. Дверь его быстро открылась, и на низкую землю спрыгнул член правительства.

Начальник Магистрали сделал шаг вперед, взял под козырек и произнес рапорт, которого ждала вся страна. Восточная Магистраль, соединившая прямым путем Сибирь и Среднюю Азию, была закончена на год раньше срока.

Когда формальность была выполнена, рапорт отдан и принят, два немолодых и несантиментальных человека поцеловались.

Все корреспонденты, и советские и иностранные, и Лавуазьян, в нетерпении пославший телеграмму о дыме, шедшем из паровозной трубы, и канадская девушка, сломя голову примчавшаяся из-за океана, — все спали. Один только Паламидов метался по свежей насыпи, разыскивая телеграф. Он рассчитал, что если молнию послать немедленно, то она появится еще в утреннем номере. И в черной пустыне он нашел наспех сколоченную избушку телеграфа.

«Блеске звезд, — писал он, сердясь на карандаш, — отдан рапорт окончании магистрали тчк присутствовал историческом поцелуе начальника магистрали членом правительства Паламидов».

Первую часть телеграммы редакция поместила, а поцелуй выкинула. Редактор сказал, что члену правительства неприлично целоваться.

Гремящий Ключ

Солнце встало над холмистой пустыней в 5 часов 02 минуты 46 секунд. Остап[1] поднялся на минуту позже. Фоторепортер Меньшов уже обвешивал себя сумками и ремнями. Кепку он надел задом наперед, чтобы козырек не мешал смотреть в видоискатель. Фотографу

[1] Остап Бендер — герой романа — жулик, вымогающий деньги у спекулянта Корейко, который под видом табельщика устроился на строительстве Магистрали, спасаясь от преследований Бендера.

предстоял большой день. Остап тоже надеялся на большой день и, даже не умывшись, выпрыгнул из вагона. Желтую папку он захватил с собой.

Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон составы подступали к трибуне, сипели паровозы, белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге: «Магистраль — первое детище пятилетки».

Еще все спали, и прохладный ветер стучал флагами на пустой трибуне, когда Остап увидел, что чистый горизонт сильно пересеченной местности внезапно омрачился разрывами пыли. Со всех сторон выдвигались из-за холмов остроконечные шапки. Тысячи всадников, сидя в деревянных седлах и понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся в той самой точке, которая была принята два года назад как место будущей смычки.

Кочевники ехали целыми аулами. Отцы семейств двигались верхом, верхами, по-мужски, ехали жены, ребята, по-трое двигались на собственных лошадках, и даже злые тещи и те посылали вперед своих верных коней, ударяя их каблуками под живот. Конные группы вертелись в пыли, носились по полю с красными знаменами, вытягивались на стременах и, повернувшись боком, любопытно озирали чудеса. Чудес было много — поезда, рельсы, молодцеватые фигуры кинооператоров, решетчатая столовая, неожиданно выросшая на голом месте, и радиорепродукторы, из которых несся свежий голос «раз, два, три, четыре, пять, шесть», — проверялась готовность радиоустановки. Два укладочных городка, два строительных предприятия на колесах, с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих, стояли друг против друга, перед трибуной, отделенные только двадцатью метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове Южного городка висел плакат: «Даешь Север!» в голове Северного — «Даешь Юг!».

Рабочие обоих городков смешались в одну кучу. Они увиделись впервые, хотя знали и помнили друг о друге с самого начала постройки, когда их разделяли полторы тысячи километров пустыни, скал, озер и рек. Соревнование в работе ускорило свидание на год. Последний месяц рельсы укладывали бегом. И Север и Юг стремились опередить друг друга и первыми войти в Гремящий Ключ. Победил Север. Теперь начальники обоих городков, один в графитной толстовке, а другой в белой косоворотке, мирно беседовали у стрелы, причем на лице начальника Севера, против воли, время от времени появлялась змеиная улыбка. Он спешил ее согнать и хвалил Юг, но улыбка снова подымала его выцветшие на солнце усы.

Остап побежал к вагонам Северного городка, однако городок был пуст. Все его жители ушли к трибуне, перед которой уже сидели музыканты. Обжигая губы о горячие металлические мундштуки, они играли увертюру.

Советские журналисты заняли левое крыло трибуны. Лавуазьян, свесившись вниз, умолял Меньшова заснять его при исполнении служебных обязанностей. Но Меньшову было не до того. Он снимал удар-

ников Магистрали группами и в одиночку, заставляя костыльщиков размахивать молотами, а грабарей — опираться на лопаты. На правом крыле сидели иностранцы. У входов на трибуну красноармейцы проверяли пригласительные билеты. У Остапа билета не было. Комендант поезда выдавал их по списку, где представитель «Черноморской газеты». О. Бендер не значился. Напрасно Гаргантюа[1] манил великого комбинатора наверх крича: «Ведь верно? Ведь правильно!» — Остап отрицательно мотал головой, водя глазами на трибуну, на которой тесно уместились герои и гости.

В первом ряду спокойно сидел табельщик Северного укладочного городка Александр Корейко. Для защиты от солнца голова его была прикрыта газетной треуголкой. Он чуть выдвинул ухо, чтобы получше слышать первого оратора, который уже пробирался к микрофону.

— Александр Иванович! — крикнул Остап, сложив руки трубой.

Корейко посмотрел вниз и поднялся. Музыканты заиграли «Интернационал», но богатый табельщик выслушал гимн невнимательно. Вздорная фигура великого комбинатора, бегавшего по площадке, очищенной для последних рельсов, сразу же лишила его душевного спокойствия. Он посмотрел через голову толпы, соображая, куда бы убежать. Но вокруг была пустыня.

Пятнадцать тысяч всадников непрестанно шатались взад и вперед, десятки раз переходили вброд холодную речку и только к началу митинга расположились в конном строю позади трибуны. А некоторые, застенчивые и гордые, так и промаячили весь день на вершинах холмов, не решаясь подъехать ближе к гудящему и ревущему митингу.

Строители Магистрали праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев и героев. На полотно со звоном полетели рельсы. В минуту они были уложены, и рабочие-укладчики, забившие миллионы костылей, уступили право на последние удары своим руководителям.

— Согласно законов гостеприимства, — сказал буфетчик, сидя с поворами на крыше вагон-ресторана.

Инженер-краснознаменец сдвинул на затылок большую фетровую шляпу, схватил молот с длинной ручкой и, сделав плачущее лицо, ударил прямо по земле. Дружелюбный смех костыльщиков, среди которых были силачи, забивающие костыль одним ударом, сопутствовал этой операции. Однако мягкие удары о землю вскоре стали перемежаться звоном, свидетельствовавшим, что молот иногда приходит в соприкосновение с костылем. Размахивали молотами секретарь крайкома, члены правительства, начальники Севера и Юга и гости. Самый последний костыль в каких-нибудь полчаса заколотил в шпалу начальник строительства.

Начались речи. Они произносились по два раза — на казахском и русском языках.

---

[1] Один из московских корреспондентов.

— Товарищи, — медленно сказал костыльщик-ударник, стараясь не смотреть на орден Красного знамени, только что приколотый к его рубашке, — что сделано, то сделано, и говорить тут много не надо. А от всего нашего укладочного коллектива просьба правительству — немедленно отправить нас на новую стройку. Мы хорошо сработались вместе и последние месяцы укладывали по пяти километров рельсов в день. Обязуемся эту норму удержать и повысить. И да здравствует наша мировая революция! Я еще хотел сказать, товарищи, что шпалы поступали с большим браком, приходилось отбрасывать. Это дело надо поставить на высоту!

Корреспонденты уже не могли пожаловаться на отсутствие событий. Записывались речи. Инженеров хватали за талию и требовали от них сведений с точными цифровыми данными. Стало жарко, пыльно и деловито. Митинг в пустыне задымился, как огромный костер. Лавуазьян, нацарапав десять строчек, бежал на телеграф, отправлял молнию и снова принимался записывать. Ухудшанский ничего на записывал и телеграммы не посылал. В кармане у него лежал «Торжественный комплект»[1], который давал возможность в пять минут составить прекрасную корреспонденцию с азиатским орнаментом. Будущее Ухудшанского было обеспечено. И поэтому он с более высокой, чем обычно, сатирической нотой в голосе говорил собратьям:

— Стараетесь? Ну, ну!

Неожиданно в ложе советских журналистов появились отставшие в Москве Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. Их взял с собой самолет, прилетевший на смычку рано утром. Он спустился в десяти километрах от Гремящего Ключа, за далеким холмом, на естественном аэродроме, и братья-корреспонденты только сейчас добрались оттуда пешим порядком. Еле поздоровавшись, Лев Рубашкин и Ян Скамейкин выхватили из карманов блокноты и принялись наверстывать упущенное время.

Фотоаппараты иностранцев щелкали беспрерывно. Глотки высохли от речей и солнца. Собравшиеся все чаще поглядывали вниз, на холодную речку, на столовую, где полосатые тени навеса лежали на длиннейших банкетных столах, уставленных зелеными нарзанными бутылками. Рядом расположились киоски, куда по временам бегали пить участники митинга. Корейко мучился от жажды, но крепился под своей детской треуголкой. Великий комбинатор издали дразнил его, поднимая над головой бутылку лимонада и желтую папку с ботиночными тесемками.

На стол, рядом с графином и микрофоном, поставили девочку-пионерку.

— Ну, девочка, — весело сказал начальник строительства, — скажи нам, что ты думаешь о Восточной Магистрали?

Не удивительно было бы, если бы девочка внезапно топнула ножкой и начала: «Товарищи! Позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои...» и так далее, потому что встречаются у нас примерные

---

[1] «Руководство» для корреспондентов, сочиненное О. Бендером (едкая насмешка авторов романа над газетными штампами).

дети, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи. Однако пионерка Гремящего Ключа своими слабыми ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала:

— Да здравствует пятилетка!

Паламидов подошел к иностранному профессору-экономисту, желая получить у него интервью.

— Я восхищен, — сказал профессор, — все строительство, которое я видел в СССР, грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать.

Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на двухстах страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки, что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран. А на двухсот первой странице профессор заявил, что именно по этой причине Страну советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу. Профессор оказался более деловым человеком, чем болтливый Гейнрих.

Из-за холма поднялся белый самолет. Во все стороны врассыпную кинулись казахи. Большая тень самолета бросилась через трибуну и, выгибаясь, побежала в пустыню. Казахи, крича и поднимая кнуты, погнались за тенью. Кинооператоры встревоженно завертели свои машинки. Стало еще более суматошно и пыльно. Митинг окончился.

— Вот что, товарищи, — говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую, — давайте условимся — пошлых вещей не писать.

«Пошлость отвратительна!»—поддержал Лавуазьян.— Она ужасна.

И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об Узун-Кулаке, что значит Длинное Ухо, что в свою очередь значит — степной телеграф. Об этом писали все, кто только ни был на Востоке, и об этом больше невозможно читать. Не писать очерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлостей в восточном вкусе!

На опустевшей трибуне, среди окурков, разорванных записок и нанесенного из пустыни песка сидел один только Корейко. Он никак не решался сойти вниз.

— Сойдите, Александр Иванович! — кричал Остап. — Пожалейте себя! Глоток холодного нарзана! А? Не хотите? Ну, хоть меня пожалейте! Я хочу есть! Ведь я все равно не уйду! Может быть вы хотите, чтобы я спел вам серенаду Шуберта «Легкою стопой ты приди, друг мой»? Я могу!

Но Корейко не стал дожидаться. Ему и без серенады было ясно, что деньги придется отдать. Пригнувшись и останавливаясь на каждой ступеньке, он стал спускаться вниз.

— На вас треугольная шляпа? — резвился Остап. — А где же серый походный пиджак? Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте! Может, почеломкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лехтвейса, где вы храните свои тугрики!

— Сперва обедать, — сказал Корейко, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль.

— Можно и пообедать. Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы, — соврал Остап на всякий случай.

И, вспомнив о молодцах, он погрустнел.

Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде[1]. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на Востоке все, а на Западе только портные. Казахи ели плов из белых мисочек, запивали его лимонадом. Европейцы засели за столы.

Много трудов, заботы и волнений перенесли строители Магистрали за два года работы. Но и не мало беспокойства причинила им организация парадного обеда в центре пустыни. Долго обсуждалось меню, азиатское и европейское. Вызывал продолжительную дискуссию вопрос о спиртных напитках. На несколько дней управление строительством стало походить на Соединенные штаты перед выборами президента. Сторонники сухой и мокрой проблемы вступили в единоборство. Наконец, ячейка высказалась против спиртного. Тогда всплыло новое обстоятельство — иностранцы, дипломаты, москвичи! Как их накормить поизящнее? Все-таки они у себя там в Лондонах и Нью-Йорках привыкли к разным кулинарным эксцессам. И вот из Ташкента выписали старого специалиста Ивана Осиповича. Когда-то он был метрдотелем в Москве у известного Мартьяныча[2] и теперь доживал свои дни заведующим нарпитовской столовой у Куриного базара.

— Так вы смотри́те, Иван Осипович, — говорили ему в управлении, — не подкачайте. Иностранцы будут. Нужно как-нибудь повиднее все сделать, пофасонистее.

— Верьте слову,— бормотал старик со слезами на гла́зах, —каких людей кормил. Принца Вюртембергского кормил! Мне и денег не нужно. Как же мне на последок жизни людей не покормить? Покормлю вот — и умру!

Иван Осипович страшно разволновался. Узнав об окончательном отказе от спиртного, он чуть не заболел, но оставить Европу без обеда не решился. Представленную им смету сильно урезали, и старик, шепча себе под нос: «Накормлю и умру», добавил шестьдесят рублей из своих сбережений. В день обеда Иван Осипович пришел в нафталиновом фраке. Покуда шел митинг, он нервничал, поглядывал на солнце и покрикивал на кочевников, которые просто из любопытства пытались въехать в столовую верхом. Старик замахивался на них салфеткой и дребезжал:

—Отойди, Мамай, не видишь, что делается! Ах, господи! Соус пикан перестоится. И консоме с пашотом не готово!

На столе уже стояла закуска. Все было сервировано чрезвычайно красиво и с большим умением. Торчком стояли твердые салфетки,

---

[1] Т. е. европейско-азиатском (от сл. Евразия—название материка, на котором расположены Европа и Азия).
[2] Содержатель ресторана в старой Москве.

на стеклянных тарелочках, во льду лежало масло, скрученное в бутоны, селедки держали во рту серсо из лука или маслины, были цветы, и даже обыкновенный серый хлеб выглядел весьма презентабельно.

Наконец, гости явились к столу? Все были запылены, красны от жары и очень голодны. Никто не походил на принца Вюртембергского. Иван Осипович вдруг почувствовал приближение беды.

— Попрошу у гостей извинения, — сказал он искательно, — еще пять минуточек, и начнем обедать! Личная у меня к вам просьба — не трогайте ничего на столе до обеда, чтоб все было, как полагается.

На минуту он убежал на кухню, светски пританцовывая, а когда вернулся назад, неся на блюде какую-то парадную рыбу, то увидел страшную сцену разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом, а Гейнрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта. На столе все смешалось. Гости, удовлетворявшие первый голод, весело обменивались впечатлениями.

— Это что такое? — спросил старик упавшим голосом.

— Где же суп, папаша? — закричал Гейнрих с набитым ртом.

Иван Осипович ничего не ответил. Он только махнул салфеткой и пошел прочь. Дальнейшие заботы он бросил на своих подчиненных...

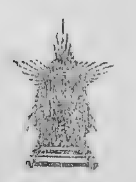
*

В. Маяковский

Строго воспрещается

Погода такая,
    что маю впору.
Май —
    ерунда.
    Настоящее лето.
Радуешься всему:
    носильщику,
    контролеру
билетов.
Руку
    само
    подымает перо,
    и сердце
    вскипает
    песенным даром.
В рай
готов
    расписать перрон
Краснодара.
Тут бы
    запеть
    соловью трелёру

Настроение —
      китайская чайница!
И вдруг
      на стене:
«Задавать вопросы
контролеру
строго воспрещается!».
И сразу
      сердце за удила.
Соловьев камнями с ветки.
А хочется спросить:
— Ну, как дела?
Как здоровьице?
      Как детки?
Пришел я,
      глаза
к земле низя́,
только подхихикнул,
      ища покровительства,
И хочется задать вопрос,
      а нельзя —
еще обидятся:
      правительство!





Глава III

НОВОЕ ПЛЕМЯ

Ал. Сурков

Песня молодого машиниста

Мне ленинской партией знанья даны.
Комсомол воспитал меня.
По стальным магистралям родной страны
Я веду своего коня.

Пшеничные степи, леса, кусты,
Свежий ветер со всех сторон.
Семафоры мелькают, гудят мосты,
За перроном летит перрон.

Колеса поют в густой тишине,
Проплывают огни городов.
На разъездах степных улыбаются мне
Проводницы ночных поездов.

Огни полустанков, сливаясь, рябят,
От бессонниц вечных устав.
Боевая ватага деповских ребят
Встретит радостно мой состав.

Я точно и четко состав веду.
Будет выполнен в срок наряд
На пшеницу и уголь, нефть и руду,
На станки и суперфосфат.

Мы любим певучие будни труда,
Но в суровый военный час
Поведем броневые свои поезда
В смертный бой за рабочий класс.

Мы юность свою отдадим целиком
Счастье фабрик, заводов, сел,
Если так приказал железный нарком,
Если так говорит комсомол.

*

Михась Лыньков

Андрей Стрела

(Перевод с белорусского)

«Эх, Андрей, Андрей, до чего ты дожил, — ни простору тебе, ни жезлов, ни путевок! Пропадай со своей «кукушкой-свистушкой»! Ни тебе полного ходу, ни семафоров крылатых... Да... годы подтачивают подшипник, не разгонимся теперь».

Так думает порой старый славный машинист, Андрей Сапун, водивший десятки лет курьерские поезда. Звали его тогда не Сапун, а Стрела. Он любил подъезжать к станции с присущей только ему помпой и смелостью. Стрелочники входных стрелок закрывали глаза, когда мимо них проносился вихрем ошалевший поезд. Вот-вот, кажется, слетит под откос паровоз, поломаются колеса на стыках или вдребезги разлетятся стрелки.

Но поезд стрелой долетал к станции и сразу останавливался, как вкопанный.

Правда, если какая-нибудь важная особа стукалась лбом при остановке, Андрею приходилось круто. Его снимали с высокой будки пассажирского паровоза, и он полгода вынужден был ездить с товарным поездом. Но только полгода. Потом, — снова пассажирский, затем курьерский, на котором проездил Андрей половину своей жизни.

Это не мало. Огней на пути не сосчитаешь: и белые, и зеленые, и красные. Сияют они на стрелках, сверкают на семафорах высоких, мигают на далекой линии. Попробуй, вглядись в морозную ночь: ветер, вьюга — вглядывайся не ночь, и не год, а целые годы, — промигаешь зоркие глаза, помутнеет их блеск, притупится острота и зеленое станет красным.

Вот почему на «кукушке» Андрей. Старость. И не удивительно, когда сцепщик Иван, два раза подав сигнал «паровоз подгони», громко выругается:

— Не слышит, туфля старая, хотя ты ему свисти, не свисти. Пойти подогнать разве, заснул, может?..

Сцепщик идет к паровозу, лезет на ступеньки и пронзительно свистит над самым ухом Андрея.

Задремавший Андрей протирает глаза и, осмотревшись, сует кулаки Ивану под нос:

— Ты смотри у меня, блоха путевая! Я тебе покажу, как над ухом гудеть! Попадешься, притисну буферами, как жабу, — не пискнешь...

— «Кукушкой» притиснешь?

Андрей не отвечал, да и можно ли отвечать человеку, так невежливо относящемуся к паровозу. Хотя это и паровоз так себе, но все же машина. А то на тебе: «куку-у-шка».

Андрей кладет руку на регулятор и спрашивает, глядя сверху вниз на Ивана:

— Куда?

— Айда на четвертый путь, прицепка вагонов!

— Ну?

— Что ну? К транзитному. Груженые. Подбавь в свой самовар пару!

— Это мое дело.

Иван молчит. Андрей, молча, поворачивает регулятор. Маневровый паровоз начинает дрожать всем своим старым нутром, окутывается облаками пара и с тяжелым пыхтением, задребезжав; трогается:

— Смазал бы хоть, уши проскрипишь, — не может вытерпеть сцепщик.

— Вот я тебя смажу, места живого на тебе не останется!

— Ну, хватит, чего там, гляди, куда едешь!..—Можно подумать, что старый машинист и сцепщик — заклятые враги и только думают, как бы позлить друг друга.

Нет, это старые друзья, которых водой не разольешь.

Сцепщик Иван был когда-то кочегаром на паровозе и в старые годы ездил вместе с Андреем. Вот и теперь, когда сцепщик блохой прыгает между вагонами, Андрей, наблюдая за ним из своей будки, кричит:

— Раздавлю, берегись!

И думает:

«Надо осторожнее, стар уж Иван, не такой ловкий, как раньше, замешкается, во-время не проскочит, а то и поскользнется».

И, осторожно нажимая регулятор, Андрей заставляет свою «кукушку» плавно пристать к вагону, без толчков, без дерганья. Даже тогда, когда сцепщик свистит «готово», «давай вперед», Андрей ждет, пока вылезет из-под вагонов Иван.

Иван злится порой:

— Ты спишь там, что ли? Раз свищу — езжай!

Он, старый сцепщик, привык все делать находу: прицеплять, выскакивать из-под вагонов, спрыгивать около стрелок.

Станция небольшая. Маневры — больше днем, и когда замигают семафоры и зальет луна серебряным светом рельсы, — тогда отдых. В последний раз прогромыхает «кукушка», заберется в тупик и стоит там спокойно до утра.

Тогда старый Андрей достает из сундучка замызганный чайник, наливает воду из тендера и пристраивает возле топки. Потом берет паклю, старательно вытирает выпачканные мазутом руки и, захватив полотенце и прокопченный обмылок, идет к крану, где старательно наводит «туалет».

Приведя себя в порядок, Андрей садится на чурбан перед топкой и молча ждет ужина. Скоро чайник начинает подавать признаки беспокойства: подпрыгивает крышка, нос начинает фыркать. Едва приметная усмешка пробегает по щетинистому лицу Андрея.

Таким же манером, как чайник, приспосабливается сковородка с салом. Тут Андрею больше работы: надо поворачивать сало, не доглядишь — пережарится.

«И неспокойный же элемент это сало — до чего шипит, до чего трещит, будто начальник станции».

От жареного сала по всем путям разносится приятный запах. До того приятный, что дежурный стрелочник, шмыгнув несколько раз носом и вспомнив, что до смены еще далеко, нехотя поплелся в будку. Там он взялся протирать стекла на фонаре, да так старательно, что от него остались одни осколки.

— Тоже искушение, прости господи, ужинал бы где-нибудь в хате, а то на паровозе жарит.

Запах сала беспокоит не только стрелочника. Ремонтные рабочие, ночующие обычно летом на станции, тоже, словно по команде, повели носами и пошли к паровозу.

— Ужинает... Идем, ребята, ложиться еще рано, а там и чаю попьем.

В гости к Андрею собирается целая компания молодежи. Андрей угощает ребят чаем. Вскоре к ним присоединяется стрелочник, зайдет и путевой сторож Антон, всегда обвязанный платком.

— Болят зубы, нет на них погибели,—ворчит Антон, берясь за щеку.

— Давай, посмотрю, может, вылечу. — Стрелочник тянется рукой к больной щеке.

— Ну, ну, отвяжись, лодырь! Тебе что, стоишь, как дудка, на стрелке, никакая хворь не пристанет. Вот походил бы, как я!..

— Ну, и работяга нашелся! Только и знает, костыль да гайку, да молот для фасону носить, в год раз стукнет, а еще — на тебе — лодырь!

— Хватит, не поделили чего? — наводит порядок Андрей.

— А чего же он меня — лодырем!

— Известно, лодырь. Стрелки нечищенные, а он болтается.

— А ты что мне: начальник станции или что?

Где твое место?

— А так за стрелками смотрят?

— Заплата непутевая...

— Дудка раскрашенная!..

— Крыса линейная!.. С кем равняешься? Я стрелочник, а ты кто? Кто ты, я тебя спрашиваю? Ключ гаечный... Я стрелочник, у меня специальность... Куда ни захочу, — будьте добры, Остап Гаврилович, наше вам почтение!..

— Ну, ну, довольно!.. Вишь разошелся, специалист какой, — вмешиваются ремонтные, готовые всегда горой постоять за своего брата, линейного человека.

Остап Гаврилович шмыгает носом и, обиженный, слезает с паровоза. Слышно, как идет к стрелкам, бормоча что-то под нос.

С минуту на паровозе воцаряется неловкое молчание, и чтобы разогнать его все курят цыгарки. Андрей роется в топке, достает уголек, подбрасывает его с ладони на ладонь, сдувает пепел и все прикуривают.

— Ишь, горячий, — вставляет кто-то. И непонятно — о стрелочнике это сказано или об угле.

Тихая ночь. Где-то возле штабеля шпал стрекочет сверчок, пахнет полынью и мазутом. Вдали, за красным глазом семафора, блестят под луной рельсы. Любит на них смотреть Андрей, и на сердце ло-

жится легкая грусть. На мгновение сердце рванется вперед, будто хочет догнать эти светлые рельсы, — бесконечные пути людские. Но только на мгновение. Старое сердце, прокуренное огнем и мазутом, оно проржавело, как старый паровоз. И остается только тихая грусть: о дорогах пройденных, о путях изъезженных. Склоняется голова, катятся слова в ночную темноту, где пахнет полынью, мазутом и дымом.

Где-то, далеко-далеко, едва слышно прогудел паровоз.

— Может, Колтун едет на своем щукинском. Его паровоз за двадцать верст слышно… И Колтун доездится до моего: стар уж и на сердце горяч, не жалеет паровозов, и только и знает — поддай пару. А так и до беды недалеко. А почему не жалеет? За сына зло имеет, злится на машину. А с сыном его, видишь ли, такая история вышла. Давно уже, еще до того, как кочегаром был у меня Иван, сцепщик наш, водил я паровозы с Колтуновым сыном. Петрусем звали. Кочегар был отменный. Молодой, здоровый, руки железные, пар нагонял в момент. Да и не только пар, всю машину ему поручить можно было, потому имел парень способность на все. И вышел бы из него машинист на славу. Да судьба, братцы! От нее не убежишь! На рельсах наша судьба, — весь путь так и бежит за тобой по рельсам, отстать боится.

Осенью дело было. Вели мы ночью поезд с Петрусем. Длинный поезд был, груженый. Помню, шутил я с Петрусем, смеялся над ним, — скоро ли на свадьбу позовет и почему не женится. А признаться, добрая девчина была у него, слесаря Григория дочка. Коса по колени, глаза, как огни на далеком пути, зовут тебя, тянут, — подъезжай поближе, полюбуйся. И когда думал я про них, про Петруся, значит, и про его любовь, так легко было вести паровоз, пускать вперегонки с ветром попутным.

Так вот ехали мы. Паровоз пустили во-всю, потому подъем впереди, закругление, надо разогнать машину, как полагается. Петрусь подкидывал уголь в топку. Я стоял возле окошка, вглядываясь в темноту ночи, которая летела навстречу, глотала искры и кидала на свет фонарей мотыльков и мошкару.

Петрусь подкидывал уголь и тихо напевал. От песни всегда грусть на сердце, может, о том, что жена далеко, может, о том, что молодость пролетела. А Петрусь молодой, молодая и любушка его. Почему же тут не позавидовать чужому счастью, особенно когда оно на порог летит?

Но счастье — счастьем, а закругления пути не минешь. Вспомнил я, что песочницы у меня неисправны, а закругление было большое и подъем крутой. Надо было проверить. Вышел я из будки вперед, на площадку. Темно, хоть глаз выколи! А ветер бьет в грудь, натягивает рубаху, как парус, будто хочет поднять тебя, перебросить через вздрагивающие перила. И только сделал я шаг, а может два, как вдруг будто подхватил меня кто под руки и бросил вперед. Сколько летел я, — не помню. А когда очнулся, увидел, что лежу на земле. Попробовал подняться—так кольнуло в ноге, что едва опять чувств не лишился. Нога была переломлена. С большим трудом повернул я голову и взглянул назад,—даже в глазах потемнело: лежит паровоз мой, тендер расплющенный в блин, в сторону отвалился, за тенде-

ром груда вагонов, один на одном. А некоторые—в щепки, одни ребра торчат.

«С чего бы это случиться могло?» — подумал я. — «Не иначе, рельс лопнул». — Но где разберешься тут, когда все смешалось в кашу: и рельсы, и шпалы.

Взяли меня потом в больницу в бесчувственном состоянии. И только на другой день вспомнил о Петрусе. Навещали товарищи, их спрашивал, отвечают: не видели и не слышали. Только на третий день нашли моего кочегара в топке. Одни кости остались, да и те рассыпались, когда вытянули его. Как подбрасывал он уголь, так и влетел в топку, когда паровоз взрыл землю носом.

Андрей затягивается окурком, выкуренным до самых пальцев.

— Так и судьба — кому как... Разве думал-гадал Петрусь про это. И что бы со мной было, если бы не песочницы эти самые! Надо же было во-время выйти...

— А много вы, наверно, дядька Андрей, людей порезали на своем веку? — спрашивает молодой ремонтный, как видно, из новичков.

— Дурных машина порезала, а не я...

Андрей, как и все машинисты, не любит говорить о своих жертвах.

— Спросите у паровозов, они лучше знают. А мне что? Зачем людей резать? Я вот вылечил некоторых... так это другое дело.

— Как это вылечил?

— А вот и вылечил... И не чем иным, как паровозом. Ремонтного Савку знаете? Ну, так вот... Был он когда-то хромой, чорт саданул, может, молотом по колену, а, может, костылем. Ну, и хромал. Не то, чтобы здорово, а все же прихрамывал, так и прозвали: Савка Хромой. Хорошо. Еду раз с пассажирским, подъезжаю к стрелкам. Все как следует быть — стрелочник на месте, линия свободна, даже дежурного вижу издалека, вышел жезл принимать. Потом взглянул это я ближе, — что ж вы думаете, — перед самыми буферами человек метнулся, через стык перепрыгнул. У меня молнией в голове: «Царство ему небесное...» А сам за регулятор, кочегар за тормоз. Стали. С паровоза слезли. Смотрим, лежит человек целехонек, — белый только, не шелохнется. Стукнуло его слегка в самую ногу хромую. Стукнуло и отбросило. Он и лежит себе. Ну, мы сразу его под кран, окатили водой, а потом на паровоз, да на станцию и в приемный покой... Сдали и поехали. А через месяц встречаю Савку этого, шпалы он менял. Ехал я замедленным ходом, и смотрю, кланяется мне человек да усмехается.

«Здорово, говорит, дяденька Андрей, большое тебе спасибо за ногу мою покалеченную, — теперь, видишь, как из кузницы, не кривится и не хромает».

Я даже остолбенел. Смотрю: ходит человек и хсть бы что, будто ему и паровоз свой брат. А вы говорите: режем... На все своя судьба.

— Брось ты со своей судьбой, далась она тебе! Расскажи лучше, как ты бандитов возил.

— Ну, что же, возил. Почему и не провезти иногда?..

Андрей говорит, а рука по привычке щупает левый карман замас-

ленной рубахи. Там у него в праздничные дни висит орден Красного знамени. В будни орден лежит в сундуке, неудобно, еще в смазке запачкаешь, да мало ли что на работе бывает.

— Да, возил. Всего было на нашем веку. Теперь паровоз идет, как по маслу, в вагонах проводники завелись, смотрят, чтобы и блоха без билета не проехала. Вот поработали бы в девятнадцатом, в двадцатом, узнали бы, почем фунт гаек!.. Да, что говорить! Ты, Гаврила, знаешь, тоже тогда служил. Да. Так ехал я раз с пассажирским. Это лет шесть тому назад, а то и семь. Были мы уже на перегоне перед Ясным Лесом. Дрова давали паршивые, такие, что хоть сам вместо них в топку ложись. Терпели кое-как.

Только это мы переезжаем Кривулинский мост, вижу я: впереди огонек мелькает. И не какой-нибудь, а самый, что ни на есть красный. Я за гудок, а сам догадки строю, что такое, по какой причине? Замедлил ход, подъезжаем. Ночь темная, хотя бы человека увидеть, только и мелькает огонек — то вниз, то вверх. Вижу — дело серьезное, нажал на тормоз — стали. И только я голову из окошка высунул, как тут мне дуло — под нос, а на ступеньках уже два человека в полной аммуниции. Ну, на аммуницию оно было мало похоже, но все же винтовки там, бомбы разные и всякие другие причендалы.

«Убьют, — думаю,—и души не помилуют».

В вагонах, слышу, крик, возня. Остался с нами на паровозе один бандит только, нас караулить; все же остальные с поездом расправляются, по вагонам шныряют. Паровоз у меня, как конь застоявшийся, дрожит под парами, носом чихает... А у меня сердце разошлось, — не удержишь! Взглянул я это на караульного, сопляк какой-то, да еще с фонарем красным. И зло меня разобрало. За то главное, что — поганец такой фонарь красный держит, да еще тобой командует, — ни за что, ни про что машину в пути в простой вгоняет. А караульный этот самый, взявшись за поручни, нагнулся с паровоза и глянул вдаль вагонов, — нетерпение берет человека... Не знаю, как тут случилось, двинул я ногой прямо между лопаток этому самому караульному. Застонал он только и повалился вниз головой. А я ногой ему поддал, по хребту, а рукой за регулятор и без всякого, значит, сигнала как рвану вперед, и полным ходом, — полетели, ничего не слышно, что там по вагонам творится. Семафор уж впереди зеленым глазом сверкает: «пожалуйста, ждем». Семафор открыт, а я, при полном разгоне, открыл гудок, да и закатил тревогу на всю станцию. Потом рассказывали на станции: переполошились там все начальство, охрана: «Что он там, с ума, что ли, сошел? Семафор открыт, а он — тревогу!».

Еще не успел подъехать, сбежались все. Подъезжают: трублю и кричу, уже на станции: «Братцы, бандитов быстрей хватайте»! — И что же вы думаете, — всех взяли, как миленьких! Один только соскочил, да и тот череп разбил.

Видишь, когда дернул паровоз, ошеломлены были все. Некоторые лататы хотели дать, но пассажиры смекнули в чем дело, да за них, за оружие. И потехи же было потом! Я начал обера ругать, почему за билеты не взыскал с безбилетников этих самых?.. А он меня кроет:

«Не имел ты, — говорит, — никакого полного права без моего свистка бешеный ход давать!..»

— А зачем же потерял ты, говорю, свисток этот, под лавку прятавшись?

И смеху же, братцы, было!.. Ну, а после, через несколько месяцев, мне и орден этот красный...

...На станцию, запыхавшись, приходит товарный поезд. Вскоре мощный щукинский паровоз поравнялся с «кукушкой». Из паровозной будки высунулась, всклокоченная голова:

— Здорово, Колтун?

— А, Андрей, не узнал, брат, темно. Ну, как «кукушка»?

— Кукую. Ничего, браток, не поделаешь...

— Кукуй, кукуй! А к женке когда?

— В понедельник съезжу. Если увидишь, скажи, скоро приеду.

— Да она не скучает. Поди молодого нашла, разве ты ей пара...

— Тебе бы только зубы скалить. Иди-ка вот, стаканчик чаю хвати!..

...Семья Андрея живет на другой станции. Да и какая там семья — только жена. Каждую неделю Андрей ездит к ней на побывку. Садится к знакомому машинисту на пассажирский паровоз. Иначе не может.

— Душа не принимает. Да разве можно мне ехать в вагоне: от тоски сдохнешь.

Когда поезд отходит от станции, Андрей просит машиниста:

— Голубок мой, дай я проеду чуточку.

Ему не отказывают.

Дрожащей рукой нажимает Андрей на блестящий регулятор, напрягается весь и радостно прислушивается, как вздыхает горячий пар, как лязгают сильней и сильней огромные колеса, как шипит пар, выходя из блестящих, горячих поршней цилиндра.

Перегнувшись в окошко, широкой грудью вдыхает Андрей запах полыни и мазута, мерно покачивается на сиденьи и в такт вздрагивающему паровозу приговаривает:

— Летим, братцы, э-эх, летим!... Догоняй — не догонишь!

★

В. Курочкин

Огонь

Пламя бушевало и гудело в паровозной топке. А на темной выжженной маслом и мазутом, изъеденной угольной пылью земле между рельсами, под самой топкой, дрожали оранжевые отблески. Мощный паровоз стоял на путях.

Дмитрий смотрел издали на игру огней. Уродливые отблески на земле то удлинялись, то укорачивались. Они то бледнели, то становились слишком яркими, в зависимости от количества нефти, попадающей в топку. Помощник машиниста ходил вокруг паровоза и постукивал по колесам и шатунам молотком с длинной ручкой. Он таскал

с собой большую масленку. Дмитрий стоял и наблюдал за его работой. Паровоз должен был отправиться в путь. Через час длинное стальное тело замелькает среди спящих полей, прогремит над реками и вонзится в темные массивы лесов. И справа, и слева будут шеренгой стоять исполины-деревья. Поезд промчится словно по ущелью, и отсветы топки выхватят из тьмы: телеграфные столбы и ярко освещенную будку путевого обходчика, молчаливые кусты и стволы сосен, сваленные непогодой гнилые деревья и трухлявые пни, болотца и шалаш охотника и еще шлагбаум у дороги. Все это мелькнет и исчезнет. Появятся города, электростанции и хаотичные огни новостроек, белесый, мгновенно меняющийся в очертаниях пар работающего копра и грандиозные пожары доменных огней, и все это тоже исчезнет. И будут опять пробегать леса. Скорость! Она захватывает. Редкий человек не уважает скорости. И особенно человек такой страны, пространства которой не могут существовать без скорости.

Велики эти пространства. «И от тайги до британских морей»... — тихо запел Дмитрий, вспоминая мотив песни о Красной армии. Он оглядел обтекаемые формы паровоза. Родина больших дел и больших скоростей! Дмитрий был доволен, что избрал специальность, связанную с движением. Темп и скорость! Они хороши и в спорте, и в работе.

Машинист пустил пар. Белые струи ударили в землю, пар заклубился, стал рыхлым и разошелся в стороны. До Дмитрия дошло влажное дыхание паровоза. Дмитрий улыбнулся. Вечером в паровозном депо уютно. Словно кипит на столе самовар, когда вся семья сидит за вечерним чаем. К Дмитрию подошел и стал рядом Трофим Сергеевич — старик-машинист. Дмитрий подал ему молча руку. В депо звучала музыка. Рядом был летний сад, и там играл духовой оркестр. Дмитрий прислушался. Ветер относил звуки оркестра от депо. И Дмитрий напряг слух.

— Вы слышали что-нибудь о партизане Лазо?

— Я читал, — сказал Дмитрий.

— Он с японцами дрался в Сибири, в 1920 году. Красный командир, партизан. Какой был мужик! — старик покачал головой.

— Вы его видели?

— Да. Я в то время там тоже был. Работал машинистом. Вот только, как умер он, не видал.

— Его убили?

— Сожгли в паровозной топке. Звери, вонючие свиньи. Такого человека!

Старик помолчал и снова сказал:

— Он погиб на станции Уссури. Японцы взяли его в плен и сожгли. Мне рассказывал друг. Один машинист, бывший в то время на станции.

— Он все видел?

— Да. Они сожгли его, но только не в таком паровозе, как вот этот, таких еще тогда не было. А на дровах. Видел такие топки? А сначала долго били...

— А он?

— Он? В долгу не оставался! Он дрался все время, лупил их по мордам. Они все зверели и зверели.

— Сволочи!

— Они подтащили его к топке, взяли за ноги и стали совать в огонь. Лазо все же сопротивлялся, пока не ослабел. Тогда эти ме - завцы, — друг мне рассказал, — сунули его внутрь и захлопнули дверцу, а потом открыли ее, чтобы посмотреть.

— Сволочи!

— И кинули туда еще парочку поленьев, чтобы жарче было.

— Гады! Не нужно! Сергеич, больно слушать!

Машинист дал гудок, и мощный паровоз, вздрогнув, покатился по рельсам. Они чуть опускались под его тяжестью.

— А ты слушай, да на ус мотай. Али усов нет? — продолжал старик.

— Пока нет, но будут!

— Инженером-то когда станешь?

— Когда выучусь.

— А скоро это?

— Да не особенно. Я недавно начал учиться в институте.

— А ты практикуйся лучше, практикант. Идем к моей старухе.

— Куда это?

— А вон на седьмом пути. Только что закончили чистку. Сейчас заправляемся. Минут через двадцать выезжаем.

— Далеко?

— Транзитный груз. Граница!

— Пойдем. Мне как раз нужно осмотреть паровоз с вашей топкой.

Дмитрий и Трофим Сергеевич пошли на седьмой путь. Они прошли мимо поворотного круга и повернули налево, около конторы, где громко разговаривали машинисты. В депо доносились звуки духового оркестра. На седьмом пути стоял паровоз «Эх-3161».

— Вон он, мой красавец, — указал старик.

От паровоза к ним навстречу бежал Василий.

— Что такое, товарищ помощник? — крикнул Трофим Сергеевич.

— Беда! — ответил Василий.

Он подбежал, запыхавшись.

— Ну, говори, говори, что случилось?

— В топке три колосника выпали.

— Что?

— Во время чистки небрежно установили. Три штуки в заднем ряду провалились!

— Ах, лодыри! Что же ты глядел?

— Заметил, да поздно! Паровоз уже под парами.

— Ну вот и погубили! Позор на седую голову!

Трофим Сергеевич, ахнув, побежал к паровозу, за ним отправились Василий и Дмитрий. К машине спешил и дежурный по депо. Он подбежал к паровозу раньше старого машиниста.

— Что же это, Трофим Сергеевич? График срываете? — встретил он машиниста.

— Ничего, ничего. Сейчас что-нибудь придумаем. Паровоз дам во-время! — ответил старик.

Он полез на паровоз. В будку машиниста забрались также Дмитрий и дежурный по депо. Трофим Сергеевич открыл топку, там металось пламя. В лицо пахнуло жаром, и у всех сощурились и стали влажными глаза. На огонь не хотелось смотреть.

— Придется тушить и выгребать! — сказал дежурный по депо.

— Нет, нет. Это же задержка. Это же нельзя. Мы как-нибудь иначе,— волновался Трофим Сергеевич.

— Без задержки не обойтись. График придется поломать.

— Простите, — сказал вдруг Дмитрий и выступил вперед.

Он схватил лопату для угля и протянул ее дежурному по депо.

— Нате-ка. Отгребите огонь в топке в сторону и забросайте его свежим углем. Да колосники достаньте. Запасные есть? И побыстрей! А я сейчас!

Дмитрий улыбнулся обескураженному Трофиму Сергеевичу и соскочил с паровоза. Внизу стоял Василий.

— Дай-ка,— Дмитрий выхватил у него рукавицы, — бежим со мной.

Они побежали к водонапорной колонке.

— Захвати-ка парочку тесин, — крикнул на-ходу Дмитрий и указал Василию на сарай, где лежал тес.

Василий принес три небольшие доски. Дмитрий схватил их и стал с ними под трубу гигантской водонапорной колонки.

— Пускай воду, полегче только, — крикнул он Василию. — Постой, дай-ка мне твою кепку.

Дмитрий надел фуражку Василия, нахлобучив ее на лоб, потом опять взял на руки доски.

— Пускай!

Вода полилась. Василий пустил ее в неполную силу. Широкая струя ударила Дмитрия по голове, которую он отогнул немного в сторону. Вода брызнула за шиворот и проникла к телу. Она заливала лицо, но Дмитрий привычно, как во время ныряния, набрал в легкие воздух и терпеливо ждал, пока одежда его не промокнет. Он подставлял под струи воды и доски. Одежда набухла.

— Довольно! — крикнул Дмитрий. — Достань два ведра, налей воды и тащи к нам.

Сам он побежал к паровозу, оставляя на земле мокрые следы, протянул скользкие доски высунувшемуся из паровоза Трофиму Сергеевичу и влез в будку машиниста. В топке пламя уже не бесновалось, но там все было так накалено, что Дмитрий, заглянув внутрь, отпрянул назад. Огонь притаился под спекшейся коркой свежего, только что набросанного угля. В некоторых местах черная корка уже багровела, и чувствовалось, что вот-вот пламя прорвется и опять заполнит топку. Дмитрий быстро сунул доски в топку и прикрыл ими кучу угля и колосники переднего ряда решетки. Потом, прикрыв мокрой рукавицей лицо, полез внутрь. Густой черный дым ел глаза, но Дмитрий не обращал на это внимания. Он продвигался вперед. Скорей! Нестерпимый жар обжигал Дмитрию подбородок, уши и шею.

«Лазо»... — мелькнула мысль. Нужно немного потерпеть! Вперед! В конце колосниковой решетки он увидал зияющее отверстие. Там нехватало трех колосников. Новые колосники лежали сбоку. Их туда забросил дежурный по депо. Дмитрий дотянулся до них рукой и стал ставить на место. Один. Второй... У Дмитрия прервалось дыхание, и запершило в горле. Третий! Все на месте! Назад! Быстрей! Дмитрий вылезал из топки задом, чувствуя, что еще минута, и он останется в этом пекле навсегда. Раскаленные концы дымогарных трубок, похожие на соты из пчелиных ульев, словно надвигались на него. Скорей! Дмитрий вывалился из топки, ударившись обо что-то затылком. Он свалился на пол будки паровоза, но тотчас поднялся и глубоко вздохнул. Одежда на нем дымилась. Он соскочил по лесенке на землю.

Василий сейчас же облил его водой из ведра.

С паровоза соскочил Трофим Сергеевич и бросился к Дмитрию.

— Дружок! Милый!

— Ничего, ничего, — сказал, смущенно улыбаясь, Дмитрий.

Он гладил свою опаленную левую бровь. Трофим Сергеевич обнял его и поцеловал. Потом паровоз «Эх-3161» ушел — рельсы вздрагивали под его тяжестью,—а Дмитрий пошел в контору. Из сада депо попрежнему долетала музыка.

☆

В. Полторацкий

Машинист Томке

I

Осенний день,
Как паутина, мягок.
Закат на тусклых окнах отгорел.
И в сумерках
Печальной кровью ягод
Обрызгана рябина во дворе.
А в паросиловой
Клокочет пламя в топках,
На стеклах пляшет розовый отсвет.
Сюда порой заглядывает робко
Мальчонка
Десяти-одиннадцати лет.
— Такого не удержишь на постромке...
И взрослые качали головой.
— Да чей такой?
— Сын Александра Томке,
Механика из паросиловой.
Машина
Будит любопытство в нем...

В отцовском доме спят,
Часы бормочут сонно,
А ночь взволнована —
Не сказкой и не сном —
Рассказами
Про Джорджа Стефенсона.
Но не об этом он
Мечтал.
Других желаний сила
В нем так настойчиво,
Так пламенно бурлила...

II

...Шел пятый год —
Мятежный и огнистый —
Над гребнями московских баррикад...
Недавно он поехал машинистом
И назначенью этому был рад.
Но вдруг зимой
В расшатанные рамы,
Несущая печаль и яркий гнев,
Ударила, как ветер,
Телеграмма:
«Казнен Ухтомский!» [1]
И оцепенев,
Стоит депо.
Вдруг чей-то тѐнор:
— Вихри
Враждебные!..
И сквозь туман тоски
Прорвàлось:
— Братцы, забастовку!
Стихли
Трансмиссии в ремонтных мастерских.
И, разорвавши графика постромки,
Во имя ненависти и любви,
Во имя стачки транспортников
Томке
Состав среди пути остановил...

III

Спешили дни.
И он глядел на жизнь
Глазами, полными сомненья и тревоги.
За кем итти?

---

[1] Машинист б. Московско-Казанской ж. д. революционер, расстрелянный в Люберцах в 1905 г. вместе с несколькими товарищами во время карательной экспедиции Римана.

О, сердце, подскажи,
Где верные и торные дороги!
Что ж, быть рабом своей слепой судьбы,
Чтоб жизнь, как лодку утлую, качало?..
Нет,
Самый честный —
Это путь борьбы
За новые, великие начала.
Тяжелый путь!
Но сбросив гнет оков,
Пройдя через сомненья и невзгоды,
Он к Октябрю семнадцатого года
Пришел соратником большевиков.

IV

Пылала битвами гражданская война.
О, это время славою повито!
Тогда разутая, голодная страна
Штыками отбивалась от бандитов.
Нас сковывали лютые морозы,
Шла смерть без зова
К юным и седым.
Росли ряды разбитых паровозов,
Железных паралитиков ряды.
И поезда летели под откосы,
Бросались в бездны взорванных мостов,
Застывшие в конвульсиях колеса
Дожди оплакивали горечью густой.
На сердце это отзывалось болью,
Как будто умер самый близкий друг...
Он в эти годы был уже на Всполье
Начальником депо.
Не покладая рук,
Работает,
Гремит депо ремонтом.
Семью он позабыл,
Но счастлив был, когда
Его депо пошлет на помощь фронту
Вернувшиеся к жизни поезда.
О, это жизни прочная основа!
Он понял дней бушующий прибой.
Не ради гибели, а ради жизни новой
Мы вышли в бой,
Последний смертный бой.

V

Уходят годы,
И приходит старость —
Шестой десяток — с сединой висков.

Что прожил он
И что еще осталось?
Пора бы отдохнуть...
Но нет, он не таков!

Расстаться с тем,
Чему отдал полвека,
Что смело вынес из боев и гроз?!.
Он еще будет крепким человеком,
Когда взойдет к себе на паровоз.
Он понимает каждый стук и шорох,
Он каждой гайке—бесконечно свой
И сотни осторожных семафоров
Ему по-дружески кивают головой...

VI

Однажды в марте
Он манчжурский скорый
Вел из Москвы.
Его встречала ночь.
Кусты по насыпи
Карабкались, как воры,
И падали, и отступали прочь.
Шел мокрый снег,
Отчаянные ветры
Бросались поезду наперерез,
Окуривая дымом километры,
С огромной скоростью
Вперед спешил экспресс...
Беда является, когда ее не ждешь,
Торопится
И рвет пространства в клочья.
Ах, если б знать заране,
Где найдешь,
Где потеряешь...
Так и этой ночью
Он был спокоен, на душе — тепло.
Его опасности не ждут в тумане,
Железный конь послушен, не обманет.
И время ровно, медленно текло.
Вдруг у помощника
Сорвался голос ломкий
И задрожал. Он закричал:
— Гляди!..
— Да что же это?
Прямо перед Томке
Вагонов глыба встала впереди.
«Не остановишь,
Вот они уж рядом,

Сейчас удар,
Качнется небосвод...»
Он расстояние оценивает взглядом
И видит смерть, ощерившую рот.
Ему почудилось,
Что лязгнули вагоны,
И, на дыбы конем хрипящим став,
Охваченный предсмертною агонией,
Скатился под откос раздавленный состав.
«Ну, вот и все...
Спасенья путь оторван,
А впереди
Холодный черный гроб»...
— Нет, этому не быть!
Рука сжимает тормоз,
Завыла сталь колес
И — тише,
Тише... — Стоп!
Он глубоко вздохнул,
Как будто тяжкий груз
Свалился с плеч
И кончен путь кремнистый.
...Не думал он о том,
Что завтра весь Союз
Прославит этот подвиг машиниста.

VII

Не ради славы,
Не награды ради
Спешат по магистралям поезда...
Мой старый друг,
Потяжелее клади
На плечи опускаются года!
Я понимаю,
Что не в радость старость,
Шестой десяток, седина висков.
Да, жизнь не легкая тебе досталась.
Пора б и отдохнуть...
Но нет, ты не таков!
Ты знал любовь
И холод смерти вызнал,
Но в сердце
Седины еще не вкрался след.
Веди же поезда во славу нашей жизни,
Во славу родины, милей которой нет!

☆

В. Ильенков

Странный груз

На запасном пути второй день стояли два вагона с пчелами, а возле, на земле, сидел сопровождающий их старик в полушубке, босой, с облезлой овчинной шапкой на голове. Он держал в руках сапоги, связанные веревочкой, и уныло смотрел на красный огонек семафора в томительном ожидании поезда.

«Сейчас бы хорошо прицепиться... ночь, — думал старик, почесывая искусанную шею. — Не дай бо, до утра ждать придется...»

Послышалось размеренное, неторопливое шарканье по песку. Подошел с фонарем сцепщик и, боязливо поглядывая на вагоны, спросил:

— Ну, как... утихли?

— Угомонились... Замучился я с ними совсем, — устало ответил старик.

Свет от фонаря упал на его распухшее багровое лицо. Кожа на щеках натянута так туго, что кажется: вот-вот лопнет. Глаза исчезли в узеньких щелях, как бы прорезанных ножом.

— Сетку бы от них хорошо и дымом их... Они страсть дыму боятся,— сказал сцепщик.

— Как же я сетку-то надену? Мне и к дежурному сходить надо, и с людьми поговорить...

— Противогаз хорошо бы...

— Что твой противогаз! Сквозь рубаху жалят... всю спину изъели! — воскликнул старик, но в голосе его звучит не жалоба, а восхищение.

— В колхоз везешь?

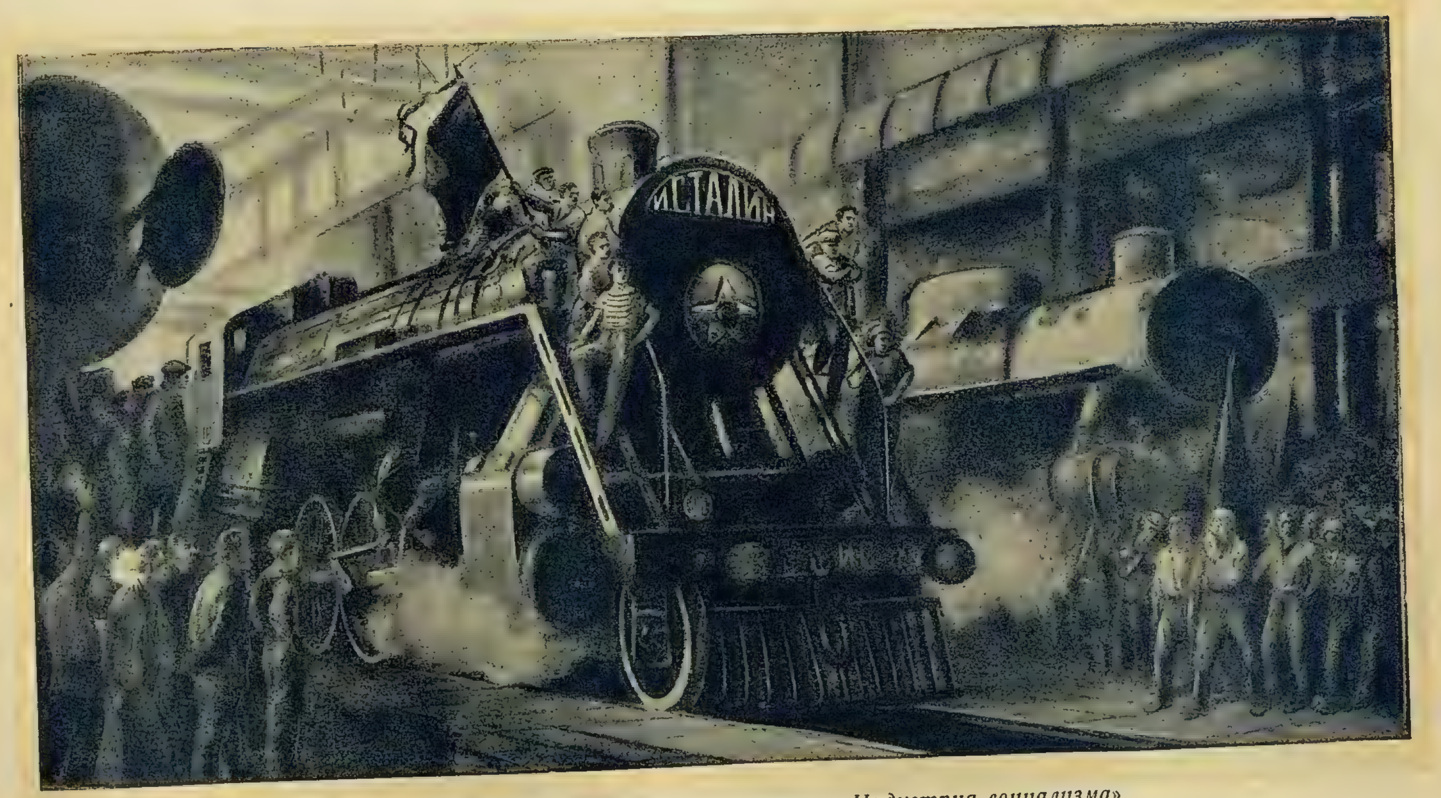
— В колхоз, товарищ. В колхоз «Расцвет социализма», Сорокинского района. Цельная пасека, двести семей! — с гордостью рассказывал старик. — Шесть годов все в план писали: «Завести пчелок». Ну, прошлые-то годы все не выходило: то строились, то недород, а нынче хлеб уродился богато, порешили непременно пчелками обзавестись. Кругом у нас лес, луга заливные, цветов всяких, корму для пчелок много...

— Их хорошо бы замазкой заклеить, чтобы не вылазили, — вдруг перебил его сцепщик, косясь на вагоны.

— Замазкой?! Очумел! Чем же дыхать им? Ежели тебе рот замазкой залепить, ты и минуты не выживешь... Скажет чего — замазкой! — возмутился старик.

— То человек, а то пчела, — вяло возразил сцепщик. — Разве это порядок, если они пассажиров жалют? На путях ходить и то не разрешается, а то жалить... Сейчас за это штраф.

— Ты штраф бери, а замазкой разве можно? — взволнованно заговорил старик, настороженно поглядывая на сцепщика, как бы опасаясь, что он и в самом деле начнет замазывать щели в вагонах.



Ванециан — Паровоз серии «ИС» — Выставка «Индустрия социализма»



Яковлев. Транспорт налажен. Третьяковская галлерея

— Вредные они, — упорно сказал сцепщик и медленно зашагал вдоль рельсов.

— Товарищ! — крикнул старик, догоняя его. — Когда же поезд-то? Долго мне тут с ними еще мучиться?

— Через час должен быть двести восьмой. Может, и возьмут. Ты дежурного, Ван Сергеевича, хорошенько попроси... И скажи, какая вредная насекомая! Им бы хорошо жало повырывать...

— Жало?! — всплеснул руками старик и остановился. — Жало у ней к кишкам приросши, понял? У ней жало, что у тебя сердце: вырви его и крышка!

— Таких бы хорошо выдумать, чтобы без жала, — размышлял сцепщик, видимо, занятый одной неотвязной мыслью.

— Ишь ты какой умный! Как же она тогда может жить? Ее всякий дурак обидеть может. Корове и той рога даны, чтоб отбиваться, — объяснял старик, неумело шагая по шпалам и спотыкаясь, — и пчелка зазря не кусается. Правильная насекомая. С ней надо лаской жить, увежливо... И чтобы ничем не пахло. А тут кругом нефтью воняет, дымом, она и волнуется.

— Нефть понимает? — удивился сцепщик.

— Не то что нефть, а ежели ты, скажем, выпивши, то к улью не подходи.

— Ишь ты? Пьяных не любит, значит?

Они вошли в маленькую комнату, ярко освещенную, душную. Сухо постукивал телеграфный аппарат; лента, извиваясь и шурша, ползла на пол. Дежурный по станции писал, низко склонившись над столом. Из-под красной, выцветшей фуражки выбился на лоб черный вьющийся локон.

— Ван Сергеич, — кашлянул сцепщик, — тут старик пришел, который с пчелами.

Дежурный продолжал писать, не обращая внимания на вошедших.

— Будь настолько милостивый, товарищ, — жалобно заговорил старик, — прицепи ты моих пчелок. Умучился я с ними. Девятый день еду.

Дежурный положил карандаш, взглянул на старика и расхохотался, обнажая безупречные ровные зубы.

— Нос-то, нос? Дуля - бергамот, — хохотал он громко, прижмурив глаза.

— Начисто съели, — сказал старик, проводя по щеке ладонью.
— Тут тебе депеша пришла.

Дежурный взял со стола бумажную ленту с точками и черточками и быстро прочитал:

«Воскресенье высылаю подводы пчелами Петухов».

— Петр Герасимыч, председатель наш! — обрадовался старик, и лицо его исказилось гримасой, лишь отдаленно напоминающей улыбку.

— Под пчелок подводы. Их, не иначе, в ночь везти надо. Днем кони все побьют, все ульи в щепки... Прицепи, сделай милость, товарищ!..

Дежурный позвонил по телефону на соседнюю станцию. Оттуда ответили, что поезд двести восьмой идет с предельной нагрузкой.

— Ничего не могу сделать, дед, — вешая трубку, сказал дежурный. — Придется ждать утреннего...

— Да не могу я ждать! Утром они опять полетят... И подводы зазря пригонят на станцию.

Дежурный снова вызвал соседнюю станцию.

— Проси его хорошенько, — шепнул сцепщик и вышел.

Старик, постояв в раздумьи, вынул из-за пазухи кожаный кошелек, перевязанный бечевой, и, достав червонец, легонько кашлянул, подражая сцепщику.

— Мне и Петр Герасимыч наказывал: «В случае ежели что, благодари товарищей, которые содействуют»...Будь милостивый, прицепи, — сказал он, протягивая червонец.

— Ты, дед, брось эти штуки! — покраснел дежурный, и наивные голубые глаза его сделались холодными и злыми. — Если бы при людях это случилось, стащил бы я тебя в милицию...Спрячь кошель!

Старик испуганно запихнул кошелек за пазуху и попятился к двери.

— Эх, остатки капитализма! — сокрушенно вздохнул дежурный.

— Зачем же остатки? Капиталу у меня хватит. Петр Герасимыч так и сказал: «благодари...»

Дежурный взглянул на часы и, взяв фонарь, вышел на платформу.

«Не с того конца я зашел, — думал старик, шагая к вагонам. — Этот гордый... Дам сцепщику, а они потом поделят», — решил он.

Металлически звонко скрипел сверчок, напоминая старику о деревне, где сейчас все спокойно спят, а он вот уже восемь ночей провел в беготне и заботах; слезятся глаза; отказываются ходить ноги.

Разыскав на путях оранжевый огонек сцепщика, старик вытащил кошелек и неторопливо принялся разматывать длинную бечеву. Он достал червонец, потом подумал, что этого мало, и прибавил пять желтеньких рублевых бумажек.

— Ой, что ты? — отмахнулся сцепщик. — Не дай бо, Ван Сергеич прознает, мне тогда не жить. Быкова Митьку он уже засудил. С вами только свяжись! — и поспешно зашагал в темноту.

Отдаленно запел жалобный рожок. Где-то зашумело, как будто вода на мельнице, когда открывают ставни. Вдали показались три ярких огня, и отблеск их, упав далеко впереди на рельсы, быстро покатился к станции, промчался мимо старика и тотчас же с железным грохотом, сотрясая землю, пронеслась черная глыба паровоза, обдав старика запахом нефти и зноем.

Старик побежал вдоль поезда, к паровозу. Замедляя бег, скрежетали колеса, огненным роем сыпались искры.

— Товарищ! Эй! — крикнул, запыхавшись, старик, задрав голову вверх, где в неровном, прыгающем свете факела чернела фигура машиниста.

— Прицепи, сделай милость!

— Что прицепить? Говори толком, — раздался спокойный голос, и по крутым ступенькам спустился машинист, вытирая руки паклей.

— Пчелок прицепи...Замучился я с ними вконец!

— Пчел?! Ни разу не доводилось возить такой странный груз. Мед ел, а пчел не возил. Сколько вагонов?

— Два вагона. Вон они стоят обочь. Пчела — она легкая насекомая. Прицепи, товарищ! — сняв шапку, упрашивал старик. — Мне непременно надо к ночи на свою станцию попасть, подводы пригонят с колхоза за пчелками...

— Значит, сладкой жизни захотелось, дед? — усмехнулся машинист. — С медком-то чаю попить хорошо! — мечтательно сказал он, видимо, испытывая жажду. — Что ж мне с тобой делать?

«Волынит, намек дает...Дам ему десятку», — решил старик, вынимая кошелек.

— Возьмем, что ль, пчел, главный? — крикнул машинист. — Старик уже больно хороший попался...

— Сказано: идем на пределе, — равнодушно промычал кондуктор.

— А кто его, этот предел, устанавливал? Я на машину надеюсь, потянет. Бежи, дед, к дежурному: пусть прицепляет твоих пчел. Только скорей!

Старик, не успев размотать бечевки на кошельке, сунул его в карман и побежал к станции.

— Машинист приказал прицеплять...Берет моих пчелок! — радостно сообщил он, врываясь в дежурную.

— Счастье твое, — ответил дежурный сочувственно. — На такого машиниста напал.

Через пять минут маневровый паровоз взял вагоны с пчелами и подтащил их к хвосту поезда. Кондуктор повесил на последний вагон красный фонарь и взобрался с сундучком по шатким приступкам в тамбур. Рядом с ним примостился и старик.

— Поехал, дед? — спросил сцепщик, вылезая из-под вагона.

— Поехал, милый товарищ, поехал! Спасибо тебе! Будешь когда мимо нашей станции ехать, мимо Горбачевки, непременно заходи к нам в колхоз...«Расцвет социализма», Сорокинского района. От станции рукой подать — двенадцать верст! Медом угощу! — кричал старик, не помня себя от радости.

На платформу вышел с фонарем дежурный по станции. Вагон дернулся, заскрипел и медленно покатился.

— Слышь, товарищ! Товарищ дежурный! — заорал старик. — Будешь мимо ехать, непременно к нам заезжай. Медом угощу! Большое те благодарение; Сорокинского района...

Рев паровоза заглушил его голос.

Кондуктор сидел на сундучке и дремал, но старик рассказывал ему, как ловко удалось прицепить вагоны, как он бегал по станции, не спал восемь ночей, а эту уж, последнюю, спать не придется — от радости.

— Душевный человек попался! Сколько я перевидал машинистов, а таких не встречал...

— Омельянов — известный на всю дорогу машинист, — сонно ответил кондуктор. — У него орден имеется. Во всех газетах пропечатан...

— Орден! — шопотом переспросил старик, ощупывая кожаный кошелек на груди. — А я ему чуть не сунул! Вот дурак старый!

Поезд набирал скорость. Вокруг ничего не было видно, и лишь по пряному запаху спелой ржи старик угадывал, что поезд идет через поля, обремененные урожаем.

Кондуктор всхрапывал; старик сидел на полушубке, стараясь уснуть, но какие-то большие, волнующие мысли отгоняли сон.

*

Евг. Долматовский

Лелька

Шли по колено в черной воде,
Породы вынули сколько!..
И вместе с бригадой
Всегда,
Везде
Была проходчица Лелька.
Тут
(Это было в начале весны)
Навстречу бригаде пошли плывуны.
И, сжатым воздухом заряжен,
На Лельку обрушился гром.

Доктор сказал:
«Мы на кессон
Девушек не берем».
А Лелька кричит.
«Ставь на бюро!
Не отступлю назад.
Я в первую тыщу пришла на метро,
Чем я хуже ребят?».
Бригада бушует.
Ребята орут.
А Лельку в кессон не берут.

А Лелька приносит свои штаны.
(Как молнии, прыгают брови.)
«Нате! — кричит. — Мне не нужны,
Носите себе на здоровье!»
Увидел, не веря своим глазам,
Весь комитет Комсомола,
Что на щеке у Лельки — слеза,
Признак женского пола.

А Лелька к начальнику шахты бежит —
«Терпеть, говорит, доколе
Горькую, говорит,
Тяжкую, говорит,

Женскую, говорит,
Долю?»
Начальник видит — висит слеза,
Значит брать на кессон нельзя.
«Я бы взял, — отвечает, — но
Условия там не легкие.
Девушек брать
Запрещено!
Не выдержат сердце и легкие».

А Лелька всю шахту взяла за бока —
Разве ее остановишь?
«Пойду в МК!
Пойду в ЦК!
Пусть разберет Каганович.
Все по порядку ему доложу,
Как меня из бригады отсеяли.
Что же, скажу,
Делать, скажу,
Лазарь, скажу, Моисеевич?»
Приходит в МК.
Часовые кричат:
«Сил наших больше нету!
Как нам сдержать неизвестных девчат,
Не имеющих партбилетов?
Сегодня пятнадцатая прибежала,
Устроила рукопашный бой.
Жалуются. Говорят — обижают,
И неохотно берут в забой.
А ты захотела дойти до кессона —
Ну, это наверное для фасона »

Занят работой огромный дом,
Одетый в зернистый камень,
И ундервуды стучат кругом
Отбойными молотками.

И Лелька вернулась.
Глаза страшны.
Еще устроила сцену
И в шахту спустилась,
Надев штаны,
Когда наступила смена.
И долго ворчала:
«Решило бюро,
И возражать не вправе я,
Но все же, ребята, у нас на метро
Никакого нет равноправия!».

*

Дмитрий Стонов

Золушка

Много лет тому назад, еще до войны и революции, в семье железнодорожника Василия Спиридонова родилась горбатая девочка.

...Десяти лет Настю забрали из школы. Еще до этого определилось ее положение в семье. С веником в руках, согнувшись и бормоча под нос несложные песни, девочка подметала комнату, кормила поросят, доила корову, копалась на огороде. Она скоро привыкла к одиночеству, ждала, не могла дождаться: когда же все — семья была многолюдная—уйдут из дому? В такие часы Настя любила сидеть на пороге общежития — длинного, казенной формы и окраски здания. Солнце серебрило начищенную сталь, четыре рельса уходили... куда? С грохотом и шумом проносились поезда, редкий из них останавливается на глухой станции Новоселье. Настя вставала, шла в комнату. Она была мечтательна, ей ничего не стоило вообразить, что горб ее исчез, что как две капли росы она похожа на младшую сестру — красивую и злую Лелю. Из хромого шкафа — хранилища семейных благ — она доставала лелино платье, новое шелковое — и, завесив окно, надевала его. Шелк струился и сиял на ее коленях. Щеки Насти пламенели. Стоя перед зеркалом, она кланялась своему отображению, приседала, счастливо улыбалась. В эти минуты она чувствовала себя счастливой, чужим голосом здоровалась сама с собой:

— Здравствуйте, Анастасия Васильевна.

Однажды младшая сестра застала Настю у зеркала и жестоко избила ее. Отобрав платье, Леля вытолкнула горбунью в общую кухню и громко, чтобы слышали соседи, крикнула:

— Не смей трогать мое платье, урод, не смей, не смей! Ты его, горбатая, распялишь!

Настя тихо похныкала, солдатской пуговицей — чтобы незаметно было — «остуди́ла» синяки и побежала к соседке по дому. В трудные минуты она всегда бегала к ней. Комната была наполнена клетками, в клетках щелкали цветные птицы. Настя возилась с ними, меняла воду, чистила их проволочные башенки. Птицы были приятнее людей. Свесив голову, на печке лежала рыхлая, седеющая женщина. Она была бездетна и, вздыхая, не раз говорила девочке:

— Шла бы ко мне жить! Ведь, знаю, бьют тебя! Отец бьет, братья, сестры бьют, Леля младшенькая — и та норовит ударить. А уж распоряжаются, приказывают — все!

Настя хмурила брови, топала ногой. Она сжимала кулачок, несколько секунд разглядывала его и, на мгновенье поверив в свои слова, восклицала:

— Не очень меня бить можно! Кулак-то, ведь...заговоренный!

...Жизнь шла своим чередом. Одна за другой вышли замуж старшие сестры. Все просторнее становилось в комнате артельного старосты.

Началась война, за войной — революция, выехали из железнодорожного общежития сыновья Василия. К Новоселью приближались немцы. Спиридонов поехал в Псков, пожаловался на недомогания и попросил перевода — подальше от фронтов. Для порядка его освидетельствовали, добродушно пожурили за пьянство, но просьбу все же уважили — командировали на новое место, в шести километрах от Петербурга.

Из Новоселья в петербургское предместье переехало четверо Спиридоновых — Василий, его жена, Настя и младшая дочь Леля.

Было тогда Спиридонову около пятидесяти, но выглядел он значительно старше. Он пил все больше и больше. Жена много возилась с ним, прикладывала холодные компрессы к его больному сердцу. После революции старшие дети разъехались по всей стране, о них Спиридоновы ничего не знали. Мать с нетерпением ожидала совершеннолетия младшей дочери и, как только дождалась, стала умолять ее поступить на железную дорогу. Этим старуха думала закрепить за семьей комнату. Ей всегда казалось, что вот умрет муж, и ее с дочерьми выбросят из железнодорожной казармы. Леля смотрела на мать расширенными зрачками, ей хотелось плакать от незаслуженной обиды. Свою жизнь она представляла совсем, совсем иной! Она была красива — красивее всех сестер, ей доставляло удовольствие разглядывать в зеркало свой чуть вздернутый нос, небольшие полные губы и настойчивые, неотразимые, — так думала она о них, — глаза. Неужто красота ее пойдет прахом!

...Зимой тридцатого года Василий Спиридонов умер. Десять дней, слушая причитания матери, Леля провалялась на кровати, хрустела пальцами, терзала себя вопросом — как быть? Нудным голосом мать твердила о службе на железнодорожном пути. Старые законы пропитали ее, как масло бумагу,— насквозь. На четырнадцатом году революции ей все еще мерещилась какая-то «часть» и чиновники, работающие в «части»; они не замедлят явиться, они будут кричать, требовать, чтобы она немедленно очистила квартиру... Леля слушала, морщилась, — мать ей надоела. Наконец, девушка приняла решение. В горячей воде она попарила руки, до стеклянного блеска начистила ноготки, долго стояла у зеркала, причесывалась. Она велела Насте снегом почистить пальто и как только стемнело, отправилась к Николаю. Никогда не рассчитывала она выйти замуж за шофера...Что делать? Жизнь сошлась клином, лучше быть замужем, чем служить. Леле приятно было думать, что в неожиданном ее решении виновата сестра-горбунья, — горбунья, никто больше.

...Мать и Настя не спали.

Еще день тому назад вдова верила: поваляется Леля на кровати, лишний раз пожалеет свои розовые ногти и отправится служить на железную дорогу — спасать семью от голода и выселения. Но вот Леля оделась, побежала куда-то, и женщина заплакала навзрыд, по-деревенски, растрепала волосы, стала причитать. Настя ходила из угла в угол, черная тень тянулась за нею. Она вздыхала, шевелила губами — вслух произносила свои мысли. Подошла, ударила

кулаком по столу (подпрыгнула семилинейная лампа, посыпались золотые искры), решительно сказала:

— Перестань... надоело! Завтра пойду наниматься!

Она стояла перед матерью, рука зажата в кулак, брови нахмурены, на лбу складка. Из вылинявшего сарафана торчали ключицы, волосы заплетены в кривые косички. Старуха смотрела на нее сверху вниз, и от этого казалось, что горб дочери на одном уровне с головой.

Родилась бы ты, Настенька, человеком...Да разве б тебя не взяли?

Мать была откровенна, без обидной недоговоренности вслух произносила свои мысли, даже самые неприятные. Лицо Насти пошло пятнами, вдруг она закричала, громко, срываясь:

— Человек я не хуже, может, других! Не возьмут на работу — так я до Калинина дойду!

Вдова мотнула головой, горестно глянула на калеку. Она подождала, — Настя успокоилась, утихла, старуха вновь заговорила о Леле, стала доказывать, что младшая дочь отходчива. «Вот придет она, утихомирится, а ты к ней приблизься, чмок в ручку, слезинки не жалей, скажи таково жалобно: «Лелечка, красавица, добрая душа, пожалей меня, убогую калечку, божью сироту. Мать помрет, так я тебе заместо матери буду—что убрать, что чинить, что за хозяйством следить...»

Бухнула замерзшая дверь, в комнату ворвался мороз, в холодных клубах — Леля. Сняла шапочку, подула на пальцы, расстегнула ворот вылинявшего пальтеца, по щекам ее катились слезы.

— Душно мне от этой жизни...рубахи мокрые висят! — Подбежала к веревке, стянула белье на пол, стала топтать ногами. Увидела Настю, затряслась от сдерживаемых рыданий. —Чего смотришь, паразитка паршивая, счастью моему завидуешь?

Красивое лицо Лели стало безобразным. Задыхаясь, рассказала о Николае, заявила, что горбунью содержать не намерена — пусть не рассчитывает. Грохнулась на кровать, вытянула руки — окаменели пальцы, побледнел нос. Мать вновь запричитала — «опомнись, доченька!», — Настя побежала за водой, побрызгала на сестру и, когда та: — ах, ах, что со мной? » —очнулась, сурово, едва ворочая холодными губами, сказала:

— Не беспокойся, мне твоего счастья не надо. И паразиткой не смей называть! Еще я твой хлеб не ела! И не буду!

...Остаток ночи она спала тревожно. Еще до того как проснулась Леля и мать, Настя вышла из общежития... Снежный ветер ударил в лицо, ледяные иглы кололи подбородок. Настя подумала, поежилась, свернула направо. От страха, от отчаяния считала шаги. Отсчитала триста — губы перестали слушаться. Недалеко от полотна железной дороги, в выемке, у сложенной из старых шпал будки, топтались женщины. Их развлекал старичок в плюшевом манто, похожий на птицелова. Женщины хохотали. Настя остановилась. Открылась дверь, вышел бородатый мужик с бляхой на груди. Прищурил глаз, зевнул, перекрестил рот.

— Опять ты, Евграф, анихдоты рассказываешь? Имел бы совесть.

Он посмотрел на женщин, покачал головой.

— Остальные — где?

— Остальные кланяться велели, хи-хи, — за всех ответил Евграф. — Сами, Иван Федорович, понимаете — к вам на работу последний человек идет — рубль семь гривен в день, снегу нашвыряй пирамиду! Без задней идеи никто не заглянет. Скажем — проститутке трудовой документ нужен, вот она походит день-другой, поковыряется, получит его, а там — адью.

— Злишь ты меня, Евграф, — сказал Иван Федорович, плюнул, попал себе в бороду и рассердился.

Он вынес лопаты, объяснил, где нужно убирать снег, и вернулся в будку. Каждый день повторялась одна и та же история — вместо пятнадцати человек, требуемых для очистки путей от снежных заносов, приходило не больше половины. Ленинград под рукой, маломальски способный человек устраивался в городе, сюда, на чистку снега, шли отбросы — нищие, юродивые, бывшие люди — шли — до поры до времени, до первой удачи. С досады Иван Федорович выругался, расстегнул кожух, подсел к плите — она занимала четвертую часть будки. Чугунный лист раскален, синий чайник стучит крышкой, поплевывает. Железнодорожник покряхтел, нагнулся (чтоб из-под лавки достать чугунок, мерку с картофелем) и увидел Настю, — она прилипла к окошку, разглядывая жилье.

— Чего надо? — строго спросил он.

Вряд ли она услышала его вопрос. Она вошла в будку, поклонилась. «Хоть убей... без работы не уйду!». В голове запас готовых слов — объяснений, возражений, просьб, угроз: «до Калинина дойду! — она не знала с чего начать. Нарочито грубо — почти басом, пряча дрожащие руки, сказала:

— Вот...пожаловала. Давай, отец, лопату!

Иван Федорович внимательно взглянул на нее, увидел приподнятые вверх плечи, неизвестно для чего порылся рукою в мерке с картофелем.

— Тебе справка — зачем?

Настя не поняла, потом вспомнила пояснения Евграфа, — догадалась, кровь ударила в лицо.

— Я не за справкой явилась, мне работа нужна!

...Этот год был обилен снегом и ветрами. Снег лежал по обеим сторонам дороги, он был выше щитов, холодные ветры катили его по железному пути. Работа начиналась ранним утром. Настя вставала на рассвете. Она очень скоро научилась орудовать лопатой и фанерным щитом — это было значительно легче домашней суеты. Рабочих приходило мало, часто Настя работала за двоих, до сумерок оставалась на полотне дороги. В таких случаях мать приносила ей поесть и, глядя, как изголодавшаяся дочь глотает пищу, вздыхала, морщила лицо: «эх, Настенька, сиротúнка моя, не твое это дело горы ворочать! Леля гладкая, здоровая, дома сидит, а ты...» Настя слушала, не понимала, ее мысли были заняты другим. На уборку снега люди приходили на неделю, на две, затем бросали работы, — даже бездельник Евграф завоевал, наконец, более теплое и хлебное место — другой, видно, публике рассказывал свои веселые анекдоты! Невольно, из слепой

благодарности к Ивану Федоровичу, Настя стала как бы старшей на работе по очистке путей. Бородатый дядя любил подремать у плиты, и Спиридонова его не тревожила. Она раздавала и собирала после работы лопаты, веники, фанерные щитки, делилась несложным своим опытом, к концу дня с грубоватой суровостью спрашивала — «кто завтра сбежит?». За эти недели и месяцы она немало передумала, научилась относиться к себе с суровостью, свойственной многим физически-дефективным, неизбалованным жизнью страдальцам. Большинству людей дано было право выбирать какую угодно работу, и они не только пользовались, они злоупотребляли этим правом!.. Другое, однако, огорчало ее.

Кончался февраль, снег рыхлел, ноздрился. Снег как бы спас ее, он дал право на существование, на хлеб, на место под крышей в железнодорожной казарме. Было страшно подумать — что же случится, когда пути очистятся от белого покрова? Несколько раз Настя заговаривала с Иваном Федоровичем, допытывалась — что делать, с кем говорить о дальнейшей работе на линии? Старик советовал обратиться к начальнику четырнадцатой дистанции, просить постоянную должность. Он смотрел на ее горб, и девушка, догадываясь о его мыслях, как бы желая себя утешить, вслух твердила, что теперь «не те времена», принять ее обязаны, нет таких прав, чтобы людей выбрасывали на улицу, чтобы дочь старого железнодорожника лишили крова и хлеба! Не было сомнений — главный бой впереди. На работу у Ивана Федоровича она смотрела, как на передышку. Все же работа убедила ее, что с порученным ей делом она справляется лучше других. Внутренне Настя окрепла. «Нет, я не хуже людей!»

Дома произошли небольшие события. Как-то у железнодорожной казармы, в которой квартировали Спиридоновы, остановился ломовик. Со стороны вынырнул незнакомый человек, для удобства подпоясался веревкой, стал тащить в дом вещи. Это был Николай. Накануне он «расписался» с Лелей. Он жил вместе с родителями и сейчас, перебираясь к жене, привез все свои вещи — все, что успел приобрести за холостые годы — оттоманку, занавески, заграничную гитару. В свободные часы, счастливо мурлыкая, он играл романсы. Пыльное полотнище разделило комнату надвое, одну половину — чистую — занимала Леля с мужем, другую — Настя с матерью. Но, разумеется, Леля чувствовала себя хозяйкой всей комнаты. По молчаливому соглашению она стала главой семьи. Она не раз говорила, что заработок Насти составляет лишь одну пятую заработка Николая. В учреждении, где Николай работал шофером, он получал двести пятьдесят рублей. А так как на содержание матери сестры должны давать одинаковые доли, то, утверждала она, единственно на что Настя может рассчитывать, это на хлеб и водянистую похлебку. Еду мать стала готовить отдельно для Лели с мужем, отдельно для себя и старшей дочери. С ужасом Настя думала, что же будет, когда наступит весна, растает снег...

В международный женский день, когда ее освободили за два часа до окончания рабочего дня, она отправилась в контору четырнадцатой дистанции. Просторное помещение было выклеено старыми железно-

дорожными газетами. Назойливо — до ломоты в пальцах — гудел фонопор — три длинных, один короткий и опять — три длинных, один короткий. За обширным столом, положив мохнатую голову на руки, спал человек. Зеленая, огромного размера фетровая шляпа лежала на его волосах, закрывала затылок. По столу разгуливали отогретые мухи. Они подходили пить из глаз спящего, он отгонял их своим дыханием. Настя приблизилась, развязала платок, кашлянула. Человек поднял голову, внимательно взглянул на нее. И такие у него были ясные — цвета тихого ручья — глаза, что Настя забыла о всех страхах и сомнениях, весело спросила.

— Начальник дистанции — ты?

Человек потер лицо, широко расставленными пальцами причесал каштановые волосы, его огромная, с мятыми полями, шляпа скатилась на пол. Казалось, вопрос Насти дошел до его сознания значительно позже, чем он был произнесен. Он поднял палец, воскликнул «о!» и потом лишь, старательно выговаривая слова, сказал:

— Почему начальник дистанции — я? О, нет! Я — Сакута!

— Сакута — это что значит — помощник?

— Как вы сказали? Сакута — это помощник? — спросил он ее, хлопнул себя по коленам и рассмеялся. Смеялся он весело, его длинные волосы рассыпались по лицу. Глядя на него, Настя тоже захохотала, ей трудно было себя сдержать. Вдоволь насмеявшись, человек вновь поднял палец и, ткнув им себе в грудь, произнес:

— Сакута — это я! Это — моя фамилия. А начальник дистанции в своем кабинете. — И он показал рукой.

На настином пути такие — веселого сердца — люди редко встречались. Она почему-то пожала ему руку, игривой походкой — приплясывая — приблизилась к кабинету начальника и рванула дверь. Впервые в жизни она была в учреждении, понятия не имела, что перед тем, как войти, необходимо доложить, или — в крайности — постучать в дверь.

Два человека играли в карты. Недопитая бутылка с вином стояла на столе. Они так увлеклись игрой, что долгое время Насти не замечали. Как заводные куклы, они раскачивались на пружинных креслах, подскакивали. «А вот я вашу дамочку козырьком — так ее, так!» — «Ах, вот вы что! Тогда — пожалуйте — тузик!» — Пардонус, пардонус, а о валете вы забыли?»

«Бьют тебя, дяденька», — вслух посочувствовала Настя толстому, лысому человеку. Она только видела иссеченный линиями затылок толстяка, блестящую, как лелины ногти, лысину. Внезапно черты ее лица изменились, глаза испуганно замигали. Подняв голову, лысый смотрел на нее уничтожающе, подбородок его трясся. Вдруг он заполнил комнату тяжелым шипением:

— Кто разрешил...войти без доклада и в неприемные часы? — Ногой отбросил кресло, поднялся во весь рост, массивный, как памятник. — Тебе что?

— Н...насчет работы, — заикаясь, произнесла Настя.

Ее ответ еще больше разозлил начальника. Он попытался было спрятать карты, но неудачно — мелькая пестрыми рубашками, они

разлетелись по всей комнате. Изо рта его летели брызги, несколько секунд, топая ногами, он только восклицал: «что-с? что-с?» Потом, все еще волнуясь, стал цитировать устав; он задавал вопросы и тут же сам отвечал, по всем ответам выходило, что калекам — он несколько раз повторил это слово — на четырнадцатой дистанции нечего делать. Настя пятилась, она хорошо чуствовала человеческие слабости, знала: начальник никогда не простит ей того, что она застала его за карточной игрой, непрошенные слезы катились по щекам, — после беседы с Сакутой прием начальника казался особенно обидным. Спиной она ощутила дверь и вынырнула из кабинета.

Сакута стоял у печки.

Он поманил ее пальцами, а когда она подошла, сказал:

— Он что — в карты играл? (Настя кивнула, всхлипнула). Не любит, стерва, когда ему мешают. А ты зачем стояла, слушала? Бросила б пакет — и до свидания.

— Какой пакет?

— О! А ты ему разве не пакет принесла?

Настя стала рассказывать. Сакута слушал, скрипел зубами.

— Ты по закону действуй, твоя правда, — наконец, посоветовал он. — Пойди на Лиговку, там — амбулатория. Попроси, чтоб тебя освидетельствовали, объясни положение. А уже если там тебе бумажку выдадут — я устав не хуже его знаю,— конец, ничего начальник поделать не сможет.

Он прищелкнул языком и комично развел руками — должно быть изобразил озадаченность начальника.

— Два месяца висит объявление — «нужны рабочие».

...Отступать было нельзя — некуда, в таких случаях люди обычно побеждают. Спустя день, теперь уже по докладу, Настя вновь стояла перед начальником четырнадцатой дистанции. Он тотчас же узнал ее, обращаясь к ней, говорил ей «вы» и «милостивый товарищ», но ничего хорошего его подчеркнутая вежливость не сулила. Он внимательно прочел справку амбулатории, глаза его ожили, улыбка переместила складки на лице.

— Что ж, — прохрипел он и усмехнулся. — Закону я подчиняюсь, профессорам виднее. Здоровому человеку — здоровая работа. Пожалуйте в депо, ждите моего распоряжения...

Начальник что-то затевал. Что именно? Об этом Настя узнала через полтора часа, когда в депо ей заявили, что по телефонному распоряжению начальника дистанции «Анастасии Спиридоновой поручается работа на кочегарной яме».

О кочегарных ямах Настя слышала от отца. Работа по очистке ям считалась самой тяжелой и вредной, ее поручали здоровым, выносливым людям. Было ясно — начальник издевается. Как быть? Злоба и отвращение душили Настю. «Делать нечего, полезай в кочегарную яму!»

Она была упряма и настойчива, стычка с начальником ожесточила ее. Какая-то сила стояла на ее стороне, сейчас это было особенно ясно. Отныне она числилась в штате, была в железнодорожном

общежитии не только по работе, но и по удостоверению! Мать могла не беспокоиться — комнату в железнодорожном общежитии она занимала по праву!

И вот, получив прозодежду, Настя спустилась в кочегарную яму. На земной поверхности все еще потрескивал мороз, в яме душно. Она оглянулась — никого. Здесь предстояло ей работать — одной, и это как-то утешило, — столкновения с людьми ничего хорошего не сулили. Под ногами курился шлак, он лежал красными, чуть подернутыми пеплом островками. Дым резал глаза. Першило в горле. Она ударила железной лопатой. Гарь, искры окружили ее. Она крикнула, чтобы услышать собственный голос, поплевала на руки и начала работать.

...Это был самый трудный период в ее жизни, он длился больше года. Настя задыхалась от серо-водородных газов и часто, чувствуя, что теряет сознание, спешила выбраться на свежий воздух. Ее руки и ноги были в ожогах. От резких колебаний воздуха — наверху холодно, внизу жарко, душно — она простудилась, кашель не унимался даже летом. Мокрота душила ее, она не могла заснуть, так ныли конечности, и мать сидела рядом с нею, растирала ей руки и шопотом, стараясь не будить молодоженов, утешала ее, тихо лила слезы.Тело Насти покрылось несмываемой копотью, угольная пыль заполнила все поры. В морозные дни шлак замерзал, превращался в сплошную массу, и тогда, отложив лопату, Настя бралась за лом. Как крот, она рылась под землей, все больше осваивая работу. По стуку колес, по гудению, по многим и многим признакам она узнавала — какой паровоз приближается к выгребной яме. Невольно она изучила расписание, готовилась к приходу паровоза. Машинисты, их помощники привыкли к ней, как привыкли к водонапорной башне, к масленке, которую всегда находишь на определенном месте — не больше. «Ну-ка, сторонись»! — кричали они, и, подняв руки и крепко ухватившись за рельсу, Настя выскакивала из ямы.

Изредка над выгребной ямой возникала широкополая, зеленого цвета шляпа, и сверху вниз на Настю глядели ясные и внимательные глаза... Сакута! Настя до сих пор по-настоящему не знала, как относиться к этому человеку: она то улыбалась (тогда лоснились ее черные скулы), то хмурила брови и отворачивалась. Желая ее рассмешить, Сакута нарочито громко кашлял, и, нагнувшись, ладонями упершись в колени, спрашивал:

— Сакута — это что значит: помощник начальника?

Ждал несколько секунд и другим голосом отвечал:

— Сакута — это железнодорожный мастер, да! Это — фамилия, товарищ!

Она смеялась вместе с ним, она стояла, опершись на лопату, и, задрав голову, посмеивалась. Они были равны — в работе, в смехе. Но вот Сакута начинал говорить о том, что начальник дистанции не имел права поставить ее — женщину — на такую трудную работу, по существу говоря, это — издевательство, она должна пожаловаться в профсоюз, — и, как от боли, Настя морщилась от этих слов. Проф-

союз? Да, ее приняли в профсоюз, выдали красную книжку, велели хранить, каждый месяц отчисляли от жалованья рубль пятьдесят копеек. Но какое отношение к ее работе мог иметь профсоюз? Вдруг она обращала внимание на то, что слишком долго болтает с Сакутой, слишком много минут потеряно, работа не ждет! И она плевала на руки, крепче ударяла лопатой, сурово отвечала:

— Я — сама по себе! Я довольна!

После этих слов Сакута мог бы, кажется, заключить, что с Настей можно говорить о чем угодно, только не об этом. Все же несколько раз он возвращался к вопросу об ее работе на выгребной яме, а однажды, радостный, заявил, что, начиная с завтрашнего дня, ее ставят на погрузку платформы, — профсоюз все же вмешался в ее судьбу. Так ли оно было в действительности? Об этом Настя не хотела думать. К тому времени она еще больше научилась уважать дело своих рук, да и к самой себе появилось уважение. Год тому назад ее поставили на самую трудную работу, с которой могли справиться далеко не все мужчины, и вот она победила, научилась ворочать тяжелой лопатой, ловко, груду за грудой очищать яму. Сейчас ее переведут на погрузку платформ. Что ж, дистанции, видно, понадобился исполнительный работник, она готова себя показать и на погрузке. Начальник уволен, теперь никто не посмеет к ней придираться.

...Новая работа немногим отличалась от прежней, — Настя так же аккуратно и добросовестно, до томления в мускулах, трудилась. Отныне она дышала свежим воздухом, под ногами не горела земля. Лицо ее порозовело. У нее был немалый опыт — сейчас он пригодился. Рядом с ней возились женщины — неловкие и жалкие в своей беспомощности, и, закончив «урок», ей было приятно им помогать.

Временами появлялся Сакута. Дорожный мастер шел вразвалку, в такт шагам шевелились поля его мятой шляпы. Настю тревожили добрые — не жалостливые ли? — слова, внимательный взгляд, и в то же время хотелось, чтобы Сакута приблизился, посмотрел, как она работает, похвалил. В присутствии старого приятеля она быстрей и уверенней действовала лопатой, она чувствовала — Сакута одобряет каждое ее движение. В самом деле, он любовался ловкостью ее рук, и чем больше любовался, тем больше хаял ремонтную бригаду. Поздоровавшись, усевшись в сторонке и прутиком ковыряя землю, он тотчас же начинал рассказ о сезонниках — рабочих ремонтной бригады. Он качал головой, бил себя в грудь, глаза его грустнели. «О, чорт возьми, с этими лопатниками немыслимо работать!». Двадцать пять лет Сакута ремонтирует железнодорожные пути, до сих пор не видывал он таких сезонников, не приходилось работать с такими людьми. Они приехали из деревни и только и думают, что о получке, о ситце, о штанах и хлебе. Каждый день они клянутся, что на другой работе можно лучше заработать, они готовы бросить лом и кирку и уйти. Конечно, он понимает,— Ленинград должен их перевоспитать, переварить в своем котле, но норму-то от него, Сакуты, требуют, начальнику дистанции нет дела до того — что представляют собой его рабочие!

Как-то он предложил Насте перейти в его бригаду. Зачем? Он объяснил сложно и малопонятно:

— Весело работаешь, Настя! О! Посмотришь на тебя и сразу ясно: работа — жар души...

— Ну?

— Вот и ну! Будешь с моими рабочими трудиться, привьешь им любовь к работе.

Так как до этого дорожный мастер рассказал смешную историю, и все были настроены на веселый лад, Настя ответила с задором:

— Привить...Чего? Я не фельдшер.

Она была польщена предложением Сакуты, — не из жалости ведь, не из желания обидеть иль высмеять он зовет ее в свою бригаду! Тем не менее, отвернувшись, она добавила с подчеркнутой суровостью:

— Мне — что? Всюду работа одинаковая! Говори с начальством, мое тут дело десятое!

...Спустя три дня она числилась в ремонтной бригаде Сакуты. А еще через день...

...Ропот прошел по сермяжному ряду, кто-то запел петухом, кто-то, прячась за спиной соседа и меняя голос, дурашливо воскликнул: «Спасибо, хозяин, бабочку ты нам привел...интересную!» Все заржали оглушительно, жестоко. Настя стояла в стороне, натягивала рукавицы, снимала их и вновь натягивала. Сакута притворился, что ничего не слышит, он передвигался с места на место, ни на мгновенье не останавливался, то справа, то слева мелькала его шляпа. Он имел обыкновение перед началом работы выстраивать бригаду, то же самое он сделал и сейчас. «Живей, живей, пошевеливайсь!» На запасном пути стояли платформы с балластом, их следовало разгрузить. Дорожный мастер распределил рабочих — по два на платформу. С Настей послал он самого тихого парня. Неожиданно парень дернул плечом, лицо его побурело, стало тупым и жестоким.

— Не пойду я с горбатой бабой, — крикнул он изо всех сил. — Другого пошли

— Отставить! — скомандовал Сакута, движения его были лихорадочны. Неожиданности шли друг за другом, он боролся с ними на ходу — по обычаю опытных вояк. Затея проваливалась, было ясно — он совершил ошибку. Огромным напряжением воли он заставил себя улыбнуться, глаза его остановились на маленьком, всегда расторопном Шлыкове.

— Я ошибся, — как можно спокойнее сказал дорожный мастер. — Со Спиридоновой пойдешь ты, Шлыков!

Но и Шлыков ослушался, он почему-то поднял армяк, вытряхнул и стал его надевать.

— Нет, — произнес он, ловя крючком петлю. — Нет, — повторил он. — Я лучше с дороги уйду. Все смеяться будут, я не желаю. На родину напишут, там будут смеяться.

Сакута швырнул лопату, сел на кучу желтого песка, закрыл лицо. Стыд, холодная тяжесть томили его, он не знал, как поступить в следующее мгновенье.

Ему на помощь пришла Настя.

— Мне помощники не нужны, — сказала она, все еще возясь с рукавицей. — Одна буду разгружать платформу!

...Самолюбие мешало Насте уйти из сакутовской бригады. Третий год работала она на железной дороге, четвертый раз меняла специальность, не было еще случая, чтобы кто-нибудь обгонял ее!. К тому же ремонт пути заинтересовал ее, работа здесь была разнообразная, приходилось не только напрягать свои мускулы, — приходилось думать! Только покончили с исправлением толчков, как началась разгонка зазоров, за разгонкой следовала рихтовка. Объяснения давал Сакута. Было хорошо, что сезонники, как и она, не были знакомы с ремонтом пути — иначе сколько лишних насмешек пришлось бы ей перенести! К недоверию, к презрению привыкать не приходилось. «Шутите, мужички, уж до слез вы меня не доведете — умнее стала, тверже стала!» Теперь на презрение Настя отвечала злой насмешкой. Это право смеяться над мужицкой тупостью она завоевала упорным трудом. Не прошло и трех месяцев, как она научилась владеть инструментом, и там, где не умела брать силой, брала умом и сноровкой. Во время обеденного перерыва, когда, наевшись, сезонники растягивались на откосе, засыпали, Настя уходила в сторону и, убедившись, что никто за нею не следит, училась забивать костыль в кучу песка. Костыль падал, Настя поднимала его и вновь, и вновь забивала. Неразрешимых задач для нее несуществовало, наоборот — чем труднее давалась работа, тем все упрямее хотелось ее изучить, выйти на первое место. Она помнила слова Сакуты: «Вобьешь костыль в песок — значит сумеешь вбить его и в шпалу».

За этим упражнением застал ее однажды Сакута. Настя отбросила молоток, натянула сапоги и насмешливо и вызывающе глянула на дорожного мастера. Он притворился, что ничего не заметил, потер руки, потоптался с ноги на ногу, почему-то достал из кармана уровень, вновь спрятал его. Надо было заговорить — о чем? Поведение бригады разъединило их, он чувствовал себя виноватым перед Настей — зачем, зачем он пригласил ее в свой отряд?! По правде говоря, он не понимал, какая сила заставляет Спиридонову переносить все насмешки и оскорбления, что держит ее в его бригаде? Ладонью вытерев лоб и взмахнув шляпой в сторону сезонников, он начал издалека и возвышенно:

— Темный, темный народ в моей бригаде, товарищ Спиридонова! — За последнее время ему трудно было называть ее по имени.

— Меня это не касается, — резко ответила Настя.

Давно уже Сакута потерял легкость своей души, он смотрел на нее с недоумением и тревожной грустью. Эту грусть она путала с жалостью. Взгляд дорожного мастера жег до крови, он напоминал нерадостное детство. Почему изменился Сакута? Теперь уже не радовал, не ободрял его взгляд, — одним своим видом дорожный мастер злил ее. Неожиданно она решила сказать ему об этом и произнесла первые, пришедшие на ум слова:

— Вы вот что, товарищ Сакута...Если вам кого жалеть надо — так

уж вы своих сезонников пожалейте. А то — напрасно беспокоитесь, меня жалеть нечего! Не нуждаюсь я!

Сообщилось ли ему ее состояние? С небрежностью, которая подчеркнула правдивость его слов, он сказал:

— Чего тебя жалеть? — Ты — сильная, ты лучше мужчин работаешь...

— Я это знаю, — просто перебила его Настя. Наконец-то Сакута заговорил понятными словами!

...— и должна их учить, грубиянов.

— Я учу, — совсем уже весело ответила Настя.

— Мало! Есть у меня одна мыслишка...Только — о! если еще о жалости скажешь...

Настя нетерпеливо дернула плечом, и Сакута заговорил. Одно время ему казалось, что сезонники прекратят травлю — должны же они в конце концов остепениться! Но когда на дистанции вывесили стенную газету с фотографией Спиридоновой — теперь об ударной ее работе знали во всех бригадах — и кто-то на снимке выколол глаза, мастер понял, что Насте следует уйти из его группы, и чем скорее, тем лучше. Не было, однако, гарантии, что издевательства над Спиридоновой не вспыхнут и в другой бригаде. Поразмыслив над этим, Сакута пришел к заключению, что Настя должна стать бригадиром, сколотить свою женскую бригаду. Об этом спеша, запинаясь, боясь ее обидеть, он и сказал Спиридоновой, посоветовал внимательней приглядываться к работе, обещал в обеденный перерыв, в свободные часы обучать ее ремонтному делу.

— Я не сомневаюсь, что ты осилишь эту работу, — в заключение воскликнул он. — На дороге я не первый год, глаз у меня верный, и если...

— Погоди хвалить, — оборвала Настя. — Я себе цену знаю. Посмотрим — что выйдет.

...Теперь она не только трудилась, она старалась осмыслить каждый свой шаг, каждое движение, приглядывалась ко всем процессам ремонта. Свой сегодняшний день она давно уже перестала считать горьким и несчастным. Не было месяца, чтобы о ее работе не появилась заметка в стенной газете, а то и в «Сталинце». Теперь девушка твердо знала, что для бригады, для дистанции, для всей Октябрьской дороги она дороже и нужнее бессмысленно гогочущих парней.

...Незаметно для Насти, еще менее заметно для домашних, центр ее жизни был перенесен на железную дорогу. Железнодорожный путь стал не только местом для работы — он стал основой и смыслом ее существования. Здесь было все — радости, огорчения, печали, будущее! Домой она являлась лишь для того, чтобы поужинать, раздеться и юркнуть под одеяло.

Попрежнему она справлялась с работой, попрежнему обгоняла мужчин из сакутовской бригады, перевыполняла их норму. Но, ведь, она жила не только настоящим — она мечтала о будущем! Сможет ли она — и когда? — стать бригадиром? Она проверяла все свои действия, каждый шаг и неизменно приходила к заключению,

что ей недостает технических знаний. При всем желании Сакута не мог их ей дать.

Об этом, со спокойствием, которое удивило ее, она заявила на производственном совещании своей дистанции, неожиданно для себя произнесла длинную речь — первую речь в своей жизни. На совещании выступило несколько человек, все они отметили старательную работу Спиридоновой. Настя слушала, алела от радости. Но когда один из выступавших заявил, что «от Спиридоновой мы ждем многого, Анастасия Васильевна должна итти все вперед и вперед», ей захотелось высказаться. Она сразу заявила, что вводить товарищей в заблуждение она не намерена, для того чтобы итти вперед, ей нехватает технических знаний. И, передохнув, пристально вглядываясь в лица собравшихся, она спросила — как быть?

На этот вопрос, знала она, совещание не может не ответить. И, действительно, ответ был немедленно найден. Без отрыва от производства Спиридонову командировали на курсы по техминимуму.

...Второй раз в жизни Настя обзавелась книгами, детство повторялось, как в радостном сне — без горести и печали. Инженеру Маркову, одному из преподавателей курсов, она в первый же вечер призналась, что хочет не только повысить свою квалификацию, но стать бригадиром по ремонту путей, бригадиром, никак не меньше. Инженер привык к подобным признаниям, он имел дело со взрослыми людьми, по собственному желанию они меняли свои судьбы, управляли ими, как хотели. Он сказал:

— Хоть инженером, товарищ Спиридонова, хоть начальником дистанции! Все зависит от вас.

— От меня, конечно, зависит, это я стала понимать, — ответила Настя. — Только вы мне все показывайте, и если не пойму — не обижайтесь — покажите еще раз!

...К объявлениям, висевшим в конторе четырнадцатой дистанции, прибавилось еще одно: «требуются женщины для работы в женской бригаде по ремонту пути». В просторной комнате, где когда-то добрым словом утешил ее Сакута, Настя вербовала людей. Она встречала их у входа, чтобы с первой минуты предложить свою чуткость, человечность, дружбу. Пришла мать-кормилица с ребенком на руках.

«Ребенка где оставлять будешь?»

«С собой на работу возьму».

— «Не дело — скоро осень — надо его в железнодорожные ясли определить».

Явились три бобылки, — вместе с Настей они разгружали платформы. Явилась женщина с кривой усмешкой, с темными кругами вокруг красивых глаз, и нервно пощелкав пальцами, сообщила, что некогда работала на ремонте пути.

«Думала — совсем ухожу — не пришлось», — сказала она и насупилась.

В чужом горе, как и в своем, Настя разбиралась легко. Было ясно — женщина нуждается в общежитии. И Настя приблизилась к дверям кабинета начальника дистанции. Мимоходом вспомнила она,

как первый раз входила в кабинет начальника. Как далеко это время! Теперь она твердо знала, — человек, занимающий кабинет начальника дистанции, удовлетворит все ее законные требования. И если он мешкал с ответом, не проявлял достаточной чуткости, Настя шла в партийную организацию, в профсоюз. Еще задолго до этого она начала посещать политкружок.

За бригаду можно было не беспокоиться. Все же, перед тем как выйти на работу, Настя обратилась к новым своим товарищам с горячим словом, долго говорила о том, что труд необходимо осмыслить и полюбить — только тогда он не будет в тягость.

— И не обижайтесь, если я вас стану учить, — сказала она напоследок. — Вам не только работать придется, — вам с первого дня следует готовиться быть мастерами своего дела!

По положению бригадира она могла всю свою работу свести к указаниям. Тем не менее она решила трудиться наравне со всеми членами коллектива. В первый день «бабья бригада», как ее успели прозвать на четырнадцатой дистанции, отправилась на подъемку пути. И, вместе со всеми работницами, Настя делала «подбойку», заглядывала «под шейку». По ее разумению — эту мысль она с первой же минуты внушила своим новым товарищам — бригада представляла собою, как бы единый организм. «Надо стараться, чтобы все руки работали одинаково хорошо!» Еще в бригаде Сакуты, глядя, как неохотно тюкают кирками сезонники, она думала об этом. На подбойке и подштопке пути, как, впрочем, и на других ремонтных операциях, достаточно одному работать спустя рукава, чтобы, после того как прошел первый поезд, получился провал и старания всего коллектива пошли на смарку.

...Настя была хозяйкой своему добру, а так как добро росло с каждым месяцем, то постоянно, без нажима и желания с ее стороны, она стала хозяйкой дома. Восемнадцать премий она внесла в свою комнату, были месяцы, когда она зарабатывала по триста и больше рублей.

Свою половину комнаты она выклеила светлыми обоями. У ее постели, на полу, лежал коврик, — пушистый лев вылезал из багровых плюшевых зарослей. Дорпрофсож преподнес ей дорогой — за семьсот рублей — радиоприемник. На этажерке, мелькая разноцветными корешками, в приятной тесноте стояли книги. Пыльное полотнище, разделявшее комнату на две части — чистую и «простую», потеряло свой смысл, и Леля, посоветовавшись с мужем, решила его снять.

...В сущности, бригада Насти давно уже работала лучше и успешнее всех бригад дистанции. Стахановское движение, дав название этим стараниям, влило новые мощные силы в поток коллективной рабочей энергии. Это была всесоюзная перекличка одинаково работающих друзей, призыв к еще большим успехам. Общая линия была намечена — на шахте в Ирмино, на горьковском автозаводе, на вичугской ткацкой фабрике. Бригада Насти подхватила ее. Наконец-то Настя могла не только желать, но и требовать организации работы по-новому. Теперь она требовала, чтобы новые шпалы ле-

жали вдоль ремонтируемого пути, чтобы за ними не приходилось бегать чуть ли не за километр. Заработок бригады вновь быстро пошел вверх, он добрался до четырехсот рублей «на бабу». В чем тут дело? Не кроются ли за этим темные махинации? Об этом стали поговаривать в других бригадах.

Когда слухи дошли до Насти, она на несколько дней оставила свой коллектив и отправилась в самую отсталую бригаду Шушара. Ей очень хотелось пойти в бригаду Сакуты, показать его сезонникам, — как следует работать.

Но с некоторых пор она стала обдумывать каждый свой шаг, советоваться с руководством дистанции. Она знала, видела, понимала, что к ее работе приглядывается вся дистанция, это ко многому обязывало. В эти дни Настя реорганизовала систему работы шушаровской бригады, и шушаровцы стали зарабатывать в полтора раза больше нормы. Настина же бригада уже давно перевыполняла план на 250 — 300 процентов.

...Настю разбудили в три часа ночи. От холода она стучала зубами, долго не могла согреться. Синяя ночь лежала над землей, зябко мигали звезды, глаза семафора глядели в упор. В голове туман, ничего не понять.

Москва немедленно вызывала к телефону Анастасию Спиридонову. Настя напрягала память, но при всем старании не могла вспомнить ни одного человека, которому понадобилось бы нарушить ее сон. Нет, нет, это ошибка! И в десятый раз она спрашивала сторожа четырнадцатой дистанции:

— Может, на дороге еще одна Спиридонова служит?

Сторож разводил руками — его потревожили, ночью заставили разыскать Спиридонову. Он лично был уверен, что дело терпит, вызов можно было отложить до утра. Ночные звонки он не одобрял.

— Приказано — Спиридонову Анастасию Васильевну, ремонтного бригадира. Мне что сладко, думаешь, топать?

Настя с недоверием подошла к телефону, пожимая плечами, взяла трубку. Между тем, сторож погасил верхний свет, сел к столу — дремать. Настя назвала свое имя. И тотчас же в трубке откликнулся незнакомый голос:

— Анастасия Васильевна, разрешите вас поздравить с высокой наградой партии и правительства — с орденом Трудового красного знамени. Утром вы прочтете об этом в газетах. Спокойной ночи.

Она машинально повторила — «спокойной ночи», повесила трубку, в ее ушах еще долго стоял усыпляющий гул проводов, гул, казалось, пронизывал ее насквозь. Она оглянулась — знакомое здание четырнадцатой дистанции, круглая печь с заметными даже в полумгле пятнами от частых прикосновений, забрызганный чернилами стол, — вот, кажется, сторож поднимет голову, откроет глаза и окажется, что это вовсе не сторож, а Сакута, зеленая шляпа свалится на пол, дорожный мастер поднимет длинный, как карандаш, палец и скажет: «О! «О»! — скажет он и улыбнется светлой и открытой улыбкой, той самой, которой она теперь научилась улыбаться всем дру-

зьям по работе и борьбе. Вдруг она заспешила, она вспомнила, что мать, сестра были встревожены необычайным ночным вызовом и ждут ее прихода.

Тихо, боясь разбудить сторожа, она вышла из конторы. Звезды стали еще меньше, зато ярко горело электричество, острым светом заливая дорогу. Настя останавливалась на каждом шагу, вспоминала. Вот — шпалы, ряды новых шпал, —они недавно положены ее руками. Вот — свежий балласт, он еще не успел покрыться нефтяными пятнами. Здесь, исправляя толчки, хорошо потрудилась бригада! Сквозные щиты стояли с обеих сторон дороги. Когда их установили? Настя задумалась. Ветер дул в спину, ленивый, сырой ветер, он тревожил воздушные, недавно слетевшие с неба снежинки, едва заметной кромкой, не отставая, они шли за нею.

Дома горел свет. Опустив ноги и укрывшись одеялом, сидела мать, она раскачивалась, засыпала и тотчас же вновь открывала глаза. Она спокойно выслушала сообщение дочери, кивнула головой и тотчас же стала одеваться, убирать комнату.

— Спи и мне не мешай, — предложила Настя. — Завтра рабочий день.

Но на этот раз старуха ослушалась, она не хотела спать, она решила немедленно убрать комнату. Настя ворочалась с боку на бок, не могла заснуть. Тогда она оделась, привела себя в порядок, села, ладонями закрыла лицо. Надо было сосредоточиться, подумать... Мать перетирала книги, подняла коврик (тело пушистого льва мгновенно свернулось в трубку), пошла его вытряхивать. Вернулась — розовая, пахнущая снегом, задумалась — не забыла ли чего?

— Ты зачем убираешь? — спросила Настя.

— Как зачем? — удивилась мать. — Теперь ты, доченька, большой человек, теперь к тебе народ может явиться. Ну-ка, скажут, как живет Анастасия Васильевна? А у Настюшки — не убрано.

— Какой народ?

Старуха не могла ответить. Ее охватило волнение, вряд ли она сейчас была в состоянии объяснить свои слова и поступки...Она нисколько не удивилась, когда с утра к железнодорожной казарме стали подходить люди. Она стояла на крылечке, показывала, как пройти к Анастасии Васильевне. Люди шли без конца, комната Спиридоновых не могла вместить всех желающих, люди стояли в коридоре, на кухне, в передней, на крыльце, перед домом. Наконец, Настя вышла к ним на улицу. Она была бледна, глаза чуть испуганы. Теперь за одиночками показались группы. Бригада шла за бригадой, красные полотнища щелкали в морозном воздухе. Пришли подруги по коллективу, протиснулись вперед, окружили Настю кольцом. Народ все прибывал. Настя не двигалась с места, глядела вдаль. Скоро она заметила зеленую шляпу. Человек шел враскачку, шляпа приближалась толчками — Сакута! Улица была запружена людьми. Сакута пробивался вперед. Он задерживался на мгновение, на два, чтобы вскоре вновь дрогнуть, приблизиться. Все же слишком медленно перебирал он ногами, и Настя мысленно подгоняла его. За шляпой алело знамя, оно не отставало ни на шаг. Наконец, Сакута вырвался

из густой человеческой массы, и тут стало ясно, почему он так медленно двигался. За ним тянулась бригада.

Сезонники пришли поздравить Спиридонову с орденом Трудового красного знамени.

Настя смотрела, кусала губы. Слезы брызнули из ее глаз, они не надолго заслонили улицу, людей, красные знамена. Она отвернулась, вытерла лицо, заставила себя улыбнуться. И люди, стоявшие кругом, пристально глядевшие на нее, поняли, что и слезы и улыбка Насти выражают, в сущности, одно чувство — чувство обширного счастья.

☆

Яков Шведов

На Северном вокзале

Синему экспрессу
Путь далек!
Едут комсомольцы
На Восток.

Уезжаю, девушка, в приамурский край,
Здесь меня в разлуке, ты не забывай.
Сколько лет подругой ты моей была.
Сколько лет любимым ты меня звала.

В пять минут седьмого поезд отойдет.
Встреча в Комсомольске — ровно через год.
На вокзал, к вагону принесу цветы...
И в разлуке сниться будешь только ты!

Отвечала девушка: — Знаешь, дорогой,
Нестрашна разлука в этот раз с тобой.
Чтобы чаще встречи были впереди...
...Ты в вагон соседний чаще заходи.

Кипятку добуду, гостем назову;
Вместе покидаем милую Москву
И с тобою вместе прошепчу слова:
— Ты прощай надолго, любая Москва!

Синему экспрессу
Путь далек!
Едут комсомольцы
На Восток.

☆

Бессмертие

После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон закричал и заплакал паровоз ФД. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен был почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась — на материнском крюке ее тендера висел беспомощный, тяжеловесный состав, а на входном светофоре был красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара — сигнал светил устойчиво — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ночной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, поездил по земле. Он не выругался во тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн,—бандажи паровозных колес будут высекать огонь из замерзших рельсов.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогнулась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле доотказа. Клапан баланса то рычал в воздухе паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руку поводок сирены.

Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрехали собаки, которых, вероятно, обеспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак...

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушивалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо в отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило! — заговорила кухарка для себя. — Либо другое сказилось что, а бис-автоматчик спит!.. Ну что ж это такое: ну не мученье, ну не разложенье это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она, босая, подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с перегона. Но в комнату она не вошла: она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон, кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого... Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит... Обожди минуту! Послушай горку!..

Кухарка Галя тоже прислушалась. С другого направления, не там, где кричал поездной ФД, слышались теперь жалобные гудки второго паровоза.

— Слышишь? — спросил в телефон начальник. — Скомандуй на горку, чтоб тормоза отдали: горочный паровоз не может осадить состава!

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя пошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко посвистывал маневровый паровоз. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак не принимают?.. Где транзитный состав из нулевого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович.—Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу... Что? Нет: я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

— Ну не демоны, не чертячьи это остатки!.. Скажусь-ка я Лазарю Моисеевичу про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтоб спать хозяину в сутки давали...

Большое сердце Галины болело от всяческих неполадок на транспорте, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу.

Она долго еще не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом.

— Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по путям! — думала она. — Люди говорят, что от холода рельсы пополам трескаются... Нето нынче треснут, нето нет! Пускай бы уже нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет... Завтра надо ему сметаны купить. Чего-й-то это колхозники возить ее мало стали: сами лопают, зажиточные черти, ишь, морды какие в степях живут!

Галя вспомнила лица знакомых колхозников.

Обрадовались теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость. — Мы — селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вот он класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит...

Сама Галя тоже была колхозница-господарка, однако сердце

ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости — масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила втайне потягивалась, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая точка,—она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз, точно горел светильник на удаленном посту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновенье мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

На утро Галина взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую давно, в старинные года, из кусков юфти и украинского полотна; не однажды Галина латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку; он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проездил по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства — только государство добрело от товаров, от многолюдства, от движения грузных поездов. Казалось, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галина уже не застала хозяина; зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимутрокских кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадрам портят...

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство танцовало перед вами, — я вам не оно!..

— А что ж ты, раз ты не оно? — спросил Полуторный. — Контра, что ль?

— Она! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал, что он не знает как быть, и круглые сутки тоскует: у кур его нету подходящего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а не-

которые уже летать приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение.

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый... Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу...

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай баба займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы пожарил всех кур на закуску к наливке... Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх жизнь, когда ты сорганизуешься, чтоб уж не чуять тебя!

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости; на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезда... Самому нельзя сделать работу тысячи человек; его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система работы лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался. Он был один; со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согревать другого человека своим дыханием—держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы... Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее; у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры, хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда, от которой до костей прозябает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в кровь своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неощутимо, почти бессознательно борется с внезапным наступлением личных, интимных, потрясающих сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович... Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик; его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин. Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что ее прямо не касалось она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси веник, поговори с его женой... Ступай хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел незнакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

— Здравствуй... Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу итти...

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же... О, господи?

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли... У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палеток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а оно в прах пошло. По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено преет, а ты только вздыхаешь ходишь...

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела...

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела, — по-дурацки, по-кулацки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чортовой матери.

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове...

— Зачем тьма!.. У меня мысль!

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало... Тьма у нас ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна... Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь...

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве работал Каганович, жила жена начальника станции. В сумраке

онного окна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, — тоже живущих себе здесь в своих надеждах и заботах, — и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия этого места потом не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же сообразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне?

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав, больше, о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права, судьба необратима, и у начальника станции есть уже вторая, любимая жена, есть девочка — дочь, с которой он выйдет под-руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно к пассажирскому составу. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разглядывали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать; свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одинокий человек, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. «Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей... А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить по-семейному: с женою среди родных детей».

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович! У конторщика жена на шпалозаводе работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь замком закрыта... Ведь это что за жизнь: ну прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате, в ихней же хатке... Дитя одно целый день живет: отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эммануил Семенович! Их пора организовать

— Ступай возьми у конторщика ключ от его хатки, — сказал Левин,— посиди с ребенком, пока отец с работы не придет. Сейчас его некем сменить...

— А обед кто вам сготовит? А кушать чего будете? — воскликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить натощак...

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя мати!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко опять приедет, а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут, — а где твоя кухарка-гадюка, отчего ты постный такой, — а ну пускай кухарка за то дело в лес поедет, десять лет на тыщу человек борщ варить!.. Так добрее же будет взять того мальца в одеяло с собой на квартиру, обед сготовить и с ним поцацкаться...

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на горку и на контрольный пост.

Ночью смазали, выбили из графика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия — это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к себе ночного командира по отправлению, который еще бродил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. — Раньше ты говорил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомился, — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе нехватало зарплаты, — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, компенсации... Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки... Что с тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник...

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный человек, может — беднее, несчастнее тебя! — воскликнул Левин, упустив на мгновение свою волю.—Я сам буду дежурить за тебя сегодня в ночь: ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали партийный билет...

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой,— сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами собой побежали по его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики; Левин сказал им, чтоб они говорили только о мелких подробностях работы, главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии — ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер сошел на стрелке, отчего это было? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — сказал Захарченко.—Меня рвать вчерашней едой начало от совести...

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сошел хоппер, — объяснил за него Левин. — Ты дремлешь на работе; опоздал посигналить на пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном... Ты жаден, Захарченко! Ты живешь за десять километров отсюда, и дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, приедешь, сразу садишься за гончарный круг. Поспишь потом немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства, потом сюда едешь... Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной, тебе спать надо, а ты за поезда берешься... Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, более никак не выходит, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но это мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше: горшки нам нужны, горшков нехватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим, и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял.

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь...

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная... Может, потом застервеет...

— Не застервеет: воспитаем, отрегулируем. Ты ее сам не испорть...

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник...

— Гляди! — сказал Левин. — Живи хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица. «Эх ты, жлоб московский, жадный чорт! — сказал он в стекло,— Блинцы только любишь глотать... Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы, глиняные...»

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки, — то замедлители пасовали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострялся и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и внимания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя и то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила, хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился...

— Пускай учится, — сказал Левин.

— Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуется

тогда. Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой... Хочу, говорит, один французский язык, это культурность! А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала, из ружья в точку стреляла, детей чужих в саду за ручки водила, — и все ни к чему. А потом за куроводство взялась, а сейчас на французский перешла...

— Тебя она часто ругает? — спросил Левин.

— Сквозь... Как только заметит, что человек — я, стало быть, — явился, так и пошла: гыр-гыр-гыр,-гыр, гыр-гыр-гыр-гыр ...

Левин остановился около столба и, прислонив к нему блок-нот, написал записку.

— Знаешь, где редакция «Транспортника»?.. Отдашь эту записку товарищу Левартовскому, редактору. Он позовет твою жену на работу, — я ему позвоню, в чем дело. Пока они так ее потерпят, — без французского, а потом заставят учить в обязательном порядке, как журналистку... Она в игрушки у тебя играет, нехай займется настоящей службой, а французский язык сначала на приманку пойдет, а потом уж всерьез. Сперва пусть хоть воду в графины наливает.

Полуторный стоял в счастливом удивлении.

— Ну, Эммануил Семенович, ты целый центнер с меня снял...

— Какой центнер...

— А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит, — мещанка такая!.. Ну теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит!

Время проходит, больше половины жизни прожито... Все лучшие, зрелые годы после окончания института Э. С. Левин прожил одиноким. Дружил он наиболее прочно и постоянно, в сущности, только с железнодорожным пролетариатом, дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастьи большего труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела на небе. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам расшил ночной график, выбросил все поезда со станции, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдали; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан, на большом форсе, брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб дольше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей,

чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона.

Наслаждение же одним любимым существом само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком...

Спать уже поздно было... Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшееся от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, а может быть — хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней, как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б он явился.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни. Он сидел в школе рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид, начался урок по закону божьему. Священник спросил Володю; мальчик неловко встал за партой и нечаянно небрежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: «Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь... Надо вас рассадить...» Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: «хочу домой». Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

Скорей, Эммануил Семенович, вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась... Транзитный на север задержали, — дежурный думает, может, понадобится что везти: кто его знает...

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож. — Кто ж, как не он!

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которые изнывали от любопытства. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— А я —Каганович. Здравствуйте, товарищ Левин! Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?

— Нет, Лазарь Моисеевич, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром... Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку...

Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный: он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, Лазарь Моисеевич, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Каганович понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь новое, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, Лазарь Моисеевич...

— Самое трудное, самое нужное, — говорил дальний, ясный голос; слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом пространстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщал, как работает станция.

Нарком спросил, чем ему надо помочь.

Левин не знал вначале, что сказать.

— Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич. Я теперь передумаю сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный скулящий звук электромагнитного возбуждения, преодолевающего огромную шаровую выпуклость земли. Оба человека молча слушали это мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал Каганович. — Она еще долго будет итти...

Левин вздрогнул. Интонация раздумья, человечности, тревога истинной героической души была в этих словах, сказанных точно про себя.

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, Лазарь Моисеевич... Мы будем работать, зима пройдет.

Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.



Николаев. У горы Магнитной. Выставка «Индустрия социализма»

— Не утешайте, Левин, самого себя, — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти из нее, а не привыкать к мысли, что, она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох... Пишите мне письма или вызывайте к аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

Один помощник Левина имел лицо заклятого врага турецкого султана[1]. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начинал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал во-время. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое дело, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное, домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя, как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть...

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь...

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — в Красном, бордовом Перегоне!..

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбудившегося сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново...

[1] Т. е. запорожца



Мальков. Товарищ Л. М. Каганович на митинге стахановцев-железнодорожников в Центральном парке Культуры и Отдыха в день железнодорожника.

д
б
н

П
п

с
з
р
м
ст
н
Е
и

о
и
д
Л
не
че
бы
кр
и
за
ее
ж

ли
ва
ст
Ра
ли
пр
ще
жо

че
си

не
гл
ум

— Слыхал, — сказал Едвак. — Он нарком, а я нет.

— Ты нет, — произнес Левин. Ты вчера два поезда задержал на десять минут, два вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не приедет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится...

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжельше дела, по слабым я слаб... Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали, — людям работать мешали!..

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах, и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впустую своего ума и сердца — это лишь общественный форс и искаженная маска талантливой и гордой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело поплечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспосабливать свою душу ради приближения к другой, всегда завороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин, согнувшись, шел по путям в дальний парк прибытия. «Нельзя ли систему предварительной информации начинать в месте формирования поездов?» — подумал он и улыбнулся. Как странно, он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет—меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение нормы простоя, коммерческая скорость, график...

— Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии, сидеть на завалинке и будут рассказывать, как слепые деды...

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересует лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

...В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. «Надо ее подучить и отправить работать на горку, — решил Левин. — Что ее держать, зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека. Безобразная вещь!»

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры... Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные паровозы пели на удаление.

Левин забывался, свет его покрасневших от бессонницы глаз угасал во внутренней тьме беспамятства.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висела у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взялся рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, это я — Едвак. Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал, — Левин спит спозаранку: чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты же меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь,— сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло на ум соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке достаточно велик, можно добавить нагрузку.

*

Бела-Иллеш

Пожар в метро

(Отрывок из романа «Все дороги ведут в Москву»)

...Сидоренко был один в воздушном шлюзе, похожем на вагон старинного образца. Он попросил Асю, работавшую в шлюзе, ввиду необычайной спешности его дела, подавать воздух быстрее обычного. Ася, улыбаясь, выслушала просьбу, и Сидоренко принял ее улыбку за согласие... Он ошибся: проклятая девчонка, так, по крайней мере, казалось Сидоренко, подавала воздух еще медленней, чем полагается.

Он сел на скамейку, зажал нос и напрягся, изнутри нагоняя воздух к барабанным перепонкам. Он старался изо всех сил, словно это могло исправить асину ошибку.

«Конца ему не будет проклятому шлюзованию». — Подошел к круглому стеклу, за которым стояла Ася, кивнул ей, чтоб быстрей, быстрей.

Ася улыбалась.

— Ну, смотри у меня.

Сидоренко подошел к автоматической двери, попробовал — не откроется ли, но та и не шелохнулась.

Сел, потом снова встал и посмотрел в окно, выходившее в тоннель.

Вскрикнул, подскочил к двери, за которой стояла Ася... Громко крича, стал бить кулаком в железо. Лицо исказилось от крика, правую руку разбил до крови. Ася спокойно улыбалась.

Тогда Сидоренко, закрыв лицо руками, пальцами до боли сдавил глаза.

Отняв руки от лица, увидел, что тяжелая железная дверь открывается.

Перед ним была открыта дорога в горящий тоннель.

Комсомолец Синяков работал на большом широком досчатом помосте, стоявшем у входа в шлюз. Дверь шлюза открывается на этот помост. Отсюда ведет лестница к рельсам, спускающимся к тоннелю щита. По рельсам бегут крошечные вагонетки, туда — с бетоном, обратно — с землей. Синяков работал на переключателе, подавая электричество вагонеткам. Временами он гордо оглядывал длинный тоннель — огромное его тело, состоявшее из бетонных колец. От шлюза до щита расстояние уже триста пятьдесят метров. Синяков не мог видеть щита, дорога во многих местах была перегорожена досчатыми помостами.

«Еще дней двадцать пять — и мы встретимся с идущими от площади Дзержинского. Тогда можно будет от Сокольников до Крымской площади пройти напрямик под землей. В первый же выходной отправлюсь, — мечтал Синяков. — Хорошо бы вместе с Асей. Думаю, пойдет. Почему бы ей не пойти?»

— Ток, — командует Игнатьев.

Синяков нажимает на выключатель.

Из выключателя выскакивает искра.

Искра прыгнула под ноги Синякову на валяющуюся на земле промасленную паклю.

Снаружи через большую трубу, как из гигантских кузнечных мехов, с дикой силой ворвался воздух. И в ту же минуту помост охватило огнем.

Синяков стоит в огне.

Мозг его на мгновение парализован, но ноги работают, не ожидая приказа. Стремительно двигаются, затаптывают пламя.

Деревянный помост в огне.

Синяков срывает с себя куртку и бросает ее на пламя. Хочет задушить опасность. Куртка загорается, в огне и выцветшая спецовка Синякова.

Вдруг удар кулака сбрасывает его с помоста. Кулак Игнатьева.

Теперь Игнатьев набрасывается на пламя. Ложится на него. Душит его своим телом. Пламя охватывает бороду. Он вскрикивает, прижимая ладони к лицу.

Помост уже горит. Доски и бревна под ними — тоже в огне.

— Долой с помоста! — кричит Игнатьев.

В эту минуту из шлюза выходит Сидоренко.

— Пожар! Пожар!

Лицо Игнатьева дергается от гнева и боли.

— Вниз с помоста!

Сидоренко спрыгнул. Растянул жилу. Вскрикивает. Оборачивается назад.

— Пожар! Пожар!

Игнатьев мчится к телефону. Хватается за трубку, потом снова ее бросает.

— Нужно снять шпалы! — кричит он Сидоренко. — Живей! Людей со щита! Живей!

Сидоренко несется к щиту.

Игнатьев снова берется за трубку. Его сразу соединяют с конторой, но он успевает крикнуть только два слова. Пламя охватило провода.

Сообщение Игнатьева в конторе принимает Светланов. Два пугающих слова, потом тишина. Жуткая тишина.

— Алло! Алло! Игнатьев! Игнатьев! Станция, соедините с английским щитом! Алло! Игнатьев! Алло!

Телефон щита не отвечает.

Светланов бросает трубку.

— Я пойду вниз, — обращается он неестественно громко к своему посетителю, начальнику шахты.

— И я, — откликается тот. — Постойте, — вдруг спохватывается он. — Мне нужно остаться здесь. Как только спуститесь, позвоните.

В спешке Светланов забыл надеть комбинезон. Пробегая двором, он на миг забывает о пожаре: ему вспоминается ужасная ночь, когда его первый ребенок заболел дифтеритом, хрипел, задыхался, и невозможно было достать врача.

В наружной шахте, отделенной шлюзом от тоннеля щита, все спокойно. Здесь еще не знают о происходящем за шлюзом.

Светланов только теперь замечает, что на нем нет комбинезона. Он испугался: не бросилось бы это в глаза. Но его опасения напрасны. Все спокойно.

— Что нового, Ася?

Рыженькую Асю, пришедшую на метро со школьной скамьи, обучил и поставил на шлюз Светланов. С тех пор при каждой встрече они перекидываются дружескими словами. Ася по личным делам обращается к Светланову. Теперь она по-своему поняла его вопрос и раздумывает, сказать ли ему о Синякове.

— Что нового, Ася?

— Я перестала носить метровскую шляпу, — говорит она. — Берет удобней. Шляпа важна, пока не войдешь по-настоящему в работу. А теперь... — Она с удивлением замечает, что Светланов ее не слушает.

Светланов, глубоко вобрав в себя воздух, чувствует в нем примесь дыма. Еще такую ничтожную, что ее может ощутить лишь тот, кто знает о случившемся. Он звонит в контору и говорит так осторожно, что окружающие даже не понимают, о чем идет речь.

— Я через несколько минут буду внизу, — отвечает начальник шахты. — Жду только Абакумова. Встретимся у шлюза.

Когда Абакумов появляется у шлюза, воздух уже горьковат. Люди стоят тревожными группами.

Абакумов недавно повредил себе ногу. Он хромает, опирается на палку. Его полное лицо помято, небрито. Костюм запачкан цементом. Кто не знает его, вряд ли подумает, что рядом с Асей стоит заместитель начальника Метростроя.

Люди собираются. Теперь уже во все уголки тоннеля пробрался слух : беда.

Абакумов приостанавливает работы.

— Надо всех поднять наверх!

— Непосредственной опасности нет, — замечает Светланов. — Дверь шлюза огнеупорна.

— Вот и нужно поднять, пока нет непосредственной опасности. Ради десяти минут работы мы не можем проводить эвакуацию сломя голову.

Подъемники идут вверх перегруженными.

Лестницы обвешены гроздьями спешащих наверх.

Из тоннеля советского щита, параллельно горящему, выход через шлюз. Обычно шлюз вмещает только пятнадцать человек, теперь — тридцать. Обычно для шлюзования требуется двадцать минут, теперь — только двенадцать.

Абакумов и Светланов подымаются в первой клети. Начальник шахты остается внизу.

Абакумов распоряжается короткими фразами.

Светланов вызывает «выходных» инженеров.

Площадь Свердлова окружена милицией.

Звонит начальник шахты. Сообщить ему нечего, он только поддерживает связь.

— Из английского щита вестей нет?

— Как же их получить, товарищ Абакумов?

Этого Абакумов не знает.

Светланов смотрит на часы.

— Всего только двадцать одна минута, как звонил Игнатьев. Мне показалось, что много часов прошло с тех пор.

Абакумов молчит.

Эвакуация проводится с молниеносной быстротой.

Начальник шахты еще раз обегает опустевший тоннель.

Электрические лампы еще успешно борются с дымом.

Ася одна стоит перед шлюзом. Когда начальник шахты окликает ее по имени, она опускает голову, чтобы никто не видел, что она плачет.

Сидоренко бежал во весь дух к щиту. За ним на крыльях ветра — дым. Сперва размеренно, потом все быстрей, скача по шпалам, гнался за ним дым.

Щит работал. В этот миг его мощная рука поднимала почти полуторатонную бетонную чушку.

«Осторожно, — предупредил сам себя Сидоренко. — Нельзя возбуждать панику».

— Ребята! Рядом со шлюзом загорелось несколько досок. Тушить

идемте! Пожар тушить! Все на пожар, живей! — Он начал спокойно, но видя, что его слова не произвели нужного впечатления, закончил криком.

— Как пожар?! Пожар?

Главный враг строителей тоннелей — вода. При слове «вода» у рабочего метро сразу появляется воинственная осанка. Но огонь!.. в первое мгновение никто не понимает, что это значит: пожар в тоннеле.

— Пожар! — Сидоренко кричит уже в отчаянии.

Один инженер нагнулся со второго этажа щита.

— Что случилось?

Через минуту семьдесят рабочих шли тушить пожар.

Два часа дня. Уже сто двадцать минут работы в сжатом воздухе. Рабочие собираются медленно. Сидоренко боялся паники, а встретил чрезмерное спокойствие.

— Идемте, ребята! Темпы!

Еще одно сооружение из досок, свет пожара еще не виден. Но дым уже нашел дорогу. Словно гонимый вихрем, бьет он по лицам, по глазам и ноздрям идущих тушить пожар. Когда передние минули деревянные заграждения, потухло электричество... Люди за досками пробираются в темноте... Преодолевшим препятствие освещает путь горящий тоннель...

Темнота испугала — свет ужаснул.

— Метро горит!

— Тушить пожар! Тушить!

Падая и держась за руки, бегут рабочие метро навстречу разъедающе-душному черному дыму и устрашающему огню.

Пламя трещит, временами взрывается. Грохот отдаленной пальбы и скрежет орудий...

Огонь наступает: летит навстречу бегущим к нему рабочим. Огромная кровавая пасть тигра, львиная лапа, выкупанная в крови.

Теперь уже все поняли, что̀ значит пожар в тоннеле.

Прекрасно сплоченный совместной работой и тяжелой борьбой, коллектив английского щита на мгновение ослабел.

Место «мы» заступило «я».

Между мной и выходом — стена пламени. Над головой моей горит потолок, под ногами горит пол, кругом горит воздух. Огонь вижу, огонь слышу, огонь вдыхаю. Но я хочу жить.

Иван думает о колхозе, где трактор сейчас выходит на озимую вспашку. Под тяжестью спелых плодов согнулись деревья.

Саша думает об электрозаводе, о длинном заводском бассейне, где колышется кристально-чистая вода.

Автозавод...

Красная армия...

Теперь одно лишь чувство становится общим: желание жить.

На секунду семьдесят рабочих замерли — все, как один. Эта секунда означала...

Один только стон — и вспыхнет паника, и метро будет оплакивать десятки трупов.

— Метростроевцы! Комсомольцы!

Неизвестно, кто крикнул первым. Подхватили десять голосов, двадцать, тридцать, сорок...

— Метростроевцы! Комсомольцы!

Два слова, два понятия кинулись в бой со страхом смерти — и победили.

Теперь коллектив снова был единым. Боевой единицей.

Но борьба неравная. Противник сильней. Приходится отступать шаг за шагом.

Огонь наступает, рабочие пятятся. Они слабы, безоружны и беспомощны в борьбе с врагом, который ослепляет блеском, душит дымом, изнуряет жаром, гипнотизирует быстротой натиска.

На передней линии огня инженер Игнатьев. В руке у него шланг, но чересчур короткий, чтоб его пристегнуть к водопроводу. Игнатьев в ярости, он орет на огонь и бьет его шлангом. Его борода, освещенная пламенем, словно выкупалась в крови.

— Метростроевцы! Комсомольцы!

Игнатьев бросает шланг и оборачивается к рабочим. Борода спалена огнем, глаза докрасна разъедены дымом.

Чтоб сдержать ярость, кусает губы. Губы уже искусаны в кровь. Он знает, что огонь нельзя одолеть. Знает, что бетонные стены огнеупорны, но и они треснут при температуре восемьсот-девятьсот градусов. А если тоннель в сердце Москвы, соединяющий площадь Дзержинского с площадью Свердлова, треснет, провалится... При этой мысли Игнатьев корчится, словно от судороги.

Сидоренко думает, что Игнатьев теряет сознание от жары.

Подскочил к нему — помочь.

— Не нуждаюсь я в помощи! Оставь! — крикнул Игнатьев.

— Товарищи, — кричит Игнатьев, сложив рупором руки. — Здесь мы бессильны, нужно итти наверх!

Итти наверх. Сквозь огонь?

Сидоренко подумал, что Игнатьев бредит.

— Сквозь огонь итти нельзя! — кричит инженер. — Назад — через двенадцатую шахту-бис.

Двенадцатая шахта-бис... Там путь свободен. Об этом все забыли.

— Спокойно, по порядку! Дисциплинированно! — кричит Игнатьев.

— Метростроевцы! Комсомольцы! — слышен ответ.

Наверху, в сорока метрах от них, Москва, столица мировой революции. Вторая пятилетка. Социализм. Жизнь...

— Сидоренко, ты знаешь дорогу. Веди, я уйду последним.

— Ведите вы. Я послежу за порядком...

— Здесь я приказываю! — орет Игнатьев. — Вперед! Как только выйдешь наверх, беги на площадь Свердлова и скажи там, в сжатом воздухе пожар тушить нельзя. Беги!

Сидоренко повинуется.

Первое звено длинной человеческой цепи — Сидоренко, последнее — Игнатьев.

Впереди ширина цепочки — всего лишь один человек.

Сзади идут по-трое, по-четверо в ряд. Вдруг цепочка обрывается.

Двое бегут, спеша восстановить связь. Ноги ощупью ищут дорогу, протянутые руки, дрожа, цепляются за спины передних. Игнатьев оборачивается к огню и скрежещет зубами.

Дым уже густой. Яростно душит. Глаза горят. Из обожженных глоток вырывается хрип.

— Осторожно, здесь вагонетка! Осторожно! Тут доски валяются. Правей! Осторожно! Не терять друг друга! Правей!

Кто-то толкнул Сидоренко и забежал вперед.

— Эй, осторожней! Куда?

Тот не отвечает, бежит. Сидоренко не знает бегущего, но кто-то из-за спины окликает:

— Кокорев, куда?

Кокорев не отвечает. Исчез — он уже где-то далеко впереди.

Последний досчатый помост тщетно штурмует разведка огня: летучие искры. За помостом — полная темнота.

— Осторожно, бетонные чушки! Осторожно, доски!

Сидоренко достиг подножки лестницы, ведущей наверх. В темноте он не может убедиться, достаточно ли устойчива лестница. Если она рухнет, ни один не спасется из горящего тоннеля. Все задохнутся или сгорят.

— Тише, товарищи! Тише! По одному!

Все хотят повиноваться. Все хотели бы повиноваться. Но руки и ноги уже лишились тормозов. Двадцать человек одновременно штурмуют лестницу.

— Товарищи!

Два коммуниста и несколько комсомольцев стоят рядом с Сидоренко. Не видят, узнают друг друга по голосам. Не советуются, действуют. Охраняют подножие лестницы. Только когда взобрались первые двадцать, пускают следующих. Среди них поднимается Сидоренко.

Шлюз двенадцатой шахты-бис вмещает только четырех человек. Отправка каждой партии, — таково строгое предписание врача, — должна занимать пятнадцать-двадцать минут. Если следовать этому предписанию, пройдет несколько часов, пока последние попадут в шлюз. Если предписанию не следовать, тогда...

Никто не знает, что тогда случится, но все знают, что сейчас исполнить предписание невозможно. Вместо двадцати минут придется обойтись двумя.

Первый, кто выходит на свежий воздух, схватывается за левый локоть. У него такое чувство, словно обо что-то локтем ударился. У другого носом пошла кровь. Третий, как пьяный, шатается, его рвет. У четвертого боль в ушах. У пятого такая слабость, словно неделю не ел. Садится на землю, пытается встать. Его рвет, он падает. У шестого лишь небольшое головокружение. Молниеносное шлюзование прошло для него благополучно.

Первое чувство — безмерная радость. Спаслись! живем!

В следующее мгновение им стыдно смотреть друг другу в глаза. Им стыдно, что они здесь, а товарищи их борются с ужасом. Стыд приковывает их к месту. Забывают о враче, о больнице, забывают о том, что в конторе ждут их рапорта. Толпятся у шахты.

Сидоренко поднимается двадцать вторым. Чувствует легкую тошноту, головокружение, все остальное в порядке. На мгновение прислоняется к стене, сжимает ладонями лоб. Знает, что у него какое-то срочное, неотложное дело, но какое именно — не помнит. Взгляд его падает на дом, в котором они с Анной будут жить. Как, верно, испугалась, бедная. Нужно ее успокоить. И только теперь вспоминает, зачем послал его Игнатьев.

Двенадцатая шахта-бис в тупике, позади памятника первопечатнику, в нескольких сотнях метров от площади Свердлова. Сидоренко и еще семеро идут туда.

Прекрасный осенний день. Общий выходной. Улица полна празднично одетого народа. Пешеходы, автобусы, автомобили. За Китайской стеной дребезжат трамваи. На углу продают цветы. Радио осыпает улицу веселой мелодией.

Сидоренко натыкается на женщину, гуляющую с ребенком.

— Нельзя ли осторожней?

В свежевыкрашенных воротах Китайской стены он едва не сбил с ног какую-то парочку. Мужчина прикрикнул на него.

— Пьяница! Стыдно!

Сидоренко ковыляет дальше.

Чуть было не попал под автобус.

Добравшись до «Метрополя», замечает, что из семерых спутников осталось лишь двое. Один из них вдруг падает на колени.

Какой-то молодой рабочий хватает за плечи Сидоренко, — думает, что пьяный. Но, взглянув ему в лицо, тотчас же отпускает, потом берет его под руку, поддерживает. Сидоренко кивком головы указывает направление.

Еще пятьдесят шагов, еще двадцать.

Еще десять ступенек. Еще пять.

Сидоренко вошел в контору.

— Я из горящего тоннеля.

Больше ничего не мог сказать. Потерял сознание и упал на руки Светланова.

Абакумов вскочил. Скорей! Скорей! Врача! Молока! Врача!

Через десять минут Сидоренко пришел в себя.

К двенадцатой шахте-бис мчатся кареты скорой помощи с врачами, санитарами, носилками — и с молоком, много молока! К двенадцатой шахте-бис, вырытой лишь на случай опасности и во время опасности всеми забытой...

Двенадцать рабочих пришлось отправить в больницу. Девять из них уже на следующий день явились на работу.

Игнатьев вышел из шлюза последним. Промыл молоком окровавленные глаза. Выпил кружку молока. Потом попросил папироску. Провел рукой по лицу, по спаленной бороде.

«Так выйти на улицу я не могу, — думает он, и в ту же минуту сам над собой смеется. — Опять дурацкие предрассудки, Игнатьев?» — Качает головой.

— Спасибо, товарищи, сам доберусь.

Он заковылял на площадь Свердлова.

Электрические часы показывают три часа двенадцать минут.

Комната начальника шахты полна едкого табачного дыма.

Абакумов сидит за письменным столом, положив поврежденную ногу на стул. Рядом с ним стоит Светланов, сгорбившийся за эти два часа. Игнатьев сидит на подоконнике. В руке маленькая бутылка водки. Пьет из бутылки, потом, налив водки на ладонь, растирает висок.

— Положение ясно, но не просто.

Пожарные со всех сторон пытались атаковать пламя. Спустившиеся через шахту площади Свердлова вскоре поднялись обратно. Шлюз слишком далеко от выхода, и вообще пройти через него невозможно. Когда Сидоренко вышел в горящий тоннель, дверь шлюза осталась открытой, и теперь в шлюзе тот же воздух, что и в горящем тоннеле: сжатый воздух защищает наружную дверь шлюза. Открыть ее можно только силой. Взломать.

Рядом с начальником пожарных стоит Сергеев в белых брюках и теннисных туфлях. Лицо его воспалено, словно у него жар... Беспомощность гнетет его физически.

Через двенадцатую шахту-бис спустились трое: инженер Чистяков, сотрудник ГПУ — летчик Черкасов и пожарный. Все трое добровольно пустились в опасный путь.

В противогазах, с автоматическими электрическими фонариками на поясах спускались они по лестнице, полчаса тому назад выведшей к жизни сто человек. Впереди шел инженер Чистяков, за ним белокурый летчик, ступавший по лестнице так легко, словно он был в танцовальном зале, и позади пожарный.

Дым глотал свет электрических фонарей.

У горячего воздуха горький, тошнотворный вкус.

На лестнице у всех троих закружилась голова, но ни один не подал вида, не желая быть слабее товарищей. «Инженер-коммунист должен показать...», — думает про себя Чистяков и впивается зубами в нижнюю губу. Черкасов повторяет про себя то, что говорил Абакумов: «Я заслужил право требовать, чтоб меня послали в самое опасное место». Пожарному кажется, что они напрасно идут сюда: этим узким проходом все равно не добраться до огня.

Чистяков, спустившись, ждал товарищей у подножия лестницы. Сильно кружилась голова, тошнило. Чтоб не упасть, он прислонился к стене.

«Что со мной?»

Мучительно закашлялся.

«Что такое?»

Застонал. Он уже знает, что с ним. Вдруг понял, какую ужасную ошибку сделал.

— Назад, Черкасов! Назад! Мы задохнемся! — Чистяков кричит, но из противогаза доносятся лишь нечленораздельные звуки.

— Назад, мы задохнемся, наши противогазы непригодны в сжатом воздухе. Назад!

Черкасова тоже мутит. Когда он ступает на самую нижнюю ступеньку лестницы, пожарный замертво падает ему на плечи.

Черкасов одной рукой цепляется за лестницу, другой — прижимает к себе бесчувственное тело товарища.

— Что случилось? — хрипит инженер.

Они пытаются объясняться через противогаз, но не понимают друг друга. Инженер указывает рукой вверх. Приказывает: назад.

Черкасов с пожарным на плечах медленно взбирается наверх.

Через пять-шесть ступенек останавливается, — чувствует, что больше не выдержит.

Двумя ступеньками ниже карабкается инженер.

Черкасов снова лезет кверху. Вместо глаз у него как бы открытые раны. На висках — стопудовая тяжесть. В ушах — звон колоколов.

Но и сквозь звон слышит, что позади карабкается Чистяков.

Колокола неистово гудят, и сквозь гул слышен хохот.

Чистяков смеется, — безудержно, дико смеется.

Громкий вскрик и падение.

Чистяков упал в глубину.

Черкасов остановился.

— Чистяков! — закричал он. — Чистяков!

Тишина.

Тишину ломает лишь хриплое прерывистое дыхание пожарного.

Черкасов не знает, где он, не помнит, что делает.

В полуобморочном состоянии одолевает он тридцатиметровую лестницу и теряет сознание в шлюзе.

Когда Черкасов приходит в себя на больничной койке, он долго не может понять, что с ним и где он.

У него ничего не болит, только усталость страшная.

Сестра дает ему молока — он пьет, пьет и все никак не может оторваться от холодного сладкого молока.

Постепенно начинает вспоминать: Чистяков, этот ужасный смех, пожарный.

К нему подходит доктор.

— Ну, товарищ дорогой, как себя чувствуете?

Черкасов задумывается.

Когда он, наконец, начинает говорить, доктор не сразу его понимает.

— Честное слово, доктор, — говорит Черкасов, — не хочу себя выгораживать, но я не виноват. Я не знаю, не помню, как выбрался наверх, за смерть пожарного я не ответственен, я нес его, но...

Лицо врача растягивается в широкую улыбку.

— Товарищ Черкасов, взгляните на своего соседа. Вон на той койке. Там лежит пожарный, которого вы спасли.

Глаза Черкасова заволакиваются слезами.

Через два часа он покидает больницу.

Над площадью Свердлова колышется облачко дыма.

Милиция с трудом удерживает взволнованную толпу.

— В шахте пожар!

— Горит метро!

Как сжатый воздух усиливает пламя, так усиливает страшные слухи обывательская фантазия.

— Двести погибших!
— Триста двадцать два!
— Упокой, господи, убиенных и смилуйся над убийцами их, — чирикает тетенька в черном платье.
В тот же миг тетенька смывается. Соседка ее, хилая девочка, — кажется, рта не посмеет раскрыть при старых, опытных людях, — такое ей сказала, такое...
— Ну, эту ты ловко отделала, — замечает Лена и делает вид, что смеется.
Анна не отвечает.
Перед «Метрополем» стоят два огненно-красных пожарных автомобиля. Рядом с ними изящные линкольны иностранных туристов, живущих в гостинице.
Положение ясно, но не просто.
— В сжатом воздухе потушить пожар почти невозможно.
— Мы переоцениваем опасность огня. Цемент огнеупорен. В тоннеле английского щита огню нечем особенно поживиться. Вскоре сам потухнет.
— Цемент огнеупорен, но при жаре в тысячу или даже девятьсот градусов треснет. Этого нельзя допустить. Тоннель надо залить водой. Воду потом можно выкачать...
— Воду можно выкачать, это правда. Но там, где вода устремится в шахту, может образоваться воронка, земля над ней провалится. Кто знает, сколько домов рухнет?
Нужно выбирать между двумя бедами, между огнем и водой. И никто не знает, какая беда злее.
Все инженеры, все парторги, принимающие участие в совещании, готовы пожертвовать своей жизнью. Но здесь никакие жертвы не помогут.
Охрипший курьер сообщает Абакумову о неудачной попытке Черкасова.
— Черкасов жив?
— Жив.
Абакумов опускает голову. Надо решать, распоряжаться, приказывать.
— Как?
В это мгновение «главный инженер» метро — Каганович — появился в дверях.
Он спокоен. Молча всех приветствует. Глаза освещают чисто выбритое лицо, как обычно, полное энергии. Нет — больше обычного. Только одежда выдает, что он очень спешил: плащ травяного цвета неправильно застегнут.
Светланов открывает окно, чтобы вышел дым.
И все ощущают: вместе с дымом улетела и мучительная неуверенность совещания. Желания, бегущие по кругу, берут прямое направление.
Все знают: вот оно, решение. Можно начать борьбу. «Главного инженера» метро информировать не нужно. Он уже все знает.
— Есть две возможности, — начинает он, сразу приступая к са-

мой сути вопроса. — Нам приходится выбирать между огнем и водой. Нам нужно решить, какой выход сопряжен с меньшей потерей времени и материала и главным образом, — это, товарищи, главное, — какой выход дает нам возможность меньше рисковать человеческой жизнью. Потому что время всегда можно наверстать, восполнима и потеря материалов, только человеческую жизнь мы не в силах вернуть. Нам нужно решать, решать немедленно.

Каганович говорил пять минут.

Вместе с Кагановичем вошел Хрущев; стал рядом, немного согнувшись, как горняк, заслышавший издали угрожающий шум.

Еще через пять минут было вынесено решение.

— Дверь шлюза взрывать нельзя, ее нужно открыть человеческой силой, — говорит Абакумов.

Каганович оглядывает всех присутствующих. Глаза его останавливаются на Сергееве. На побледневшем и исхудалом энергичном лице Сергеева.

Лазарь Моисеевич подал руку Сергееву и тихо перекинулся с ним двумя-тремя фразами. По телу Сергеева пробежала приятная теплота. Он почувствовал в себе безграничную силу.

И Каганович поочереди выбрал тех, кого ожидает тяжелая работа. Он дал несколько коротких указаний.

Все готово.

— Прежде всего, товарищи, спокойствие, — говорит Каганович, уходя. — Действовать быстро, но без головокружения.

Каганович ушел. Больше оставаться он не мог.

Прежде чем уйти, он перебросился взглядом с остающимся Хрущевым. Седоволосый Хрущев кивнул головой: да. Каганович ушел.

Абакумов отдает приказы — короткие, ясные.

Тщетно Светланов предлагал свои услуги, просил, умолял. По возрасту он не мог быть поставлен на смертельно опасную работу. Он был в отчаянии. За несколько минут стал стариком.

Он вышел во двор, переполненный рабочими метро. Те, кого не вместил двор, теснились у забора. Напрасно старались парторги отослать людей по домам, напрасно объясняли, что на борьбу с огнем будут отправлены лишь несколько человек.

Многие рассчитывали попасть в число этих нескольких. Даже девушки остались, хотя они и вообще не допускаются под повышенное давление.

Светланова атаковали в полном смысле этого слова.

Он выдержал атаку, стараясь ответить на все вопросы. Ему очень хотелось рассказать, что не по своей вине он здесь, а не на линии огня, — но что-то удерживало его от объяснений.

Широко расставив ноги и опустив голову, стоял он перед рабочими.

Хорошо, очень хорошо здесь, среди рабочих метро. Человек забывает мелкие неприятности своей жизни, становится участником иной жизни, большой, — той, где в усталости черпаются новые силы, где боль сочетается с радостью.

Светланов горячо любил рабочих метро. Раньше — как учитель любит своих учеников, но вскоре отношения изменились. Кто в одной

области учитель, в другой — ученик. Светланов учил работать, сам же учился у них жить и любить жизнь. Потом положение осложнилось. Теперь ему, раньше часто заблуждавшемуся, случалось иной раз давать жизненные советы молодым рабочим, но случалось и так, что он, старый инженер, учился у рабочих, и даже у рабочих, только год как приехавших из деревни.

Светланов стоит среди толпы и рассказывает.

— ... сжатый воздух... огонь... вода... огонь...

Он не скупится на слова, но о распоряжениях Кагановича говорит с некоторой робостью. Он безгранично уважает его и восхищается им,— даже не столько его политической работой, сколько тем, что он в несколько месяцев так полно усвоил знания инженеров. Но сегодняшняя речь Лазаря Моисеевича очень удивила Светланова. Его слова о потере материала и человеческой жизни несколько смутили его. Об этом он рассказывает осторожно, почти боязливо. Но то, что ему показалось странным, для рабочих было само собой разумеющимся. Может ли иначе думать, иначе чувствовать их Лазарь Моисеевич?

С гибелью Чистякова рабочие не хотели примириться. Сотни предложили пойти за ним вниз.

По их просьбе Светланов говорил с Абакумовым, и Абакумов дал разрешение на спуск четверых. Пусть их отберет сам Светланов, посоветовавшись с парторгом. Обмундировать их поручено также ему.

Шлюз двенадцатой шахты-бис снова раскрывает свой зев.

Четверо рабочих спустились — и поднялись через сорок две минуты.

С трупом Чистякова.

☆

М. Юфит

Любовь

Даша стояла на крыльце, держала на руках дочку и смотрела на дорогу. Березы подступали к самому дому. Черемуха отцветала и лежала на ступеньках, как снег. Ветер лениво шуршал лепестками. Иван не шел.

— Дашенька, — крикнула из избы старуха, — принеси, милая, воды...

Даша посадила дочку на большой серый камень, вросший в землю около крыльца, и пошла к колодцу.

В лесу пели птицы.

— Скука какая, — подумала Даша, вытянула из колодца ведро и стала ладонью снимать с холодной воды лепестки черемухи. За деревьями послышались шаги. Даша оглянулась. Из лесу вышел незнакомый парнишка, босой, в пиджачке, подпоясанный ремнем, в большом, не по голове, красноармейском шлеме. Сапоги он нес в руке.

— Эй, девка! — крикнул он, — Лукашины здесь будут?

— Мы Лукашины, — степенно ответила Даша.

Паренек сел на землю и стал обуваться.

— Ну и деревня, — сказал он, — пока не уперся в дома, думал все лес...С самой станции иду... — и деловито спросил: —Ты ему кто — сестра, жена?

— Жена...

Паренек стал на ноги, нагнулся, подтянул голенища и тихо сказал:

— Начальник меня послал...Лукашину твоему руку порезало... Кровь текет безобразно.

Даша побледнела, отступила назад, толкнула ведро, оно с шумом упало в колодец.

— Ой! — крикнула Даша.

Паренек рассердился.

— Я же говорю живой...в больнице лежит...порезало только...

Даша побежала, вернулась, заглянула в колодец махнула рукой и опять побежала к дому. Паренек пошел за ней. Даша, подхватив дочку на руки, вбежала в избу.

— Чего там? — спросила старуха.

— Ивана порезало...

— Живой он, только кровь текет... — опять стал объяснять паренек. — Пока я к вам шел ноги себе сбил окончательно. Все камни и камни.

Даша не слушала. Она накинула на плечи платок, молча поклонилась свекрови, подавая ей внучку, и быстро пошла по дороге вниз. Свекор догнал ее. Они шли не останавливаясь. Старик вел ее прямо через лес. В лесу было совсем темно, но когда пришли на станцию, там еще были сумерки. В больнице им сказали, что Ивану сделали операцию и он спит. В коридоре стояла пустая койка, им разрешили посидеть на ней до утра. Старик задремал.

Даше не спалось. В коридоре было душно. Пахло карболкой. В палатах стонали больные.

Ночью она вышла на крыльцо. Ветер шевелил ветки рябины. На перроне горели большие круглые фонари, ветер раскачивал их, дрожащие пятна света стлались по земле. Даша обошла серое здание больницы и вышла на перрон. Под фонарем стояла сырая от ночной росы скамейка. Даша села. Было холодно, она завернулась в платок и вздохнула.

— Может это Иван в палате стонал? — подумала она. — Может худо ему?

— На станции было тихо. На перрон вышел дежурный по вокзалу в фуражке с красным околышком, посмотрел на небо и зевнул. Он заметил Дашу и подошел к ней.

— Поезда дожидаетесь, барышня? — спросил он игриво.

Даша испугалась.

— Мужа моего порезало... — сказала она — Лукашина. В больнице он...

— А-а... — сказал дежурный разочарованно. — А я думал поезда. Поезд скоро будет — экспресс на Мурманск. Лукашин он — хороший парень.

— Как это его, вы не знаете? — спросила Даша смелея.

— Я с чужих слов знаю, — сказал дежурный. — Я на дежурство поздно заступил. Платформа с горы покатилась, а он ее остановил. Внизу как раз люди были, он их спасал.

— Вот как...—сказала Даша.

— Себя не пожалел, — подумала она. — Других пожалел. А меня кто-то теперь пожалеет несчастную...Что я с ним, с калекой, делать буду? Старик уже тоже не работник...

Дежурный ушел.

Даша думала о своей невеселой жизни.

...Она познакомилась с Иваном на станции, когда приехала к своему отцу. Отца она раньше никогда не видела, он ушел из деревни на заработки, бросив беременную жену. Даша росла у богатого жадного дяди. Мать умерла рано. От отца иногда приходили письма, однажды он прислал дочери в конверте красивую красную ленту. Ленту тетка взяла себе.

Когда дядю раскулачили, Даша поехала к отцу.

— Вот те на, — сказал отец радостно, — не успел погулять как следует, а дочка уж подросла. Да, какая дочка. Ты что же грамотная?

— Грамотная...

— У дядьки хорошо жилось?

— Плохо...

— Они такие, — сказал отец, — они жадные...Они думали я у них за работника буду. Мать твоя ведь перестарок была...

Даша была молчаливая, тихая. Иван приходил в гости к отцу. Он был такой же робкий, как Даша. Не пил водки, не пел песен.

— Сватай дочку, — предложил ему как-то дашин отец, —тихая...Лицом в меня, хороша, а характером в мать. Сватай, я тебе говорю...Надоело мне у вас в Карелии, хочу в родные края...на харьковщину поеду или в Донбасс...Куда я ее повезу с собой, мне самому еще жениться можно...

Иван согласился. Свадьба прошла тихо, даже гостей не звали. Даша тосковала в незнакомой деревне. «У нас небо синее, — жаловалась она, — а у вас оно невеселое». Иван бывал дома редко. Он уходил на станцию на два-три дня, чтобы не подниматься лишний раз в гору. Свободные дни проводил в лесу, охотился, ловил рыбу. Даша нянчила дочь, работала со стариком в колхозе.

— Как же мы теперь будем? — подумала Даша.

На перроне снова появился дежурный, вышел какой-то заспанный человек в ватной куртке и ударил несколько раз в большой медный колокол, висевший над кадкой с водой. Задребезжала жестяная кружка, прикованная к кадке. Из темноты выкатилась тележка, нагруженная посылками. Началось оживление.

— Поезд подходит... — подумала Даша.

Светало.

Она не стала дожидаться поезда, встала и пошла. Осторожно, стараясь не шуметь, она поднялась на крыльцо, открыла тяжелую

дверь и вошла в коридор. Старик еще спал. Она присела около него, облокотилась о железную спинку кровати и тоже задремала.

Утром их пустили к Ивану. Старик не хотел надевать халат. Его долго уговаривали, наконец, Даша сказала:

— Свекор, там же Ваня...

Старик обмяк, зажмурился и опасливо вытянул перед собой руки, будто рукава халата таили в себе опасность.

Иван лежал на кровати под серым, казенным одеялом. На нем была чужая рубаха. Он хотел подняться и не смог...

Все молчали.

— Единственный ты у нас...—сказал отец.

Даша спросила:

— Как же это?

Иван рассказывал медленно, подыскивая слова.

— Ставили мы платформы под нагрузку. От лесопильного завода. А там уклон. Я под платформу подложил шпалы деревянные, чтоб не откатывалась. Механик поддал паровоз назад, я стяжку отцепил. А платформа, как коза, через шпалы...и покатилась. А внизу люди песню поют, грузят, ничего не знают. Я под платформу шпалы кидаю, то кидаю, это кидаю, внизу же люди работают, всех побьет, а она не останавливается...—Иван поднял зачем-то здоровую руку, помахал ею и снова положил на одеяло. — Последнее средство осталось. В заднем скате нет спиц,а в переднем есть. Если в эту спицу жердь сунуть напротив движения, она мешать будет. Я побежал вперед, думаю ударит меня жердью, если отбежать не успею. И ударило, я лицом в землю упал. Рука под колесо. Трещит слышу. Механик кричит: «Лукашина зарезало». Я стал вставать, живой. Рука холодная, будто мне в рукав снегу насыпали. А крови полная рукавица, пиджак. Я пошел к паровозу, напился...А потом ничего больше не слышал, уже здесь проснулся, в больнице.

Иван помолчал немного, посмотрел на Дашу, спросил:

— Как дочка?

— С бабушкой она, — ответила Даша, поправляя на голове платок.

— Служба, — как будто оправдываясь сказал Иван.

Старик встал и сказал сурово:

— Был у меня сын охотник, утеха моя...Не было лучшего сына, чем мой...А теперь что? — Он гневно потряс полами халата. — Что же это за мужик без руки? Что за охотник?

Иван заплакал. Слезы капали на подушку, глаза стали нежными, голубыми. Таких глаз у Ивана Даша никогда не видела.

— Не надо...—сказала она тихо.

В палату вошел доктор.

— Ну, как мы себя чувствуем? — весело спросил он.

На станции забили в колокол, потом послышался далекий свисток паровоза.

— Стрела, — сказал Иван шопотом, стесняясь доктора. — На юг...

Даша и отец встали. Стрела на юг проходила в обеденное время, сразу после свистка старуха собирала на стол.

— Когда ждать-то? — спросила Даша у доктора.
— Как пойдут дела,— неопределенно ответил тот.

Прошло три недели.

Иван вернулся домой. Цвет на черемухе уже давно облетел, в лесу созрели ягоды. Во дворе, визжа и ласкаясь, бросилась к нему собака, но Иван, не глядя на пса, вошел в дом. Отца и Даши не было дома; они ушли в колхоз. Мать хлопотала по хозяйству.

— Ну, здравствуй, сынок, — сказала она и заплакала.

Иван сел на лавку, как гость, не снимая фуражки, тоскливо посмотрел по сторонам. В доме ничего не изменилось. На подоконниках стояли глиняные кувшины с молоком, вдоль стен висели на веревочке нанизанные на нитку сухие грибы, пучки травы.

— Замаялась я, — сказала старуха. — Все о тебе, Ванюшка, все о тебе...Ты посиди, милой, сейчас обедать будем...

Она подкинула в печку сухих веток, ветки затрещали, вспыхнуло пламя.

В деревянной люльке, стоявшей рядом с широкой кроватью, заплакала девочка.

— Ты погляди дочку свою, — сказала старуха. Руки у меня все в муке.

Иван поняньчил дочку, покормил кур, неумело, левой рукой, подмел пол. И потянулись дни, похожие один на другой. Иногда Иван носил Даше и отцу обед. Через каждые два дня он спускался с горы на станцию, в больнице ему делали перевязку.

— Ступайте домой, Лукашин, — говорил доктор строго, — ложитесь и отдыхайте. Никаких лишних движений.

Но Иван бродил по путям, разговаривал с составителями поездов, со сцепщиками, смотрел на проходящие поезда. Ему казалось, что он больше никогда не будет работать на станции. Тяжелый день наступил для него, когда ему пришлось получать деньги по больничному листку. Он принял деньги, как подаяние. Выплатной пункт помещался в поселке, сейчас же за станцией. Иван вышел на перрон. Было очень тихо. Станция лежала в котловине, окруженная с трех сторон нетихо. Станция лежала в котловине, окруженная с трех сторон невысокими горами, поросшими лесом, с четвертой стороны было озеро. Все казалось чужим Ивану. За стрелкой стоял товарный состав. Усатый стрелочник приветливо кивнул ему, — он закуривал трубку, заслоняя ладонью пламя спички, и сказал:

— Ходят слухи, наградили тебя...

— За что? — спросил недоумевая Иван.

— За предотвращение...Спас, говорят, состав. Геройский поступок...

— Быть не может, — спокойно ответил Иван и пошел к товарному поезду. Около паровоза стоял машинист Федяев, тоненький, веселый, первый кавалер на станции.

— Механик, скоро поедешь? — спросил Иван.

— Скоро...

Иван присел на ступеньку вагона.

— Брови мои посмотри? — засмеялся Федяев. — Как шнурок...

Это я в Ленинграде брился, когда на конференцию ездил, а парикмахер мне говорит: теперь модно тонкие брови...Раз-раз бритвой, и готово... Смотрю, вроде я красивее стал. — Федяев вздохнул. — Теперь девки вовсе не дадут проходу...

— Тебе все глупости на уме, — сказал Иван, улыбаясь.

— Ругает жинка?

— Кричит...Я тебе, говорит, все волосы повыдергаю, не только брови. — Федяев прищурил озорные, как у мальчишки, глаза. — Я у нее клеенку со стола украл. Зеленую. Просил, просил по-хорошему: дай, Феня, клеенку, мне на паровозе сиденье украсить. Не дает...

— Моя не кричит, — заметил Иван, — тихая...

— Ты и сам такой, — презрительно сказал машинист.

Иван помолчал, потом спросил:

— Доеду я с тобой до разъезда?

— Ваня, — сказал Федяев умоляюще, — Ваня, ты меня шесть лет знаешь...Я для тебя всегда на разъезде ход замедлял. Мне для друга остановить состав ничего не стоило. А теперь не могу. На Донецкой дороге такие скорости показывают, ужас! Мне каждая минута по самолюбию ударяет...

— Что же! — сказал Иван и медленно пошел от поезда.

— Ах, ты темнота лесная! — закричал Федяев. Ты же понимать должен...

Но Иван не слушал его.

— И на станции я теперь никому не нужен, и нигде... Был бы я партийный, другое дело...—подумал он.

Он шел медленно,тяжело переступая через камни, наклонялся зачем-то к кустам, трогал ногтем стволы берез. На горе он присел на камень. Камень был теплый, нагретый солнцем. Носком сапога Иван поковырял землю, вылез какой-то червячок, сжался в комок и снова уполз в глубину.

— Эх ты, дурачок...—нежно сказал Иван и бережно засыпал червяка землей.

Домиков в поселке не было видно, видны были только крыши, серые и выцветшие, зеленые. Легкий дымок стоял над трубами, хозяйки топили печи, готовили обед. Дым таял в воздухе. День был солнечный, солнце позолотило озеро за поселком.

Обида томила Ивана.

— Пропала теперь моя жизнь! — думал он — не тут и не там...

Он посмотрел вниз, на станцию, оглянулся по сторонам.

Он вырос в лесу. Земли было мало, вся в камнях, деревня — шесть дворов — больше промышляла охотой, чем пахотой. Отец с детства приучал Ивана к охоте. Отец умел все — заманивать зверя, выделывать шкуры, пахать землю, ловить рыбу. Отца Иван боялся. Мать была ласковая, отец — суровый. Когда отца не было дома, мать пела веселые песни. Сестренки возились около нее. Они были, как грибы, в красных кумачевых косынках. Отец разговарить не любил. Он учил:

— В лесу молчать надо, голоса слушать...Если глухарь не токует, не шевелись. А если кличет глухарку, поет песенку, беги к нему смело... След надо замечать.

Зимой мать говорила робко:

— Ване бы в школу надо...

Отец не отвечал, брал ружье, скликал собак и уходил вместе с сыном.

Под кривой сосной отец часто останавливался, ставил ногу на камень, где сидел теперь Иван, закуривал. Ветер сдувал с бумаги махорку.

— Что б тебя, козий рог... — ругался отец. Потом звал сына.

— Пошли, Иван, подальше. Паровозы тут, шум, разогнали зверя... Раньше тихо было, красота...

Иван был весь в отца — широкоплечий, высокий, нелюдимый. Товарищей у него не было.

Однажды на охоте он познакомился с Тихоновым, начальником станции. Тихонов тогда еще служил на разъезде. Он встретил Ивана в лесу и спросил:

— Это ты медведя убил?

— Я...

— Я тебя сразу узнал...Пойдем вместе. Я человек новый, мест ваших не знаю...Ну, чего ты молчишь?

— Язык на разговоры неналоманный, — ответил Иван.

На другой день Иван пришел к Тихонову на разъезд смотреть, как он передает телеграммы.

— Смешно... пальцем стучит, — рассказал он матери.

Мать сказала.

— Ты бы поговорил со мной, Ваня...

— А что я тебе, матка, скажу?

Мать села рядом на лавку и шопотом спросила:

— Ты жить-то как думаешь? Теперь не только в лесу жизнь есть. Теперь другая жизнь есть. Раньше жили, лес — кругом. А теперь — дорога. Отец говорил, завалятся поезда на болоте. Не завалились. Зачем им заваливаться, когда люди не хотят на одном месте жить... Дочки мои ушли, одна я с вами... (она оглянулась по сторонам). Нюша моя пришла, говорит: мама, заругает меня отец, Сенька записался в ячейку и мне велит. Говорит, ты красноармейская женка, ты должна без сомнения. Его, Сеньку, на курсы шлют, плакать мне, матка, или не плакать? Нет, я ей говорю, смейся, дочка. Пусть едет... Мы с ней пошли по тропке в село, слышим играет в совете. Сели на пень, слушаем. Хорошо играет. Я думаю — чего же это мой Иван из лесу не выходит, надо же ему выйти...Иван, птаха моя, поклонися Сергею Николаевичу, скажи — возьмите меня на станцию...

— Тихонову-то? — Иван задумался. — Боязно как-то. Шуму много, дыму.

На завтра мать снова спросила:

— Видел ты его?

— Не видал, третий день не идет...

Тихонов пришел на четвертый, наполнил веселым голосом тихую избу, попросил молока.

— Сергей Николаевич! — сказала старуха. — Птаха ты моя... Пей. Молоко хорошее. Может тебе ягоды подать?

Тихонов рассказал, что его перевели с разъезда на станцию. Получил повышение. Иван сказал торжественно:

— Возьми меня, Сергей Николаевич, на станцию...

— Завтра же приходи, — ответил Тихонов, — мы это мигом оформим. Люди нужны нам.

Сейчас Иван, сидя на камне, вспоминал, как он впервые три года назад пришел на работу. Старший стрелочник водил его по путям и говорил строго:

— Это тебе не лес. На службе про охоту не думай. По сторонам не смотри...Тебе старший скажет — готовь маршрут на третью путь, не перепутай. Замки проверяй, перья. От снега и льда очищай крестовину, забьется, может крушение быть. Понял?

Работу на станции Иван полюбил. Работал он спокойно и аккуратно. Был молчалив и исполнителен. Сначала он был стрелочником, потом его назначили сцепщиком.

— Что же я теперь делать буду? — подумал Иван. В колхоз податься, в сторожа?

Он встал с камня и пошел. Домой итти не хотелось, он решил зайти в правление колхоза. Правление было в соседней деревне, за километр от того места, где жил Иван. Он шел не по дороге, а по тропинке. По веткам, над его головой, перелетали птицы, промелькнул рыжий хвост белки.

— Не ходить мне больше на охоту... — подумал Иван. А может приловчусь одной рукой? — Этой только поддерживать буду...

Он вспомнил медведя, которого убил, когда был еще мальчиком. Шкуру продали тогда на базаре, за вырученные деньги купили Ивану сапоги. Вспомнил Федяева, что не захотел подвезти его сегодня, вспомнил грустные глаза Даши, слезы матери, вздохи отца. И ему стало так невыносимо грустно и больно, что он схватился здоровой рукой за сухой сук на дереве, сломал его и бросил на землю. От резкого движения заболела раненая рука.

Иван свернул с тропинки на дорогу. За деревьями показались дома. Он вошел в деревню. Женщина, гнавшая вдоль улицы корову, поклонилась ему.

— Здорово, — рассеянно сказал Иван.

— В правление? — спросила женщина.

— Туда...—ответил Иван.

Когда он вошел в избу, где помещалось правление колхоза, председатель, сидевший за столом и прикладывавший справку к какой-то бумажке, закричал:

— Его всюду ищут, за ним люди посланы, а он тут. Ты где был?

— В лесу...—ответил Иван, недоумевая.

— Ты что же барышня или как? — председатель пришлепнул печать к бумажке и бросил ее в ящик. — Там к тебе на двух машинах поехали, начальник станции, районный секретарь, приезжий какой-то. Где Лукашин, куда Лукашин, а он в лесу гуляет... Ну, и народ, прости господи!...

— А зачем поехали? — спросил Иван.

— А кто их знает? Нужно, если поехали. Да ты иди, они у тебя в деревне. (Председатель развел руками.) — Мы у себя никогда начальства столько не видели. Две машины начальства!

Иван взволновался, пошел быстрее. Около его избы стояли две машины. Потный, разгоряченный Тихонов побежал ему навстречу.

— Ну вот и он...—закричал Тихонов. — Иди скорее. В Москву тебя вызвали к наркому. Понял?

— Нет, — ответил Иван растерянно, — зачем в Москву?

Он вошел в комнату. Чужие люди окружили его, поздравляли с чем-то. Тихонов надевал на него шапку, мать совала в карманы лепешки...

Тихонов, смеясь, рассказывал приезжим:

— У нас ведь с ним старая дружба. Он мой шеф по охоте...Замечательный охотник. В шестнадцать лет медведя убил. А молчаливый он был, ужас! Спросишь у него что-нибудь, через полчаса ответит. Правда, края у нас суровые. Посмотришь на небо, —облако, как черепаха. Еле-еле ползет. И низко кажется — рукой можно достать. Наша природа к разговорчивости не располагает. Но мы с ним друзья. У нас раньше начальник станции был, до меня, сволочь ужасная! Худой, в пенсне со шнурочком. Все мне говорил: «Ну и протеже[1] у вас». — «Что ж, отвечаю, — он, Георгий Валерьянович, ударник»... Он улыбнется ехидно: «В нашей глуши и бревно кажется человеком»... Ты не обижайся, Иван. Не повезло этому Георгию при новом наркоме... Убрали его от нас подальше... Все готово? Поехали.

Ивана повели к машине, усадили. Тихонов и приезжий сели рядом с ним. Остальные сели во вторую машину. Иван не понимал еще, что случилось. Он ни с кем не попрощался.

Машины скрылись за деревьями. Даша почувствовала невыносимое одиночество. Она села около стола, сложив руки.

— Зачем запечалилась, Дашенька? — сказала свекровь, — вернется Ваня...

— Позабудет он нас в Москве...

— Не забудет...Вот молока он не выпил, голодный.

Даша ждала Ивана каждый день. Он долго не возвращался. Она ходила в сельсовет слушать радио. Радио-то ведь из Москвы. Но там ничего не говорили про Ивана. Она хотела сходить на станцию к Тихонову, но стеснялась.

— Может он позабыл меня там в Москве.., — думала она и плакала втихомолку, чтобы не видели старики.

Приехал Иван неожиданно ночью. Даша проснулась от шума, в комнате разговаривали чужие люди. Она выглянула из-за занавески, за которой стояла кровать, и вскрикнула. Ей показалось, что она видит его во сне. Иван был веселый, в новой красивой железнодорожной форме. Правая рука у него была перевязана, в левой держал он цветы. Цветы наполнили своим запахом всю избу.

За столом сидели Тихонов и еще какие-то железнодорожники, один за другим заходили соседи, разбуженные гудками машины.

[1] Тот, кому покровительствуют, за кого просят.

Даша накинула на себя кофточку, юбку и выбежала к Ивану. Свекор нахмурился.

— Покрой голову, — сказал он невестке, — чужие люди...

Даша не слышала. Она стояла простоволосая. Длинная ее коса растрепалась. Она улыбалась.

— Ваня... —сказала она. И вдруг заметила на гимнастерке у Ивана большую красную звезду. Она вскрикнула.

— Чего ты, Даша? — спросил Иван.

— Рада я...

Когда посторонние разошлись, Иван сел рядом с отцом. Он показал на грудь и сказал:

— Орден...

— Многим дали? — спросил старик и потрогал пальцем звезду.

— Нас человек сорок было со всех дорог...

— Образованные?

— Разные... Башмачники были, машинисты, стрелочница одна, женщина... Профессор. Седой уже, с бородой. А много, как я, простые...

— Не боялся ты? — спросила Даша.

— Мне Калинин орден дает, — сказал Иван и усмехнулся. — А я застеснялся, хочу скорее взять и уронил. Он говорит: держи крепче...Я хотел сказать что-нибудь, не могу...Вернулся на свое место сел, эх, думаю, почему не сказал? Тут к наркому подозвали. Он спрашивает: у тебя кто дома есть? У нас, говорю? Отец, матка, женка, дочка, сестренки. Он спрашивает: ты как добивался, чтоб аварий не было? Что же, надо следить на дежурстве и забыть обо всем, преданность к работе надо иметь. Пусть охота будет в лесу или, дома что, а на службе не нужно об этом думать. А он к помощнику повернулся: «Хорошее дело, охота!» Веселый такой...

— Про охоту спросил? — перебил Ивана отец. — Надо было сказать, не желаете ли на стариково уменье посмотреть, он для вас может постараться, медвежью шкуру выделать или что...Эх, ты!..

Все долго молчали. Мать прошептала:

— Я все думала, что же мой Иван из лесу не выходит, надо же ему выйти.

Старик спросил:

— Сталина видал?

— Сталина мы не видели. Он — на даче, — ответил Иван.

Иван положил цветы на стол и стал доставать из узла подарки. Даша налила в кувшин воды, поставила цветы в воду. Иван протянул ей зеленую, мягкую, как мох, кофточку.

— Много денег зря потратил, — сказал старик, рассматривая патроны.—А патроны хорошие. Как там тебе сказали, пойдешь еще на охоту?

И не слушая, что отвечает сын, закричал на жену:

— Ложись, ложись спать, старая, они люди молодые.

На рассвете Иван сказал Даше:

— Пойдем на озеро, тесно мне здесь...

Даша надела юбку и, вопросительно посмотрев на мужа, потянулась к новой кофточке. Иван сказал тихо, как заговорщик:

— Спит старик, надевай...

Они вышли на крыльцо. Загоралась заря. В лесу просыпались птицы. С озера подул ветер, на ветру зашевелились березы. Желтые листья, шурша прокатились по траве и поплыли по озеру, по холодной воде, подернутой рябью. Даша села около самой воды, бросила в воду камешек. Иван сел рядом, погладил дашины пальцы. Даша прижалась к нему и осторожно обняла, чтоб не сделать больно.

— На перевязку пойдешь, сегодня? — спросила она и заплакала.

— Ну, какая ты, Даша, — сказал Иван. — Чего плачешь-то? В Москве говорят — вылечат. Да я на охоту скоро пойду, а ты плачешь...Я тебе белок на воротник набью. Я видел, какие в Москве воротники носят, я тебе лучше сделаю...

— Помнил меня?

— Помнил...Ты надо мной не смейся, Даша, что я тебе скажу. Я за этот месяц другой стал. У меня все вширь пошло. То я был, — ты, дочка, станция — и все, а теперь я вокруг все увидел. Я, как пьяный, стал. Из Москвы едем — на каждой станции митинг. Кричат,— пусть герой скажет, где герой....Я стеснялся, потом обвык. Этот из дорпрофсожа, что приезжал за мной, высокий, смеется: «ты, Лукашин, оратором стал»...Что ж, раз такая честь...Я им говорю, — я не знал, что мне такое преподнесут. Я предотвращал потому, что состав, на нем люди, состав государственный. Я про награду не знал, не думал... Холодно тебе, Даша?

— Это я так дрожу... Не знаю чего...

— Книжки мне дали. Говорят, читай, руку вылечишь, на курсы пошлем учиться.

Даша сказал восхищенно:

— Ты разговорчивый стал...

— А я все думаю теперь...Я и не спал вовсе все время, все думал... Я проникнуть хочу, как же это? И озеро то, и дом, а я другой...Я про тебя, Даша, думал.

Даша встрепенулась.

— Про меня?

— В театр нас водили. В одном только пели все, а в другом пьеса была. Про любовь. Пришли из театра, легли спать. Я ночью пошел покурить, и дорпрофсож вышел. Сидим, курим. Я у него спрашиваю: Тихон Петрович, а как вы это понимаете, что это такое любовь! Говорю, я тридцать лет прожил, женка у меня есть, а не знаю. Он засмеялся, да так невесело. Это, говорит, очень большое чувство. А какое? А такое, что и объяснить нельзя.

— А я знаю, — сказала Даша, — это, когда сердце щемит. Так в песнях поют...

— То песня, — сказал Иван недовольно, — а я про жизнь.

...Он у меня спрашивает, дорпрофсож: ты свою женку любишь? Не знаю, говорю, я про это раньше не думал. Нельзя без женки, все женятся, а любовь — я не знаю. Как же так? Три года живу — не знаю, люблю я тебя или нет?

Он вдруг схватил Дашу за руку.

Даша вскрикнула застенчиво, как девушка.

Иван встал, неуклюже потоптался на месте, потом опустился на колени, осторожно придержав больную руку, и сказал глухо:

— Люблю я тебя, Даша...

*

А. Карцев

На электровозе

(Отрывок из романа «Магистраль»)

Через четыре часа Анка[1] уже была в электродепо, в кабинете начальника.

— Пожалуйста, товарищ, с удовольствием, — приветливо глянул он в засиявшие Анкины глаза. — Это очень хорошо, комсомол нашим делом должен интересоваться! Электровоз — он ведь сам комсомолец на транспорте, даже, я думаю, пионер...

«Социализм есть — советская власть плюс электрификация», — увидела Анка на стене, на кумачевом плакате. Она слышала и читала это много раз, но эти знакомые слова вдруг показались ей совершенно необычайными. Именно здесь, рядом с замечательными машинами, «отдыхавшими» за стеной под этой же высокой стеклянной крышей, раскрывался весь смысл шести простых слов, в потрясающей правде и чудесной ясности формулы!

Вечером Анку позвали в поездку. Два электровоза стояли в темноте на путях, перед входом в депо. На площадках машин двигались неясные фигуры людей. Вдруг над крышей одного из электровозов с легким треском распрямились тонкие, длинные суставчатые коленца, похожие на ноги гигантской стрекозы. Заинтересованная Анка была уже около электровоза. Почти тотчас подошел еще один человек, высокий и усатый.

— Пантограф, — сказал он.

Две металлические лыжи, вознесенные стрекозиными ногами, упруго и плавно покачивались в вышине, то прикасаясь к проводам, то бесшумно отделяясь от них. Секунда, две, три — покачиванье кончилось. Пантограф застыл над электровозом, блестя в луче прожектора стройным переплетом рам. И сейчас же щелкнул где-то выключатель, и в темной кабине электровоза вспыхнул свет.

— Красиво! — громким шопотом сказала Анка.

Высокий искоса глянул на ее восхищенное лицо. Он улыбнулся Анке; при свете из кабины она увидела ясно, что этот человек хочет заговорить с ней и не решается почему-то.

В это время из мрака неслышно возникла еще фигура. Не видя Анки, пришедший быстро, довольным голосом что-то по-грузински сказал усатому; тот кивнул, еще раз взглянул на Анку и легко поднялся по лесенке на электровоз.

Пришедший юноша-грузин заговорил с Анкой так, как будто давным-давно был с ней знаком. Оказалось, что он успел уже узнать

---

[1] Комсомолка-студентка дочь инженера, приехавшая на практику.

о выданном ей разрешении на поездку и даже сам принял какое-то участие в этом деле.

— Тебя, генацвале [1], на другой электровоз назначили. А я одно дело сделал, теперь вот на этом электровозе поедешь, на котором я практику прохожу? — И поглядывал на нее весело, дружелюбно и как-то особенно, как и тот, высокий.

— А этот электровоз лучше? — спросила Анка.

— Ц-ц...

Это был весь ответ, который она получила.

Знакомец Анки быстро взобрался на площадку электровоза:

— Давай сюда, амханако [2].

Анка тоже ухватилась за поручни; но лесенка, отвесно спускаясь с площадки электровоза, нижний своей ступенькой едва доходила ей до подмышек.

«Эх, вот если бы в трусиках».

Впервые Анка категорически осудила свою лучшую модную юбку, надетую в это путешествие.

— Давай руку, — нагнулся юноша с площадки.

Анка подняла глаза: может быть, от темноты ей показалось,что он усмехнулся покровительственно. Анка прищурилась, отбежала, вздернула юбку, и, тряхнув волосами, взлетела, как птица, на ступеньку по всем правилам физкультурного прыжка в высоту, только где-то на боку предательски треснула материя. Юноша, не успев посторониться, дернул головой, как конь, — девушка была уже рядом с ним, на площадке.

— Помощь не признаешь? — проговорил он. — Зря, кацо, тогда индивидуалист будешь.

Анка поправляла юбку, глубоко дыша расширенными ноздрями. Ей стало легко и весело с этим славным парнем.

— Ничего подобного! — задорно сказала она. Просто мне не нравится помощь, когда ее предлагают сверху вниз!

С площадки электровоза темнота в долине казалась еще черней: редкая линия электрических фонарей уходила по насыпи к далеким огням станции. Высокий усатый человек вышел из кабины.

— Вот, познакомься, пожалуйста, — сказал практикант. — Это студентка из Москвы, которая поедет.

— Будем знакомы. — Машинист бережно пожал руку Анки. Голос у него был глубокий и приятный; что-то знакомое, странно волнующее слышалось Анке в говоре механика.

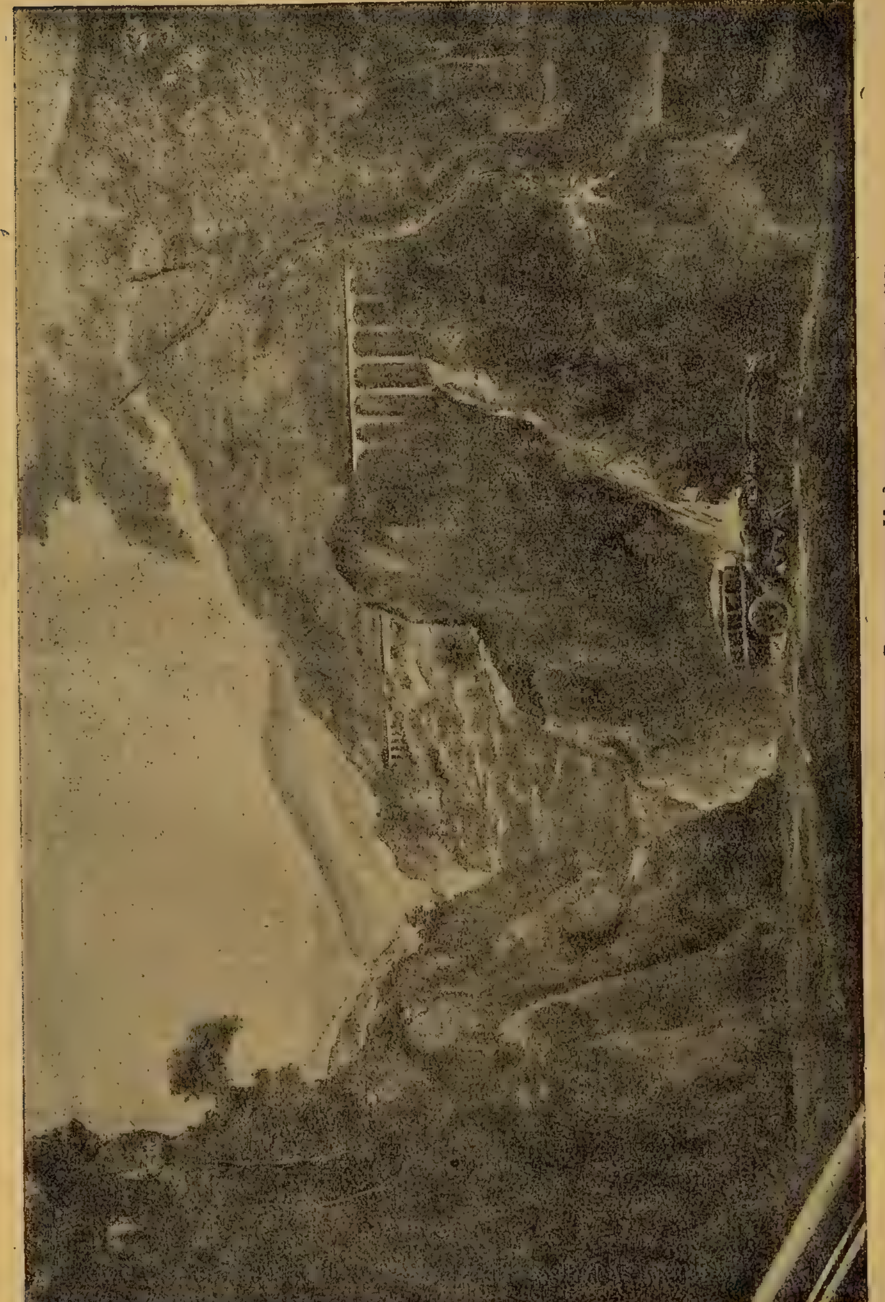
« Я будто знаю его!» — подумалось неожиданно.

Машинист, вернувшись в кабину, готовился к поездке. Электролампа освещала сверху его густые волосы, лоб и смуглые щеки, прорезанные глубокими складками от крыльев прямого носа к углам рта. Сосредоточенно прикасался он к каким-то невидным Анке предметам, каждый раз слышался щелкающий легкий звук, и в недрах громадной машины послушно и мощно возникали то шум, то гуденье,

---

[1] По-грузински «милая» «дорогая». Обычное дружеское обращение к девушке.

[2] По-грузински «товарищ».



Хуциашвили. Сурамский перевал. **Выставка** *«Индустрия социализма»*

то воющий вихревый гул или равномерные перестуки работающих механизмов. Электровоз оживал, дрожа от неподвижного напряжения, и дрожь его возбуждающе и радостно передавалась Анке.

— Заходите в кабину, — сказал машинист, — сейчас поедем поезд принимать.

Внутри было чисто и светло. Сияли под электричеством рычаги и приборы, глянцевито блестела краска, отражаясь в оконных стеклах зеркальными бликами. Только теперь Анка увидела позади машиниста кожаное кресло с мягкой полукруглой спинкой; такое же кресло было и для помощника, перед окном, слева. Чистый, легкий воздух стоял в кабине.

— Садитесь, — сказал приветливо машинист.

Но Анка уже выбрала себе место; она встала в уголок между стенками, за креслом машиниста.

— Спасибо... Здесь видней, и мешать не буду.

Машинист улыбнулся в густые усы:

— Поучиться хотите?

Он встал у контроллера. Трубный густой звук прогудел снаружи, в кабине щелкнуло, за боковым окном бесшумно поплыла мачта: электровоз уже шел. Анка не заметила даже, когда и отчего он тронулся с места, и это было ее последнее изумление.

Все, что управляло этой необычайной машиной, все теперь видела она прямо перед собой, и все было понятно и просто.

Вот контроллер, справа — рукоятки тормозов, повыше — Вестингауза, а этот, очевидно, Казанцева. В простенке — доска распределительного щита, на ней белые диски. Это воздушные манометры. Верхний, конечно, вольтметр, и красное поле для стрелки указывает пределы напряжения.

Через две минуты уже подошли к станции, запел рожок стрелочника. Электровоз протрубил в ответ, справа на соседнем пути потянулись огромные серые цистерны. Электровоз вышел на стрелку и медленно тронулся назад.

— С нефтяным поедем? — спросила Анка.

Машинист молча кивнул головой. Он стоял у контроллера, не снимая ладони с рукоятки, чуть наклонив голову вбок, словно к чему-то прислушиваясь. Анка смотрела в окно. Ни один предмет не проплывал в темноте, и ей показалось, что движения уже нет. Но электровоз еще двигался. Громадная машина тяжко и осторожно поскрипывала обшивкой — так скрипит половицами или паркетом грузный человек, старающийся не разбудить спящего.

Легко, едва слышно, блямкнули буферные тарелки. Электровоз чуть дрогнул и стал.

— Готово! — прокричали снаружи.

— Держи, хозяин! — тотчас раздалось под окном с другой стороны.

Машинист высунул руку и принял жезл.

В кабине стало тихо. Машинист протрубил сиреной; далеко позади, в самом хвосте состава, низко и густо отозвалась сирена другого электровоза («толкач!» — поняла Анка). Еще не замер во мраке ее

звук, машинист двинул рукоятку, и поезд мягко и плавно тронулся с места.

Ни толчка, ни рывка назад...

Анка вздохнула от восхищения: две тысячи тонн металла и нефти в громадах, растянутых на треть километра, сцепленных неуклюжими тяжкими крюками, двинулись и пошли, словно пара велосипедных колес. Темные стрелы мачт все быстрее возникали из мрака навстречу яркой полосе света, которую нес перед собой электровоз; там, за окнами, отовсюду нависала сурамская ночь, долина отступала, мигая огнями. Невидимые во тьме горы придвигались к насыпи медленно, как века. Толкач несся в хвосте, почти не помогая: его роль возобновлялась дальше — там, где отроги хребта уже вплотную теснили дорогу, где все выше и круче поднимался путь, сжатый их скалистыми объятиями.

Стрелка левого амперметра качнулась: подъем возрастал.

В освещенном экране бокового окна все ближе, все тесней вырастали обрывы гор. Каменистые утесы, растрескавшиеся глыбы тысячелетних нагромождений, отвесные стены, заросшие кустарником, торчащие полувывороченными корнями деревьев, подступали к насыпи, нависали над самым поездом, проносились перед окном так близко, что Анке казалось — вот протянуть руку, и ударят по пальцам колючие сучья кустов.

Электровоз гудел компрессором, как аэроплан, набирающий высоту. Помощник машиниста и юноша-практикант, стоя в левом крыле кабины, разговаривали громкими, напряженными голосами, но Анка от гула не могла разобрать ни одного слова. Но вот машинист выключил вентилятор, и Анка услышала:

—...раз так, нечего и хвалиться! Нечего кричать об успехе. Успех — это значит сто процентов успеха, а не семьдесят девять! Если на курсы выбрано тридцать восемь лучших паровозных машинистов, стало быть, должны из них сделать тридцать восемь таких же лучших электровозников!

— Тридцать сделали, — сказал помощник.

— А восемь где? Почему на экзамене срезались именно эти, а не другие?

— По неспособности, почему!.. Во-первых, четверо...

— Знаю, сами обратно на паровоз запросились. Ну, и что же?

Анка слушала, делая вид, что смотрит в темноту. Ветренным холодком высоты тянуло с гор в окно — поезд все поднимался.

— Нет, кацо[1], дело в нас самих, — говорил практикант. — Вот ты про вторую четверку скажи. Что с ней сделали? Ну, те сами попятились. А эти? Ведь прямо с экзамена пошли требовать, чтобы дали им еще полтора месяца учиться, и теперь только их и видишь, что на электровозе да в депо. Кино забыли, Тифлис забыли, один, говорят, даже бриться перестал. Ты только подумай: лучшие машинисты, премированный народ, о них и в газете, о них и на собрании — портреты,

---

[1] По-грузински «человек», употребляется в смысле русского «братец», «приятель».

грамоты там, путевки разные, ну, плохо ли таким на паровозе? И вот, не хотят обратно. Провалились — и все-таки не отступают, вот что пойми! Ведь они на паровозе по четыреста вырабатывают, а то по пятьсот в месяц, и все-таки предпочитают получать двести пятьдесят, лишь бы быть практикантами на электровозе. Нет, таких людей никаким экзаменом не отпугнешь!

Электровоз протрубил. Трехзвучный призыв сирены возник в горах, эхо недремлющим ясным голосом отозвалось из мрака — и полетели, понеслись далеко протяжные трубные звуки, словно за каждой горой, за каждым склоном хребта шел в море пароход...

Впереди, совсем близко, мигали в черноте огни.

Поезд плавно подошел к станции, постоял недолго и плавно двинулся дальше. Предстояли последние километры до вершины подъема: следующая станция была уже за перевалом.

Горы словно раздвинулись. В высоте над вершинами угадывалось темное близкое небо, но от яркого света в кабине так слитно чернело все за окном, что никак нельзя было разобрать, огни ли, звезды ли мерцают там, наверху.

Вдруг огни пропали, и сразу стало тесней. Не было видно скалистых стен, но Анка чувствовала, что они тут, рядом, — из окна опять потянуло холодом. Электровоз шел тише и весь гудел. Внезапно опять затрубила сирена — резко и мощно. Анка вздрогнула:

— Что это?

Толкач позади отозвался так же необычно: словно около самого уха прогудел его низкий голос, и эхо мгновенно и густо отдало оба звука, колыхая их над самым поездом, как невидимые черные облака. Анка высунулась в окно кабины, сырой холод охватил лицо и плечи; перед ней почти вплотную к насыпи ползла гора.

— Тоннель скоро, — сказал юноша-практикант.

Темнота медленно растворялась в мутной сероватой мгле. Даже неопытному глазу Анки заметен был подъем. Камни, кусты, кривые корявые деревья, набегавшие на свет кабины, — все цеплялось и лезло куда-то вверх. Рельсовый путь уходил непрерывным поворотом: поезд медленно поднимался вокруг горы.

Придерживая треплющиеся волосы, Анка напряженно смотрела вперед. Ничего — ни огней, ни силуэта горных вершин в небе, ни самого неба! Мгла. Ветер и мгла... Лишь далеко-далеко, совсем, не сзади, а справа и словно внизу, то светили, то прятались круглые глаза «толкача». Электропоезд шел почти бесшумно и все-таки был отчетливо слышен в тишине. Казалось, горы и ночь напряженно следят за подвигом двух машин, затаив все звуки, какие еще доносит жизнь на высоту почти двух тысяч метров.

— Красота!.. — вздохнула всей грудью Анка!

— Ц-ц... мировые машины... — тихо заговорил юноша. — Такого подъема на весь Советский Союз больше нету, кацо!

Опять протрубили друг другу электровозы, передний — певуче-протяжно, как гигантская валторна, толкач — низким и медленным органно-густым строем, словно адажио в духовом оркестре, взятое одними басами:

— Тру-у-у...
— Тро-о-о-ом...
И вдруг почувствовалось, услышалось по звуку: поезд уже в тоннеле.
Электровоз шел и трубил. Во всех окнах кабины опять глухо чернела ночь; даже в самой кабине стало темней, все лампы были выключены, только щит с манометрами светился изнутри. Анка хотела было спросить об этом машиниста, но поняла сама: так виднее было вести электровоз.
Теперь ночь дышала затхлой, промозглой сыростью — не ветер с гор, а подземный холод тек в окна. Мутно-желтая точка возникла издали, она приблизилась, расплываясь неясным пятном, туманно светясь во мраке, за ней другая, третья: тоннельные электролампы. В неживом их свете Анка увидела сырой каменный свод, — глубокие швы бороздили кладку, крупная капéль выступала на стене, как холодный пот. Внезапно впереди, словно в тумане, протянулась огненная нить; это был поворот. Теперь тоннель был виден во всю длину, пронизанный рельсами и линией ламп, тремя бесконечными прямыми. Странный звук, похожий на сигнал, родился и замер.
— Звонок значит,— дальше без толкача, — объяснил Анке юноша-практикант.
Машинист кивнул. Спокойная поза его приметно изменилась. Он наклонился вперед, вытянув правую руку. Только один его глаз был виден Анке сбоку, и этот глаз напряженно следил за амперметром мотора. Что-то произошло и с электровозом. Он уже не полз, а шел по тоннелю, швы на стенах и туманные пятна ламп проплывали быстрей, вдали уже до самого конца круглился трубой свод; было так, будто поезд идет внутри гигантского пушечного ствола — и дуло орудия, наведенное, быть может, на Марс, вдруг наклонилось, и поезд покатился вниз...
Перевал был взят. Где-то позади, по ту сторону хребта, спускался обратно толкач. Впереди засветлело: выход мчался навстречу, там уже не было ночи, там были небо и простор!
Машинист отрывисто сказал что-то помощнику, и опять застыл глазом на амперметре. Помощник исчез в коридоре.
Юноша переместился ближе к машинисту и оглянулся на Анку, как бы приглашая ее занять место для наблюдения.
— Вот сейчас будет рекуперация, — сказал он, и глаза его блеснули улыбкой.
Стрелка амперметра, колеблясь, двигалась влево, к рубежу белого и красного полей. Машинист левой рукой работал контроллером, но уже не нижней, а верхней рукояткой; правая рука в напряженной готовности держала тормоз.
Поезд шел все быстрее, выход светлел, стремительно близился навстречу, и вдруг тормоз пронзительно зашипел. Стрелка дрогнула, замерла, шипенье выросло, оборвалось и опять возникло, осторожно нарастая в тишине кабины. Электровоз мчался почти бесшумно — замер стук компрессора, не слышно было вентиляторов. Так замирает сердце и захватывает дыханье у бегущего под гору человека... Ма-

шинист стоял неподвижно, попрежнему чуть наклонясь вперед, руки его коротко, едва заметно двигали попеременно рукоятками. Эти руки, контроллер и тормоз, ползущая стрелка и зоркий глаз над ней — все жило сейчас общей, слитной жизнью. Человек всей душой, всеми нервами словно впаялся в несущуюся массу металла, хитроумно и тяжело слаженную из тысячи частей.

Тоннель уже кончался, стены летели мимо, лампы мелькали вверху бледными язычками. Электровоз затрубил победно и яростно, как вырвавшийся на волю зверь.

Конец, конец!

Свет ударил в глаза...

Бледноголубым океаном сиял простор, весь из ветра и высоты. Зелень, склоны, крыши и козы стремглав разбегались в стороны — электровоз летел прямо в небо, направляемый усатым строгим человеком навстречу заре!

Буйная радость жизни пахнула Анке в лицо. Ее бросило опять к окну. Зажмурясь, она жадно глотала ветер, пока не занемели зубы, потом сразу распахнула глаза.

Еще не было ни дня, ни утра, был только свет. Слабо розовели далекие вершины, внизу облаками стлался туман; зеленые и рыжие склоны кружились перед насыпью, торжественным хороводом встречая рождение солнца.

Поезд постепенно сдерживал ход. Анка оглянулась: гора медленно и бесшумно, как во сне, падала назад. Последние цистерны сбегали от тоннеля, толкача не было.

Практикант оглянулся на Анку:

— Видала? Знаешь рекуперацию, кацо? Нет? Сейчас объясню...

По склонам громадных гор, то блистая под нависшей скалой, то пропадая в ущелье бесконечными изворотами, вилась вниз рельсовая колея. Уже сияли солнцем вершины хребта и яркое грузинское небо, но самого солнца еще не было: где-то за перевалом катилось оно вверх, не поспевая за электропоездом. Он стремился под уклон, выгибая по насыпи хвост, длинный и многосуставчатый, — он летел все быстрее и предупреждающе трубил на поворотах.

Практикант говорил, Анка слушала, застыв от изумления.

Так вот оно, незаметное искусство рекуперации, гордость электровозных машинистов!

На уклоне не тратится огромная сила тока, какую тянет из проводов электропоезд. Вниз он идет силою собственной тяжести, и машинист только сдерживает тормозами его ускоряющийся бег. И колеса электровоза, трение их о рельсы, вся система машины сама становится производителем энергии, она не только не берет тока из сети, она сама начинает давать его в сеть.

— Это... это чудесно! — проговорила Анка; глаза ее были широко раскрыты.

В окнах мелькали мимо деревья и мачты. Впереди, открывая дорогу поезду, стремительно уносилась вправо леписторыжая гора. Электровоз летел за ней, скользя по самому склону, — все тридцать две цистерны сами гнали его теперь, превратившись из груза в живой,

огромный, лавиной катящийся вес. Это был уже не электровоз — это была мчащаяся электростанция, на лету заряжавшая провода двигательной силой.

Все теперь было понятно Анке. Стихия инерции, взъяренная громадным уклоном пути в двух тысячах тонн металла и нефти, бушевала сейчас в недрах электровоза, и эту стихию держал двумя рукоятками молчаливый усатый машинист. Контроллер и тормоз в его руках попеременно командовали этим потоком сил, и лишь в искуснейшем, хладнокровнейшем сочетании управления заключалась победа над стихией.

Нельзя было совладать с нею одной правой рукой: тормоз принял бы на себя всю мощь инерции, и электропоезд спустился бы вниз, как всякий обыкновенный паровой поезд, как грузовик, как простая колхозная телега, не создав и не передав в провода ни одного ампера электротока.

Нельзя было совладать со стихией и одной левой рукой: громадная сила разбега, не умеряемая тормозом, вся ударила бы внутрь электровоза и пережгла бы его передаточную систему, убив драгоценную машину и опять-таки ни капли энергии не вернув в контактную сеть.

Машинист стоял у приборов, чуть прищуря глаза на манометры, — он их видел все сразу, он видел и путь впереди, и вершины гор, и небо, — он видел все, и руки его коротко и четко двигали то правой, то левой рукояткой, а поезд мчался и мчался вперед...

На остановке машинист вынул чистый носовый платок, высморкался и, расправляя усы, посмотрел на юношу, потом на Анку.

— Хороша машина! — убежденно и весело сказал он. — Совесть имеет, верно? Советскому государству долг отдает, какой еще машины надо?

Усы у него шевелились, глаза смеялись. Анка восторженно смотрела на него.

— Это не машина, — сказала она неожиданно, — это вы сделали!

— Мы, вместе, вместе, — проговорил машинист, тщательно вытирая усы платком, и, продолжая улыбаться глазами, пошлепал ладонью по гладкой рукоятке контроллера. Проверив кнопки и рычаги управления, он вышел на площадку и спустился с электровоза, разминая ноги.

— Что, красиво ехали, верно? — юноша-практикант смотрел на Анку торжествующим взглядом.

— Да, очень красиво! — искренно ответила она. — Слушайте, ведь это действительно страшно трудная штука... рекуперация?

— Канэчьно... — сказал практикант. — Электровоз можно испортить, в ремонт пойдет, много денег пропадет, много работы пропадет.

Анка промолчала.

— Но ведь если не делать рекуперации...

— А разве все делают? — Практикант мотнул головой и поцокал языком с оттенком презрительного осуждения. — Кто плохо умеет —

обязательно боится, а который боится — никогда рекуперацию не сделает.

— Значит, он тоже мог бы не делать? — спросила Анка. Поднятый подбородок ее показывал на машиниста, стоявшего недалеко от электровоза.

— Канэчьно, — с гордостью сказал юноша. — Каждый раз кто проверит? Никто не проверит. Только он без рекуперации никогда не ездит, он и комсомольцев наших научил. Он — коммунист, он по совести делает.

Анка промолчала. Она подумала, что кроме совести тут надобно еще огромное уменье, но вдруг простая и ясная мысль блеснула у нее. «У кого есть совесть, у того будет и уменье», — радостно сказала она себе. Эта мысль показалась ей таким замечательным открытием, что захотелось сейчас же сказать ее вслух, но машинист уже поднимался на площадку электровоза.

Трубный звук раздался впереди: из-за поворота пути, на зеленом фоне склона Анка увидела другой, идущий электровоз.

— Встречный! — сказал машинист, и вдруг строгое лицо его все осветилось улыбкой; кивнув на идущий поезд, уже не скрывая спокойной и счастливой гордости победителя, он проговорил: — Вот этому, кацо, оттого, что мы рекуперацию делали, на полперегона бесплатной энергии хватило! Мы ему помогли — сами проехали и его подняли, чтобы он государственный ток не тратил!

Анка молча качнула головой! Она поняла и почувствовала сразу слишком много, чтобы отвечать словами. Она смотрела на встречный поезд, тянувшийся мимо вереницей товарных вагонов, и думала о человеческой совести и машинной мощи, которые вместе могут творить чудеса. Слова Фаддея Дамиановича Рыбакова в защиту паровоза показались ей несомненной ошибкой, консервативным предубеждением стареющего, хоть и честного специалиста, и судьба паровоза вдруг представилась такой же решенной, хоть и не для всех еще ясной, как и судьба самого Фаддея Дамиановича, о которой у Анки почти не оставалось сомнений... Но Рыбакова ей было жалко, очень жалко, а паровозы — ничуть.

«Вот он, завтрашний день тяги», — думала она, восторженно глядя на встречный электровоз, приближающийся так стремительно и ровно в голове своего, тоже огромного, поезда, словно шел он по равнине, а не на тяжелый, редкостно крутой подъем.

★

Машинист Федор Щербина

(Отрывки из романа «Магистраль»)

Встреча на паровозе

Анка в это самое время торопится с другой стороны к поезду. В спецодежде, промасленной и прокопченной насквозь, в грязной кепке, глубоко надвинутой на золотые кудри, она, запыхавшись,

поднимается прямо на паровоз, только что поданный к поезду, и машинист, нагибаясь сверху, берет бумажку у нее из рук.

— Практикантка? Знаю, — коротко говорит он. — Значит, к делу помощника будете приглядываться.

Сам еще человек не старый, он добродушно слушает торопливые извинения Анки, опоздавшей к выходу паровоза из депо; и видно, что он не очень верит невнятным ссылкам на какого-то больного братишку.

— Ладно уж, чего там...Дело молодое, сойдет на первый раз.

— Первая поездка? — негромко переспрашивает чей-то голос, и за спиной машиниста Анка видит незнакомого человека с горячими и строгими глазами, одетого так же, как машинист. Но это не помощник и не кочегар: в руке у него записная книжка не первой свежести, в книжке зажат карандаш.

— В первую поездку надо не к помощнику, а сначала к кочегару приглядываться, — так же ровно говорит он, бегло оглянув Анку.— Вот и лопатка есть.

«Лопата»?

Растерявшись, Анка только тогда начинает злиться, когда уже проехали и первый перегон, и второй, и третий.

«Чорт знает...Да кто он такой — командовать?!»

Но человек с книжкой уже не обращает на нее никакого внимания: он занят каким-то своим делом, непонятным Анке, как и он сам. В пути он изредка дает какие-то указания и машинисту, и помощнику, на остановках молча осматривает локомотив, лазит всюду, стараясь в то же время не мешать паровозной бригаде, и так же молча время от времени записывает что-то в книжку. Иногда он кладет ее в сторону, чтобы не мешала при осмотре, и тогда Анка, осторожно заглянув туда, успевает увидеть:

...Рыбница переднего хвостовика у поддерживающего болта не имеет гайки и шайбы внизу.

...У спускного крана нет совсем ручки, котел поэтому не продувается.

...В таком виде паровоз № 97-95 выпущен с холодной промывки членом партии, инспектором Зубцом.

— Будет теперь Зубцу! — тихо говорит машинист, тоже заглянув в книжку через плечо практикантки. — Попадет в баню...

Но Анке — не до судьбы неизвестного Зубца. Она сама попала в баню, да в такую, что, кажется, больше не выдержать и часу, не только целого рейса. Шум и лязг на паровозе кажутся ей сплошным безостановочным грохотом, в лицо то пышет адским жаром из топки, то хлещет ветром на тендере, от угольной пыли уже нестерпимо режет в левом глазу, а вытереть нечем (руки стали сразу черными), да и некогда: раз поставили в подручные к кочегару, значит, зевать нельзя.

— Давай, дава-ай! — кричит Анке кочегар, молодой веселый парень, только зубы сверкают в улыбке на черно-серой физиономии.

Работа, собственно, пустяковая, но лопата, чорт, какая-то неудобная. Анка орудует ею изо всех сил, со звоном в ушах, но уголь разлетается кусками во все стороны, только не куда надо.

— Не так, не так! — раздается над самым ухом, и крепкая рука отнимает у Анки лопату. — Вот, глядите...

Раз-два!

Раз-два!

Лопата возвращена, Анка продолжает работу, не помня себя от обиды. Ее, студентку, перешедшую на третий курс, можно сказать, почти инженера, какой-то тут будет учить... и чему? Тоже наука, подумаешь!

Поезд несется дальше. На одной из станций на втором пути стоит встречный товарный поезд. Человек с карандашом и книжкой еще издали, на ходу, всматривается в номер товарного паровоза.

— 679-30... Ежов! — говорит он вслух.

Через полминуты он уже шагает к товарному. Машиниста Ежова на паровозе нет. Кочегар спит. Человек с книжкой сердито трясет его за плечо:

— Товарищ... Эй, товарищ! Да разве можно спать на посту?

Кочегар поднимает голову. Вглядевшись в лицо человека, он вскакивает мгновенно.

— А что же, и полежать нельзя... — растерянно бормочет он.

— Как фамилия?

— Липкин. Да я больше не буду, товарищ...

— Где машинист?

— На станции.

— Так, так, ребята!

Карандаш опять в работе. Потом пассажирский увозит человека с записной книжкой дальше. Станция... Разъезд... Опять станция... У следующего встречного товарного паровоз тоже стоит без хозяина: машинист, «отдыхавший» на станции, выбегает оттуда с растерянным, виноватым лицом.

— Заусайло, ты что же это? Да какой же ты коммунист после этого! — Человек с книжкой гневно сводит густые темные брови. Он не слушает оправданий, и напрасно старается машинист Заусайло:

— Товарищ Щербина, да я на минутку...

— «Щербина?».

Вытирая грязным рукавом пот со лба, Анка широко раскрывает глаза. Так вот это кто! Ну, да ведь тогда ночью она видела его мельком, да и почти год назад. Так этот хмурый, такого обыкновенного вида человек — это и есть лучший машинист на всей дороге, пресловутый Федор Автономыч, о котором она за одни сутки столько наслушалась в депо, едва успев начать практику! Ф-фу, подумаешь, персона! И с эдаким злюкой Платон[1] носился, словно...

Поднявшись обратно на паровоз, Федор Щербина видит бросаемые на него косые взгляды. Кажется, только сейчас он замечает, что подручный кочегара — девица с кудрями, так и лезущими из-под кепки.

— Опять не так работаете, — хмурясь, говорит он. — Паровозное дело, видите ли, такое...

---

[1] Парторг строительства.

— Да уж вижу, какое! — вырывается у Анки. — Уж не то, что электровоз, например.
Жесткая усмешка прерывает ее:
— А что, на электровозе поинтересней?
— Еще бы! — внезапно вспыхивает Анка, и так уже красная от жары. — Какое же может быть сравнение! Ведь паровоз же такая несовершенная машина, что вообще...
— Ничего, гражданочка, мы и на них еще поработаем! — Федор Щербина сурово сводит густые брови, видя, что вся бригада прислушивается к разговору. — Да еще как! Оно, понятно, дело беспокойное, грязноватое, не то что на вечеринках танцовать...
— А я не из таких, к вашему сведению! — огрызается Анка, хватаясь опять за лопату. — Я вообще не танцую!
— Да ну? Тоже плохо, гражданочка.
— Можете мои личные дела не критиковать, товарищ! А если плохо работаю, так я... так мне простительно как практикантке. Вы уж сначала от тех добивайтесь, которых в книжку записали!
— И добиваемся, гражданочка, будьте спокойны.
— То-то многого добились, видать! — фыркает Анка. — Чуть не на каждом паровозе люди спят!
Щербина, не отвечая, долгим взглядом смотрит на Анку, и она чувствует, смутно, что сказала какую-то ужасно глупую и грубую вещь. — Это видно по лицам всей бригады.
— А вот поездишь по пятнадцать часов подряд, без смены, — жестко и почему-то на «ты» говорит ей Щербина, — так сама еще раньше других заснешь, хоть под паровозом, не то что на паровозе!
Анка видит: на нее уже не смотрит никто.
— Товарищ, вы напрасно...
Ревет гудок.
Машинист-наставник спокойно становится опять около механика, паровоз плавно берет с места.
Окончательно взбешенная тем, что теперь уже нельзя и ответить, совсем сморенная с непривычки и жарой и всем прочим, подручная кочегара больно прикусывает пухлую губу.
«Больше — ни звука с этим человеком!»
И ожесточенно принимается опять за работу, только кудри треплются из-под кепки...
— Вот теперь так! — слышит она за спиной.
...В обратный путь паровоз летит, как ветер, на остановках — почти нигде никаких задержек. Но Щербина совершенно непонятным Анке способом успевает увидеть по пути всякую неисправность, несмотря на темноту, и опять отмечает беспощадный его карандаш, что на такой-то станции паровоз обнаружен с нетрезвой бригадой, а на следующем разъезде резервный паровоз стоит на втором пути во тьме, а машинист Авдеев, член партии, не потревожился осветить сигналы.
«Пиши, пиши, добивайся, — упрямо думает Анка, косясь на потрепанную книжку: — все равно с электровозом не сравнить, не сравнить!»

. . . .

Уже на рассвете кончается рейс. Бледнеет небо, бледны огни узла, плывущие навстречу, бледны лица людей на паровозе. У Федора Щербины — красные веки, но он все еще высматривает что-то в своей книжке, и вся бригада, кроме надутой Анки, следит за выражением его лица.

— Неплохо съездили, Федор Автономыч? — спрашивает машинист.

— Неплохо,— словно равнодушным голосом говорит Щербина,— неплохо, а надо лучше, друзья. Для паровоза июнь — в году лучший месяц, а мы его как проездили? Все депо ведь...

Опять гудок заглушает для Анки его слова.

«Почему июнь — лучший?» — пытается она сообразить, в зябкой дрожи сдерживая зевоту. И спина, и плечи, и руки, и ноги — все у нее ноет и ломит, словно избитое, — ненавистная лопата только полчаса назад выпущена из рук. И приближающаяся из тумана крыша депо на мгновенье опять заставляет вспомнить о другой, прошлогодней, закавказской поездке, такой несравнимо чудесной, на прекрасной машине, в комфортабельной, как каюта, кабине, свободной и от этой вот копоти и жары, и от этого дикого, допотопного кочегарного труда.

«Чорт, и надо же было попасть на паровоз, на котором даже стокера нет!»

Вот уже отцепились от поезда. Фыркая, как выпряженный конь, паровоз подходит к депо.

. . . .

Заслуженная награда

Через четыре дня вечером в общественном саду, где столько раз устраивали свои «свидания» машинист Федор Щербина и его Прасковья Дмитриевна, — в этом саду чествовал своего героя весь узел, как не чествовал еще никого. Полны были все скамьи на площадке перед раковиной эстрады, под деревьями в боковых аллеях теснились опоздавшие, и даже на самой эстраде, в рядах президиума, нехватало места для всех почетных гостей. Здесь, по желанию виновника торжества, были посажены и Дорофеев[1] с женой, и Платон, и Савелий Ипатыч Кныш[2], как специальный делегат от строительства вторых путей), — около самих чествуемых. Супруги сидели рядом, ярко освещенные огнями, окруженные цветами и подарками. Она — смущенная, совсем молодая от волнения для своих тридцати девяти лет, он — неподвижный и молчаливый, изредка только поглаживающий чисто выбритую щеку одним и тем же коротким движением, единственным, которое выдавало его переживания сейчас.

—...Почему же, товарищи, наше собрание так празднично сегодня? — говорил председатель торжества, парторг депо: — Потому, товарищи, что награждение нашего Федора Автономыча Щербины, среди других лучших людей транспорта, орденом...

---

[1] Инженер-коммунист.
[2] Строитель-стахановец.

Словно целое море голов колыхалось перед Федором Щербиной под разноцветными фонариками сада. Вот, кажется, улыбнулся ему Зубец, инспектор по выпуску паровозов, — а ведь этого самого Зубца он еще недавно «пропечатал» в узловой газете за небрежный выпуск паровоза с холодной промывки. Вот дружно кивают ему, Федору, машинист Ежов с кочегаром Липкиным, — а не им ли обоим досталось от него за спанье на остановке в пути?

Один за другим ораторы поднимались на трибуну. Слесаря и политработники, командиры депо и товарищи машинисты поздравляли своего орденоносца с высокой наградой страны. В шуме приветствий и общего одобрения они передавали все новые и новые подарки самому Федору и Прасковье Дмитриевне, и при каждом поздравлении, словно на старинных свадьбах, оркестр играл туш.

— Спасибо, товарищи, благодарствую... — только повторял Федор, крепко отвечая на рукопожатия...

Да, среди них, поздравлявших, даривших, рукоплескавших, были и те самые люди, которых, может быть, еще недавно стыдил и ругал он как машинист и рабкор. Они праздновали вместе с ним его праздник, они гордились им, эти самые люди, — и Федор чувствовал что и сам перестает удивляться этому. Ведь не иначе, как именно за то и благодарят его товарищи, что он не давал им спать на посту, покидать паровозы, забывать о сигналах, о качестве ремонта, что он учил их работать все лучше и лучше. Ведь если не за это, так за что же тогда и хвалить его, такого же машиниста, как и многие другие в депо!

«Вот! Параску — ее-то, в самом деле, есть за что хвалить, — со счастливой гордостью, думал он, уже почти не слушая речей. — Кабы не она, так разве мне бы...»

— Слово Федору Автономычу Щербине! — будто откуда-то издали услышал он. И поднялся, словно очнувшись, почти растерянно оглядывая десятки ближайших лиц, дружеских, улыбающихся...

Ему — говорить? Но что же он скажет, он, никогда в жизни еще не произносивший настоящих, больших речей!

— Слово — нашему первому орденоносцу! — громко повторил парторг, заглушая стихающие аплодисменты.

«П е р в о м у !..»

Федор поднял голову. Еще раз погладил щеку, отодвинул стул. И, пока оркестранты играли опять свой туш, ровным и медленным шагом вышел к рампе.

— Дорогие... друзья! — Голос его был глуховат. — Дорогие товарищи! Недавно я еще не знал, как не знали и вы все, что один из нас будет орденоносцем. А лично про себя-то я, верьте или не верьте, такого и думать не мог! Ну, дали, — значит, заслужил, выходит... дело не в этом. Дело в том, что началось у нас на транспорте такое громадное, такое радостное дело... нет, не умею я говорить товарищи! Вы вот все, понятно, знаете теперь из газет, что сказал товарищ Сталин, когда нас в Кремле принимал... Ну, а я-то, понимаете, сам ведь слышал каждое это слово и не забуду ни одного во всю жизнь... Поднялись ведь мы, товарищи железнодорожники! Действительно, в гору идем!

Федор шагнул на самый край эстрады:

— Скажем же спасибо нашему наркому, друзья и братья железнодорожники, что хватает у него большевистской силы и терпенья большевистского, чтобы встряхивать и поднимать, чтобы стыдить и ободрять, и учить нас всех, и путь показывать вперед! Ведь недаром сказал товарищ Сталин — есть у нас работники малые и большие, но нету ненужных либо незначительных... Да и не может их быть, товарищи, потому что велика и нынче, а будет и еще шире железнодорожная наша держава!

. . . .

В Кремлевском дворце 30 июля 1936 года

Большой Кремлевский дворец встречает небывалых гостей. Люди в железнодорожной форме кучками и поодиночке входят в его прекрасные залы. К семи часам вечера их прошло очень много, а к подъезду подкатывают еще и еще автомобили и из них выходят еще и еще железнодорожники, тщательно одетые, в начищенных до блеска сапогах и ботинках, и с взволнованными лицами торопливо поднимаются во дворец.

— В Георгиевский зал, в Георгиевский зал... — слышит машинист Федор Щербина, привезенный одной из последних машин, вместе с другими запоздавшими, спеша наверх. — Без пяти восемь, товарищи! Даже не заметив ни лестниц, которыми шел, ни стен, ни потолков, он почти вбегает в Георгиевский зал и во-время. Едва он успевает пробраться, насколько можно, вперед и сесть, из другой двери появляется довольно большая группа людей, и весь зал с шумом поднимается им навстречу, ликуя и рукоплеща.

Поднимаясь на носки, Федор с радостью дрогнувшим сердцем сразу узнает Ворошилова, — еще бы не узнать, все такой же, как и в семнадцатом, хотя и виски седые! — узнает и Михаила Ивановича Калинина, и Орджоникидзе, и Микояна, и других, и теперь смотрит уже только на того, кто идет в середине чуть-чуть впереди, рядом с улыбающимся народным комиссаром путей сообщения, и тоже с улыбкой что-то говорит ему...

— Так вот он... так вот он какой!

От волнения Федор не может расслышать, что кричит пожилой длинноусый железнодорожник неподалеку от него да и нельзя расслышать — рукоплескания все усиливаются, и никто не садится на места, и сколько времени продолжается все это, машинист Щербина никогда потом не сможет в точности рассказать своей Параске... Он овладевает своими чувствами, когда давно уже тихо в зале заседаний: перед железнодорожниками говорит их народный комиссар.

Нарком говорит такое простое, понятное, близкое и важное, что Федор, вслушавшись, так и застывает на месте, что бы не пропустить ни слова.

Большая беда железнодорожников — разрывы поездов. Они бывают от неумелого управления, от плохого торможения, от неправильного спуска, особенно на поворотах, на кривых. Наш великий машинист —

Сталин — умеет вести локомотив революции без толчков и разрывов, без выжимания вагонов, спокойно, уверенно проводя его на кривых, на поворотах...

Машинист социалистического строительства — Сталин — твердо изучил и отлично знает, не в пример многим нашим машинистам, тяговые расчеты своего непобедимого локомотива, знает силы сопротивления от «толчков на стыках», силы сопротивления «воздушной среды». Он уточнял и развивал эти расчеты, данные Марксом, Энгельсом и Лениным, и не допускал разрывов поезда, обеспечивал настоящую, крепкую сцепку «вагонов» разной конструкции, разной грузоподъемности, «вагонов» пролетарского города и советской деревни. Тем самым он обеспечил нерушимый союз рабочего класса и трудящегося крестьянства...

...В зале сидят железнодорожники всех служб, всех должностей и всех рангов — тут такие же, как и он, Федор, рядовые машинисты с товарных и пассажирских паровозов, и большие и малые командиры. Тут — начальники депо, станций, начальники целых дорог, ремонтные рабочие-путевики и известные инженеры путей сообщения, простые кондуктора и крупные руководители из наркомата, неизвестные никому связисты и люди ученого звания, столичные профессора железнодорожных наук...

А нарком говорит... про машиниста.

...Наш машинист правильно набирал и набирает скорость, разгон, чтобы взять трудные подъемы.

Он осторожно вел и ведет поезд социалистического строительства на крутых спусках и обеспечил, в отличие пока от нас, — железнодорожников, безаварийное продвижение поезда. При этом форсировка котла, техническая и участковая скорость локомотива революции куда выше нашей железнодорожной. (Оживление в зале.) Машинист нашего великого локомотива не только твердо знает свой марксистско-ленинский график, но внимательно следит за машиной, чтобы она не пропускала зря пара, чтобы всегда было достаточно воды в котле, чтобы давление не падало, а если кто-нибудь спускал революционный пар, то товарищ Сталин нагонял ему такого «пара», что другому неповадно было. (Веселое оживление, аплодисменты.) Взрыв веселого смеха проносится по залу: что это сказал нарком, насчет пара в котле? Но уже снова тихо в зале, и теперь каждое слово отчетливо слышно Щербине...

...Машинист локомотива революции — Сталин — умеет крепко сплачивать свою бригаду, освобождать ее от плохих, нерадивых, негодных работников, он внимательно следит и учитывает малейшую опасность, умеет чутко прислушиваться, не в пример многим нашим машинистам, к сигналам кондукторской бригады. Он умеет выращивать и сплачивать кадры... Поезд революции идет четко и уверенно, твердо соблюдая расписание. Результаты выполнения твердого расписания первой и второй пятилетки видны в росте нашей индустрии, в деревне, в колхозах и совхозах, на гигантских заводах промышленности, в могучем вооружении нашей славной, мощной Красной Армии, в улучшении материально-бытового положения тру-

дящихся нашей родины, на спартакиадах. в школах, в каждом уголке нашей страны, где расцветает новая светлая жизнь, где крепнет и поднимается новый человек, который победит во всем мире...

Вновь гремят аплодисменты... Горячими глазами Федор Щербина окидывает лица людей в зале: четыреста железнодорожников, вместе с ним сидящих в гостях у руководителей партии и правительства, все, как и он, Федор, ловят каждое слово вдохновенной речи. Почти никого из этих людей Федор не знал раньше, многих узнал только за последние пять дней, в напряженной непрерывной работе НКПСовского совещания, закончившегося лишь вчера, но каждого из них, и знакомых и незнакомых, он чувствует сейчас близким, дорогим товарищем, соучастником великого дела, первые успехи которого привели их всех вот сюда... Ведь и транспорт, и транспорт теперь— не в стороне от народных побед!..

Не рукоплескания, а шквал рукоплесканий покрывает последние слова наркома. Вместе с другими вскакивает с места Федор Щербина, что-то горячее застилает ему глаза. Никогда еще этого не бывало с ним — ни дома, ни на паровозе, ни даже в депо на собрании, когда поздравляли со званием лучшего машиниста дороги...

— Товарищи! Да здравствует... — кричит он сильным и звучным голосом, незнакомым ему самому. — Да здравствует первый машинист Советского Союза — любимый товарищ Сталин!

Ему кажется, что он первый крикнул это, но со всех сторон люди кричат, сияя, эти восторженные слова, и, как в тумане, плывет перед глазами у Федора великолепный праздничный зал...

— Ура первому машинисту!...

— Ура!

☆

Джамбул

Песня о друге Сталина

Меж Ер-Назаром и шумной Москвой
Гребни Уральских гор,
Степи, луга с изумрудной травой,
Волга, сияющая бирюзой,
Яшмовый блеск озер...
Если бы мне снарядить караван
И на верблюжьем горбу
Ехать в Москву сквозь росу и туман,
Я проклинал бы судьбу.
Сдохли бы все мои верблюды,
Дождь бы размыл следы,
Я бы покинул аул молодым,
Прибыл в Москву седым...

Но не седлал я себе верблюда́,
И не седлал коня,
Мчали сквозь степи твои поезда,
Легче журги[1] меня.
Волны бежали в густой траве,
Степь утопала в цветах.
Поезд от Алма-Ата к Москве
Повел машинист-казах.
Поезд не опоздал ни на час,
Во-время прибыл он.
Твой, Каганович, могуч приказ,
Слово твое — закон.
Армию смелых ведешь за собой,
Сталинец верный ты.
И засиял семафор звездой,
Рельсы легли, и над сизой водой
Встали стальные мосты.
А в Казахстане — гриваст, красив,
Словно миллионом копыт,
Огненный и вороной Турксиб
Звонко в степях гудит.
А в Казахстане цветет душа,
Радуясь быстрой езде,
От голубого, как день, Балхаша
К черной Караганде.
Это все дело твоей головы,
Труд твоих крепких рук,
Смелый и сильный, как сильны львы,
Сталинский близкий друг!
В недра земли я в Москве попал,
В мраморное метро.
Там, как от сказочных опахал,
Веет прохлада ветров.
Поезд подземный летит стрелой,
Лестница, как водопад.
Лампочки в этом дворце под землей
Ярче созвездий горят.
Нет ни в одной из подлунных стран
Так не поют сердца!
Нет, никогда и сильнейший хан
Не жил в таких дворцах.
Ты, Каганович, метро создал,
Подвиги ты вдохновлял,
Первым лопату ты в руки взял,
Недра земли ты первым копал,
Первый давал сигнал...

---

[1] Журга—быстроногий конь.

Пусть в тебе силы кипят и растут,
Будь ты здоровьем богат,
И вдохновляй возрожденный люд
На большевистский доблестный труд
Сталина младший брат!

★

Н. Вирта

В дороге

Этот старик сел в поезд за пять минут до последнего звонка. В купе, кроме меня, помещались хромой военный и девушка.

Минут пятнадцать старик устраивал на полках свои корзинки, корзиночки, мешки и мешочки, затем разостлал постель, скинул сапоги, вынул из свертка туфли и, наконец, привалился к спинке, облегченно вздохнул, улыбнулся и сказал, обращаясь к нам:

— Ну, значит, поехали. Вот и хорошо. Вас трое, да я четвертый — соседом вашим буду. Звать меня Степан Лапин, а то и просто дед Степан. А вас как?

Хромой военный, уже лежавший на полке, отвернулся, не ответив деду Степану, девушка и я назвали свои имена. Девушку, оказалось, звали Наташей.

Познакомившись таким образом с нами, дед вынул из-под сиденья огромную корзину и начал извлекать из нее продукты. Чего у него только не оказалось: и колбаса, и котлеты, и чайник, плотно завернутый в газету, и сухари, и яйца, и огурцы.

Развязав и разложив всю эту снедь, дед пристал к нам с просьбой откушать вместе с ним. Волей-неволей пришлось согласиться. Степан окликнул и хромого соседа, но тот не отозвался, он спал или притворился спящим.

— В Криворожье не бывали? — спросил дед.

Мы отрицательно покачали головами — рты наши были заняты едой.

— Ах, какой город! — рассказывал дед, он с аппетитным хрустеньем ел большой соленый огурец. — Красота! Народ кушает пшеницу, стал толстым, красивым, гуляет, песни поет. А баб беременных, извиняюсь, уйма!

Наша молоденькая белокурая соседка порозовела, а дед словно не замечал ее смущения и продолжал свой рассказ о свадьбах, о двойняшках и тройняшках, которые, по его словам, появляются в Криворожье чуть ли не ежедневно.

Меж тем поезд выстукивал свою немудреную песенку, уносил нас все дальше и дальше от Москвы, в теплые края. Окончив кушать, дед незаметно распустил на брюшке плетеный поясок и, хрустнув скулами, зевнул.

— А как бы, детки, мне соснуть? — спросил он.

— Сосни, дедушка, — ответила Наташа. — Спи спокойно, все будет цело.

Дед скинул с себя тужурку, под ней оказался жилет, он снял его, под ним оказался другой жилет и третий. Степан аккуратно сложил жилеты, лег, закинул руку за голову и улыбнулся. В то время выглянуло солнце, оно бросило в окно целый сноп веселых лучей, в вагоне стало просторно и уютно.

Наташа улыбнулась солнцу, я улыбнулся, глядя на нее, дед засыпал, улыбаясь в седенькие усы.

— Какой хороший дед, — шепнула мне Наташа, — правда?

— Да, — ответил я. — Мне очень приятно, что я попал в это купе! — И выразительно посмотрел на девушку.

— Замечательный дед, — слукавила она.

Мы принялись читать, и я изредка тайком поглядывал на Наташу. Часа через два в вагоне стало темно и жарко.

— Фу, как душно, — сказала Наташа. — Не могу больше здесь сидеть.

— Идемте к выходу, я заметил — там открыто окно.

Мы вышли и стали у окна. Оно было узкое, нам пришлось стоять, тесно прижавшись друг к другу. Сквозь белую кофточку я чувствовал теплое, мягкое плечо девушки.

Мы говорили о всякой всячине: о зоопарке, о вузовских порядках, о каникулах, которые она должна провести дома на Украине, о том, как хороша ночь.

Мимо нас несколько раз проходил кондуктор — высокий рыжий человек. Он хитро качал головой и ехидно улыбался — совсем напрасно!

II

Рано утром теплая, мягкая ладонь легла на мое плечо, я положил ее под подушку и заснул. Не знаю, на яву или во сне я слышал тихий смех.

Когда я очнулся, Наташа еще спала, а внизу тихо говорили между собой дед и хромой сосед. Поезд шел где-то за Курском. Здесь было мало снега, в лощинах блистали ручьи.

Я свесил голову с полки и не узнал хромого — он успел побриться и оказался совсем молодым.

— Вот я и говорю, — рассказывал он деду, — как мне к ней хромому ехать? Пошел ты, скажет, от меня!

— А вот и врешь, вот и врешь, — горячился дед. — Вот тут ты, Петя, поклеп на женщину взводишь. Ты ее где, ногу-то потерял, а! Тебя на границе поранили, — вот почему ты и хромой. А баба у тебя, говоришь, умная, она поймет. Да ты не горюй, обойдется, право-слово!

Дед засмеялся, похлопал угрюмого соседа по плечу и что-то прошептал ему на ухо. Хромой не удержался, захохотал и разбудил Наташу. Она по-детски, кулаком, протерла глаза и улыбнулась мне.

— Я видел во сне, что вы положили мне под щеку ладонь, — тихо сказал я.

— Какие глупости,—ответила она и порозовела.

Дед услышал наш разговор, встал и облокотился на лавки, на которых мы спали.

— Гляжу я на вас, — сказал он, — и до чего вы хороши! Право-слово, лишь ты, какая она розовая, — дед указал на Наташу. — Вот теперь умойтесь да и чай пить, дед Степан чайку давно припас — стоит чайник в шубу укутан, вас ждет.

Чай мы пили вчетвером. Хромой сосед долго глядел на Наташу, смущая ее, и, наконец, сказал:

— У меня жинку так же зовут, как и вас. Я два года ее не видел.

Он вздохнул и рассказал нам о том, как беспокойны были ночи в глухом пограничном местечке, где он служил, как однажды контрабандисты напали на пост и ранили Петра в ногу. Ногу пришлось резать.

— Вот теперь жена увидит меня хромого да и прогонит, — угрюмо закончил он рассказ.

— Не прогонит, — сказала Наташа, и так хорошо она это сказала, что и хромой и все мы улыбнулись, а дед даже привскочил и начал восторженно хлопать в ладоши.

— Говорил я тебе, говорил, — кричал он Петру. — Вот она, женская душа и проявилась! Ну, дай бог тебе, Наташенька, умного жениха! — и Степан лукаво взглянул на меня.

III

После чая дед совсем растаял — он все время улыбался и посмеивался. На остановках он предлагал свои услуги: сбегать за курицей, за чаем, за молоком. Потом дед снял свои мешки и корзинки и стал в них копаться; он выкладывал на лавку всякие вещи — тут были и платки, и куски ситца, и мыло, и духи, и зеркальце, и конфеты, и круги колбасы. Налюбовавшись этим добром, дед аккуратно уложил все на прежние места. Затем он вынул из-под подушки свои жилеты и принялся их рассматривать. Жилеты, надо сказать, были довольно неказистые, потрепанные, разноцветные, но деду, видимо, были они дороже всех сокровищ на свете. Он разглаживал их легонько корявыми пальцами, рассматривал на свету, осматривал подкладку, застежки, и все это проделывал, широко улыбаясь, покачивая головой и прищелкивая языком. Долго он копался с жилетами, а мы с Наташей, свесив головы с полок, наблюдали за ним.

— Хороша жилетка, а? — спросил, наконец, меня дед. — Право-слово, первый сорт! Сроду не носил жилетки — ни к чему она мне. А эти придется носить. — И Степан засмеялся счастливым смехом.

— Что же это — подарок? — спросила Наташа.

— Подарок! Да еще какой подарок-то, Наташенька! Нет мне ничего этого подарка милей. Право-слово, надену эти жилетки и в гроб — и пускай ставят крест с надписью: здесь лежит прах деда Степана, умер раб божий во смехе.

И дед рассказал нам свою историю.

—Я в Криворожье годов сорок живу. Свистни любому щенку — он тебя до Среднего поселка доведет, доведет да тявкнет, вот, дескать, тут он, Степан Митрич Лапин, живет — знаменитый кладовщик. Я на станции с незапамятных времен кладовщиком работаю! Семья у меня большая была — баба моя до ребят ужасно проворная. А я, бывало, смеюсь только — нехай растут. Четверо старших сынов в Германскую убиты, двоих Григорьев атаман расстрелял, были они у красных. Осталась у меня дочка Саша, она за инженера вышла, да сын Василий — этот при мне, он мастер, по железному делу работает. Да еще один сын Матвей — от него и еду, у него гостевал. Дочка Саша у меня часто бывает. С ребятишками приезжает, со всей семьей. И мужа привозит — умнющая голова. Он в профессорах служит — у них дома одних книжек тысяч на двадцать, право-слово! Ему без книжки, что мне без весов.

А Матвей три года был на военной службе командиром. Вот с месяц назад приносят мне письмо. «Я, — пишет Матвей, — демобилизовался, женился, назначен директором обувной фабрики, приезжай в гости».

Мне начальник станции отпуск дал и провожает: — езжай, засиделся, дескать. А баба на дыбы: «Сидел век дома, а тут в Москву захотел? Где, говорит, тебе старому по городам ездить?» Это я-то старик? — говорю я бабе. — Да я в Москве за барышнями ухаживать буду!

Дед засмеялся, и мы рассмеялись, и я нечаянно потерся щекой о плечо Наташи.

— Ну, уговорил старуху, поехал... Нашел Матвееву квартиру, стучусь. Открывает мне дверь чернявая барышня и спрашивает: кого тебе, дедушка, надобно? Я ей так, дескать, и так — к сыну приехал, к Матвею. Она бросилась ко мне на шею и кричит: «папа, папа, приехал!». Втаскивает меня в квартиру, раздевает, ставит чайник, по телефону Матвею звонит. А я оглядываю квартиру, — пусто в ней. Стол стоит, стулья, кровать, диванчик, деревянный, шкаф — пустой, видно, — покачивается. Через час приезжает Матвей, такой черный, возмужалый, сильный. Сжал меня, а из меня и дух вон. «Вот, говорит, вчера принял дела, начинаю устраиваться. Несчастье у меня — в дороге все вещи неведомо куда пропали, ищут и не находят. Остались, говорит, мы с Леной, в чем мать родила». А Лена вокруг него вьется, ровно как ты вокруг Наташи, — дед Степан, улыбаясь, показал на меня.

Наташа моментально юркнула на полку, вижу — лежит и смеется.

— Ты, Наташенька на меня не обижайся, — сказал дед Степан, — это я в шутку.

Он закурил и продолжал рассказ.

— И так приятно мне было на них глядеть, как это они все вместе, все рядком, все слово в слово. Ну, устроили мне постель, живу я у них, хожу к дочери — к Саше. Та к себе жить тянет, а Лена к себе — чуть до ссор не доходит, право-слово. А у меня от этих ссор сердце, как в масле катается. Я кое-как их мирил — ночь у Саши переночую, ночь у Лены. Водили они меня по театрам, и по разным местам, и

в метро катали. Саша подарков старухе накупила — видали? — полон мешок, Лена увидала подарки, улыбнулась, а у самой, вижу, на глазах слезы навертываются. Вот ночью слышу — шепчется она с Матвеем. Дескать, стыдно ей, денег в доме нет, старушке послать ничего нельзя, отец тоже без подарка уедет. Шептала это она все такое Матвею, шептала, да и принялась плакать. Матвей ее утешает. «Погоди, говорит, разбогатеем, — тогда их задарим».

«Ребята мои, — думаю я, и сам чуть не плачу, — ваши слова расчудесней ваших подарков».

Так жил я жил, да и домой собрался. Запихал подарки в мешки, наготовили мне на дорогу всякой всячины — на пятерых хватит, ну вот и ехать пора. Приходит Матвей, приносит колбасы. «Вот, говорит, папаша, отвези маме, прости меня, ничем больше не могу порадовать — гол, как сокол». А у самого глаза на меня не поднимаются.

А я плачу, ей-богу, ребятки, плачу, и сердце у меня от радости бьется. Тут Лена открывает шкаф, достает эти вот самые жилетки и сует мне. «Вот, говорит, остались от моего отца — покойника, возьми, папа, не обидься на меня за этот подарок. Возьми!

Я и ее и Матвея обнял, целую их, а они и меня и друг друга целуют. Стоим так, и плачем, и смеемся...

И дед Степан рассказывал это, и плакал, и смеялся — слезы текли у него по щекам и прятались в бороде. Я видел, как тихонько вытирала глаза Наташа и отвернулся к стене хромой военный.

IV

В Днепропетровске мы были перед заходом солнца. Здесь сосед наш сходил. Он волновался, сгибая пальцы, и они хрустели, точно суставы ломались. На лице его набегали тени. Губы его дрожали.

Мы вынесли чемодан соседа к выходу, и я заметил, как молодая женщина, увидев Петра, бежала по платформе за вагоном.

Петр, узнав жену, как-то вдруг съежился, и из глаз его быстро закапали слезы; ковыляя, он стал спускаться по ступенькам, чуть было не упал, жена поддержала его и, кинувшись в его объятия, целовала, гладила волосы, плакала и смеялась.

— Петра, Петра! — кричал дед Степан. — Я говорил тебе! Видишь, Петра, ведь любит она тебя!

Хромой обнял и трижды поцеловал старика.

— Ты ко мне приезжай, — говорил дед хромому, вытирая слезы. — Меня щенок каждый в Криворожье знает. Приведет и тявкнет —вот, дескать, тут дед Лапин живет.

Петр и жена его ушли, тесно прижавшись друг к другу. Мы вернулись в вагон — его уже отцепили и гнали к другому поезду, который шел на Криворожье. Дед Степан скоро собрался спать, но раздумал; он снова принялся любоваться жилетами, бережно складывал их, разглаживал каждую складочку, снимал пылинки — точно в руках его были драгоценные ткани.



Тоидзе — Сталин на митинге в Тбилисских главных мастерских в 1926 г. — Выставка «Индустрия социализма»

Перед Криворожьем дед заспешил, засуетился, быстро собрал мешки и корзины, и, сидя на краешке скамейки, приглашал нас с Наташей приехать к нему.

— У нас сейчас, — говорил он, — веселье. На базарах и мука, и масло, и чего хочешь! А в колхозах еще веселей. В колхозах на трудодень по пуду пшеницы получили. Там пшеницу только и едят. Народ веселый, бодрый, песни поет и беременных женщин — тьма. Ты не красней Наташа, беременная баба это значит на земле радость, на земле счастье — вот оно что, право-слово!

Мы прощались с дедом очень горячо, обещали приехать к нему в гости. В Криворожье мы сдали его на руки старухе. Она, казалось, поджидала деда каждодневно.

Поезд стоял минут двенадцать. Мы успели наговориться и со Степаном и с его женой. Ей он начал было рассказывать о своей поездке, но почему-то сбился, спутался и, потоптавшись на месте, вдруг забрал мешки и ушел.

— До свиданья, до свиданья, дед Степан, всего хорошего! — кричали мы.

Поезд отправился в теплую весеннюю ночь. В открытое окно неслись запахи зеленой травы. Ветер подхватил наши волосы и мешал и сплетал их. Мы опять стояли близко друг к другу.

— Какой хороший старик! — сказал я.

— Он очень счастливый, — ответила Наташа.

— Вот и подумаешь, много ли надо для человеческого счастья, правда?

И я потерся щекой о ее щеку.

— Шли бы лучше спать, — прошептала она.

☆

Вас. Лебедев-Кумач

Машинист революции

Алой кровью залит,
Как могила, стоит
Старый мир, утопая во мгле.
Только наша звезда
Все светлее горит,
Новый путь освещая земле.

Дорогу к коммуне для всех осветив
Звездой пятикрылой, лучистой, —
Летит революции локомотив,
И Сталин на нем машинистом.

Он могучий состав
По дороге ведет,
Пробивая туман и метель.
Перегоны бегут,
Убыстряется ход,
И все ближе заветная цель.

Видит каждый уклон,
Поворот и подъем
Машиниста недремлющий глаз,
На великом посту
Он и ночью и днем,
Он не дрогнет в решительный час.

Наша партия — с ним,
И бригадой стальной
Помогает геройски в пути,
Чтоб могучий состав
Всей отчизны родной
Мог быстрее к коммуне итти.

Обернешься назад,
На сверкающий путь,
На величие пройденных лет, —
И гордится душа,
И вздымается грудь,
И готов ты для новых побед.

Мы летим, что ни день
Все вперед и вперед,
И зарею горит небосклон.
Машинист — на посту,
И советский народ
Дышит воздухом новых времен.

Дорогу к коммуне для всех осветив
Звездой пятикрылой, лучистой, —
Летит революции локомотив,
И Сталин на нем машинистом.

☆

Глава IV

ЗА РУБЕЖОМ

Клара Блюм

Машинист из Толедо

Пер. с немецкого Вл. Рубина

Искры летят, жар неистовый пышет.
Рокот колес,
Грудью горячей прерывисто дышит
Мой паровоз.
Ночью вломились ко мне фашисты.
«Марш, вперед!
Педро, ты будешь у нас машинистом,
Поезд ждет».

Поезд бежит мимо спящих селений
Ночь, луна.
В вражьем плену чашу страшных мучений
Выпил до дна.
Изверг, палач надо мной издевался,
Но навсегда
Педро республике верен остался,
Людям труда!
Поезд везет итальянские части
Прочь с пути!
Ныне в моей вы находитесь власти,
Вам не уйти!
Каре жестокой фашистские своры
Обречены.
Не покорить вам поля и просторы
Моей страны.
Сердце, спокойней, не надо тревоги!
...Красный сигнал!..
Значит, вблизи, на железной дороге
Поезд застрял...
...Полный вперед! Я состав нагоняю.
...Грохот...удар...взрыв...
Я, ненавидя врагов, умираю.
— Будет народ мой жив!

Спасители душ

(Отрывок из романа «Вступление»)

Еще ночь простоял экспресс на полустанке. Утром следующего дня Кэльберг [1] проснулся от грохота и, накинув пижаму, поднял шторку. Металлическое чудовище ползло по второму пути, и в накаленном воздухе стояли лязг и звон. Солнце сверкало на башнях бронепоезда, и десятки солнечных зайчиков прыгали по штофным стенкам купе. Коридор заметно оживился. Из бронепоезда, улыбающиеся и веселые, выпрыгивали британские солдаты. Горьковато пахло горячим железом.

— Пирри!

Пирри [2] просунул взъерошенную голову в дверь. Его губы были измазаны зубным порошком. Он промычал что-то неразборчивое.

— Я подожду вас! — крикнул ему Кэльберг. — Скорее! Наплюйте на свои галстуки! Меня тошнит, когда вы стоите перед зеркалом...

Ему хотелось похулиганить — он крикнул из окна высокому солдату, трусившему мелкой рысцой по шпалам.

— Эй, рыцарь! вы потеряли кружку, кружечку, да, да.

Все-таки Пирри вышел только тогда, когда окончательно привел себя в порядок.

— На кой чорт этот бронепоезд?

— Он за нами, герр Кэльберг.

— Из Пекина?

— Конечно же... Правление дороги, узнав о судьбе экспресса, выслало бронепоезд. Видимо, скоро двинемся. Я мечтаю о ванне и о холодных простынях...

— Я хочу прежде всего пожрать по-настоящему.

Они шли вдоль поезда по тропинке.

— Послушайте, мальчик, — Кэльберг положил руку ему на плечо и повернул его к себе, — послушайте мальчик! Бронепоезд — это война? Бронепоезд — это война — не так ли? Это же не бутафория — пушки, которые торчат из башен? Это настоящие пушки. Они приехали — эти блиндированные мерзавцы — не устрашать, а действовать... Послушайте, мальчик... — Он волновался и тормошил помощника. Его близорукие глаза спрашивали и напряженно ждали ответа. Пирри не понимал. Конечно, действовать: разумеется, действовать. Путь возле моста разобран — его растащили по шпалам, по костылям — эти красные пики [3]. Их нужно проучить, этих негодяев...

---

[1] Профессор, едущий в Шанхай, — немец.

[2] Ассистент профессора — американец.

[3] Одна из тайных крестьянских организаций в Китае, возникавших стихийно в результате беззастенчивого произвола иностранцев и отечественной бюрократии. Плохо руководимые, вооруженные чем попало отряды сельских партизан причиняли тем не менее много неприятностей эксплуататорам всех флагов и продажным правительственным чиновникам.

— Но это Китай!
— Мы-то, ведь, не китайцы, герр Кэльберг.
— Да, да, вы американцы. Идите своей дорогой, я полезу под вагон. Мне надоело говорить с вами, я поговорю с ними...
Нельзя было понять, смеется он или говорит серьезно.
Может быть, он шутил.
— Идите, идите!
Пыхтя, он пролез под вагоном, хоть можно было обойти кругом, и остановился против унылого человечка в клетчатой жилетке. Унылый человечек посмотрел на толстяка так, как посмотрел бы лондонский житель на крокодила, шествующего по Пикадилли [1].
— Вы отсюда? — спросил Кэльберг и ткнул пальцем в бронепоезд.
— Отсюда, сэр.
— Зачем вы приехали?
— Чтобы спасти вас, сэр.
— Громко сказано. А кто вас просил о спасении наших душ?
— Меня лично никто, сэр. Мне приказало мое начальство.
— Вас никогда не били?
— В каком смысле сэр?
— В прямом.
— Много раз, сэр. В Морокко, в Алжире, в Мурманске, в Плимуте, в Кардифе...В Китае меня не били.
— Вас не били? Меня уже успели побить. Кто вы такой?
— Британец, сэр.
— Чистокровный?
— О, да, сэр!
— Где вы родились?
— В Лондоне, сэр, в Уайтчепль [2].
— Что вы делали после того, как родились?
— Рос, сэр.
— А потом?
— Воровал, сэр.
— Дальше?
— Дальше бродяжничал. Потом работал в шахтах в Кардифе [3]. Потом воровал опять. Осмелюсь спросить, сэр, почему вас так интересует моя биография?
— Это не имеет значения. Как вы попали сюда?
— На бронепоезде, сэр.
— Почему вы не в форме?
— Я не военный, сэр, по слабости здоровья. Я надзиратель.
— Выражайтесь точнее.
— Видите ли, сэр, бронепоезд высылается в случаях, подобных данному. Сейчас придется собирать окрестных крестьян и ремонтировать путь. Я знаю китайский язык и умею разговаривать с китайцами. Меня очень ценят, сэр, и я хорошо зарабатываю.

---

[1] Аристократическая улица и квартал в Лондоне.
[2] Квартал бедноты в Лондоне.
[3] Угольный район в Англии.

— Лучше, чем в Кардифе?
— О, да, сэр!
— Скажите, если бы в Лондон прибыл вдруг бронепоезд с китайскими солдатами, что бы вы сделали?
— Что-нибудь бы да сделал, сэр.
— Очень хорошо. А кто это моется там, направо?
— Русский офицер, сэр. Он работает у англичан. Вы желаете познакомиться?
— Нет, у меня нет этого желания. Вы знаете бокс?
— Да, сэр.
— Хотите боксировать?
— Я легковес, сэр, и не отличаюсь здоровьем, а вы... вы, сэр, кажется, тяжеловес.
— Это вам только кажется.
Кэльберг бросил пижаму на песок и, подумав, снял очки. Унылый человечек косо посмотрел на огромного чудака.
— Давайте, сэр.
— Как вас зовут?
— Джонсон, сэр.
— Все англичане Джонсоны. Хоть бы малейшее разнообразие...
Джонсон потер руки, слегка согнулся и ударил Кэльберга в живот. Кэльберг хрюкнул так, будто англичанин доставил ему удовольствие.
— Еще! — сказал он.
Джонсон ударил еще. Тогда Кэльберг поднял кулак и опустил его со страшной силой в лицо англичанину. Джонсон побелел и, задыхаясь, сел на песок.
— Вы не имеете права! — крикнул он, отплевывая кровь. — Вы...
— Теперь вас били в Китае, — ответил Кэльберг назидательно. — Я не знаю бокса, но люблю иногда подраться. Прощайте!
И, подобрав очки и пижаму, он скрылся за вагонами.
Надежды Пирри оказались тщетными: через два часа экспресс не двинулся вперед.
После драки Кэльберг пошел в ресторан и выпил коньяку. Раздражение не покидало его. Встретив Пирри, он сказал:
— Я сейчас побил одного мерзавца.
— Вы, побили герр Кэльберг?
— Кажется, поломал ему зубы. Бедняга выл белугой. Посмотрите, он, наверное, за водокачкой...
И, попыхивая трубкой, Кэльберг зашагал по шпалам.
Бронепоезд заметно оживился. Люки открылись, солдаты окачивали один другого водой из брандспойтов. С блиндированной площадки добрая полсотня американцев спускала увесистую автомотрису. Наверху ее держали тросами и цепями — она медленно и грузно сползала вниз на рельсы. Тупые рыльца пулеметов торчали из башен автомотрисы. Кэльберг заметил и пушки. Ему надоело смотреть, он еще раз зевакой прошелся возле поезда. Американцы брились. Один парень подмигнул ему — он ухмыльнулся. Группа солдат, развалившись на песке, пела «Зеленые туфельки моей дорогой».

Некоторые играли. Вскрытые жестянки от консервов желтели на песке.

Автомотрису уже поставили на рельсы. Она рычала, готовясь к путешествию. Солдаты лезли в нее, выстроившись в очередь. «Чорт, куда их несет?» Кэльберг приподнял шлем и подошел к офицеру.

— Сэр, — сказал он, — я дьявольски скучаю в этом пекле[1]. Не возьмете ли вы меня с собой?

Офицер козырнул. У него были грустные глаза отчаянного донжуана и белые длинные пальцы картежника. В машине воняло горючим, отработанным маслом и насквозь пропотевшими гимнастерками.

— Прошу вас!

Тощий солдат подвинулся. Автомотриса звонко постукивала на сцеплениях рельсов.

— Красные пики, — говорил офицер, — тут можно покончить самоубийством. Я — мексиканец! Мне надоела эта игра... Право же, мы слишком церемонимся с ними...

Кэльберг молчал. Внезапно машину так толкнуло, что он перевалился вперед и почти стал на четвереньки.

— Они разобрали путь...

Солдаты толпились у развороченной стрелки. Рычаг был отломан и валялся неподалеку. Партизаны действовали только руками. Они растащили шпалы и повытаскивали костыли.

— Хуань-Хэ!

Река протекала совсем близко. Мимо прошел Джонсон, распухший и хмурый. Увидев Кэльберга, он отвернулся.

— Не желаете ли?

Офицер вынул из кармана походные шахматы на булавках.

— Будет скучно, — сказал он, — придется ждать. Поиграем?

— Это американский поезд?

— Сейчас смешанный. Начальник поезда — англичанин.

Они вкололи фигуры. Офицер снял с себя фляжку на ремне и налил виски.

— Не желаете ли?

— Не пью. — Кэльберг соврал нечаянно. Играя, он поглядывал боком на полотно дороги.

Отряд англичан быстро рассыпался по полю и исчез за пшеницей. Горячий ветер трепал белые волосы офицера, и от этого ветра невозможно было дышать.

Кэльберг играл плохо и скучал, офицер восторженно его обыгрывал.

Скоро отряд возвратился. Он шел так шумно, точно его сопровождал оркестр. Из вагона спускали на землю домкраты, рельсы, новые шпалы и ящики костылей. Толпа китайцев, окруженная английскими солдатами, верещала непокорно и зло.

— Что это? — спросил Кэльберг.

— Это? Да видите ли... — Офицер взял двумя пальцами ладью и поднес ее близко к глазам. — Видите ли, сэр... Мы не можем утом-

---

[1] Ад.

лять своих людей... Их слишком мало, и они все-таки европейцы, а этот климат... — Офицер ткнул ладьей сначала на запад, а потом на восток. — Разница, не так ли?

— Разница, — хрюкнул Кэльберг. — Восток — одно, запад — другое...

— Именно... Что же приходится делать? Как вы думаете, сэр?

— Что? По-моему, не приезжать в Китай. В Китае климат не для европейцев.

— Нет, сэр... Мы не можем не приезжать сюда, уверяю вас. Как же я поступаю? Я направляю отряд в деревню, мы мобилизуем население.

— Ловко!

— Иначе нельзя, сэр. В конце концов это дело их братьев, сыновей, отцов и мужей. Они пачкают, мы учим их убирать за собой. Можно ли поступать иначе?

Вместо ответа Кэльберг зевнул. Потом он поглядел в глаза офицеру. Это были искрящиеся, темные и ленивые глаза южанина.

— Знаете, — сказал он медленно, — знаете — я наблюдаю страшные вещи здесь, в Китае. Я спокойный и поживший человек, мой отец чинил часы в Вормсе[1] — очень спокойная работа, моя мать женщина изумительного спокойствия, я читаю лежа на диване и люблю поесть. И вот я переворачиваюсь здесь в Китае, мне хочется бить морды и расшибать стаканы. Я набил рожу вашему Джонсону сегодня — противная рожа. Я смотрю на вас, и мне очень скверно — вы же лакируете ногти... Что вы думаете обо всем этом? Ваша проповедь — за грехи отцов. До седьмого колена — я так понимаю вас... Но вы же здесь, в Азии, представляете собой Запад, цивилизацию, наше право...

Офицер улыбнулся.

— У меня есть дочь, — сказал он тихо. — Иногда она мне задает взрослые вопросы. Чтобы не портить ей детства — я вру. Вы взрослый человек — вам незачем врать, но мне не хочется разговаривать о праве и о справедливости. Я военный. У меня свои взгляды. Вам они кажутся скверными, недостойными — мои убеждения... Давайте не будем разговаривать об этом...

Он встал и спустился вниз, к китайцам.

— Не сердитесь на меня! — крикнул он. — Право же, мы не так плохи, как вам кажется...

— Дьявольщина! — кряхтя, Кэльберг тоже вылез из автомотрисы, но тотчас же присел на корточки — пуля просвистела возле его уха и ударилась о стальную башню.

— Они в пшенице.

Солдаты бежали к вагону. Пули тонко свистели и щелкали о броню. Он так и сидел на корточках, сжимая зубами потухшую трубку.

— Я вам дам! — заорал он погодя, внезапно озлившись. — Какого вы чорта! — Пули все щелкали. — Не смейте! — Но они продолжали стрелять. Солнце палило ему голову — шлем покатился под откос.

---

[1] Город в Германии, где в середине XVI века было осуждено на церковном соборе учение религиозного реформатора Лютера.

Кто-то назвал его сумасшедшим, почти силой солдаты втащили его в автомотрису и бросили на пол. Пулемет выл над головой, сначала один, потом два, потом три... Лента ползла вниз. Он видел ноги в обмотках и в коричневых крагах, он задыхался от жары, с потолка на него капало какое-то липкое масло. Солдаты стреляли с колена, просунув винтовки в прямоугольные отверстия. Ему стоило больших усилий встать на ноги — ноги ослабели и не очень хорошо сгибались от страха. Конечно, он перепугался — это же настоящая стрельба по цели: толстый в белом костюме, на фоне темного вагона. Его могли убить! Он подумал о том, о чем думают все: «Вот я умру, а мир будет так же существовать, и так же этот парень будет сморкаться, а тот пойдет в ресторан... Нет, конечно, нет!»

— Ладно открывай!

Дверь-люк лязгала и гремела, откатываясь в сторону. Он вылез на полотно вторым. Солнце жгло попрежнему. Выстрелов больше не было. Пшеница лежала спокойная и добрая, тонким голосом кричала какая-то одинокая, напуганная перестрелкой птица.

— Бирс, Хейвуд, Сторн...

Семерых послали туда, в пшеницу, поискать. Они пошли, гогоча и валяя дурака. Они притворялись храбрецами. Через четверть часа они приволокли несколько трупов и отправились опять.

— У них отличные винтовки, а Генри, собака, — отличный пулеметчик. Он сразу нащупал их...

Мертвецы лежали на развороченных шпалах. Красные пики! Кэльберг подошел поближе. Темное и простое лицо крестьянина, матовые зубы, перекошенная щека. Пуля угодила в горло, кровь уже засохла. Это был их знак — красная повязка на левой руке, на повязке белый плуг.

Он услышал, как плачет женщина. Она вскрикивала и билась на песке. Солдаты стояли над нею кружком, уже никто не шутил. А трупы все прибавлялись. Старики и женщины таскали их. Женщины искали своих мужей, старики — сыновей, племянников, братьев, дети — отцов.

Их сваливали на песок, возле автомотрисы. Стонали раненые. Джонсон приставил к ним караул.

— Довольно!—заорал он. — Перестать! — И ударил прикладом о землю. Но они не перестали.

Офицер дул в телефонную трубку. Они только что наладили связь с поездом.

— Автомотриса! — орал он. — Ав-то-мот-риса! Санитарного врача!

Ему вызвали врача. Разговаривая с ним, он почти с ненавистью поглядывал на Кэльберга. Немец сидел на скамье, вытянув вперед огромные ноги. Он сопел, его трубка сопела вместе с ним. Чорт! При нем неудобно было говорить. Он таращил глаза и отплевывался в дверь, на раскаленный солнцем песок.

Через сорок минут они вышли, и немец увязался за ними. Он шел немного сзади, задыхаясь от жары. Он прислушивался к согласному шагу солдат, к согласному поскрипыванию ремней, к короткой команде. Их нагнал огромный грузовик с прицепкой — его спустили

с бронепоезда. Он вез колючую проволоку и колья. Кроме винтовок и гранат, у них были пулеметы Томсона, грузовик привез еще два станковых пулемета.

Солдаты шли молча — им нельзя говорить, — решил Кэльберг. Немного погодя ему удалось устроиться на грузовик, к шоферу. Пот лил с него ручьями, а ветер не освежал, а обжигал.

— Тут нет ни одной порядочной бабы, — сказал ему шофер,— даю вам слово. Безработица погнала меня сюда. Вот теперь мы едем на чуму. Когда придет наше время, мы им покажем и чуму, и чесотку. Я поймал тут чесотку — и целый месяц не мог от нее отделаться.

— Вы из комиссионеров?

— Нет, я инженер.

— Вот что... Вы ехали с тем экспрессом. Напрасно вы увязались с нами, тут произойдут паршивые вещи. Ей-богу, на вас нет лица.

Ему нравился этот толсторожий, растерянный и напряженный немец. У него был добрый подбородок и толстые ребячьи губы.

— Когда я разбогатею, — сказал шофер, — и когда у меня будут две комнаты и еще что-нибудь вроде свободных деньжат и хорошей обстановки, я разыщу доктора Горинка,—мне рассказывали о нем занятные штуки. Я приду к нему на прием и скажу: доктор Горинк, мне хотелось бы кое-что забыть...

Их встретили врачи-китайцы и две дюжины санитаров-студентов. Первую половину разговора Кэльберг не слышал — ему сделалось почему-то плохо, — может быть, от жары. Ладонью он прижал сердце, чтобы оно не прыгало так отчаянно...

— Она идет из Манчжурии!—кричал офицер.—Да, из Манчжурии. Мы не пустим ее к нам. Вы не будете выпущены оттуда, пока не кончится вся эта канитель...

— Но моральное состояние поселка?

— Плевать... Предупредите их там, ваших пациентов. Нас ничего не касается. Мы не можем закрыть дороги. Запаситесь водой, потому что мы подожжем поля.

— Что?

— Мы подожжем поля и натянем колючую проволоку. Наш патруль будет стрелять в каждого, кто подойдет к проволоке ближе чем на пятьдесят шагов...

— Вы не имеете права...

Но они ушли все-таки, — может быть, потому, что он перестал им отвечать, может быть, потому, что увидели пулеметы и винтовки, проволоку и колья. Их белые халаты и флаг с красным крестом трепал ветер. Они сказали, что один врач и трое санитаров уже умерли от чумы. Они сказали также, что там, — молодой врач в панаме показал тростью на юг на крыши домов, — там четыре сотни трупов, там в деревне, а теперь им грозят гранатами, — он криво усмехнулся, этот врач...

Они встретились глазами, Кэльберг и офицер, с которым он играл в шахматы.

— Послушайте. А?

Офицер уже не смотрел. Тогда Кэльберг дернул его за рукав.

— Послушайте, сэр!
— Что вам надо?
— Я отказываюсь понимать...
— Это карантин, чорт возьми, — иначе всех европейцев сожрет чума. Неужели непонятно?..

Офицер вырвал руку и зашагал прочь...

Шофер угостил его виски из фляги, у них не было никакой дисциплины, у этих авантюристов, и Кэльберг наклюкался с ним на солнце. В три часа пополудни солдаты подожгли пшеницу. Серый дым поднялся одновременно в семи местах. Проволоки нехватило, пришлось ограничиться только патрулем.

— Ни чорта, у них есть пулеметы, — сказал ему шофер. — Отличная вещь пулеметы... Я ищу настоящую бабу второй год! — заорал он и ударил Кэльберга по животу. — Настоящих баб в Китае нет. Последний раз я имел хорошую девочку в Марселе, это была девочка!..

Пламя шло к деревне, к черным черепичным крышам. Оно уже охватило какую-то постройку и взвилось вверх огромным языком, когда они уезжали, оставив патруль. Машина виляла, шоферу нехватало своей пары рук. Кэльберг помогал ему.

— Чорт с ними! — говорил шофер. — Все равно все они подохнут от чумы. Днем раньше, днем позже. А огонь уничтожает заразу, ей-богу. Однажды меня укусила змея, я взял и выжег...

Жены и дети тех людей, которые стреляли в поезд, должны были чинить линию. И они ее чинили.

Беспомощные, полуголые старики, кряхтя, таскали на коромыслах корзинки с землей.

Кожа стариков, морщинистая и дряблая, лоснилась от пота. Взбираясь на насыпь, руками они хватались за дерн. Маленькие женщины задыхались, волоча шпалы. Ребятишки, грязные и обнаженные, таскали гравий.

Высокий и тощий старик, добравшись до половины насыпи, вдруг присел и покатился вниз. Земля обсыпала его лицо, он лежал под насыпью, желтый и изогнувшийся, как чудовищный червяк, и молчал, глядя широко открытыми глазами в вечернее небо. Грязная собака подошла к нему и, понюхав, потащилась в сторону.

— Старик умер, — сказал Кэльберг хмурому солдату с орденом.
— Да, сэр!

Джонсон попрежнему суетился, несколько англичан в синих рабочих комбинезонах и тропических шлемах распоряжались работами. Лица их были непроницаемы и преисполнены деловитости. Слышались удары молота, китайцы забивали костыли в настланные шпалы.

— Они работают скверно, — сказал Кэльберг солдату с орденом,— мы никогда не уедем отсюда. Они малосильны и беспомощны. Для чего вы мучаете их? Вы не имеете права делать это.

Солдат повернулся к Кэльбергу.

— Китайцы достаточно выносливы, сэр, а смерть старика только удача для его семьи. Он никому не нужен, сэр, а ест, наверное, много. Но мы мобилизовали стариков, женщин и детей не потому, что считаем их хорошей рабочей силой, а потому, что сама рабочая сила

враждебна нам и выступает против нас. Это будет ей хорошим уроком. Мы знаем, что делаем, сэр.

Кэльберг подобрал губы.

— За что вы получили орден? — спросил он. — За какой подвиг?

— За дело, сэр! Ордена дают за дело!

И солдат опять отвернулся, козырнув для приличия.

Кэльберг наклонил голову, разглядывая солдата сбоку, любопытно и несмело, как дети разглядывают забежавшую в комнату чужую и страшную собаку. Он разглядывал подробно знаки отличия на рукаве, кокарду, складки одежды и гранату на поясе. Все интересовало его. Сложив толстые губы трубочкой, он втянул в себя воздух, потом пошел, разгоняя китайцев животом, к Джонсону.

— Мистер, — сказал он, подойдя вплотную и круто дыша от быстрой ходьбы, — мистер, я приношу свои извинения по поводу происшедшего...

Джонсон поднял голову и посмотрел на странного немца снизу вверх, робко помаргивая.

— Не стоит, сэр!

— Я хотел спросить у вас, мистер Джонсон, заключается ли ваша специальность в мобилизации именно этих китайцев?

— Да, сэр!

Кэльберг помолчал, раздумывая. Потом, не глядя на Джонсона, он приподнял пробковый шлем и повернул в сторону.

Ему хотелось есть, и его тошнило от жары. Немного кружилась голова. Трупы партизан прикрыли брезентом, от них шел сладкий запах. Босая нога высунулась из-под брезента. Китаянка в разодранной одежде плакала у откоса внизу. Он пошел к полустанку пешком по вечерней дороге, но его опять, как давеча, догнал грузовик, и он сам попросил, чтобы его подвезли — так ему было плохо. У него дрожали ноги, он много выпил, и потом ему все что-то чудилось в траве, в шорохе песка, в беге ящериц, что-то второе, постороннее.

В купе он повалился на диван, как был — потный, грязный, пыльный. Гул стоял в его ушах.

«Это просто карантин», сказал ему шофер. Он промурлыкал: «Это просто карантин», и все сразу стало походить на венскую оперетку. «Это просто карантин...»

Постучал Пирри. Кэльберг посмотрел на него сияющими от солнца стеклами очков, глаза под очками были закрыты.

— Что с вами, герр Кэльберг?

— Ничего. Немного болит голова от проклятой жары. Оставьте меня одного. Я, кажется, засну.

Но он не заснул. Раскрыв свою тетрадь, он долго читал старый реферат[1], не понимая его. Из слов упорно не составлялись фразы. Каждое слово жило своей, обособленной и замкнутой в себе жизнью, и жизнь этого отдельного слова не считалась с жизнью соседа. Бессмысленные, никчемные слова громоздились одно на другое, давили друг друга, путались, образовывая хаос.

---

[1] Работа, посвященная какому-либо специальному вопросу.

Наброски чертежей казались наивными, глупенькими и ненужными, как трескотня двух престарелых леди в коридоре.

Неожиданно он нашел вчерашнюю заметку:

«Дела Китая есть дела Китая. Какого чорта иностранцы лезут туда, куда им не следует лезть? Китайская революция носит чисто национальный характер, и Британии незачем совать в нее свой нос сплетницы и сводни...»

«Почему сводня?»

«Почему сплетница?»

«Причем же тут, наконец, чисто национальный характер китайской революции...»

«Чепуха!!!»

«Дела Китая есть дела Китая...»

Он прочел это два раза — очень медленно, вдумываясь и волнуясь. Потом зачеркнул написанное красным карандашом. Каждое слово он затер так, чтобы ничего нельзя было разобрать. Бумага прилипала к влажным пальцам. Подумав, он вырвал зачеркнутое, скомкал листок и поджег его. Купе наполнилось приторным запахом сгоревшей бумаги.

— Безобразие, — сказал он, дуя на обожженный палец, — безобразие!

В чем заключается безобразие — он не знал. Может быть, безобразна была духота или то, что болел палец, — может быть, состояние свое, бередливое и непонятное, он называл безобразием.

Чума. Автомотриса. Брезент, которым прикрыты трупы убитых. И то, что он ничего не мог сделать, и то, что он ничего не понимает и то, что его тошнит сейчас, и то, что из зачумленной деревни никого не выпустят, а ее подожгли вместе с врачами и санитарами, — что это все вместе такое?

Он открыл окно. Уже наступила жирная азиатская ночь. Патефон в бронепоезде играл «Звездный стяг».

В него стреляли сегодня...

Протянув руку за шлемом, он вздохнул по-детски — громко и горько. Понятный и в сущности такой простой мир на его глазах изменял свое лицо. Индия, Китай, колония, Гонконг, — все это оказалось иным, чем он себе представлял. Он видел, как в Гонконге били китайца по щекам. Китаец молчал, веки его были сомкнуты. Китайца бил моряк. На пароходе француз методично и холодно уничтожал бокалы о лоб мальчика-боя. Другого боя убил охранник-маузерист.

Что это такое?

Он понимал войну: люди защищают свое отечество, свой дом, свою родину, своего бога. Честь и хвала этим людям. Их жены, их матери и их дети должны гордиться.

Война — это война. Тут ничего не поделаешь. Конечно, война — несчастье, но все же...

Он снял чемодан с полки и открыл его. Из чемодана он вынул дедовский подстаканник темного серебра. На подстаканнике выпуклыми буквами было написано:

«Да здравствует родина».

Теперь он поморщился. Причем тут родина? Внезапно и горько он почувствовал, что слова эти теперь не трогают его. Большой жирной рукой он погладил металл.

— Они не имеют права так поступать, — пробормотал он. — На все есть управа и законная власть. Каждому воздастся по заслугам. Я должен...

Что должен?

Что именно должен?

Он швырнул подстаканник на диван. Он ничего не должен. Он химик, в конце концов, это его не касается. Он достаточно устал. Он вспомнил слова Пирри в Гонконге, когда моряк бил китайца:

— Оставьте герр Кэльберг, европейцы неподсудны китайскому суду. Вы ничем не поможете. Китаец все равно избит. Пойдем!

И они пошли, два европейца, два инженера, двое.

На суд европейцев? Конечно, европейцы неподсудны китайскому суду, потому что китайцы дикари и некоторые преступления карают телесными наказаниями. Конечно... Могут ли европейцы...

Патефон играл «Когда на море туман белее ваты». Хлопали двери. Потом завыл паровоз, паровоз бронепоезда отсалютовал экспрессу. Вагоны покачивались и скрипели, все вдруг наполнилось тяжелым и смутным гулом — знаменитые триста семнадцать пролетов, мост через Хуань-Хэ.

★

Тристан Реми

Забастовка

(Отрывок из романа «Великая борьба»)

Мадам Пикар[1] стирала с самого утра. Муж ее вернулся с работы.

— Наконец-то я кончила, — сказала мадам Пикар.

Она положила мыло на подоконник.

— Никогда в жизни не стирала я таких грязных комбинезонов,— сказала она. — Что вы там делаете, чтобы так вымазываться?

Она показала свои руки, распаренные, разъеденные стиркой тонкого белья, которое она боялась разорвать щеткой, и поспешно спрятала их под синий, клетчатый передник. Она села на подоконник. Во дворе догнивали старые тележки. Ребятишки, играя, поснимали оглобли, гайки. Ветер надувал рукава старой куртки, висевшей этажом выше.

Окно напротив было открыто настежь. Больной ребенок в кроватке перелистывал каталог.

— Знаешь, у сынишки Шарпенов корь. Принес из школы. Третьего дня он играл на улице с другими ребятишками. Теперь все заразятся.

Эжен Пикар не отвечал.

«Эжен сегодня сам не свой. Шалый какой-то!»

---

[1] Жена рабочего Пикара героя романа.

С самого прихода он не промолвил ни слова. Была пятница. Он должен был выйти на работу в среду, после праздника троицы. Он уставился в газету, но держал ее вверх ногами.

— О чем ты думаешь? Что нового?

Он вздрогнул. Ему захотелось протереть глаза. Но он удержался. Он не спал. Наоборот.

Она принялась развешивать белье на перилах галлереи; затем на веревках, протянутых в кухне. Вернувшись в комнату, она нашла его в той же позе — газета была зажата между ног, одна рука свисала, а спина согнулась под тяжестью новой ответственности, о которой она и не подозревала.

— О чем ты думаешь? — снова спросила она. — Это правда, что вы собираетесь бастовать?

— Поговаривают об этом.

— Ты что собираешься делать?

— Как и раньше. Действовать. До конца.

Она больше не расспрашивала. На принятые им решения ей нечего было возразить. Она чувствовала, что он тоже пал духом. В его голосе не было больше тех звонких ноток, которые внушают веру и увлекают за собой. Он жевал слова, как безвкусный табак. С тех пор, как заговорили о стачке, он столько раз повторял их другим, что они потеряли для него остроту.

— Боишься, что другие не примкнут?

Он отрицательно покачал головой. Она принялась колоть уголь.

— Всем осточертела эта жизнь... — сказала она. — Тебе тоже. Это видно.

Пикар снова взялся за газету в надежде найти что-нибудь занимательное, что отвлекло бы его мысли.

Но ничто не могло заслонить от него действительности, все значение которой выразилось в словах его жены. Всем осточертело, это верно. Внутри завода и за стенами его. Всем и всюду надоело работать, надеясь только на то, чтобы сохранить работу еще на месяц, на две недели, на неделю. А затем увольнение, безработица, очередь в бюро найма и за пособием. Каждый думал это про себя, тогда как надо было кричать об этом всем сообща, чтобы обрести силу.

— Последние десять лет нас бог миловал, — сказала она.

В стенной нише все оставалось на своем месте: кропильница, куда она прятала мелочь, а над ней, на куске бархата, мельхиоровое распятие, которое реймская тетушка привезла из богомолья в Нотр-Дам-де-Льес[1]. К своему удивлению, вспомнив о кресте, она не только не почувствовала утешения, а наоборот, уныние с удвоенной силой охватило ее.

— Бог миловал? Нет! Не так ты говоришь. Просто мы были менее несчастны, чем другие.

Он встал и потянулся.

---

[1] У католиков существуют наподобие былых православных «троеручиц», «казанских» и прочих «богородиц» свои «богоматери» — покровительницы городов под титулом «Нотр-дам» (то же, что «мадонна»); к титулу прибавляется обычно название города.

— Так вот, я ухожу на несколько дней. Ты ведь знаешь, что все пригороды бастуют. На всех заводах подняты и красные, и трехцветные флаги. Понимаешь? Нас двести человек у Митонэ[1], когда я туда вернулся, нас было пятьсот. Среди нас нет ни одного, чье самолюбие, чья гордость не страдали бы. Мы живем под угрозой увольнения. Можно подумать, что хозяева нарочно создают безработицу, чтобы снизить еще больше нашу заработную плату, ущемить еще больше наше достоинство. Горечи у нас полный короб. Такой тяжелый короб, что мы входим на завод согнувшись. А мы должны улыбаться, точно это безделица. Что можно сделать одной горечью? Только плохих работников, плохую работу. Сколько рук, чтобы строить, а общество не в силах прокормить всех. Но не горечь, не отчаяние, не нищета, не голод делают людей крепкими, а сознание, что мы на земле, чтобы ее перестроить, сознание ответственности, всеобщее сознание ответственности. Мы помогли правительству победить на выборах, а оно забыло о нас. Теперь мы верим только себе.

Луиза стояла нагнувшись. Она разводила синьку в ведре с водой. Он заметил, что она постарела, как, впрочем, и он сам. Он вспомнил женщин, работающих в поле, которые, дойдя до конца борозды, отдыхают, опершись на ручку своей мотыги, не в силах выпрямиться.

«Замечтался», — подумала она.

Как-то, по другому поводу, он сказал ей:

— Теперь больше не умирают с пригвожденными руками. Умирают каждый день понемногу. Мы — умирающие, вся наша жизнь — медленная смерть. Работа не излечивает нас ни от какой болезни.

Он зашагал взад и вперед. С белья капала вода, преграждая ему дорогу. Дом напротив заслонял горизонт. Единственным просветом был четырехугольник двора под темнеющим плоским небом, где появлялись первые звезды.

— Скоро будет обед?

— Сейчас...Если у вас будет забастовка, мне придется тебе еду на завод носить.

— Да, мы останемся у машин, принадлежащих нам, сделанных нами и которые мы любим, как свои собственные руки.

Она взглянула на будильник. Было восемь часов. Она вытащила из ведра комбинезон и стала отжимать его.

— Раз вы так решили — хорошо. Вы правы. Слишком много труда пропадет зря, слишком много лишних мучений...Нельзя добиться рая полумерами. Нужно целиком отдаться будущему...Я верю тебе, — сказала она. — Я верю вам! Наши страдания не будут напрасны.

Пикар провел троицын день за городом. Работа на заводе «Братьев Митонэ» возобновлялась в среду. В поезде, увозившем его ранним утром, он рассеянно просматривал газету. Заводы останавливались один за другим. Недовольство расплывалось, точно масляное пятно, заливало Париж, било ключом в пригородах. Купе было битком набито рабочими; Пикар вытягивал шею, прислушиваясь к разговорам.

---

[1] Владельцы паровозоремонтных мастерских, где разыгрывается действие романа.

— Мы голосовали за перемену, за немедленную перемену. И вот уж почти месяц, как мы дожидаемся. Продолжаем барахтаться в нужде. Ждем. Но, во-первых, знаем ли мы, чего ждем?

Кто-то ответил:

— Мы ждем действия.

— Да, надо действовать.

Тогда все заговорили сразу. В общем шуме Пикар улавливал слышанные уже им знакомые фразы. Прежний состав правительства, побитый на выборах, должен уступить место. Народ заговорил. Будут ли его слушать, да или нет? «Уважать законность» — какое издевательство! Если бы восторжествовал противник, он не стал бы церемониться. В 1924 году народ был обманут. И в тридцать втором. И шестого февраля тридцать четвертого. Три раза за десять лет, это кое-что да значит. Ну, а Блюм[1], чего он ждет? Достаточно умен, чтобы придумать другую законность. Пролетарскую законность. А вместо этого будущий премьер больше месяца принимает послов во фраках, якшается со всякого рода любителями тепленьких местечек, а безработные продолжают стоять в хвостах за даровым супом. Восьмичасовой рабочий день не соблюдается. Общественные работы маринуются в бюрократических консервных банках. И во всем остальном то же самое. Население деревень, городов, пригородов ликвидировало шутов и болтунов Бурбонского дворца[2]. Если речи и томные вальсы будут продолжаться, народ возмутится. От социалистов ждали не статеек в «Попюлер»[3], а захвата власти.

Пикар припоминал небольшую заметку в «Юманите»[4], которую ему показал один из его товарищей, Симонэн. Она была помещена на третьей полосе, среди других сообщений о стачках.

«На заводе магнето и радиоприборов Лавалетт в Сэн-Уэне[5] рабочие постановили не покидать завода. Около 6 часов вечера они велели работницам уйти, а триста рабочих остались. Товарищи с других заводов организовали снабжение: стачечникам, решившим держаться до конца, были переданы карты, папиросы и музыкальные инструменты».

— Что ты на это скажешь? — спросил Симонэн.

— Не знаю...

— Захват рабочими заводов...Это одновременно и метод и цель.

Забастовка охватила все пригороды. Вся металлургия, не дожидаясь инструкций, по заводскому гудку, включилась в движение. Все заводы — «Фарман», «Сальмсон», «Ситроен», «Симка», «Репюссо», «Эфель», «Кюнцлер», «Тальбо», «Розангар», «Моран» — оказались зараженными «злым семенем». На всех стройках началось брожение. Умиравшие профсоюзы поднимали голову. Распыленные ячейки восста-

---

[1] Глава социалистической партии Франции.

[2] Бывший королевский дворец в Париже, названный так в честь династии Бурбонов, свергнутой революцией.

[3] Центральный орган социалистической партии Франции.

[4] Газета центрального комитета коммунистической партии Франции. Основана Ж. Жоресом.

[5] Предместье Парижа.

вали из пепла. А в газете от первого числа Пикар наткнулся на фотографию соседнего предприятия: «На заводе Фуше в Курнэв[1] весело танцуют под звуки аккордеона». Повсюду рабочие были охвачены лихорадочным нетерпением. Нарочитая медлительность некоторых политических деятелей, подстерегающих момент, когда рабочие почувствуют усталость, ставила их перед альтернативой: самим устроить свои дела или дать себя обмануть. Пролетариат был готов к любому сопротивлению, к любой ответственности, к любым испытаниям.

Каждый раз, когда поезд, в котором ехал Пикар, останавливался, пассажиры высовывались в окна. В Эпинэй они увидели первый красный флаг. Пикар встал, сердце его колотилось. И все рабочие подняли кулак, приветствуя зеленеющие поля, бездымные трубы, туманное небо. В Сэн-Дени[2] заводы, прилегающие к вокзалу, не работали. Стоя на ограде, бастующие кричали переполненным поездам:

— Смелее! Присоединяйтесь к нам!

На каждой трубе вместо дыма развевалось знамя борьбы пролетариата.

Луарские мастерские, завод Делонэ-Бельвиль, предприятия Международного общества спальных вагонов, французского общества металлов — все охранялись рабочими. У всех ворот делегаты в комбинезонах следили за порядком. В ответ на поднятые кулаки поднимались другие кулаки. Отовсюду неслись звуки «Интернационала». В Сэн-Дени Пикар встретил нескольких товарищей по заводу.

— Вот и забастовка. Что мы будем делать?

Перед заводом «Братья Митонэ» рабочие собирались кучками и спорили. Когда раздался гудок, все без единого слова, без малейшего колебания вошли в тенистый двор. В раздевалках споры утихли. Не всем можно было доверять. Весь Курнэв был в брожении. Заводы стояли: «Рато», «Сатам», «Корпэ и Лувэ», «Кран» и заводы Французской компании прокатных станков, «Кутон, Трубы и листовой прокат» и Компании прокатки металлов. Работницы кондитерской фабрики «Хэнтлей и Пальмерс», одни из первых выставившие свои требования, поддразнивали мужчин. На заводе Металлических бочек рабочие уже возобновили работу, так как администрация согласилась на все требования. Надо было бастовать немедленно.

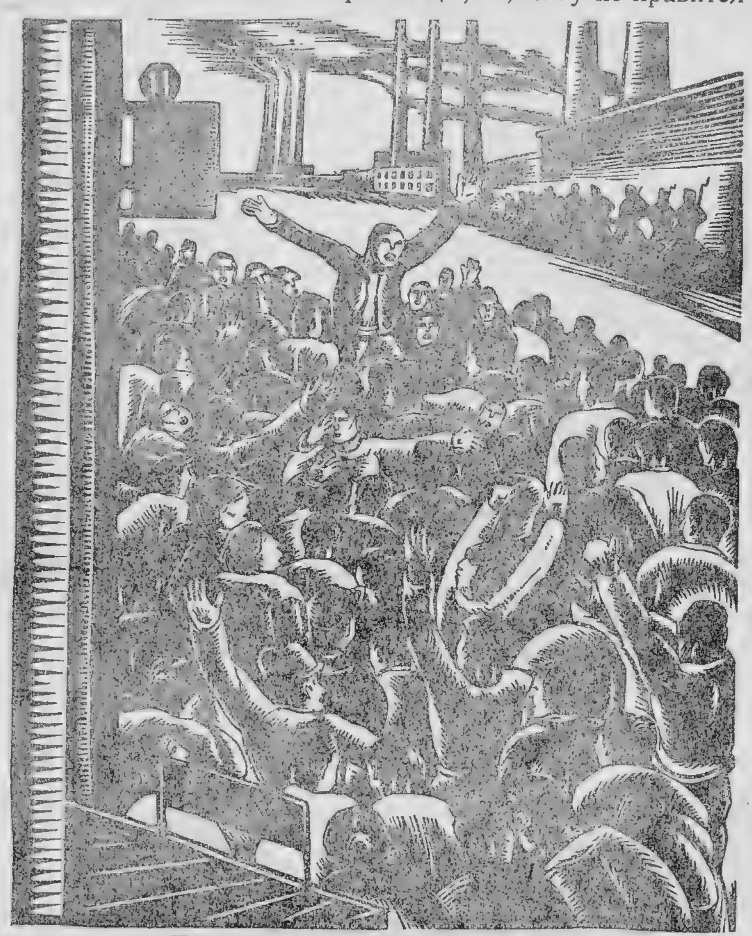
Пробило семь часов.

При пуске моторов все рабочие были на своих местах. Над цехами нависла гнетущая тревога. Турардини[3] сошел вниз, как всегда. В ожидании боя он вновь обрел силы. Он ждал беспорядков и приготовился. Фук отсутствовал. Турардини поднялся к начальникам цехов, посмотрел, как работают бригады, готовый проявить свою власть. Он прогуливался, заложив руки за спину, очень довольный, насмешливо поглядывая на рабочих. Трансмиссии вращались ни быстрей, ни медленнее, чем всегда. Ремни шипели в меру. Он умеет держать в руках рабочих. Он их усмирил. Он не выжидал ударов. Он предупреждал их. Обе ячейки, которые коммунисты пробовали организовать,

---

[1] Предместье Парижа.
[2] Пригород Парижа.
[3] Директор завода «Братья Митонэ».

просуществовали ровно столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы раскрыть их. Выдумали тоже! Раз Советы нуждаются в рабочих руках и в СССР нет больше безработицы, те, кому не нравится капи-



Ф. Мазареель. Митинг. Гос. музей Изобразительных искусств

талистическая эксплуатация, могут отправиться туда и избавить завод от своих претензий. Поскольку они сами не могли додуматься до такого простого решения, он, Турардини, не постеснялся. Он их вышвырнул. Он не хитрил, как вице-директор Фук, который не хотел ссориться с зачинщиками. За пятнадцать лет никто не протестовал при увольнениях. И сегодня — пусть только сунутся господа профсоюзники, большевики и социалисты. Как обычно, при первой же попытке, он им скажет:

— Вы недовольны вашими условиями труда? Ваша заработная плата недостаточна? Мы вас не задерживаем. Получайте расчет. Безработные только этого и ждут.

В механическом цехе все было нормально. В котельном — тоже ничего необычного. Пикар, бригадир, склонившись над разметочным столом, предавался мечтаниям. «Такая уж у него привычка, — думал Турардини, — работа у него от этого не страдает. Впервые в этом году он работал первого мая. Он остепенился с тех пор, как был секретарем профсоюзного комитета. Раза три, четыре он протестовал, когда неправильно была выведена себестоимость. Хуже всего было то, что он каждый раз оказывался прав. Но по профессиональной линии ему не приходилось спорить. Его товарищи ничего не требовали. Все в порядке».

В монтажном цеху Турардини почувствовал оживление, подобное тому, которое предшествует смене. Все наводили порядок, точно в конце рабочего дня. Он хлопнул в ладоши. Все головы повернулись к нему.

— Поживее, там, живее! — крикнул он.

Оглушительный хохот наполнил все здание. Старший монтер Брюссо, по прозвищу «Пробор», опрятно одетый рабочий, всегда гладко причесанный, с пробором по ниточке, смеялся, хлопая себя по ляжкам.

Турардини обратился к начальнику монтажного цеха Пильго:

— Что с ним такое? Он рехнулся?

— Спросите у него! — ответил Пильго, раздраженный атмосферой неуверенности, гнетущей, как воздух в кузнечном цеху.

Директор оставил без внимания эту реплику, которую в обычное время счел бы недопустимой.

В эту минуту он увидел Кабэна. Тот переобувался; но так как в его ящике всегда хранились три запасные пары, он в спешке надел два разных башмака. Один — слишком узкий — лопнул, и Брюссо это очень рассмешило.

— С каких это пор переобуваются в разгаре работы?

— О разгаре работы на сегодня забудьте, мосье Турардини.

Директор понял. Ничего не ответив, он возвратился в свой кабинет. Позвонил на соседние металлургические предприятия. Повсюду бастовали. Рабочие занимали заводы. Он не осмелился вернуться в цехи. Укрылся за занавеской.

Ученик из механического бегом пересек двор. Он направлялся к электрической подстанции, примыкавшей к заводской стене, за кооперативом.

Было девять часов. Свет в кабинете директора погас.

— Дайте мне главного электротехника... Алло, это вы, Симон? Что случилось?

— Приказ стачечного комитета. Все приостановить. Я останавливаю, господин директор.

Симон дал отбой и, не желая отвечать на вопросы, которые пытался задавать разъяренный Турардини, положил трубку рядом с собою.



Примечания ко второй части

Неверов (Скобелев), Александр Сергеевич (1886 — 1923). Талантливый советский писатель. Был сельским учителем. Начал печататься с 1905 г. В своих рассказах изобразил быт учительства и жизнь тогдашней деревни. После Октября написал ряд значительных произведений («Андрон Непутевый», «Ташкент — город хлебный» и др.). Остался неоконченным из-за смерти писателя роман «Гуси-лебеди». В сборнике печатается отрывок из романа «Ташкент — город хлебный», где описывается путешествие крестьянского мальчика во время голода на Поволжье в Ташкент за хлебом.

Толстой, Алексей Николаевич (р. 1882). Крупнейший советский писатель. Выступил в литературе еще в 1909 — 1910 гг., помещая стихи, сказки и рассказы на темы о распаде и вырождении дворянства (Т. по происхождению — родовитый дворянин). Из произведений того времени наиболее известен «Хромой барин». После Октября Т. создал ряд капитальных произведений, из которых самыми значительными являются: трилогия «Хождение по мукам», замечательный роман «Петр I» (еще не законченный) и сочетающая документальность с яркой художественностью повесть «Хлеб» (об обороне Царицына). Отрывок из этой повести дан в сборнике. Т. великолепный стилист и мастер сюжета, очень разносторонен (драматург, поэт, беллетрист). Дважды награжден орденом. Избран академиком. Депутат Верховного Совета СССР.

Первенцев, Аркадий Алексеевич. Молодой советский писатель. Выдвинулся за последние годы романом «Кочубей» об известном народном вожде эпохи гражданской войны. В настоящее время закончил большой роман «Над Кубанью» о классовой борьбе в кубанской казачьей станице. В сборнике помещен отрывок из романа «Кочубей», рассказывающий о постройке партизанами Кизлярской железнодорожной ветки.

Мирошниченко, Григорий Ильич (р. 1904). Писатель. Выходец из рабочих. Основная тема его произведений — гражданская война. Наиболее известным является его роман «Юнармия», посвященный героической борьбе молодежи с интервентами и белогвардейщиной. В сборнике помещен отрывок из этой книги, рисующий, как помогали железнодорожные рабочие Красной армии.

Авдеенко, Александр Остапович (р. 1908). Молодой писатель. Бывший беспризорник, блестяще описавший эту полосу своей жизни в романе «Я люблю». Написал и второй роман «Судьба». Награжден орденом.

Островский, Николай Алексеевич (1904 — 1936). Талантливый советский писатель-комсомолец. Участник гражданской войны. В результате тяжелой контузии у О. развилась тяжелая болезнь, приковавшая его к постели. Он ослеп. И тем не менее железная сила воли и большое литературное дарование совершили невероятное. О. написал две прекрасные книги: «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» (последний роман остался незаконченным из-за смерти писателя). О. был награжден орденом. Роман «Как закалялась сталь» сделался настольной книгой для советской молодежи, а образ Павла Корчагина — образцом для каждого комсомольца. В сборнике помещены отрывки из этого романа.

Сидоренко, Николай Николаевич (р. 1905). Поэт. Наиболее известные книжки стихов: «Разрушенная тишина», «Дождь в саду», поэма «Инженеры», «Заре навстречу». Из последней книжки и взяты печатаемые в сборнике стихи.

Бахметьев, Владимир Матвеевич (р. 1885). Советский писатель, коммунист-подпольщик. До революции писал повести и рассказы о жизни, труде и борьбе русских рабочих. Был одним из тех литераторов, кто сумел смело отразить в своих произведениях героическую революцию 1905 г. После Октября был некоторое время комиссаром народного образования в Сибири. Являлся одним из активных работников литературной организации «Кузница». Сочинения Б. в трех томах были изданы издательством «Земля и фабрика». Б. награжден орденом. В сборнике целиком напечатан рассказ «Железная трава» о героизме железнодорожников во время гражданской войны.

Фиш, Геннадий Семенович (р. 1903). Советский писатель. Выдвинулся особенно своими финляндскими повестями: «Падение Кимас-озера» (о борьбе с белофиннами) и «Третий поезд», в основу которого положено историческое событие — поездка финских рабочих в Сибирь за хлебом для голодающих пролетариев Финляндии после происшедшей там революции. В сборник вошел отрывок из последней повести, описывающей, как финны-рабочие помогали русским красногвардейцам наводить революционный порядок на железных дорогах.

Маяковский, Владимир Владимирович (1894—1930). Замечательный поэт, творчество которого оказало огромное влияние на советскую поэзию. Выступив в дооктябрьские годы как певец улиц и площадей, М. был основоположником русского футуризма, открыв поход против «всяческой мертвечины», литературной пошлятины и «изысков», поборников «чистого искусства». Смелое новаторство М. вызвало к нему острую ненависть тогдашних литературных кругов. После Октября М. отдал «всю свою звонкую силу поэта» пролетариату, «атакующему классу». Неутомимо работал М. как поэт, драматург, агитатор (в Роста), фельетонист в газетах. Им написана первая своеобразная по форме советская пьеса (Мистерия-Буфф). Создатель мощных эпических поэм «150 000 000», «Хорошо», «Ленин», гротесковых пьес («Баня», «Клоп»), М. был также проникновенным лириком («Про это» и др.). Сатирические стихи М. («Прозаседавшиеся») цитировал Ленин. Сталин назвал М. «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

В сборнике печатаются две железнодорожные агитки М. из его «Окон» Роста. (1920—1921 гг.) и шуточное стихотворение «Строго воспрещается».

Ильенков, Василий Павлович (р. 1897). Советский писатель. Печатается с 1927 г. Выдвинулся своим первым большим произведением «Ведущая ось» — о людях вагоноремонтного завода, отрывок из которого помещается в сборнике. Из других произведений Ильенкова необходимо отметить роман «Солнечный город». И. хороший новеллист, написавший немало удачных коротких рассказов, в частности на оборонную тематику.

Леонов, Леонид Максимович (р. 1899). Видный советский писатель и драматург. Из его произведений наиболее известны романы: «Барсуки», «Вор», «Дорога на океан», «Скутаревский». Недавно Л. закончены пьесы: «Половчанские сады» и «Волк». В сборнике печатается отрывок из романа «Дорога на океан», посвященного людям железнодорожного транспорта.

Соловьев, Леонид Васильевич (р. 1906). Молодой советский писатель. Наиболее известной его книгой является роман «Высокое давление», целиком посвященный железнодорожникам. В сборнике помещена в сокращенном виде повесть С. «Поход победителя», рассказывающая о том, как помогали железнодорожники социалистическому строительству.

Кожевников, Алексей Венедиктович (р. 1891). Советский писатель, из крестьян. Начинал как детский писатель. Печатается давно. Большим успехом пользовалась его книга «Шпана». В сборнике помещены отрывки из романа «Здравствуй, путь», повествующего о строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги.

Ноздрин, Александр Сергеевич. Начинающий писатель, бывший рабочий-метростроевец. Написал роман «Первая линия», посвященный сооружению метрополитена в Москве. Отрывок из этого романа и дается в сборнике.

Касимов, Дмитрий Васильевич (р. 1900). Советский писатель-коммунист. Литературное имя дал ему роман «Семафор открыт», художественно показав-

ший работу начальника политотдела. В сборнике помещается отрывок, рисующий разоблачение врага начальником политотдела.

Ильф Илья Арнольдович и Петров Евгений Петрович. — Талантливые советские писатели-сатирики. Творческое содружество И. и П. создало два сатирических романа, имевших исключительный успех у читателей: «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», в которых зло высмеяны пошляки, темные дельцы и обыватели, еще существующие в нашей бурно расцветающей, новой жизни. Последней работой обоих писателей была книга художественных очерков «Одноэтажная Америка» (Ильф умер в 1937 г.). В сборнике помещается отрывок из романа «Золотой теленок», описывающий смычку путей новой Восточной магистрали. Петров награжден орденом.

Сурков, Алексей Александрович (р. 1899). Советский поэт, коммунист. Выходец из крестьян. Особенно популярны его песни, посвященные Красной Армии. За последние годы вышло несколько книжек стихов С. Награжден орденом.

Лыньков, Михаил Тихонович (р. 1898). Белорусский писатель. Награжден орденом. Из произведений Л. наиболее значителен роман «На Красной Нови» и сборник рассказов «Баян». Печатаемый рассказ просто и выразительно рисует старого ветерана-паровозника.

Курочкин, Владимир Сергеевич (р. 1910). Молодой беллетрист. Первая его книга «Мои товарищи» вышла в 1936 г.

Полторацкий, Виктор Васильевич (р. 1907). Популярный поэт, вышедший из среды рабочих Иванова. В Иваново издано несколько книжек стихов П. Пишет он и прозу.

Долматовский, Евгений Аронович (р. 1915). Молодой поэт, стал печататься с 1933 г., комсомолец. Награжден орденом. В сборнике помещено стихотворение «Лелька» о девушке-метростроевке.

Стонов, Дмитрий Миронович (р. 1898). Советский писатель. Из произведений С. заслуживают внимания: «Семья Раскиных» и «Повести об Алтае». Интересна и последняя книга писателя «Из круга».

Шведов, Яков Захарович (р. 1905). Беллетрист и поэт, вышедший из среды рабочих московского завода «Серп и молот». Из книжек стихов известна его «Березовые окраины», из повестей: «Юр-базар» и «Ровесники». Написал повесть о комсомоле «Год рождения».

Платонов, Андрей Платонович (р. 1900). Беллетрист, выдвинувшийся из рабочей среды. П. написано немало рассказов и несколько повестей («Такыр», «Третий сын» и др). Печатаемый рассказ очень характерен для литературной манеры П. и дает хороший портрет нового человека нашей эпохи.

Иллеш Бела (р. 1895). Венгерский писатель. С 1929 г. работает в СССР. Из произведений Бела-Иллеш наиболее известны роман «Тисса горит» о гражданской войне в Венгрии и недавно написанный роман «Все пути ведут в Москву», целиком посвященный строителям метрополитена. Отрывок из этого романа, рисующий героизм строителей метро, помещен в сборнике.

Юфит, Матильда Иосифовна (р. 1909). Молодая писательница, первая книга которой «Жизнь» издана в этом году. Из нее и взят печатаемый рассказ.

Карцев, Алексей Дмитриевич (р. 1896). Писатель, выдвинувшийся за последние годы большим романом «Магистраль», посвященным целиком железнодорожникам. Отрывки из этого романа и помещены в сборнике.

Джамбул Джабаев. Замечательный народный певец-сказитель Казахстана. Лишь после Октября, а главным образом за последние годы исключительно яркое творчество Д. стало широко известно советским народам. Несмотря на преклонный возраст (94 года), Д. неутомимо создает одну песню за другой, откликаясь почти на все события нашей жизни, воспевая счастливую братскую жизнь трудящихся нашей родины и ее лучших людей. Особенной искренностью и силой проникнуты произведения Д., посвященные И. В. Сталину и его славным соратникам. Д. дважды награжден орденом.

Вирта, Николай Евгеньевич (р. 1905). Беллетрист и драматург. Выдвинулся в первые ряды советской литературы за последние годы своим романом «Одиночество», в котором описал антоновщину и вывел замечательный по силе образ лютого врага кулака Петра Сторожева. Удачен и второй роман В. «Закономерность». В настоящее время В. закончил пьесу «Заговор» о предателях на-

рода. Роман «Одиночество» переделан В. в пьесу «Земля», с большим успехом идущую на сцене МХАТ. Награжден орденом Ленина.

Лебедев-Кумач, Василий Иванович. Талантливый поэт-песенник. Сын мастерового. Творчество Л.-К. носит необычайно широкий характер: у него есть и лирика, и сатира, и героика. Продолжительное время Л.-К. был сотрудником «Крокодила». Огромную популярность создали Л.-К. его песни, которые распеваются сейчас буквально всей страной. Л.-К. дважды награжден орденом и избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

Блюм, Клара (1905). Современная немецкая поэтесса-антифашистка.

Герман, Юрий Павлович. Советский беллетрист. Наибольший успех имели его романы «Наши знакомые» и «Вступление». Из последнего романа и взят печатаемый в сборнике отрывок, изображающий расправу англичан с китайскими крестьянами, после того как китайские партизаны «красные пики» остановили экспресс на Ханькоу. Действие романа разыгрывается в годы, предшествовавшие японской интервенции.

Реми Тристан. Современный французский писатель-антифашист. В сборнике печатается отрывок из его романа «Великая борьба», повествующего о победоносной стачке металлистов, в которой принимали участие и рабочие паровозоремонтного завода.







Содержание

Часть вторая

СОВРЕМЕННОСТЬ

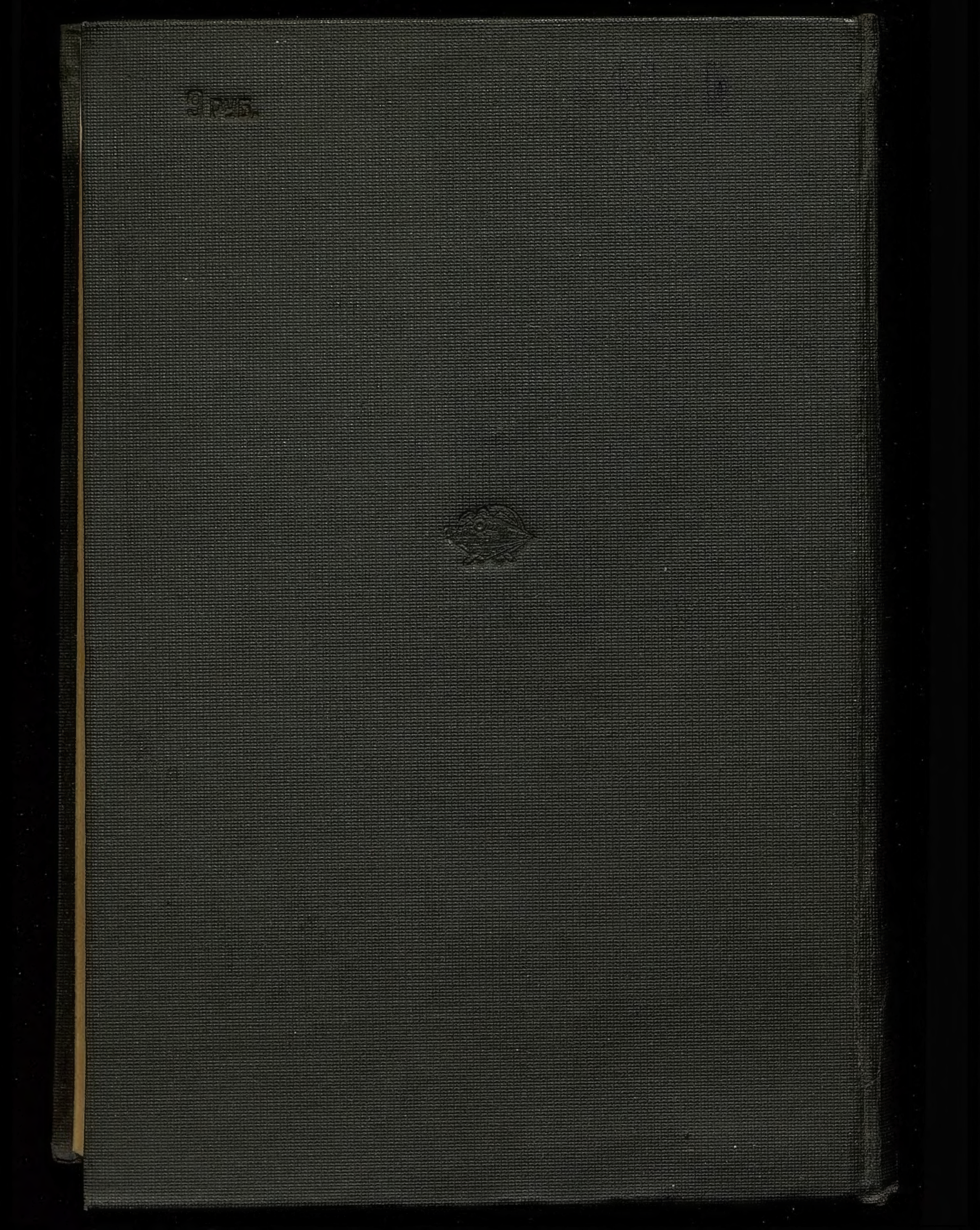
Глава I. Огневые годы

Глава II. Творчество

Глава III. Новое племя

Глава IV. За рубежом

★


9 руб.